

История Греции, том 08 (из 12)

Джордж Гроут

HISTORY OF GREECE

BY

GEORGE GROTE, Esq

VOL. VIII.

The Project Gutenberg eBook of История Греции, том 08 (из 12).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: История Греции, том 08 (из 12)

Автор: Джордж Гроут

Дата выхода: 21 мая 2016 [eBook #52119].

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Электронный текст подготовлен Рамоном Пахаресом Боксом, Адрианом Мастронарди и группой онлайн-распределенной корректуры (<http://www.pgdp.net>) на основе изображений страниц, щедро предоставленных Internet Archive/American Libraries (<https://archive.org/details/american>).

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ, ТОМ 08 (ИЗ 12)

Электронная книга проекта "Гутенберг", История Греции, том 8 (из 12), автор Джордж Грот

Примечание: Изображения оригинальных страниц доступны через Internet Archive/American Libraries. [См.
https://archive.org/details/historyofgreece08grotiala](https://archive.org/details/historyofgreece08grotiala)

[Примечание транскриптора](#)

[Оглавление](#)

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

GEORGE GROTE, Esq.

VOL. VIII.

ПЕРЕПЕЧАТАНО С ЛОНДОНСКОГО ИЗДАНИЯ.

NEW YORK:

HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS,
329 И 331 PEARL STREET.
1879.

ПРЕДИСЛОВИЕ К VOL. VIII.

Я надеялся, что в этом томе мне удастся изложить историю Греции вплоть до битвы при Книде; но меня постигло разочарование.

Потребовался больший объем, чем я предполагал, не только для того, чтобы отдать справедливость заключительным событиям Пелопоннесской войны, особенно памятным сценам в Афинах после битвы при Аргинусе, но и для того, чтобы объяснить мои взгляды как на софистов, так и на Сократеса.

До сих пор было принято рассматривать софистов как развратителей греческого ума и излагать факт такого развращения, усиливающегося по мере того, как мы спускаемся вниз от великого нашествия Ксеркса, как это подтверждается исторически. Не соглашаясь с прежними авторами и полагая, что греческая история была сильно искажена по обоим этим пунктам, я был вынужден подробно обсудить доказательства и показать причины своего собственного образа мыслей.

Сократесу я посвятил целую главу. Никакой меньшей площади не хватило бы, чтобы представить читателю хоть сколько-нибудь сносную картину этого прославленного человека, редчайшего интеллектуального феномена древности и родоначальника самого мощного научного импульса, который когда-либо переживал греческий ум.

Г. Г.

Лондон, февраль, 1850 г.

СОДЕРЖАНИЕ. VOL. VIII.

PART II.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА LXII.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ. - ОЛИГАРХИЯ ЧЕТЫРЕХСОТ В АФИНАХ.

Афинский митинг в течение года после поражения при Сиракузах. 412 Г. ДО Н.Э. - Начало заговора Четырехсот в Афинах - Алкивиад. - Приказ из Спарты убить Алкивиада. - Он бежит, удаляется в Тиссафернес и становится советником персов. - Он советует сатрапу не оказывать сердечной помощи ни одной из греческих партий, но его советы склоняются в сторону Афин, с целью собственного восстановления. - Алкивиад выступает в качестве

переговорщика от имени Тиссафернеса в Магнесии. - Уменьшение платы, которую Тиссафернес назначил пелопоннесцам. - Алкивиадес вступает в переписку с афинскими офицерами на Самосе. Он разрабатывает схему олигархической революции в Афинах. - Между афинским офицером и Алкивиадом организуется заговор. - Олигархические афиняне - гетеры, или политические клубы. Пейсандр послан продвигать заговор в Афины. - Легковерие олигархических заговорщиков. - Оппозиция Фриниха на Самосе заговорщикам и Алкивиаду. - Маневры и контрманевры Фриниха и Алкивиада. - Действия Пейсандра в Афинах - сильная оппозиция в народе как заговору, так и восстановлению Алкивиада. - Нежелание собрания отказаться от демократии под обещание персидской помощи в войне. Пейсандр отправляется на переговоры с Алкивиадом. - Пейсандр подбивает олигархические клубы в Афинах на организованные действия против демократии. - Пейсандр уезжает из Афин на Самос - Антифон берет на себя руководство олигархическим заговором - Фераменес и Фриних. - Военные действия у азиатского побережья. - Переговоры Пейсаха с Алкивиадом. - Уловки Алкивиада - он преувеличивает свои требования, чтобы сорвать переговоры - возмущение олигархов против него. - Примирение между Тиссафернесом и пелопоннесцами. - Третья конвенция, заключенная между ними. - Третья конвенция в сравнении с двумя предыдущими. - Потеря Афинами Оропа. - Пейсандр и его коллеги продолжают олигархический заговор без Алкивиада. - Они пытаются подорвать демократию на Самосе - убивают Гипербола и других. - Демократия на Самосе поддерживается афинским вооружением. - Афинские паралы - разгром олигархического заговора на Самосе. - Парал отправляется в Афины с известием. - Прогресс олигархического заговора в Афинах - ловкое управление Антифона. - Язык заговорщиков - плутовство по поводу наречения пяти тысяч граждан для исключительного осуществления политического права. - Убийство популярных ораторов Антифоном и олигархической партией. - Возвращение Пейсаха в Афины - создание олигархического правительства в нескольких союзных городах. - Завершение революции в Афинах - последнее народное собрание в Колонусе. - Упразднение Графика Параномона. - Новое правительство, предложенное Пейсандром, - олигархия Четырехсот. - Фиктивная и номинальная совокупность под названием "Пять тысяч". - Четыреста человек устанавливают свою власть в сенате, изгоняя сенаторов вооруженной силой. - Замечания по поводу этой революции. - Привязанность к конституционным формам в Афинах - Антифон использует эти настроения, чтобы разрушить конституцию. - Демагоги - необходимый противовес и антитеза олигархам. - Действия Четырехсот в правительстве. - Они обращаются с предложением о мире к Агису и спартанцам. - Они отправляют посланников в лагерь на Самосе. - Первые известия о революции передаются в лагерь Хереей - сильные настроения в лагере против Четырехсот. - Яркая демократическая манифестация и решительная присяга, принесенная как афинским войском на Самосе, так и самими саамийцами. - Афинская демократия восстанавливается вооружением - публичное собрание солдат - выбор новых полководцев. - Алкивиад вступает в переписку с демократическим войском на Самосе. - Алкивиад прибывает на Самос по приглашению вооружения. - Доверившись его языку и обещаниям, армия выбирает его одним из своих генералов. - Новое положение Алкивиада - нынешний поворот его честолюбия. - Посланцы Четырехсот достигают Самоса - вооружение с негодованием отправляет их обратно. - Стремление армии отплыть к Пейрею отклоняется Алкивиадом - его ответ посланникам. - Отговаривающий совет Алкивиада - насколько он заслуживает одобрения как мудрый. - Посланники, отправленные из Аргоса в "афинский демос на Самосе". - Возвращение посланцев Четырехсот с Самоса в Афины - плохие перспективы олигархии. - Недоверие и разногласия среди самих "четырехсот". Создается оппозиционная партия под руководством Фераменеса. - Тераменес требует, чтобы "Пять тысяч" стали реальностью. - Меры Антифона и Четырехсот - их просьбы к Спарте - строительство крепости Эктинея для размещения спартанского гарнизона. - Необъяснимая

отсталость лакедемонян. - Убийство Фриниха - лакедемонский флот завис у Пирея. - Восстание в Афинах против Четырехсот - разрушение нового форта в Эктионе. - Упадок Четырехсот - уступки с их стороны - возобновление работы общественного собрания. - Лакедемонский флот угрожает Пейрею - проходит мимо в Эвбею. - Морское сражение у Эретрии - афиняне побеждены - Эвбея восстает. - Уныние в Афинах - ее гибель неизбежна, если бы лакедемоняне действовали энергично. - Четыреста человек низложены - демократия по существу восстановлена. - Умеренность политических антипатий и патриотический дух теперь преобладают. - Пять тысяч - число, которое так и не было достигнуто, - вскоре были расширены до всеобщего гражданства. - Восстановление полной демократии, за исключением оплаты труда. - Псефизм Демофанта - предписанная демократическая присяга. - Бегство большинства лидеров Четырехсот в Декелию. - Фераменес выдвигает обвинения против оставшихся лидеров Четырехсот, особенно в связи с фортом в Эктинии и посольством в Спарту. - Антифона судят, осуждают и казнят. - Отношение к Четыремстам в целом. - Благоприятное суждение Фукидида о поведении афинян. - Олигархия в Афинах, демократия на Самосе - контраст.

1-93

ГЛАВА LXIII.

ВОССТАНОВЛЕННАЯ АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПОСЛЕ НИЗЛОЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХСОТ, ВПЛОТЬ ДО ПРИБЫТИЯ КИРА МЛАДШЕГО В МАЛУЮ АЗИЮ.

Смущенное состояние Афин после правления Четырехсот. - Пелопоннесский флот - восстание Абидоса из Афин. - Стромбихидес отправляется с Хиоса в Геллеспонт - улучшение положения хианцев. - Недовольство пелопоннесского флота в Милете. - Стромбихидес возвращается с Хиоса на Самос. - Пелопоннесская эскадра и силы у Геллеспонта - восстание Византии из Афин. - Недовольство и собрание против Астиоха в Милете. - Спартанский комиссар Лихас приказывает милезийцам подчиниться Тиссафернесу - недовольство милезийцев. - Миндарус сменяет Астиоха на посту адмирала. - Феникийский флот у Аспенда - двуличие Тиссафернеса. - Алкивиад в Аспенде - его двойная игра между Тиссафернесом и афинянами. - Феники возвращаются из Аспенда без дела - мотивы Тиссафернеса. - Миндар покидает Милет со своим флотом - отправляется на Хиос - Фрасилий и афинский флот на Лесбосе. - Миндарус ускользает от Фрасилла и достигает Геллеспонта. - Афинская эскадра бежит ночью из Сестоса. - Фрасилл и афинский флот у Геллеспонта. - Битва при Киносфеме - победа афинского флота. - Ликование в Афинах по поводу победы. - Мост через Эврип, соединяющий Эвбею с Беотией. - Восстание Кизикуса. - Рвение Фарнабаза против Афин - значение персидских денег. - Тиссафернес снова ухаживает за пелопоннесцами. - Алкивиад возвращается из Аспенда на Самос. - Дальние сражения на Геллеспонте. - Фераменес отправляется с подкреплением из Афин. - Возобновление войны на Коркире. Алкивиад схвачен Тиссафернесом и заключен в Сардах. - Бегство Алкивиада - концентрация афинского флота - Миндарус осаждает Кизикус. - Битва при Кизикусе - победа афинян - Миндар убит, а весь пелопоннесский флот захвачен. - Спартанцы обескуражены - предложение Афинам о мире. - Лакедемонянин Эндий в Афинах - его предложения о мире. - Отказ Афин - противодействие Клеофона. - Основания для оппозиции Клеофона. - Вопрос политики, как она тогда стояла, между войной и миром. - Энергичная помощь Фарнабаза пелопоннесцам - Алкивиад и афинский флот у Босфора. - Афиняне занимают Хрисополь и взимают пошлину с кораблей, проходящих через Босфор. - Лакедемоняне изгнаны из Тасуса. - Лакедемонянин Клиарх отправлен в Византию. - Фрасиллус отправлен из Афин в Ионию. - Фрасилл и Алкивиад у Геллеспонта. - Пилос вновь взят лакедемонянами - позор афинянина Анита за то, что он не освободил его. - Взятие Халкедона Алкивиадом и

афинянами. - Конвенция, заключенная афинянами с Фарнабазом. - Византия захвачена афинянами. - Фарнабаз направляет несколько афинских посланников в Сузы, чтобы договориться с великим царем.

93-135

ГЛАВА LXIV.

ОТ ПРИБЫТИЯ КИРА МЛАДШЕГО В МАЛУЮ АЗИЮ ДО БИТВЫ ПРИ АРГИНУСЕ.

Кир Младший - последствия его прихода в Малую Азию. - Фарнабаз задерживает афинских посланников. - Лисандр - лакедемонский адмирал в Азии. - Деятельность предыдущего адмирала, Кратесиппидаса. - Лисандр посещает Кира в Сардах. - Его ловкая политика - он приобретает особое уважение Кира. - Обильное жалование пелопоннесского войска, предоставленное Киром. - Фракции, организованные Лисандром среди азиатских городов. - Деятельность Алкивиада во Фракии и Азии. - Его прибытие в Афины. - Чувства и подробности, связанные с его прибытием. - Единодушный прием, с которым его встречают. - Эффект, произведенный на Алкивиада. - Настроение афинян по отношению к нему. - Склонность не заикливаться на его прежних проступках и дать ему новое испытание. - Ошибочная уверенность и опьянение Алкивиада. - Он защищает празднование Элевсинских мистерий на суше от гарнизона Декелеи. - Бесплодная попытка Агиса заставить Афины врасплох. - Алкивиад отплывает с вооружением в Азию - неудача на Андросе - полный провал надежд из Персии. - Лисандр в Эфесе - его осторожная политика, отказ от сражения - разочарование Алкивиада. - Алкивиад отправляется в Фокею, оставив свой флот под командованием Антиоха - притеснения Алкивиада в Кимке. - Жалобы киммеев на Афины - поражение Антиоха при Нотии во время отсутствия Алкивиада. - Недовольство и жалобы в войске на Алкивиада. - Ропот и обвинения против него передаются в Афины. - Изменение настроения в Афинах - недовольство афинян против него. - Обоснованные причины такого изменения и недовольства. - Различное поведение Никиаса и Алкивиада. - Алкивиад отстранен от командования - десять генералов назначены его преемниками - он удаляется в Херсонес. - Конон и его коллеги - захват и освобождение афинянами родосского Дориея. - Калликратид сменяет Лисандра - его благородный характер. - Ропот и недоброжелательство против Калликратида - энергия и прямота, с которой он их подавляет. - Его энергичное поведение по отношению к персам. - Его обращение к милезийцам - панэллинские чувства. - Он снаряжает великолепный флот - его успех на Лесбосе - он освобождает пленных и афинский гарнизон в Метимне. - Благородный характер этих действий - возвышенный панэллинский патриотизм Калликратида. - Он блокирует Конона и афинский флот в Митиленке. - Триумфальное положение Калликратида. - Безнадежное положение Конона - его уловка, чтобы послать весть в Афины и попросить помощи. - Калликратид разбивает эскадру Диомедона. - Усилия афинян по спасению Конона - большой афинский флот снаряжен и отправлен в Аргинусе - Калли Кратидас выводит большую часть своего флота из Митилены, оставляя Этеонику для продолжения блокады. - Два флота собрались для битвы. - Сравнительное морское мастерство, перевернутое с начала войны. - Битва при Аргинусе - поражение лакедемонян - смерть Калликратида. - Для Греции и даже для Афин было бы лучше, если бы Калликратид победил в Аргинусе. - Безопасное бегство Этеоника и его флота из Митилены на Хиос. - Радость Афин по поводу победы - возмущение, вызванное тем, что афинские моряки на искалеченных кораблях не были подобраны после битвы. - Изложение фактов о поврежденных кораблях и оставшихся на них людях. - Депеша генералов в Афины о том, что буря помешала им спасти утопающих. - Оправданный гнев и уязвленное сочувствие афинян - крайнее волнение среди родственников утопающих. - Генералы отстранены от должности и получили приказ вернуться домой. - Экзамен генералов перед сенатом и афинским народом.

- Дебаты в общественном собрании - Фераменес обвиняет генералов в том, что они не спасли утопающих. - Влияние обвинения Фераменеса на собрание. - Защита генералов - они утверждают, что поручили эту обязанность самому Тераменесу. - Причина, по которой генералы не упомянули об этом поручении в своей депеше. - Иной рассказ Диодора. - Вероятная версия того, как все происходило на самом деле. - Оправдание генералов - насколько оно обоснованно? - Предполагаемый штурм. Бегство Этеоника. - Чувства афинской общественности - как рассматривалось дело - решение отложено до будущего собрания. - Наступление праздника Апатурии - великого семейного торжества ионийского рода. - Всплеск чувств на Апатурии - искаженное Ксенофонтом представление. - Предложение Калликсена в сенате против полководцев - принято и передано на рассмотрение народного собрания. - Несправедливость решения - лишение генералов обычных гарантий для судебного разбирательства. Псефизм Каннона. - Противодействие Эвритолема на основании конституционной формы. - Граф Параномон. - Волнение собрания - конституционное препятствие преодолено. - Пританы отказываются ставить вопрос - их возражения отменяются, все, кроме Сократеса. - Изменение нравов собрания после начала обсуждения - поправка, предложенная и разработанная Эвритолемом. - Выступление Эвритолема. - Его поправка отвергается - предложение Калликсена принимается. - Шесть генералов осуждены и казнены. - Несправедливость процесса - нарушение демократических принципов и настроений. - Искреннее раскаяние народа вскоре после этого - позор и конец Калликсена. - Причины народного волнения. - Генералы - не невинные люди.

135-210

ГЛАВА LXV.

ОТ БИТВЫ ПРИ АРГИНУСЕ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ТРИДЦАТИ.

Предполагаемые предложения мира от Спарты к Афинам - сомнительны. - Этеоник на Хиосе - беда его моряков - заговор подавлен. - Просьбы из Хиоса и других мест о том, чтобы Лисандра снова отправили в путь. - Прибытие Лисандра в Эфес - рвение его сторонников - Кир. - Жестокий переворот в Милете, устроенный сторонниками Лисандра. - Кир едет навестить умирающего отца - передает свои дани Лисандру. - Бездействие афинского флота после битвы при Аргинусе. - Операции Лисандра. - Оба флота у Геллеспонта. - Афинский флот у *Ægospotami*. - Битва при Эгоспотамах - неожиданность и пленение всего афинского флота. - Пленение афинских полководцев, всех, кроме Конона. - Расправа над пленными генералами и пленниками. - Предполагается, что афинский флот был предан своими же командирами. - Бедствие и агония в Афинах, когда там стало известно о поражении Игоспотам. - Действия Лисандра. - Плачевное состояние афинских клерухов и друзей Афин в союзных зависимых странах. - Страдания в Афинах. - Амнистия, предложенная Патроклидесом и принятая. - Клятва о взаимном согласии, принесенная на акрополе. - Прибытие Лисандра. Афины блокированы с моря и суши. - Афиняне упорно держатся - их предложения о капитуляции отвергаются. - Притязания Фераменеса - его отправляют посланником - изученная им задержка. - Бедствия и голод в Афинах - смерть Клеофона. - Голод становится невыносимым - Фераменес отправляется за миром на любых условиях - дебаты об условиях в Спарте. - Спарта соглашается на мир вопреки общему мнению союзников. - Сдача Афин - крайняя нищета - число умерших от голода. - Лисандр вступает в Афины - возвращение изгнанников - разрушение Длинных стен - разборка Пирея - сдача флота. - Изгнанники и олигархическая партия в Афинах - их триумфальное поведение и преданность Лисандру. - Критий и другие изгнанники - прошлая жизнь Крития. - Критий во главе олигархов в Афинах. - Олигархические лидеры в Афинах. - Захват Стромбихидеса и других видных демократов. - Выдвижение

Тридцати под диктовку Лисандра. - Завоевание Лисандром Самоса - восстановление там олигархии. - Триумфальное возвращение Лисандра в Спарту - его невероятное возвышение во всей Греции. - Процесс Тридцати в Афинах - чувства олигархических людей, таких как Платон. - Тридцатка начинает казни - Стромбихидес и заключенные генералы преданы смерти - другие демократы тоже. - Сенат, назначенный Тридцатью, действует только под их запугиванием. Многочисленные казни без суда и следствия. - Сенат начал с того, что охотно осуждал всех, кто предстал перед ним. - Раздоры среди Тридцати - несогласие с мнением Крития и Фераменеса. - Введение лакедемонского гарнизона - множественные казни Крития и Тридцати - противодействие Фераменеса этим мерам - насилие и жестокость еще более усиливаются - богатые и олигархические люди предаются смерти. - План Крития приобрести сторонников, заставляя людей становиться соучастниками кровавых дел - сопротивление Сократеса. - Ужас и недовольство в городе - Тридцать выдвигают три тысячи человек в качестве партизанских гоплитов. - Они разоружают оставшихся в городе гоплитов. - Убийства и грабежи со стороны Тридцати. Захват метисов. - Захват ритора Лисия и его брата Полемарха. Первый бежит - второго казнят. - Усиление раздражения Крития и большинства Тридцати против Фераменеса. - Критий обличает Фераменеса в сенате - речь Крития. - Ответ Фераменеса. - Крайняя жестокость Крития и Тридцати - осуждение Фераменеса. - Смерть Фераменеса - замечания о его характере. - Усиление тирании Крития и Тридцати. - Тридцать запрещают интеллектуальное обучение. - Сократес и Тридцать. - Растущая неуверенность Тридцати. - Постепенное изменение настроений в Греции после взятия Афин. - Требование союзников Спарты разделить военные трофеи - отказ Спарты. - Беспрецедентное возвышение Лисандра. - Его непомерное честолюбие - деспотичное господство Спарты. - Отвращение, возбужденное в Греции беззакониями Тридцати. - Оппозиция Лисандру в Спарте - царь Павсаний. - Калликратид сравнивается с Лисандром. - Сочувствие в Фивах и других местах афинским изгнанникам. - Фрасибул захватывает Филы - отражает нападение Тридцати. - Дальнейшие успехи Фрасибула - Тридцать отступают в Афины. - Раздоры среди афинской олигархии - захват Элевсинов. - Фрасибул обосновывается в Пирее. - Тридцать нападают на него и терпят поражение - Критий убит. - Коллоквиум во время погребения - язык Клеокрита. - Афинские олигархи обескуражены - низложение Тридцати и назначение Десяти - Тридцать отправляются в Элевсис. - Десять продолжают войну против изгнанников. - Растущая сила Фрасибула. - Прибытие Лисандра в Аттику со спартанским войском. - Улучшение положения изгнанников в Пирее. - Спартанский царь Павсаний совершает поход в Аттику; противостоит Лисандру. - Его нравы неблагоприятны для олигархии; реакция против Тридцати. - Павсаний нападает на Пирей; его частичный успех. - Партия мира в Афинах - поддерживается Павсанием. - Умиротворение, достигнутое Павсанием и спартанскими властями. - Спартанцы эвакуируют Аттику - Фрасибул и изгнанники восстановлены - проповедь Фрасибула. - Восстановление демократии. - Взятие Элевсиса - полное воссоединение Аттики - бегство оставшихся в живых тридцати человек.

210-290

ГЛАВА LXVI.

ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ ДО СМЕРТИ АЛКИБИАДА.

Плачевное состояние Афин в течение двух предшествующих лет. - Немедленное облегчение, вызванное реставрацией. - Единодушное отношение к обновленной демократии. - Амнистия - отношение к Тридцати и Десяти. - Предложение Формизия о лишении гражданских прав. - Предложение отвергнуто - речь Лисия против него. - Пересмотр законов - номотеты. - Декрет, запрещающий проводить уголовные расследования после архонтства Эвклидеса, 403 г. до н. э. - Изменена присяга, приносимая сенатом и дикастами. - Дальнейшие меры

предосторожности для обеспечения соблюдения амнистии. - Отсутствие резких реакционных настроений как после Тридцати, так и после Четырехсот. - Щедрое и разумное поведение демоса - в сравнении с поведением олигархии. - Забота народа о сохранении прав частной собственности. - Возмещение ущерба лакедемонянам. - Всадники, или рыцари. - Пересмотр законов - Никоммах. - Принятие более полного ионического алфавита, вместо старого аттического, для написания законов. - Памятная эпоха архонства Эвклидеса. Ритор Лисий. - Другие изменения в Афинах - упразднение коллегии эллинов - ограничение права гражданства. - Почетная награда Фрасибулу и изгнанникам. - Положение и взгляды Алкивиада в Азии. - Артаксеркс Мнемон, новый царь Персии. Планы Кира - Алкивиад желает раскрыть их в Сузах. - Лакедемоняне, объединившись с Киром, требуют от Фарнабаза предать его смерти. - Убийство Алкивиада по приказу Фарнабаза. - Характер Алкивиада.

290-316

ГЛАВА LXVII.

ДРАМА. - РИТОРИКА И ДИАЛЕКТИКА. - СОФИСТЫ.

Афины сразу после Эвклида - политическая история малоизвестна. - Необычайное развитие драматического гения. - Постепенное расширение трагедии. - Обилие новых трагедий в Афинах. - Доступность театра для беднейших граждан. - Феорикон, или плата за праздник. - Влияние трагедий на общественное сознание Афин. - Эсхил, Софокл и Эврипид - модификации трагедии. - Популярность, вызванная тратой денег на фестивали. - Рост и развитие комедии в Афинах. - Комические поэты до Аристофана - Кратин и др. - Выставление граждан по имени в комедии - запрещено на время - затем возобновлено - Кратес и более мягкая комедия. - Аристофан. - Комедия в ее воздействии на афинский ум. - Ошибочная оценка комических писателей, как хороших свидетелей или просто критиков. - Отвращение Солона к драме в период ее зарождения. - Драматическая поэзия в сравнении с прежними видами поэзии. - Этические чувства, интерес и споры, проникшие в драму. - Драма стала ступенью перехода к риторике, диалектике и этической философии. - Практическая ценность и необходимость риторических достижений. - Риторика и диалектика. - Эмпедокл из Агригентума - первое имя в риторическом движении. - Зенон из Элеи - первое имя в диалектическом движении. - Элеатская школа - Парменидес. - Зенон и Мелисс - их диалектические нападки на противников Парменидеса. - Зенон в Афинах - его беседы с Периклесом и Сократесом. - Раннее проявление и мощная эффективность отрицательной руки в греческой философии. - Риторика и диалектика - люди активной жизни и люди умозрительные - два отдельных направления интеллектуальной деятельности. - Устойчивая антитеза между этими двумя интеллектуальными классами - вена невежества в Афинах, враждебная обоим. - Постепенное расширение сферы образования в Афинах - рост знаний и способностей учителей музыки. - Софисты - истинное греческое значение этого слова - недоброжелательные настроения, подразумеваемые в нем. - Имя софиста применяется Платоном в особом смысле, в его полемике против выдающихся платных учителей. - Ошибки, возникающие из-за своеобразного употребления Платоном слова софист. - Платные учителя или софисты сократической эпохи - Протагор, Горгий и др. - Платон и софисты - две разные точки зрения - реформатор и теоретик против практического учителя. - Софисты были профессиональными учителями для активной жизни, как Исократес и Квинтилиан. - Ошибочные интерпретации диалогов Платона как несущие доказательства против софистов. - Софисты как платные учителя - нет доказательств того, что они были жадными или непомерными, - разбирательство с Протагором. - Софисты как учителя риторики - необоснованные обвинения против них в этом качестве, выдвинутые также

против Сократеса, Исократеса и других. - Фрасимах - его риторические наставления. - Продикус - его различение слов, сходных по значению. - Протагор - его трактат "Об истине" - его мнения о языческих богах. - Его взгляд на процесс познания и его относительный характер. - Горгиас - его трактат о физических предметах - искажение его объема. - Необоснованные обвинения в адрес софистов. - Они не были сектой или школой, с общими доктринами или методом; они были профессией, с ярко выраженными индивидуальными особенностями. - Афинский характер не был по-настоящему испорчен, между 480 и 405 гг. до н. э. - Продикус - Выбор Геракла. - Протагор - реальная оценка, выставленная ему Платоном. - Гиппий из Элиды - как он представлен Платоном. - Горгий, Полус и Калликл. - Доктрина, выдвинутая Полем. - Доктрина Калликла - антиобщественная. - Калликл не софист. - Доктрина, вложенная в его уста, никогда не могла быть изложена ни в одной публичной лекции среди афинян. - Доктрина Фрасимаха в "Республике" Платона. - Такая доктрина не является общей для всех софистов - оскорбительным в ней является то, как она выдвигается. - Мнение Фрасимаха впоследствии излагается Глауконом - с меньшей жесткостью и гораздо большей силой разума. - Платон выступает против софистов в целом. Его категория обвинения охватывает все общество, всех поэтов и государственных деятелей. - Несправедливо судить ни софистов, ни государственных деятелей Афин по меркам Платона. - Платон категорически отрицает, что афинскую развращенность следует вменять в вину софистам. - Софисты не были учителями одних лишь слов, в отрыве от действий. - Общее благотворное влияние их учения на молодежь. - Большая репутация софистов - свидетельство уважения к интеллекту и хорошего состояния общественных настроений.

317-399

ГЛАВА LXVIII.

СОКРАТЫ.

Различное отношение к Сократесу и к софистам. - Рождение и семья Сократеса. - Его физические и моральные качества. - Ксенофонт и Платон как свидетели. - Их образы Сократеса в основном совпадают. - Привычки Сократеса. - Ведущие особенности Сократеса. - Его постоянная публичность жизни и беспорядочные разговоры. - Причина, по которой Сократес был выставлен Аристофаном на сцену. - Его убеждение в особой религиозной миссии. - Его деймон, или гений - другие вдохновения. - Дельфийский оракул, объявивший, что нет человека мудрее его. - Его миссия - проверить ложное представление о мудрости других людей. - Слияние религиозного мотива с любознательным и интеллектуальным порывом в его сознании - многочисленные враги, которых он нажил. - Сократес - религиозный миссионер, занимающийся философией. - Интеллектуальные особенности Сократеса. - Он открыл этику как новый предмет научной дискуссии. - Обстоятельства, обратившие ум Сократеса к этическим спекуляциям. - Пределы научного исследования, установленные Сократесом. - Он ограничивает изучение человеческими делами, в отличие от божественных - человек и общество. - Важность нововведений - множество новых и доступных явлений, выносимых на обсуждение. - Нововведения Сократа в отношении метода - диалектический метод - индуктивные рассуждения - определения. - Начало аналитического осознания умственных операций - роды и виды. - Сравнение Сократеса с предыдущими философами. - Большой шаг, сделанный Сократесом в закладке основ формальной логики, впоследствии расширенной Платоном и систематизированной Аристотелем. - Диалектический процесс, используемый Сократесом, - существенная связь между методом и предметом. - Существенная связь также между диалектическим процессом и логическим распределением предмета - один во многих и многие в одном. - Убежденность в религиозной миссии Сократеса, побудившая его распространить свой разговорный

перекрестный допрос на знаменитых людей. - Цель его перекрестного допроса не ограничивалась знатными людьми, но имела универсальное применение. - Ведущие идеи, на которые ориентировался Сократес - контраст между специальными профессиями и общими обязанностями общественной жизни. - Платоновские диалоги - дискуссия о том, можно ли научить добродетели. - Уверенность в знании без реального знания - всеобщая распространенность. - Такое уверенное убеждение без науки относилось в то время к астрономии и физике, а также к предметам о человеке и обществе - теперь оно ограничивается последними. - Сократес впервые излагает идею этической науки, включающей в себя соответствующую этическую цель с теорией и предписаниями. - Серьезность, с которой Сократес поощрял самоанализ, - влияние его беседы на других. - Наставления и позитивные увещания Сократеса в основном раскрыты Ксенофонтом. - Это не было особенностью Сократеса - его мощный метод возбуждения аналитических способностей. - Негативная и косвенная проверка Сократеса порождала сильную жажду и активные усилия для достижения позитивной истины. - Индуктивный процесс исследования и бэконовский дух Сократеса. - Сократический метод стремится создать умы, способные самостоятельно формировать выводы, а не насаждать готовые заключения. - Греческая диалектика - ее многогранное обращение с предметами - сила отрицательной руки. - Предметы, к которым они применялись, - человек и общество - в сущности, требовали такого обращения - почему. - Реальное различие и разница между Сократесом и софистами. - Внушительная эффективность Сократеса в формировании новых философских умов. - Общая теория Сократа об этике - он разрешил добродетель в знание, или мудрость. - Эта доктрина порочна тем, что в ней часть определяется целым. - К этой общей доктрине его привела аналогия с особыми профессиями. - Постоянная ссылка Сократа на обязанности практики и детали. - Производные рассуждения Сократеса имели больший диапазон, чем его общая доктрина. - Политические взгляды Сократеса. - Длительный период, в течение которого Сократес исполнял свое призвание публичного собеседника. - Обвинения против него со стороны Мелета, Анита и Ликона. - Удивление вызывает то, что это обвинение не было выдвинуто раньше. - Неизбежная непопулярность, которой подвергся Сократес в ходе своей миссии. - Только благодаря всеобщей терпимости афинской демократии и населения ему удалось продержаться так долго. - Конкретные обстоятельства, приведшие к суду над Сократесом. - Частная обида Анита. - Непопулярность, возникшая у Сократеса из-за его связи с Критием и Алкивиадом. - Вражда поэтов и риториков к Сократесу. - Обвинительное заключение - основания обвинителей - влияние "Облаков" Аристофана на создание предубеждения против Сократеса. - Обвинение в коррупции в преподавании было частично основано на политических мотивах. - Извращение поэтов, в котором его обвиняли. - Замечания Ксенофонта по поводу этих обвинений. - Обвинения касаются недостатков этической теории Сократа. - Его политические строгости. - Приговор Сократесу был вынесен отчасти при его собственном участии. - Небольшое большинство, которым он был осужден. - Сократес защищался как человек, который не хотел быть оправданным. - "Платоновская апология". - Настроение Сократеса по поводу смерти. - Влияние его защиты на дикастов. - Утверждение Ксенофонта о том, что Сократес мог бы быть оправдан, если бы сам того пожелал. - Приговор - как он выносился в афинском порядке. - Сократес призван предложить контрнаказание против себя - своего поведения. - Обострение чувств у дикастов против него в связи с его поведением. - Приговор к смерти - решительное следование Сократеса своим убеждениям. - Удовлетворение Сократеса приговором, по обдуманному убеждению. - Сократес в тюрьме в течение тридцати дней - он отказывается принять средство для побега - его безмятежная смерть. - Оригинальность Сократеса. - Взгляды на Сократеса как на проповедника морали и как на скептика - первый неадекватен, второй ошибочен. - Сократес, положительный и практичный в своей цели; отрицательный только в своих средствах. - Два

момента, по которым Сократес систематически негативен. - Метод Сократеса универсального применения. - Осуждение Сократесом одного из проступков нетерпимости. - Смягчающие обстоятельства - общепризнанный в древности принцип православного правоприменения. - Количество личных врагов, нажитых Сократесом. - Его осуждение вызвано им самим. - Афиняне не раскаялись в этом.

399-496

ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ.

ЧАСТЬ II.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ГРЕЦИИ.

ГЛАВА LXII. ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ. - ОЛИГАРХИЯ ЧЕТЫРЕХСОТ В АФИНАХ.

Около года прошло между катастрофой афинян под Сиракузами и победой, которую они одержали над милезийцами, высадившись у Милета (с сентября 413 года до н. э. по сентябрь 412 года до н. э.). После первого из этих двух событий полная гибель Афин казалась и врагам, и им самим неминуемой и непоправимой. Но столь поразительным, столь быстрым и энергичным было ее восстановление, что ко времени второго события она вновь оказалась в состоянии сносной борьбы, хотя и с ограниченными ресурсами и в чисто оборонительной системе, против врагов более смелых и многочисленных, чем когда-либо. Нет причин сомневаться и в том, что ее внешние дела могли бы и дальше улучшаться, если бы в этот критический момент им не угрожала измена части ее собственных граждан, вновь поставившая ее на грань гибели, от которой она спаслась только благодаря некомпетентности своих врагов.

Первым на эту измену пошел изгнанник Алкивиад. Я уже рассказывал, как этот человек, беспринципный и энергичный, со свойственным ему пылом бросился на службу Спарте и указал ей лучшие средства для оказания помощи Сиракузам, нанесения положительного ущерба Афинам и, наконец, для провоцирования восстания среди ионийских союзников последней. Именно благодаря его смелости и личным связям в Ионии было принято решение о восстании Хиоса и Милета.

Однако в течение нескольких месяцев он сильно потерял доверие спартанцев. Восстание азиатских зависимых от Афин территорий не прошло так легко и быстро, как он предсказывал; Халкид, спартанский полководец, с которым он действовал, был разбит и убит под Милетом; Эфор Эндий, которому он оказывал главную защиту, продержался на своем посту всего один год, и его сменили другие эфоры,^[1] как раз в конце сентября или в начале октября, когда афиняне одержали вторую победу под Милетом и уже собирались блокировать город, а его личный враг царь Агис все еще продолжал преследовать его. Кроме

того, в характере этого выдающегося человека было что-то настолько эгоистичное, тщеславное и вероломное, что никто не мог рассчитывать на его верное сотрудничество. И как только случалась какая-нибудь неудача, та самая энергия и способности, которые редко его подводили, заставляли тех, с кем он действовал, с еще большей готовностью объяснять несчастье, полагая, что он их предал.

Так, после поражения при Милете царь Агис получил возможность дискредитировать Алкивиада как предателя Спарты, после чего новые эфоры сразу же отправили приказ полководцу Астиоху предать его смерти.^[2] Теперь Алкивиад имел возможность испытать разницу между спартанскими и афинскими порядками. Хотя его враги в Афинах были многочисленны и яростны и имели все преимущества, столь неописуемые в политической войне, - возможность поднять против него крик о нерелигиозности, - максимум, чего они могли добиться, это того, чтобы его вызвали домой для суда в дикастерии. В Спарте, не имея никаких веских оснований для обвинения и не имея представления о судебном разбирательстве, его враги добиваются приказа предать его смерти.

Алкивиад, однако, вовремя узнал об этом приказе и удалился в Тиссафернес. Вероятно, его предупредил сам Астиох, не зная, что столь чудовищный поступок сильно оттолкнет хианцев и милесийцев, и не предвидя всей беды, которую принесет Спарте его дезертирство. Обладая той гибкостью характера, которая позволяла ему сразу же освоиться и занять новое положение, Алкивиад вскоре нашел средства, чтобы войти в доверие к сатрапу. Теперь он начал вести не спартанскую и не афинскую, а персидскую и антиэллинскую игру: игру в двуличие, к которой сам Тиссафернес был спонтанно расположен, но в которой вмешательство ловкого греческого переговорщика было просто необходимо. В интересах великого царя, убеждал Алкивиад, оказывать эффективную помощь одной из враждующих сторон, чтобы она могла сокрушить другую: он не должен ни поднимать феникийский флот на помощь лакедемонянам, ни обеспечивать их обильным жалованьем, которое могло бы обеспечить им бесконечные сборы новых греческих сил. Он должен был так подпитывать и затягивать войну, чтобы сделать каждую из сторон орудием истощения и обнищания другой, и таким образом самому подняться на развалинах обеих: сначала разрушить Афинскую империю с помощью пелопоннесцев, а затем изгнать самих пелопоннесцев; что можно было бы сделать без особого труда, если бы они были ослаблены длительной предыдущей борьбой.

Таким образом, Алкивиад давал советы, как персидский советник, не противоречащие политике сузского двора. Но он редко давал советы, не руководствуясь собственными интересами, амбициями или антипатиями. Бесцеремонно изгнанный лакедемонянами, он теперь был вынужден искать восстановления в своей стране. Для достижения этой цели необходимо было не только сохранить ее от полного разорения, но и представить себя афинянам как человека, который в случае восстановления мог бы отвлечь помощь Тиссафернеса от Лакедемонии к Афинам. Далее он предложил сатрапу, что, хотя в его интересах не допустить, чтобы сухопутная и морская власть оказались в одних руках, будь то лакедемоняне или афиняне, тем не менее будет легче уладить дела с империей и притязаниями Афин, чем с притязаниями Лакедемонии. Первая, утверждал он, не стремилась и не исповедовала никакой другой цели, кроме подчинения своих морских владений, в обмен на что она охотно оставила бы всех азиатских греков в руках Великого Царя; в то время как вторая, отказавшись от всякой идеи империи и демонстративно заявляя, что стремится к всеобщему наделению всех греческих городов правами, не могла бы с малейшей последовательностью лишить азиатских греков той же привилегии. В пользу этого мнения говорят возражения, которые Фераменес и многие пелопоннесские офицеры

высказали против первой конвенции, заключенной Халкидеем и Алкивиадом с Тиссафернесом: возражения, впоследствии возобновленные Лихасом даже против второй измененной конвенции Фераменеса и сопровождаемые возмущенным протестом против идеи уступки Великому царю всей территории, которой когда-либо владели его предшественники[4].

Все эти последние аргументы, с помощью которых Алкивиад пытался создать в сознании сатрапа предпочтение Афинам, были либо бесполезны, либо основаны на ложных предположениях. Ведь, с одной стороны, даже Лихас никогда не отказывался согласиться на передачу азиатских греков Персии; с другой стороны, Афинская империя, пока она сохраняла хоть какую-то империю, была более грозной для Персии, чем любые усилия, предпринятые Спартой под бескорыстным предлогом освобождения греческих городов. Тиссафернес также не был склонен к такому позитивному впечатлению; хотя он сильно чувствовал силу отрицательных рекомендаций Алкивиада, что он не должен делать для пелопоннесцев больше, чем достаточно, чтобы прокормить войну, не гарантируя им ни быстрого, ни решающего успеха: или, скорее, эта двуличность была настолько благоприятна для его восточного ума, что Алкивиаду не было нужды рекомендовать ее. Настоящее назначение афинского изгнанника заключалось в том, чтобы помогать сатрапу осуществлять задуманное и предоставлять ему те благовидные предлоги и оправдания, которые он должен был выдавать взамен действительных поставок людей и денег. Утвердившись вместе с Тиссафернесом в Магнесии - в том самом месте, которое за пятьдесят лет до этого занимал другой афинский изгнанник, столь же беспринципный, но еще более умный, Фемистокл, - Алкивиад служил толкователем его взглядов во всех его беседах с греками и, похоже, был в полном его доверии: Он воспользовался этим, чтобы обманом выдать себя перед афинянами на Самосе за человека, способного обратить персидские богатства на помощь Афинам.

Первая выплата, сделанная Тиссафернесом сразу после взятия Иаса и восставшего Аморгаса пелопоннесцам в Милете, была из расчета одна драхма на голову. Но было объявлено, что в будущем она будет уменьшена наполовину, и для этого уменьшения Алкивиад взялся обосновать причину. Афиняне, по его словам, давали не более половины драхмы не потому, что не могли позволить себе больше, а потому, что, исходя из своего долгого опыта в морском деле, они убедились, что более высокое жалованье портит дисциплину моряков, приводя их к излишествам и чрезмерным возлияниям, а также побуждая к слишком быстрому предоставлению отгулов в уверенности, что высокое жалованье побудит их вернуться, когда их позовут.[5] Поскольку он, вероятно, не ожидал, что такие уловки, применяемые в момент, когда Афины были настолько бедны, что не могли даже выплатить полдрахмы за голову, убедят кого-либо, он побудил Тиссафернеса усилить их действие отдельными взятками генералам и триерархам: этот способ аргументации был найден эффективным, чтобы заглушить жалобы всех, за единственным исключением сиракузца Гермocratesа. Что касается других греческих городов, которые прислали просить денежной помощи, и особенно Хиоса, Алкивиад высказался менее сдержанно. По его словам, до сих пор они были вынуждены помогать Афинам, а теперь, когда они избавились от этой платы, они не должны уклоняться от того, чтобы возложить на себя равное или даже большее бремя для своей собственной обороны. Он также добавил, что со стороны хиан, самого богатого народа Греции, если они требовали иностранные военные силы для своей защиты, то в то же время требовали, чтобы другие предоставляли средства для их оплаты, это было не меньшей наглостью, чем просто наглость.[6] В то же время, однако, он намекнул - для поддержания надежд на будущее, - что Тиссафернес в настоящее время ведет войну за свой счет; но если в будущем из Суз будут поступать денежные переводы, то полная ставка оплаты будет возобновлена, с добавлением помощи греческим городам любым другим

способом, который может быть разумно запрошен. К этому обещанию добавлялось заверение, что феникийский флот сейчас находится в стадии оснащения и вскоре будет приведен им на помощь, чтобы обеспечить им превосходство, которое сделает сопротивление безнадежным: заверение не только обманчивое, но и озорное, поскольку оно было использовано, чтобы отговорить их от немедленных действий и парализовать их флот в моменты его наибольшей бодрости и эффективности. Даже пониженное жалованье выдавалось так нерегулярно, а пелопоннесские войска так голодали, что двуличность сатрапа стала очевидной для всех, и довести ее до конца удалось только благодаря подкупу офицеров[7].

Пока Алкивиад в качестве доверенного лица и переводчика Тиссафернеса проводил эту антипелопоннесскую политику в течение осени и зимы 412-411 гг. до н. э., - частично во время пребывания пелопоннесского флота в Милете, частично после его отплытия в Книд и на Родос, - он в то же время вступал в переписку с афинскими офицерами на Самосе. Его разрыв с пелопоннесцами, как и его мнимое положение на службе у Тиссафернеса, были фактами, хорошо известными среди афинского вооружения; его план состоял в том, чтобы добиться восстановления и возобновления власти в своем родном городе, представляя себя компетентным, чтобы привлечь к ней помощь и союз Персии, благодаря своему превосходству над умом сатрапа. Однако его благосклонность к демократии была настолько общеизвестна, что он отчаялся осуществить свое возвращение, если только не свяжет его с олигархической революцией, которая, к тому же, не менее удовлетворяла его чувства мести за прошлое, чем его амбиции на будущее. Поэтому он направил частное послание офицерам и триерархам на Самосе, некоторые из которых, несомненно, были его личными друзьями, желая запомниться "лучшим людям" в вооружении (8) - таково было одно из устойчивых выражений, по которым олигархи знали и описывали друг друга) и выражая желание снова стать гражданином среди них, приведя с собой Тиссафернеса в качестве их союзника. Но он согласился бы на это только при условии формирования олигархического правительства; он никогда больше не ступит на порог одиозной демократии, которой он был обязан своим изгнанием[9].

Таков был первый зародыш того временного бедствия, которое едва не привело Афины к полному разорению, названного Олигархией четырехсот: предложение того же изгнанника, который уже так глубоко ранил свою страну, отправив Гилиппа в Сиракузы, а лакедемонский гарнизон в Декелею. Пока еще никто на Самосе не помышлял о революции, но стоило этой идее зародиться, как триерархи и богачи с жадностью ухватились за нее. Подчинить демократию ради собственной выгоды и получить за это сокровища Персии в качестве средства для продолжения войны с пелопоннесцами - это была большая удача, чем они могли надеяться. На фоне истощения государственной казны в Афинах и потери дани с зависимых территорий, именно на частных, и прежде всего богатых, собственников ложились расходы на военные операции, от бремени которых они видели перспективу облегчения, соединенную с увеличением шансов на победу. Обрадованная столь заманчивым обещанием, группа из них переправилась с Самоса на материк, чтобы лично побеседовать с Алкивиадом, который снова лично повторил свои заверения в том, что он приведет не только Тиссафернеса, но и самого великого царя к активному союзу и сотрудничеству с Афинами, если они уберут афинскую демократию, которой, по его словам, царь не мог доверять.[10] Он, несомненно, не упустил изложить и другую сторону альтернативы: если предложение будет отвергнуто, персидская помощь будет с радостью брошена на чашу весов пелопоннесцев, и в этом случае у Афин больше не будет никакой надежды на безопасность.

По возвращении депутации с этими свежими заверениями олигархические люди на Самосе собрались в большом количестве и с удвоенным рвением принялись за свои меры по подрыву демократии. Они даже осмелились открыто говорить об этом проекте среди массы вооруженных людей, которые слушали его лишь с отвращением, но были, по крайней мере, успокоены, хотя и не удовлетворены, когда им сказали, что персидская казна будет открыта для них при условии, и только при условии, что они откажутся от своей демократии. В это время так остро ощущалась необходимость в иностранных деньгах для целей войны, так велика была уверенность в разорении, если персидские сокровища пойдут на помощь врагу, что самый демократичный афинянин вполне мог колебаться, когда перед ним предстала такая альтернатива. Олигархические заговорщики, однако, прекрасно понимали, что вооружение настроено против них, что лучшее, чего они могут от него ожидать, - это неохотное согласие, и что они должны совершить революцию своими руками и под своим руководством. Они объединились в политическую конфедерацию, или гетерию, для обсуждения наилучших мер по достижению своей цели. Было решено отправить в Афины депутацию во главе с Пейсандром^[11], чтобы сообщить о новых перспективах и вовлечь постоянные олигархические клубы, или гетеры, в активное сотрудничество с целью насильственного разрушения демократии и дальнейшего создания олигархических правительств во всех оставшихся зависимых от Афин территориях. Они полагали, что таким образом удастся склонить эти зависимые территории к сохранению верности Афинам, возможно, даже, что некоторые из тех, кто уже взбунтовался, вернуться к своей верности, когда Афины будут освобождены от демократии и поставлены под власть своих "лучших и добродетельных граждан".

До сих пор предлагалось принять сделку: низвержение афинской демократии и восстановление Алкивиада, с одной стороны, против сердечного сотрудничества и бесплатных поставок золота из Персии - с другой. Но какая была гарантия, что такая сделка будет реализована или что после выполнения первой части последует вторая? Не было абсолютно никакой гарантии, кроме слова Алкивиада, которому мало кто доверял, даже когда он обещал то, что в его силах было выполнить, как мы помним из его памятного разговора с лакедемонскими посланниками в Афинах, а в данном случае он ручался за нечто само по себе экстравагантное и нелепое. Ибо какой разумный мотив мог заставить Великого Царя строить свою внешнюю политику в соответствии с интересами Алкивиада или внушить ему столь живой интерес к замене олигархии демократией в Афинах? Это был вопрос, который олигархические заговорщики на Самосе не только не утруждали себя поднимать, но и имели все основания подавлять. Предложение Алкивиада полностью совпадало с их политическими интересами и амбициями. Их целью было уничтожить демократию и завладеть правительством; а обещание персидского золота, если они смогут его аккредитовать, было неоценимой ступенькой на пути к этой цели, независимо от того, оказалось ли оно впоследствии заблуждением или нет. Вероятно, что, будучи сильно заинтересованными в том, чтобы поверить в это самим, и еще более заинтересованными в том, чтобы заставить поверить в это других, они уговаривали друг друга, искренне убеждая в этом. Не обращая внимания на этот факт, мы не можем понять, как слово такого человека, как Алкивиад, по такому вопросу могло быть так безоговорочно принято, что привело в движение целую вереницу новых и судьбоносных событий.

Был один человек, и только один, насколько нам известно, который осмелился открыто поставить это под сомнение. Это был Фриних, один из генералов флота, который недавно давал ценные советы после победы над Милетом; человек дальновидный и проницательный, но лично враждебный Алкивиаду и прекрасно видевший его характер и проекты. Хотя впоследствии Фриних был одним из главных организаторов олигархического движения,

когда оно отделилось от Алкивиада и стало враждебным ему, но в сложившихся обстоятельствах он его полностью отвергал. 12) Алкивиад, по его словам, не был привязан к олигархическому правительству, а не к демократическому, и на него нельзя было положиться в том, что он будет поддерживать его после того, как оно будет установлено. Его единственной целью было использовать формирующийся олигархический заговор для собственной реставрации, которая, если бы она состоялась, не могла бы не внести политический разлад в лагерь, что было бы величайшим несчастьем, которое могло произойти в настоящее время. Что касается персидского царя, то было неразумно ожидать, что он бросится на помощь афинянам, своим старым врагам, к которым у него не было доверия, в то время как у него в союзниках были пелопоннесцы с хорошим флотом и мощными городами на его собственной территории, от которых он никогда не испытывал ни оскорблений, ни досады. Более того, зависимые Афины, которым теперь предлагалось одновременно с самими Афинами дать благословение олигархического правления, восприняли бы это благодеяние с безразличием. Те, кто уже взбунтовался, не вернутся, те, кто еще сохранил верность, не будут склонны оставаться таковыми дольше. Их цель - получить автономию, либо в условиях олигархии, либо демократии, в зависимости от обстоятельств. Конечно, они не ожидали бы лучшего обращения от олигархического правительства в Афинах, чем от демократического; ведь они знали, что те самозванные "добрые и добродетельные" люди, которые составят олигархию, были, как министры демократии, главными советниками и подстрекателями народа к незаконным поступкам, чаще всего не для чего иного, как для своей личной выгоды. От афинской олигархии гражданам этих зависимых территорий нечего было ожидать, кроме жестоких казней без всякого судебного разбирательства; но при демократии они могли получить убежище и средства обжалования, в то время как их гонители подлежали сдерживанию и наказанию со стороны народа и народных дикастерий. Таково, утверждал Фриних на основании своих личных сведений, было подлинное чувство среди зависимых от Афин народов. 13] Показав, таким образом, иллюзорность расчетов заговорщиков - в отношении Алкивиада, Персии и союзных зависимых народов, - Фриних в заключение заявил решительный протест против принятия предложений Алкивиада.

Но в этом протесте, подтвержденном впоследствии результатами, он был почти одинок. Олигархические заговорщики так яростно меняли свое мнение, что было решено немедленно послать Пейсандра и других в Афины, чтобы завершить олигархическую революцию и отозвать Алкивиада, а заодно предложить народу нового союзника - Тиссафернеса.

Фриних хорошо знал, какие последствия будут для него самого, если это свершится, как он предвидел, что это, вероятно, произойдет, - месть его врага Алкивиада против его недавней оппозиции. Убедившись, что тот уничтожит его, он заранее принял меры для уничтожения Алкивиада, даже путем предательского сообщения лакедемонскому адмиралу Астиоху в Милет, которому он послал тайный отчет об интригах, которые афинский изгнанник вел на Самосе в ущерб пелопоннесцам, предисловив его неловким извинением за то, что он пожертвовал интересами своей страны ради необходимости защитить себя от личного врага. Но Фриних был плохо осведомлен о реальном характере спартанского полководца и о его отношениях с Тиссафернесом и Алкивиадом. Последний не только находился сейчас в Магнесии, под защитой сатрапа и вне власти лакедемонян, но и Астиох, предатель своего долга из-за золота Тиссафернеса, отправился туда, чтобы показать письмо Фриниха тому самому человеку, которого оно должно было разоблачить. Алкивиад сразу же послал полководцам и офицерам на Самосе известие о шаге Фриниха и потребовал предать его смерти.

Жизнь Фриниха теперь висела на волоске, и, вероятно, ее сохранило лишь уважение к судебным формальностям, столь глубоко укоренившееся в афинском характере. В критической ситуации он прибег к еще более изощренному приему, чтобы спастись. Он отправил Астиоху второе письмо, в котором жаловался на нарушение доверия к нему, но в то же время намекал, что теперь готов передать лакедемонянам лагерь и вооружение на Самосе. Он пригласил Астиоха прийти и атаковать это место, которое еще не было укреплено, подробно объяснив, каким образом лучше всего провести атаку. В заключение он сказал, что это, как и любое другое средство защиты, должно быть прощено тому, чья жизнь находится в опасности из-за личного врага. Предвидя, что Астиох предаст это письмо так же, как и первое, Фриних выждал положенное время, а затем сообщил в лагерь о намерении врага совершить нападение, как будто оно дошло до него по частным сведениям. Он настаивал на необходимости немедленных мер предосторожности, а сам, как генерал, руководил работами по возведению укреплений, которые вскоре были завершены. Вскоре пришло письмо от Алкивиада, в котором армия сообщала, что Фриних предал их и что пелопоннесцы готовы к нападению. Но это письмо, пришедшее после того, как меры предосторожности, принятые по приказу самого Фриниха, были уже завершены, было истолковано как простая уловка самого Алкивиада, благодаря его осведомленности о намерениях пелопоннесцев, чтобы поднять обвинение в изменнической переписке против своего личного врага. Впечатление, произведенное вторым письмом, уничтожило пятно, оставленное на Фринихе первым, так что последний был оправдан по обоим обвинениям^[14].

Но Фриних, хотя ему и удалось спастись, потерпел полную неудачу в своем маневре против влияния и жизни Алкивиада, в пользу которого олигархическое движение не только продолжалось, но и было перенесено с Самоса в Афины. Прибыв туда, Пейсандр и его спутники представили общественному собранию проекты, которые были задуманы олигархами на Самосе. Народу предлагалось восстановить Алкивиада и отказаться от демократической конституции, а взамен получить в союзники персидского царя и победить пелопоннесцев.^[15] Буря, поднятая этими предложениями в общественном как собрании, была неистовой. Многие ораторы энергично защищали демократию; мало кто, если вообще кто-либо, выступал против нее. Противники Алкивиада возмущенно заявили о вреде его восстановления в нарушение законов и отмены судебного приговора, а Эвмолпиды и Керики, священные семьи, связанные с Элевсинскими мистериями, которые Алкивиад нарушил, торжественно заявили о своем протесте на религиозной почве в том же духе. Против всех этих горячих противников, чьи пылкие инвективы вызвали полное сочувствие собрания, у Пейсандра был лишь один простой ответ. Он последовательно вызывал их по именам и задавал каждому вопрос: "Какая у вас надежда на спасение города, когда пелопоннесцы имеют против нас морские силы, полностью равные нашим, и большее число союзных городов, и когда царь, а также Тиссафернес снабжают их деньгами, в то время как у нас их не осталось? Какая у вас надежда на спасение, если только мы не сможем убедить царя перейти на нашу сторону?" Ответом было меланхоличное отрицание, а может быть, и не менее меланхоличное молчание. "Ну что ж, - возразил Пейсандр, - этой цели невозможно достичь, если мы не будем вести наши политические дела в будущем более умеренно, не передадим власть в руки немногих и не вспомним Алкивиада, единственного ныне живущего человека, который компетентен в этом деле. При нынешних обстоятельствах мы, конечно, не должны придавать больше значения нашей политической конституции, чем спасению города; тем более что то, что мы сейчас принимаем, может быть впоследствии изменено, если окажется, что оно не отвечает требованиям".

Против предложенных олигархических преобразований противники собрания были столь же гневны и единодушны. Но их заставила замолчать настоятельная необходимость, как в свое

время вооружение на Самосе; и если допустить альтернативу, предложенную Пейсандром, как я уже отмечал, то самый демократичный гражданин мог оказаться в затруднении при голосовании. Выступал ли кто-либо из ораторов, подобно Фриниху на Самосе, с аргументами в пользу ошибочности этой альтернативы и призывал Пейсандра дать какую-то гарантию, лучшую, чем простое заверение, грядущих благ, нам не известно. Но общий голос собрания, неохотно и только в надежде на будущие перемены, одобрил его рекомендацию[16] Он и десять других посланников, наделенных всеми полномочиями для ведения переговоров с Алкивиадом и Тиссафернесом, были немедленно отправлены в Ионию. В то же время Пейсандр добился от собрания голосования за отстранение Фриниха от командования; под обвинениями в предательстве, вызвавшем потерю Иасуса и пленение Аморгеса после битвы при Милете, но из реальной уверенности, что он окажется непреодолимым препятствием для всех переговоров с Алкивиадом. Сместив таким образом Фриниха и его коллегу Скиронидеса, Леон и Диомедон были отправлены на Самос в качестве командиров вместо них; назначение, последствия которого, как мы увидим в дальнейшем, Пейсандр далеко не предвидел.

Перед отъездом в Азию он предпринял еще более важный шаг. Он прекрасно понимал, что недавнее голосование - результат страха, навеянного войной, представляющее настроения, полностью расходящиеся с мнением собрания, и полученное лишь как плата за помощь Персии против иностранного врага - никогда не станет реальностью в результате спонтанного действия самого народа. Это был, конечно, необходимый первый шаг; отчасти как авторитет для самого себя, отчасти как признание временной слабости демократии, а также как санкция и поощрение олигархических сил, которые должны были проявить себя. Но оставалось сделать второй шаг: призвать эти силы к энергичным действиям, организовать насилие, достаточное для того, чтобы добиться от народа фактического подчинения в дополнение к словесному молчаливому согласию, и таким образом, как бы связать пациента, пока процесс его ослабления доведен до конца. Пейсандр посетил все различные политические клубы, заговоры или *hetæries*, которые были привычными и известными в Афинах; ассоциации, связанные клятвой, среди богатых граждан, частично для целей развлечения, но в основном, обязывающие членов поддерживать друг друга в объектах политических амбиций, в судебных процессах, в обвинении или защите официальных лиц после истечения срока полномочий, в проведении пунктов через общественное собрание и т.д. Среди этих клубов было большинство "лучших граждан, хороших и благородных людей, элегантных людей, известных, умеренных, честных и умеренных людей"[17] и т. д., если воспользоваться той комплиментарной фразеологией, которой богатые и антипопулярные политики обозначали друг друга как в древние, так и в современные времена. И хотя среди них, несомненно, были люди, заслуживающие этих названий в их лучшем смысле, все же общий характер клубов был не менее исключительным и олигархическим. В деталях политической жизни они отличались как пристрастиями, так и антипатиями, и чаще находились в оппозиции, чем в сотрудничестве друг с другом. Но вместе они представляли собой грозную антинародную силу, которая, как правило, либо затихала, либо рассеивалась в ходе осуществления мелких политических мер и отдельных личных успехов, но в особый кризисный момент могла быть вызвана, организована и пущена в совместное наступление для подрыва демократии. Таково было важное движение, начатое Пейсандром. Он посетил отдельно каждый из этих клубов, ввел их в связь друг с другом и призвал их всех к совместным агрессивным действиям против их общего врага - демократии, в тот момент, когда она уже была запугана и могла быть окончательно свергнута[18].

Приняв другие необходимые меры для достижения той же цели, Пейсандр вместе со своими коллегами покинул Афины, чтобы вступить в переговоры с Тиссафернесом. Но сотрудничество и агрессивное движение клубов, которые он основал, продолжалось с еще большим рвением во время его отсутствия и даже попало в руки более организованные и эффективные, чем его собственные. Учитель риторики Антифон из рода Рамнов взял это дело в свои руки, завоевал доверие клубов и разработал план кампании против демократии. В частной жизни он был человеком приятным и не склонным к денежной коррупции, а в других отношениях обладал выдающимися способностями - в изобретательности, суждениях, речи и действиях. Профессия, к которой он принадлежал, вообще была непопулярна среди демократии, что исключало его возможность выступать в качестве оратора ни в общественном собрании, ни в дикастерии: ведь учитель риторики, выступающий в любом из них против частного оратора, чтобы повторить уже сделанное однажды замечание, считался в таком же несправедливом положении, в каком в наше время оказался бы мастер фехтования, сражающийся на дуэли с джентльменом. Лишенный таким образом показной славы афинской политической жизни, Антифон стал еще более искусным мастером советов, расчетов, интриг и риторических сочинений,^[19] чтобы помочь знаменитости других; настолько, что его молчаливая помощь в политических и судебных дебатах, как своего рода камер-консультанта, высоко ценилась и в значительной степени оплачивалась. Именно такие таланты и требовались для данного случая; Антифон же, ненавидевший демократию за то, что она до сих пор держала его в тени, с радостью направил все свои таланты на ее ниспровержение.

Именно ему Пейсандр, уезжая, доверил главным образом организацию антинародных клубов для завершения революции, которая уже была в ближайших планах. Его главным помощником был Фераменес, еще один афинянин, названный первым, обладавший выдающимися способностями и хитростью. Его отец (то ли по рождению, то ли по усыновлению), Агнон, был одним из прокулисов, а в прошлом - основателем Амфиполя. Даже Фриних, чью проницательность мы уже имели случай оценить, и который из ненависти к Алкивиаду решительно высказался против олигархического движения на Самосе, после отстранения от командования стал ревностно содействовать движению в Афинах. Он привлек на сторону Антифона и Тераменеса изворотливую голову, не уступающую их голове, в сочетании со смелостью и дерзостью, даже превосходящими ее. Под руководством таких искусных вождей антинародные силы Афин были организованы с глубоким мастерством и направлены с ловким коварством, которое никогда прежде не наблюдалось в Греции.

В то время, когда Пейсандр и другие посланники достигли Ионии, по-видимому, в конце января или начале февраля 411 года до н. э., пелопоннесский флот уже покинул Милет и направился к Книду и Родосу, на который Леон и Диомедон поспешно спустились с соседнего острова Халка. В то же время афинское войско на Хиосе продвигалось вперед в осаде этого места и строительстве соседнего форта в Дельфинии. Педарит, лакедемонский губернатор острова, отправил срочные послания с просьбой о помощи пелопоннесцам на Родосе, но помощи не последовало, и тогда он решил предпринять общую вылазку и напасть на афинян со всеми своими силами, как иностранными, так и хиосскими. Хотя поначалу он добился некоторого успеха, битва закончилась его полным поражением и смертью, с большой резней хианских войск и потерей многих, чьи щиты были захвачены во время преследования.^[20] Хиане, оказавшиеся в еще более тяжелом положении, чем прежде, и начавшие сильно страдать от голода, смогли удержаться только благодаря частичному подкреплению, полученному вскоре после этого от пелопоннесских гвардейцев в Милете. Спартанец по имени Леон, вышедший на судне Антисфена в качестве одного из эпибатов,

или морских пехотинцев, возглавил это подкрепление из двенадцати трирем, в основном турийских и сиракузских, сменив Педарита на посту главного командира острова[21].

Именно в то время, когда Хиос, казалось, мог быть возвращен Афинам, а превосходящий пелопоннесский флот был парализован на Родосе персидскими интригами и подкупам, Пейсандр прибыл в Ионию, чтобы начать переговоры с Алкивиадом и Тиссафернесом. Ему удалось объявить, что подрыв демократии в Афинах уже начался и скоро будет завершен, и теперь он требует обещанную в обмен цену - персидский союз и помощь Афинам против пелопоннесцев. Но Алкивиад прекрасно понимал, что пообещал то, что не имел ни малейшего шанса выполнить. Сатрап, похоже, последовал его совету - или, скорее, своей собственной склонности, используя Алкивиادا как инструмент и помощника, - стремясь измотать обе стороны и держать их почти на равных, пока каждая не разорит другую. Но он никак не хотел отождествлять себя с Афинами и решительно порывать с пелопоннесцами, особенно в тот момент, когда их флот был больше других и занимал остров, близкий к его собственной сатрапии. Поэтому Алкивиад, вызванный афинскими посланниками для выполнения своего обязательства, оказался перед дилеммой, из которой мог выбраться только одним из своих характерных маневров.

Приняв посланников сам вместе с Тиссафернесом и выступая от имени последнего, он довел свои требования до такой степени, что, как он знал, афиняне никогда не уступят, чтобы казалось, что разрыв произошел на их стороне, а не на его. Во-первых, он требовал уступить Великому царю всю Ионию, затем все соседние острова и некоторые другие пункты.[22] Как ни велики были эти требования, включающие уступку Лесбоса и Самоса, а также Хиоса, и замену персидской монархии в том состоянии, в котором она находилась в 496 году до н. э., до ионийского восстания, Пейсандр и его коллеги удовлетворили их все: так что Алкивиад был на грани, видя, что его обман раскрыт и расстроен. Наконец он вспомнил о новом требовании, которое самым нежным образом затрагивало как афинскую гордость, так и афинскую безопасность. Он потребовал, чтобы персидский царь мог строить военные корабли в неограниченном количестве и держать их в плавании вдоль побережья, как он сочтет нужным, на всех этих новых территориях. После уже сделанных огромных уступок посланники не только сразу же отвергли это новое требование, но и возмутились им как оскорблением, которое разоблачает истинный замысел и цели Алкивиада. Оно не только отменяло хвастливый договор под названием Каллийский мир, заключенный около сорока лет назад между Афинами и Персией и ограничивавший персидские военные корабли морем к востоку от Фасеклиса, но и уничтожало морскую империю Афин и ставило под угрозу безопасность всех побережий и островов Эгейского моря. Видеть Лесбос, Хиос, Самос и т. д. во владении Персии было достаточно больно; но если на этих островах появятся мощные персидские флоты, это станет несомненным предвестником и средством дальнейших завоеваний на западе и возродит агрессивные настроения великого царя, какими они были в начале правления Ксеркса. Пейсандр и его товарищи, резко прервав спор, вернулись на Самос, возмущенные открытием, которое они сделали впервые, что Алкивиадес с самого начала плутовал с ними и выдвигал условия, которые, как он знал, были неприемлемы.[23] Однако, похоже, они считали, что Алкивиадес действовал так не потому, что не *мог*, а потому, что не *хотел* заключать обсуждаемый союз.[24] Они подозревали его в том, что он играет в ложь с олигархическим движением, которое сам же и спровоцировал, и проецирует достижение своей собственной реставрации в сочетании с союзом Тиссафернеса в лоно демократии, которую он вначале осуждал. Именно в таком свете они представляли его поведение, выражая свое разочарование в ругательствах по поводу его двуличия и утверждениях, что он все-таки не годится для места в олигархическом обществе. Такие заявления, распространенные на Самосе, чтобы объяснить неожиданную неудачу в

осуществлении надежд, которые они породили, создали среди вооруженных сил впечатление, что Алкивиад действительно благосклонен к демократии, в то же время оставив без изменений престиж своего беспредельного превосходства над Тиссафернесом и Великим царем. Сейчас мы увидим, к каким последствиям привело это убеждение.

Однако сразу же после разрыва переговоров сатрап предпринял шаг, который должен был полностью разрушить надежды афинян на персидскую помощь. Хотя он продолжал придерживаться своей политики, не оказывая решительной помощи ни одной из сторон и лишь затягивая войну, чтобы ослабить обе, он все же начал опасаться, что затягивает дело против пелопоннесцев, которые уже два месяца бездействовали на Родосе с их большим флотом, вытесненным на берег. У него не было ни одного действующего договора с ними, поскольку Лихас отменил два предыдущих; он не обеспечивал их ни жалованьем, ни содержанием. Его взятки офицерам до сих пор удерживали вооружение в спокойном состоянии, но мы не видим, как такое большое количество людей находило себе пропитание. ^{25]} Однако теперь он был предупрежден, что они больше не смогут найти себе пропитание, и что они, вероятно, дезертируют, или совершат грабежи на побережье его сатрапии, или, возможно, будут вынуждены поспешить на общие действия с афинянами, при отчаянных обстоятельствах. Под влиянием этих опасений он почувствовал себя вынужденным снова вступить с ними в сношения, снабдить их жалованьем и заключить с ними третью конвенцию, предложение которой он отказался принять в Книде. Поэтому он отправился в Каунус, пригласил пелопоннесских вождей в Милет и заключил с ними вблизи этого города договор следующего содержания

"В этот тринадцатый год царствования Дария, в эфорию Алексиппида в Лакедемонии, лакедемоняне и их союзники, с Тиссой рһernêс и Гиераменесом и сыновьями Фарнака, заключают договор о делах царя и лакедемонян и их союзников. Территория царя, сколько ее есть в Азии, должна принадлежать царю. Пусть царь решает, как ему угодно, относительно своей собственной территории. Лакедемоняне и их союзники не должны приближаться к территории царя с какой-либо коварной целью, и царь не должен приближаться к территории лакедемонян и их союзников с какой-либо подобной целью. Если кто-либо из лакедемонян или их союзников приблизится к царской территории с озорной целью, лакедемоняне и их союзники должны воспрепятствовать ему; если кто-либо из царской территории приблизится к лакедемонянам или их союзникам с озорной целью, царь должен воспрепятствовать ему. Тиссафернес должен обеспечить жалованье и содержание флота, который сейчас находится в Лакедемонии, в размере, уже оговоренном, до прибытия царского флота; после этого лакедемоняне должны сами содержать свой флот, если сочтут нужным; или, если они предпочтут, Тиссафернес должен обеспечить содержание, а по окончании войны лакедемоняне должны вернуть ему все, что они получили. После прибытия царского флота оба флота будут вести войну совместно, так, как будет угодно Тиссафернесу, лакедемонянам и их союзникам. Если они решат закончить войну с афинянами, то только по общему согласию"^[26].

Сравнивая этот третий договор с двумя предыдущими, мы видим, что теперь не оговаривается никакая территория, кроме континента Азия, который безоговорочно застрахован для царя, разумеется, со всеми греческими жителями, поселенными на нем. Но дипломатическая тонкость договора подразумевает, что это не вся территория, на которую царь имеет право претендовать, хотя ничего не оговаривается относительно остальной части.^[27] Далее, этот третий договор включает Фарнабаза, сына Фарнакеса, с его сатрапией Даскилиум, и Гиераменеса с его округом, размеры и положение которого нам неизвестны; в то время как в предыдущих договорах ни один

сатрап, кроме Тиссафернеса, не был затронут. Следует помнить, что в состав пелопоннесского флота входили те двадцать семь трирем, которые были переправлены Каллигеем специально для помощи Фарнабазу, и поэтому последний теперь, естественно, стал участником общих действий. В-третьих, здесь мы впервые находим официальное объявление о том, что персидский флот будет переброшен в качестве вспомогательного для пелопоннессцев. Это было обещание, которое сатрап теперь изложил более ясно, чем раньше, чтобы развлечь их и ослабить недоверие, которое они начали испытывать к его искренности. Оно служило временной целью удержать их от немедленного отчаянного поступка, враждебного его интересам, на что он только и рассчитывал. Поэтому, пока он возобновлял свои платежи, он занимался приказами и приготовлениями для флота из Феникии[28].

Теперь пелопоннесскому флоту было приказано двинуться с Родоса. Однако прежде чем он покинул этот остров, к нему прибыли посланцы из Эретрии и Оропа; последнее место, зависимое от северо-восточной границы Аттики, хотя и защищенное афинским гарнизоном, недавно было захвачено беотийцами. Потеря Оропа значительно увеличила возможности для восстания Эвбеи, и посланники пришли просить помощи у пелопоннесского флота, чтобы поддержать этот остров в этом замысле. Однако пелопоннесские полководцы считали себя обязанными прежде всего облегчить положение страдальцев на Хиосе, к которому они и направились в первую очередь. Но едва они миновали Триопский мыс, как увидели, что афинская эскадра из Халки преследует их. Хотя ни одна из сторон не желала генерального сражения, но они ясно видели, что афиняне не позволят им без него пройти мимо Самоса и оказать помощь Хиосу. Поэтому, отказавшись от проекта освобождения Хиоса, они вновь сосредоточили свои силы у Милета, а афинский флот был также вновь объединен у Самоса.[29] Примерно в конце марта 411 года до н. э. оба флота сменились на тех местах, которые они занимали четыре месяца назад.

После разрыва с Алкивиадом и тем более после этого явного примирения Тиссафернеса с пелопоннессцами Пейсандр и олигархические заговорщики на Самосе вынуждены были пересмотреть свой план действий. Они не стали бы начинать движение, если бы не были подстрекаемы Алкивиадом и не снабжены им коварным заблуждением о персидском союзе, чтобы обмануть и парализовать народ. У них, конечно, было достаточно мотивов из личного честолюбия, чтобы начать его самостоятельно, помимо Алкивиада; но без надежд, одинаково полезных для их цели, ложных или истинных, связанных с его именем, у них не было бы шансов сделать первый шаг. Однако теперь этот первый шаг был сделан, прежде чем рассеялись обманчивые надежды на персидское золото. Афинский народ был ознакомлен с идеей подрыва своей конституции в обмен на определенную цену: оставалось вырвать у него острием меча, не заплатив цену, то, что он согласился продать. 30] Более того, руководители затеи чувствовали себя уже скомпрометированными, так что не могли спокойно отступить. Они привели в движение своих партизан в Афинах, где система убийственного запугивания, хотя новости еще не достигли Самоса, была уже в полном разгаре: так что они чувствовали себя вынужденными упорствовать, как единственный шанс сохранить себя. В то же время все слабые притязания на общественную пользу в виде персидского союза, которые были первоначально приложены к заговору и которые могли бы привлечь к участию в нем некоторых робких патриотов, теперь были полностью отменены; и ничего не оставалось, кроме голой, эгоистичной и беспринципной схемы амбиций, не только разрушающей свободу Афин дома, но калечащей и ставящей ее под удар перед внешним врагом в момент, когда все ее силы едва ли были достаточны для борьбы. Заговорщики решили во что бы то ни стало упорствовать как в разрушении конституции, так и в ведении внешней войны. Большинство из них, будучи богатыми людьми, были готовы, как замечает

Фукидид, оплатить расходы из собственных кошельков, ведь они боролись не за свою страну, а за собственную власть и выгоду[31].

Не теряя времени, они приступили к исполнению, сразу после возвращения на Самос после неудачной встречи с Алкивиадом. Отправив Пейсандра с пятью посланниками в Афины, чтобы завершить начатое там дело, а остальных пятерых - для олигархизации зависимых союзников, они организовали все свои партизанские силы в вооружении и начали принимать меры для уничтожения демократии на самом Самосе. Эта демократия была результатом насильственной революции, совершенной около десяти месяцев назад с помощью трех афинских трирем. С тех пор она уберегла Самос от восстания, как Хиос, а теперь стала средством сохранения демократии в самих Афинах. Сторонники Пейсандра, считая его непобедимым препятствием для своих замыслов, сумели переманить на свою сторону часть ведущих самосцев, которые теперь находились под его властью. Триста человек из них, часть тех, кто за десять месяцев до этого поднялся с оружием в руках, чтобы свергнуть существовавшую олигархию, теперь вступили в заговор вместе с афинскими олигархами, чтобы свергнуть саамскую демократию и завладеть правительством. Новый союз был закреплен и скреплен, в соответствии с истинно олигархической практикой, убийством без суда и следствия или убийством, для которого была найдена подходящая жертва. Афинянин Гипербол, который за несколько лет до этого был изгнан коалицией Никиаса и Алкивиада вместе с их сторонниками, - изгнан, как рассказывает Фукидид, не из-за боязни его власти и чрезмерного влияния, а из-за его низкого характера, из-за того, что он позорил город и был изгнан в результате злоупотребления институтом, - теперь жил на Самосе. Поскольку он не был саамитянином и, кроме того, последние пять или шесть лет находился в изгнании, он не мог иметь никакой власти ни на острове, ни в вооруженных силах, и поэтому его смерть не имела перспективной цели. Но он олицетворял собой демагогическое и обвинительное красноречие демократии, сдерживающее чиновничьи проступки; поэтому он служил общим объектом антипатии афинских и саамских олигархов. Часть афинских партизан во главе с одним из генералов Хармином в согласии с саамскими заговорщиками схватили Гипербола и предали его смерти, по-видимому, одновременно с некоторыми другими жертвами[32].

Но хотя эти совместные убийства послужили для каждой части заговорщиков залогом верности другой в отношении дальнейших действий, они в то же время послужили предупреждением для противников. Те ведущие люди на Самосе, которые оставались приверженцами демократии, ища за границей защиты от предстоящего нападения, обратились с убедительной просьбой к Леону и Диомедону, двум генералам, недавно прибывшим из Афин вместо Фриниха и Скиронида, -людям, искренне преданным демократии и противникам любых олигархических перемен, а также к триерарху Фрасиллу, Фрасибулу, сыну Лика, служившему тогда гоплитом, и ко многим другим ярым демократам и патриотам в афинском войске. Они взывали не только к своей личной безопасности и демократии, которой теперь угрожали заговорщики, часть которых были афинянами, но и к общественным интересам Афин, поскольку, если Самос станет олигархизированным, его симпатии к афинской демократии и верности союзу придет конец. В этот момент последние события, произошедшие в Афинах, о которых вскоре будет рассказано, не были известны, и считалось, что демократия там все еще существует[33].

Желание поддержать подвергшуюся нападкам самосскую демократию и сохранить сам остров, ставший теперь опорой разрушенной афинской империи, было более чем достаточным мотивом, чтобы пробудить афинских лидеров, к которым обратились с этой просьбой. Начав личный опрос среди солдат и моряков и призывая их вмешаться, чтобы предотвратить свержение саамской демократии, они обнаружили, что общее настроение решительно в их пользу, но больше всего среди *parali*, или экипажа освященной общественной триремы, называемой *paralus*. Эти люди были отборными моряками государства, каждый из них был не просто свободным человеком, а

полноправным афинским гражданином, получал более высокое жалование, чем обычные моряки, и был известен как преданный демократической конституции, с активным отвращением к олигархии как таковой, так и ко всему, что ею пахнет.^[34] Бдительность Леона и Диомедона на оборонительной стороне противодействовала махинациям их коллеги Чармиана, вместе с заговорщиками, и обеспечивала саамскую демократию верными помощниками, постоянно готовыми к действию. Вскоре заговорщики предприняли яростную атаку с целью свержения правительства; но, хотя они сами выбрали момент и возможность, они все же потерпели поражение в борьбе, особенно благодаря энергичной помощи паралиев. Тридцать человек из их числа были убиты во время поединка, а трое наиболее виновных впоследствии были приговорены к изгнанию. Победившая партия не стала мстить даже остальным тремстам заговорщикам, объявила всеобщую амнистию и сделала все возможное, чтобы восстановить конституционное и гармоничное функционирование демократии^[35].

Хереас, афинский триерарх, участвовавший в состязании, был послан в Афины в самом парале, чтобы сообщить о случившемся. Но эта команда демократов, добравшись до родного города, вместо того чтобы быть принятой с тем радушием, которого они, несомненно, ожидали, обнаружила положение вещей, не менее одиозное, чем удивительное. Афинская демократия была ниспровергнута: вместо сената из пятисот человек и собравшегося народа в здании сената царила олигархия из четырехсот самозванных лиц, наделенных суверенной властью. Первым приказом четырехсот человек, узнавших о том, что "Паралус" вошел в Пирей, было заключить в тюрьму двух или трех человек из команды, а всех остальных пересадить с их привилегированной триеры на общую триеру с приказом немедленно отплыть и крейсировать у Эвбеи. Командир, Хереас, нашел способ бежать и вернулся на Самос, чтобы сообщить нежелательную новость^[36].

Шаги, с помощью которых эта олигархия четырехсот постепенно возвысилась до своей новой власти, следует рассматривать с того времени, когда Пейсандр покинул Афины - после того, как он получил от общественного собрания разрешение на переговоры с Алкивиадом и Тиссафернесом, - и после того, как он приступил к совместной организации и заговору всех антинародных клубов, которые находились под управлением, прежде всего, Антифона и Фераменеса, а затем при содействии Фриниха. К заговору присоединились все члены совета старейшин, называвшегося Пробули, который получил свое название после поражения в Сицилии, с Агноном, отцом Фераменеса, во главе^[37], а также многие другие ведущие граждане, некоторые из которых были причислены к самым твердым друзьям демократии; олигархические и нейтральные богачи горячо включились в него, так что образовался многочисленный и хорошо обеспеченный партизанский корпус. Антифон не пытался собрать их вместе или устроить какую-либо публичную демонстрацию, вооруженную или невооруженную, с целью устрашения фактических властей. Он позволил сенату и общественному собранию продолжать заседания и дебаты, как обычно; но его сторонники, ни имена, ни число которых не были известны публике, получили от него указания, когда говорить и какого языка придерживаться. Главной темой, о которой они говорили, была дороговизна демократических институтов в нынешнем бедственном положении финансов, тяжелые налоги, которыми государство облагается, оплачивая сенаторов, дикастов, епископов, или граждан, посещающих общественные собрания, и т. д. Теперь государство могло позволить себе платить только тем солдатам, которые сражались на его защиту, и никто другой не должен был прикасаться к общественным деньгам. Они настаивали на том, что необходимо лишить политических прав всех, кроме избранного органа из пяти тысяч человек, состоящего из тех, кто был способен оказать услугу городу как личным, так и материальным трудом.

Широкое лишение избирательных прав, связанное с этим последним предложением, было достаточно шокирующим для ушей афинского собрания. Но на самом деле это предложение само

по себе было плутовством, которому не суждено было воплотиться в жизнь, и представляло собой далеко не то, что задумали Антифон и его сторонники. Их целью было присвоить полномочия правительства себе просто, без контроля и партнерства, оставив этот орган из пяти тысяч не только не существующим, но и несуществующим, как пустое название, навязанное гражданам. Об этом реальном намерении, однако, до сих пор не было сказано ни слова. О предполагаемом Пятитысячном органе проповедовали все партийные ораторы, не внося, однако, никаких существенных предложений об изменении, которое, однако, не могло быть сделано незаконно.

Даже косвенно пропагандируемый, проект урезания избирательного права до пяти тысяч и подавления всех оплачиваемых гражданских функций был достаточно жестоким изменением, чтобы вызвать многочисленных противников. К таким противникам Антифон был полностью готов. Из тех, кто выступил против, либо все, либо, по крайней мере, все самые видные, были последовательно устранены частными убийствами. Первым из них погиб Андроклес, выдающийся демагог, или народный оратор, отмеченный для мести не только этим обстоятельством, но и тем, что он был одним из самых ярых обвинителей Алкивиада до его изгнания. Ведь в это время в Афинах еще не стало известно о разрыве Пейсандра с Тиссафернесом и Алкивиадом, и предполагалось, что последний все еще собирается вернуться на родину в качестве члена предполагаемого олигархического правительства. После Андроклеса многие другие ораторы схожих настроений погибли таким же образом, от рук неизвестных. Для этого дела была организована группа греческих юношей, незнакомых, собранных вместе из разных городов[38]; жертвы выбирались по одному и тому же признаку, и дело было совершено так искусно, что ни руководитель, ни орудие никогда не стали известны. После того как эти убийства - бесспорные, специальные, тайные и систематические, исходившие от неизвестного директора, подобно трибуналу Вехми, - продолжались некоторое время, ужас, который они внушали, стал интенсивным и всеобщим. Невозможно было добиться справедливости, невозможно было провести расследование даже по поводу смерти самого близкого и дорогого родственника. Наконец, ни один человек не осмеливался требовать или даже упоминать о расследовании, считая себя счастливым, избежавшим подобной участи в своем собственном лице. Столь законченная организация и столь меткие удары породили всеобщее убеждение, что заговорщики гораздо многочисленнее, чем они были на самом деле. А поскольку выяснилось, что среди них есть люди, которые прежде считались искренними демократами,[39] то, наконец, тревога и недоверие стали всеобщим достоянием. Никто не осмеливался даже выразить возмущение происходящими убийствами, а тем более говорить о возмездии или мести, опасаясь, что он общается с одним из неизвестных заговорщиков. В разгар этого террора в сенате и народном собрании прекратилась всякая оппозиция, так что ораторы заговорщической олигархии, казалось, выражали единодушное согласие[40].

Таково было состояние, до которого довели дела в Афинах Антифон и действующие под его руководством олигархические заговорщики в то время, когда Пейсандр с пятью посланниками прибыл туда, вернувшись с Самоса. Вероятно, они еще раньше передали с Самоса известие о разрыве с Алкивиадом и о необходимости продолжать заговор, не обращая внимания ни на него, ни на персидский союз. Такие новости, вероятно, устроили бы и Антифона, и Фриниха, оба они были личными врагами Алкивиада; особенно Фриних, который объявил его неспособным к братству с олигархической революцией.[41] Во всяком случае, планы Антифона не зависели от персидской помощи и были направлены на осуществление революции с помощью голого, непомерного и хорошо направленного страха, без какой-либо примеси надежды или перспектив общественной пользы. Пейсандр застал царствование террора в полном разгаре. Он не прибыл прямо с Самоса в Афины, а останавливался в своем путешествии в различных союзных городах, в то время как пять других посланников, а также партизан по имени Диотрефес были отправлены на Тасос и в другие места;[42] все с одной целью - уничтожить демократии в тех союзных городах,

где они существовали, и установить на их месте олигархию. Пейсандр произвел эти изменения в Теносе, Андросе, Карыстусе, Эгине и других местах, собрав в этих местах полк из трехсот гоплитов, который он привез с собой в Афины в качестве своего рода телохранителей своей новой олигархии.[43] Он не мог знать, пока не достиг Пейреуса, о полном успехе террора, организованного Антифоном и другими; так что он, вероятно, пришел готовым преодолеть большее сопротивление, чем он встретил на самом деле. Как бы то ни было, но общественное мнение и дух были настолько подавлены, что он смог сразу же нанести завершающий удар, и его прибытие стало сигналом к завершению революции, сначала путем насильственного приостановления опекунской конституционной санкции, а затем более прямым применением вооруженной силы.

Сначала он созвал общественное собрание, на котором предложил декрет, назначив десять комиссаров с полными полномочиями, чтобы они подготовили предложения о политической реформе, которую сочтут целесообразной, и чтобы они были готовы к определенному дню. 44] Согласно обычной практике, этот декрет должен был быть предварительно утвержден в сенате пятисот, прежде чем он был представлен на рассмотрение народа. В данном случае, несомненно, так и было, и указ прошел без каких-либо возражений. В назначенный день собралось новое собрание, которое Пейсандр и его сторонники устроили не в обычном месте, называемом Пникс, в пределах городских стен, а в месте под названием Колонус, в десяти стадиях, то есть более чем в миле, без стен,[45] к северу от города. В Колонусе находился храм Посейдона, в префектуре которого и было устроено собрание по этому случаю. Подобное собрание, где бы оно ни проводилось, вряд ли было многочисленным[46], так как при отсутствии свободы дебатов не было особых мотивов для участия в нем; но олигархические заговорщики перенесли его за стены, выбрав для собрания узкую площадку, чтобы еще больше уменьшить вероятность многочисленного присутствия на собрании, которое, по их замыслу, должно было стать последним в истории Афин. Таким образом, они оказались вне досягаемости вооруженного движения в городе, а также получили возможность расставить вокруг своих вооруженных партизан под предлогом защиты собрания от беспорядков со стороны лакедемонян из Декелеи.

Предложение новоназначенных комиссаров - вероятно, Пейсандра, Антифона и других сторонников - было предельно кратким и простым. Они просто предлагали отменить знаменитый *Graphê Paranomôn*; то есть они предлагали, чтобы каждый афинский гражданин имел полную свободу вносить любые антиконституционные предложения, которые он выберет, и чтобы каждый другой гражданин был лишен возможности под угрозой сурового наказания преследовать его по обвинению в *graphê paranomôn* на основании неформальности, незаконности или неконституционности, или делать ему любые другие неприятности. Это предложение было принято без единого несогласного. Руководители сочли более формальным отделить это предложение от остальных и вложить его отдельно в уста специальных комиссаров, поскольку оно являлось узаконивающим условием всех остальных позитивных изменений, которые они собирались предпринять впоследствии. Получив таким образом полную свободу вносить любые предложения, как бы они ни были антиконституционны, и обойтись без всех установленных формальностей, таких как предварительное разрешение сената, Пейзандер выступил теперь со следующими предложениями по существу: - 1.

1. Все существующие демократические магистратуры должны быть немедленно подавлены и прекращены на будущее.
2. Ни одна гражданская должность впредь не должна была быть оплачиваемой.
3. Для формирования нового правительства немедленно назначался комитет из пяти человек, которые должны были выбрать более многочисленный состав в сто человек, то есть сто человек, включая самих пятерых избранных. Каждый человек из этой сотни должен был выбрать трех человек.
4. Таким образом, было сформировано тело из четырехсот человек,

которые должны были занять свое место в сенате и осуществлять правление с неограниченными полномочиями по своему усмотрению. 5. Они должны были созвать пять тысяч, когда сочтут нужным"[47]. Все было принято без единого несогласного.

Изобретение и использование этой мнимой совокупности Пяти Тысяч было не самым ловким среди комбинаций Антифона. Никто не знал, кто такие эти Пять Тысяч: однако только что принятая резолюция предполагала, что не такое количество граждан должно быть выделено и сформировано, либо путем выбора, либо путем жребия, либо каким-то определенным способом, который должен выставить их на обозрение и знание других, но что Четыреста должны созвать *Пять Тысяч*, когда сочтут нужным: таким образом, предполагая, что последние - это уже составленный и известный список, по крайней мере, самим Четыремстам. На самом же деле "Пять тысяч" не существовало нигде, кроме как в разговорах и прокламациях заговорщиков, в качестве дополнения к вымышленным вспомогательным лицам. Они даже не существовали как отдельные имена на бумаге, а просто как самозванная номинальная совокупность. Четыреста, установленные теперь, были полными и исключительными правителями государства.[48] Но само название "Пять тысяч", хотя и было не более чем названием, служило Антифону и его заговору для двух важных целей. Во-первых, оно позволяло подделать его, особенно для вооружения на Самосе, как доказательство наличия достаточно многочисленного и популярного корпуса равных, квалифицированных, согласных граждан, которые должны были по очереди осуществлять полномочия правительства; таким образом, облегчая одиозность крайней узурпации для Четырехсот, и выдавая их просто за самую раннюю часть Пяти тысяч, введенную в должность на несколько месяцев и предназначенную по истечении этого периода уступить место другой равной части.[49] Далее, он значительно усилил средства запугивания, которыми Четыреста обладали дома, преувеличив впечатление от их предполагаемой силы. Ведь граждане были вынуждены поверить, что в заговоре участвуют пять тысяч реальных и живых партнеров; в то время как тот факт, что эти партнеры не были известны и не могли быть идентифицированы, скорее усугублял царящий ужас и недоверие; поскольку каждый человек, подозревая, что его сосед может быть среди них, боялся сообщить о своем недовольстве или предложить средства для совместного сопротивления.[50] В обоих этих случаях название и предполагаемое существование Пяти тысяч придавало силу реальным заговорщикам Четырехсот. Это маскировало их узурпацию и одновременно усиливало их власть над уважением и страхами горожан.

Как только общественное собрание в Колонусе с таким кажущимся единодушием приняло все предложения Пейсандра, оно было распущено, а новый полк Четырехсот был выбран и сформирован в установленной форме. Теперь оставалось только разместить их в здании сената. Но сделать это было невозможно, так как сенаторы уже находились в нем; несомненно, они пришли туда сразу после собрания, где их присутствие, по крайней мере присутствие пританов, или сенаторов из председательствующего племени, было необходимо в качестве законных председателей. Они должны были обдумать, что им делать в соответствии с только что принятым декретом, который лишал их всех полномочий. Не исключалось также, что они могут организовать вооруженное сопротивление, для чего в данный момент было больше возможностей, чем обычно, поскольку занятие лакедемонянами Декелеи держало Афины в состоянии постоянного лагеря, где значительная часть граждан днем и ночью была под оружием. 51] Против этой возможности Четыреста предусмотрели все. Они выбрали тот час дня, когда большее число граждан обычно отправлялось домой, вероятно, на утреннюю трапезу, оставив военный пост со сложением и готовым оружием под сравнительно тонким наблюдением. В то время как общая масса гоплитов покидала станцию в этот час, согласно обычной практике, гоплиты - Андриан, Тениан и другие, находящиеся в непосредственной близости от Четырехсот, - получили частный приказ держать себя в готовности и вооружении на небольшом расстоянии, чтобы, если появятся какие-либо признаки замышляемого сопротивления, они могли немедленно вмешаться и

предотвратить его. Приняв эти меры предосторожности, четыреста человек направились к зданию сената, каждый с кинжалом, спрятанным под одеждой, а за ними следовала их специальная охрана из ста двадцати молодых людей из разных греческих городов - орудия убийств, заказанных Антифоном и его коллегами. В таком составе они вошли в здание сената, где собрались сенаторы, и приказали им удалиться, одновременно выдав им жалование за все оставшееся время года - кажется, около трех месяцев или больше, вплоть до начала Гекатомбеона, месяца новых назначений, - в течение которого должны были продолжаться их функции. Сенаторы никак не были готовы противостоять только что принятому указу в формах законности, когда для его исполнения прибыл вооруженный отряд. Они повиновались и ушли, каждый, проходя через дверь, получал причитающееся ему жалование. То, что при данных обстоятельствах они должны были подчиниться превосходящей силе, не вызывает ни порицания, ни удивления; но то, что они должны были принять из рук заговорщиков это предвкушение незаработанного жалования, было подлостью, которая почти заклеила их как соучастников и опозорила истекающий час последней демократической власти. Четыреста человек с триумфом расположились в здании сената, не встретив ни малейшего сопротивления ни в его стенах, ни даже вне их со стороны какой-либо части граждан[52].

Так погибла, или казалось, что погибла, афинская демократия после непрерывного существования в течение почти ста лет после революции Клейстенеда. Столь невероятным казалось, что многочисленные, разумные и конституционные граждане Афин должны терпеть, чтобы их свободы были свергнуты бандой из четырехсот заговорщиков, в то время как огромная их масса не только любила свою демократию, но и держала в руках оружие для ее защиты, что даже их враг и сосед Агис в Декелее с трудом мог представить себе революцию как свершившийся факт. Мы увидим, что она не свершилась, да и не свершилась бы, если бы обстоятельства были более благоприятными, но свершение ее вообще - случай слишком необычный, чтобы обойти его без некоторых пояснений.

Мы должны заметить, что огромная катастрофа и потеря крови в Сицилии ослабили энергию афинского характера в целом, но особенно заставили их отчаяться в своих внешних отношениях; в возможности, что они смогут выступить против врагов, увеличившихся в числе благодаря восстаниям среди их собственных союзников, и далее поддерживаемых персидским золотом. На эти настроения отчаяния наводит вероломное заблуждение Алкивиада, предлагая им персидскую помощь, то есть средства защиты и успеха против внешних врагов, ценой их демократии. Народ неохотно, но все же склоняется к этому предложению, и таким образом заговорщики добиваются своей первой выгоды - знакомят народ с идеей такого изменения конституции. Дальнейший успех заговора, когда все надежды на персидское золото или улучшение внешнего положения закончились, объясняется комбинациями, в равной степени гнусными и искусными, Антифона, владеющего и организующего объединенную силу аристократических классов в Афинах; Сила, всегда чрезвычайно большая, но при обычных обстоятельствах действующая по частям, разобщенная и даже взаимно враждебная друг другу, - сдерживаемая восходящими демократическими институтами, - и сводящая на нет то, что она не могла ниспровергнуть. Антифон, собираясь использовать эту антинародную силу по одной планомерной схеме и для достижения заранее определенной цели, остается в тех же мнимых конституционных рамках. Он не поднимает открытого мятежа: он сохраняет в неприкосновенности кардинальный пункт афинской политической морали, уважение к решению сената и политического собрания, а также к конституционным максимам. Но он хорошо знает, что ценность этих собраний как политических бумаг зависит от полной свободы слова; и что, если эта свобода будет подавлена, собрание само по себе превратится в ничтожество или, скорее, в инструмент позитивного самозванства и зла.

Поэтому он последовательно убивает всех популярных ораторов, так что никто не осмеливается открыть рот на этой стороне; с другой стороны, все антинародные ораторы выступают громко и уверенно, подбадривая друг друга и, кажется, представляя все чувства присутствующих. Заставив таким образом замолчать каждого отдельного лидера и запугав каждого оппонента, чтобы тот не выступал в качестве представителя, он вымогает официальную санкцию собрания и сената на меры, которые не одобряет подавляющее большинство граждан. Это большинство, однако, связано своими собственными конституционными формами; и когда решение, принятое любым способом, оказывается против них, у них нет ни склонности, ни мужества сопротивляться. Ни в одной части света это чувство конституционного долга и подчинения голосу законного большинства не ощущалось так остро и повсеместно, как среди граждан демократических Афин".[53] Таким образом, Антифон находит способ использовать конституционные чувства Афин как средство убийства конституции: пустая форма, после того как ее жизненная и защитная сила была абстрагирована, остается просто как обман, чтобы парализовать индивидуальный патриотизм.

Именно этот обман не позволил афинянам выступить с оружием в руках в защиту той демократии, к которой они были привязаны. Привыкшие к неограниченному мирному противостоянию в рамках своей конституции, они в высшей степени не любили ничего похожего на вооруженное противостояние в кишечнике. Это естественный эффект установленной свободной и равной политики, чтобы заменить состязания языка состязаниями меча, а иногда даже создать такую крайнюю несклонность к последнему, что если свобода будет энергично атакована, то встречаемая энергия, необходимая для ее защиты, может оказаться недостаточной. Так трудно одним и тем же людям обладать качествами, необходимыми для того, чтобы свободная конституция хорошо работала в обычное время, и совершенно иными качествами, необходимыми для ее поддержания в условиях исключительных опасностей и чрезвычайных обстоятельств. Никто, кроме афинянина необычайных способностей, как Антифон, не смог бы понять, как заставить конституционное чувство своих соотечественников подчиниться успеху его заговора и сохранить формы законного обращения с собраниями и конституционными органами, в то время как он нарушал их тайными и последовательными ударами, направленными против отдельных лиц. Политическое убийство было неизвестно в Афинах, насколько мы знаем, с тех пор как оно было применено, примерно за пятьдесят лет до этого, олигархической партией против Эфиальтеса, коадьютора Перикла[54]. Но это был единичный случай, и Антифону и Фриниху было поручено организовать группу убийц, действующих систематически и убирающих одну за другой ведущие жертвы. Как македонские цари в последующие времена требовали сдачи народных ораторов в плен, так и авторы этого заговора нашли тех же врагов, с которыми нужно было иметь дело, и приняли другой способ избавиться от них; таким образом, собрание превратилось в прирученную и безжизненную массу, которую можно было запугать, чтобы она дала коллективную санкцию на меры, которые ее значительное большинство не одобряло.

Как обычно писали греческую историю, нам внушают, что несчастья, коррупция и деградация демократических государств были вызваны классом демагогов, образцами которых являются Клеон, Гипербол, Андроклес и др. Эти люди представлены как злоумышленники и отступники, обвиняющие без причины и превращающие невинность в измену. Теперь история заговора Четырехсот представляет нам другую сторону картины. Она показывает, что политические враги, от которых афинский народ был защищен своими демократическими институтами и демагогами как живыми органами этих институтов, были не вымышленными, а опасно реальными. Она свидетельствует о постоянном существовании мощных антинародных группировок, готовых объединиться ради предательских целей, когда наступал безопасный и заманчивый момент. Она показывает характер и нравственность лидеров, на которых, естественно, ложилось руководство антинародными силами. Оно доказывает, что этим лидерам, людям необыкновенных

способностей, не требовалось ничего, кроме уничтожения или молчания гоголов дэмы, чтобы получить возможность подмять под себя народные бумаги и завладеть правительством. Нам не нужно лучшего доказательства, чтобы узнать, какова была реальная функция и внутренняя необходимость этих демагогов в афинской системе, если рассматривать их как класс, не считая того, как отдельные люди из их числа могли выполнять свой долг. Они составляли жизненное движение всего того, что было опекающим и общественным в демократии. Агрессивные по отношению к официальным правонарушителям, они были оборонительными по отношению к обществу и конституции. Если эта антинародная сила, которую Антифон нашел готовой, не была эффективной в гораздо более ранний момент, чтобы задушить демократию, то это потому, что были демагоги, чтобы кричать громко, а также собрания, чтобы услышать и поддержать их. Если заговор Антифона был успешным, то только потому, что он знал, куда направить свои удары, чтобы поразить настоящих врагов олигархии и настоящих защитников народа. Я использую здесь термин "демагоги", потому что именно его обычно используют те, кто осуждает рассматриваемый нами класс людей: правильным нейтральным выражением, отбросив одиозные ассоциации, было бы назвать их народными ораторами или ораторами оппозиции. Но под каким бы именем их ни называли, невозможно правильно представить себе их положение в Афинах, не рассматривая их в контрасте и противопоставлении с теми антинародными силами, против которых они составляли необходимый барьер и которые так явно и меланхолично действовали под организующими руками Антифона и Фриниха.

Как только Четырехсотники официально утвердились в сенате, они разделили себя по жребии на отдельные притании - вероятно, десять, состоящие из сорока членов каждая, как прежний сенат Пятисот, чтобы не нарушить привычного для народа распределения года, - и затем торжественно отпраздновали свое утверждение молитвами и жертвоприношениями. Они предали смерти некоторых политических врагов, хотя и не многих: других заключили в тюрьмы и изгнали, а также внесли большие изменения в управление делами, проводя все со строгостью и суровостью, неизвестными при старой конституции. [55] Кажется, среди них было предложение провести вотум восстановления всех лиц, приговоренных к изгнанию. Но это предложение было отклонено большинством, чтобы Алкивиад не попал в их число; тем не менее, они не сочли целесообразным принять закон, оставив его в качестве особого исключения.

Далее они отправили гонца к Агису в Декелею, чтобы сообщить о своем желании заключить мир, который, как они утверждали, он должен быть готов им предоставить, раз уж "неверный Демос" низложен. Однако Агис, не веря, что афинский народ согласится на лишение свободы, ожидал, что в городе непременно вспыхнет междоусобица или, по крайней мере, что часть Длинных стен окажется без охраны, если появится чужая армия. Поэтому, отклонив предложения о мире, он в то же время послал за подкреплением из Пелопоннеса и с большим войском, помимо собственного гарнизона, подошел к самым стенам Афин. Но он обнаружил, что валы тщательно укреплены: внутри не было никакого переполоха: даже была предпринята вылазка, в которой получил некоторое преимущество. Поэтому он быстро отступил, отправив в Пелопоннес только что прибывшее подкрепление; Четыреста же, вновь обратившись к нему с просьбой о мире, оказались приняты гораздо лучше и даже были побуждены направить посланников в саму Спарту [56].

Как только они преодолели первые трудности и поставили дело на основу, которая, казалось, обещала стабильность, они отправили десять посланников на Самос. Заранее зная об опасности, нависшей над ними в этом квартале из-за известного отвращения солдат и моряков ко всему олигархическому, они, кроме того, только что узнали, благодаря прибытию Хереи и парала, о совместном нападении афинских и саамских олигархов и о его полной неудаче. Если бы это событие произошло немного раньше, оно, возможно, удержало бы даже некоторых из них от

продолжения революции в Афинах, которая, таким образом, с самого начала была почти уверена в провале. Их десяти посланникам было поручено представить на Самосе, что недавняя олигархия была установлена не из вредных для города побуждений, а, напротив, для общей пользы; что, хотя установленный сейчас Совет состоит всего из четырехсот человек, общее число партизан, совершивших революцию и получивших при ней гражданство, составляет пять тысяч; Это число, добавили они, больше, чем когда-либо собиралось в Пниксе при демократии, даже для самых важных дебатов,^[57] вследствие неизбежного отсутствия многих лиц на военной службе и в заграничных поездках.

Какое удовлетворение могла бы доставить эта ссылка на вымышленные пять тысяч или на ошибочную ссылку на реальные или мнимые цифры прошлых демократических собраний, если бы эти посланники принесли на Самос первые вести об афинской революции, мы не можем сказать. Им помешал Хереас, офицер паралуса, который, несмотря на попытки Четырехсот задержать его, сбежал и поспешил на Самос, чтобы сообщить о страшных и неожиданных переменах, произошедших в Афинах. Вместо того чтобы услышать описание этой перемены под вероломными отговорками Антифона и Фриниха, вооруженные силы впервые узнали о ней из уст Хереаса, который сразу же рассказал им чистейшую правду, и даже больше, чем правду. Он с негодованием поведал, что каждый афинянин, осмелившийся сказать хоть слово против четырехсот правителей города, подвергался наказанию бичом; что даже жены и дети враждебных им людей подвергались жестокому обращению; что было задумано схватить и заключить в тюрьму родственников демократов на Самосе и предать их смерти, если те откажутся повиноваться приказам из Афин. Простого рассказа о том, что произошло на самом деле, было бы вполне достаточно, чтобы вызвать в вооруженных силах чувство отвращения к "Четырем сотням". Но эти дополнительные подробности Хереи, частично не соответствующие действительности, наполнили их неудержимым гневом, который они проявили в открытой угрозе против известных партизан Четырехсот на Самосе, а также против тех, кто принимал участие в недавнем олигархическом заговоре на острове. Не без труда их руки были схвачены более благоразумными гражданами, которые выступили против безумия таких беспорядочных действий, когда враг был близко к ним.

Но хотя насилие и агрессивные оскорбления были таким образом вовремя пресечены, настроения вооруженных сил были слишком горячими и единодушными, чтобы удовлетвориться без торжественного, решительного заявления против олигархов в Афинах. В основном по инициативе Фрасибула и Фрасилла была провозглашена великая демократическая манифестация самого серьезного и внушительного характера. Афинское войско, собранное в одно великое собрание, дало клятву с самыми строгими условиями: поддерживать свою демократию; поддерживать дружбу и гармонию друг с другом; энергично вести войну против пелопоннесцев; враждовать с афинскими четырьмя сотнями и не вступать с ними ни в какие дружественные сношения. Все вооружение с энтузиазмом присягнуло этому договору, и даже те, кто раньше принимал участие в олигархических движениях, были вынуждены выступить вперед.^[58] Двойную силу этой трогательной сцене придавало то, что все население Самии, все мужчины военного возраста, принесли присягу вместе с дружественным вооружением. Оба обязались хранить взаимную верность и совместно страдать или побеждать, каков бы ни был исход поединка. Оба считали, что пелопоннесцы в Милете и четыреста человек в Афинах - одинаковые враги и что успех одного из них будет их общей гибелью.

В соответствии с этим решением - поддерживать свою демократию и в то же время вести войну против пелопоннесцев любой ценой и любой опасностью для себя - солдаты вооружения предприняли шаг, не имеющий аналогов в афинской истории. Почувствовав, что они больше не могут получать приказы из Афин при нынешних олигархических правителях, с которыми были

связаны Хармин и другие из их собственных лидеров, они образовали своего рода отдельную общину и провели собрание граждан, чтобы заново выбрать своих генералов и триерархов. Из тех, кто уже командовал, несколько человек были смещены как недостойные доверия; на их место были избраны другие, особенно Фрасибул и Фрасилл. Собрание проводилось не только для избрания; оно стало сценой горячего сочувствия, вдохновляющего красноречия и патриотизма, как великодушного, так и решительного. Объединенное войско чувствовало, что *оно* - настоящие Афины; хранители ее конституции, защитники ее оставшейся империи и славы, защитники ее граждан дома от тех заговорщиков, которые незаконно вторглись в здание сената; единственная преграда, даже для самих заговорщиков, против враждебного пелопоннесского флота. "*Город восстал против нас*", - воскликнул Фрасибул и другие в беременных словах, в которых отразился целый ряд чувств[59], - "Но пусть это не ослабляет нашего мужества: ведь они - лишь меньшая сила, мы же - большая и самодостаточная. У нас здесь весь флот государства, благодаря чему мы можем обеспечить себя контрибуцией от наших зависимых государств так же хорошо, как если бы мы отправились из Афин. Мы имеем сердечную привязанность Самоса, уступающего по силе только самим Афинам и служащего нам военной станцией против врагов, как сейчас, так и в прошлом. Мы сами лучше можем достать припасы для , чем жители города для себя; ведь только благодаря нашему присутствию в Самосе они до сих пор держали открытым устье Пейреуса. Если они откажутся вернуть нам нашу демократическую конституцию, мы сможем лучше исключить их из моря, чем они нас. Что, в самом деле, делает сейчас город для того, чтобы мы могли поддержать наши усилия против врага? Почти ничего. Мы ничего не потеряли от их разлуки. Они не присылают нам жалованья, оставляют нас самих обеспечивать себя; они теперь не в состоянии прислать нам даже добрый совет, в чем и состоит великое превосходство города над лагерем.[60] Как советчики мы здесь лучше их, ибо они только что совершили ошибку, нарушив конституцию нашей общей страны, в то время как мы стремимся сохранить ее, и мы сделаем все возможное, чтобы заставить их встать на тот же путь. Алкивиад, если мы обеспечим ему безопасное восстановление, с радостью приведет союз Персии, чтобы поддержать нас; и даже если случится худшее, если все другие надежды нас покинут, наша мощная морская сила всегда позволит нам найти убежище в изобилии, с городом и территорией, соответствующей нашим потребностям".

Таков был ободряющий язык Фрасилла и Фрасибула, который нашел полное сочувствие в вооруженных силах и поднял среди них дух энергичного патриотизма и решимости, недостойный их предков, когда они были беженцами в Саламине во время вторжения Ксеркса. Восстановление демократии и продолжение войны с пелопоннесцами были побуждениями, одинаково пылкими и слившимися в едином приливе великодушного энтузиазма; прилив был настолько сильным, что сместил перед собой нежелание того меньшинства, которое до этого склонялось к олигархическому движению. Но кроме этих двух импульсов, был еще и третий, склонявший к отзыву Алкивиада; коадьютор , во многом полезный, но принесший с собой дух эгоизма и двуличия, несоответствующий тем возвышенным чувствам, которые сейчас властвовали на Самосе[61].

Этот изгнанник был первым инициатором олигархического заговора, в результате которого Афины, и без того мало приспособленные к условиям внешней войны, теперь были парализованы мужеством и раздираемы гражданскими противоречиями, и от полного разорения их удерживал только тот встречный энтузиазм, который удачное стечение обстоятельств подняло на Самосе. Обманув сначала самих заговорщиков и дав им возможность обмануть искренних демократов, пообещав персидскую помощь и таким образом преодолев первые и самые большие трудности заговора, Алкивиад был вынужден порвать с ними, как только пришло время осуществить свои обещания. Но он расстался с ними с такой решительностью, чтобы сохранить иллюзию того, что он *сможет* их выполнить, если захочет. Возвращение через олигархию стало невозможным, и он, естественно, стал ее врагом, и эта новая антипатия вытеснила у него чувство мести демократии за

то, что она его изгнала. На самом деле он был расположен, как верно сказал о нем Фриних,^[62] безразлично пользоваться любой из сторон, если та или другая представлялась ему удобным средством для реализации его честолюбивых замыслов. Поэтому, как только поворот дел на Самосе стал очевиден, он вступил в сношения с Фрасибулом и демократическими лидерами,^[63] возобновив им те же обещания персидского союза при условии собственного восстановления, которые он ранее дал Пейсандру и олигархической партии. Фрасибул и его коллеги либо искренне верили ему, либо, по крайней мере, считали, что его восстановление дает возможность, которой нельзя пренебрегать, получить персидскую помощь, без которой они отчаялись в войне. Такая возможность, по крайней мере, придаст духа солдатам, а реставрация теперь предлагалась без ужасного условия, которое сопровождало ее раньше, - отказа от демократической конституции.

Однако не без труда и после более чем одного собрания и обсуждения^[64] Фрасибул убедил вооруженные силы принять решение о безопасности и восстановлении Алкивиада. Будучи афинскими гражданами, солдаты, вероятно, не хотели принимать на себя отмену приговора, торжественно вынесенного демократическим трибуналом, на основании иррелигиозности и подозрения в измене. Однако их все же убедили принять решение, после чего Фрасибул отплыл к азиатскому побережью, доставил на остров Алкивиад и представил его собравшемуся войску. Гибкий изгнанник, так горько обличавший демократию и в Спарте, и в переписке с олигархическими заговорщиками, хорошо знал, как приспособиться к симпатиям демократического собрания, стоящего перед ним. Он начал с того, что выразил сожаление по поводу вынесенного ему приговора об изгнании и свалил вину за это не на несправедливость своих соотечественников, а на свою собственную несчастную судьбу^[65]. Затем он перешел к общественным перспективам момента, с полной уверенностью пообещав осуществить надежды на персидский союз и похваляясь, в выражениях не просто показных, но даже экстравагантных, тем влиянием, которым он обладал на Тиссафернеса. Сатрап пообещал ему - так продолжалась речь - никогда не давать афинянам денег, как только он войдет к ним в доверие, даже если для этого придется выпустить последний дарик или отчеканить свой собственный серебряный диван в деньги. Не потребует он и других условий, чтобы побудить его довериться им, кроме того, что Алкивиад будет восстановлен и станет их гарантом. Он не только обеспечил бы афинян жалованьем, но, кроме того, привел бы им на помощь феникийский флот, который уже находился в Аспенде, вместо того чтобы отдать его в распоряжение пелопоннесцев.

В переписке Алкивиада с Пейсандром и его соправителями Алкивиад делал вид, что великий царь не может быть уверен в афинянах, если они не только не восстановят его, но и не отрекутся от своей демократии. По этому случаю последнее условие было снято, и доверие Великого царя, как утверждалось, было оказано с большей легкостью. Но хотя Алкивиад представил себя с новой ложью, а также с новой струей политических настроений, его речь была чрезвычайно успешной. Она отвечала всем целям, которые он преследовал: отчасти запугать и разобщить олигархических заговорщиков на родине, отчасти возвысить собственное величие в глазах армии, отчасти посеять недоверие между спартанцами и Тиссафернесом. Это настолько гармонировало с царившими в армии чувствами - желанием покончить с Четырехсотниками и одержать верх над своими пелопоннесскими врагами в Ионии, - что слушатели не были склонны тщательно исследовать основания, на которых основывались его заверения. В полном доверии и энтузиазме они избрали его генералом вместе с Фрасибулом и остальными, удвоив надежды на победу над своими врагами как в Афинах, так и в Милете. Их воображение было настолько полно перспективой персидской помощи против их врагов в Ионии, что тревога за опасность Афин под управлением Четырехсот стала преобладающим чувством; и многие даже высказывались за то, чтобы плыть в Пирей для спасения города. Но Алкивиад, хорошо зная то, чего не знали вооруженные силы, - что его собственные обещания о персидском жалованье и флоте были всего лишь обманом, - решительно отговаривал от такого шага, который оставил бы зависимые территории в Ионии

беззащитными перед пелопоннесцами. Как только собрание распалось, он снова переправился на материк под предлогом согласования с Тиссафернесом мер по выполнению своих недавних обязательств.

Освободившись, хотя и не в полной мере, от наказаний изгнания, Алкивиад начал новую карьеру. После того как он сначала играл в игру Афин против Спарты, затем Спарты против Афин, в-третьих, Тиссафернеса против обоих, теперь он вновь взялся за отстаивание афинских интересов. Однако на самом деле он играл и всегда играл в свою собственную игру или подчинялся своим собственным интересам, амбициям или антипатиям. В это время он стремился продемонстрировать интимное и конфиденциальное общение с Тиссафернесом, чтобы таким образом навязать его афинянам на Самосе, сообщить сатрапу о своем недавнем избрании генералом афинских войск, чтобы повысить свое значение у персов, и, наконец, переходя от Тиссафернеса к афинскому лагерю, создать видимость дружеского сотрудничества между ними, которое могло бы посеять недоверие и тревогу в умах пелопоннесцев. В этом тройственном маневрировании, столь подходящем к его привычному характеру, он был более или менее успешен, особенно в отношении последней цели. Хотя у него и не было серьезных шансов склонить Тиссафернеса к помощи афинянам, он все же способствовал отторжению его от врага, равно как и врага от него[66].

Не задерживаясь в лагере Тиссафернеса дольше, чем это было необходимо для поддержания веры афинян в его обещание персидской помощи, Алкивиад вернулся на Самос, где его нашли десять посланников, отправленных Четырехсотым из Афин, по их первому прибытию. Эти посланцы были в долгом путешествии; они долго пробыли на Делосе, встревоженные известием о предыдущем визите Херея и яростным негодованием, которое вызвал его рассказ.[67] Наконец они достигли Самоса и были приглашены генералами для сообщения собравшемуся войску. Им с огромным трудом удалось добиться слушания, настолько сильна была антипатия к ним, настолько громкими были крики о том, что ниспровергатели демократии должны быть преданы смерти. Наконец, добившись молчания, они заявили, что поздний переворот был совершен ради спасения города и, в частности, ради экономии общественного достояния, путем сокращения наемных гражданских функций демократии и, таким образом, увеличения жалованья для солдат;[68] что в этой перемене не было никакой цели - ни зла, ни предательства врагу, которое уже могло быть осуществлено, если бы таково было намерение Четырехсот, когда Агис продвинулся от Декелеи до стен; Что граждан, обладающих теперь политическим правом, не четыреста, а пять тысяч, и все они будут поочередно занимать места, которые сейчас занимают четыреста;[69] что показания Хереса, утверждающего, что родственникам солдат в Афинах было оказано дурное обращение, совершенно ложны и клеветничны.

Таковы были темы, на которых посланники настаивали в апологетическом тоне, в течение длительного времени, но без какого-либо эффекта для примирения солдат, которые их выслушали. Общее негодование против Четырехсот было выражено несколькими присутствующими в публичных выступлениях, другими - в частных проявлениях чувств против посланников: и так страстно обострились эти настроения, состоящие не только из гнева за то, что сделала олигархия, но и из страха за то, что они могут сделать, что предложение немедленно отплыть к Пейрею было возрождено с большей горячностью, чем прежде. Алкивиад, который уже однажды отверг этот замысел, теперь снова выступил против него. Тем не менее, вся сила его влияния, превосходившего в то время влияние любого другого офицера в вооружении и подкрепленного уважаемым характером, а также громким голосом Фрасибула,[70] потребовалась, чтобы предотвратить это. Если бы не он, все было бы исполнено. Пока он обличал и заставлял замолчать тех, кто наиболее шумно выступал против посланников, он взял на себя обязанность дать последним публичный ответ от имени коллективного вооружения. "Мы не

возражаем (сказал он) против власти Пяти тысяч, но Четыреста должны заниматься своими делами и восстановить сенат Пятисот в прежнем виде. Мы весьма признательны вам за то, что вы сделали в плане экономии, чтобы увеличить жалование солдатам. Прежде всего, ведите войну упорно, не дрогнув перед врагом. Ибо если город будет теперь надежно удержан, есть надежда, что мы сможем уладить взаимные разногласия между нами путем полюбовного урегулирования; если же кто-нибудь из нас погибнет, либо мы здесь, либо вы дома, то другому не останется ничего, что можно было бы уладить"[71].

С этим ответом он отпустил посланников; вооруженные силы неохотно отказались от своего желания отплыть в Афины. Фукидид настаивает на том, что Алкивиад оказал большую услугу своей стране, остановив проект, в результате которого вся Иония и Геллеспонт остались бы беззащитными перед пелопоннесцами. Его совет, несомненно, в итоге оказался удачным; однако если мы рассмотрим положение дел в тот момент, когда он его давал, то будем склонны усомниться в том, что благоразумный расчет не был скорее против него и в пользу импульса к вооружению. Ведь что мешало Четырехсотникам заключить мир со Спартой и ввести лакедемонский гарнизон в Афины, чтобы помочь им сохранить свое господство? Даже если не считать амбиций, это был их лучший, если не единственный, шанс обезопасить себя; и мы увидим, что они попытались это сделать; но им помешал успех, отчасти, правда, мятеж, поднявшийся против них в Афинах, но еще больше - глупость самих лакедемонян. Алкивиад не мог предположить, что четыреста человек подчинятся его приказу, переданному посланникам, и добровольно сложат с себя власть. Но если бы они остались хозяевами Афин, кто мог бы просчитать, как они поступят, получив это враждебное заявление с Самоса, - не только по отношению к чужеземному врагу, но даже по отношению к родственникам отсутствующих солдат? Будем ли мы рассматривать законные опасения солдат, неизбежные, пока их родственники подвергались такому риску, и почти нервирующие их в отношении сердечного продолжения войны за границей, в их полной неопределенности относительно дел дома, - или же шанс непоправимого общественного бедствия, Мы будем склонны признать, что импульс к вооружению был не только естественным, но даже основанным на более благоразумной оценке реальных шансов, и что Алкивиад был не более чем удачлив в своем авантюризме. А если вместо реальных шансов мы рассмотрим шансы, как их представлял Алкивиад, и как их представляло вооружение, опираясь на его авторитет, а именно, что феникийский флот был близко, чтобы действовать против лакедемонян в Ионии, то мы еще больше будем сочувствовать оборонительному движению на родину. Алкивиад имел преимущество перед всеми остальными, просто зная о своей лживости.

На том же собрании были представлены посланцы из Аргоса с миссией признания и предложением помощи афинскому демосу на Самосе. Они прибыли на афинской триремe, управляемой паралиями, которые доставили Херею в парале от Самоса до Афин, а затем были пересажены на общий военный корабль и отправлены в плавание вокруг Эвбеи. С тех пор, однако, им было поручено перевезти Леспедия, Аристофона и Мелесия[72] в качестве послов от Четырехсот в Спарту. Но когда они пересекли Арголический залив, вероятно, получив приказ высадиться в Прасие, они выступили против олигархии, приплыли в Аргос и там сдали в плен трех послов, которые принимали активное участие в заговоре Четырехсот. Собираясь отплыть на Самос, аргейцы попросили их взять с собой посланников, которых Алкивиад отпустил с выражением благодарности и надежды, что их помощь будет готова, когда их попросят.

Тем временем посланцы вернулись с Самоса в Афины, принеся Четырехсотникам нежелательную весть о полной неудаче с вооружением. Незадолго до этого, судя по всему, в Афины вернулись и некоторые из триерархов, служивших на Геллеспонте, - Эратосфенес, Иатроклес и другие, которые пытались обратить свою эскадру на пользу олигархическим заговорщикам, но были сбиты с толку

и отброшены несгибаемым демократизмом собственных моряков.[Если в Афинах расчеты этих заговорщиков удалось с большим триумфом, чем можно было ожидать заранее, то везде они потерпели полное фиаско; не только на Самосе и во флоте, но и в союзных зависимых территориях. В то время, когда Пейсандр уехал с Самоса в Афины, чтобы завершить олигархический заговор даже без Алкивиада, он и другие объехали многие зависимые территории и произвели аналогичный переворот в их внутреннем управлении, надеясь, что таким образом они присоединятся к новой олигархии в Афинах. Но эти надежды, как и предсказывал Фриних, нигде не оправдались. Вновь созданные олигархии лишь сильнее, чем демократии, стремились к полной автономии. На Тасосе, особенно в Пелопоннесе, были возвращены изгнанники, которые некоторое время жили в Пелопоннесе, и велась активная подготовка к восстанию, как с помощью новых укреплений, так и новых трирем.[74] Вместо того чтобы укрепить свою власть над морской империей, Четырехсотлетние обнаружили, что они фактически ослабили ее; а ярко выраженная враждебность вооружения на Самосе не только положила конец всем их надеждам за границей, но и сделала их положение дома совершенно шатким.

С того момента, как соправители Антифона впервые узнали о провозглашении демократии на Самосе через прибывшего в Афины Херея, раздоры, недоверие и тревога стали распространяться даже среди их собственных членов; вместе с убеждением, что олигархия не устоит иначе, как благодаря присутствию пелопоннесского гарнизона в Афинах. В то время как Антифон и Фриних, ведущие умы, руководившие большинством Четырехсот, отправили посланников в Спарту для заключения мира - эти посланники так и не достигли Спарты, будучи захвачены параличами и отправлены пленниками в Аргос, как уже говорилось выше, - и начали возведение специального форта в Эктине, в лоне Четырехсот возникло оппозиционное меньшинство, затронувшее народные настроения, среди которых наиболее заметными были Фераменес и Аристократ.[75]

Хотя эти люди занимали видное место как организаторы и действующие лица на протяжении всего хода заговора, теперь они были горько разочарованы результатом. По отдельности они уступали своим коллегам Пейсандру, Каллесгру, Фриниху и другим; в то время как в совокупности незаконно нажитое могущество Четырехсот уменьшилось в цене, так же как и усугубилось в опасности из-за потери иностранной империи и отчуждения их саамского вооружения. Теперь начались ревность и раздоры между удачливыми заговорщиками, каждый из которых вступил в заговор с беспредельными ожиданиями личных амбиций для себя, каждый рассчитывал сразу же занять первое место в новом олигархическом корпусе. В демократии, замечает Фукидид, борьба за власть и преобладание вызывает у проигравших конкурентов не столь яростную антипатию и чувство несправедливости, как в олигархии; ведь проигравшие кандидаты со сравнительно небольшим отвращением принимают неблагоприятное голосование большого разношерстного корпуса неизвестных граждан; но они негодуют, когда их отбрасывают несколько известных товарищей, их соперников и равных им: Более того, в тот момент, когда олигархия честолюбцев только что возвысилась на руинах демократии, каждый из заговорщиков находится в преувеличенном ожидании; каждый считает себя вправе сразу стать первым человеком тела и недоволен, если его просто поставят на один уровень с остальными".[76]

Таковы были чувства разочарованного честолюбия, смешанные с унынием, которые возникли среди меньшинства Четырехсот, сразу после того, как весть о провозглашении демократии на Самосе распространилась среди вооруженных сил. Тераменес, лидер этого меньшинства, человек с острым честолюбием, умный, но непостоянный и вероломный, готовый не только предать свою партию, но и предать свою страну, хотя и менее готовый к крайним жестокостям, чем многие из его товарищей-олигархов, стал искать выгодный предлог, чтобы отстраниться от шаткого предприятия. Воспользовавшись заблуждением, которое Четыреста питали к фиктивным Пяти

тысячам, он настаивал, что, поскольку опасности, подстерегавшие новообразованную власть, были гораздо более грозными, чем предполагалось, необходимо популяризировать партию путем зачисления и выпуска этих Пяти тысяч в качестве реального, а не фиктивного органа.[77] Такая оппозиция, грозная с самого начала, стала еще смелее и сильнее, когда посланники вернулись с Самоса с отчетом о приеме, оказанном им армией, а также с ответом, доставленным от имени армии, в котором Алкивиад предписывал Четыремстам немедленно самораспуститься, но в то же время одобрял конституцию Пяти тысяч, соединенную с восстановлением старого сената. Зачислить Пять тысяч сразу - значит встретить армию на полпути; и была надежда, что такой ценой можно будет достичь компромисса и примирения, о которых сам Алкивиад говорил как о практически осуществимых.[78] В дополнение к официальному ответу посланники, несомненно, привезли с собой сведения о разъяренных чувствах, проявленных войском, и о нетерпении, не контролируемом никем, кроме Алкивиада, немедленно отплыть домой и спасти Афины от Четырехсот. Отсюда росло убеждение, что господство последних не может продолжаться долго, и стремление, как со стороны других, так и со стороны Фераменеса, выступить во главе народной оппозиции против них, во имя Пяти тысяч[79].

Против этой народной оппозиции Антифон и Фриних с демагогической настойчивостью старались приласкать и удержать большинство Четырехсот, а также сохранить свою власть без сокращений. Они ни за что не хотели подчиниться этому требованию, чтобы фикция пяти тысяч превратилась в реальность. Они прекрасно понимали, что привлечение такого количества партнеров[80] было бы равносильно демократии и означало бы, если не по форме, то, по крайней мере, по существу, уничтожение их собственной власти. Теперь они зашли слишком далеко, чтобы спокойно отступить; угрожающая позиция Самоса, а также оппозиция, растущая против них дома, как внутри, так и вне их собственного тела, только подстрекали их ускорить свои меры по заключению мира со Спартой и обеспечить введение спартанского гарнизона.

С этой целью сразу же после возвращения посланцев с Самоса два самых выдающихся вождя, Антифон и Фриних, вместе с десятью другими соратниками поспешно отправились в Спарту, готовые купить мир и обещание спартанской помощи почти любой ценой. В то же время строительство крепости в Эктионе велось с удвоенным рвением, под предлогом защиты входа в Пирей от самосских войск, если угроза их прихода будет выполнена, но с реальной целью ввести туда лакедемонский флот и армию. Для этого были созданы все условия. Северо-западный угол укрепления Пейреуса, к северу от гавани и ее устья, был отрезан поперечной стеной, тянувшейся к югу, чтобы соединиться с гаванью: от южного конца этой поперечной стены, образуя с ней угол, была построена новая стена, обращенная к гавани и идущая до конца мола, который сужал устье гавани с северной стороны, и у этого мола она встречалась с окончанием северной стены Пейреуса. Таким образом, была создана отдельная цитадель, защищенная от любого нападения как со стороны Пейреуса, так и со стороны гавани; кроме того, она была оснащена собственными широкими воротами и постернами, а также приспособлениями для впуска в нее врага с .[81] Новая поперечная стена была проведена таким образом, чтобы пересечь обширный портик, или открытый рынок, самый большой в Пирее: большая половина этого портика, таким образом, оказалась заключенной в новую цитадель; и были отданы приказы, чтобы вся кукуруза, как уже хранящаяся на складах, так и в будущем, которая будет импортирована в Пирей, была помещена туда и продавалась оттуда для потребления. Поскольку со времени постоянного занятия Декелеи Афины жили почти исключительно на кукурузе, привозимой с Эвбеи и из других мест, Четырехсотники таким образом стали хозяевами всего пропитания граждан, а также входа в гавань: либо впускать спартанцев, либо не пускать вооружение с Самоса[82].

Хотя Тераменес, один из генералов, названных в числе четырехсот, вместе со своими сторонниками осуждал изменническую цель этой новой цитадели, большинство четырехсот

оставалось при своем решении, и строительство быстро продвигалось под руководством генерала Алексикла, одного из самых стойких представителей олигархической фракции.[В Афинах так сильна была привычка подчиняться установленной власти, когда она уже создана, и так велики были страх и недоверие, вызванные всеобщей верой в реальность пяти тысяч неизвестных вспомогательных войск, якобы готовых исполнять приказы четырехсот, что народ и даже вооруженные граждане-гоплиты продолжали работать над зданием, несмотря на свои подозрения относительно его замысла. Хотя строительство еще не было завершено, оно было настолько продвинуто, что его можно было защищать, когда Антифон и Фриних вернулись из Спарты. Они были готовы сдать все - не только свои морские силы, но и сам город - и обеспечить свою личную безопасность, сделав лакедемонян хозяевами Пирея. 84] Однако мы с изумлением читаем, что последних не удалось склонить к заключению какого-либо договора и что они проявили лишь неуклюжесть, не воспользовавшись этой прекрасной возможностью. Если бы Алкивиад вел сейчас их игру, как он делал это годом раньше, непосредственно перед восстанием на Хиосе, - если бы у них были энергичные лидеры, чтобы побудить их к сердечному сотрудничеству с изменой Четырехсот, которые в этот момент объединили и волю, и власть, чтобы отдать Афины в их руки, если бы их поддерживали достаточные силы, - они могли бы сейчас одолеть своего великого врага у себя дома, прежде чем вооружение на Самосе могло быть приведено на помощь.

Если учесть, что Афины были спасены от захвата только благодаря слабости и глупости спартанцев, то мы увидим, что вооружение на Самосе имело разумное оправдание своему нетерпению, проявленному ранее к возвращению домой; и что Алкивиад, борясь с этим намерением, подвергся крайней опасности, которую не предотвратило ничто, кроме невероятной удачи. Почему лакедемоняне бездействовали в Пелопоннесе и в Декелее, пока Афины были преданы и находились в состоянии распада, мы не можем объяснить: возможно, осторожность эфоров вызвала недоверие к Антифону и Фриниху из-за безмерности их уступок. Они обещали, что лакедемонский флот из сорока двух трирем, частично из Тарентума и Локри, который собирался отплыть из Ласа в Лаконском заливе в Эвбею по приглашению недовольных на этом острове, отклонится от прямого курса и будет держаться возле Эгины и Пейреуса, готовый воспользоваться любой возможностью для нападения, открытой Четырехсотым[85].

Однако еще до того, как эскадра обогнула мыс Малеа, Фераменес получил сведения о ней и сообщил, что она намерена действовать совместно с Четырехсотым для захвата Эктинеи. Тем временем Афины с каждым днем становились ареной все большего недовольства и беспорядков после неудачного посольства и возвращения из Спарты Антифона и Фриниха. Принудительное господство Четырехсот тихо исчезало, а ненависть, которую внушала их узурпация, и страх перед их предательским союзом с врагом общества все громче проявлялись как в частных разговорах людей, так и на собраниях, тайно собиравшихся в многочисленных домах, особенно в доме периполарха, капитана периполов, или молодых гоплитов, которые составляли главную полицию страны. Такая ненависть недолго переходила от пылкой страсти к действию. Фриних, выходя из здания сената, был убит двумя единомышленниками, один из которых был периполом, или юным гоплитом, посреди многолюдной рыночной площади и при свете дня. Человек, нанеший удар, скрылся, но его товарищ был схвачен и подвергнут пыткам по приказу Четырехсот:[86] он был незнакомцем, родом из Аргоса, и либо не мог, либо не хотел назвать имя своего непосредственного сообщника. От него не удалось добиться ничего, кроме общих указаний на собрания и широкое недовольство. Оставшись без особых доказательств, Четыреста не решились наложить руки на Фераменеса, явного лидера оппозиции, как это сделал Критий шесть лет спустя, при Тридцати. Убийцы Фриниха остались неразоблаченными и безнаказанными, а Фераменес и

его соратники стали еще смелее в своем противостоянии, чем прежде. А приближение лакедемонского флота под командованием Агесандрида, который, расположившись в Эпидавре, спустился к Эгине и завис неподалеку от Пирея, совсем в стороне от прямого курса на Эвбею, придало двойную силу всем их прежним утверждениям о неминуемой опасности, связанной с цитаделью в Эктионе.

На фоне этой преувеличенной тревоги и раздора общая масса гоплитов прониклась неприязнью,^[87] с каждым днем усиливавшейся, к новой цитадели. В конце концов гоплиты из племени, в котором служил Аристократес, самый горячий сторонник Фераменеса, находясь на службе и занимаясь строительством, подняли против него абсолютный мятеж, схватили генерала Алексикла и посадили его под арест в соседнем доме, а периполи, или юная военная полиция, размещенная в Мунихии, при Хермоне, помогала им в этом деле.^[88] Весть об этом насилии быстро дошла до Четырехсот, которые в тот момент заседали в доме сената, где присутствовал и сам Тераменес. Их гнев и угрозы сначала были направлены против него как против зачинщика восстания, и он мог оправдаться только тем, что добровольно отправился в числе первых на освобождение пленника. Он сразу же поспешно отправился к Пейрею в сопровождении одного из генералов, своего коллеги, который придерживался тех же политических настроений, что и он сам. Третий из генералов, Аристарх, один из самых яростных олигархов, последовал за ним, вероятно, из недоверия, вместе с некоторыми младшими рыцарями, всадниками или представителями самого богатого сословия в государстве, приверженцами дела Четырехсот. Олигархические партизаны бросились вооружаться, распространяя тревожные слухи о том, что Алексиклес был предан смерти, а Пейреус захвачен вооруженным путем; в Пейреусе же повстанцы воображали, что гоплиты из города идут полным маршем, чтобы напасть на них. На некоторое время все пришло в смятение и гневные настроения, которые при малейшей случайности могли перерасти в кровавую бойню. Успокоить их удалось только благодаря искренним уговорам и увещаниям старших граждан, которым способствовал Фукидид из Фарсала, проксен или общественный гость Афин в своем родном городе, о пагубном безумии таких раздоров, когда чужеземный враг находится почти у их ворот.

Опасное волнение, вызванное этим временным кризисом, который высветил истинные политические настроения каждого человека, доказало, что олигархическая фракция, численность которой до сих пор была преувеличена, гораздо менее сильна, чем представляли себе ее противники. А Четыреста оказались в слишком большом затруднении, как сохранить видимость своей власти даже в самих Афинах, чтобы быть в состоянии послать сколько-нибудь значительные силы для защиты своей цитадели в Эктионе; хотя всего за восемь дней до своего падения они были усилены по крайней мере одним дополнительным членом, вероятно, взамен случайно умершего предшественника.^[89] Тераменес, достигнув Пейреуса, начал обращаться к мятежным гоплитам в тоне симулируемого недовольствия, в то время как Аристарх и его олигархические товарищи говорили на самом грубом языке и угрожали им силой, которая, по их мнению, должна была вот-вот спуститься из города. Но на эти угрозы гоплиты отвечали с такой же твердостью, даже обратились к самому Фераменесу и призвали его сказать, считает ли он, что строительство этой цитадели идет на пользу Афинам, или же ее лучше снести. Его мнение было высказано заранее, и он ответил, что если они считают нужным снести ее, то он с ними искренне согласен. Без дальнейших проволочек гоплиты и безоружные люди поднялись на стены и с готовностью приступили к сносу под общий крик: "Кто за пять тысяч вместо четырехсот, пусть протянет руку помощи в этом деле". Идея старой демократии была у всех на уме, но никто не произносил ни слова; страх перед воображаемыми пятью тысячами все еще сохранялся. Работы по разрушению,

похоже, велись весь тот день и были завершены только на следующий; после этого гоплиты освободили Алексикла из-под ареста, не причинив ему никакого вреда[90].

Среди этих деталей два момента заслуживают внимания как иллюстрация афинского характера. Хотя Алексикл был ярким олигархом, а также непопулярным, эти мятежники не причиняют вреда его личности, а довольствуются тем, что сажают его под арест. Затем они не решаются приступить к разрушению цитадели, пока не получают официальную санкцию Фераменеса, одного из генералов. Сильная привычка к законности, привитая всем афинским гражданам их демократией, и забота, даже отступая от нее, отступать как можно меньше, наглядно проявились в этих действиях.

События этого дня нанесли фатальный удар по господству Четырехсот; однако на следующий день они, как обычно, собрались в доме сената; и, похоже, теперь, когда было уже слишком поздно, они поручили одному из своих членов составить реальный список, чтобы подтвердить вымысел о Пяти тысячах.[91] Тем временем гоплиты в Пейре, закончив выравнивание новых укреплений, предприняли еще более важный шаг - вошли, вооруженные, в театр Диониса, расположенный неподалеку, в Пейре, но на окраине Мунихии, и провели там официальное собрание; вероятно, под созывом генерала Фераменеса, в соответствии с формами предшествующей демократии. Они решили перенести свое собрание в Анакейон, или храм Кастора и Поллукса, Диоскуров, в самого города и под акрополем; туда они немедленно отправились и утвердились, сохраняя оружие. Положение Четырехсот настолько изменилось, что те, кто в предыдущий день был агрессивен против спонтанной вспышки мятежников в Пейреусе, теперь были брошены в оборону против официального собрания, все вооруженные, в городе и рядом с их собственным зданием сената. Чувствуя себя слишком слабыми, чтобы применить силу, они послали депутатов в Анакейон для переговоров и уступок. Они обязались опубликовать список Пяти тысяч и создать их для периодического прекращения и возобновления работы Четырехсот, путем ротации из Пяти тысяч, в том порядке, который они сами определяют. Но они умоляли дать им время для этого и сохранить внутренний мир, без которого нет надежды на защиту от внешнего врага. Многие гоплиты из самого города присоединились к собранию в Анакеоне и приняли участие в дебатах. Положение Четырехсот перестало внушать страх, и языки ораторов вновь развязались, а уши народа вновь открылись, впервые после прибытия Пейсандра из Самоса с планом олигархического заговора. Такое возобновление свободного и бесстрашного публичного слова, свойственного демократии, было не менее полезно для успокоения внутренних разногласий, чем для усиления чувства общего патриотизма против иноземного врага.[92] Собрание в конце концов разошлось, назначив на будущее время второе собрание, чтобы вновь установить гармонию в театре Диониса.[93]

В тот день и час, когда это собрание в театре Диониса уже собиралось, по Пирею и Афинам пронеслась весть, что сорок две триремы под командованием лакедемонянина Агесандрида, недавно покинув гавань Мегары, плывут вдоль побережья Саламины по направлению к Пирею. Это событие, вызвавшее всеобщее смятение в городе, подтвердило все предыдущие предупреждения Фераменеса о предательском предназначении недавно разрушенной цитадели, и все радовались, что разрушение было произведено как раз вовремя. Отказавшись от намеченного собрания, горожане единодушно устремились к Пейрею, где некоторые из них заняли пост для гарнизона стен и устья гавани; другие взойшли на борт трирем, стоявших в гавани; третьи спустили на воду свежие триремы из лодочных домиков. Агесандрид проплыл вдоль берега, недалеко от устья Пейреуса, но не обнаружил ничего, что могло бы сулить концерт внутри или склонить его к намеченному нападению. Поэтому он прошел мимо и двинулся к Суниуму в южном направлении. Обогнув мыс Суниум, он повернул вдоль побережья Аттики на север,

остановился на некоторое время между Торикусом и Прасией, а затем занял позицию в Оропусе[94].

Узнав, что он прошел мимо Пирея, не совершив никакого нападения, афиняне с облегчением поняли, что теперь его целью должна быть Эвбея, которая была для них едва ли менее важна, чем Пирей, поскольку основные запасы они получали с этого острова. Поэтому они сразу же вышли в море со всеми триремами, которые только можно было укомплектовать и подготовить в гавани. Но из-за спешки, недоверия и разногласий, царивших в данный момент, а также отсутствия на Самосе большого военного флота, экипажи были сырыми и плохо подобранными, а вооружение - неэффективным. На борту находился Полистрат, один из членов "Четырех сотен", а возможно, и другие; люди, которые были заинтересованы скорее в поражении, чем в победе.[95] Тимоха rês, адмирал, провел их вокруг мыса Суний в Эретрию в Эвбее, где нашел еще несколько трирем, которые составили тридцать шесть парусов всего его флота.

Едва он достиг гавани и высадился, как, не дав своим людям времени подкрепиться, был вынужден вступить в бой с сорока двумя кораблями Агесандрида, который только что отплыл из Оропа и уже подходил к гавани. Эта неожиданность была вызвана антиафинской партией в Эретрии, которая по прибытии Тимохареса позаботилась о том, чтобы на рынке не оказалось провизии, и его люди были вынуждены разойтись и добывать ее в домах на окраине города; В то же время был поднят сигнал, видимый в Оропусе на противоположной стороне пролива, шириной менее семи миль, который указывал Агесандриду точный момент для приведения его флота в атаку, с экипажами, свежими после утренней трапезы. Тимохарес, увидев приближение врага, приказал своим людям подняться на борт, но, к его разочарованию, многие из них оказались так далеко, что не смогли вернуться вовремя, и он был вынужден отплыть и встретить пелопоннесцев с кораблями, очень плохо укомплектованными. В сражении, произошедшем неподалеку от эретрийской гавани, он после короткого поединка потерпел полное поражение, а его флот был отброшен к берегу. Некоторые из его кораблей спаслись в Халкисе, другие - в укрепленном пункте, гарнизонированном самими афинянами, недалеко от Эретрии; однако не менее двадцати двух трирем из тридцати шести попали в руки Агесандрида, а большая часть экипажей была убита или взята в плен. Из тех моряков, которым удалось спастись, многие нашли свою смерть от рук эретрийцев, в город которых они бежали в поисках убежища. При известии об этом сражении не только Эретрия, но и вся Эвбея, за исключением Орея на севере острова, который был заселен афинскими клерухами, объявила о своем восстании из Афин, которое было намечено более года назад, и приняла меры для обороны совместно с Агесандридом и беотийцами[96].

При нынешнем бедственном положении города Афины не смогли бы перенести катастрофу, которая сама по себе была бы столь огромной и усугубленной. Ее последний флот был уничтожен, ближайший и самый ценный остров отторгнут от нее; остров, который в последнее время больше удовлетворял ее потребности, чем сама Аттика, но который теперь должен был стать враждебным и агрессивным соседом[97]. Предыдущее восстание Эвбеи, произошедшее за тридцать четыре года до этого, в период максимального расцвета афинской власти, уже тогда было страшным ударом для Афин и стало одним из главных обстоятельств, заставивших ее унизиться до тридцатилетнего перемирия. Но это второе восстание произошло, когда у нее не было не только средств отвоевать остров, но даже возможности защитить Пирей от блокады вражеским флотом. Тревога и ужас, вызванные новостями в Афинах, были беспредельными, даже превосходящими те, что были после сицилийской катастрофы или восстания на Хиосе. Не было в казне и второго резерва, подобного той тысяче талантов, которая оказала столь существенную услугу в прошлом случае. Вдобавок к внешним опасностям афинян тяготили две внутренние беды, которые сами по себе были едва ли возможны: отчуждение собственного флота на Самосе и еще не утихший

раздор в их собственных стенах, где четыреста человек все еще временно держали бразды правления, а во главе их стояли самые умелые и беспринципные вожди. В глубине своего отчаяния афиняне ожидали только одного: увидеть победоносный флот Агесандрида - более шестидесяти трирем, включая недавно захваченные, - у берегов Пирея, запрещающий всякий импорт и угрожающий им приближающимся голодом в сочетании с Агисом и Деклеей. Предприятие было бы легким, так как не было ни кораблей, ни моряков, чтобы отразить его; и его прибытие в этот критический момент, скорее всего, позволило бы Четырем сотням возобновить свое господство, имея средства, а также расположение ввести лакедемонский гарнизон в город.^[98] И хотя прибытие афинского флота с Самоса предотвратило бы эту крайность, он не мог прибыть вовремя, разве что при условии длительной блокады: более того, простое перемещение его с Самоса в Афины оставило бы Ионию и Геллеспонт незащищенными перед лакедемонянами и персами и привело бы к потере всей Афинской империи. Ничто не могло бы спасти Афины, если бы лакедемоняне в этот момент действовали с разумной энергией, а не ограничились бы Эвбеей, которую теперь было легко и наверняка завоевать. Как и в прошлом случае, когда Антифон и Фриних отправились в Спарту, готовые пойти на любые жертвы ради получения лакедемонской помощи и уговоров, так и теперь, в еще большей степени, Афины были обязаны своим спасением только тому, что врагами перед ними были ленивые и скучные спартанцы, а не предприимчивые сиракузяне под руководством Гилиппа.^[99] И это уже второй случай, когда Афины оказались на грани гибели из-за политики Алкивиада, сохранившего вооружение на Самосе.

К счастью для афинян, у берегов Пирея не появился Агесандрид, так что двадцати триерам, которые они умудрились выставить для обороны, нечем было отбиваться от врага.^[100] Таким образом, афиняне получили возможность насладиться отдыхом, который позволил им частично оправиться как от смятения, так и от разлада в душе. Первым делом, когда вражеский флот не появился, они созвали общественное собрание, причем в самом Пниксе, привычном месте проведения демократических собраний, что должно было оживить патриотизм, который не давал покоя и тлел на протяжении четырех последних месяцев. На этом собрании мнение было решительно направлено против Четырехсот:^[101] даже те, кто, подобно совету старейшин под названием *probûli*, первоначально выступали за их назначение, теперь осудили их вместе с остальными, хотя олигархический лидер Пейсандр сурово высмеивал их за непоследовательность. В итоге были проведены голосования: 1. низложить Четыреста; 2. передать все управление страной в руки *Пяти тысяч*; 3. каждый гражданин, снабдивший паноптикумом себя или кого-либо другого, должен был по праву быть членом этого органа Пяти тысяч; 4. ни один гражданин не должен был получать жалованье за выполнение каких-либо политических функций под страхом торжественного проклятия или отлучения от церкви.^[102] Таковы были пункты, определенные первым собранием, состоявшемся в Пниксе. Были обновлены архонты, сенат пятисот и т. д.; после этого состоялось множество других собраний, на которых были учреждены номотеты, дикасты и другие институты, необходимые для функционирования демократии. Были проведены и другие голосования, в частности, по предложению Крития, поддержанному Фераменесом,^[103] о восстановлении Алкивиада и некоторых его друзей из изгнания; кроме того, были разосланы послания как ему, так и вооруженным силам на Самосе, несомненно, подтверждающие недавнее назначение генералов, информирующие их о том, что недавно произошло в Афинах, а также выражающие их полное согласие и неослабевающие усилия против общего врага.

Фукидид воздает хвалу общему духу умеренности и патриотической гармонии, который теперь царил в Афинах и руководил политическими действиями народа.^[104] Но он не поддерживает мнение, как его иногда понимают, да и не соответствует действительности,

что теперь они ввели новую конституцию. Покончив с олигархией и правлением Четырехсот, они восстановили старую демократию, казалось бы, только с двумя изменениями: во-первых, с частичным ограничением избирательного права; во-вторых, с прекращением всякой платы за политические функции. Импиachment против Антифона, рассмотренный сразу после этого, прошел через сенат и дикастерий точно в соответствии со старыми демократическими формами процедуры. Но мы должны предположить, что сенат, дикасты, номотеты, экклезиасты или граждане, присутствовавшие на собрании, ораторы, которые преследовали государственных преступников или защищали какой-либо закон, когда его оспаривали, должны были работать в это время без оплаты.

Кроме того, две вышеупомянутые модификации не имели практического значения. Исключительный орган из пяти тысяч граждан, якобы созданный в этот момент, не был ни в точности реализован, ни надолго сохранен. Даже сейчас он был скорее номинальным, чем реальным пределом; номинальным, но уже не просто пустым, как это было в случае с четырьмя сотнями, а содержащим, действительно, большее число отдельных имен, чем общее количество, и без какой-либо поддающейся определению линии разграничения. Сам факт, что каждый из тех, кто представил паноптикум, имел право быть в числе пяти тысяч, - и не только они, но и другие,[105] - показывает, что не было принято никаких мер, чтобы придерживаться ни этого, ни какого-либо другого точного числа. Если верить речи Лисия,[106] четыреста человек после разрушения намеченной ими крепости в Эктейе, когда власть ушла из их рук, сами назначили комитет из своего числа, чтобы впервые составить настоящий список пяти тысяч; и Полистрат, член этого комитета, ставит себе в заслугу последующую демократию, что список состоял из девяти тысяч имен вместо пяти тысяч. Поскольку этот список Полистрата - если, конечно, он вообще существовал - никогда не был ни опубликован, ни принят, я просто привожу его описание, чтобы проиллюстрировать свою позицию, согласно которой число "пять тысяч" теперь понималось со всех сторон как неопределенное выражение, обозначающее широкое, но не всеобщее избирательное право. Сначала это число было придумано Антифоном и лидерами Четырехсот, чтобы скрыть свою узурпацию и запугать демократию: затем оно послужило цели Тераменеса и меньшинства Четырехсот, как основа, на которой можно было поднять своего рода династическую оппозицию, выражаясь современной фразеологией, в пределах олигархии; то есть, не выходя за рамки принципов, признанных самой олигархией: наконец, демократическая партия использовала его как удобный промежуточный термин, чтобы вернуться к старой системе с минимальным количеством споров; ведь Алкивиад и вооружение послали домой весть о том, что они придерживаются "Пяти тысяч" и отмены наемных гражданских функций.[107]

Но исключительное избирательное право так называемых "пяти тысяч", особенно при принятой теперь расширительной численной конструкции, не имело ценности ни для них самих, ни для государства;[108] в то же время оно оскорбляло чувства исключенных, особенно таких храбрых и активных моряков, как парали. Хотя эта мера была благоразумна как временный переходный шаг, она не могла устоять, и не было предпринято никаких попыток сохранить ее надолго в обществе, которое так долго привыкало к всеобщему гражданству и где необходимость защиты от врага требовала энергичных усилий от всех граждан.

Даже если говорить о безвозмездных функциях, сами члены Пяти тысяч скоро устали бы, не меньше, чем более бедные свободные, служить без жалованья, в качестве сенаторов или иным образом; так что ничто, кроме абсолютного финансового дефицита, не помешало бы восстановить, полностью или частично, жалованье.[109] И этот дефицит никогда не был

настолько полным, чтобы остановить выплату диобелий, или раздачу двух оболлов каждому гражданину по случаю различных религиозных праздников. Такая раздача продолжалась без перерыва, хотя, возможно, число случаев, когда она производилась, было сокращено.

Насколько или с какими ограничениями было восстановлено гражданское жалование в течение семи лет между Четыреста и Тридцатью годами, мы не можем сказать. Но, оставив этот вопрос нерешенным, мы можем показать, что в течение года после низложения Четырехсот избирательное право так называемых Пяти тысяч расширилось до избирательного права всех афинян без исключения, или до полной демократии, существовавшей до этого времени. Памятный декрет, принятый примерно через одиннадцать месяцев после этого события, - в начале правления архонта Глаукиппа (июнь 410 г. до н. э.), когда сенат Пятисот, дикасты и другие гражданские должностные лица были обновлены на следующий год в соответствии с древней демократической практикой, - демонстрирует нам полную демократию не только в действии, но и во всем блеске чувств, вызванных недавним восстановлением. По-видимому, было решено, что это первое обновление архонтов и других должностных лиц в условиях возрожденной демократии должно быть скреплено каким-нибудь выразительным провозглашением чувств, аналогичным торжественной и волнующей сердце клятве, принесенной в предыдущем году на Самосе. Поэтому Демофант предложил и провел декрет (псефизм или),^[110] предписывающий форму клятвы, которую должны были дать все афиняне, чтобы поддерживать демократическую конституцию.

Условия его псефизма и клятвы поразительны. "Если кто-либо ниспровергнет афинскую демократию или займет какой-либо пост после того, как демократия была ниспровергнута, он будет врагом афинян. Пусть он будет безнаказанно предан смерти, а его имущество конфисковано в пользу общества с сохранением десятины в пользу Athênê. Пусть убивший его человек и сообщник, посвященный в это деяние, будут причислены к лику святых и с хорошим религиозным запахом. Пусть все афиняне в своих племенах и владениях дадут клятву под жертвоприношением полнолетних жертв убить его.^[111] Клятва должна быть следующей: "Я убью своей рукой, если смогу, любого человека, который ниспровергнет афинскую демократию, или будет занимать какую-либо должность в будущем после ниспровержения демократии, или поднимется с оружием в руках, чтобы стать деспотом, или поможет деспоту утвердиться. Если же кто-либо другой убьет его, то я причислю убитого к лику святых как богов, так и демонов, как убившего врага афинян. И я обязуюсь словом, делом и голосованием продать его имущество и половину вырученных денег отдать убитому, ничего не утаивая. Если кто-либо погибнет, убив или пытаясь убить деспота, я буду добр и к нему, и к его детям, как к Гармодию и Аристогейтону, и к их потомкам. И я разрываю и отрекаюсь от всех клятв, которые были даны враждебно афинскому народу, как в Афинах, так и в лагере (на Самосе) или где-либо еще. ^{112]} Пусть все афиняне дадут эту клятву как обычную, непосредственно перед праздником Дионисий, с жертвоприношением и полнорострой жертвой; ^{113]} призывая на того, кто ее соблюдает, благо в изобилии, а на того, кто ее нарушит, гибель для себя и для своей семьи."

Таково было замечательное постановление, которое афиняне не только приняли в сенате и общественном собрании менее чем через год после низложения Четырехсот, но и выгравировали на колонне рядом с дверью сенатского дома. Это явно свидетельствует не только о возвращении демократии, но и о необычном накале демократических чувств вместе с ней. Конституция, которую все афиняне поклялись поддерживать самыми решительными мерами защиты, должна была быть конституцией, в которой все афиняне имели

политические права, а не один из пяти тысяч привилегированных лиц, исключаящих остальных.^[114] Этот декрет утратил силу после изгнания Тридцати в силу принятого тогда общего постановления не действовать на основании законов, принятых до архонства Эвклидеса, если они не будут приняты специально заново. Но колонна, на которой он был выгравирован, все еще оставалась, и слова на ней читались, по крайней мере, до времен оратора Ликурга, восемьдесят лет спустя^[115].

Однако одного лишь низложения Четырехсот и передачи политической власти Пяти тысячам, произошедшего на первом общественном собрании, состоявшемся после поражения при Эретрии, было достаточно, чтобы большинство буйных лидеров Четырехсот немедленно покинули Афины. Пейсандр, Алексиклес и другие тайно ушли в Декелею:^[116] один только Аристарх сделал свое бегство средством нанесения новой раны своей стране. Находясь в числе генералов, он воспользовался этой властью, чтобы вместе с самыми грубыми скифскими лучниками, выполнявшими полицейские функции в городе, отправиться в СЕпоё, на беотийской границе, которая в тот момент была осаждена объединенными силами коринфян и беотийцев. Аристарх вместе с осаждающими явился к гарнизону и сообщил, что Афины и Спарта только что заключили мир, одним из условий которого была сдача СЕпоё беотийцам. Поэтому он, как генерал, приказал им эвакуироваться из этого места и под страхом перемирия вернуться домой. Гарнизон, тесно блокированный и находившийся в полном неведении о действительном положении дел, беспрекословно подчинился приказу, так что беотийцы получили в свое распоряжение эту очень важную пограничную позицию, новую занозу в боку Афин, помимо Декелеи^[117].

Таким образом, афинская демократия была вновь восстановлена, а развод между городом и вооружением на Самосе прекратился после четырехмесячного перерыва, вызванного успешным заговором Четырехсот. Только чудом - или, скорее, невероятной отсталостью и глупостью своих внешних врагов - Афины спаслись от этой гнусной агрессии своих самых способных и богатых граждан. То, что победившая демократия должна была осудить и наказать главных действующих лиц, которые удовлетворяли свои эгоистические амбиции ценой стольких страданий, тревог и опасностей для своей страны, было не более чем строгой справедливостью. Но обстоятельства дела были особыми: ведь контрреволюция была совершена отчасти с помощью меньшинства среди самих Четырехсот - Тераменеса, Аристократа и других, вместе с советом старейшин, называемым Пробули, - все они с самого начала были либо главными, либо соучастниками той системы террора и убийств, благодаря которой демократия была свергнута, а олигархические правители утвердились в сенате. Поэтому ранние операции заговора, хотя и относились к его худшим чертам, не могли быть подвергнуты расследованию и суду, не скомпрометировав этих участников как соратников по преступлению. Тераменес обошел эту трудность, выбрав для обвинения недавний акт большинства Четырехсот, против которого выступал он сам и его сторонники и в отношении которого у него не было интересов, противоречащих ни справедливости, ни народному чувству. В первую очередь он выступил с осуждением последнего посольства, отправленного Четырехсотниками в Спарту с инструкциями купить мир и союз почти любой ценой, и связанного со строительством крепости в Эктинее для приема вражеского гарнизона. Этот акт явной измены, в котором были замешаны Антифон, Фриних и еще десять известных посланников, был выбран в качестве особого дела для публичного суда и наказания не столько по общественным соображениям, сколько с целью собственной благосклонности в обновленной демократии. Но тот факт, что именно Тераменес осудил своих старых друзей и соратников, после того как сам протянул руку и сердце к их прежним и не менее виновным деяниям, долгое время вспоминался как вероломное предательство и

использовался в последующие дни как оправдание жестокой несправедливости по отношению к самому себе[118].

Из двенадцати посланников, отправившихся с этой миссией, все, кроме Фриниха, Антифона, Архептолема и Ономаклеса, похоже, уже бежали в Декелею или куда-то еще. Фриних, как я уже упоминал [несколькими страницами](#) выше, был убит за несколько дней до этого. В память о нем восстановленный сенат Пятисот только что вынес осуждающее решение, постановив конфисковать его имущество и сровнять с землей его дом, а также даровать гражданство и денежное вознаграждение двум иностранцам, которые, как утверждает , убили его.[Трое других, Антифон, Архептолем и Ономаклес,[120] были представлены сенату полководцами, среди которых, вероятно, был и Фераменес, как отправившиеся с миссией в Спарту с целью причинить вред Афинам, частично на борту вражеского корабля, частично через спартанский гарнизон в Декелее. После этого представления, которое, несомненно, представляло собой довольно длинный и подробный документ, сенатор по имени Андрон предложил: Чтобы генералы, при содействии десяти сенаторов, которых они могут выбрать, схватили трех обвиняемых и держали их под стражей до суда; чтобы семотеты послали каждому из трех официальную повестку, чтобы они приготовились к суду в будущий день в дикастерии по обвинению в государственной измене, и привели их на суд в указанный день; при содействии генералов, десяти сенаторов, выбранных в качестве помощников, и любого другого гражданина, который может пожелать принять участие, в качестве их обвинителей. Каждый из трех должен был быть судим отдельно, и в случае осуждения должен был поступить в соответствии с городским законом о наказании предателей или лиц, виновных в измене[121].

Хотя все трое указанных лиц находились в Афинах или, по крайней мере, должны были находиться там в день, когда сенат принял это постановление, Ономаклес бежал до его исполнения, так что в тюрьму для суда были заключены только Антифон и Архептолем. У них тоже было достаточно возможностей покинуть город, и можно предположить, что Антифон считал бы необходимым удалиться, как и Пейсандр с Алексиклесом. Такой острый человек, как он, и в то же время не очень популярный, должен был понимать, что теперь, по крайней мере, он поднял меч против своих сограждан в манере, которая никогда не может быть прощена. Однако он добровольно решил остаться: и этот человек, отдавший приказ убить многих демократических ораторов путем частного убийства, получил от демократии, когда она восторжествовала, полное уведомление и справедливый суд по ясному и конкретному обвинению. Речь, которую он произнес в свою защиту, хотя и не добились оправдания, была выслушана не только с терпением, но и с восхищением, о чем можно судить по тому мощному и продолжительному эффекту, который она произвела. Фукидид описывает ее как самую великолепную защиту против обвинения в смертной казни, которая когда-либо представала перед ним;[122] а поэт Агатон, несомненно, слушатель, горячо похвалил Антифона за его красноречие; на что тот ответил, что одобрение одного такого проникательного судьи было в его глазах достаточной компенсацией за недружественный вердикт толпы. Дикастерий признал его и Архептолема виновными и приговорил к наказанию за измену. Их передали магистратам "одиннадцати", вершителям правосудия в Афинах, чтобы они были преданы смерти с помощью обычной порции болиголова. Их имущество было конфисковано, дома приказано сжечь, а на освободившемся месте установить колонны с надписью: "Резиденция Антифона-предателя, Архептолема-предателя". Их не разрешалось хоронить ни в Аттике, ни на территории, подвластной афинянам. 123] Их дети, как законные, так и незаконные, лишались гражданства, а гражданин, который усыновит любого потомка любого из них, должен был сам быть лишен гражданских прав.

Таков был приговор, вынесенный дикастерией в соответствии с афинским законом об измене. Его приказано было выгравировать на той же медной колонне, что и почетный указ убийцам Фриниха. С этой колонны он был переписан и таким образом вошел в историю[124].

Сколько олигархов из четырехсот на самом деле предстали перед судом или были наказаны, мы не можем знать; но есть основания полагать, что ни один из них не был предан смерти, кроме Антифона и Архептолема, а также, возможно, Аристарха, предавшего Сеное беотийцам. Последний, как говорят, был официально судим и осужден:[125] хотя по какой случайности он впоследствии оказался во власти афинян, после того как однажды совершил побег, нам не известно. Имущество Пейсандра, которому удалось бежать, было конфисковано и полностью или частично передано в качестве компенсации Аполлодору, одному из убийц Фриниха:[126] вероятно, имущество других известных беглых олигархов также было конфисковано. Полистрат, еще один из Четырехсот, ставший членом этого органа лишь за несколько дней до его падения, был привлечен к суду за отсутствие, которое его защитники впоследствии объяснили тем, что он был ранен в морском сражении при Эретрии, и подвергнут крупному штрафу. Похоже, что каждый из Четырехсот был призван пройти через ревизию и суд по ответственности, в соответствии с общей афинской практикой в отношении магистратов, покидающих свой пост. Те из них, кто не явился на этот суд, были приговорены к штрафу, изгнанию или к тому, чтобы их имена записали как предателей; но большинство из тех, кто явился, похоже, были оправданы; частично, как нам говорят, благодаря взяткам логистам или ревизорам, хотя некоторые были приговорены либо к штрафу, либо к частичной политической инвалидности, наряду с теми гоплитами, которые были наиболее явными приверженцами Четырехсот[127].

Как бы нечетко мы ни представляли себе конкретные действия афинского народа при восстановлении демократии, мы знаем от Фукидида, что их благоразумие и умеренность были образцовыми. Восхваление, которое он в столь резких выражениях дает их поведению в этот момент, действительно вдвойне примечательно:[128] во-первых, потому что оно исходит от изгнанника, не дружественного демократии, и сильного поклонника Антифона; во-вторых, потому что сам момент был крайне тяжелым для народной морали и мог вырождаться, по почти естественной тенденции, в избыток реакционной мести и преследований. Демократии было уже сто лет, начиная с Клейстенеса, и пятьдесят лет, даже начиная с последних реформ Эфиальтеса и Перикла; так что самоуправление и политическое равенство были частью привычного чувства в груди каждого человека, усиленного в данном случае тем фактом, что Афины были не просто демократией, но имперской демократией, имеющей зависимость за границей.[В тот момент, когда, вследствие беспримерных бедствий, она едва в состоянии поддерживать борьбу с внешними врагами, небольшой узел ее собственных богатейших граждан, пользуясь ее слабостью, придумывает, с помощью обмана и силы, не менее вопиющих, чем искусно соединенных, сосредоточить в своих руках государственную власть и вырвать у своих соотечественников защиту от дурного правления, чувство равного гражданства и давно установленную свободу слова. И это еще не все: эти заговорщики не только насаждают олигархический суверенитет в сенате, но и поддерживают его, приглашая извне иностранный гарнизон и предавая Афины пелопоннесским врагам. Двух более смертоносных повреждений невозможно представить; и ни от одного из них Афины не избежали бы, если бы их иностранный враг проявил разумную расторопность. Принимая во внимание огромную опасность, не слишком удачное спасение и тяжелое состояние, в котором оказались Афины,

несмотря на свое спасение, мы вполне могли ожидать в народе реакционной враждебности, которую каждый спокойный наблюдатель, хотя и допускал провокацию, тем не менее должен был осудить; и, возможно, в некоторой степени аналогичной тому отчаянию, которое при очень похожих обстоятельствах вызвало кровавую резню в Коркире. [И когда мы обнаруживаем, что именно этот случай Фукидид, наблюдатель не слишком беспристрастный, выбирает для восхваления их хорошего поведения и умеренности, мы глубоко осознаем хорошие привычки, которые, должно быть, заложила в них предыдущая демократия, и которые теперь служили корректором импульса текущего момента. Они познакомились с цементирующей силой общих чувств; они научились свято хранить нерушимость закона и справедливости даже в отношении своего злейшего врага; и что не менее важно, частота и свобода политических дискуссий научили их не только заменять споры языка спорами меча, но и осмысливать свое положение с его настоящими и будущими обязательствами, вместо того чтобы спешить со слепой ретроспективной местью за прошлое.

В греческой истории мало контрастов, более запоминающихся или более поучительных, чем контраст между этим олигархическим заговором, возглавляемым некоторыми из самых умелых рук в Афинах, и демократическим движением, происходящим в то же самое время на Самосе, среди афинского войска и саамских граждан. В первом случае мы с самого начала не видим ничего, кроме корысти и личных амбиций: сначала партнерство с целью захватить для собственной выгоды власть в государстве; затем, после достижения этой цели, разрыв между партнерами, вызванный разочарованием, одинаково эгоистичным. Мы видим, что они апеллируют только к самым худшим тенденциям: либо к хитрости, чтобы использовать доверчивость людей, либо к внесудебным убийствам, чтобы воздействовать на их страх. В последнем случае, напротив, речь идет о чувствах общего патриотизма и равного, общественного сочувствия. Тот, о котором мы читаем у Фукидида, - когда солдаты вооружения и граждане Самиана поклялись друг другу торжественными клятвами поддерживать свою демократию, поддерживать гармонию и добрые чувства друг с другом, энергично продолжать войну против пелопоннесцев и оставаться во вражде с олигархическими заговорщиками в Афинах, - это сцена из самых драматических и вдохновляющих, которые встречаются в его истории. [Более того, мы видим на Самосе такое же отсутствие реакционной мести, как и в Афинах, после того как нападение олигархов, как афинских, так и саамских, было отбито; хотя эти олигархи начали с убийства Гипербола и других. Во всем этом демократическом движении на Самосе прослеживается благородное превознесение общих чувств над личными и в то же время отсутствие свирепости по отношению к противникам, чего никогда не было в греческом лоне, кроме демократии.

Правда, это было особое движение щедрого энтузиазма, и детали демократического правительства соответствуют ему лишь в малой степени. Ни в жизни отдельного человека, ни в жизни народа обычное и повседневное движение не выглядит достойным тех особых периодов, когда человек поднимается над своим уровнем и становится способным на крайнюю преданность и героизм. И все же такие эмоции, хотя их полное преобладание никогда не бывает иным, чем преходящим, имеют свое основание в жилах чувств, которые даже в другое время не исчезают полностью, а входят в число разнообразных сил, склонных изменять и улучшать, если не управлять, человеческие действия. Даже моменты их преходящего преобладания оставляют после себя светлый след и делают людей, прошедших через них, более склонными к тому, чтобы вновь воспринять тот же великодушный порыв, хотя и в более слабой степени. Одним из достоинств греческой демократии является то, что она вызывала это чувство равного и патриотического единения: иногда, и в редких случаях, как сцена на Самосе, с подавляющей интенсивностью, так,

чтобы воодушевить единодушную толпу; чаще, в более слабых приливах, но таких, которые давали некоторый шанс честному и красноречивому оратору сделать успешный призыв к общественному чувству против коррупции или эгоизма. Если мы проследим за движениями Антифона и его соратников в Афинах во время демократических выступлений на Самосе, то увидим, что в них не только не было такого великодушного порыва, но успех их плана зависел от того, сумеют ли они вытравить из афинского лона всякий общий и активный патриотизм. Под "холодной тенью" их олигархии - даже если предположить отсутствие жестокости и хищничества, которые, вероятно, вскоре стали бы распространенными, если бы их власть продлилась, как мы узнаем из истории второй олигархии Тридцати - у афинской толпы не осталось бы никаких чувств, кроме страха, раболепия или, в лучшем случае, прирученной и тупой преданности лидерам, которых они не выбирали и не контролировали. Для тех, кто считает, что различные формы правления отличаются друг от друга главным образом чувствами, которые каждая из них склонна вызывать как у магистратов, так и у граждан, современные сцены в Афинах и на Самосе будут поучительными сравнениями между греческой олигархией и греческой демократией.

ГЛАВА LXIII. ВОССТАНОВЛЕННАЯ АФИНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПОСЛЕ НИЗЛОЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХСОТ, ВПЛОТЬ ДО ПРИБЫТИЯ КИРА МЛАДШЕГО В МАЛУЮ АЗИЮ.

Олигархия четырехсот в Афинах, установленная в сенате около февраля или марта 411 года до н. э. и низложенная около июля того же года, после четырех или пяти месяцев опасности и смятения, которые привели ее почти в руки врагов, теперь закончилась восстановлением ее демократии; с какими сопутствующими обстоятельствами, было достаточно подробно описано. Теперь я вернусь к военным и морским операциям на азиатском побережье, частично совпадающим с политическими разногласиями в Афинах, описанными выше.

Уже говорилось, что пелопоннесский флот из девяноста четырех трирем,^[132] простоявший не менее восьмидесяти дней на Родосе, вернулся в Милет в конце марта с намерением отправиться на помощь Хиосу, который часть афинского флота под командованием Стромбихидеса осаждала некоторое время и который сейчас находился в самом бедственном положении. Однако главный афинский флот на Самосе помешал Астиоху осуществить задуманное, поскольку он не считал целесообразным рисковать генеральным сражением. Отчасти на него повлияли подкупы, отчасти заблуждения Тиссафернеса, который стремился лишь измотать обе стороны затяжной войной и теперь уверял, что собирается привести на помощь феникийский флот. В составе флота Астиоха находились корабли, которые были доставлены для сотрудничества с Фарнабазом в Геллеспонте и которые, таким образом, не могли достичь своей цели. Чтобы справиться с этим затруднением, спартанец Деркиллидас был отправлен с войском по суше к Геллеспонту, чтобы вместе с Фарнабазом выступить против Абидоса и соседних афинских владений. Абидос, связанный колониальными узами с Милетом, подал Деркиллидасу и Фарнабазу пример восстания из Афин; через два дня после этого примеру последовал соседний город Лампсакус.

Не похоже, чтобы в это время в Геллеспонте находились какие-либо афинские силы, и весть об опасности, грозящей империи в новом квартале, переданная на Хиос, встревожила Стромбихидеса, командующего афинскими осаждающими войсками. Хотя хиосцы, доведенные до отчаяния усиливающимся голодом, а также отсутствием помощи от Астиоха, и недавно увеличившие свой флот до тридцати шести трирем против афинских тридцати двух, благодаря прибытию двенадцати кораблей под командованием Леона, полученных от Милета во время отсутствия Астиоха на Родосе, они выступили и провели упорное морское сражение с афинянами с некоторым преимуществом,^[133] однако Стромбихидес был вынужден немедленно увести двадцать четыре триремы и отряд гоплитов для помощи Геллеспонту. Таким образом, хианы стали достаточно хозяевами моря, чтобы снабжать себя заново, хотя афинское вооружение и укрепленный пост все еще оставались на острове. Астиох также получил возможность отозвать Леона с двенадцатью триремами в Милет и таким образом усилить свой главный флот^[134].

По-видимому, это было время, когда олигархическая партия в городе и в лагере на Самосе разрабатывала план заговора, о котором уже говорилось, и когда мнения афинских полководцев разделились: Хармион был на стороне этой партии, Леон и Диомедон - против нее. Зная о царящем раздоре, Астиох считал это благоприятным случаем, чтобы со всем своим флотом подплыть к гавани Самоса и предложить сражение; но афиняне не были в состоянии покинуть гавань. Поэтому он вернулся в Милет, где снова бездействовал, ожидая, действительного или притворного, прибытия феникийских кораблей. Но недовольство его собственных войск, особенно сиракузского контингента, вскоре стало неконтролируемым. Они не только роптали на бездействие вооружения в этот драгоценный момент разлада в афинском лагере, но и упрекали коварную политику Тиссафернеса, безрезультатно растративавшего их силы; эта политика еще более обострила их чувства из-за его нерегулярности в снабжении их жалованьем и провиантом, что вызвало серьезное расстройство. Чтобы успокоить их крики, Астиох был вынужден созвать общее собрание, решение которого было вынесено в пользу немедленного сражения. Он отплыл из Милета со всем своим флотом, состоящим из ста двенадцати трирем, к мысу Микале, расположенному напротив Самоса, приказав милейским гоплитам переправиться через мыс по суше в тот же пункт. Афинский флот, состоявший теперь, в отсутствие Стромбихидеса, всего из восьмидесяти двух кораблей, был пришвартован у Глаука на материке Микале; но о том, что принятом пелопоннесцами публичном решении сражаться стало известно, и они отступили к Самосу, не желая вступать в бой с таким меньшим числом кораблей^[135].

Похоже, что именно в этот последний период бездействия Астиоха олигархическая партия на Самосе предприняла свою попытку и потерпела неудачу; реакция, вызванная соблазном, привела с небольшим опозданием к великой демократической манифестации и торжественной коллективной клятве афинского вооружения в сочетании с назначением новых, сердечных и единомышленных генералов. Теперь они были воодушевлены и жаждали сражения с врагом, и за Стромбихидесом немедленно послали, чтобы объединить флот против главного врага у Милета. Этот офицер отвоевал Лампсакус, но потерпел неудачу при попытке захватить Абидос.^[136] Основав центральное укрепление в Сестосе, он присоединился к флоту на Самосе, который к его прибытию увеличился до ста восьми парусов. Он прибыл ночью, когда пелопоннесский флот готовился возобновить атаку из Микале на следующее утро. Он состоял из ста двенадцати кораблей и, следовательно, все еще превосходил афинян числом. Но, узнав о прибытии Стромбихидеса и об обновленном духе и единомышленности афинян, пелопоннесские полководцы не решились продолжать сражение. Они вернулись в Милет, к устью которого приплыли афиняне, и с удовлетворением предложили сразиться с не желающим этого противником^[137].

Такое признание неполноценности было вполне рассчитано на то, чтобы еще больше разжечь недовольство пелопоннесского флота в Милете. Тиссафернес становился все более скупым на жалование и припасы, а отзыв Алкивиада на Самос, который произошел как раз сейчас, в сочетании с непрерывной очевидной близостью между ним и сатрапом, утвердил их в мысли, что последний намеренно обманывает и морит их голодом в интересах Афин. В то же время от Фарнабаза пришли настоятельные приглашения с просьбой о сотрудничестве с флотом в Геллеспонте и либеральными обещаниями жалования и содержания. Клеарх, отправленный с последней эскадрой из Спарты с явной целью идти на помощь Фарнабазу, требовал, чтобы ему позволили исполнить его приказ; Астиох же, отказавшись от мысли о совместных действиях, счел целесообразным разделить флот, который он был в растерянности, как содержать. Поэтому Клеарх был послан с сорока триремami из Милета в Геллеспонт, но с указанием уклониться от афинян у Самоса, предварительно выйдя на запад в Эгейское море. Натолкнувшись на сильные штормы, он был вынужден с большей частью своей эскадры искать убежища на Делосе и даже понес такой урон, что вернулся в Милет, откуда сам отправился в Геллеспонт по суше. Однако десять его трирем под командованием мегарца Геликса выдержали шторм и продолжили плавание к Геллеспонту, который в этот момент был без охраны, так как Стромбихидес, похоже, вернул всю свою эскадру. Геликс беспрепятственно проследовал в Византий, дорийский город и мегарскую колонию, откуда до него уже доходили тайные приглашения, и который он теперь побуждал к восстанию против Афин. Эта неприятная новость заставила афинских генералов на Самосе, от бдительности которых ускользнул извилистый путь Клеарха, задуматься о необходимости охраны Геллеспонта, куда они отправили отряд и даже предприняли тщетную попытку захватить Византий. После этого шестнадцать новых трирем отправились из Милета к Геллеспонту и Абидосу, что позволило пелопоннессцам следить за этим проливом, а также за Босфором и Византией,^[138] и даже разорять фракийский Херсонес.

Тем временем недовольство флота в Милете вылилось в открытый мятеж против Астioxа и Тиссафернеса. Не получая жалования и питаясь лишь наполовину, моряки собирались толпами, чтобы обсудить свои претензии; они осуждали Астioxа за то, что тот предал их ради собственной выгоды сатрапу, который вероломно разрушал вооружение под внушениями Алкивиада. Даже некоторые офицеры, чье молчание до сих пор было куплено, стали высказываться в том же духе, понимая, что беда становится непоправимой и что люди уже готовы дезертировать. Прежде всего неподкупный сиракузец Гермократес и турианский полководец Дорией ревностно отстаивали требования своих моряков, которые, будучи в большинстве своем свободными людьми (в большей степени, чем экипажи пелопоннесских кораблей), в полном составе отправились к Астioxу с громкими жалобами и требованием выплаты им недоимок. Но пелопоннесский полководец принял их с надменностью и даже с угрозой, подняв свою палку, чтобы ударить командира Дориея, когда тот отстаивал их интересы. Моряки были так возмущены, что бросились вперед, чтобы осыпать Астioxа ракетами: он, однако, укрылся на соседнем алтаре, так что обошлось без беды^[139].

Недовольство не ограничивалось моряками флота. Милезийцы, недовольные и встревоженные фортом, который Тиссафернес построил в их городе, воспользовались возможностью напасть на него врасплох и изгнали его гарнизон. И хотя войско в целом, полное антипатии к сатрапу, отнеслось к этому поступку с пониманием, спартанский комиссар Лихас сурово осудил его и намекнул милезийцам, что они, как и другие греки на территории царя, обязаны быть покорными Тиссафернесу во всех разумных пределах и даже обхаживать его, проявляя крайнее раболепие, пока война не будет благополучно завершена. Похоже, что и в других вопросах Лихас не смягчал, а усиливал власть сатрапа над ними, так что милезийцы стали его люто ненавидеть,^[140] а когда он вскоре после этого умер от

болезни, они отказались похоронить его в том месте - вероятно, в каком-то почетном месте, - которое выбрали его оставшиеся в живых соотечественники. Хотя Лихас в этих принудительных мерах лишь выполнял условия договора с Персией, несомненно, что милезийцы, вместо того чтобы обрести автономию, согласно общим обещаниям Спарты, теперь были далеки от нее, как никогда, и что императорские Афины защищали их от Персии гораздо лучше, чем Спарта.

Однако подчинение вооружения было уже почти закончено, когда из Спарты прибыл Миндарус в качестве адмирала, чтобы сменить Астиоха, который был вызван домой и уехал. Воспользовавшись случаем, Гермократес и некоторые милезские депутаты отправились в Спарту, чтобы подать жалобы на Тиссафернеса; Последний, со своей стороны, отправил туда посланника по имени Галлит, карийца, воспитанного в равном знании греческого и карийского языков, чтобы защититься от часто повторявшихся обвинений Гермократеса в том, что он вероломно удерживал жалование по соглашению с Алкивиадом и афинянами, и обличить милезийцев с его собственной стороны, как несправедливо разрушивших его крепость. [В то же время он счел нужным выдвинуть новый предлог, чтобы укрепить переговоры своего посланника в Спарте, успокоить нетерпение вооруженных сил и примирить нового адмирала Миндара. Он объявил, что феникийский флот вот-вот прибывает в Аспенд в Памфилии, и что он отправляется туда, чтобы встретить его, чтобы доставить к месту войны для сотрудничества с пелопоннесцами. Он пригласил Лихаса сопровождать его и договорился оставить Тамоса в Милете в качестве заместителя на время своего отсутствия с приказом обеспечить флоту жалование и содержание^[142].

Миндарус, новый полководец, не имевший никакого опыта в лживости Тиссафернеса, поддался на эти правдоподобные заверения и даже был очарован близкой перспективой столь мощного подкрепления. Он послал офицера по имени Филипп с двумя триремами вокруг Триопского мыса в Аспендус, а сатрап отправился туда по суше.

И здесь снова произошла немалая задержка, пока Тиссафернес отсутствовал в Аспенде с этой мнимой целью. Прошло некоторое время, прежде чем Миндарус был обманут, так как Филипп обнаружил феникийский флот в Аспенде, и поэтому сначала был полон надежды, что он действительно идет дальше. Но сатрап вскоре показал, что его цель сейчас, как и раньше, не более чем промедление и заблуждение. Феникийских кораблей было сто сорок семь; флот, более чем достаточный для завершения морской войны, если бы он был настроен на ревностные действия. Но Тиссафернес считал, что это мало, недостойно величия великого царя, который приказал снарядить флот из трехсот кораблей. ^{143]} Некоторое время он ждал в притворном ожидании, что в пути будут еще корабли, не обращая внимания на все предостережения лакедемонских офицеров.

Вскоре прибыл афинянин Алкивиад с тринадцатью афинскими триремами, показав, что находится в наилучших отношениях с сатрапом. Он тоже воспользовался приближением финикийского флота, чтобы ввести в заблуждение своих соотечественников на Самосе, пообещав встретиться с Тиссафернесом в Аспенде и убедить его, если возможно, послать флот на помощь Афинам, но в крайнем случае не посылать его на помощь Спарте. Последний вариант обещания был достаточно безопасным, так как он хорошо знал, что Тиссафернес не намерен использовать флот для каких-либо действительно эффективных целей. Но таким образом он мог похвалиться перед своими соотечественниками тем, что отвлек это грозное подкрепление от врага.

Отчасти видимое доверие между Тиссафернесом и Алкивиадом, отчасти наглые увертки первого, основанные на невероятном предлоге, что флот недостаточен по численности, в

конце концов убедили Филиппа, что это лишь новое проявление обмана. После долгого и утомительного перерыва он сообщил Миндару - не без возмущения в адрес сатрапа - что от флота в Аспендусе ничего нельзя ожидать. Однако действия Тиссафернеса, который привел феникийцев в это место и до сих пор не отдал приказа о дальнейшем продвижении и действиях, были в глазах всех загадочными и необъяснимыми. Некоторые полагали, что он сделал это с целью взыскать с самих фенийцев побольше взяток в качестве платы за то, что их отправят домой без боя, как, судя по всему, и было на самом деле. Но Фукидид полагает, что у него не было других мотивов, кроме тех, которые определяли его поведение в течение последнего года, - затянуть войну и обеднить Афины и Спарту, устроив новый обман, который продлится несколько недель и тем самым обеспечит столь значительную задержку. [Историк, несомненно, прав: но без его заверений трудно было бы поверить, что поддержание обманного притворства в течение столь незначительного времени должно было бы стать адекватным мотивом для приведения этого большого флота из Феникии в Аспенду, а затем отправки его безработным.

Потеряв всякую надежду на феникийские корабли, Миндар решил порвать всякие отношения с вероломным Тиссафернесом; тем более что Тамос, заместитель последнего, хотя и оставленный якобы для оплаты и содержания флота, выполнял эту обязанность с большими нарушениями, чем когда-либо, и направил свой флот в Геллеспонт в сотрудничестве с Фарнабазом, который все еще продолжал свои обещания и приглашения. Пелопоннесский флот^[145] - семьдесят три триремы, за вычетом тринадцати, отправленных под командованием Дориея для подавления беспорядков на Родосе, - будучи тщательно подготовленным заранее, был приведен в движение внезапным приказом, чтобы афиняне на Самосе не могли получить никаких предварительных уведомлений. Задержавшись на несколько дней в Икаре из-за непогоды, Миндарус благополучно добрался до Хиоса. Но здесь его преследовал Фрасилий, который с пятьюдесятью пятью триремами прошел к северу от Хиоса и оказался между лакедемонским адмиралом и Геллеспонтом. Полагая, что Миндарус задержится на Хиосе на некоторое время, Фрасилл разместил разведчиков как на возвышенностях Лесбоса, так и на континенте напротив Хиоса, чтобы мгновенно получать сведения о любом движении вражеского флота. [Тем временем он использовал свои афинские силы для взятия лесбосского города Эреса, который недавно был вынужден восстать из-за трехсот нападавших из Кима под командованием фиванца Анаксандра, частично метимнейских изгнанников, с некоторыми политическими симпатиями, частично наемных иностранцев, которым удалось взять Эрес после неудачи в нападении на Метимну. Фрасилл обнаружил перед Эресом небольшую афинскую эскадру из пяти трирем под командованием Фрасибула, который был послан с Самоса, чтобы попытаться предотвратить восстание, но прибыл слишком поздно. К нему присоединились две триремы из Геллеспонта и еще одна из Метимны, так что весь его флот достиг шестидесяти семи трирем, с которыми он приступил к осаде Эресуса, полагаясь на своих разведчиков для своевременного предупреждения, если вражеский флот двинется на север.

Фрасилий ожидал, что пелопоннесский флот отправится из Хиоса на север через пролив, отделяющий северо-восточную часть острова от горы Мимас на Азиатском материке, после чего он, вероятно, проплывет мимо Эресуса по западной стороне Лесбоса, как кратчайшего пути к Геллеспонту, хотя он мог бы обойти и по восточной стороне между Лесбосом и континентом, что было бы несколько длиннее. Афинские разведчики были расставлены так, чтобы обнаружить пелопоннесский флот, если он либо пройдет через этот пролив, либо приблизится к острову Лесбос. Но Миндарус не сделал ни того, ни другого; таким образом, он ускользнул от их наблюдения и достиг Геллеспонта без ведома афинян. Проведя два дня за провизией на своих кораблях, получив, кроме того, от хиосцев по три тессеракоста,

хиосской монеты неизвестной ценности, на каждого человека из числа своих моряков, он на третий день отплыл от Хиоса, но взял курс на юг и со всей поспешностью обогнул остров с западной, или морской, стороны. Достигнув и миновав северную широту Хиоса, он взял курс на восток, с Лесбосом на некотором расстоянии по левую руку, прямо к материку, которого он коснулся в гавани под названием Картерии, на территории Фокеи. Здесь он остановился, чтобы дать экипажу утреннюю трапезу: затем он пересек дугу Кимского залива и добрался до маленьких островков под названием Аргинусæ, расположенных на Азиатском континенте напротив Митиленка, где он снова остановился на ужин. Продолжая плавание вперед большую часть ночи, он к утренней трапезе следующего дня был в Харматусе, на континенте, прямо на север и напротив Метимны: затем, все еще спеша вперед после короткого привала, он удвоил мыс Лектум, проплыл вдоль Трояды и миновал Тенедос, и достиг входа в Геллеспонт перед полночью; здесь его корабли были распределены по Сигею, Ретию и другим близлежащим местам[147].

Благодаря такому продуманному курсу и ускоренному плаванию пелопоннесский флот полностью ускользнул от наблюдения Фрасилия и достиг входа в Геллеспонт, когда адмирал едва узнал о его отплытии с Хиоса. Однако когда он прибыл в Харматуса, напротив афинской станции в Метимне и почти в пределах видимости, его продвижение уже не могло оставаться в тайне. По мере того, как он продвигался все дальше по Трояде, знаменательная новость распространялась повсюду, и о ней сообщали многочисленные сигналы и маяки на холме, как друзья, так и враги.

Эти сигналы были прекрасно видны и понятны двум враждебным эскадрам, стоявшим на страже по обе стороны Геллеспонта: восемнадцати афинским триерам у Сестоса в Европе, шестнадцати пелопоннесским триерам у Абидоса в Азии. Для первых это было равносильно гибели - быть застигнутыми этим могущественным врагом в узком русле Геллеспонта. Они покинули Сестос в середине ночи, пройдя напротив Абидоса и держа курс на юг вдоль берега Херсонеса, по направлению к Элейсу на южной оконечности этого полуострова, чтобы иметь возможность спастись в открытом море и соединиться с Фрасиллием. Но им не позволили бы миновать даже враждебную станцию в Абидосе, если бы пелопоннесские сторожевые корабли не получили от Миндара строжайший приказ, переданный еще до его отплытия из Хиоса, а может быть, и до отплытия из Милета, что, если он попытается пуститься в путь, они должны бдительно и зорко следить за его приближением и быть готовыми оказать ему необходимую помощь в случае нападения на него Фрасилла. Когда сигналы впервые возвестили о прибытии Миндара, пелопоннесские сторожевые корабли в Абидосе не могли знать, в каком положении он находится и не приближается ли к нему главный афинский флот. Поэтому они действовали в соответствии с полученными ранее приказами, держа себя в резерве на своей станции в Абидосе, пока не наступит рассвет и они не получат более полную информацию. Таким образом, они проигнорировали афинскую эскадру в Геллеспонте, бежавшую из Сестоса в Элейс[148].

Прибыв около рассвета к южной точке Херсонеса, афиняне были замечены флотом Миндара, который накануне вечером подошел к противоположным станциям Сигея и Ретия. Последние немедленно пустились в погоню: но афинянам, находившимся теперь в широком море, удалось спастись большей частью до Имброса, не без потери, однако, четырех трирем, одна из которых даже была захвачена со всем экипажем на борту возле храма Протесилая в Элевсе: экипажи трех других спаслись на берегу. К Миндару присоединилась

эскадра из Абидоса, и их объединенные силы, насчитывавшие восемьдесят шесть трирем, в течение одного дня пытались взять штурмом Элевсин. Потерпев неудачу в этом предприятии, флот отступил в Абидос. Не успели все прибыть туда, как из Эреса поспешно прибыл Фрасилий со своим флотом, сильно разочарованный тем, что его разведчики ускользнули от него и все его расчеты были сбиты. В его руки попали две пелопоннесские триеры, которые смелее остальных преследовали афинян. Он дождался в Элейсе возвращения беглой афинской эскадры из Имброса, а затем начал готовить свои триеры, числом семьдесят шесть, к общим действиям.

После пяти дней таких приготовлений его флот был введен в бой, плывя на север к Сестосу вверх по Геллеспонту, одиночными кораблями вперед, вдоль берега Херсонеса, или европейской стороны. Левая, или самая передовая, эскадра под командованием Фрасилла простиралась даже за мыс, называемый Киноскема, или Собачья гробница, облагороженный легендой и часовней троянской царицы Гекубы: таким образом, она находилась почти напротив Абидоса, тогда как правая эскадра под командованием Фрасибула была недалеко от южного устья пролива, почти напротив Дардануса. Миндарус со своей стороны ввел в бой восемьдесят шесть трирем, на десять больше, чем Фрасибул, общим числом от Абидоса до Дардана на азиатском берегу; сиракузяне под командованием Гермocrates были справа, против Фрасибула, а Миндарус с пелопоннесскими кораблями был слева, против Фрасибула. Говорят, что эпибаты, или морские гоплиты, на кораблях Миндара превосходили афинян, но последние имели преимущество в искусных лоцманах и искусном маневрировании: тем не менее, описание битвы говорит нам о том, насколько упало афинское маневрирование со времен славы Формиона в начале Пелопоннесской войны; не выбрал бы этот выдающийся мореплаватель для морского сражения узкие воды Геллеспонта. Миндар занял агрессивную позицию, перейдя в атаку у европейского берега и пытаясь обойти своих противников с двух сторон, а также прижать их к суше. Фрасилл на одном крыле и Фрасибул на другом быстрыми движениями растянулись так, чтобы сорвать эту попытку обойти их с фланга; но при этом они лишили и ослабили центр, который был даже лишен возможности видеть левое крыло из-за выступающего мыса Киноскема. Оставшись без поддержки, центр был энергично атакован и грубо обработан средней дивизией Миндара. Его корабли были прижаты к суше, а нападавшие даже высадились на берег, чтобы одержать победу над людьми на берегу. Но этот частичный успех привел центральную пелопоннесскую дивизию в беспорядок, а Фрасибул и Фрасилл вступили в борьбу сначала на равных, а затем с победой против кораблей справа и слева от противника. Оттеснив обе эти дивизии, они легко прогнали беспорядочные корабли центра, так что весь пелопоннесский флот был обращен в бегство и нашел убежище сначала в реке Мейдий, а затем в Абидосе. Узкая ширина Геллеспонта не позволяла ни долгого преследования, ни многочисленных захватов. Тем не менее, восемь хианских кораблей, пять коринфских, два амбракийских и столько же беотийских, а из Спарты, Сиракуз, Пеллена и Леукаса - по одному, попали в руки афинских адмиралов, которые, однако, со своей стороны потеряли пятнадцать кораблей. Они воздвигли трофей на мысе Киноскема, рядом с гробницей или часовней Гекубы, не забыв при этом похоронить своих мертвецов и отдать вражеских по обычаю, попросив о перемирии^[149].

Такая неполная и нерешительная победа была бы мало оценена афинянами во времена, предшествовавшие сицилийской экспедиции. Но после этой ошеломляющей катастрофы, за которой последовало множество других несчастий, и, наконец, поражение от Тимохариса с восстанием Эвбеи, их дух был настолько упал, что трирема, принеся вест о битве при

Киносфеме, кажется, в конце августа 411 года до н. э., была встречена с величайшим восторгом и триумфом. Им стало казаться, что отлив достиг своей низшей точки и начал поворачиваться в их пользу, давая надежду на окончательный успех в войне. Вскоре случилась еще одна удача, укрепившая эту веру. Миндару пришлось укрепиться на Геллеспонте, отправив Гиппократ и Эпиклеса с флотом из пятидесяти трирем, действовавшим у Эвбеи.^[150] Это само по себе было важным облегчением для Афин, поскольку они отбросили назойливого врага недалеко от дома. Но оно еще более усилилось из-за последующих несчастий этого флота, который, обогнув Афонскую гору, чтобы попасть в Азию, был настигнут страшной бурей и почти уничтожен, с большими потерями среди экипажей; так что только остаток, под командованием Гиппократ, уцелел, чтобы присоединиться к Миндару^[151].

Но хотя Афины таким образом избавились от опасений агрессии со стороны Эвбеи, последствия этого ухода флота были таковы, что продемонстрировали, насколько непоправимо сам остров вышел из-под ее власти. Жители Халкиса и других городов, оставшихся теперь без внешней защиты, совместно с беотийцами, чьи интересы в этом деле были даже сильнее их собственных, занялись лишением Эвбеи ее островного характера, построив мол или мост через Эврип, самую узкую часть Эвбейского пролива, где Халкис отделялся от Беотии. От каждого берега отходило по молу, каждый мол охранялся с краю башней и оставлял лишь промежуточное отверстие, достаточно широкое для прохода одного судна, перекрытое деревянным мостом. Напрасно афинянин Фераменес с тридцатью триремами явился воспрепятствовать осуществлению этого замысла. Эвбейцы и беотийцы поддерживали его в таком количестве и с таким усердием, что оно было быстро доведено до конца. Эвбея, еще недавно самый важный остров, принадлежавший Афинам, отныне является частью материка, совершенно независимой от них, даже если фортуна будет угодно восстановить ее морскую мощь^[152].

Битва при Киноскеме не имела никаких важных последствий, кроме ободрения афинян. Уже сразу после сражения Кизик восстал против них, и на четвертый день после него афинский флот, спешно переоборудованный в Сестосе, отплыл туда, чтобы вновь занять его. Он был не укреплен, так что им это удалось без особого труда, и они наложили на него контрибуцию: кроме того, во время плавания туда они получили дополнительное преимущество, захватив у южного побережья Пропонтиды те восемь пелопоннесских трирем, которые за некоторое время до этого завершили восстание Византии. Но, с другой стороны, как только афинский флот покинул Сестос, Миндар отплыл со своей станции в Абидосе в Элевсин и вернул себе все триремы, захваченные им в Киноскеме, которые афиняне сдали на хранение, за исключением некоторых из них, которые были настолько повреждены, что жители Элевсина подожгли их^[153].

Но гораздо более важным элементом войны стало различие характеров Тиссафернеса и Фарнабаза, а также перевод пелопоннесского флота из сатрапии первого в сатрапию второго. Тиссафернес, не оказывая пелопоннесцам ни помощи, ни жалованья, своими вероломными обещаниями и подкупам одурманивал все их действия в течение последнего года, имея в виду растратить силы обеих воюющих сторон. Фарнабаз был храбрым и серьезным человеком, который решительно взялся за их укрепление как людьми, так и деньгами, и приложил немало усилий, чтобы сломить афинскую власть, как и восемнадцать лет спустя, когда мы увидим, что он не менее усердно трудился над ее частичным восстановлением. С этого времени персидская помощь становится реальностью в греческой войне, и в основном - сначала руками Фарнабаза, затем младшего Кира - определяющей реальностью. Ибо мы увидим, что в то время как пелопоннесцы по большей части получают

хорошее жалование из персидской казны, афиняне, лишенные подобных ресурсов, вынуждены полагаться на взносы, которые они могут взимать то тут, то там, без установленного или принятого права; и прерывать ради этого даже самую многообещающую карьеру успеха. Спустя 26 лет после этого, когда Спарта потеряла своих персидских союзников, лакедемонянин Телеутиас пытался утихомирить мятеж своих неоплачиваемых моряков, говоря им, насколько благороднее вымогать плату у врага с помощью их собственных мечей, чем добывать ее, переправляя иностранцам;^[154] и, вероятно, афинские генералы в предыдущие годы борьбы пытались подобные призывы к великодушию своих солдат. Но не менее несомненно и то, что введенная теперь новая постоянная плата давала страшные шансы спартанскому делу.

Хорошее жалование и сердечное содействие, которым пелопоннесцы теперь пользовались от Фарнабаза, только усилили их возмущение предыдущим обманом Тиссафернеса. Под влиянием этих чувств они с готовностью оказали помощь жителям Антандра в изгнании его полководца Арсакса с персидским гарнизоном. Недавно Арсакс под влиянием необъяснимой злобы совершил акт убийственного вероломства в отношении делийцев, обосновавшихся в Адрамитиуме: он созвал их главных граждан для участия в экспедиции в качестве союзников и заставил их всех окружить, расстрелять и уничтожить во время утренней трапезы. Такого поступка было более чем достаточно, чтобы возбудить ненависть и тревогу среди соседних антандрийцев, которые пригласили из Абидоса, из-за горного хребта Ида, пелопоннесских гоплитов, с помощью которых Антандр был освобожден от персов^[155].

В Милете, как и в Книде, Тиссафернес уже испытал подобное унижение:^[156] Лихаса уже не было в живых, чтобы поддержать его притязания, и мы не слышим, чтобы он получил какие-либо результаты от жалоб своего посланника Галлиты в Спарте. В этих обстоятельствах он начал опасаться, что на него навалилась вражда, которая может обернуться серьезными неприятностями, и не без ревности относился к популярности и возможному успеху Фарнабаза. Заблуждение относительно феникийского флота, когда Миндарус открыто порвал с ним и покинул Милет, уже не могло быть полезным. Поэтому он отправил феникийский флот по домам, притворившись, что получил известие о том, что феникийским городам угрожают внезапные нападения из Аравии и Египта;^[157] а сам покинул Аспенду, чтобы вновь посетить Ионию, а также отправиться в Геллеспонт, чтобы возобновить личные сношения с недовольными пелопоннесцами. Он хотел, в очередной раз пытаясь оправдать свое вероломство в отношении феникийского флота, одновременно выразить протест против их недавних действий при Антандре или, по крайней мере, получить гарантии против повторения подобной враждебности. Его визит в Ионию, однако, похуже, занял некоторое время, и он попытался примирить ионийских греков великолепным жертвоприношением Артемиде в Эфесе.^[158] Выйдя из Аспенда, насколько мы можем судить, около начала августа (411 г. до н. э.), он достиг Геллеспонта только в ноябре.^[159]

Как только феникийский флот исчез, Алкивиадес вернулся со своими тринадцатью триремами из Фазелиса на Самос. Он, как и Тиссафернес, подчинил ход событий собственному обману: в заслугу своим соотечественникам он поставил то, что сильнее, чем когда-либо, заручился доброй волей сатрапа в пользу Афин и побудил его отказаться от намерения поднять феникийский флот.[В это время Доризэй находился на Родосе с тринадцатью триремами, посланными Миндаром перед его отплытием из Милета, чтобы подавить рост filo-афинской партии на острове. Возможно, присутствие этих сил угрожало интересам афинян на Косе и Галикарнасе; ведь теперь мы видим, что Алкивиад отправился в эти места с Самоса с девятью новыми триремами в дополнение к своим собственным

тринадцати. Он возвел укрепления в городе Кос и разместил в нем афинского офицера и гарнизон; с Галикарнаса он взимал большие взносы; под каким предлогом, или просто из-за нехватки денег, мы не знаем. В середине сентября он вернулся на Самос[161].

На Геллеспонте Миндарус был усилен после битвы при Киноскеме эскадрой из Эвбеи, по крайней мере той ее частью, которая спаслась от шторма у горы Афон. Уход пелопоннесского флота из Эвбеи позволил афинянам также отправить еще несколько кораблей к своему флоту в Сестос. Расположившись таким образом по разные стороны пролива, оба флота вступили во второй бой, в котором пелопоннессцы под командованием Агесандрида имели преимущество, но без особых результатов. В октябре, кажется, Доризей с четырнадцатью триремами прибыл с Родоса, чтобы присоединиться к Миндару на Геллеспонте. Он надеялся, вероятно, добраться до Абидоса по проливу за ночь, но его застали днем недалеко от входа, возле Ретиума; афинские разведчики немедленно дали сигнал о его приближении. Двадцать афинских трирем были посланы, чтобы атаковать его; Доризей бежал и в поисках безопасности вытащил свое судно на берег в бухте возле Дардануса. Здесь на него напала афинская эскадра, но была отбита и вынуждена отплыть обратно в Мадитус. Сам Миндарус наблюдал за этой сценой издали: он был занят принесением жертвы Афине на почитаемом холме Илиума. Он сразу же поспешил в Абидос, где снарядил весь свой флот из восьмидесяти четырех трирем, а Фарнабаз с сухопутным войском помогал ему на берегу. Спасши корабли Дориея, он стал противостоять всему афинскому флоту, который вскоре вышел на него под командованием Фрасибула и Фрасилла. Между двумя флотами завязался упорный морской бой, который продолжался почти весь день с сомнительным исходом; наконец, ближе к вечеру было замечено приближение двадцати свежих трирем. Это оказалась эскадра Алкивиада, шедшая из Самоса: вероятно, узнав о соединении эскадры Дориея с главным пелопоннесским флотом, он прибыл со своим подкреплением. [162] Как только был обнаружен его пурпурный флаг или сигнал, афинский флот оживился с удвоенным духом. Вновь прибывшие помогли им в столь энергичных действиях, что пелопоннесский флот был отброшен к Абидосу и там выброшен на берег. Здесь афиняне продолжили свой успех и попытались отбуксировать их всех. Но персидские сухопутные войска защищали их, и сам Фарнабаз был замечен первым в бою; он даже лично вошел в воду, насколько мог выдержать его конь. Таким образом, главный пелопоннесский флот был сохранен, но афиняне ушли с важной победой, захватив в качестве призов тридцать трирем и вернув себе те, которые они сами потеряли в двух предыдущих сражениях[163].

Миндар продержал свой разбитый флот без работы в Абидосе зиму, посылая в Пелопоннес и к своим союзникам за подкреплением: в это время он совместно с Фарнабазом начал сухопутные операции против различных афинских союзников на континенте. Афинские адмиралы, со своей стороны, вместо того, чтобы сохранить свой флот единым для продолжения победы, были вынуждены разогнать большую его часть по летучим эскадрам для сбора денег, сохранив только сорок парусов в Сестосе; в то время как Фрасилий лично отправился в Афины, чтобы объявить о победе и попросить подкрепления. В соответствии с этой просьбой было отправлено тридцать трирем под командованием Фераменеса, который сначала безуспешно пытался помешать строительству моста между Эвбеей и Беотией, а затем отправился в плавание по островам с целью сбора денег. Он приобрел значительную добычу, спустившись на враждебную территорию, а также вымогал деньги у различных партий, замышлявших или предполагавших восстание в зависимых от Афин районах. На Паросе, где еще сохранялась олигархия, установленная Пейсандром во время заговора Четырехсот, Фераменес сверг и оштрафовал тех, кто ее осуществлял, установив вместо них демократию. Отсюда он отправился в Македонию, на помощь и, вероятно, на временное содержание Архелая, царя Македонии, которому он некоторое время помогал в осаде

Пидны; он блокировал город с моря, пока македонцы осаждали его с суши. Блокада продолжалась всю зиму, и перед ее взятием Фераменес был отозван, чтобы присоединиться к главному афинскому флоту во Фракии: Однако вскоре после этого Архелай взял Пидну и перенес город с его жителями с морского побережья на расстояние более двух миль вглубь страны.[164] Во всех этих действиях мы видим свидетельство ужасной нехватки денег, которая теперь толкала афинян на несправедливость, вымогательство и вмешательство в дела союзников, чего они никогда не совершали в предыдущие годы войны.

Именно в этот период мы находим упоминание о свежих беспорядках в Коркире, менее запятнанных, однако, жестокими преступлениями, чем те, о которых рассказывалось на седьмом году войны. Оказывается, олигархическая партия на острове, которая в тот период была практически уничтожена, с тех пор набрала силу и под влиянием несчастий Афин начала строить планы по передаче острова в руки лакедемонян. Вожди демократов, узнав об этом заговоре, послали в Наупакт за афинским адмиралом Кононом. Тот прибыл с отрядом из шестисот мессенцев, с помощью которых они схватили олигархических заговорщиков на рыночной площади, нескольких предали смерти, а более тысячи изгнали. О масштабах их тревоги свидетельствует тот факт, что они освободили рабов и предоставили право гражданства иностранцам. Изгнанники, удалившись на противоположный континент, вскоре вернулись и при попустительстве одной из сторон были допущены на рыночную площадь. В стенах произошла серьезная схватка, которая в конце концов была улажена компромиссом и восстановлением изгнанников.[165] Мы ничего не знаем о деталях этого компромисса, но, похоже, он был мудро составлен и точно соблюдался; ведь мы ничего не слышим о Коркире примерно тридцать пять лет после этого периода, а остров предстает перед нами в высшем совершенстве культуры и процветания.[166] Несомненно, этому способствовали освобождение рабов и принятие в гражданство стольких новых иностранцев.

Тем временем Тиссафернес, завершив свои мероприятия в Ионии, прибыл в Геллеспонт вскоре после битвы при Абидосе, кажется, около ноября 411 г. до н. э. Он стремился восстановить доверие к пелопоннесцам, для чего вскоре представилась возможность. Алкивиад, командовавший в то время афинским флотом в Сестосе, пришел к нему в полном восторге от победы, принеся обычные подарки; но сатрап схватил его и отправил в Сарды в качестве арестанта, утверждая, что у него есть прямой приказ великого царя о ведении войны с афинянами.[167] На этом закончились все заблуждения Алкивиада относительно притворной власти влиять на персидские советы. Однако эти заблуждения уже послужили ему на пользу, обеспечив ему новое положение в афинском лагере, которое он мог поддерживать и оправдывать собственной военной энергией.

К середине этой зимы превосходство флота Миндара в Абидосе над афинским флотом в Сестосе стало настолько велико, - частично, как видно, благодаря подкреплениям, полученным первым, частично из-за рассеяния последнего по летучим эскадрам из-за отсутствия жалования, - что афиняне больше не осмеливались сохранять свои позиции в Геллеспонте. Они обогнули южную часть Херсонеса и расположились в Кардии, на западной стороне перешейка этого полуострова. Здесь, около начала весны, к ним присоединился Алкивиад, который нашел возможность бежать из Сард вместе с Мантифеем, другим афинским пленником, сначала в Клазомены, а затем на Лесбос, где он собрал небольшую эскадру из пяти трирем. Разрозненные эскадры афинского флота были созданы для сосредоточения, Фераменес прибыл в Кардию из Македонии, а Фрасибул - с Фасоса; таким образом, афинский флот стал превосходить по численности флот Миндара. Пришло известие, что последний двинулся со своим флотом от Геллеспонта к Кизикусу и теперь занимается осадой этого места вместе с Фарнабазом и персидскими сухопутными войсками.

Его энергичные атаки уже фактически захватили это место, когда афинские адмиралы решили напасть на него там, причем сделали это неожиданно. Пройдя сначала из Кардии в Элевсин на юге Херсонеса, они ночью поплыли вверх по Геллеспонту в Проконнес, так что их переход ускользнул от внимания пелопоннесских сторожевых кораблей в Абидосе[168].

Отдохнув однажды ночью в Проконнесе и захватив все лодки на острове, чтобы сохранить в тайне их передвижения, Алкивиад предупредил собравшихся моряков, что они должны готовиться к морскому бою, бою на суше и бою на стенах, причем все сразу. "У нас нет денег, - сказал он, - а у наших врагов их много от Великого Царя". Ни рвения в людях, ни хитрости в полководцах не хватало. На материке, на территории Кизика, были высажены гоплиты для отвода глаз, после чего флот был распределен на три части под командованием Алкивиада, Тераменеса и Фрасибула. Первый из них, продвигаясь к Кизикусу со своей единственной дивизией, бросил вызов флоту Миндара и сумел заманить его притворным бегством на расстояние от гавани; в то время как другие афинские дивизии, при содействии туманной и дождливой погоды, неожиданно подошли, отрезали ему путь к отступлению и заставили его высаживать свои корабли на берег соседнего материка. После галантного и упорного сражения, частично на корабле, частично на берегу, - в свое время бесперспективного для афинян, несмотря на их численное превосходство, но не очень внятного в деталях и по-разному осмысленного двумя нашими авторитетами, - и пелопоннесский флот на море, и силы Фарнабаза на суше были полностью разбиты. Сам Миндарус был убит, весь флот, все триремы, кроме сиракузских трирем, которые были сожжены их собственными экипажами, а сам Кизик сдался афинянам, получив большую контрибуцию и избавившись от всякого другого вреда. Добыча, взятая победителями, была богатой и ценной. Число захваченных или уничтоженных таким образом трирем различно; по самым низким оценкам, их было шестьдесят, по самым высоким - восемьдесят[169].

Эта капитальная акция, умело спланированная и отважно осуществленная Алкивиадом и двумя его коллегами около апреля 410 года до н. э., заметно изменила относительное положение воюющих сторон. Теперь у пелопоннессцев не было важного флота в Азии, хотя они, вероятно, все еще сохраняли небольшую эскадру на станции Милет; то время как афинский флот был более мощным и грозным, чем когда-либо. Ужас побежденной армии убедительно показан в лаконичной депеше, отправленной Гиппократесом, секретарем покойного адмирала Миндара, эфорам в Спарту: "Вся честь и преимущество ушли от нас: Миндар убит, люди голодают, мы в затруднении, что делать"[170]. Эфоры, несомненно, слышали эту плачевную историю не от одного свидетеля, так как эта депеша так и не дошла до них, а была перехвачена и переправлена в Афины. Столь неутешительным был их взгляд на будущее, что лакедемонское посольство с Эндием во главе прибыло в Афины, чтобы предложить мир; или, скорее, Эндию - давнему другу и гостю Алкивиада, который уже бывал в Афинах в качестве посланника, - было позволено прибыть туда снова, чтобы узнать о настроении города, в неформальной манере, которая позволяла легко откреститься, если ничего из этого не выйдет. Примечательно, что Ксенофонт не упоминает об этом посольстве, и его молчание, хотя и не дает нам достаточных оснований сомневаться в реальности этого события, о котором говорит Диодор, возможно, на основании авторитета Теопомпа, и которое само по себе ни в коем случае не является невероятным, тем не менее заставляет меня сомневаться, признали ли сами эфоры, что они сделали или санкционировали это предложение. Следует помнить, что Спарта, не говоря уже об обязательствах перед своими союзниками в целом, в этот момент была связана особым договором с Персией, чтобы не заключать сепаратный мир с Афинами.

Согласно Диодору, Эндий, получив право выступить в афинском собрании, предложил афинянам заключить мир со Спартой на следующих условиях: Каждая сторона должна стоять на своем; гарнизоны с обеих сторон должны быть выведены; пленные должны быть обменены, один лакедемонянин против одного афинянина. В своей речи Эндий настаивал на взаимном вреде, который каждая из сторон причиняет друг другу, затягивая войну; но он утверждал, что Афины страдают больше других и больше всех заинтересованы в ускорении мира. У нее не было денег, в то время как у Спарты был великий царь в качестве казначея: гарнизон Декелеи отнимал у нее продукты Аттики, в то время как Пелопоннес был не потревожен; вся ее сила и влияние зависели от превосходства на море, которого Спарта могла лишиться, сохранив при этом свое превосходство[171].

Если верить Диодору, все наиболее разумные граждане Афин рекомендовали принять это предложение. Против выступили только демагоги, возмутители спокойствия, те, кто привык раздувать пламя войны, чтобы получить выгоду для себя. Особенно демагог Клеофон, пользовавшийся теперь большим влиянием, рассказывал о великолепии недавней победы и о новых шансах на успех, которые теперь открываются перед ними, так что собрание в конце концов отклонило предложение Эндия[172].

Тем, кто писал после битвы при Игоспотаме и взятия Афин, было легко мудрствовать лукаво и повторять заурядные обличения безумного народа, введенного в заблуждение продажным демагогом. Но если, отвлекаясь от наших знаний об окончательном завершении войны, мы обратим внимание на суть этого предложения, даже если предположить, что оно было официальным и санкционированным, а также на время, когда оно было сделано, мы будем колебаться, прежде чем объявить Клеофона глупым, а тем более продажным, за то, что он рекомендовал его отклонить. Что касается обвинения в коррупционной заинтересованности в продолжении войны, то я уже сделал несколько замечаний о Клеоне, чтобы показать, что демагогам такого характера нельзя справедливо приписывать такую заинтересованность[173]. Они были по сути своей людьми невоинственными и имели столько же шансов лично потерять, сколько и приобрести, находясь в состоянии войны. Особенно это относится к Клеофону в последние годы войны, поскольку финансовое положение Афин было тогда настолько неблагоприятным, что все имеющиеся у них средства были исчерпаны для обеспечения кораблей и людей, не оставляя почти никакого излишка для политических пекулиев. Адмиралы, которые платили морякам, собирая взносы за границы, могли бы, при желании, обогатиться сами; но у политиков дома было гораздо меньше шансов на такую выгоду, чем в мирное время. Кроме того, даже если Клеофон и выиграл бы от продолжения войны, то, если предположить, что Афины в конечном итоге будут разгромлены в войне, он заранее был уверен, что лишится не только всех своих завоеваний и положения, но и жизни.

Вот вам и обвинение в коррупционной заинтересованности. Вопрос о том, был ли его совет разумным, решить не так просто. Если обратиться ко времени, когда было сделано это предложение, то следует вспомнить, что пелопоннесский флот в Азии был только что уничтожен, а само краткое послание Гиппократа к эфору, в котором столь категорично сообщалось о бедственном положении его войска, находилось в этот момент на рассмотрении афинского собрания. С другой стороны, депеши афинских генералов, сообщавшие об их победе, вызвали в Афинах чувство всеобщего триумфа, выражавшееся в публичных благодарностях:[174] и мы не можем сомневаться, что Алкивиад и его коллеги обещали большой успех в будущем, возможно, восстановление большей части утраченной морской империи. При таком настроении афинского народа и его полководцев, оправданном в значительной степени реальностью, что же предлагает Эндий? То, что он предлагает, на

самом деле не является уступкой вообще. Обе стороны должны стоять на своих местах; вывести гарнизоны; вернуть пленных. Только в одном случае Афины оказались бы в выигрыше, приняв эти предложения. Она вывела бы свой гарнизон из Пилоса, получила бы освобождение от гарнизона Декелеи; такой обмен был бы для нее значительным преимуществом. К этому следует добавить облегчение, вызванное простым прекращением войны, несомненно, реальное и важное.

Теперь вопрос в том, посоветовал ли бы такой государственный деятель, как Периклес, своим соотечественникам удовлетвориться такой мерой уступки сразу после великой победы при Кизикусе и двух предшествовавших ей более мелких побед? Я склонен полагать, что нет. Скорее, это показалось бы ему дипломатической уловкой, рассчитанной на то, чтобы парализовать Афины на время, пока ее враги будут беззащитны, и дать им время на строительство нового флота.^[175] Спарта не могла поклясться ни за Персию, ни за своих пелопоннесских союзников; более того, прошлый опыт показал, что она не может сделать это с успехом. Поэтому, приняв предложения, Афины не получили бы облегчения от всего бремени войны, а лишь притупили бы пыл и связали бы руки своим войскам в тот момент, когда они чувствовали себя в полной власти успеха. Вооружение, несомненно, - и генералы, Алкивиад, Тераменес и Фрасибул, - приняли бы такие условия в такой момент как позор. Оно помешало бы им в завоеваниях, которых они страстно и в то время небезосновательно ожидали; в завоеваниях, направленных на восстановление Афин на том высоком уровне, с которого они были так недавно свергнуты. И это нанесло бы ей ущерб, не только не компенсировав выгоду в любой другой форме, но и с большой вероятностью навязало бы всем ее гражданам необходимость удвоить усилия в не очень отдаленном будущем, когда наступит благоприятный для ее врагов момент.

Поэтому, если, отказавшись от туманных обвинений в том, что именно демагог Клеофон стоял между Афинами и заключением мира, мы рассмотрим конкретные условия мира, которые он побуждал своих соотечественников отвергнуть, то обнаружим, что у него были очень веские, если не сказать преобладающие, причины для своего совета. Можно сомневаться, использовал ли он это предложение, само по себе неприемлемое, чтобы попытаться склонить к заключению мира на более приемлемых и прочных условиях. Вероятно, такие попытки не увенчались бы успехом, даже если бы они были предприняты; однако такой государственный деятель, как Периклес, сделал бы это, будучи убежденным, что Афины ведут войну в невыгодном положении, которое в конечном итоге должно ее потопить. Простой оратор, как Клеофон, даже принимая, вероятно, правильное решение по фактическому предложению, стоящему перед ним, не заглядывал так далеко в будущее.

Тем временем афинский флот в одиночку господствовал в Пропонтиде и двух прилегающих к ней проливах - Босфоре и Геллеспонте; хотя пылкий и щедрый Фарнабаз не только предоставлял содержание и одежду бедствующим морякам побежденного флота, но и поощрял строительство новых кораблей на месте захваченных. Вооружив моряков, выдав им жалованье на два месяца и распределив их в качестве охранников по побережью сатрапии, он в то же время предоставил неограниченный запас корабельной древесины из богатых лесов горы Ида и помог офицерам поставить новые триремы на склад в Антандре; неподалеку от этого места, в местечке под названием Аспанея, в основном экспортировалась иддейская древесина^[176].

Приняв эти меры, он отправился на помощь в Халкедон, который афиняне уже начали атаковать. Первым делом после победы они отправились в Перинф и Селимбрию, которые до этого восстали против Афин: первая, уstraшенная недавними событиями, приняла их и вернулась в Афины; вторая воспротивилась такому требованию, но выкупила себя от

нападения на время, заплатив денежный штраф. Затем Алкивиад провел их в Халкедон, расположенный напротив Византии на самой южной азиатской границе Босфора. Владеть этими двумя проливами, Босфором и Геллеспонтом, было для Афин делом первостепенной важности: во-первых, потому что это позволяло ей обеспечивать прибытие судов с кукурузой из Эвксинского моря для собственного потребления; во-вторых, потому что в ее власти было облагать все проходящие через них торговые суда десятиной или пошлиной, не похожей на пошлины, взимаемые датчанами в Зонде и до сих пор. По противоположным причинам, конечно, важность положения была столь же велика для врагов Афин. До весны предыдущего года Афины были бесспорной хозяйкой обоих проливов. Но восстание Абидоса в Геллеспонте (около апреля 411 года до н. э.) и Византии с Халкедоном на Босфоре (около июня 411 года до н. э.) лишили ее этого превосходства; а припасы, истощенные за последние несколько месяцев, могли поступать только в те промежутки времени, когда ее флоты, стоявшие там, имели перевес, чтобы обеспечить им конвой. Таким образом, весьма вероятно, что осенью 411 года до н. э. ее поставки кукурузы из Эвксинского моря были сравнительно ограниченными.

Хотя сам Халкедон при поддержке Фарнабаза все еще сопротивлялся Афинам, Алкивиад овладел Хрисополем, его неукрепленным морским портом на восточном побережье Босфора напротив Византии. Он укрепил это место, разместил в нем эскадру с постоянным гарнизоном и превратил его в регулярный десятинный порт для взимания пошлины со всех судов, выходящих из Эвксинского моря.^[177] Афиняне, по-видимому, обычно взимали эту пошлину в Византии, до восстания там, среди своих постоянных источников дохода: теперь она была восстановлена под эгидой Алкивиада. В той мере, в какой она взималась с кораблей, привозивших свою продукцию для продажи и потребления в Афинах, она, конечно, в конечном итоге оплачивалась в виде повышения цен афинскими гражданами и митиками. Тридцать трирем под командованием Фераменеса были оставлены в Хрисополе для обеспечения этого сбора, конвоирования дружественных торговых судов и в других отношениях для досаждения врагу.

Оставшийся флот отправился частично в Геллеспонт, частично во Фракию, где уменьшившаяся морская мощь лакедемонян уже говорила о приверженности городов. Особенно в Тасусе^[178] граждане во главе с Экфантом изгнали лакедемонского гармата Этеоника с его гарнизоном и приняли Фрасибула с афинскими войсками. Напомним, что это был один из городов, в котором Пейсандр и заговорщики "четырёхсот" (в начале 411 г. до н. э.) свергли демократию и установили олигархическое правительство под предлогом, что союзные города будут верны Афинам, как только она освободится от демократических институтов. Все расчеты этих олигархов не оправдались, как и предсказывал Фриних: тасийцы, как только их собственная олигархическая партия получила власть, отозвали своих недовольных изгнанников,^[179] под эгидой которых с тех пор был введен лаконский гарнизон и хармост. Изгнанный Этеоник обвинил лакедемонского адмирала Пасиппида в том, что тот сам участвовал в изгнании, подкупив Тиссафернеса; это обвинение кажется неправдоподобным, но лакедемоняне поверили и, соответственно, изгнали Пасиппида, отправив на его место Кратесиппида. Новый адмирал нашел на Хиосе небольшой флот, который Пасиппид уже начал собирать у союзников, чтобы восполнить недавние потери^[180].

После последних морских побед тон в Афинах стал более обнадеживающим и энергичным. Агис с гарнизоном в Декелее, хотя афиняне и не могли помешать ему опустошать Аттику, но, приблизившись однажды к городским стенам, был отбит Фрасиллом с духом и успехом. Но

больше всего лакедемонского царя удручало то, что с его возвышенного поста в Декелее в Пирей обильно вливались корабли с кукурузой из Эвксинского моря, что вновь возобновилось осенью 410 года до н.э. после захвата Босфора и Геллеспонта Алкивиадом. Для безопасного приема этих судов вскоре был укреплен Торикус. Агис заявил, что бесполезно отгораживать афинян от продуктов Аттики, пока к ним поступает много импортной кукурузы. Поэтому он выделил совместно с мегарянами небольшую эскадру из пятнадцати трирем, с которой отправил Клиарха в Византию и Халкедон. Этот спартанец был публичным гостем византийцев и уже был назначен командовать вспомогательными войсками, предназначенными для этого города. Он, по-видимому, начал свое путешествие в течение следующей зимы (410-409 гг. до н. э.) и благополучно достиг Византии, хотя три его эскадры были уничтожены девятью афинскими триремами, охранявшими Геллеспонт[181].

Весной следующего года Фрасиллус был отправлен из Афин во главе нового большого отряда для действий в Ионии. Он командовал пятьюдесятью триремами, тысячей регулярных гоплитов, сотней всадников и пятью тысячами моряков, имея возможность вооружить их пельтастами; кроме трирем, у него были транспорты для перевозки войск.[182] Отстояв три дня у Самоса, он спустился к Пигеле, а затем овладел Колофоном с его портом Нотиум. Далее он угрожал Эфесу, но тот был защищен мощным отрядом, который Тиссафернес создал, провозгласив "идти и помочь богине Артемиде", а также двадцатью пятью свежими сиракузскими и двумя селинужийскими триремами, недавно прибывшими.[183] От этих врагов Фрасилий потерпел тяжелое поражение под Эфесом, потерял триста человек и был вынужден отплыть в Нотий; оттуда, похоронив своих мертвых, он двинулся на север к Геллеспонту. По пути туда, остановившись на некоторое время в Метимне на севере Лесбоса, Фрасилий увидел двадцать пять сиракузских трирем, проплывавших мимо по пути из Эфеса в Абидос. Он немедленно напал на них, захватил четыре вместе со всеми экипажами, а остальные загнал обратно на их стоянку в Эфесе. Всех пленных отправили в Афины, где их поместили под стражу в каменные каменоломни Пирея, несомненно, в отместку за обращение с афинскими пленными в Сиракузах; однако в течение последующей зимы им удалось пробить выход и бежать в Декелею. Среди пленников был Алкивиадес, афинянин, двоюродный брат и соотечественник изгнания одноименного афинского полководца, которого Фрасилл отпустил на свободу, а остальных отправил в Афины[184].

После задержки, вызванной этим преследованием, он вернул свое вооружение в Геллеспонт и присоединился к силам Алкивиада у Сестоса. Их объединенные силы были переправлены, по-видимому, около начала осени, в Лампсакус, на азиатской стороне пролива; это место они укрепили и сделали своей штаб-квартирой на осень и зиму, поддерживая себя хищническими вылазками по всей соседней сатрапии Фарнабаза. Любопытно, однако, узнать, что когда Алкивиад собирался собрать их всех вместе, - гоплиты, по афинскому обычаю, занимали места по племенам, - его собственные солдаты, еще ни разу не побежденные, отказались брататься с солдатами Фрасилла, которых так недавно разбили в Эфесе. Это отчуждение было устранено только после совместной экспедиции против Абидоса; Фарнабаз, явившийся со значительными силами, особенно с конницей, для освобождения этого места, был встречен и разбит в битве, в которой приняли участие все присутствовавшие афиняне. Честь гоплитов Фрасилия теперь была восстановлена, так что слияние рядов было допущено без дальнейших затруднений.[185] Однако даже вся армия не смогла овладеть Абидосом, который пелопоннесцы и Фарнабаз по-прежнему удерживали как свою станцию на Геллеспонте.

Тем временем Афины настолько лишились сил из-за большого вооружения, недавно отправленного с Фрасиллом, что ее враги вблизи дома были воодушевлены на активные действия. Спартанцы отправили экспедицию с триремами и сухопутными войсками, чтобы напасть на Пилос, который оставался афинским постом и убежищем для восставших гелотов со времени его первого укрепления Демосфеном в 425 году до н.э. Пилос подвергся энергичной атаке как с моря, так и с суши, и вскоре был сильно потеснен. Афиняне, не понимая его бедственного положения, послали на помощь тридцать трирем под командованием Анита, которые, однако, вернулись, даже не достигнув места, так как из-за штормовой погоды или неблагоприятных ветров не смогли удвоить мыс Малеа. Вскоре после этого Пилос был вынужден сдаться, гарнизон покинул город на условиях капитуляции.^[186] Но Анит по возвращении встретил большое недовольство соотечественников и был предан суду за то, что предал или не сделал все возможное, чтобы выполнить оказанное ему доверие. Говорят, что он спасся от осуждения, только подкупив дикастерия, и что он был первым афинянином, который когда-либо добился приговора путем коррупции.^[187] Мог ли он действительно добраться до Пилоса, и были ли препятствия, которые ему помешали, такими, которые мог бы преодолеть энергичный офицер, мы не можем определить; тем более, правда ли, что он действительно спасся с помощью подкупа. Однако эта история доказывает, что афинская общественность считала его достойным осуждения и была настолько удивлена его оправданием, что предположила, правда или ложь, использование невиданных ранее средств.

Примерно в это же время мегаряне неожиданно вернули себе порт Нисей, который удерживался афинским гарнизоном с 424 года до нашей эры. Афиняне попытались вернуть его, но потерпели неудачу, хотя и победили мегарян в бою.

Фрасилл летом 409 г. до н. э. и даже объединенные силы Фрасилла и Алкивиада осенью того же года, похоже, добились меньшего, чем можно было ожидать от столь крупных сил: действительно, должно быть, в какой-то период этого года лакедемонянин Клиарх с пятнадцатью мегарийскими кораблями проник по Геллеспонту в Византий, найдя его охраняемым лишь девятью афинскими триремами.^[189] Но операции 408 года до н. э. были более важными. Все силы под командованием Алкивиада и других полководцев были собраны для осады Халкедона и Византии. Халкедонцы, узнав о проекте, сдали свое движимое имущество на хранение в руки своих соседей - вифинских фракийцев; замечательное свидетельство добрых чувств и доверия между ними, сильно контрастирующее с вечной враждой, существовавшей по ту сторону Босфора между Византией и прилегающими фракийскими племенами.^[190] Но эта предосторожность была нарушена Алкивиадом, который вошел на территорию вифинян и угрозами заставил их отдать доверенное им имущество. Затем он приступил к блокированию Халкедона деревянной стеной, проведенной от Босфора до Пропонтиды, хотя непрерывность этой стены прерывалась рекой и, по-видимому, какой-то неровной поверхностью на самом берегу реки. Блокадная стена была уже завершена, когда Фарнабаз появился с армией для облегчения положения и продвинулся до Ираклиона, или храма Ираклеса, принадлежащего халкедонцам. Воспользовавшись его приближением, Гиппократес, лакедемонский начальник в городе, предпринял энергичную вылазку, но афиняне отразили все попытки Фарнабаза прорваться через их ряды и присоединиться к нему, так что после упорной борьбы вылазка была отброшена назад в стены города, а сам Гиппократес убит.^[191]

Блокада города стала настолько надежной, что Алкивиад с частью армии отправился собирать деньги и силы для последующей осады Византии. Во время его отсутствия

Фераменес и Фрасибул договорились с Фарнабазом о капитуляции Халкедона. Было решено, что город снова станет зависимым от Афин, с той же ставкой дани, что и до восстания, и что задолженность за последующий период должна быть погашена. Кроме того, сам Фарнабаз обязался выплатить афинянам двадцать талантов от имени города, а также сопроводить нескольких афинских посланников в Сузы, чтобы они могли представить Великому царю предложения о размещении. Пока посланники не вернутся, афиняне обязывались воздерживаться от военных действий против сатрапии Фарнабаза.[192] Клятвами на этот счет обменялись после возвращения Алкивиада из похода. Фарнабаз категорически отказался завершить ратификацию с другими полководцами, пока Алкивиад не придет туда лично; это свидетельствует одновременно о большой личной значимости последнего и о его известной способности находить предлоги для уклонения от соглашения. Фарнабаз отправил двух посланников в Хрисополис, чтобы получить клятву Алкивиада, а два родственника Алкивиада прибыли в Халкедон в качестве свидетелей клятвы Фарнабаза. Помимо общей клятвы с коллегами, Алкивиад заключил с сатрапом особый договор о личной дружбе и гостеприимстве и получил от него то же самое.

Свое отсутствие Алкивиад использовал для того, чтобы захватить Селимбрию, откуда он получил некоторую сумму денег, и собрать большое количество фракийцев, с которыми он отправился по суше в Византию. Теперь, сразу после капитуляции Халкедона, это место было осаждено объединенными силами афинян. Вокруг него была возведена обводная стена, и различные атаки производились с помощью ракет и таранных орудий. Однако лакедемонский гарнизон под командованием грозного Клиарха, которому помогали мегарцы под командованием Геликса и беотийцы под командованием Кератадаса, был вполне способен отразить их. Но с голодом справиться было не так просто. После того как блокада продлилась некоторое время, начались перебои с провизией; так, что Клеарх, строгий и суровый даже в обычных обстоятельствах, стал неумолимым и деспотичным из исключительной заботы о пропитании своих солдат; и даже запер запасы продовольствия, в то время как население города умирало от голода вокруг него. Видя, что единственная надежда - на внешнее облегчение, он вышел из города, чтобы попросить помощи у Фарнабаза и собрать, если возможно, флот для какой-нибудь агрессивной операции, которая могла бы отвлечь внимание осаждающих. Оборону он оставил на усмотрение Кератадаса и Геликса, будучи полностью уверенным, что византийцы слишком скомпрометированы восстанием из Афин, чтобы решиться покинуть Спарту, какими бы ни были их страдания. Но благоприятные условия, недавно предоставленные Халкедону, в сочетании с сильным и усиливающимся голодом побудили Кидона и византийцев открыть ночью ворота и впустить Алкивиада с афинянами на широкую внутреннюю площадь, называемую Фракионом. Геликс и Кератад, узнавшие об этом нападении только тогда, когда враг уже овладел городом со всех сторон, тщетно пытались сопротивляться и были вынуждены сдаться по собственному желанию: их отправили в качестве пленников в Афины, откуда Кератаду удалось бежать во время беспорядков при высадке в Пейреусе. Городу были предоставлены выгодные условия, он был заменен на зависимого союзника Афин и, вероятно, должен был выплачивать дань так же, как и Халкедон[193].

Осада в древние времена была настолько медленной, что взятие Халкедона и Византия заняло почти целый год; последний город сдался в начале зимы[194]. Однако оба они были приобретениями огромной важности для Афин, сделав ее снова бесспорной хозяйкой Босфора и обеспечив ей двух ценных союзников. Но и это было не все улучшение, которое произошло за лето в ее положении. Соглашение, только что заключенное с Фарнабазом, также было шагом, имеющим большую ценность и еще большие перспективы. Было очевидно, что сатрап устал нести все тяготы войны на благо пелопоннесцев и что он вполне

готов помочь афинянам договориться с Великим царем. Сам по себе отказ Спарты от его искренней поддержки, даже если за этим ничего не последовало, имел огромное значение для Афин; таким образом, многое было действительно достигнуто. Посланники, пять афинян и два аргейца, - все, вероятно, были отправлены из Афин, что объясняет некоторую задержку, - после осады Халкедона должны были встретиться с Фарнабазом в Кизикусе. Некоторые лакедемонские посланники и даже сиракузец Гермократес, осужденный и изгнанный по приговору дома, воспользовались тем же эскортом, и все они продолжили свой путь в Сузы. Их продвижение было задержано во время суровой зимы в Гордии во Фригии, и именно во время следования вглубь страны в начале весны они встретили молодого принца Кира, сына царя Дария, который лично спустился вниз, чтобы управлять важной частью Малой Азии. Вместе с ним ехали некоторые лакедемонские посланники, Беотий и другие, выполнившие свою миссию при персидском дворе[195].

ГЛАВА LXIV.

ОТ ПРИБЫТИЯ КИРА МЛАДШЕГО В МАЛУЮ АЗИЮ ДО БИТВЫ ПРИ АРГИНУСЕ.

Прибытие Кира, известного под именем Кира Младшего, в Малую Азию стало событием величайшей важности, открывшим то, что можно назвать последним этапом Пелопоннесской войны.

Он был младшим из двух сыновей персидского царя Дария Нота от жестокой царицы Парисатис, и теперь отец назначил его сатрапом Лидии, Фригии и Каппадокии, а также генералом всей той военной дивизии, местом сбора которой был Кастол. В это время под его командованием не было греческих городов на побережье, которые все еще оставались за Тиссафернесом и Фарнабазом. [196] Тем не менее он привез с собой сильный интерес к греческой войне и сильное антиафинское чувство, а также полное право своего отца претворять его в жизнь. Что бы ни пожелал этот молодой человек, он желал сильно; его телесная активность, превосходящая те соблазны чувственного наслаждения, которые часто овладевали персидскими грандами, вызывала восхищение даже у спартанцев:[197] а его энергичный характер сочетался с определенной мерой способностей. Хотя он еще не разработал тот обдуманый план восхождения на персидский трон, который впоследствии поглотил весь его ум и который так близок к успеху благодаря помощи десяти тысяч греков, но, похоже, с самого начала у него были чувства и амбиции царя, а не сатрапа. Он спустился вниз, прекрасно понимая, что Афины были эффективным врагом, благодаря которому гордость персидских царей была смирена, островные греки не попадались на глаза персидским кораблям, и даже континентальные греки на побережье были практически эмансипированы, в течение последних шестидесяти лет. Поэтому он привез с собой упорное желание сломить афинскую власть, сильно отличающееся от вероломного балансирования Тиссафернеса и гораздо более грозное, чем даже прямая враждебность Фарнабаза, у которого было меньше денег, меньше благосклонности при дворе и меньше юношеского пыла. Кроме того, Фарнабаз, искренне поддерживавший пелопоннессцев в течение последних трех лет, теперь устал от союзников, которых он так долго держал в подчинении. Вместо того чтобы без особого труда изгнать афинское влияние из своих берегов, как он рассчитывал, он обнаружил, что его сатрапия разграблена, доходы уменьшены или поглощены, а афинский флот всемогущ в Пропонтиде и Геллеспонте; в то время как

лакедемонский флот, который он так старался пригласить, был уничтожен. Ему решительно надоело пелопоннесское дело, он даже склонялся к Афинам; и посланники, которых он сопровождал в Сузы, возможно, заложили бы основу измененной персидской политики в Малой Азии, но путешествие Кира к побережью разрушило все подобные расчеты. Молодой принц принес с собой свежую, горячую и юношескую антипатию к Афинам, силу, уступающую только силе самого великого царя, и энергичную решимость использовать ее без промедления, чтобы обеспечить победу пелопоннесцам.

С того момента, как Фарнабаз и афинские посланники встретились с Киром, их дальнейшее продвижение к Сузам стало невозможным. Беотий и другие лакедемонские посланники, путешествовавшие вместе с молодым царевичем, с преувеличенной гордостью заявили, что получили в Сузах все, о чем просили; сам Кир объявил, что его власть неограниченна на всем побережье, и все это для того, чтобы вести активную войну совместно с лакедемонянами. Фарнабаз, услышав эти сведения и увидев печать великого царя на словах "Я посылаю Кира, как повелителя всех, кто собрался в Кастоле", не только не позволил афинским посланникам отправиться дальше, но даже был вынужден подчиниться приказам молодого царевича, который настаивал, чтобы они либо сдались ему, либо хотя бы задержались на некоторое время во внутренних районах, чтобы никакие сведения не могли быть переданы в Афины. Сатрап воспротивился первому из этих требований, пообещав свое слово за их безопасность; но он подчинился второму, продержав их в Каппадокии не менее трех лет, пока Афины не пали духом и не оказались на грани капитуляции, после чего он получил разрешение Кира отправить их обратно к морскому побережью[198].

Прибытие Кира, преодолевшее вероломство Тиссафернеса и усталость Фарнабаза и обеспечившее врагов Афин двойным потоком персидского золота в тот момент, когда иначе поток иссяк бы, было важнейшим пунктом в той сумме причин, которые в совокупности определили исход войны.[199] Но как ни важно было это событие само по себе, его еще больше усилил характер лакедемонского адмирала Лисандра, с которым молодой принц впервые столкнулся по прибытии в Сарды.

Лисандр пришел на смену Кратесиппиду примерно в декабре 408 или январе 407 года до н. э.[200] Он был последним, после Брасида и Гилиппа, из той троицы выдающихся спартанцев, от которых исходили все капитальные раны Афин в ходе этой долгой войны. Он родился от бедных родителей и, как говорят, принадлежал к тому сословию, которое называют мотаками, и только благодаря помощи более богатых людей мог поддерживать свой вклад в общественную трапезу и свое место в постоянном учении и дисциплине. Он был не только отличным офицером,[201] полностью компетентным в обязанностях военного командования, но и обладал большими талантами к интригам, организации политической партии и поддержанию ее дисциплинированного движения. Хотя он был равнодушен к соблазнам денег или удовольствий[202] и охотно соглашался на бедность, в которой родился, он был совершенно беспринципен в преследовании честолюбивых целей, как для своей страны, так и для себя. Его семья, как бы бедна она ни была, занимала достойное положение в Спарте, принадлежа к роду Гераклидов, не связанному близким родством с царями: кроме того, его личная репутация спартанца была превосходной, поскольку он строго и образцово соблюдал правила дисциплины. Привычка к самоограничению, приобретенная таким образом, сослужила ему хорошую службу, когда в его амбициях возникла необходимость добиваться расположения великих. Его безрассудство в отношении лжи и клятвопреступления иллюстрируется различными приписываемыми ему изречениями; например, что детей нужно завлекать с помощью игральные кости, а мужчин - с помощью клятв.[203] Эгоистическое честолюбие - продвигать могущество своей страны не только в

связи, но и в подчинении своему собственному - руководило им с начала и до конца его карьеры. В этом главном качестве он был согласен с Алкивиадом; в безрассудной безнравственности средств он шел даже дальше него. Он, кажется, был жестоким; это свойство не входило в обычный характер Алкивиада. С другой стороны, любовь к личным удовольствиям, роскоши и показухе, которая так много значила для Алкивиада, была совершенно неизвестна Лисандру. В основе его нрава лежала спартанская склонность к слиянию аппетита, хвастовства и расширения ума, все это в любви к командованию и влиянию, - а не афинская, склонная к развитию многих и разнообразных импульсов; честолубие было одним, но только одним, среди них.

Кратесиппид, предшественник Лисандра, по-видимому, пользовался морским командованием дольше обычного годового срока, сменив Пасиппида в середине года последнего. Но морская мощь Спарты была тогда настолько слаба, еще не оправившись от губительного поражения при Кизикусе, что он практически ничего не добился. Мы слышим о нем только как о продолжателе политической революции на Хиосе, которую он устроил ради собственной выгоды. Подкупленный партией хиосских изгнанников, он завладел акрополем, восстановил их на острове и помог им сместить и изгнать правящую партию в количестве шестисот человек. Очевидно, что речь идет не о демократии и олигархии, а о двух олигархических партиях, одной из которых удалось приобрести фактическое влияние спартанского адмирала. Изгнанники, которых он изгнал, завладели Атарнеем, сильным постом, принадлежавшим хианам на материке напротив Лесбоса. Отсюда они, как могли, вели войну со своими соперниками, владевшими островом, а также с другими частями Ионии; не без некоторого успеха и выгоды, как видно из их состояния примерно через десять лет после этого[204].

Практика восстановления правительств азиатских городов, начатая Кратесиппидом, была расширена и доведена до системы Лисандром; не ради личного обогащения, которое он всегда презирал, а из честолубивых побуждений. Отправившись из Пелопоннеса с эскадрой, он усилил ее на Родосе, а затем поплыл дальше к Косу - афинскому острову, так что он мог приплыть только туда - и к Милету. Последнюю стоянку он занял в Эфесе, ближайшем пункте к Сардам, куда должен был прибыть Кир, и в ожидании его прихода увеличил свой флот до семидесяти трирем. Как только Кир достиг Сард, примерно в апреле или мае 407 года до н. э., Лисандр вместе с лакедемонскими посланниками отправился отдать ему честь и был принят со всеми почестями. Предпочитая горькие жалобы на двуличие Тиссафернеса, которого они обвиняли в том, что он нарушил приказы царя и пожертвовал интересами империи, поддавшись соблазнам Алкивиада, они убеждали Кира принять новую политику и выполнить условия договора, оказав самую энергичную помощь для уничтожения общего врага. Кир ответил, что таков был прямой приказ, полученный им от отца, и что он готов выполнить его всеми силами. Он взял с собой, по его словам, пятьсот талантов, которые должен немедленно направить на это дело: если их окажется недостаточно, он прибегнет к частным средствам, которые дал ему отец; а если потребуется еще больше, он отчеканит на деньги золотой и серебряный трон, на котором восседает[205].

Лисандр и посланники горячо благодарили за эти великолепные обещания, которые вряд ли оказались пустыми словами из уст такого пылкого юноши, как Кир. Они так надеялись на его характер и провозглашенные чувства, что осмелились просить его восстановить плату морякам в размере одной полной аттической драхмы на голову; эту плату обещал Тиссафернес через своих посланников в Спарте, когда он впервые пригласил лакедемонян через Эгейское море, и когда было сомнительно, что они придут, но на самом деле она выплачивалась только в течение первого месяца, а затем была снижена до половины

драхмы, что на практике происходило с жалкими нарушениями. В качестве мотива для увеличения жалования Кира заверили, что это заставит афинских моряков дезертировать в таком количестве, что война скорее закончится, а вместе с ней и расходы. Но он отказался подчиниться, заявив, что размер жалования был установлен как прямым приказом царя, так и условиями договора, поэтому он не может от него отступить. [206] В этом ответе Лисандр был вынужден согласиться. Посланников приняли с почетом, устроили пир, после чего Кир, выпив за здоровье Лисандра, пожелал, чтобы тот объявил, какую услугу он может оказать ему, чтобы получить наибольшее удовлетворение. "Выдать дополнительно по оболу на голову каждого моряка", - ответил Лисандр. Кир немедленно подчинился, лично связав себя манерой постановки вопроса. Но ответ произвел на него впечатление и удивления, и восхищения; ведь он ожидал, что Лисандр попросит какую-нибудь услугу или подарок для себя, оценивая его не только по аналогии с большинством персов, но и с Астиохом и офицерами пелопоннесского вооружения в Милете, чье продажное рабство перед Тиссафернесом, вероятно, было ему известно. На фоне такого разврата, а также подлой беспечности спартанца Фераменеса в отношении состояния моряков [207] поведение Лисандра выделялось ярким и почетным контрастом.

Описанный здесь инцидент не только обеспечил морякам пелопоннесского флота ежедневное жалование в размере четырех оболов вместо трех на человека, но и обеспечил самому Лисандру степень уважения и доверия со стороны Кира, которую он хорошо знал, как обратить себе на пользу. Я уже отмечал, [208] говоря о Периклесе и Никии, что репутация неподкупного человека, столь редкая среди ведущих греческих политиков, была одним из самых ценных элементов в капитале амбициозного человека, даже если рассматривать ее только с точки зрения прочности его собственного влияния. Если доказательство такого бескорыстия имело столь большую ценность в глазах афинского народа, то еще сильнее оно действовало на разум Кира. С его персидскими и княжескими представлениями о завоевании приверженцев щедростью, [209] человек, презирующий подарки, был явлением, вызывающим высшие чувства удивления и уважения. С этого времени он не только безоговорочно доверял Лисандру, но и советовался с ним по поводу ведения войны и даже снисходил до того, что уступал его личным амбициям в ущерб этой цели [210].

Вернувшись из Сард в Эфес после столь беспримерного успеха в беседе с Киром, Лисандр получил возможность не только полностью погасить задолженность перед флотом, но и заплатить им за месяц вперед по повышенной ставке - четыре оболы на человека - и пообещать такую же высокую ставку на будущее. Вооружение было охвачено духом глубочайшего удовлетворения и уверенности. Но корабли находились в плачевном состоянии, так как после поражения при Кызыкусе их достраивали наспех и скупое. Поэтому Лисандр использовал свой нынешний достаток, чтобы привести их в порядок, закупить более совершенные снасти и пригласить отборные экипажи. [211] Он предпринял еще один шаг, чреватый важными результатами. Призвав в Эфес несколько самых передовых и деятельных людей из каждого азиатского города, он организовал их в дисциплинированные клубы, или фракции, в соответствии с его собственным мнением. Он побуждал эти клубы к самому энергичному ведению войны против Афин, обещая, что, как только война будет закончена, они получат спартанское влияние и будут участвовать в управлении своими городами. [212] Его недавно установленное влияние на Кира и обильные запасы, которыми он теперь владел, придали двойную силу приглашению, которое само по себе было слишком соблазнительным. И таким образом, вселяя все больший пыл в совместные военные усилия этих городов, он в то же время обеспечивал себе вездесущую переписку, такой, какой не мог распорядиться ни один преемник, делая сохранение своего собственного командования

почти необходимым для успеха. Плоды его коварных маневров можно увидеть в последующих декархиях, или олигархиях Тена, после полного покорения Афин.

Пока Лисандр и Кир восстанавливали грозную силу на своей стороне, летом 407 года до н. э. победоносный изгнанник Алкивиад совершил важный и деликатный шаг - впервые восстановил свой родной город. Согласно договору с Фарнабазом, заключенному после падения Халкедона, афинский флот не имел права нападать на его сатрапию и был вынужден искать пропитание в других местах. Византия и Селимбрия за счет взносов, взимаемых во Фракии, содержали их в течение зимы: весной (407 г. до н. э.) Алкивиад вновь привел их на Самос, откуда предпринял экспедицию против побережья Карики, взимая взносы в размере ста талантов. Фрасибул с тридцатью триремами отправился во Фракию, где уничтожил Тасос, Абдеру и все города, восставшие против Афин; Тасос теперь особенно страдал от голода, а также от прошлых волнений. Ценный взнос на поддержку флота, несомненно, был одним из плодов этого успеха. В то же время Фрасилл проводил домой в Афины еще одну часть армии, которую Алкивиад собирался использовать в качестве предвестников своего возвращения[213].

До прибытия Фрасилла народ уже проявил свое благосклонное отношение к Алкивиаду, избрав его новым генералом вооружения, наряду с Фрасибулом и Кононом. Алкивиад с двадцатью триремами отправился из Самоса на родину, захватив с собой все недавно собранные взносы: сначала он остановился в Паросе, затем посетил побережье Лаконии и, наконец, заглянул в гавань Гитейона в Лаконии, где, как он узнал, готовились тридцать трирем. Полученные им известия о переизбрании на пост полководца, подкрепленные настоятельными приглашениями и призывами друзей, а также отзывом изгнанных родственников, в конце концов заставили его отплыть в Афины. Он достиг Пейреуса в знаменательный день, праздник Плинтерия, 25 числа месяца Таргелион, примерно в конце мая 407 года до н. э. Это был день меланхолической торжественности, считавшийся неподходящим для каких-либо важных действий. Статуя богини Athênê была лишена всех украшений, укрыта от посторонних глаз, и омыта или очищена по таинственному обряду священными людьми, называемыми Praxiergidæ. Богиня, таким образом, как бы отворачивала свое лицо и отказывалась видеть возвращающегося изгнанника. Такова, по крайней мере, была версия его врагов; и поскольку последующий поворот событий подтвердил ее, она была сохранена; в то время как более благоприятная контр-интерпретация, несомненно предложенная его друзьями, была забыта.

Самые экстравагантные представления о пышности и великолепии этого возвращения Алкивиада в Афины были даны некоторыми античными авторами, особенно Дурисом Самосским, автором примерно на два поколения позже. Говорили, что он привез с собой двести украшений, принадлежавших кораблям пленных врагов, или, по мнению некоторых, даже сами двести захваченных кораблей; что его трирема была украшена золочеными и посеребренными щитами и шла под пурпурными парусами; что Каллиппидес, один из самых выдающихся актеров того времени, исполнял обязанности келеуста, произнося напев или слова команды гребцам; что Хрисогон, флейтист, получивший первый приз на Пифийских играх, также был на борту, играя на возвратном воздухе.[214] Все эти подробности, придуманные с меланхолической легкостью, чтобы проиллюстрировать идеал показности и наглости, опровергаются более простым и достоверным рассказом Ксенофонта. Возвращение Алкивиада было не просто не показным, но даже недоверчивым и опасливым. С ним было всего двадцать трирем; и хотя его ободряли не только заверения друзей, но и весть о том, что он только что был избран полководцем, он, тем не менее, наполовину боялся сойти на берег, даже в тот момент, когда причалил свой корабль к пристани в Пейреусе. Там

собралась огромная толпа из города и порта, движимая любопытством, интересом и другими эмоциями, чтобы увидеть его прибытие. Но он так мало доверял их чувствам, что поначалу не решался сойти на берег и стоял на палубе, оглядываясь в поисках своих друзей и родственников. Вскоре он увидел Эвритолема, своего двоюродного брата, и других людей, которые сердечно приветствовали его и в окружении которых он высадился на берег. Но и они так опасались его многочисленных врагов, что образовали своего рода телохранителей, чтобы окружать и защищать его от любого возможного нападения во время его похода из Пейреуса в Афины[215].

Однако защита не потребовалась. Его враги не только не пытались применить к нему насилие, но и ничего не сказали в ответ, когда он выступил в свою защиту перед сенатом и общественным собранием. Протестуя как перед одним, так и перед другим, о своей невинности в нечестии, в котором его обвиняли, он с горечью обличал несправедливость своих врагов и мягко, но патетично, сожалел о недоброжелательности народа. Все его друзья горячо высказывались в том же духе. Сенат и общественное собрание были настроены в его пользу так решительно и так ярко, что никто не осмеливался обращаться к ним в противоположном смысле. [Приговор, вынесенный ему, был отменен: эвмолпидам было приказано отменить проклятие, которое они произнесли над его головой; запись приговора была уничтожена, а свинцовая пластина, на которой было выгравировано проклятие, выброшена в море; конфискованное имущество было возвращено; наконец, он был провозглашен генералом с полными полномочиями и получил разрешение подготовить экспедицию из ста трирем, пятнадцати сотен гоплитов из регулярного списка и ста пятидесяти всадников. Все это прошло без голосования, при молчании врагов и аплодисментах друзей, при безмерных обещаниях будущих достижений от него самого и уверенных заверениях, внушенных его друзьями желающим, что Алкивиадес - единственный человек, способный восстановить империю и величие Афин. Всеобщее ожидание, которое он и его друзья всячески старались возбудить, заключалось в том, что его победоносная карьера последних трех лет была подготовкой к еще большим триумфам в течение следующих.

Мы можем быть удовлетворены, если вспомним опасения Алкивиада при входе в Пирей и телохранителей, организованных его друзьями, что этот ошеломляющий и неоспоримый триумф значительно превзошел ожидания обоих. Он опьянил его и заставил легкомысленно относиться к врагам, которых он только что так сильно боялся. Эта ошибка, а также беспечность и наглость, вызванные, казалось бы, безграничным превосходством, стали причиной его гибели в будущем. Но дело в том, что эти враги, как бы они ни молчали, не переставали быть грозными. Алкивиад пробыл в изгнании восемь лет, примерно с августа 415 года до н. э. по май 407 года до н. э. Отсутствие во многом благотворно сказалось на его репутации, поскольку его властное поведение в личной жизни было скрыто от посторонних глаз, а его злодеяния частично забыты. Большинство даже склонялось к тому, чтобы принять его прямое отрицание факта, в котором его обвиняли, и в основном остановиться на недостойных маневрах его врагов, сопротивлявшихся его требованию немедленного суда сразу после выдвижения обвинения, чтобы оклеветать его во время его отсутствия. Его характеризовали как патриота, движимого самыми благородными побуждениями, который принес на службу содружеству и первоклассные дарования, и большое частное состояние, но был погублен заговором продажных и никчемных ораторов, во всем уступавших ему; людей, чей единственный шанс на успех у народа заключался в изгнании тех, кто был лучше их, тогда как он, Алкивиадес, отнюдь не имея никаких интересов, противных демократии, был естественным и достойным любимцем демократического народа. [Поэтому, если говорить о старых причинах непопулярности, то время и отсутствие сделали многое, чтобы ослабить их

действие и помочь его друзьям противостоять им, указывая на вероломные политические маневры, предпринятые против него.

Но если старые причины непопулярности, сравнительно говоря, исчезли из поля зрения, то с тех пор возникли другие, более серьезные и неизгладимые. Его мстительная враждебность к своей стране не просто демонстративно провозглашалась, но и активно проявлялась, нанося слишком эффективные удары в ее жизненно важные органы. Отправка Гилиппа в Сиракузы, укрепление Декелии, восстания на Хиосе и в Милете, первое зарождение заговора Четырехсот - все это было явно мерами Алкивиада. Даже для них энтузиасты момента пытались найти оправдание: утверждалось, что он никогда не переставал любить свою страну, несмотря на ее злодеяния по отношению к нему, и что необходимость изгнания вынуждала его служить людям, которых он ненавидел, ежедневно рискуя жизнью.^[218] Но такие притворства не могли никого убедить. Измена Алкивиада в период его изгнания оставалась не только неоспоримой, но и неопровержимой, и, если бы у его врагов были свободны языки, они бы с лихвой использовали ее в качестве темы для разговора. Но его положение было совершенно необычным: сначала причинив своей стране огромное зло, он впоследствии оказал ей ценную услугу и обещал оказать еще большую. Правда, последующие услуги ни в коем случае не были адекватны предыдущим бедам: да и не были они оказаны исключительно им, поскольку победы в Абидосе и Кизикусе принадлежат не столько Фераменесу и Фрасибулу, сколько Алкивиаду.^[219] Кроме того, особый подарок или капитал, который он обещал привезти с собой, - персидский союз и плата Афинам - оказался полным заблуждением. Тем не менее, после его прихода афинское оружие было чрезвычайно успешным, и мы можем видеть, что не только обычные сообщения, но даже хорошие судьи, такие как Фукидид, приписывали этот результат его превосходной энергии и управлению.

Не касаясь этих деталей, невозможно в полной мере понять весьма своеобразное положение этого вернувшегося изгнанника перед афинским народом летом 407 года до н. э. Далекое прошлое выставляло его одним из худших преступников; недавнее прошлое - ценным слугой и патриотом; будущее обещало продолжение этого последнего характера, насколько можно было судить по каким-либо положительным признакам. Это был тот случай, когда обсуждение и упреки не могли принести никакой пользы. Были все основания для того, чтобы вновь назначить Алкивиада на его пост; но это можно было сделать только под запретом на осуждение его прошлых преступлений и временным признанием его последующих добрых дел, как оправдывающих надежду на еще лучшие деяния в будущем. Народный инстинкт прекрасно почувствовал эту ситуацию и наложил абсолютное молчание на его врагов.^{220]} Отсюда мы не должны делать вывод, что народ забыл о прошлых деяниях Алкивиада или что он не испытывал к нему ничего, кроме безоговорочного доверия и восхищения. В своем нынешнем, весьма оправданном чувстве надежды они решили, что у него есть все возможности для продолжения своей новой и лучшей карьеры, если он пожелает; и что его враги не должны возрождать упоминания о непоправимом прошлом, чтобы закрыть перед ним дверь. Но то, что было запрещено в устах людей как несвоевременное, не исчезло из их памяти; и враги, хотя и замолчали на мгновение, стали бессильны в будущем. Весь этот шлейф горючих веществ лежал в тишине, готовый разгореться от любого будущего проступка или небрежности, возможно, даже от безупречной неудачи со стороны Алкивиада.

В тот момент, когда от его дальнейшего поведения зависело так много, он, как мы увидим далее, показал, что совершенно неправильно истолковал нравы народа. Опьяненный неожиданным триумфом своего приема, в соответствии с той роковой восприимчивостью,

которая так часто встречается у выдающихся греков, он забыл свою собственную прошлую историю и вообразил, что народ тоже забыл и простил ее; истолковав их изученное и хорошо продуманное молчание как доказательство забвения. Он считал себя уверенным в общественном доверии и смотрел на своих многочисленных врагов так, словно их больше не существовало, потому что им не дали выступить в самый неподходящий момент. Несомненно, его ликование разделяли и друзья, и это чувство ложной безопасности стало его будущей гибелью.

Два соратника, рекомендованные самим Алкивиадом, Адеймант и Аристократ, были назначены народом генералами гоплитов, чтобы отправиться вместе с ним в случае операций на берегу.^[221] Менее чем через три месяца его вооружение было готово, но он намеренно отложил свой отплытие до того дня месяца Боэдромион, примерно в начале сентября, когда праздновались Элевсинские мистерии и когда по Священному пути из Афин в Элевсис обычно совершалось торжественное шествие толпы причастников. В течение семи лет подряд, со времени основания Агиса в Декелее, это шествие по необходимости прекращалось, и процессия перевозилась по морю, что привело к упущению многих церемониальных деталей. По этому случаю Алкивиад вновь устроил сухопутный марш, с полной пышностью и торжественностью, собрав все свои войска для защиты на случай нападения из Декелеи. Такого нападения не последовало, так что он получил удовлетворение от возрождения полной регулярности этой прославленной сцены и сопровождения многочисленных прихожан на выход и домой без малейшего перерыва; подвиг, удовлетворяющий религиозные чувства народа и дающий приемлемое ощущение несокрушимой афинской мощи; в то время как в отношении его собственной репутации он был особенно политичен, поскольку служил для заключения мира с Эвмолпидой и Двумя Богинями, из-за которых он был осужден^[222].

Сразу же после мистерий он уехал со своим вооружением. Похоже, что Агис в Декелее, хотя и не решил выйти и напасть на Алкивиада, когда тот был поставлен охранять Элевсинскую процессию, все же почувствовал себя униженным брошенным ему вызовом. Вскоре после этого он воспользовался уходом этого большого войска, вызвал подкрепление из Пелопоннеса и Беотии и попытался темной ночью застать врасплох стены Афин. Если он рассчитывал на попустительство внутри, то заговор не удался: тревога была поднята вовремя, и старшие и младшие гоплиты были найдены на своих постах для защиты стен. Нападавшие - говорят, что их было двадцать восемь тысяч человек, из которых половина составляли гоплиты, и двенадцать сотен конницы, девятьсот из которых были беотийцами - были замечены на следующий день под стенами города, которые были достаточно укомплектованы всеми оставшимися силами Афин. В завязавшемся упорном кавалерийском бою афиняне одержали верх даже над беотийцами. На следующую ночь Агис расположился лагерем в саду Академа; на утро он снова собрал свои войска и предложил сражение афинянам, которые, как утверждается, вышли в боевом порядке, но держались под защитой ракет со стен, так что Агис не осмелился напасть на них.^[223] Можно усомниться, выходили ли вообще афиняне, поскольку они уже много лет привыкли считать себя уступающими пелопоннесцам в поле. Агис удалился, удовлетворенный, по-видимому, тем, что предложил сражение, чтобы загладить обиду, нанесенную ему походом элейских прихожан наперекор его соседям.

Первым подвигом Алкивиада был поход на Андрос, где находились лакедемонский гарнизон и гарнизон. Высадившись на острове, он разграбил поля, разбил туземные войска и лакедемонян и заставил их затвориться в городе, который осаждал несколько дней безрезультатно, а затем двинулся дальше к Самосу, оставив Конона в укрепленном пункте с

двадцатью кораблями для продолжения осады.^[224] На Самосе он впервые узнал о состоянии пелопоннесского флота в Эфесе, о влиянии, приобретенном Лисандром на Кира, о сильных антиафинских настроениях молодого царевича и о достаточном жалованье, назначенном даже заранее, которое пелопоннесские моряки теперь фактически получали. Теперь он впервые убедился в несостоятельности тех надежд, которые он не без оснований питал в предыдущем году и которыми, несомненно, хвастался в Афинах, - что союз Персии можно если не победить, то хотя бы нейтрализовать с помощью посланцев, сопровождаемых в Сузы Фарнабазом. Напрасно он уговаривал Тиссафернеса посредничать с Киром, представить ему афинских посланников и внушить ему свои собственные взгляды на истинные интересы Персии, а именно, что война должна разгораться и затягиваться, чтобы измотать обе греческие воюющие стороны, каждую с помощью другой. Такая политика, во все времена несогласная с пылким нравом Кира, стала еще более противной ему после общения с Лисандром. Он не согласился даже встретиться с посланниками и, вероятно, был недоволен тем, что нанесли оскорбление соседу и сатрапу-сопернику. Глубокое уныние охватило афинян на Самосе, когда они с болью убедились, что все надежды на Персию для них самих должны быть отброшены; кроме того, персидское жалованье было и более обильным, и более гарантированным для их врагов, чем когда-либо прежде^[225].

У Лисандра в Эфесе был флот из девятина трирем, который он ремонтировал и увеличивал, но все равно уступал в численности афинянам. Алкивиад тщетно пытался спровоцировать его на общие действия. Это было в значительной степени в интересах афинян, помимо их численного превосходства, поскольку они были плохо обеспечены деньгами и были вынуждены собирать контрибуцию везде, где только могли: но Лисандр был решительно настроен не воевать, пока не сможет сделать это с выгодой, и Кир, не боясь затяжных расходов на войну, даже предписал ему эту осторожную политику, дополнительно надеясь на помощь феникийского флота, который в его устах не был предназначен для заблуждения, как это было у Тиссафернеса.^[226] Не имея возможности устроить генеральное сражение и не имея никакого срочного или капитального предприятия, которое бы приковывало его внимание, Алкивиад стал беспечным и предался отчасти любви к удовольствиям, отчасти безрассудным хищническим предприятиям с целью добыть деньги для оплаты армии. Фрасибул прибыл со своего поста на Геллеспонте и теперь занимался укреплением Фокеи, вероятно, с целью создания поста, чтобы иметь возможность грабить внутренние районы. Здесь к нему присоединился Алкивиад, который переправился с эскадрой, оставив свой основной флот на Самосе. Он оставил его под командованием своего любимого лоцмана Антиоха, но с четким приказом не вступать в бой до его возвращения.

Во время этого визита в Фокею и Клазомены Алкивиад, возможно, испытывая нехватку денег, задумал необоснованный проект обогащения своих людей за счет грабежа соседней территории Кима, союзной Афинам. Неожиданно высадившись на этой территории и сфабриковав несколько легкомысленных клевет на киммеев, он сначала захватил много имущества и значительное количество пленных. Но жители собрались с оружием в руках, храбро защищали свои владения и оттеснили его людей на корабли, вернув награбленное имущество и укрыв его в безопасности в своих стенах. Уязвленный этой неудачей, Алкивиадес послал за подкреплением гоплитов из Митилены и подошел к стенам Кима, где тщетно призывал горожан выйти и сразиться. Затем он по своему усмотрению опустошил территорию: у киммеев не было другого выхода, кроме как послать посланцев в Афины, чтобы пожаловаться на столь грубое оскорбление, нанесенное афинским полководцем ни в чем не повинному афинскому иждивенцу^[227].

Это было серьезное обвинение, и не единственное, с которым Алкивиаду пришлось столкнуться в Афинах. Во время его отсутствия в Фокее и Киме лоцман Антиоха, которого он оставил за себя, не подчинившись прямому приказу, запрещавшему ему сражаться, сначала переплыл с Самоса в Нотий, гавань Колофона, а оттуда - в устье гавани Эфеса, где находился пелопоннесский флот. Войдя в эту гавань со своим и другим кораблем, он прошел перед носом пелопоннесских трирем, презрительно оскорбляя их и вызывая на бой. Лисандр отрядил несколько кораблей для его преследования, и постепенно завязалось сражение, которого как раз и добивался Антиох. Но афинские корабли были в беспорядке, и вступали в бой, как могли по отдельности, в то время как пелопоннесский флот был хорошо собран и держался в руках, так что битва была в пользу последних. Афиняне, вынужденные обратиться в бегство, были преследованы до Нотия, потеряв пятнадцать трирем, несколько вместе с полными экипажами. Сам Антиох был убит. Перед тем как удалиться в Эфес, Лисандр с удовлетворением воздвиг свой трофей на берегу Нотия, а афинский флот был возвращен на свою стоянку на Самосе[228].

Напрасно Алкивиад, поспешив на Самос, собрал весь афинский флот, приплыл к устью Эфесской гавани и там расставил свои корабли в боевом порядке, призывая противника выйти вперед. Лисандр не дал ему возможности уничтожить позор, нанесенный в прошлом. А в качестве дополнительного оскорбления для Афин лакедемоняне вскоре после этого захватили Теос и Дельфиний; последний был укрепленным пунктом, который афиняне удерживали последние три года на острове Хиос[229].

Еще до битвы при Нотиуме, судя по всему, в вооружении Алкивиада росли жалобы и недовольство. Он выступил с великолепным войском, не уступавшим по количеству трирем и гоплитов тому, что он вел против Сицилии, и под большими обещаниями, как от себя, так и от своих друзей, грядущих достижений. Однако за время, которое вряд ли могло быть меньше трех месяцев, не было достигнуто ни одного успеха; с другой стороны, следует отметить разочарование в Персии, которое сильно повлияло на характер вооружения, и которое, хотя и не было его виной, противоречило ожиданиям, которые он возлагал, позорное разграбление Кима и поражение при Нотиуме. Правда, Алкивиад отдал Антиоху категорический приказ не вступать в бой, и сражение было предпринято в знак вопиющего неповиновения его предписаниям. Но это обстоятельство лишь дало новый повод для недовольства более серьезного характера. Если Антиох был непослушен, если, кроме непослушания, он проявлял детское тщеславие и полное пренебрежение ко всем военным предосторожностям, то кто же выбрал его заместителем, да еще вопреки всем афинским прецедентам, поставив лоцмана, оплачиваемого офицера корабля, над головами триерархов, которые платили своим лоцманам и служили за свой счет? Именно Алкивиад поставил Антиоха в это серьезное и ответственное положение, - личного любимца, прекрасного собеседника, но лишенного всех качеств, подходящих полководцу. И это переключило внимание на другой момент характера Алкивиада - его привычки к чрезмерному самообольщению и расточительству. Громкий ропот в лагере обвинял его в том, что он пренебрегает интересами службы ради развлечений с весельчаками и ионийскими женщинами и принимает в свое доверие тех, кто наилучшим образом способствует увеселениям в эти избранные часы[230].

Именно в лагере на Самосе впервые возникло это всеобщее возмущение против Алкивиада, и оттуда оно было официально передано в Афины устами Фрасибула, сына Фрасона,[231] а не выдающегося Фрасибула, сына Ликуса, о котором уже часто говорилось в этой истории и еще будет сказано. В то же время в Афины пришли жалобы из Кима на неспровоцированную агрессию и разграбление этого места Алкивиадом, и, похоже, жалобы из других мест.[232] В

качестве обвинения против него даже выдвигалось, что он был в виновном сговоре, чтобы предать флот Фарнабазу и лакедемонянам, и что он уже обеспечил три сильные крепости в Херсонесе, чтобы удалиться, как только этот план созреет для исполнения.

Таких серьезных и широко распространенных обвинений, в сочетании с катастрофой в Нотиуме и полным разочарованием от всех обещаний успеха, было более чем достаточно, чтобы изменить настроение афинского народа по отношению к Алкивиаду. У него не было характера, на который можно было бы опереться; вернее, у него был характер хуже, чем никакой, такой, что самые преступные обвинения в измене не были бы по своей сути невероятными. Высказывания его врагов, которые были насильно исключены из публичного обсуждения во время его летнего визита в Афины, теперь снова оказались на свободе; и все неблагоприятные воспоминания о его прошлой жизни, несомненно, ожили. Народ отказался выслушать их, чтобы устроить ему справедливый суд и подтвердить титул, на который претендовали его друзья и о котором можно было судить только по его последующим подвигам, совершенным с 411 года до н. э. Теперь суд над ним состоялся, он был признан несостоятельным, и народное доверие, которое было временно оказано ему, было соответственно снято.

Несправедливо представлять афинский народ, как бы ни изображали его Плутарх и Корнелий Непос, как предавшийся экстравагантному и безмерному доверию к Алкивиаду в июле, требовавший от него больше, чем тот мог выполнить, а затем в декабре с детской резкостью перешедший от доверия к гневному недовольству, потому что их собственные несбыточные ожидания не оправдались. В том, что люди возлагали большие надежды на столь значительное вооружение, сомневаться не приходится: самыми большими из них, вероятно, как и в случае с сицилийской экспедицией, были те, которые возлагал на себя сам Алкивиад и распространяли его друзья. Но мы не призваны определять, как поступил бы народ, если бы Алкивиад, выполнив все обязанности верного, умелого и предприимчивого полководца, все же не смог, из-за не зависящих от него препятствий, реализовать их надежды и свои обещания. Таких случаев не было: те, что были, существенно отличались. Помимо отсутствия грандиозных успехов, он еще проявил небрежность и безрассудство в выполнении своих основных обязанностей; он подверг афинское оружие опасности поражения, выбрав недостойного лейтенанта;^[233] он нарушил территорию и собственность союзной зависимости в тот момент, когда Афины были крайне заинтересованы в том, чтобы всеми способами завоевать привязанность своих оставшихся союзников. Правда в том, как я уже отмечал, что он действительно был испорчен опьяняющим приемом, оказанным ему так неожиданно в городе. Он ошибся в обнадеженной публике, решившей, даже путем вынужденного молчания о прошлом, предоставить ему все блага достойного будущего, но потребовавшей от него в качестве условия, чтобы это будущее действительно было достойным, публики уверенных поклонников, чье расположение он уже заслужил и мог считать своим собственным. После этого визита он изменился, как Мильтиадес после Марафонской битвы; вернее, импульсы характера, по сути своей беспутного и дерзкого, вырвались из-под контроля, который они до этого частично сохраняли. Во время битвы при Кизикусе, когда Алкивиад стремился вернуть расположение своих обиженных соотечественников и еще не был уверен, что ему это удастся, он не совершил бы ошибки, бросив свой флот и оставив его под командованием такого лейтенанта, как Антиох. Таким образом, если осенью 407 года до н. э. настроение афинян по отношению к Алкивиаду полностью изменилось, то это произошло из-за перемен в его характере и поведении; перемен к худшему, как раз в тот момент, когда все зависело от его хорошего поведения и от того, заслуживает ли он, по крайней мере, успеха, если не может им командовать.

Мы можем, правда, заметить, что ошибки Никиаса перед Сиракузами и в связи с приходом Гилиппа были гораздо серьезнее и зlostнее, чем ошибки Алкивиада в этот поворотный период его карьеры, а разочарование прежних надежд было по меньшей мере равнозначным. Однако если эти проступки и разочарования привели к увольнению и позору Алкивиада, то они не побудили афинян уволить Никиаса, хотя он сам этого желал, и даже не помешали им прислать ему второе вооружение, чтобы оно было уничтожено вместе с первым. Этот контраст весьма поучителен, поскольку показывает, на какие моменты обращалось прочное уважение в Афинах; как долго самая печальная общественная некомпетентность могла оставаться незамеченной, когда ее прикрывали благочестие, благопристойность, добрые намерения и высокое положение;^[234] как недолго длилось восхождение человека, намного превосходящего его по способностям и энергии, к тому же равного ему по положению, когда его моральные качества и предшествующая жизнь были таковы, что вызывали страх и ненависть у многих, а уважения ни у кого. И все же в целом Никиас, если смотреть на него как на государственного служащего, был гораздо более губителен для своей страны, чем Алкивиад. Вред, причиненный Афинам последним, был сделан на заведомой службе у ее врагов.

Получив известие о поражении при Нотиуме и накопившиеся жалобы на Алкивиада, афиняне просто проголосовали за его отстранение от командования, назвав десять новых генералов на его место. Он не был привлечен к суду, и мы не знаем, предлагался ли такой шаг. Однако его действия в Киме, если они происходили так, как мы читаем, заслуживали судебного осуждения; и народ, если бы он так поступил с ним, лишь выполнил бы ту похвальную функцию, которую приписывает ему олигархический Фриних, "служба убежищем для своих зависимых союзников и пресекая неправомерные притеснения оптиматов против них". Однако в опасном положении Афин, связанном с внешней войной, такой политический суд должен был принести много раздоров и бед. И Алкивиад избежал этого вопроса, не приехав в Афины. Как только он узнал о своем увольнении, он сразу же удалился из армии в свои укрепленные пункты на Херсонесе.

Десятью новыми генералами были назначены Конон, Диомедон, Леон, Периклес, Эрасинидес, Аристократ, Архестрат, Протомах, Фрасилл, Аристокенес. Из них Конону было приказано немедленно отправиться из Андроса с двадцатью кораблями, которые у него там были, чтобы принять флот Алкивиада, а Фаностенес отправился с четырьмя триремами, чтобы заменить Конона в Андросе^[236].

На пути туда Фаностенес столкнулся с родосским Дориеем и двумя турийскими триерами, которые он захватил со всеми людьми на борту. Пленников отправили в Афины, где всех, кроме самого Дориея, поместили под стражу на случай будущего обмена. Последний был приговорен к смерти и изгнан из своего родного города Родоса вместе со своими родственниками, вероятно, за политическое недовольство, в то время, когда Родос был членом афинского союза. Став с тех пор гражданином Фурий, он с отличием служил во флоте Миндара, как при Милете, так и при Геллеспонте. Афиняне прониклись к нему таким состраданием, что сразу и безоговорочно отпустили его, не потребовав даже выкупа или эквивалента. Каким именно обстоятельством было обусловлено их сострадание, ставшее приятным исключением из меланхолических привычек, пронизывавших греческую войну в обеих воюющих сторонах, мы так и не узнаем из скудного повествования Ксенофонта. Но из других источников мы узнаем, что Доризей, сын Диагора Родосского, прославился больше других греков своими победами в панкратионе на Олимпийских, Истмийских и Немейских фестивалях; что он получил первый приз на трех Олимпийских фестивалях подряд, из которых Олимпиада 88, или 428 г. до н.э., была второй. кроме восьми истмийских и семи

немейских призов; что его отец Диагор, братья и двоюродные сестры славились как успешные атлеты; наконец, что его семья с давних пор прославилась на родном острове Родос и даже происходила от мессенского героя Аристоменеса. Когда афиняне увидели перед собой в качестве пленника человека, несомненно, великолепного роста и стати, как можно заключить из его атлетических успехов, и окруженного таким ореолом славы, впечатляющим в высшей степени греческое воображение, чувства и обычаи войны были сразу же отменены. Хотя Дориэй был одним из их самых ярых врагов, они не могли ни прикоснуться к его персоне, ни потребовать от него каких-либо условий. Освобожденный ими по этому случаю, он дожился до того, что через тринадцать лет был предан смерти лакедемонянами[237].

Когда Конон прибыл на Самос, чтобы принять командование, он нашел вооружение в состоянии большого уныния; не только из-за позорного дела Нотия, но и из-за разочарованных надежд, связанных с Алкивиадом, и из-за трудностей с получением регулярного жалованья. Последнее неудобство ощущалось так болезненно, что первой мерой Конона было сокращение численности вооружения со ста трирем до семидесяти и резервирование для уменьшенного флота всех самых способных моряков из большего. С этим флотом он и его коллеги бродили по вражеским берегам, собирая грабежи и плату[238].

По-видимому, примерно в то же время, когда Конон сменил Алкивиада, то есть около декабря 407 года до н. э. или января 406 года до н. э., истек год командования Лисандра, и на смену ему из Спарты прибыл Калликратид. Его прибытие было встречено с нескрываемым недовольством ведущими лакедемонянами в вооружении, вождями азиатских городов и Киром. Теперь в полной мере ощущалось влияние тех фактических переписок и интриг, которые Лисандр завязал со всеми ними, чтобы косвенно добиться бессрочности своего командования. В то время как раздавались громкие жалобы на бесцеремонность Спарты, ежегодно менявшей своего адмирала, и Кир, и остальные были солидарны с Лисандром в создании трудностей на пути нового преемника.

Калликратид, к сожалению, лишь показанный судьбой,[239] и не получивший возможности продолжить жизнь в греческом мире, был одним из самых благородных героев своей эпохи. Помимо безупречного мужества, энергии и неподкупности, он отличался двумя качествами, весьма редкими среди выдающихся греков: абсолютной прямоотой в делах и общегреческим патриотизмом, в равной степени всеобъемлющим, возвышенным и милосердным. Лисандр передал ему лишь пустой кошелек, вернув Киру все оставшиеся у него деньги под предлогом, что они были доверены ему лично.[240] Более того, передав флот Калликратиду в Эфесе, он похвалялся тем, что одновременно передал ему и владение морем, благодаря победе, одержанной недавно при Нотиуме. "Проведи флот из Эфеса вдоль побережья Самоса, минуя афинскую станцию (ответил Калликратид), и сдай его мне в Милете: Тогда я поверю в твое владение морем". Лисандру больше нечего было сказать, кроме того, что он не должен больше беспокоить себя, раз его командование перешло к другому.

Вскоре Калликратид обнаружил, что ведущие лакедемоняне флота, перешедшие на сторону интересов его предшественника, открыто ропщут на его прибытие и тайно препятствуют всем его мерам; тогда он созвал их вместе и сказал: "Я, со своей стороны, вполне доволен тем, что остаюсь дома; и если Лисандр или кто-либо другой претендует на звание лучшего адмирала, чем я, мне нечего сказать против этого. Но поскольку власти Спарты направили меня сюда командовать флотом, у меня нет иного выбора, кроме как исполнять их приказы наилучшим образом. Теперь вы знаете, как далеко простирается мое честолюбие;[241] вы знаете также, какой ропот поднимается против нашего общего города (из-за частой смены

адмиралов). Присмотритесь к этому и выскажите мне свое мнение. Остаться ли мне на месте или вернуться домой и сообщить о том, что здесь произошло?"

Это напоминание, в равной степени остроумное и достойное, произвело свой полный эффект. Каждый ответил, что его долг - остаться и взять на себя командование. С этого момента ропот и заговоры были прекращены.

Следующее затруднение возникло из-за маневра Лисандра, который вернул Киру все средства, из которых складывалось постоянное жалование армии. Конечно, этот шаг был прекрасно рассчитан на то, чтобы заставить всех сожалеть о смене командования. Калликратидас, который был отправлен без средств, полностью полагаясь на неистощимые запасы из Сард, теперь был вынужден лично отправиться туда и просить о продлении щедрот. Но Кир, желая всячески проявить свое расположение к последнему адмиралу, откладывал его прием сначала на два дня, потом еще на более длительный срок, пока терпение Калликратиды не истощилось, и он с отвращением покинул Сарды, так и не дождавшись встречи. Его чувствам было так невыносимо унижительно просить милостыню у дворцовых ворот, что он горько сожалел о тех жалких разногласиях среди греков, которые вынуждали обе стороны обращаться за деньгами к иностранцам; он поклялся, что, если переживет годичную кампанию, приложит все возможные усилия, чтобы добиться согласия между Афинами и Спартой[242].

Тем временем он направил все свои силы на то, чтобы получить деньги каким-то другим способом и таким образом вывести флот в море; он хорошо знал, что преодолеть нежелание Кира можно, показав, что он может обойтись и без него. Отплыв сначала из Эфеса в Милет, он отправил оттуда небольшую эскадру в Спарту, сообщая о своей неожиданной бедности и прося о скорой денежной помощи. Тем временем он созвал собрание милезийцев, сообщил им о миссии, только что отправленной в Спарту, и попросил их о временном снабжении, пока эти деньги не придут. Он напомнил им, что необходимость этого требования вызвана маневром Лисандра по возврату средств, находившихся в его руках; что он уже тщетно обращался к Киру за дальнейшей помощью, встречая лишь оскорбительное пренебрежение, которое больше нельзя было терпеть: что они, милезийцы, живущие среди персов и уже испытавшие максимум жестокости от их рук, должны теперь быть первыми в войне и подавать пример усердия другим союзникам,[243] чтобы скорее освободиться от зависимости от таких властных наставников. Он пообещал, что, когда придет время перечисления денег из Спарты и час успеха, он щедро вознаградит их за бесцеремонность. "Давайте с помощью богов покажем этим чужеземцам (заклучил он), что мы можем наказывать наших врагов, не поклоняясь им".

Зрелище этого великодушного патриота, борющегося с унижительной зависимостью от иностранцев, которая теперь становилась, к несчастью, привычной для ведущих греков обеих сторон, вызывает наше горячее сочувствие и восхищение. Мы можем добавить, что его обращение к милезийцам, напоминающее им о несчастьях, которые они терпели от персов в качестве мотива для участия в войне, полно наставлений относительно новой ситуации, открывшейся для азиатских греков после распада афинской державы. За более чем пятидесятилетний период между полной организацией Делосской конфедерации и катастрофой Никиаса перед Сиракузами они не испытали таких бедствий, пока Афины были готовы их защищать и пока они были готовы получать от нее защиту.

Единодушная энергия Калликратиды действовала на всех, кто его слушал, и даже внушила такую тревогу ведущим милезийцам, которые вели подпольную игру с Лисандром, что они первыми предложили выделить на войну крупную сумму денег, причем из собственных

кошельков; вероятно, этому примеру вскоре последовали и другие союзные города. Некоторые из друзей Лисандра пытались увязать свои предложения с условиями, требуя ордер на уничтожение своих политических врагов и надеясь таким образом скомпрометировать нового адмирала. Но он решительно отказался от подобных уговоров. [244] Вскоре ему удалось собрать в Милете пятьдесят новых трирем в дополнение к тем, что остались от Лисандра, и таким образом получить флот в сто сорок парусов. Хиане снабдили его снаряжением из пяти драхм на каждого моряка, что равнялось десятидневному жалованью по обычной ставке, и он отплыл со всем флотом на север, к Лесбосу. Из этого многочисленного флота, самого большого из всех, что были собраны за время войны, только десять трирем были лакедемонскими, [245] в то время как значительная часть и одни из самых хорошо оснащенных были беотийскими и эвбейскими. [246] Во время плавания к Лесбосу Калликратидас, похоже, стал хозяином Фокеи и Кима, [247] возможно, с большей легкостью из-за недавнего жестокого обращения с киммерийцами со стороны Алкивиада. Затем он отплыл, чтобы напасть на Метимну, расположенную на северном побережье Лесбоса; этот город не только был сильно привязан к афинянам, но и защищался афинским гарнизоном. Хотя сначала он был отбит, он возобновил свои атаки, пока в конце концов не взял город штурмом. Все имущество в нем было разграблено солдатами, а рабы собраны и проданы в их пользу. Далее союзники потребовали, согласно обычному *cus tom*, чтобы метимнезийские и афинские пленники также были проданы. Но Калликратидас категорически отказался подчиниться и на следующий день освободил их всех, заявив, что, пока он командует, ни один свободный грек не должен быть обращен в рабство, если он сможет это предотвратить [248].

Никто, кто не знаком с деталями греческой войны, не сможет ощутить все величие и возвышенность этого действия, которое, насколько мне известно, не имеет аналогов в греческой истории. Дело не только в том, что пленников пощадили и освободили; в этом отношении можно найти аналогичные случаи, хотя и не очень частые. Дело в том, что этот конкретный акт великодушия был совершен во имя и ради рекомендации общеэллинского братства и общеэллинской независимости иностранцев: всеобъемлющий принцип, провозглашенный Калликратидом как в предыдущих случаях, так и в этом, но теперь реализованный на практике при ярких обстоятельствах и сопровождаемый четким заявлением о его решимости следовать ему во всех будущих случаях. Наконец, этот шаг был предпринят в ответ на формальное требование союзников, которым он не имел возможности ни платить, ни управлять, и поэтому ему было тем более опасно их обижать. Не может быть никаких сомнений в том, что эти союзники чувствовали себя лично обиженными и возмущенными потерей, а также смущенными предложением столь нового правила долга, касающегося отношений воюющих сторон в Греции; и против этого, добавим мы, их ропот не был бы лишен некоторого основания: "Если *мы* окажемся в плену у Конона, он не станет обращаться с *нами* подобным образом". Взаимность в отношениях абсолютно необходима для постоянного соблюдения моральных норм, как общественных, так и частных; и, несомненно, Калликратидас испытывал обоснованную уверенность в том, что два-три ярких примера разумно изменят будущую практику с обеих сторон. Но кто-то должен начать, подавая такие примеры, и тот, кто начинает - занимая позицию, которая дает разумный шанс, что за ним последуют другие, - и есть герой. Такой адмирал, как Лисандр, не только от души посочувствовал бы жалобам союзников, но и осудил бы это действие как неисполнение долга перед Спартой; даже люди получше Лисандра поначалу отнеслись бы к нему холодно, как к своего рода квиксотизму, сомневаясь, что пример будет скопирован; спартанские же эфоры, хотя, возможно, и терпели бы его, поскольку очень редко вмешивались в дела своих адмиралов на плаву, конечно, мало сочувствовали бы тем чувствам, в которых он зародился. Тем более следует восхищаться Калликратидом, который

принес с собой не только панэллинский патриотизм,[\[249\]](#) редкий в Афинах и Спарте, но и еще более редкую силу индивидуального характера и совести, позволившую ему отважиться на непопулярность и прорваться сквозь рутину в попытке сделать этот патриотизм плодотворным и действенным на практике. В его карьере, столь печально и преждевременно завершившейся, было по крайней мере одно обстоятельство, которому можно позавидовать: взятие Метимны предоставило ему возможность, которой он с жадностью воспользовался, словно знал, что она будет последней, воплотить в жизнь и доказать все чаяния своей великодушной души.

Калликратидас послал Конону весть об освобожденных пленниках, что он в ближайшее время положит конец своему прелюбодейному сношению с морем,[\[250\]](#) которое он теперь считал своей женой и законно принадлежащим ему, имея сто сорок трирем против семидесяти трирем Конона. Этот адмирал, несмотря на меньшую численность, подошел к Метимне, чтобы попытаться ее освободить, но, обнаружив, что место уже захвачено, отступил к островам, называемым Гекатоннесои, у континента, идущего к северо-востоку от Лесбоса. За ним последовал Калликратидас, который, покинув Метимну ночью, обнаружил его отплытие с рассветом и немедленно пустил все паруса, чтобы попытаться отрезать его от южного курса на Самос. Но Конон, уменьшив число своих трирем со ста до семидесяти, сумел сохранить всех лучших гребцов, так что по скорости он обогнал Калликратиду и первым вошел в гавань Митилены. Однако его преследователи не отставали и даже вошли в гавань вместе с ним, прежде чем ее успели закрыть и привести в состояние обороны. Принужденный сражаться у входа в гавань, он потерпел полное поражение; тридцать его кораблей были захвачены, хотя экипажи спаслись на суше; остальные сорок он сохранил, лишь вытащив их на берег под стеной[\[251\]](#).

Город Митилен, первоначально основанный на небольшом островке у острова Лесбос, впоследствии протянулся через узкий пролив к самому Лесбосу. Этим проливом, переброшенным или нет, город был разделен на две части и имел две гавани, одна из которых открывалась на север к Геллеспонту, другая - на юг к мысу Кане на материке. [252\]](#) Обе эти гавани не защищались, и теперь обе оказались в руках пелопоннесского флота; по крайней мере вся внешняя часть каждой из них, близ выхода из гавани, которую Калликратидас держал под строгим наблюдением. В то же время он послал за всеми силами Метимны и за гоплитами из Хиоса, чтобы блокировать Митилену как на суше, так и на море. Как только стало известно о его успехе, Кир немедленно прислал ему деньги на флот, а также отдельные подарки для себя, от которых он отказался,[\[253\]](#) так что дальнейшие его действия стали легкими.

В Митилене не было сделано никаких приготовлений к осаде: не было накоплено никаких запасов провизии, а толпа в стенах была так велика, что Конон слишком ясно предвидел скорое истощение своих средств. Он не мог ожидать помощи от Афин, если только не пошлет туда сведения о своем состоянии; а поскольку он не мог этого сделать, афиняне оставались в полном неведении. Потребовалась вся его изобретательность, чтобы безопасно вывести трирему из гавани перед лицом вражеской стражи. Поставив на воду две триремы, лучшие парусники в своем флоте, и отобрав для них лучших гребцов из всех остальных, он заставил этих гребцов подняться на борт до рассвета, спрятав эпибатов, или морских солдат, во внутренних помещениях судна, вместо палубы, где они обычно находились, с умеренным запасом провизии, и держа судно еще покрытым шкурами или парусами, как было принято на судах, вытасканных на берег, чтобы защитить их от солнца.[\[254\]](#) Таким образом, эти две триремы были готовы к отплытию в любой момент, не давая врагу никаких указаний на то, что это так. Они были полностью укомплектованы еще до

рассвета, экипажи оставались на своих позициях весь день, а после наступления темноты выводились на отдых. Так продолжалось четыре дня подряд, не было ни одного благоприятного случая, чтобы дать сигнал к старту. Наконец, на пятый день, около полудня, когда многие из пелопоннесцев сошли на берег для утренней трапезы, а другие отдыхали, момент показался благоприятным, был дан сигнал, и обе триремы стартовали в тот же миг с максимальной скоростью; одна должна была выйти южным входом в море, между Лесбосом и Хиосом, другая - северным входом в Геллеспонт. Мгновенно среди пелопоннесского флота поднялась тревога: тросы были перерезаны, люди поспешно поднялись на борт, и множество трирем пришло в движение, чтобы догнать двух беглецов. Та, что отплыла на юг, несмотря на все усилия, была поймана ближе к вечеру и возвращена со всем экипажем в плен: та, что направилась к Геллеспонту, спаслась, обогнула северное побережье Лесбоса и благополучно добралась с вестью до Афин; по пути она, похоже, послала сведения афинскому адмиралу Диомедону на Самос.

Тот немедленно поспешил на помощь Конону с небольшими силами, которых у него было не более двенадцати трирем. Поскольку обе гавани охранялись превосходящими силами, он попытался пробраться в Митилену через Эврип, пролив, который открывается на южном побережье острова во внутреннее озеро или залив, подходящий к городу. Но тут на него внезапно напал Калликратид и захватил всю его эскадру, кроме двух трирем, своей и другой; сам он с большим трудом спасся[255].

Все Афины были в смятении при известии о поражении Конона и блокаде Митилены. Вся сила и энергия города была брошена на его спасение, причем усилия превосходили все, что было сделано за всю войну. Мы с удивлением читаем, что в течение тридцати дней из Пирея был отправлен флот, состоящий не менее чем из ста десяти трирем. Для формирования хорошего экипажа были взяты все мужчины в возрасте и силе, способные служить, без различия; не только свободные, но и рабы, которым в награду было обещано отпущение на волю; многие всадники, или рыцари,[256] и граждане высшего ранга отправились на борт в качестве *epibatae*, повесив свои уздечки, как Кимон перед битвой при Саламине. На самом деле сбор был таким же демократичным и уравнительным, как и в тот памятный случай. Флот направился прямо на Самос, куда, несомненно, был послан приказ собрать все триремы, которые союзники могли предоставить в качестве подкрепления, а также всех разрозненных афинян. Таким образом, было собрано еще сорок трирем, десять из которых были саамскими, и весь флот, сто пятьдесят парусов, отправился с Самоса к маленьким островкам Аргинусæ, расположенным недалеко от материка, напротив Малеи, юго-восточного мыса Лесбоса.

Калликратидас, узнав о приближении нового флота, когда тот еще находился на Самосе, отозвал большую часть своих сил из Митиленки, оставив пятьдесят трирем под командованием Этеоника для продолжения блокады. Меньше пятидесяти, вероятно, было бы недостаточно, так как нужно было следить за двумя гаванями; но таким образом он был вынужден встретить афинский флот с меньшим числом - сто двадцать трирем против ста пятидесяти. Его флот находился у мыса Малея, где экипажи ужинали, в тот же вечер, когда афиняне ужинали на противоположных островах Аргинусæ. По его замыслу, он должен был ночью переплыть промежуточный канал и утром напасть на афинян, пока они не подготовились; но сильный ветер и дождь заставили его отложить все действия до рассвета. На следующее утро обе стороны приготовились к величайшему морскому сражению, которое происходило за всю войну. Его лоцман, мегарянин Гермон, посоветовал Калликратиду пока удалиться без боя, так как афинский флот имел над ним преимущество в

тридцать трирем. Он ответил, что бегство позорно и что Спарте не будет хуже, даже если он погибнет. [257] Этот ответ соответствовал его рыцарской натуре; и мы можем предположить, что, будучи последние два или три месяца владыкой и хозяином моря, он вспомнил свое надменное послание Конону и счел бесчестным навлечь на себя или заслужить, отступая, подобную насмешку в свой адрес. Следует также отметить, что неравенство в численности, хотя и серьезное, ни в коем случае не делало поединок безнадежным и не служило законным основанием для отступления для того, кто гордился полным спартанским мужеством.

Афинский флот был построен таким образом, что вся его мощь была сосредоточена в двух крыльях, в каждом из которых было по шестьдесят афинских кораблей, разделенных на четыре равные дивизии, каждой из которых командовал генерал. Из четырех эскадр по пятнадцать кораблей в каждой, две были поставлены впереди, две - для поддержки в тылу. Аристократ и Диомедон командовали двумя передними эскадрами левого дивизиона, Периклес и Эрасинид - двумя эскадрами в тылу: в правом дивизионе Протомах и Фрасилл командовали двумя передними, Лисий и Аристогенес - двумя в тылу. Центр, где находились саамийцы и другие союзники, был оставлен слабым, и все шли в одной линии: он, по-видимому, находился точно перед одним из островов Аргинусæ, в то время как два других подразделения были справа и слева от этого острова. Мы с некоторым удивлением читаем, что весь лакедемонский флот был организован из одиночных кораблей, потому что он лучше плавал и лучше маневрировал, чем афиняне; которые сформировали свои правые и левые дивизии в глубоком порядке, с явной целью помешать врагу выполнять морские маневры *diekplus* и *periplus*. [258] Похоже, что афинский центр, опирающийся на сушу непосредственно в тылу, должен был быть лучше защищен от врага, "проплывающего сквозь линию в тыл и плывущего вокруг", чем другие подразделения, находившиеся в открытых водах; по этой причине он был оставлен слабым, с кораблями в одной линии. Но больше всего нас поражает тот факт, что если мы вернемся к началу войны, то обнаружим, что эти *diekplus* и *periplus* были особыми маневрами афинского флота и оставались таковыми вплоть до осады Сиракуз; лакедемоняне сначала были совершенно неспособны их выполнять и долгое время продолжали выполнять их гораздо менее умело, чем афиняне. Теперь сравнительная ценность обеих сторон изменилась: превосходство в морском мастерстве перешло к пелопоннесцам и их союзникам: меры предосторожности, с помощью которых это превосходство нейтрализуется или обходится, афиняне вынуждены принимать как необходимость. Как был бы поражен афинский адмирал Формион, если бы мог наблюдать за флотами и порядком боя при Аргинусе!

Сам Калликратид с десятью лакедемонскими кораблями находился справа от своего флота, слева - беотийцы и эвбейцы под командованием беотийского адмирала Фрасондаса. Битва была долгой и упорной: сначала оба флота шли в прежнем порядке, затем, когда весь порядок был нарушен, разрозненные корабли смешались вместе и сражались в одиночку. В конце концов храбрый Калликратидас погиб. Его корабль столкнулся с кораблем противника, а сам он, вероятно, подобно Брасидасу [259] в Пилосе, расположился на форштевне, чтобы первым взять врага на abordаж или помешать ему, когда удар, вызванный столкновением, сбил его с ног, так что он упал за борт и утонул. [260] Несмотря на уныние, вызванное его смертью, десять лакедемонских трирем проявили мужество, достойное его, и девять из них были уничтожены или разбиты. В конце концов афиняне одержали победу во всех частях: пелопоннесский флот сдался, и они обратились в бегство, частично на Хиос, частично в Фокею. Более шестидесяти их кораблей было уничтожено сверх девяти лакедемонских, всего семьдесят семь; общие потери составили более половины всего флота. Потери афинян

также были серьезными и составили двадцать пять трирем. После битвы они вернулись в Аргинусе[261].

Победа при Аргинусе стала самым ярким доказательством того, что демократическая энергия Афин еще способна на многое, несмотря на долгие годы изнурительной войны. Но было бы гораздо лучше, если бы ее энергия по этому случаю оказалась менее действенной и успешной. Поражение пелопоннесского флота и смерть его замечательного предводителя - второе мы должны рассматривать как неотделимое от первого, поскольку Калликратидас не был человеком, способным пережить поражение, - стали серьезными несчастьями для всего греческого мира, и в особенности - для самих Афин. Если бы Калликратид одержал победу и выстоял, он, несомненно, стал бы тем человеком, который завершил бы Пелопоннесскую войну; ведь Митилен должен был немедленно сдаться, а Конон со всем афинским флотом, который там заблокирован, должен был стать его пленником; это обстоятельство, наступившее на фоне поражения, сделало бы Афины склонными согласиться на любые сносные условия мира. А если бы условия были продиктованы в момент, когда ее могущество не было полностью подорвано, таким человеком, как Калликратидас, свободным от развращенных личных амбиций и обладающим великодушным панэллинским патриотизмом, это была бы лучшая участь, которая могла постигнуть ее в этот момент; В то время как для греческого мира в целом было бы невыразимым благом, если бы в реорганизации, которой он должен был подвергнуться по окончании войны, восходящая личность момента была проникнута преданностью великим идеям эллинского братства дома и эллинской независимости от иностранцев. Ближайшая перспектива такого блага была открыта тем редким случаем, который бросил Калликратидаса в командование, позволил ему не только опубликовать свое возвышенное исповедание веры, но и показать, что он готов действовать в соответствии с ним, и на какое-то время поплавок привел его к полному успеху. Завистливые боги никогда не были более завистливыми, чем когда они сорвали катастрофой в Аргинусе то завершение, которое они, казалось, обещали. Уместность этих замечаний будет лучше понятна в [следующей главе](#), когда я расскажу о фактическом завершении Пелопоннесской войны под эгидой никчемного, но способного Лисандра. Именно в его руки было передано командование, причем почти от лучших греков к худшим. Мы увидим, насколько страдания греческого мира, и особенно Афин, были усугублены его индивидуальным характером и наклонностями, и почувствуем по контрасту, как много можно было бы выиграть, если бы полководец, вооруженный такой огромной властью диктатора, был общеэллинским патриотом. Если бы в момент разрыва и перестройки во всей Греции победоносный вождь, с искренней честностью и решимостью, навязывал чувства этого патриотизма всем лучшим чувствам греческого ума, то это было бы таким стимулом, какого не могло бы дать никакое другое стечение обстоятельств. Таким образом, поражение и смерть Калликратиды были еще более прискорбной потерей для Афин и Греции, чем для самой Спарты. Его возвышенному характеру и патриотизму, даже в столь короткой карьере, мы тщетно ищем параллель.

Весть о поражении была быстро передана Этеонику в Митилене с сигнальной лодки адмирала. Как только он услышал ее, он приказал команде сигнальной лодки никому ничего не говорить, но снова выйти из гавани, а затем вернуться с венками и криками триумфа, возглашая, что Калликратидас одержал победу и уничтожил или захватил все афинские корабли. Таким образом, от Конона и осажденных скрыли все подозрения в действительности, а сам Этеоник, поверив в новость, принес жертву благодарения, но отдал приказ всем триерам, не теряя ни минуты, принять пищу и после этого отплыть, приказав хозяевам торговых кораблей также молча положить свое имущество на борт и в то же время отплыть. И вот, почти без задержки и без малейшего препятствия со стороны Конона, все эти

корабли, и триремы, и торговые суда, вышли из гавани и благополучно отплыли на Хиос, благо ветер был попутный. Этеоник в то же время отвел свои сухопутные войска в Метимну, сжег его лагерь. Конон, неожиданно оказавшись на свободе, вышел в море со своими кораблями, когда ветер утих, и присоединился к основному афинскому флоту, который, как он обнаружил, уже направлялся из Аргинусе в Митиленку. Вскоре они подошли к Митилену и оттуда перешли в наступление на Хиос; это наступление оказалось безуспешным, и они направились к своей обычной стоянке на Самосе[262].

Весть о победе при Аргинусе вызвала в Афинах радость и триумф. Все рабы, служившие в армии, были отпущены на волю и, согласно обещанию, получили в Афинах права платейцев - квалифицированный вид гражданства. Однако радость была отравлена другим инцидентом, который стал известен в то же время, вызвал чувства совершенно противоположного характера и закончился одним из самых мрачных и позорных разбирательств во всей афинской истории.

Не только тела убитых воинов, плававших по воде, не были подобраны для погребения, но и сами затонувшие корабли не были посещены для спасения тех, кто еще оставался в живых. Первого из этих двух пунктов, даже в одиночку, было бы достаточно, чтобы вызвать в Афинах болезненное чувство уязвленного благочестия. Но второй пункт, являющийся неотъемлемой частью того же упущения, вызвал в Афинах чувство стыда, скорби и негодования самого резкого характера.

В описании этого события Диодор и многие другие авторы обращают внимание исключительно на первый пункт,[263] или, по крайней мере, незначительно на второй; последний, тем не менее, является самым серьезным в оценке любого беспристрастного критика, а также самым сильным по своему воздействию на чувства афинян. Двадцать пять афинских трирем были разрушены вместе с большинством их экипажей, то есть лежали на кренах или были выведены из строя, с разрушенными веслами, без мачт и каких-либо средств передвижения; просто корпуса, частично разбитые ударом вражеского корабля, и постепенно заполнялись и тонули. Первоначальный экипаж каждого из них составлял двести человек. Поле битвы, если можно так назвать морское пространство, было усеяно этими обломками; оставшиеся на борту люди были беспомощны и не могли выбраться, так как древние триремы не имели ни лодки, ни каких-либо приспособлений для спасения. Кроме того, на борту плавали люди, упавшие за борт или пытавшиеся спасти свои жизни с помощью зубных лонжеронов или пустых бочек. Одной из привилегий морской победы было то, что сторона, одержавшая ее, могла проплыть над полем боя и таким образом помочь своим беспомощным или раненым товарищам на борту поврежденных кораблей,[264] взяв в плен, а иногда и убив соответствующих лиц, принадлежащих врагу. Согласно даже речи, произнесенной после этого в афинском общественном собрании Эвриптолемом, защитником обвиняемых генералов, на борту двенадцати трирем с экипажами, лежавшими в описанном состоянии. Это признание защиты и, следовательно, минимум реальности: не исключено, что их было меньше, но, вероятно, их было несколько больше из всех двадцати пяти, указанных Ксенофонтом.[265] Не предприняв никаких мер для их сохранения, оставшаяся в живых часть этих экипажей, как раненых, так и не раненых, была оставлена на постепенное утопление по мере того, как каждый из выведенных из строя кораблей шел ко дну. Если кому-то из них и удавалось спастись, то только благодаря необычайной ловкости плавания, нахождению удачной доски или лонжерона, во всяком случае, благодаря позору, связанному с выбрасыванием оружия, и еще каким-то способом, который не смог бы применить ни один раненый человек.

В первом письме генералов, сообщавшем о победе, одновременно говорилось о потерях, понесенных при ее достижении. В нем, несомненно, сообщалось о том, что, как мы читаем у Ксенофонта, двадцать пять афинских трирем были потеряны почти со всеми экипажами; мы можем быть уверены, что в нем указывалось название каждой триремы, которая погибла; ведь каждая трирема в афинском флоте, как и современные корабли, имела свое имя.^[266] В то же время в нем упоминалось, что победители не предприняли никаких мер, чтобы спасти своих раненых и тонущих товарищей на борту тонущих кораблей. По этой причине поднялся шторм, причем такой сильный, что любое вмешательство стало совершенно неосуществимым^[267].

В греческой истории так принято считать афинский народ детьми или безумцами, чьи чувства не стоит пытаться объяснить, что я вынужден изложить эти обстоятельства несколько подробнее, чтобы показать, что смешанные чувства, вызванные в Афинах известием о битве при Аргинусе, были совершенно естественны и оправданны. Наряду с радостью по поводу победы, в них смешались ужас и раскаяние от того, что столько храбрецов, которые помогли одержать ее, остались без помощи. Друзья и родственники экипажей погибших трирем были, конечно, первыми в выражении таких возмущенных эмоций. Повествование Ксенофонта, скудное и путаное, а также несправедливое, представляет эти эмоции как нечто беспричинное, надуманное, нагнетаемое из постоянного раздражения толпы искусством Фераменеса, Калликсена и некоторых других. Но что бы ни было сделано этими людьми для усиления общественного возбуждения или извращения его в дурных целях, само возбуждение, несомненно, было спонтанным, неизбежным и вполне оправданным. Сама мысль о том, что столько храбрых соратников по победе остались тонуть на тонущих кораблях, без каких-либо усилий со стороны их генералов и товарищей, находившихся рядом, чтобы спасти их, была достаточна, чтобы возбудить все чувства, как общественные, так и частные, самого пассивного характера, даже у граждан, не состоявших в родстве с погибшими, а тем более у тех, кто состоял в родстве с ними. Ожидать, что афиняне будут настолько поглощены восторгом победы и благодарностью к полководцам, которые командовали, чтобы не заметить такого дезертирства погибающих воинов и такого упущения сочувственного долга, по моему мнению, совершенно нелепо; и если бы это было правдой, то только утвердило бы еще один порок в афинском народе, помимо тех, которые у него действительно были, и многих других, которыми его несправедливо заклеили.

В своем открытом письме генералы объяснили свое бездействие тем, что сила бури была слишком велика, чтобы позволить им двигаться. Во-первых, так ли это на самом деле? Далее, было ли время выполнить долг или хотя бы попытаться его выполнить, прежде чем шторм стал таким невыносимым? Эти вопросы требовали изучения. Генералы, удостоившись благодарности за победу, были отправлены в отставку и получили приказ возвращаться домой; все, кроме Конона, который был блокирован в Митилене, не имели отношения к этому вопросу. Два новых соратника, Филоклес и Адеймант, были назначены отправиться вместе с ним.^[268] Генералы, вероятно, получили уведомление о своем повторном вызове на Самос и в результате вернулись домой, достигнув Афин, по-видимому, в конце сентября или начале октября, поскольку битва при Аргинусе произошла в августе 406 г. до н. э. Однако двое из полководцев, Протомах и Аристокленес, отказались приехать: предупрежденные о недовольстве народа и не доверяя своему делу, они предпочли заплатить цену добровольного изгнания. Остальные шестеро, Периклес, Лисий, Диомедон, Эрасинидес, Аристократес и Фрасилл, - Архестрат, один из первоначальных десяти, умер в Митилене,^[269] - прибыли без двух своих коллег; это было неприятным предзнаменованием.

По их прибытии Архедемос, в то время популярный оратор и занимавший какую-то магистратуру или высокий пост, который мы не можем точно определить,^[270] наложил на Эрасинидеса штраф в том ограниченном размере, который был в компетенции магистратов без санкции дикастерия, и обвинил его перед дикастерием; частично за общие проступки в его командовании, частично по конкретному обвинению в краже некоторых государственных денег по пути из Геллеспонта. Эрасинидес был признан виновным и приговорен к тюремному заключению либо до тех пор, пока деньги не будут возвращены, либо до тех пор, пока не будет проведено дополнительное расследование других предполагаемых проступков.

Этот суд над Эрасинидесом состоялся до того, как генералы были вызваны в сенат, чтобы дать официальное объяснение по поводу недавней битвы и последующего пренебрежения к утопающим. И может показаться, что Архедемос хотел возложить вину за это пренебрежение исключительно на Эрасинидеса, а не на других полководцев; такое различие, как выяснится в дальнейшем, не совсем безосновательно. Однако если у него и был какой-то подобный замысел, то он не удался. Когда генералы отправились объяснять свое дело в сенат, решение этого органа было решительно неблагоприятным для всех них, хотя у нас нет никаких сведений о прошедших дебатах. По предложению сенатора Тимократеса^[271] было принято постановление о том, чтобы остальные пять присутствовавших генералов, а также Эрасинид, были взяты под стражу и переданы для рассмотрения дела в общественное собрание^[272].

Общественное собрание было созвано, и генералы предстали перед ним. Здесь нам сообщают, кто выступил в качестве главного обвинителя вместе с несколькими другими, хотя, к сожалению, нам остается только догадываться, на каких темах они настаивали. Тераменес был человеком, который наиболее резко осудил их как виновных в том, что они оставили экипажи вышедших из строя трирем тонуть и пренебрегли всеми усилиями по их спасению. Он ссылаясь на их собственное открытое письмо к народу, официально сообщавшее о победе; в этом письме они не упомянули ни о том, что назначили кого-либо для выполнения этой обязанности, ни о том, что кто-то виноват в ее невыполнении. Таким образом, это упущение было полностью их собственным: они могли бы выполнить его и должны были быть наказаны за столь жестокое нарушение долга.

У генералов не могло быть более грозного врага, чем Тераменес. Мы имели случай следить за ним во время революции. Четырехсот как за дальновидным, а также изворотливым политиком: с тех пор он занимал высокое военное положение, участвовал в победах с Алкивиадом при Кизикусе и в других местах; он служил триерархом во время самой победы при Аргинусе. Поэтому его авторитет, естественно, был высок и говорил о многом, когда он отрицал оправдание, которое генералы приводили, основываясь на силе бури. По его словам, они могли подобрать утопающих и должны были это сделать: либо они могли это сделать до наступления бури, либо буря никогда не была достаточно сильной, чтобы помешать им: на их головы легла ответственность за бездействие.^[273] Ксенофонт в своем очень скудном повествовании не говорит нам прямо, что Тераменес противоречил генералам по поводу бури. Но то, что он действительно противоречил им, прямо подразумевается в том, что, как утверждает Ксенофонт, он сказал. Похоже также, что Фрасибул - другой триерарх в Аргинусе, человек не только столь же значимый, но и гораздо более достойный, - согласился с Тераменесом в этом же обвинении генералов,^[274] хотя и не выступал так ярко в этом деле. Поэтому он тоже должен был отрицать реальность бури; или, по крайней мере, тот факт, что она была настолько мгновенной после битвы или настолько ужасной, что не позволяла предпринять никаких усилий для спасения этих тонущих моряков.

Дело генералов, как оно предстало перед афинской публикой, полностью изменилось, когда такие люди, как Фераменес и Фрасибул, выступили в качестве их обвинителей. Несомненно, то, что было сказано этими двумя, было сказано и другими, в сенате и в других местах; но теперь это было публично выдвинуто людьми, имеющими влияние и прекрасно осведомленными о факте. Таким образом, мы можем косвенно понять то, что Ксенофонт, тщательно скрывая дело против генералов, не доносит напрямую: хотя генералы утверждали, что буря была, были и другие присутствующие, которые отрицали ее, тем самым ставя под сомнение факт, который составлял их одиночное оправдание. Более того, после ответа генералов на публичном собрании Фераменесу и Фрасибулу мы приходим к новому моменту в деле, о котором Ксенофонт сообщает как бы косвенно, в той путаной манере, которая пронизывает все его повествование об этой операции. Однако это новый момент, чрезвычайно важный. Генералы ответили, что если кто и виноват в том, что не подобрал утопающих, так это сами Фераменес и Фрасибул; ведь именно им, вместе с другими триерархами и сорока восемью триерами, генералы прямо поручили выполнение этой обязанности; именно они, а не генералы, ответственны за ее невыполнение. Тем не менее они, генералы, не предъявили никаких обвинений Фераменесу и Фрасибулу, прекрасно понимая, что буря сделала исполнение этой обязанности совершенно невозможным и что это было полным оправданием как для одного, так и для другого. Они, генералы, по крайней мере, не могли сделать ничего другого, кроме как поручить компетентным людям, таким как эти два триерарха, выполнить эту задачу и выделить им соответствующую эскадру для этой цели; в то время как сами они с главным флотом отправились атаковать Этеоник и освободить Митиленку. Диомедон, один из них, пожелал после битвы использовать все корабли флота для спасения утопающих, не думая ни о чем другом, пока это не будет сделано. Эрасинидес, напротив, пожелал, чтобы весь флот сразу же двинулся против Митилены; Фрасилл же сказал, что у них достаточно кораблей, чтобы сделать и то, и другое сразу. Поэтому было решено, что каждый генерал должен выделить из своей дивизии три корабля, чтобы составить эскадру из сорока восьми кораблей под командованием Фрасибула и Фераменеса. Делая эти заявления, генералы приводили в качестве свидетелей в подтверждение своих слов лоцманов и других людей, участвовавших в сражении.

Таким образом, в ходе этих дебатов перед собранием были публично подняты два новых и важных вопроса. Во-первых, Фераменес и Фрасибул осудили генералов как виновных в смерти этих пренебрегаемых людей; во-вторых, генералы утверждали, что они сами возложили эту обязанность на Фераменеса и Фрасибула. Если это действительно так, то почему генералы в своей официальной депеше, отправленной домой, ничего не сказали об этом? Эвриптолем, защитник генералов, выступая на следующей стадии процесса, хотя мы не можем сомневаться, что те же темы поднимались и на этом собрании, обвиняя генералов в таком упущении, приписывал его неуместному добродушию с их стороны и нежеланию подвергать Фераменеса и Фрасибула неудовольствию народа. Большинство генералов, по его словам, были готовы упомянуть об этом факте в своих официальных депешах, но их отговорили Периклес и Диомедон; по его мнению, это был несчастный отказ, на который Фераменес и Фрасибул неблагодарно ответили, обернувшись и обвинив их всех[275].

Это замечательное заявление Эвриптолема о намерениях генералов при составлении официальной депешы подводит нас к более подробному рассмотрению того, что действительно произошло между ними, с одной стороны, и Фераменесом и Фрасибулом - с другой; что трудно определить четко, но что Диодор представляет в манере, полностью отличающейся от Ксенофонта. Диодор утверждает, что генералам помешала частично буря, частично усталость, нежелание и тревога их собственных моряков предпринять какие-либо шаги, чтобы забрать, как он говорит, мертвые тела для погребения; что они подозревали

Фераменеса и Фрасибула, которые отправились в Афины раньше них, в намерении обвинить их перед народом, и что по этой причине они послали домой уведомление народу, что они дали особый приказ этим двум триерархам выполнить эту обязанность. Диодор говорит, что когда эти письма были прочитаны в общественном собрании, афиняне были чрезмерно возмущены против Фераменеса, который, однако, эффективно и полностью защищал себя, перекладывая вину на генералов. Таким образом, он был вынужден против своей воли и в порядке самозащиты стать обвинителем генералов, прихватив с собой своих многочисленных друзей и сторонников в Афинах. Таким образом, полководцы, пытаясь погубить Тераменеса, в конце концов навлекли на себя осуждение[276].

Таков рассказ Диодора, в котором подразумевается, что на самом деле генералы никогда не отдавали никаких особых приказов Фераменесу и Фрасибулу, но впоследствии ложно утверждали, что сделали это, чтобы дискредитировать обвинение Фераменеса против себя. В определенной степени это совпадает с тем, что утверждал сам Фераменес через два года после этого, защищаясь перед Тридцатью, что не он первым обвинил генералов, а они его; утверждая, что они приказали ему взять на себя эту обязанность и что не было достаточной причины препятствовать ее выполнению; Именно они однозначно заявили, что исполнение этой обязанности возможно, в то время как он с самого начала говорил, что сила бури такова, что не позволяет даже двигаться в воде, а тем более спасать утопающих.[277]

Принимая рассказы Ксенофонта и Диодора вместе, в сочетании с последующими обвинениями и защитой Фераменеса во время Тридцати, и смешивая их так, чтобы отвергнуть как можно меньше одного из них, я считаю вероятным, что приказ подобрать подвергшихся опасности людей был действительно отдан генералами Фераменесу, Фрасибулу и другим триерархам; Но, что, во-первых, между завершением битвы и отдачей такого приказа прошел роковой промежуток времени; во-вторых, что сорок восемь трирем, о которых говорили для этой службы и которые предлагалось предоставить путем призыва трех человек из каждой дивизии генерала, вероятно, так и не были собраны; или, если они собрались, то были настолько не ревностны в этом деле, что легко удовлетворились тем, что буря слишком опасна, чтобы отважиться, и что теперь уже слишком поздно. Ибо, читая версию этой операции, даже в изложении Эвритолема, мы ясно видим, что никто из генералов, кроме Диомедона, не стремился к выполнению задания. Примечательно, что из всех восьми генералов ни один не взялся за дело лично, хотя его целью было спасти от смерти более тысячи тонущих товарищей.[278] В процессе, когда каждый интервал даже в пять минут был драгоценен, они приступили к работе самым усердным образом, постановив, что каждый генерал должен предоставить три корабля, и не более, от своей дивизии. Из рассказа Ксенофонта мы знаем, что к концу битвы корабли с обеих сторон были сильно разбросаны. [279] Поэтому такое коллективное распоряжение не было бы быстро выполнено; и пока все восемь фракций не были объединены вместе с саамийцами и другими, чтобы сделать силу полной, Тераменес не почувствовал бы себя обязанным отправиться на свой охраняемый визит. Ему, несомненно, не нравилась эта служба, как, как мы видим, и большинству генералов; экипажи же, только что вышедшие на сушу после победы, больше всего думали об отдыхе, освежении и взаимных поздравлениях.[280] Все были рады найти какой-нибудь предлог, чтобы остаться на стоянке, а не выходить снова на шутку, которая, несомненно, была неблагоприятной погодой. Отчасти из-за этого недостатка усердия, в дополнение к первоначальной задержке, отчасти из-за плохой погоды, долг остался невыполненным, и моряки на борту поврежденных кораблей были оставлены погибать без посторонней помощи.

Но вскоре возник щекотливый, но неизбежный вопрос: "Как мы объясним упущение этой священной обязанности в нашем официальном послании к афинскому народу?" Здесь, как утверждает Эвритолем, генералы разошлись во мнениях: Периклес и Диомедон, вопреки мнению своих коллег, добились того, чтобы в официальной депеше, которая обязательно должна быть согласована со всеми, ничего не говорилось о передаче полномочий Фераменесу и другим; все упущение было отнесено на счет ужасов бури. Но хотя официальное сообщение было именно таким, ничто не мешало генералам писать домой и индивидуально общаться со своими друзьями в Афинах, как каждый считал нужным; и в этих неофициальных сообщениях, как от них, так и от других, кто отправился домой после вооружения, - сообщениях, не менее эффективных, чем официальные депеши, в определении тона общественного чувства в Афинах, - они не скрывали своего убеждения, что вина за невыполнение долга принадлежит Фераменесу. Имея такого человека, как Тераменес, на которого можно было свалить вину, они не стали продолжать рассказ о невыносимой буре, а намекнули, что ничто не мешало ему исполнить долг, если бы он решил. Именно их он обвиняет в том, что они выдвинули против него обвинения, чтобы выставить его виновным перед афинским обществом: именно это заставило его в отместку и в целях самозащиты яростно и беспринципно обличать их как лиц, действительно виновных в случившемся.^[281] Как они облегчили эту предполагаемую бурю, свалив вину на него, так и он снова облегчил ее и рассматривал как недостаточное оправдание в своих доносах на них; позаботившись о том, чтобы хорошо использовать их официальную депешу, которая фактически освобождала его, своим молчанием, от всякого беспокойства в этом вопросе.

Таковы, по моему мнению, отношения между генералами, с одной стороны, и Тераменесом - с другой, учитывая все, что говорится как у Ксенофонта, так и у Диодора. Но сравнительный анализ обвинений и обвинений между этими двумя сторонами не является самой важной особенностью дела. По-настоящему серьезным вопросом является интенсивность или мгновенность шторма. Действительно ли он был настолько мгновенным и опасным, что обязанность посетить затонувшие корабли не могла быть выполнена ни до того, как корабли вернулись в Аргинусес, ни после этого? Если взять обстоятельства дела и применить их к привычкам и чувствам английского флота, если представить, что более тысячи моряков, товарищей по победе, распределены между двадцатью поврежденными и беспомощными корпусами, ожидая момента, когда эти корпуса наполнятся водой и обрекут их всех на гибель, Должно быть, это был действительно страшный шторм, который заставил бы английского адмирала даже вернуться к своим причалам, оставив этих людей в таком незащитном состоянии, или который удержал бы его, если бы он был у своих причалов, от того, чтобы послать самые первые и ближайшие корабли, чтобы спасти их. И если бы опасность была такова, что он не решался отдать приказ, там, вероятно, нашлись бы офицеры и люди, готовые добровольно, с самым отчаянным риском, участвовать в деле, столь глубоко тронувшем все их лучшие симпатии. И вот, к несчастью для характера афинских генералов, офицеров и людей на Аргинусе, - ибо вина принадлежит, хотя и в неравных пропорциях, всем им, - здесь имеется убедительное доказательство того, что буря по этому случаю была не такой, которая могла бы удержать греческих моряков, одушевленных искренним и мужественным чувством долга. Нам остается только рассказать о поведении и бегстве Этеоника и пелопоннесского флота из Митилены на Хиос; вспомним, что Митилена была отделена от мыса Кане на Азиатском материке и от Аргинусских островов каналом шириной всего в сто двадцать стадий, то есть около четырнадцати английских миль. Этеоник, узнав о поражении от пелопоннесской официальной сигнальной лодки, приказал ей выйти из гавани, а затем снова войти в нее с обманчивым ложным известием, что пелопоннессцы одержали полную победу; затем он велел своим морякам, приняв ужин, немедленно отплыть, а хозяевам торговых судов молча положить грузы на борт и также выйти

в море. Таким образом, весь флот - и триремы, и торговые суда - вышел из гавани Митилены и направился прямо к Хиосу, куда и прибыл в безопасности; торговые суда несли паруса и имели то, что Ксенофонт называет "попутным ветром"[283]. Вряд ли все это могло произойти, если бы в это время между Митиленой и Аргинусеем дул невыносимый шторм. Если погода была такова, что позволила Этеонику и всему его флоту безопасно пройти от Митилены до Хиоса, то она не была такой, чтобы создать законное препятствие, способное удержать любого великодушного афинского моряка, тем более ответственного офицера, от спасения своих товарищей, оказавшихся на затонувших кораблях близ Аргинусæ. И уж тем более оно не должно было помешать попытке спасти их, даже если бы эта попытка оказалась безуспешной. И здесь тяжесть греха состоит в том, что мы бездействовали, пока храбрецы на затонувших кораблях были оставлены на верную гибель. Все эти рассуждения также предполагают, что флот уже вернулся к своим причалам в Аргинусе, обсуждая только то, что было практически возможно сделать после этого момента, и оставляя нетронутым не менее важный вопрос, почему утопающие не были подобраны до того, как флот отправился обратно.

Я счел нужным остановиться на этих соображениях, необходимых для справедливой оценки этого памятного события, чтобы читатель мог понять чувства собрания и афинской публики, когда перед ними стояли генералы, опровергавшие обвинения Фераменеса и в свою очередь обвинявшие его. Перед собранием стоял серьезный и прискорбный факт, что несколько сотен храбрых моряков утонули на затонувших кораблях без малейшей попытки их спасти. Для объяснения этого факта у них не было не только ни одного обоснования, одновременно неоспоримого и удовлетворительного, но даже ни одного прямого, последовательного и неопровержимого изложения фактов. Были расхождения между самими генералами, сопоставляя их официальные и неофициальные, а также настоящие заявления, и противоречия между ними и Фераменесом, каждый из которых отрицал достаточность штурма в качестве оправдания за пренебрежение, вменяемое другому. При таком изложении дела было невозможно, чтобы собравшиеся оправдали генералов; они также не могли понять, как распределить вину между ними и Фераменесом. Родственники оставшихся в живых людей, несомненно, были бы в состоянии яростной обиды на одного или другого из них, а возможно, и на обоих. При таких обстоятельствах вряд ли достаточность их защиты - скорее, очевидная щедрость их поведения по отношению к Тераменесу, когда они официально отказались от всех обвинений в пренебрежении к нему, хотя он выдвинул против них жестокое обвинение, - привела к результату, о котором мы читаем у Ксенофонта. Защита генералов была выслушана благосклонно и, казалось, одержала бы верх над большинством.[284] Многие присутствующие предлагали себя в качестве залога за генералов, чтобы освободить последних из-под стражи; но прения так затянулись - мы видим отсюда, что, должно быть, говорилось очень много, - что уже стемнело, и голосование не могло быть произведено, так как поднятие рук было неразличимо. Поэтому было решено отложить все решение до следующего собрания; а пока сенат должен собраться, рассмотреть, каким должен быть надлежащий способ суда и осуждения генералов, и представить соответствующее предложение на ближайшем собрании.

Случилось так, что сразу после первого собрания, в промежутке до заседания сената или проведения второго собрания, наступили три дня торжественного ежегодного фестиваля под названием Апатурия; в начале месяца октября. Это был характерный праздник ионийской расы; он передавался от периода, предшествовавшего конституции Клейстенеса и десяти новым племенам, каждое из которых содержало столько земель и объединяло граждан в их первобытные союзы - семью, род, фратрию и т. д., совокупность которых первоначально составляла четыре ионийских племени, ныне прекративших свое существование. В Апатурии

совершались семейные обряды, регистрировались браки, обнародовались и удостоверялись акты усыновления, имена молодых граждан впервые вносились в списки язычников и фратрий; эти семейные собрания совместно приносили жертвы Зевсу Фратрии, Афине и другим божествам, что сопровождалось большим празднеством и весельем. Подобное торжество, отмечавшееся каждый год, естественно, вызывало у каждого из этих маленьких союзов вопросы, вызывавшие умиление: "Кто те, кто был с нами в прошлом году, но не пришел сейчас? Отсутствующие, где они? Умершие, где и как они умерли?". Экипажи двадцати пяти афинских трирем, погибших в битве при Аргинусе, по крайней мере все те, кто был среди них свободными людьми, состояли в каком-то из этих семейных союзов, и по этому случаю их не хватало. Ответ на этот вопрос в их случае был бы в равной степени меланхоличным и отвратительным: "Они сражались как храбрые люди и полностью участвовали в победе: их трирема была разбита, выведена из строя и превратилась в обломки во время битвы: на борту этого обломка они были оставлены погибать, в то время как их победоносные генералы и товарищи не сделали ни малейшего усилия, чтобы сохранить их". Услышать такое от отцов, братьев и друзей, да еще в кругу сочувствующей семьи, было вполне рассчитано на то, чтобы вызвать агонию стыда, печали и гнева, объединенных вместе; нестерпимые чувства, которые требовали удовлетворения и, казалось, даже налагали обязанность наказать тех, кто оставил этих храбрых товарищей погибать. Многие из языческих союзов, несмотря на обычно праздничный и веселый характер Апатурии, настолько прониклись этим чувством, что облачились в черные одежды и обрили головы в знак траура, решив предстать в таком виде на предстоящем собрании и умиротворить маны своих покинутых сородичей всеми возможными усилиями, чтобы добиться возмездия для генералов[285].

Ксенофонт в своем повествовании описывает этот взрыв чувств в Апатурии как ложный и надуманный, а скорбящих людей - как несколько наемных самозванцев, подстроенных Фераменесом,[286] чтобы уничтожить полководцев. Но в данном случае не требовалось никаких ухищрений. Универсальные и самодействующие стимуляторы интенсивного человеческого сочувствия здесь настолько ярко выражены, что искать за ними золото и махинации политического подстрекателя не просто излишне, но даже ошибочно. Тераменес мог сделать все возможное, чтобы обратить общественное недовольство против генералов и не допустить, чтобы оно обратилось против него самого: несомненно также, что он сделал многое для уничтожения их защиты. Таким образом, он мог оказать некоторое влияние на направление настроений против них, но практически не мог их создать. Не лишним будет сказать, что никакая фактическая организация такого рода никогда не смогла бы убедить афинскую публику осквернить такой праздник, как Апатурия, всеми знаками траура. Если они и сделали это, то только под влиянием каких-то внутренних эмоций, в равной степени спонтанных и бурных, которые и должно было вызвать последнее событие.

Более того, что может быть более неправдоподобным, чем утверждение о том, что для изображения отцов или братьев умерших афинских граждан было нанято огромное количество людей, хорошо знакомых с их действительно выжившими родственниками? Что может быть более неправдоподобным, чем рассказ о том, что множество мужчин нанимались не только для того, чтобы надеть на день черную одежду, которую можно было снять вечером, но и для того, чтобы побрить голову, тем самым оставляя на себе неизгладимое свидетельство обмана, пока волосы не отрастут снова? Что, если хитрый человек, подобно Тераменесу, распределял свои взятки среди нескольких человек, каждый из которых представлял обнаженную голову, свидетельствующую о его вине, когда в живых

оставались настоящие родственники, чтобы доказать факт олицетворения? И что, сделав это, он никогда не был привлечен к ответственности или обвинен за это впоследствии, - ни во время огромного подъема чувств, который произошел после осуждения генералов, о чем так убедительно свидетельствует сам Ксенофонт, и который так сильно обрушился на Калликсена и других, - ни его злейшим врагом Критием, во время правления Тридцати? Тераменес не только никогда не упоминается в качестве последующего обвиняемого, но, насколько можно судить, он сохранил свое политическое влияние и положение, практически не ослабев. Это одна из веских причин среди многих других, чтобы не верить взяткам и всепроникающим махинациям, которые, как представляет Ксенофонт, он предпринял, чтобы добиться осуждения генералов. Его выступление в первом общественном собрании и голосование его многочисленных сторонников во втором, несомненно, во многом способствовали этому результату, причем по его собственному желанию. Но приписывать его подкупам и интригам бурные и преобладающие эмоции афинской общественности - это, на мой взгляд, предположение в равной степени неестественное и нелепое как по отношению к ним, так и по отношению к нему самому.

Когда сенат собрался после Апатурии, чтобы выполнить обязанность, возложенную на него последним общественным собранием, - определить, каким образом следует судить полководцев, и представить свое мнение на рассмотрение следующего собрания, сенатор Калликсен - по наущению Фераменеса, если верить Ксенофону, - предложил, и большинство сената приняло следующую резолюцию: "Афинский народ, выслушав на предыдущем собрании как обвинение, так и защиту полководцев, должен сразу же провести голосование по этому вопросу по племенам. Для каждого племени ставятся две урны, и глашатай каждого племени провозглашает: все граждане, считающие генералов виновными в том, что они не спасли воинов, побежденных в битве, должны бросить свои камешки в переднюю урну; все, считающие иначе, - в заднюю. Если по результатам голосования генералы будут признаны виновными, они будут преданы одиннадцати и наказаны смертью; их имущество будет конфисковано, а десятая часть отведена богине Athênê"[287] Один единственный голос должен был охватить дело всех восьми генералов[288].

Беспрецедентный всплеск скорби и мстительных чувств на празднике Апатурии, распространившийся от родственников умерших на многих других граждан, - и созданная таким образом вероятность того, что предстоящее собрание одобрит самые жестокие меры против генералов, - вероятно, подтолкнули Калликсена к предложению и побудили сенат принять это прискорбное решение. Как только собрание собралось, оно было зачитано и предложено самим Калликсеном, как исходящее от сената во исполнение поручения, возложенного на него народом.

Большая часть собрания выслушала его с вполне заслуженным негодованием. Его чудовищность заключалась в том, что он нарушал установленные конституционные нормы и судебную практику афинской демократии. Он лишил обвиняемых генералов справедливого суда, утверждая, с одной лишь слабой претензией на истину, которая была чуть лучше абсолютной лжи, что их защита, как и обвинение, были заслушаны на предыдущем собрании. Не было ни одного народа, ни древнего, ни современного, в представлении которого формальности судебного процесса были бы более священными и необходимыми, чем у афинян; формальности включали в себя достаточное уведомление обвиняемой стороны, отмеренное и достаточное время для ее защиты перед дикастами; дикасты же были людьми, которые заранее присягали как единое целое, но выбирались по жребию для каждого случая как отдельные лица. Теперь генералы были лишены всех этих гарантий, и их

жизни, почести и состояния должны были быть переданы на голосование простого собрания без присяги, без слушания и защиты. Но и это было еще не все. Один-единственный голос должен был осудить или оправдать всех восьмерых генералов вместе взятых. В аттическом судопроизводстве существовало правило, называемое псефизмом Каннона, - первоначально принятое, неизвестно когда, по предложению гражданина этого имени, как псефизм или постановление по какому-то конкретному делу, но с тех пор вошедшее в общую практику и ставшее очень почитаемым, - которое императивно запрещало любой такой коллективный суд или приговор и предписывало, чтобы во всех случаях за или против каждой обвиняемой стороны подавался отдельный судебный голос. Псефизм Каннона вместе со всеми другими уважаемыми нормами афинского уголовного правосудия был дерзко растоптан ногами[289].

Как только резолюция была зачитана в общественном собрании, Эвриптолем, близкий друг генералов, осудил ее как грубо незаконную и неконституционную, представив обвинительное заключение против Калликсена, под именем Граф Параномон, за то, что он предложил резолюцию такого содержания. Несколько других граждан поддержали обвинительное заключение, которое, согласно принятой в Афинах практике, должно было задержать дальнейшее продвижение меры до тех пор, пока не завершится суд над ее автором. В Афинах не было ни одного предложения, к которому бы более точно и справедливо применялась Графика Параномона.

Но многочисленные сторонники Калликсена, особенно те, кто стоял в траурных одеждах, с обритыми головами, возбужденные печальными воспоминаниями и жадной мести, были не в том состоянии, чтобы уважать это конституционное препятствие для обсуждения того, что уже было принято сенатом. Они громко кричали, что "невыносимо видеть, как небольшая кучка граждан мешает собравшемуся народу делать то, что он выбрал", а один из них, Ликиск, даже зашел так далеко, что пригрозил, что те, кто выдвинул обвинение против Калликсена, должны быть осуждены тем же голосованием вместе с генералами, если они не позволят собранию продолжить рассмотрение и принятие решения по только что прочитанному предложению.[290] Возбужденное настроение собравшейся большой партии, еще более разгоревшееся от этой угрозы Ликиска, было доведено до высшей точки различными другими ораторами; особенно одним, который выступил вперед и сказал: "Афиняне! Я сам потерпел крушение в битве; я спасся только тем, что попал в пустую посудину; но мои товарищи, погибавшие на обломках рядом со мной, умоляли меня, если я сам спасусь, донести до афинского народа, что их полководцы бросили на смерть воинов, храбро сражавшихся за свою страну." Даже в самом спокойном состоянии общественного сознания такое сообщение о последних словах этих утопающих, переданное очевидцем, было бы выслушано с волнением; но в условиях действительного предрасполагающего волнения оно проникло в самую глубину души слушателей и обозначило генералов как обреченных людей.[291] Несомненно, существовали и другие подобные заявления, не упомянутые нами в явном виде, представляющие тот же факт другими способами, и все они способствовали усилению жестокости публичных проявлений; которые в конце концов достигли такой степени, что Эвриптолем был вынужден отозвать свое обвинительное заключение против Калликсена.

Однако теперь возникла новая форма сопротивления, которая все еще препятствовала рассмотрению этого предложения собранием. Некоторые из пританов, или сенаторов председательствующего колена, в данном случае колена Антиоха, - законных председателей собрания, отказались рассматривать или ставить вопрос; этот незаконный и

неконституционный вопрос не только внушал им отвращение, но и лично налагал на них наказание. Калликсен использовал против них те же угрозы, которые Ликиск произнес против Эвритолема: он пригрозил, под ободряющий шум многих людей в собрании, включить их в одно обвинение с генералами. Пританы были настолько запуганы пылкими выступлениями собрания, что все они, кроме одного, отказались от своих возражений и согласились поставить вопрос. Единственным упрямым пританисом, чей отказ не могли усмирить никакие угрозы, был человек, чье имя мы читаем с особым интересом, и в котором неприступная верность закону и долгу была лишь одним из многих других титулов, достойных почитания. Это был философ Сократес, который в этот тяжелый случай, один раз за свою семидесятилетнюю жизнь, исполнял политическую должность среди пятидесяти сенаторов, выбранных по жребию из племени антиохов. Сократеса не смогли убедить отозвать свой протест, так что в итоге вопрос был поставлен остальными пританами без его участия.^[292] Следует заметить, что его сопротивление не подразумевало никакого мнения о виновности или невиновности полководцев, но относилось просто к незаконному и неконституционному предложению, вынесенному на решение их судьбы; предложению, против которого он уже однажды выступал, будучи членом сената.

После того как конституционные препятствия были насильственно преодолены, вопрос был регулярно выносится пританами на рассмотрение собрания. Сразу же прекратился шумный крик, и те, кто его поднял, вновь стали вести себя как афинские граждане, терпеливо выслушивая речи и мнения, прямо противоположные их собственным. Ничто не заслуживает большего внимания, чем эта перемена в поведении. Защитники утонувших на кораблях людей решили применить столько силы, сколько потребуется, чтобы устранить эти предварительные конституционные возражения, сами по себе неоспоримые, которые препятствовали обсуждению. Но как только обсуждение было начато, они старались не придавать решению видимости того, что оно проводится силой. Эвритолему, личному другу полководцев, было позволено не только внести поправку, отрицающую предложение Калликсена, но и развить его в длинной речи, которую приводит Ксенофонт^[293].

Его речь отличается большим мастерством и рассудительностью в отношении рассматриваемого им дела и нравов собрания. Начав с мягкого порицания своих друзей, полководцев Периклеса и Диомедона, за то, что они уговорили своих коллег воздержаться от упоминания в своем первом официальном письме о приказах, отданных Фераменесу, он представил их как людей, которым теперь грозит опасность стать жертвами подлого заговора последнего, и призвал народное правосудие устроить им справедливый суд. Он убеждал народ не торопиться с вынесением столь торжественного и бесповоротного приговора, довериться только собственному суждению, но в то же время быть уверенным, что приговор будет вынесен после полной информации и беспристрастного слушания, и таким образом избежать горьких и бесполезных угрызений совести, которые в противном случае непременно последовали бы. Он предложил, чтобы генералы были судимы каждый отдельно, согласно псефизму Каннона, с надлежащим уведомлением и достаточным временем для защиты, а также для обвинения; но в случае признания их виновными они должны понести самые тяжелые и позорные наказания, в первую очередь его собственный родственник Периклес. Это был единственный способ унять виновных, спасти невинных и уберечь Афины от неблагодарности и нечестивости, когда они без суда и следствия, вопреки закону, осуждают на смерть полководцев, только что оказавших ей столь важную услугу. Чего же мог бояться народ? Неужели они боялись, что власть суда ускользнет из их рук, что им так не терпелось перепрыгнуть через все предписанные законом проволочки?^[294] Худшему из государственных изменников, Аристарху, они предоставили день с полным уведомлением для суда, со всеми законными средствами для его защиты; неужели же теперь

они проявят столь вопиющее несоответствие мер победоносным и верным офицерам? "Не вам (сказал он) поступать так, афиняне. Законы - ваше собственное дело; именно благодаря им вы в основном удерживаете свое величие; берегите их и не предпринимайте никаких действий без их санкции"[295].

Затем Эвритолем кратко изложил ход событий после битвы, рассказал о силе бури, которая помешала подойти к затонувшим кораблям, и добавил, что один из генералов, оказавшийся в опасности, сам был на борту разбитого корабля и спасся лишь благодаря счастливой случайности.[В заключение, набравшись смелости, он напомнил афинянам о блеске победы и сказал, что по справедливости они должны возложить венки на брови победителей, а не следовать тем злобным советникам, которые настаивали на их казни[297].

Это не малое доказательство силы устоявшихся привычек публичного обсуждения, что люди в трауре и с обритыми головами, которые за несколько минут до этого находились в состоянии неистового возбуждения, должны были терпеливо выслушать речь, столь эффективную и противоречащую их самым сильным чувствам, как речь Эвритолема. Возможно, выступали и другие, но Ксенофонт не называет их. Примечательно, что он не называет Фераменеса, который принимал участие в этих последних дебатах.

Основная поправка, предложенная Эвритолем, заключалась в том, что генералы должны быть судимы каждый отдельно, согласно псефизму Каннона; это подразумевает уведомление каждого о дне суда и полное время, чтобы каждый мог защитить себя. Это предложение, как и предложение сената, выдвинутое Калликсеном, было вынесено на голосование собрания; руки поднимались отдельно, сначала за одно, потом за другое. Пританы объявили, что поправка Эвритолема принята. Но гражданин по имени Менеклес осудил их решение как неправильное или недействительное, ссылаясь на некую неформальность или уловку в постановке вопроса, или, возможно, на ошибочный отчет о сравнительном поднятии рук. Следует помнить, что в данном случае пританы были объявлены партизанами. Чувствуя, что они поступают неправильно, вынося на обсуждение такое незаконное предложение, как предложение Калликсена, и что его принятие будет большим общественным бедствием, они вряд ли побрезговали бы попытаться победить его даже каким-нибудь нечестным маневром. Но исключение, сделанное Менеклесом, вынудило их поставить вопрос заново, и тогда они были вынуждены объявить, что большинство высказалось за предложение Калликсена[298].

Вскоре это предложение было приведено в исполнение: для каждого племени было выбрано по две урны, а голоса граждан собирались по отдельности. Осуждающий голос преобладал, и все восемь генералов были таким образом признаны виновными; большим или меньшим большинством мы были бы рады узнать, но нам не говорят. Большинство состояло в основном из тех, кто действовал под влиянием искреннего негодования против генералов, но отчасти и из друзей и приверженцев Фераменеса,[299] которых было не так уж мало. Шесть генералов, находившихся в Афинах, - Периклес (сын великого государственного деятеля этого имени от Аспазии), Диомедон, Эрасинидес, Фрасилл, Лисий и Аристократ - были доставлены в Одиннадцать и погибли от обычного сквозняка из болиголова; их имущество было конфисковано, как предписывал указ сената.

Относительно приговора этим несчастным, вынесенного без каких-либо признанных предварительных условий для обвиняемых, может быть только одно мнение. Это был акт жестокой несправедливости и незаконности, глубоко позорящий тех, кто его вынес, и афинский характер в целом. В любом случае, независимо от того, были ли генералы виновны

или невиновны, это порицание заслужено, так как судебные меры предосторожности не менее необходимы в обращении с виновными, чем с невиновными. Но оно заслуживается в усугубленной форме, если учесть, что люди, против которых была совершена такая несправедливость, только что одержали славную победу. Против демократической конституции Афин это не дает оснований для порицания, как и против привычек и чувств, которые эта конституция стремилась привить отдельным гражданам. И те, и другие решительно запрещали этот поступок; и афиняне никогда не смогли бы так опозорить себя, если бы под влиянием минутного свирепого возбуждения не подняли мятеж не только против форм собственной демократии, но и против самых священных ограничений привычной конституционной морали.

Если бы нам нужны были доказательства этого, то факты ближайшего будущего предоставили бы их в изобилии. По прошествии некоторого времени каждый житель Афин от души устыдился своего поступка.[300] Было принято решение общественного собрания,[301] постановившее, что те, кто ввел народ в заблуждение по этому поводу, должны быть преданы суду, что Калликсен и четверо других должны быть в их числе, и что за их появление должен быть внесен залог. Так и было сделано, а самих участников держали под стражей поручители, которые отвечали за их явку в день суда. Но вскоре внешние несчастья и внутренняя смута стали слишком сильно давить на Афины, чтобы оставить место для других мыслей, как мы увидим [в следующей главе](#). Калликсен и его сообщники нашли способ бежать до наступления дня суда и оставались в изгнании до окончания правления Тридцати и восстановления демократии. Затем Калликсен вернулся по общей амнистии. Но общая амнистия защищала его только от судебного преследования, но не от враждебной памяти народа. "Презираемый всеми, он умер от голода", - говорит Ксенофонт;[302] памятное доказательство того, как сильно осуждение этих шести генералов потрясло устоявшиеся демократические настроения в Афинах.

По какой причине возникла эта временная вспышка неправоты, столь чуждая привычному характеру народа? Даже при самых сильных политических провокациях и по отношению к самым ненавистным предателям, - как заметил сам Эвриптолем, приводя в пример дело Аристарха, - как после Четырехсот, так и после Тридцати, афиняне никогда не совершали подобного проступка, никогда не лишали обвиняемую сторону привычных судебных гарантий. Как же они сделали это здесь, где осужденные полководцы не только не были предателями, но и только что отличились в победоносном бою? Никакой Тераменес не мог вызвать это явление; никакой глубоко заправленный олигархический заговор, по моему мнению, не может быть использован в качестве объяснения.[303] Истинное объяснение другое, и оно имеет серьезное значение для государства. Политическая ненависть, какой бы сильной она ни была, никогда не отделялась в сознании афинского гражданина от демократических форм судопроизводства: Но люди, выступавшие здесь в качестве актеров, порвали с обязательствами гражданства и содружества и отдали себя, сердце и душу, семейным симпатиям и антипатиям; чувства сначала разгорелись, и справедливо, от мысли, что их друзья и родственники остались погибать без внимания на обломках корабля; Затем, разгоревшиеся до сверхъестественной и непреодолимой силы на празднике Апатурии, где все религиозные традиции, связанные с древними семейными узами, все те ассоциации, которые налагали на родственников убитого обязанность преследовать убийцу, были расширены до деталей и отработаны с соответствующей обновляющей торжественностью. Траурное одеяние и бритье головы - явления, неизвестные в Афинах ни на политическом собрании, ни на религиозном празднике, - были символами временного преобразования внутреннего человека. Он не мог думать ни о чем, кроме как о своих тонущих родственниках, о генералах, бросивших их на произвол судьбы, и о своем долге оставшегося в живых

человека, который должен был обеспечить им возмездие и удовлетворение за такое оставление. В этом самооправдательном порыве кратчайший и надежный путь представлялся наилучшим, какие бы политические преступления он ни влек за собой:[304] более того, в данном случае он представлялся единственным действительно надежным путем, так как вмешательство надлежащих судебных проволок в сочетании с разделением суда на последовательные дни, согласно псефизму Каннона, вероятно, спасло бы жизнь пяти из шести генералов, если не всех шести. Если мы подумаем, что подобные настроения были свойственны в одно и то же время значительной части афинян, то увидим объяснение того ошибочного голосования как сената, так и экклесии, которое отправило шестерых генералов на незаконное голосование, и последующего голосования, которое их осудило. Таково естественное поведение тех, кто, на время забыв о чувстве политического содружества, деградировал до уровня исключительно семейных людей. Семейные привязанности, порождающие столько нежной симпатии и взаимного счастья во внутреннем кругу, также способны породить пренебрежение, злобу, иногда даже свирепую месть по отношению к другим. Сильные в отношении добра в целом, они не менее сильны иногда в отношении зла; и требуют, не меньше, чем эгоистические склонности, постоянного подчиняющего контроля со стороны того морального разума, который рассматривает в качестве своей цели безопасность и счастье всех. И, когда человек, либо из-за низкой цивилизации, никогда не знал этого большого морального разума, - или когда из-за какого-то случайного стимула, праведного по происхождению, но доведенного до фанатизма заговорщической силой религиозных и семейных симпатий, он приходит к тому, чтобы поставить свою гордость и добродетель в зависимость от ее верховенства, - едва ли найдется какое-либо количество зла или несправедливости, к которому он не может быть приведен, слепо повинувшись узким инстинктам отношений. "Семейные дети способны на все", - сатирически заметил Талейран по поводу грубого общественного подрыда, который так часто практиковали те, кто искал места или продвижения для своих сыновей. Те же слова, понятые в гораздо более ужасном смысле и обобщенные на другие случаи взаимоотношений, подытоживают мораль этого меланхоличного разбирательства в Афинах.

Наконец, нельзя забывать, что в этом деле в значительной степени повинны и сами генералы. Из-за неоправданной ярости движения против них они погибли как невинные люди, без суда и следствия, "*inauditi et indefensi, tamquam innocentes, perierunt*"; но из этого не следует, что они действительно были невиновны. Я убежден, что ни с английским, ни с французским, ни с американским флотом не могли произойти события, подобные тем, что последовали за победой Arginusæ. Ни адмиралы, ни моряки, одержав победу и оттеснив врага, не смогли бы вынести мысли о возвращении на якорную стоянку, оставив свои искалеченные обломки неуправляемыми на воде, со многими живыми товарищами на борту, беспомощными и зависящими от посторонней помощи во всех своих шансах на спасение. То, что генералы при Аргинусе поступили именно так, признает их собственный защитник Эвриптолем,[305] хотя они должны были хорошо знать состояние искалеченных кораблей после морского боя, и некоторые корабли даже победоносного флота обязательно должны были быть искалечены. Если бы эти полководцы после победы, вместо того чтобы плыть обратно на сушу, первым делом занялись осмотром покалеченных кораблей, у них было бы достаточно времени, чтобы выполнить эту обязанность и спасти всех живых людей на борту, прежде чем начнется шторм. Это естественный вывод, даже исходя из их собственных показаний; это то, что любой английский, французский или американский флотоводец счел бы своим неременным долгом сделать. Какова степень вины Тераменеса, и насколько генералы оправдались, переложив ответственность на него, - это вопрос, который мы сейчас не можем определить. Но буря, к которой апеллируют в оправдание обоих, опирается на доказательства, слишком сомнительные, чтобы служить этой цели, когда пренебрежение

долгом было столь серьезным и стоило жизни, вероятно, более чем тысяче храбрых мужчин. По крайней мере, афинский народ дома, услышав обвинения и упреки между генералами с одной стороны и Тераменесом с другой, - каждый из них в роли обвинителя намекал на то, что буря не была серьезным препятствием, хотя каждый, если его толкали на защиту, Афинский народ не мог не смотреть на шторм скорее как на последнюю мысль, чтобы оправдать предыдущие упущения, чем как на ужасную реальность, сводящую на нет весь пыл и решимость людей, стремящихся выполнить свой долг. Именно таким образом вмешательство Тераменеса в основном способствовало уничтожению генералов, а не теми маневрами, которые приписывает ему Ксенофонт: он уничтожил всякую веру в бурю как в реальную и всеохватывающую помеху. Общее впечатление афинской публики - на мой взгляд, естественное и неизбежное - заключалось в том, что в отношении кораблекрушений имела место преступная халатность, из-за которой погибли только моряки, находившиеся на борту. Эта небрежность позорит, в большей или меньшей степени, как вооружение Аргинузе, так и генералов: но генералы были лицами, ответственными перед домашней публикой, которая сочувствовала судьбе покинутых моряков более справедливо, а также более великодушно, чем их товарищи на флоте.

Несмотря на виновные действия, к которым привело афинян яростное преувеличение этих чувств, несмотря на сочувствие, которое это естественно и справедливо вызвало осужденных генералов, беспристрастная история вынесет вердикт, что сами чувства были обоснованными, а генералы заслуживали порицания и позора. Афинский народ мог бы со справедливостью провозгласить им: "Как бы ни была велика ваша победа, мы не можем ни сами радоваться ей, ни позволить вам пользоваться ее почестями, если узнаем, что вы оставили многие сотни тех, кто помог вам одержать ее, тонуть на борту затонувших кораблей, не предприняв никаких усилий для их спасения, хотя такие усилия вполне могли бы оказаться успешными".

ГЛАВА LXV. ОТ БИТВЫ ПРИ АРГИНУСЕ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ В АФИНАХ ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ТРИДЦАТИ.

Победа при Аргинусе на некоторое время обеспечила афинскому флоту решительное господство на азиатских морях; говорят даже, что она настолько обескуражила лакедемонян, что побудила их направить в Афины предложения о мире. Но это утверждение^[306] вызывает большие сомнения, и я считаю наиболее вероятным, что таких предложений сделано не было. Как ни велика была победа, мы тщетно ищем какие-либо положительные результаты для Афин. После неудачной попытки захватить Хиос победоносный флот отправился на Самос, где, похоже, оставался до следующего года, не предпринимая никаких дальнейших действий, кроме тех, что были необходимы для получения денег.

Тем временем Этеоник, собравший остатки разбитого пелопоннесского флота на Хиосе, оставшись без денег по приказу Кира, оказался в затруднительном положении и был вынужден оставить моряков без зарплаты. В течение лета и осени эти люди поддерживали себя наемным трудом на хиосских землях, но с наступлением зимы этот ресурс прекратился, и они оказались не в состоянии купить даже одежду или обувь. В таком бедственном положении многие из них вступили в заговор с целью напасть на город Хиос и разграбить

его; для этого предприятия был назначен день, и было решено, что заговорщики должны узнавать друг друга по ношению соломы, или тростника. Узнав о замысле, Этеоник в то же время был напуган количеством этих соломенных носильщиков; он видел, что если он поступит с заговорщиками открыто и демонстративно, они, возможно, бросятся к оружию и сумеют разграбить город; во всяком случае, возникнет конфликт, в котором многие из союзников будут убиты, что самым неблагоприятным образом скажется на всех дальнейших операциях. Поэтому, прибегнув к хитрости, он взял с собой стражу из пятнадцати человек, вооруженных кинжалами, и пошел через город Хиос. Вскоре он встретил одного из этих соломенных носильщиков - человека с жалобами на глаза, выходявшего из дома хирурга, - и приказал своим стражникам предать его смерти на месте. Толпа, собравшаяся вокруг, с изумлением и сочувствием спросила, на каком основании человека предали смерти, на что Этеоник приказал своим стражникам ответить, что это потому, что он носит солому. Весть об этом распространилась, и тут же оставшиеся люди, носившие соломинки, встревожились настолько, что выбросили их[307].

Воспользовавшись тревогой, Этеоник потребовал у хианцев денег в качестве условия для того, чтобы увести это голодное и опасное вооружение. Получив от них месячную плату, он немедленно посадил войска на корабль, стараясь ободрить их и внушить им мысль, что он не знает о недавнем заговоре.

Хиане и другие союзники Спарты собрались в Эфесе, чтобы посоветоваться, и решили вместе с Киром направить посланников к эфорам с просьбой отправить Лисандра во второй раз в качестве адмирала. В Спарте не было принято отправлять одного и того же человека адмиралом во второй раз, после года службы. Тем не менее, эфоры выполнили просьбу в полном объеме, отправив Аракуса адмиралом, а Лисандра вместе с ним, под титулом секретаря, наделив всеми реальными полномочиями командования.

Лисандр, прибыв в Эфес в начале 405 г. до н. э., сразу же энергично принялся за восстановление лакедемонской власти и своего собственного влияния. Партизаны в различных союзных городах, чью благосклонность он усердно культивировал в течение последнего года своего командования, клубы и фракционные объединения, которые он организовал и стимулировал к сотрудничеству в рамках взаимных амбиций, - все приветствовали его возвращение с ликованием. Сдерживаемые и сдерживаемые щедрым патриотизмом его предшественника Калликратида, они теперь вновь активизировались и стали рьяно помогать Лисандру в обновлении и увеличении его флота. Кир также не был менее сердечен в своих предпочтениях, чем раньше. Прибыв в Эфес, Лисандр поспешил навестить его в Сардах и попросил возобновить денежную помощь. В ответ молодой принц заявил, что все средства, полученные им из Суз, уже израсходованы, и даже больше; в подтверждение этого он предъявил ведомость о суммах, выделенных каждому пелопоннесскому офицеру. Тем не менее, он был настолько благосклонен к Лисандру, что выполнил даже дополнительное требование, чтобы отправить его довольным. Таким образом, последний смог вернуться в Эфес в состоянии, позволяющем восстановить работоспособность своего флота. Он сразу же погасил все задолженности по жалованью морякам, назначил новых триерархов, вызвал Этеоника с флотом из Хиоса вместе с другими разрозненными эскадрами и приказал немедленно поставить свежие триеры на склад в Антандре[308].

Ни в одном из азиатских городов последствия второго пришествия Лисандра не ощущались с большей силой, чем в Милете. Там у него была мощная фракция или ассоциация друзей, которые делали все возможное, чтобы помешать и досадить Калликратиду в его первый приезд, но были вынуждены замолчать и даже проявить рвение благодаря прямолинейному

решению этого благородно настроенного адмирала. Желая возместить себе это унижение, они теперь составили заговор, при участии Лисандра, чтобы захватить власть в свои руки. Они решили, если верить Плутарху и Диодору, уничтожить существующую демократию и установить на ее месте олигархию. Но мы не можем поверить, что в Милете могла существовать демократия, которая уже пять лет находилась в совместной зависимости от Спарты и персов. Скорее, мы должны понимать это движение как конфликт между двумя олигархическими партиями; друзья Лисандра были более корыстными и антинародными, чем их противники, и, возможно, в сравнении с ними они даже выглядели как демократия. Лисандр поддержал этот план, раздул амбиции заговорщиков, которые в свое время были настроены на компромисс, и даже обманул правительство, пообещав поддержку, которую он никогда не собирался выполнять. На празднике Дионисий заговорщики, поднявшись с оружием в руках, захватили сорок своих главных противников в домах и еще триста - на рынке; правительство же, поверив обещаниям Лисандра, который внешне отнекивался, но втайне продолжал подстрекать мятежников, оказало лишь слабое сопротивление. Захваченные таким образом триста сорок вождей, которые, вероятно, от всей души вместе с Калликратидом, были преданы смерти, а еще большее число граждан, не менее тысячи, бежали в изгнание. Таким образом, Милет полностью перешел в руки друзей и сторонников Лисандра[309].

По-видимому, междоусобные движения в других городах, менее мятежные в отношении кровопролития и вероломства, но все же сходные по характеру с милетскими, ознаменовали повторное появление Лисандра в Азии; города все больше и больше переходили в руки его сторонников. В то время как Лисандр приобретал все большее превосходство среди союзников, он получил от Кира приглашение посетить Сарды. Молодого царевича только что послали навестить в Медию своего отца Дария, который был стар и опасно болен. Собираясь отбыть с этой целью, он проникся доверием к Лисандру настолько, что передал ему управление своей сатрапией и все свои доходы. Помимо восхищения превосходной энергией и способностями греческого характера, с которым он познакомился совсем недавно, а также уважения к личному бескорыстию Лисандра, подтвержденному его поведением во время первого визита и пира в Сардах, Кира, вероятно, побудил к этому шагу страх возвысить соперника, если он доверит подобную власть какому-нибудь персидскому вельможе. Одновременно с передачей Лисандру всех даней и зарезервированных средств он заверил его в своей неизменной дружбе как к нему самому, так и к лакедемонянам, а в заключение попросил ни в коем случае не вступать в общие действия с афинянами, если только не будет иметь большого преимущества в численности. Поражение при Аргинусе укрепило его предпочтение этой медлительной политики, и он пообещал, что не только персидские сокровища, но и феникийский флот будут задействованы для сокрушения Афин[310].

Таким образом, вооруженный беспрецедентным владением персидскими сокровищами и поддержанный восходящими фракциями во всех союзных городах, Лисандр был более могущественным, чем любой лакедемонский полководец с начала войны. Имея хорошо оплачиваемый флот, он мог держать его в единстве и направлять туда, куда ему вздумается, без необходимости распылять его по бродячим эскадрам для сбора денег. Вероятно, именно соответствующей необходимостью мы должны объяснить бездействие афинского флота на Самосе; ведь мы не слышим о серьезных операциях, предпринятых им в течение целого года после победы при Аргинусе, хотя им командовал способный и энергичный человек, Конон, вместе с Филоклесом и Адеймантом; к ним весной 405 года до н. э. добавились еще три генерала, Тидей, Менандр и Кефисодот. Похоже, что Фераменес также был выдвинут и избран одним из генералов, но был отвергнут, когда его кандидатура была представлена на

подтверждающий экзамен, называемый докимасией[311]. Флот состоял из ста восьмидесяти трирем, что было гораздо больше, чем у Лисандра, которому они тщетно предлагали сражение возле его станции в Эфесе. Считая его не расположенным к общим действиям, они, по-видимому, разошлись грабить Хиос и различные части азиатского побережья; Лисандр же, сохранив свой флот, сначала отплыл от Эфеса на юг, взял штурмом и разграбил полуэллинский город в Керамейском заливе, названный Кедрей, который был в союзе с Афинами, а затем направился к Родосу.[Афиняне были готовы последовать за ним, когда узнали, что он снова пересек Эгейское море, и вскоре после этого он появился со всем своим флотом у Геллеспонта, важный проход через который они оставили неохранным. Лисандр направился прямо к Абидосу, все еще великой пелопоннесской станции в проливе, занятой Тораксом в качестве гарнизона с сухопутными войсками, и немедленно приступил к атаке, как с моря, так и с суши, на соседний город Лампсакус, который был взят штурмом. Он был богат во всех отношениях, в изобилии снабжен хлебом и вином, так что солдатам досталась большая добыча; но Лисандр оставил свободных жителей нетронутыми[314].

Афинский флот, по-видимому, был занят разграблением Хиоса, когда получил известие о том, что лакедемонский полководец находится в Геллеспонте и ведет осаду Лампсака. То ли из-за нехватки денег, то ли по другим непонятным причинам, Конон и его соратники все это лето частично бездействовали, частично отстали от Лисандра. Теперь они последовали за ним в Геллеспонт, отплыв по берегу Хиоса и Лесбоса, подальше от азиатского побережья, которое было им недружелюбно. Они достигли Елеуса, южной оконечности Херсонеса, со своим мощным флотом из ста восьмидесяти трирем, как раз вовремя, чтобы во время утренней трапезы услышать, что Лисандр уже овладел Лампсаком; после этого они немедленно направились вверх по проливу к Сестосу, а оттуда, остановившись только для того, чтобы собрать немного провизии, еще дальше вверх, к месту, называемому Ægospotami[315].

Эгоспотами, или Козья река, - название, роковым образом звучащее для всех последующих афинян, - было местом, которое не имело ничего, что могло бы его рекомендовать, кроме того, что оно находилось прямо напротив Лампсакуса, отделенного от него проливом шириной около одной мили и трех четвертей. Но это был открытый берег, без гавани, без хорошей якорной стоянки, без домов, без жителей и без припасов; так что все необходимое для этой большой армии приходилось доставлять из Сестоса, удаленного на расстояние около одной мили и трех четвертей даже по суше, а по морю еще дальше, так как нужно было обогнуть мыс. Такая станция была крайне неудобна и опасна для древнего военного флота, не имевшего организованного комиссариата; моряки, вынужденные удалиться от своих кораблей, чтобы получить пищу, не могли легко собраться. И все же афинские полководцы выбрали именно такую позицию, намереваясь вынудить Лисандра к сражению. Но лакедемонский адмирал, находившийся в Лампсакусе, в хорошей гавани, с хорошо обставленным городом в тылу и сухопутным войском для содействия, не собирался принимать вызов врагов в удобный для них момент. Когда на следующее утро афиняне переплыли через пролив, они обнаружили, что все его корабли полностью укомплектованы - люди уже приняли утреннюю пищу - и выстроены в идеальном порядке, а сухопутный отряд высажен на берег для оказания помощи, но со строгим приказом ожидать нападения и не двигаться вперед. Не решаясь атаковать его в таком положении и не имея возможности выманить его, маневрируя весь день, афиняне в конце концов были вынуждены вернуться в Игоспотами. Но Лисандр приказал нескольким быстроходным судам следовать за ними и не

позволял своим людям высаживаться, пока не убедился, что их моряки действительно разошлись по берегу[316].

Четыре дня подряд повторялась одна и та же сцена; с каждым днем афиняне становились все более уверенными в своем превосходстве и презирали очевидную трусость врага. Напрасно Алкивиад, который из своих личных укреплений в Херсонесе наблюдал за происходящим, прибыл на станцию и стал выговаривать генералам за незащищенное состояние флота на этом открытом берегу; он настоятельно советовал им отойти к Сестосу, где они будут и близко к своим запасам, и в безопасности от нападения, как Лисандр в Лампсаке, и откуда они смогут выходить на бой, когда захотят. Но афинские генералы, особенно Тидей и Менандр, пренебрегли его советом и даже отстранили его от командования с оскорбительной колкостью, что теперь командуют они, а не он.[317] Находясь в таком незащищенном положении, афинские моряки с каждым днем становились все более беспечными по отношению к своему врагу и поспешно разбежались, как только возвращались к своему берегу. Наконец, на пятый день Лисандр приказал кораблям-разведчикам, которые он послал следить за возвращением афинян, поднять яркий щит, как только они увидят корабли на якорной стоянке и команды на берегу в поисках пищи. Как только он увидел этот приветственный сигнал, он отдал приказ всему своему флоту как можно быстрее переправиться из Лампсака в Эгоспотами, а Торакс отправился вдоль берега с сухопутным войском на случай необходимости. Ничто не могло быть более полным и решительным, чем неожиданность афинского флота. Все триремы были застигнуты у причалов на берегу: одни - совершенно безлюдные, другие - с одним или максимум двумя из трех ярусов гребцов, составлявших их состав. Из всех ста восьмидесяти трирем только двенадцать были найдены в сносной готовности и порядке;[318] среди них трирема самого Конона, эскадра из семи человек, находившаяся в его непосредственном подчинении, и освященный корабль под названием "Паралус", на котором всегда служила *элита* афинских моряков. Напрасно Конон, увидев приближающийся флот Лисандра, приложил все усилия, чтобы укомплектовать свой флот и привести его в состояние, пригодное для сопротивления. Попытка была отчаянной, и самое большее, что он смог сделать, - это спастись самому с небольшой эскадрой из двенадцати кораблей, включая паралус. Все остальные триремы, числом почти сто семьдесят, были захвачены Лисандром на берегу, беззащитные и, похоже, без малейшей попытки сопротивления. Он высадился на берег и взял в плен большую часть экипажей, хотя некоторые из них бежали и нашли убежище в соседних фортах. Эта невероятная и беспримерная победа была одержана не только без потери одного корабля, но и почти без потери одного человека[319].

О количестве пленных, взятых Лисандром, - а оно должно было быть очень велико, поскольку общий экипаж ста восьмидесяти трирем составлял не менее тридцати шести тысяч человек[320], - мы слышим только о трех или четырех тысячах местных афинян, хотя это число не может отражать всех местных афинян во флоте. Афинские полководцы Филоклес и Адеймант, несомненно, были взяты в плен, и, кажется, все, кроме Конона. Часть разбитого войска укрылась в Сестосе, который, однако, сдался без особого сопротивления победителю. Он признал их капитуляцию при условии, что они немедленно вернутся в Афины, и никуда больше: ведь он желал как можно больше умножить число людей, собравшихся в этом городе, прекрасно понимая, что город будет скорее выморен голодом. Конон тоже прекрасно понимал, что вернуться в Афины после гибели всего флота - значит стать одним из пленников в обреченном городе и, кроме того, встретить негодование своих сограждан, столь заслуженное полководцами в совокупности. Поэтому он решил укрыться у Эвагора, князя Саламиса на острове Кипр, отправив Парала с некоторыми другими из двенадцати беглых трирем, чтобы сообщить роковую весть в Афины. Но прежде чем

отправиться туда, он переправился через пролив - с необыкновенной смелостью, учитывая обстоятельства, - к мысу Абарнис на территории Лампсака, где, казалось, без охраны лежали большие паруса трирем Лисандра, всегда убранные, когда трирема была готова к бою. Он убрал эти паруса, чтобы ослабить преследование противника, а затем направился к Кипру[321].

В самый день победы Лисандр отправил милезийского капера Теопомпа возвестить о ней в Спарте, который, благодаря удивительной скорости гребли, прибыл туда и объявил об этом на третий день после старта. Захваченные корабли были отбуксированы, а пленники перевезены в Лампсакус, где было созвано общее собрание победивших союзников, чтобы определить, как следует поступить с пленниками. На этом собрании в адрес афинян были выдвинуты самые горькие обвинения в том, как они недавно обращались с пленными. Афинский полководец Филоклес, захватив триремы Ко ринтии и Андриана, предал их экипажи смерти, сбросив их вниз головой с обрыва. В греческой войне каждой из воюющих сторон было нетрудно привести прецеденты жестокости по отношению к другой; но в этом споре некоторые ораторы утверждали, что афиняне обдумали, что им делать с пленными в случае победы при Игоспотаме, и что они решили - в основном по предложению Филоклеса, но несмотря на возражения Адейманта - отрубить правые руки всем пленным. Каким бы ни было мнение Филоклеса, крайне маловероятно, что афиняне когда-либо принимали подобное решение. 322] Однако в этом собрании союзников, помимо всего, что можно было сказать против Афин с правдой, несомненно, нашли поддержку самые экстравагантные лживые измышления. Все афинские пленники, захваченные при Игоспотаме, числом в три или четыре тысячи, были немедленно истреблены, во главе их встал сам Филоклес. 323] Последний, которого Лисандр дразнил жестокой казнью коринфских и андрийских экипажей, не стал отвечать, а поставил себя в видном облачении во главе пленников, которых вели на казнь. Если верить Павсанию, даже тела пленников остались непогребенными.

Никогда еще победа не была более полной сама по себе, более ошеломляющей по своим последствиям или более позорной для побежденных генералов, взятых вместе, чем победа при Игоспотаме. Была ли она на самом деле очень славной для Лисандра, сомнительно; ведь впоследствии не только в Афинах, но, похоже, и в других частях Греции было распространено мнение, что афинский флот был продан на погибель из-за измены некоторых из его собственных командиров. Это подозрение оправдывают и Конон, и Филоклес. Главным предателем был назван Адеймант, а вместе с ним и Тидей. 324 Конон даже выдвинул обвинение в этом против Адейманта,[325] возможно, в письме, написанном домой с Кипра, а возможно, в каком-то официальном заявлении, сделанном несколько лет спустя, когда он вернулся в Афины победителем из битвы при Книде. Истинность этого обвинения не может быть доказана с уверенностью, но все обстоятельства битвы склоняют к тому, чтобы сделать его вероятным, как и тот факт, что Конон один среди всех полководцев был найден в приличном состоянии подготовки. К этому можно добавить, что полное бессилие и инертность многочисленного афинского флота в течение всего лета 405 года до н. э. наводят на мысль о подобном объяснении. Лисандр, владевший всеми сокровищами Кира, не мог применить ни одной их части с большей эффективностью, чем при развращении большинства из шести афинских полководцев, чтобы свести на нет всю энергию и способности Конона.

Великое поражение Эгоспотамов произошло около сентября 405 года до н. э. О нем стало известно в Пирее благодаря паралу, который прибыл туда ночью прямо из Геллеспонта. Такой беды и агонии Афины еще не испытывали. Об ужасном бедствии на Сицилии народ

узнал постепенно, без какого-либо официального сообщения; но вот официальный гонец, только что прибывший с места событий, не оставил места для сомнений в масштабах бедствия и непоправимой гибели, надвигающейся на город. Плач и вопли горя, начавшиеся в Пейреусе, были переданы стражниками, стоявшими на Длинных стенах, в город. "В ту ночь (говорит Ксенофонт) ни один человек не спал; не только от печали о прошлом бедствии, но и от ужаса перед будущей участью, которая теперь грозила им самим, как возмездие за то, что они сами нанесли эгинетянам, мелийцам, скионцам и другим". После этой ночи несчастий они собрались на следующий день на общественное собрание, решив сделать все возможное для осады, привести стены в состояние полной обороны и заблокировать два из трех портов. [326](#) Для Афин отказаться от морских действий, которые были гордостью и славой города со времен битвы при Саламине, и ограничиться обороной в собственных стенах было унижением, которое не оставляло ничего хуже, кроме голода и капитуляции.

Лисандр не спешил переходить от Геллеспонта к Афинам. Он знал, что теперь в Афины не доплывут корабли с кукурузой из Эвксинского моря, а из других мест припасов будет мало, и что силы города, способные противостоять блокаде, должны быть очень ограничены; тем более ограничены, чем большее количество людей скопилось в нем. Поэтому он разрешил афинским гарнизонам, которые капитулировали, идти только в Афины и никуда больше. [327](#) Первой его мерой было овладение Халкедоном и Византией, где он поставил лакедемонянина Стенелая в качестве гармаста с гарнизоном. Затем он перешел на Лесбос, где провел аналогичные мероприятия в Митилене и других городах. В них, как и в других городах, перешедших под его власть, он учредил олигархию из десяти местных граждан, выбранных из числа его самых смелых и беспринципных сторонников, и назвал ее декархией, или декархией, для управления совместно с лакедемонским гармостом. Этеоник был послан во фракийские города, находившиеся в зависимости от Афин, чтобы ввести аналогичные изменения. В Фасе, однако, эти изменения были омрачены большим кровопролитием: там была многочисленная фило-афинская партия, которую Лисандр выманил из своего укрытия в храм Гераклеи под ложным предлогом амнистии: когда они собрались под этим обещанием, их всех предали смерти.[328](#) Кровопролитные процессы такого же характера, многие в присутствии самого Лисандра, вместе с массовыми изгнаниями граждан, противных его новым декархиям, повсюду сигнализировали о замене спартанского правления афинским. [329](#) Но нигде, кроме Самоса, граждане или фило-афинская партия в городах не продолжали открытой вражды, не сопротивлялись силой вступлению Лисандра и его революционным изменениям. На Самосе они еще держались: народ слишком сильно боялся этой олигархии, которую он изгнал во время восстания 412 г. до н. э., чтобы уступить без дальнейшей борьбы.[330](#) С этим единственным резервом все города, находившиеся в союзе или зависимости от Афин, без сопротивления подчинились как верховенству, так и подрывным мерам лакедемонского адмирала.

Таким образом, Афинская империя была уничтожена, а Афины остались в полном одиночестве. Что было не менее болезненно, все ее клерухи, или пришлые граждане, которых она ранее поселила на Эгине, Мелосе и других островах, а также в Херсонесе, теперь были лишены своего имущества и изгнаны домой. Ведущие фило-афиняне в Тасусе, Византии и других зависимых городах[332](#) были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в Афинах, находясь в таком же безвыходном положении. Таким образом, все способствовало обнищанию и многочисленным страданиям, как физическим, так и моральным, в ее стенах. Однако, несмотря на давление нынешних бедствий и еще худшие перспективы на будущее, афиняне, как могли, готовились к достойному сопротивлению.

Одной из их первых мер стало восстановление гармонии и заинтересованности всех в защите города, устранив всевозможные препятствия, от которых могли страдать отдельные граждане. Поэтому Патроклидес, предварительно получив специальное разрешение народа, без которого было бы неконституционно вносить предложения об отмене судебных приговоров или освобождении должников, регулярно вносимых в государственные реестры, представил указ, подобного которому не было с тех пор, когда Афины находились в столь же отчаянном положении, во время наступления Ксеркса. Всех должников государства, как недавних, так и давних; всех должностных лиц, которые сейчас находятся под следствием у логистов или должны предстать перед дикастерием по обычной отчетности после вступления в должность; всех лиц, которые погашают в рассрочку долги перед обществом или дают залог за причитающиеся суммы; все лица, приговоренные либо к полному лишению гражданских прав, либо к какому-либо определенному лишению прав или инвалидности; и даже все те, кто, будучи членами или помощниками Четырехсот, предстали потом перед судом и были приговорены к любому из вышеупомянутых наказаний; все эти лица были помилованы и освобождены; все записи о наказаниях или осуждениях было приказано уничтожить. Из этого всеобъемлющего помилования были исключены: Те из Четырехсот, кто бежал из Афин, не выдержав суда ; те, кто был приговорен к изгнанию или смерти Ареопагом или любым другим учрежденным трибуналом за убийство или за подрыв общественной свободы. Было приказано не только уничтожить публичные реестры всех вынесенных таким образом приговоров, но и запретить под угрозой сурового наказания любому частному лицу хранить их копии или делать какие-либо намеки на эти несчастия[333].

В соответствии со всеобъемлющей амнистией и прощением, принятыми народом в этом указе Патроклидеса, все граждане дали друг другу торжественное обещание о взаимном согласии в акрополе. 334 Примирение, введенное таким образом, позволило им лучше переносить свои бедствия;[335] тем более что лица, облегченные амнистией, в большинстве своем не были людьми политически недовольными, как изгнанники. Восстановление последних было мерой, о которой никто не думал: действительно, значительная их часть находилась и все еще находилась в Декелее, помогая лакедемонянам в их войне против Афин.[336] Но даже самые благоразумные внутренние меры мало что могли сделать для Афин в отношении их главной трудности - обеспечения пропитания для многочисленного населения в ее стенах, ежедневно увеличивающегося за счет гарнизонов и граждан в других местах. Гарнизон в Декелее надолго отрезал ее от продуктов Аттики; она ничего не получала из Эвбеи, а после поражения Эгоспотамы - ни из Эвксинского моря, ни из Фракии, ни с островов. Возможно, немного кукурузы все же доходило до нее с Кипра, и ее небольшой оставшийся флот делал все возможное, чтобы поддерживать снабжение Пейреуса,[337] несмотря на угрожающие запреты Лисандра, предварительно уступив его прибытию, чтобы эффективно блокировать его; но накопить какие-либо запасы для осады было совершенно невозможно.

В конце концов, около ноября 405 года до н. э. Лисандр достиг Саронического залива, заранее предупредив Агиса и лакедемонян о своем приближении с флотом из двухсот трирем. Лакедемоняне и пелопоннесцы в полном составе (все, кроме аргейцев) под командованием царя Павсания отправились в Аттику, чтобы встретить его, и расположились лагерем в Академе, у ворот Афин; Лисандр же, сначала приплыв в Эгину со своим огромным флотом в сто пятьдесят кораблей, а затем, разорив Саламис, полностью блокировал гавань Пейре. Одной из первых его мер было собрать воедино остатки эгинетского и мелийского населения, которых Афины изгнали и уничтожили, и вернуть им владение их древними островами[338].

Хотя все надежды уже угасли, гордость, решимость и отчаяние Афин все еще позволяли их гражданам держаться; и только когда некоторые люди начали умирать от голода, они послали предложения о мире. Но и тогда их предложения были не лишены достоинства. Они предложили Агису стать союзниками Спарты, сохранив свои стены и укрепленную гавань Пейреус. Агис направил посланцев к эфорам Спарты, которым одновременно передал изложение их предложений. Но эфоры даже не соизволили пригласить посланников на беседу, а отправили гонцов встретиться с ними в Селласии на границе Лаконии, желая, чтобы они вернулись и снова пришли, подготовив что-нибудь более приемлемое, и одновременно объясняя им, что не может быть принято ни одно предложение, которое не включало бы разрушение Длинных стен на протяжении десяти стадий. С этим мрачным ответом посланники вернулись. Несмотря на все страдания города, сенат и народ не соглашались даже принять к рассмотрению столь унижительные условия. Сенатор по имени Архестрат, который советовал принять их, был помещен под стражу, а по предложению Клеофона было проведено общее голосование[339], запрещающее впредь вносить подобные предложения.

Такое голосование свидетельствует о мужественном терпении как сената, так и народа; но, к несчастью, оно не сулило никаких улучшений, а страдания в стенах города продолжали все более усугубляться. В этих условиях Фераменес предложил народу отправиться в качестве посланника к Лисандру и Спарте, утверждая, что он сможет узнать, каковы истинные намерения эфоров в отношении Афин, действительно ли они собираются выкорчевать население и продать его в рабство. Кроме того, он утверждал, что обладает личным влиянием, основанным на обстоятельствах, которые он не может разглашать, и которые, вероятно, позволят смягчить наказание. Несмотря на решительные протесты сената Ареопага и других, его послали, не имея никаких полномочий на заключение, просто узнать и доложить. Мы с изумлением слышим, что он более трех месяцев оставался спутником Лисандра, который, как он утверждал, задержал его так надолго и только после начала четвертого месяца сообщил ему, что никто, кроме эфоров, не имеет права даровать мир. Похоже, что целью Фераменеса было изнурить терпение афинян и довести их до такого состояния невыносимых страданий, чтобы они согласились на любые условия мира, которые только принесут в город провизию. Этот замысел ему полностью удался; и если учесть, насколько велики были лишения людей даже к моменту его отъезда, то нелегко понять, как они смогли бы выдержать затяжной и усиливающийся голод еще три месяца[340].

Мы мало что можем сказать об этих последних минутах жизни императорских Афин. Мы находим только героическую стойкость, проявленную до такой степени, что многие фактически умерли от голода, не никакого предложения сдаться на унижительных условиях.[341] Среди общей ярости и обостренных особых антипатий, возникших в результате такого бедственного положения, ведущие люди, которые наиболее искренне выступали за длительное сопротивление, стали последовательными жертвами преследований своих врагов. Демагог Клеофон был осужден и предан смерти по обвинению в уклонении от воинского долга; сенат, чьи нравы и действия он осуждал, сам стал частью дикастерии, которая судила его, вопреки формам и духу афинского судопроизводства.[342] Однако такие процессы, хотя и осуждались ораторами в последующие годы как способствовавшие преданию города в руки врага, не оказали серьезного влияния на результат, который был достигнут исключительно из-за голода.

К тому времени, когда Тераменес вернулся после своего долгого отсутствия, давление стало настолько ужасным, что его снова отправили в путь с инструкциями заключить мир на любых условиях. Достигнув Селласии и ознакомив эфоров с тем, что он прибыл с неограниченными

полномочиями для заключения мира, он получил разрешение прибыть в Спарту, где было созвано собрание Пелопоннесской конфедерации, чтобы решить, на каких условиях должен быть заключен мир. Ведущие союзники, особенно коринфяне и фиванцы, рекомендовали не заключать никаких соглашений и не предпринимать никаких дальнейших мер с этим ненавистным врагом, находящимся сейчас в их власти, а искоренить имя Афин и продать их население в рабство. Многие другие союзники придерживались того же мнения, и, вероятно, они получили бы большинство голосов, если бы не решительное противодействие самих лакедемонян, которые недвусмысленно заявили, что никогда не согласятся уничтожить или поработить город, оказавший такую большую услугу всей Греции во время великой общей опасности от персов.^[343] Лисандр рассчитывал так поступить с Афинами, чтобы сделать их зависимой страной и инструментом усиления власти Спарты, помимо ее союзников. Мир был заключен на следующих условиях: Длинные стены и укрепления Пирея должны быть разрушены; афиняне должны отказаться от всех своих иностранных владений и ограничиться собственной территорией; сдать все свои военные корабли; отпустить всех своих изгнанников; стать союзниками Спарты, следуя ее руководству на море и на суше и признавая одних и тех же врагов и друзей^[344].

С этим документом, написанным по лакедемонскому обычаю на скитальце, или свитке, предназначенном для обхвата палки, из которых лакедемонский полководец всегда имел одну, а эфоры другую, соответствующую, - Тераменес отправился обратно в Афины. Когда он вошел в город, вокруг него собралась жалкая толпа, в страхе и ужасе от того, что он не справился со своей миссией. Мертвых и умирающих стало так много, что мир любой ценой был благом; тем не менее, когда он объявил в собрании условия, носителями которых он был, настоятельно рекомендуя подчиниться лакедемонянам как единственное возможное решение, нашлось все же пылкое меньшинство, которое выразило свой протест и предпочло смерть от голода такому невыносимому позору. Однако подавляющее большинство приняло их, и это согласие было доведено до сведения Лисандра^[345].

Именно 16-го числа аттического месяца мунихиона^[346] - примерно в середине или конце марта - этот победоносный полководец отплыл в Пирей, спустя двадцать семь лет, почти ровно после того, как фиванцы внезапно захватили Платею, открыв Пелопоннесскую войну. Вместе с ним прибыли афинские изгнанники, некоторые из которых, судя по всему, служили в его армии^[347] и помогали ему своими советами. Для населения Афин в целом его приход был немедленным облегчением, несмотря на жестокую деградацию или, более того, политическое исчезновение, которым он сопровождался. По крайней мере, он предотвратил страдания и ужасы голода и позволил достойно похоронить многих несчастных жертв, которые уже погибли. Лакедемоняне, как морские, так и военные силы, под командованием Лисандра и Агиса, продолжали занимать Афины до тех пор, пока не были выполнены условия мира. Все триремы в Пирее были уведены Лисандром, кроме двенадцати, которые он разрешил афинянам оставить: эфоры в своих скитальцах оставили на его усмотрение, какое число он разрешит. [Недостроенные корабли в доках были сожжены, а сами арсеналы разрушены. ³⁴⁹ Разрушение Длинных стен и укреплений Пейреуса было делом времени, и афинянам было дано определенное количество дней, в течение которых оно должно было быть завершено. В начале работы лакедемоняне и их союзники протягивали руку помощи с полной гордостью и ликованием завоевателей; среди женщин, играющих на флейте, и танцоров, увенчанных венками, раздавались радостные восклицания пелопоннесских союзников, что это первый день греческой свободы. [Сколько дней было отведено на выполнение этой унижительной обязанности, возложенной на афинян, - разрушить тщательно продуманные, покровительственные и властные творения их предков, - нам не известно. Но дело не было завершено в указанный срок, так что афиняне не выполнили условия и, следовательно, по строгой логике, лишились права на дарованный мир^[351]. Однако этот срок,

по-видимому, был продлен; вероятно, учитывая, что для настоящего труда, а также меланхоличный характер предстоящей работы, сначала было отпущено слишком мало времени.

Похоже, что Лисандр, приняв участие в торжественной церемонии начала разрушения стен и проделав такую брешь, которая оставила Афины без каких-либо существенных средств сопротивления, не остался завершать работу, а удалился с частью своего флота для осады Самоса, который еще держался, оставив остальных следить за выполнением выдвинутых условий.^[352] После столь долгого терпения крайних страданий, несомненно, население в целом не думало ни о чем, кроме как об избавлении от голода и его последствий, не имея ни малейшего желания выступить против воли своих завоевателей. Если некоторые высокодуховные люди составляли исключение из всепроникающей депрессии и все еще сохраняли мужество в ожидании лучших дней, то в то же время существовала партия совершенно противоположного характера, для которой опустошенное состояние Афин было источником мести за прошлое, ликования за настоящее и амбициозных проектов на будущее. Отчасти это были остатки той фракции, которая за семь лет до этого установила олигархию Четырехсот, а еще больше - изгнанники, в том числе несколько членов Четырехсот,^[353] которые теперь стекались сюда со всех концов. Многие из них долгое время служили в Декее и составляли часть войска, блокировавшего Афины. Теперь эти изгнанники вернулись на акрополь в качестве завоевателей и с восторгом увидели полное завершение той иностранной оккупации, к которой многие из них стремились семь лет назад, когда строили крепость Эктейонею в качестве средства обеспечения собственной власти. Хотя навязанные условия сразу же уничтожили императорский характер, морскую мощь, честь и независимость Афин, эти люди, как и Лисандр, стремились привести их в исполнение; ведь продолжение афинской демократии теперь полностью зависело от его милости, а создание олигархий в других покоренных городах ясно намекало на то, что он сделает в этом великом очаге греческого демократического импульса.

Среди этих изгнанников были Аристодем и Аристотелес, оба, по-видимому, важные персоны: первый в свое время был одним из Эллиноتامов, первого финансового управления имперской демократии, а второй - активным членом Четырехсот;^[354] также Хариклес, который так отличился своей жестокостью в расследовании дела Гермеса, и еще один человек, о котором мы впервые получаем исторические знания в деталях, - Критий, сын Каллесхара. Он был одним из тех, кого обвиняли в причастности к изувечиванию Гермеса, и, похоже, долгое время занимал важное место в политическом, литературном и философском мире Афин. Во всех трех сферах его способности позволяли ему оказывать честь. И его поэзия, написанная в солонском или морализаторском духе, и его красноречие, образцы которого сохранились в эпоху Августа, не отличались особыми достоинствами. Его богатство было большим, а семья - одной из самых древних и выдающихся в Афинах: один из его предков был другом и соратником законодателя Солона. Сам он приходился дядей по материнской линии философу Платону^[355] и часто бывал в обществе Сократеса, так что в общественном сознании его имя тесно ассоциировалось с этим выдающимся человеком. Мы не знаем ни причины, ни даже даты его изгнания, за исключением того, что он не был в изгнании сразу после революции Четырехсот и что он *был* в изгнании в то время, когда генералы были осуждены после битвы при Аргинусе.^{356]} Он провел время или часть времени своей ссылки в Фессалии, где он принял активное участие в кровавых расправах, которые велись среди олигархических партий этой незаконной страны. Говорят, что вместе с вождем по имени или фамилии Прометей он принимал в Фессалии демократическую сторону, вооружая пенестов, или крепостных, против их хозяев.^[357] Какими были поведение и склонности Крития до этого периода, мы не можем сказать; но теперь, по возвращении из изгнания, он принес с собой не только безмерную и беспринципную жажду власти, но и яростный импульс к разрушению и кровопролитию^[358], который превзошел даже его амбиции и в конечном итоге погубил и его партию, и его самого.

Из всех этих вернувшихся изгнанников, движимых смешанной местью и амбициями, Критий, как и Антифон среди Четырехсот, был, несомненно, ведущим человеком; отчасти из-за своих способностей, отчасти из-за превосходной жестокости, с которой он проводил в жизнь общие настроения. В данный момент он и его товарищи по изгнанию стали самыми важными персонами в городе, поскольку пользовались наибольшей дружбой и доверием завоевателей. Но олигархическая партия дома не отставала от них ни в раболепстве, ни в революционном пылу, и вскоре между ними установилось взаимопонимание. Вероятно, старая фракция Четырехсот, хотя и была подавлена, так и не угасла полностью: во всяком случае, политические гетеры, или клубы, из которых она состояла, все еще оставались, готовые к новому сотрудничеству, когда наступит благоприятный момент; а катастрофа в Эгоспотаме ясно показала всем, что такой момент может быть не за горами. Поэтому значительная часть, если не большинство, сенаторов была готова пойти на уничтожение демократии и стремилась лишь обеспечить себе места в олигархии;^[359] в то время как гибкий Фераменес, занявший место олигархического лидера и злоупотреблявший своей миссией посланника, чтобы истощить терпение своих полунищих соотечественников, во время своего трехмесячного отсутствия в палатке Лисандра договаривался с изгнанниками о будущих действиях^[360].

Как только город сдался, и пока еще продолжались работы по его разрушению, олигархическая партия начала организовываться. Члены политических клубов снова собрались вместе и назначили управляющий комитет из пяти человек, которых лакедемоняне называли эфорами, для руководства общими делами партии, для созыва собраний, когда это было необходимо, для назначения подчиненных управляющих для различных племен и для определения предложений, которые должны быть представлены общественному собранию. ^{361]} Среди этих пяти эфоров были Критий и Эратосфенес; возможно, также Фераменес.

Но олигархическая партия, хотя и была организована и возвысилась, имея сговорчивый сенат и удрученный народ, а также вспомогательного врага, фактически находящегося в руках, все же считала себя недостаточно сильной, чтобы осуществить задуманные изменения без захвата наиболее решительных из демократических лидеров. Поэтому гражданин по имени Феокрит представил сенату обвинение против полководца Стромбихидеса, а также нескольких других демократических полководцев и таксиархов, подкрепленное показаниями раба, или низкороджденного, по имени Агоратус. Хотя Никиас и другие граждане пытались убедить Агората покинуть Афины, снабдили его средствами для побега и предложили ему самому уехать из Мунихии, пока политическое положение Афин не придет в более спокойное состояние,^[362] он отказался уйти, предстал перед сенатом и обвинил генералов в участии в заговоре с целью нарушить мир, выдавая себя за их сообщника. По его доносу, сделанному как перед сенатом, так и перед собранием в Мунихии, генералы, таксиархи и несколько других граждан, людей высокопоставленных и мужественных патриотов, были заключены в тюрьму, как и сам Агоратус, чтобы впоследствии предстать перед судом дикастерии, состоявшей из двух тысяч членов. Один из обвиняемых, Менестрат, будучи допущен общественным собранием по предложению Хагнодоруса, шурина Крития, в качестве свидетеля обвинения, назвал еще нескольких сообщников, которые также были немедленно заключены под стражу^[363].

Хотя самые решительные защитники демократической конституции были таким образом устранены, Критий и Тераменес еще больше обеспечили успех своих предложений, ссылаясь на присутствие Лисандра с Самоса. Когда разрушение стен было завершено, основная блокирующая армия распущена, а голод немедленно утих, было созвано собрание для определения будущих изменений конституции. Гражданин по имени Драконтидес^[364] предложил создать Совет тридцати, который должен был разработать законы для будущего управления городом и временно управлять общественными делами, пока эта задача не будет выполнена. Среди

тридцати человек, предложенных Фераменесом и пятью олигархическими эфорами, наиболее известными были имена Крития и Фераменеса: кроме них, были Драконтидес, Ономаклес, один из четырехсот бежавших, Аристотелес и Хариклес, оба изгнанника, недавно вернувшиеся, Эратосфенес, и другие, о которых мы не знаем, но из которых, вероятно, несколько также были изгнанниками или членами четырехсот. [Хотя это было полной отменой конституции, заговорщики настолько осознавали свою силу, что не сочли нужным предложить формальную приостановку *graphê paranomôn*, как это было сделано до установления прежней олигархии. Тем не менее, несмотря на захват лидеров и всеобщее запугивание, в собрании раздался громкий ропот недовольства предложением Драконтидеса. Но Фераменес поднялся, чтобы опровергнуть этот ропот, и заявил собранию, что у этого предложения много сторонников даже среди самих граждан, и что оно, кроме того, получило одобрение Лисандра и лакедемонян. Вскоре это подтвердил и сам Лисандр, лично обратившись к собранию. Угрожающим и презрительным тоном он заявил им, что Афины теперь в его власти, поскольку стены не были разрушены до назначенного дня, а значит, условия обещанного мира были нарушены. Он добавил, что если они не примут рекомендацию Фераменеса, то будут вынуждены думать не о политической конституции, а о своей личной безопасности. После столь явного и сокрушительного предупреждения дальнейшее сопротивление оказалось тщетным. Все несогласные покинули собрание в печали и негодовании, а остаток - по словам Лисия, незначительный по численности и никчемный по характеру - остался, чтобы проголосовать за принятие предложения[366].

За семь лет до этого Фераменес совместно с Антифоном и Фринихом внес аналогичное предложение об установлении Четырехсот; он добился согласия на это путем внутреннего терроризма, а также многочисленных убийств. Теперь он вместе с Критием и остальными во второй раз уничтожил конституцию своей страны, подвергнув еще большему унижению иностранного завоевателя, диктовавшего условия афинскому народу, собравшемуся в их собственном Пниксе. Увидев, что Тридцатилетний состав сформирован правильно, Лисандр удалился из Афин, чтобы закончить осаду Самоса, который все еще держался. Несмотря на то, что Самос был блокирован как с суши, так и с моря, саамитяне упорно оборонялись еще несколько месяцев, до конца лета. И только после последней крайности они капитулировали, получив разрешение на безопасный отъезд каждого свободного человека, но без всякого имущества, кроме одной одежды. Лисандр передал город и имущество древним гражданам, то есть олигархии и их сторонникам, которые были частично изгнаны, частично лишены гражданских прав во время революции за восемь лет до этого. Но управление Самосом, как и другими городами, он передал в руки одной из своих декадархий, или олигархии десяти саамитян, выбранной им самим; оставив Торакса лакедемонским хармостом и, несомненно, силой при нем[367].

Завершив таким образом войну и выбив последнюю искру сопротивления, Лисандр с триумфом вернулся в Спарту. Такого грандиозного триумфа не выпадало на долю ни одного грека ни до, ни после. Он привел с собой все триремы, вышедшие из гавани Пирея, кроме двенадцати, оставленных афинянам в качестве уступки; он привез украшения для носа всех кораблей, захваченных при Игоспотаме и в других местах; он был нагружен золотыми коронами, подаренными ему различными городами; и далее он выставил денежную сумму, не менее четырехсот семидесяти талантов, остаток тех сокровищ, которые Кир передал ему для продолжения войны.[368] Эта сумма была больше, но, как говорят, уменьшилась из-за вероломства Гилиппа, которому она была передана на хранение и который таким подлым мошенничеством запятнал лавры, столь славно заработанные им в Сиракузах. [369] Не только триумфальные свидетельства прошлых подвигов украшали теперь этого вернувшегося адмирала. Кроме того, он обладал реальной властью, большей, чем любой другой грек до или после него. Императорская Спарта, какой она теперь стала, была как бы олицетворена в Лисандре, который

был хозяином почти всех островных, азиатских и фракийских городов, с помощью хармоста и местных декархий, названных им самим и выбранных из его креатур. К этому положению вещей мы еще вернемся, когда проследим за богатой событиями историей Тридцати в Афинах.

Эти тридцать человек - аналог декархий, которые Лисандр учредил в других городах, - были предназначены для той же цели, чтобы поддерживать город в состоянии унижения и зависимости от Лакедемонии и от Лисандра, как представителя Лакедемонии. Хотя они были назначены с претензией разработать схему законов и конституции для Афин, они не спешили приступать к выполнению этой обязанности. Они назначили новый сенат, состоящий из податливых, уверенных и олигархических лиц; в него вошли многие из возвратившихся изгнанников, ранее входивших в состав Четырехсот, а также многие из прежних сенаторов, готовых служить их замыслам. [Они также назначили новых магистратов и должностных лиц: новый совет из одиннадцати человек для управления полицией и общественной силой, с Сатиром, одним из их самых жестоких приверженцев, в качестве начальника; совет из десяти человек для управления в Пирее; [371] архонта, чтобы дать имя году, Пифодара, и второго, или царя-архонта, Патроклеса, [372] чтобы приносить обычные жертвы от имени города. Обеспечивая таким образом собственное возвышение и передавая всю власть в руки наиболее жестоких олигархических сторонников, они начали с исповедания реформаторских принципов строжайшей добродетели, осуждения злоупотреблений прошлой демократии и объявления о своей решимости очистить город от злодеев. [Философ Платон - в то время молодой человек двадцати четырех лет, антидемократически настроенный, племянник Крития - был сначала введен в заблуждение, вместе с другими, этими великолепными признаниями; он питал надежды и даже получал поощрение от своих родственников, что он может играть активную роль в новой олигархии. 374] Хотя он вскоре понял, насколько мало его чувства с их чувствами, но в начале, несомненно, такие честные иллюзии значительно способствовали укреплению их рук.

Во исполнение своего замысла искоренить злодеев Тридцать сначала наложили руки на некоторых из самых отвратительных политиков прежней демократии; "людей (говорит Ксенофонт), о которых все знали, что они живут, выдвигая клеветнические обвинения, называемые подхалимством, и которые были ярко выражены в своей вражде к олигархическим гражданам". Насколько большинство из этих людей были честны или нечестны в своем предыдущем политическом поведении при демократии, мы не можем определить. Но среди них были Стромбихидес и другие офицеры-демократы, заключенные в тюрьму по доносу Агората, - люди, чье главное преступление заключалось в твердой и непреклонной привязанности к демократии. Схваченные таким образом люди были преданы суду нового сената, назначенного Тридцатью, вопреки голосованию народа, который постановил, что Стромбихидес и его спутники должны быть судимы перед дикастерией из двух тысяч граждан. [375] Но дикастерия, как и все другие демократические учреждения, теперь была упразднена, и не осталось никакого судебного органа, кроме вновь образованного сената. Но даже этому сенату, хотя и состоявшему из их приверженцев, Тридцать не решились доверить суд над заключенными и тайну голосования, которая, как было хорошо известно в Афинах, была необходима для свободного и подлинного выражения чувств. Когда судили заключенных, Тридцать сами присутствовали в сенате, сидя на скамьях, которые раньше занимали пританы: перед ними ставили два стола, один означал осуждение, другой - оправдание; и каждый сенатор должен был открыто положить свой камешек перед ними, либо на один, либо на другой. [376] Это был не просто суд сената, но суд сената под давлением и запугиванием всемогущих Тридцати. Кажется вероятным, что не было допущено ни подобия защиты, ни оправдательных свидетелей; но даже если такие формальности не были

полностью исключены, несомненно, что настоящего суда не было, а осуждение было гарантировано заранее. Среди огромного количества людей, которых Тридцать привели в сенат, не было оправдано ни одного человека, кроме доносчика Агората, который был привлечен к суду как сообщник вместе со Стромбихидесом и его товарищами, но был освобожден в качестве компенсации за информацию, которую он дал против них.^[377] Заявление Исократеса, Лисия и других о том, что жертвы Тридцати, даже когда они предстали перед сенатом, были преданы смерти без суда, является достоверным и заслуживающим доверия: многие были даже преданы смерти по простому приказу самих Тридцати, без всякого рассмотрения сенатом.^[378]

Что же касается лиц, впервые привлеченных к суду, то независимо от того, считаем ли мы их, как намекает Ксенофонт, отъявленными злодеями или невинными страдальцами от реакционной мести возвращающихся олигархических изгнанников, как это, несомненно, было в случае со Стромбихидесом и обвиненными вместе с ним офицерами, - необходимость в каком-либо принуждении со стороны Тридцати по отношению к сенату была невелика. Сам этот орган разделял настроения, диктовавшие осуждение, и действовал как добровольное орудие; сами же Тридцать были единодушны, причем Тераменес проявил в этих казнях даже большее рвение, чем Критий, чтобы продемонстрировать свою искреннюю антипатию к угасшей демократии. [Но поскольку все осужденные, справедливо или несправедливо, были отмечены как политические деятели, то и все остальные граждане, не принимавшие заметного участия в политике, даже если они не одобряли осуждения, не могли предположить, что их ждет подобная участь. Итак, Фераменес, а вместе с ним и часть Тридцати, а также сената, были склонны сделать паузу. Хотя было сделано достаточно, чтобы удовлетворить их антипатию смертью самых отвратительных лидеров демократии, они в то же время считали олигархическое правительство надежно установленным и утверждали, что дальнейшее кровопролитие только поставит под угрозу его стабильность, распространяя тревогу, умножая врагов и отчуждая друзей, а также нейтралов.

Но это не было мнением ни Крития, ни Тридцати, которые смотрели на свое положение совсем другими глазами, чем непостоянный и хитрый Тераменес, и которые привезли с собой из изгнания долгую месть, которую еще предстояло утолить. Критий хорошо знал, что многочисленное население Афин было преданно и не без оснований привязано к своей демократии; что существующее правительство было навязано им силой и могло поддерживаться только силой; что его друзья составляли незначительное меньшинство, неспособное поддержать его против окружающего их множества, сплошь вооруженного; что оставалось еще много грозных врагов, от которых нужно было избавиться, так что было необходимо призвать на помощь постоянный лакедемонский гарнизон в Афинах, как единственное условие не только стабильности правительства, но даже их личной безопасности. Несмотря на сопротивление Фераменеса, Исинес и Аристотелес, двое из Тридцати, были отправлены в Спарту, чтобы попросить помощи у Лисандра; тот предоставил им лакедемонский гарнизон под командованием Каллибия, который они обязались содержать без каких-либо затрат со стороны Спарты, пока их правительство не будет подтверждено путем устранения злодеев с дороги. [Каллибий не только стал хозяином акрополя, полного памятников афинской славы, но и был так обласкан и покорен Тридцатью, что соглашался на все, о чем они просили. Таким образом, в их распоряжении постоянно находились лакедемонские военные силы, а также организованная группа молодых спутников и убийц, готовых на любые насильственные действия; они захватили и предали смерти многих граждан, которые отличались храбростью и патриотизмом и могли послужить вождями общественного недовольства. Таким образом, несколько лучших людей Афин последовательно погибли, а Фрасибул, Анит и многие другие, опасаясь подобной участи, бежали из Аттики, оставив свое имущество на конфискацию и присвоение олигархам,^[381] которые в их отсутствие приняли указ об изгнании их, а также Алкивиада^[382].

Против этих последовательных актов мести и насилия горячо возражал Тераменес, как в совете Тридцати, так и в сенате. По его словам, казненные до сих пор заслуживали смерти, поскольку они были не только известными политиками при демократии, но и людьми, заметно враждовавшими с олигархами. Но подвергать такой же участи других, не проявлявших подобной враждебности, только потому, что они пользовались влиянием при демократии, было бы несправедливо: "Даже мы с тобой (напомнил он Критию) многое говорили и делали ради популярности". Но Критий ответил: "Мы не можем позволить себе быть щепетильными; мы вовлечены в план агрессивных амбиций и должны избавиться от тех, кто способен помешать нам. Хотя нас тридцать, а не один, наше правительство не менее деспотично и должно охраняться столь же ревностными мерами предосторожности. Если вы думаете иначе, вы, должно быть, простодушны". Таковы были настроения, одушевлявшие большинство Тридцати, не менее Крития, и побуждавшие их к бесконечной череде захватов и казней. Их жертвами становились не только менее отвратительные политики-демократы, но и люди мужественные, богатые, занимающие высокое положение, в любом проявлении политических чувств: даже олигархи, лучшие и самые высокопринципиальные представители этой партии, разделили ту же участь. Среди наиболее выдающихся страдальцев были Ликург,^[383] принадлежавший к одному из самых выдающихся священных родов государства; богатый человек по имени Антифон, который в последние годы войны с образцовым патриотизмом посвятил свое состояние государственной службе и за свой счет снарядил две хорошо оснащенные триремы; Леон из Саламиса; и даже Никрат, сын Никиаса, погибшего при Сиракузах; человек, унаследовавший от отца не только большое состояние, но и известное отвращение к демократической политике, вместе со своим дядей Евкратесом, братом того же Никиаса.^[384] Это лишь немногие из многочисленных жертв, которые были схвачены, признаны виновными сенатом или самими Тридцатью, переданы Сатиру и Одиннадцати и приговорены к смерти через обычную порцию болиголова.

Обстоятельства, сопровождавшие захват Леона, заслуживают особого внимания. Предавая его и других жертв смерти, Тридцать преследовали несколько целей, направленных на поддержание стабильности своего господства. Во-первых, таким образом они избавились от известных и уважаемых граждан, чье отвращение, как они знали, заслуживали сами, и кого они опасались, как способного направить общественные настроения против них. Во-вторых, имущество этих жертв, все из которых были богаты, конфисковывалось вместе с их лицами и использовалось для оплаты услуг спутников, без чьего участия не обходились подобные насилия, особенно Каллибия и лакедемонских гоплитов в акрополе. Но, кроме убийств и грабежей, у Тридцати была и другая цель, по возможности еще более гнусная. Для захвата своих жертв они не только использовали руки этих платных спутников, но и посылали вместе с ними граждан, занимающих высокое положение и пользующихся уважением, которых они угрозами и запугиванием заставляли оказывать личную помощь в столь отвратительной службе. Участвуя таким образом, эти граждане становились скомпрометированными и погрязшими в преступлениях и, так сказать, соглашателями в глазах общественности всех проектов Тридцати;^[385] подвергались той же всеобщей ненависти, что и последние, и были заинтересованы ради собственной безопасности в сохранении существующего господства. Следуя своему общему плану вовлечения невольных граждан в свои злодеяния, Тридцать послали за пятью гражданами в толус, или дом правительства, и приказали им с ужасными угрозами переправиться в Саламин и привести обратно Леона в качестве пленника. Четверо из пяти повиновались; пятым был философ Сократес, который отказался от всех уговоров и вернулся в свой дом, а остальные четверо отправились в Саламин и приняли участие в захвате Леона. Несмотря на то, что он таким образом выдержал весь

гнев Тридцати, похоже, что они сочли целесообразным оставить его нетронутым. Но тот факт, что они выбрали его для такого зверства, - старого человека с испытанной добродетелью, как личной, так и общественной, и умственно сильного, хотя в то же время интеллектуально непопулярного, - показывает, до какой степени они довели свою систему принуждения невольных участников; а другое обстоятельство, что он был единственным человеком, у которого хватило мужества отказаться, среди четырех других, поддавшихся запугиванию, показывает, что эта политика в основном была успешной. [Непреклонное сопротивление Сократеса в этом случае служит достойной параллелью его поведению в качестве пританиса на общественном собрании, посвященном поведению полководцев после битвы при Аргинусе, описанном [в предыдущей главе](#), где он упорно отказывался согласиться с постановкой незаконного вопроса.

Такие многочисленные случаи казней и разорений, естественно, наполнили город удивлением, возмущением и ужасом. Группы недовольных собирались вместе, а изгнанников становилось все больше и больше. Все эти обстоятельства давали достаточно материала для яростного противодействия Фераменеса и способствовали усилению его партии: не столько среди самих Тридцати, сколько в сенате, и еще больше среди граждан. Он предупредил своих коллег, что с каждым днем они подвергаются все большему одиозу со стороны общества и что их правительство не устоит, если не примет в свои ряды достаточное количество граждан, напрямую заинтересованных в его поддержании. Он предложил сделать гражданами всех тех, кто по своему имуществу может служить государству либо верхом, либо в тяжелых доспехах; при этом все более бедные свободные люди, которых было гораздо больше, оставались бесправными. [387] Критий и Тридцать отвергли это предложение, будучи, несомненно, убеждены - как и Четыреста за семь лет до этого, когда Тераменес потребовал от них превратить их фиктивное число в Пять тысяч в реальный список из такого же количества живых людей - что "зачисление столь большого числа партнеров равносильно прямой демократии. Но в то же время они не были равнодушны к здравому смыслу его советов: более того, они начали бояться его лично и подозревать, что он может возглавить народную оппозицию против них, как он уже делал это против своих коллег из "Четырехсот". Поэтому они решили частично следовать его рекомендациям и подготовили список из трех тысяч человек, которые должны были получить политическое право; они были выбраны, насколько это было возможно, из своих собственных известных сторонников и из олигархических граждан. Кроме этого списка, они также рассчитывали на поддержку всадников, самых богатых граждан государства. Эти всадники, или рыцари, если брать их в целом, - тысяча добрых людей Афин, чьи добродетели Аристофан приводит во враждебной противоположности предполагаемым демагогическим порокам Клеона, - оставались неизменными сторонниками Тридцати на протяжении всей их бесчинственной карьеры. [389] Какие привилегии или функции были закреплены за избранными тремя тысячами, мы не слышим, кроме того, что они не могли быть осуждены без санкции сената, в то время как любой другой афинянин мог быть предан смерти по простому решению Тридцати [390].

Выбранный таким образом корпус партнеров - не только с фиксированным числом, но и с подобранными олигархическими настроениями - отнюдь не был тем дополнением, которого желал Фераменес. Отметив, что глупо полагать, будто в числе три тысячи есть какая-то прелесть, будто в нем заключены все достоинства города и ничего, кроме достоинств, он предупредил их, что этого все равно недостаточно для их защиты; их власть была чистой силой, но уступала в силе тем, над кем она осуществлялась. И снова Тридцать действовали в соответствии с его наставлениями, но совсем не так, как он предполагал. Они объявили всеобщий сбор и смотр оружия для всех гоплитов в Афинах. Три тысячи были собраны в оружии на рыночной площади; остальные гоплиты разошлись по разным местам и небольшими компаниями. После окончания

смотра эти роты разошлись по домам, чтобы поесть, оставив свое оружие в разных местах сбора. Но приверженцы Тридцати, предупрежденные и державшиеся вместе, в нужный момент были посланы вместе с лакедемонскими наемниками, чтобы захватить брошенное оружие, которое было сдано на хранение Каллибию в акрополе. Все гоплиты в Афинах, за исключением трех тысяч и оставшихся приверженцев Тридцати, были разоружены этим хитрым маневром, несмотря на бесплодные уговоры Фераменеса[391].

Критий и его соратники, избавленные теперь от всякого страха перед Тераменесом или какой-либо другой внутренней оппозицией, дали волю своей злобе и хищничеству, предав смерти как многих своих личных врагов, так и многих богатых жертв с целью растраты. Был составлен список подозреваемых, в который каждому из их приверженцев разрешалось вносить имена по своему усмотрению, и из него обычно брались жертвы.[392] Среди доносчиков, которые таким образом называли имена для уничтожения, выделялись Батрак и Эсхилидес[393]. Жажда Крития к грабежу, как и к кровопролитию, только усиливалась;[394] и не только для того, чтобы заплатить наемникам, но и для того, чтобы обогатиться самим, Тридцать простирали повсюду свою убийственную агентуру, которая теперь косила как метисов, так и граждан. Феогнис и Пейсон, двое из Тридцати, утверждали, что многие из этих метисов были враждебны олигархии, а также были богатыми людьми; и было принято решение, что каждый из правителей должен выделить любую из этих жертв, которую он пожелает, для казни и грабежа; при этом следует позаботиться о том, чтобы включить в захват несколько бедных людей, чтобы истинная цель губителей могла быть слабо замаскирована.

Именно во исполнение этого плана были взяты под стражу оратор Лисий и его брат Полемарх. Оба они были метисами, богатыми людьми, и занимались изготовлением щитов, на которых работали сто двадцать рабов. Феогнис и Пизон с несколькими другими захватили Лисия в его доме, когда он принимал друзей за ужином, и, прогнав гостей, оставили его под охраной Пизона, а сами отправились регистрировать и присваивать его ценных рабов. Лисий пытался уговорить Пизона принять взятку и позволить ему бежать; тот сначала пообещал это сделать, но, получив доступ к сундуку с деньгами пленника, завладел всем его содержимым, составлявшим от трех до четырех талантов. Лисий тщетно умолял оставить ему хоть немного на пропитание; единственным ответом было, что он может считать себя счастливым, если спасется живым. Тогда его отвели в дом человека по имени Дамнипп, где уже находился Феогнис с другими пленниками. По настоятельной просьбе Лисия Дамнипп попытался склонить Феогниса к побегу за солидную взятку, но пока шел этот разговор, пленник воспользовался незащищенным моментом и сбежал через заднюю дверь, которая, к счастью, была открыта, как и две другие двери, через которые нужно было пройти. Укрывшись сначала в доме своего друга в Пейреусе, он ночью отплыл в Мегару. Полемарх, которому повезло меньше, был схвачен на улице Эратосфеном, одним из Тридцати, и немедленно помещен в тюрьму, где ему без промедления, без суда и следствия и без права на защиту был введен смертельный укол болиголова. В то время как его дом был разграблен с большим запасом золота, серебра, мебели и богатых украшений; золотые серьги были сорваны с ушей его жены; семьсот щитов и сто двадцать рабов были конфискованы вместе с мастерской и двумя жилыми домами; Тридцать не позволили даже достойно похоронить покойного, но заставили вынести его тело на наемной телеге из тюрьмы, с покрытием и несколькими скудными принадлежностями, предоставленными сочувствием частных друзей.[395]

На фоне таких зверств, все более и более увеличивающихся и переходящих в бесстыдный грабеж, партия Тераменеса с каждым днем укрепляла свои позиции даже в сенате; многие из ее членов не получали никакой выгоды, насыщая личную корысть Тридцати, и начали уставать от столь отвратительной системы, а также тревожиться из-за множества врагов, которых они взращивали. Предлагая впоследствии захватить метисов, Тридцать хотели, чтобы Тераменес выбрал любую

жертву из этого сословия, чтобы уничтожить и разграбить ее для своей личной выгоды. Но он решительно отверг это предложение, осудив чудовищность этой меры в тех возмутительных выражениях, которых она заслуживала. Антипатия Крития и большинства Тридцати к нему, и без того ожесточенная последствиями долгой оппозиции, была настолько обострена этим отказом; они так боялись последствий недоброжелательного отношения к подобным мерам для себя, в то время как Тераменес пользовался всеми заслугами, выступая против них; они были так уверены, что их правительство не выдержит такого разлада среди своих собственных членов, что решили уничтожить его любой ценой. Опросив как можно больше сенаторов, чтобы убедить их в том, что Фераменес замышляет против олигархии, они заставили самых смелых из своих спутников однажды прийти в сенатский дом, вплотную к перилам, ограждавшим сенаторов, с кинжалами, спрятанными под одеждой. Как только Тераменес появился, Критий поднялся и обличил его в сенате как врага народа в своей речи, которую Ксенофонт приводит довольно подробно и которая настолько полна поучительных свидетельств о политических чувствах греков, что я привожу основные моменты в сокращении

"Если кто-то из вас думает, сенаторы, что гибнет больше людей, чем того требует случай, подумайте, что это происходит повсюду во время революции, и что это должно произойти особенно установления олигархии в Афинах, самом густонаселенном городе Греции, где население дольше всего привыкло к свободе. Вы не хуже нас знаете, что демократия для нас обоих является нестерпимым правлением, а также несовместимым с неуклонной приверженностью к нашим покровителям, лакедемонянам. Именно под их эгидой мы устанавливаем нынешнюю олигархию и уничтожаем, насколько можем, каждого, кто стоит на ее пути; это становится более всего необходимым, если такой человек найдется среди наших собственных. Вот этот человек, Тераменес, которого мы сейчас обличаем как вашего врага не меньше, чем нашего. То, что это так, видно из его безмерных порицаний наших действий, из тех трудностей, которые он ставит на нашем пути всякий раз, когда мы хотим расправиться с кем-нибудь из демагогов. Если бы такова была его политика с самого начала, он действительно был бы нашим врагом, но мы не могли бы с полным правом объявить его злодеем. Но именно он первым затеял союз, связывающий нас со Спартой, нанес первый удар по демократии, подстрекал нас предать смерти первую партию обвиняемых, а теперь, когда и вы, и мы вызвали явную ненависть народа, он, чтобы обеспечить свою безопасность, разворачивается и ссорится с нашими действиями, оставляя нас расплачиваться за это. С ним нужно поступить не только как с врагом, но и как с предателем, как по отношению к вам, так и по отношению к нам; предателем в зерне, как доказывает вся его жизнь. Хотя он, благодаря своему отцу Агнону, занимал почетное положение при демократии, он был первым, кто ниспроверг ее и установил власть Четырехсот; как только он увидел, что олигархия сталкивается с трудностями, он первым поставил себя во главе народа против них; он всегда готов к переменам в обоих направлениях и является добровольным соучастником тех казней, которые влечет за собой смена правительства. Именно он, получив от генералов после битвы при Аргинусе приказ подобрать людей на разбитые корабли, и пренебрегая этим заданием, обвинил и привлек к казни своих начальников, чтобы избавиться от опасности. Он вполне заслужил свое прозвище Бускин, приспособившийся к обеим ногам, но постоянный ни к одной; он показал себя безрассудным и по отношению к чести, и к дружбе, не заботясь ни о чем, кроме своего собственного корыстного продвижения; и теперь нам надлежит остерегаться его двуличия, чтобы он не сыграл с нами ту же хитрость. Мы ставим его перед вами как заговорщика и предателя, как против вас, так и против нас. Позаботьтесь о своей безопасности, а не о его. Ведь если ты отпустишь его, то сильно ободришь своих злейших врагов, а если осудишь его, то разобьешь их лучшие надежды как в городе, так и за его пределами".

Тераменес, вероятно, не был полностью готов к подобному нападению. Во всяком случае, он поднялся, чтобы сразу же ответить на него: - "Прежде всего, сенаторы.

"Прежде всего, сенаторы, я коснусь обвинения против меня, которое Критий упомянул последним, - обвинения в том, что я обвинил и предал казни генералов. Не я начал обвинение против них, а они начали его против меня. Они сказали, что приказали мне исполнить долг, а я им пренебрег; моя защита состояла в том, что долг не мог быть исполнен из-за бури; народ поверил и оправдал меня, но генералы были справедливо осуждены по их собственному обвинению, потому что *они* сказали, что долг мог быть исполнен, а он остался неисполненным. Я не удивляюсь, что Критий наговорил на меня эти небылицы; ведь в то время, когда это случилось, он был изгнанником в Фессалии, занимался возведением демократии и вооружением пенестов против их хозяев. Дай Бог, чтобы в Афинах не произошло ничего из того, что он *там* совершил! Я согласен с Критием в том, что тот, кто хочет прервать твоё правление и укрепляет тех, кто замышляет против тебя, по справедливости заслуживает самого сурового наказания. Но к кому больше относится это обвинение? К нему или ко мне? Посмотрите на поведение каждого из нас, а потом судите сами. Поначалу мы все были согласны в том, что касается осуждения известных и несносных демагогов. Но когда Критий и его друзья начали захватывать людей, занимающих высокое положение и обладающих достоинством, тогда я стал выступать против них. Я знал, что захват таких людей, как Леон, Никиас и Антифон, сделает лучших людей города вашими врагами. Я выступал против казни метисов, прекрасно понимая, что все это тело будет отторгнуто. Я выступал против разоружения граждан и найма иностранных стражников. А когда я увидел, что против тебя множатся враги дома и изгнанники за границей, я отговорил тебя от изгнания Фрасибула и Анита, тем самым ты лишь снабдил изгнанников авторитетными вождями. Тот, кто дает тебе этот совет, причем дает его открыто, - предатель ли он или скорее искренний друг? Это ты и твои сторонники, Критий, своими убийствами и грабежами укрепляете врагов правительства и предаёте своих друзей. Положись на то, что Фрасибул и Анит гораздо больше довольны твоей политикой, чем моей. Ты обвиняешь меня в предательстве Четырёхсот; но я не покидал их до тех пор, пока они сами не оказались на грани того, чтобы предать Афины врагам. Вы называете меня Бускином, пытаюсь приспособить к обеим партиям. Но как мне называть *тебя*, который не подходит ни к одной из них, который при демократии был самым яростным ненавистником народа, а при олигархии стал таким же яростным ненавистником олигархических заслуг? Я есть и всегда был, Критий, врагом как крайней демократии, так и олигархической тирании. Я хочу, чтобы наше политическое сообщество состояло из тех, кто может служить ему верхом и в тяжёлых доспехах; я уже предлагал это однажды и остаюсь при своём мнении. Я не буду выступать ни на стороне демократов, ни на стороне деспотов, исключая достойных граждан. Докажите, что я сейчас или когда-либо был виновен в таком преступлении, и я признаю себя достойным бесславной смерти".

Этот ответ Тераменеса был встречен большинством сената такими аплодисментами, которые свидетельствовали о его решимости оправдать его. Для яростного антипата измученного Крития мысль о поражении была непереносима; более того, он довел свою враждебность до такой степени, что оправдание врага стало бы для него гибелью. Обменявшись несколькими словами с Тридцатью, он удалился на несколько минут и приказал одиннадцати с корпусом вооружённых спутников прижаться вплотную к перилам, которыми были огорожены сенаторы, - в то время как площадка перед зданием сената была заполнена наемными гоплитами. Взяв таким образом под контроль свои силы, Критий вернулся и снова обратился к сенату: "Сенаторы, - сказал он, - я считаю, что долг хорошего президента, когда он видит, что его друзья вокруг него обмануты, не позволять им следовать их собственным советам. Именно это я сейчас и собираюсь сделать; более того, эти люди, которых вы видите, давящими на нас извне, ясно говорят нам, что не потерпят оправдания того, кто явно работает на разрушение олигархии. В нашей новой конституции есть статья, согласно которой ни один человек из избранных трех тысяч не может быть осужден без вашего голоса; но любой человек, не включенный в этот список, может быть осужден Тридцатью. Теперь я берусь, с согласия всех моих коллег, вычеркнуть этого Тераменеса из этого списка; и мы, нашей властью, приговариваем его к смерти".

Хотя Тераменес уже дважды участвовал в свержении демократии, но так привык, что все афиняне ищут защиты в конституционных формах, что, вероятно, считал себя в безопасности при благоприятном вердикте сената и не был готов к чудовищному и деспотичному приговору, который услышал теперь от своего врага. Он сразу же бросился к сенатскому очагу - алтарю и святилищу в глубине сенатского дома - и воскликнул: "Я тоже, сенаторы, стою как ваш проситель, прося лишь о справедливости. Пусть не в силах Крития поразить меня или любого другого, кого он пожелает; пусть мой приговор, как и ваш, будет вынесен по закону, который эти Тридцать сами подготовили. Я слишком хорошо знаю, что этот алтарь не поможет мне в защите; но я, по крайней мере, ясно покажу, что эти люди столь же нечестивы по отношению к богам, сколь и гнусны по отношению к людям. Что же касается вас, достойные сенаторы, то я удивляюсь, что вы не выступите ради своей личной безопасности; ведь вы должны хорошо понимать, что ваши имена могут быть вычеркнуты из Трех тысяч так же легко, как и мои".

Но сенат оставался пассивным и оцепеневшим от страха, несмотря на эти трогательные слова, которые, возможно, не были услышаны, так как в планы Крития не входило позволить своему врагу говорить во второй раз. Вероятно, когда Фераменес еще говорил, раздался громкий голос герольда, призывавшего одиннадцать выйти вперед и взять его под стражу. Одиннадцать вошли в сенат во главе со своим жестоким вождем Сатиром, а за ними следовали их обычные помощники. Они подошли прямо к алтарю, откуда Сатир с помощью сопровождающих потащил его основной силой, а Критий сказал им: "Мы передаем вам этого Фераменеса, осужденного по закону. Схватите его, отнесите в тюрьму и там сделайте все, что нужно". После этого Фераменеса вытащили из здания сената и повели под стражей по рыночной площади, громко восклицая против жестокого обращения, которому он подвергался. "Придержи свой язык (сказал ему Сатир), или ты будешь страдать за это". "А если я буду держать язык за зубами (ответил Тераменес), разве я не буду также страдать за это?"

Его отвели в тюрьму, где быстро ввели обычную порцию болиголова. После того как он проглотил его, на дне кубка осталась капля, которую он вытряхнул на пол (согласно шутливому обычаю, называемому "коттабус", который должен был подавать знак своим звуком при падении, после чего только что выпивший передавал кубок гостю, чья очередь наступала следующей): "Пусть это (говорил он) будет за нежного Критиаса"[396].

Только что описанная сцена, закончившаяся казнью Тераменеса, - одна из самых ярких и трагических в античной истории, несмотря на то, что Ксенофонт, вложивший весь интерес в две речи, пересказывает ее скупо и поверхностно. Зверская несправедливость, по которой погиб Тераменес, а также мужество и самообладание, которые он проявил в момент опасности, и его жизнерадостность даже в тюрьме, не уступающая жизнерадостности Сократеса три года спустя, естественно, вызывают самые теплые симпатии читателя в его пользу и способствуют положительной оценке его характера. В годы, последовавшие за восстановлением демократии,[397] его превозносили и жалели как одного из первых мучеников олигархического насилия: более поздние авторы зашли так далеко, что причислили его к избранным ученикам Сократеса.[398] Но хотя Фераменес здесь стал жертвой гораздо худшего человека, чем он сам, не следует по этой причине выражать ему наше восхищение, которого его собственное поведение, как оказалось, совсем не заслуживает. Упреки Крития в его адрес, основанные на его поведении во время предыдущего заговора Четырехсот, были в основном вполне обоснованными. Будучи одним из главных инициаторов этого заговора, он покинул своих товарищей, как только увидел, что он может провалиться; и Критий, несомненно, помнил о судьбе Антифона, который был осужден и казнен по обвинению Фераменеса, а также обоснованно полагал, что тот снова обратится против своих коллег таким же образом, если обстоятельства побудят его к этому. Критий также не ошибся, осудив вероломство Тераменеса в отношении полководцев после битвы

при Аргинусе, к гибели которых он отчасти причастен, хотя только как вспомогательная причина, а не с той крайней степенью гнусной хитрости, которую вменяют ему Ксенофонт и другие. Он был эгоистичным, хитрым и неверным человеком, готовым вступать в заговоры, но никогда не предвидевшим их последствий, и нарушавшим веру, чтобы погубить коллег, которых он сначала поощрял, когда находил их более последовательными и основательными в преступлениях, чем он сам"[399].

Такое бесцеремонное насилие со стороны Крития и большинства Тридцати, совершенное даже в отношении члена их собственной коллегии путем запугивания сената, оставило чувство отвращения и раскола среди их собственных сторонников, от которого их власть так и не оправилась. Однако его непосредственным следствием стало то, что они, по всей видимости, и в своей собственной оценке, стали более могущественными, чем когда-либо. Теперь все открытые проявления несогласия были подавлены, и они перешли к крайним пределам жестокой и разнузданной тирании. Они объявили, что все, кто не включен в список трех тысяч, должны покинуть стены, чтобы быть беспрепятственными хозяевами в городе, к чему ранее прибегал Периандр из Коринфа и другие греческие деспоты[400]. Многочисленные беглецы, изгнанные этим приказом, распределились частично в Пейре, частично в различных владениях Аттики. Однако и там, и там они были схвачены по приказу Тридцати и многие из них преданы смерти, чтобы их имущество и земли могли быть присвоены либо самими Тридцатью, либо каким-нибудь благосклонным партизаном.[401] Доносы Батрака, Эсхилидеса и других делателей стали более многочисленными, чем когда-либо, чтобы добиться ареста и казни их личных врагов; олигархия была готова приобрести любого нового приверженца, удовлетворив таким образом его антипатии или хитрость.[Последующие ораторы утверждали, что Тридцатью без суда и следствия было предано смерти более пятнадцати сотен жертв:[403] на этой цифре не стоит заострять внимание, но общее число, несомненно, было огромным. Становилось все более очевидным, что в Аттике никто не был в безопасности; поэтому афинские эмигранты, многие из которых находились в большой бедности и нищете, множились по соседним территориям - в Мегаре, Фивах, Оропе, Халкисе, Аргосе и т. д.Лакедемонское правительство по просьбе Тридцати издало указ, запрещающий всем членам их конфедерации укрывать беглых афинян; указ, которому эти города великодушно не подчинились,[405] хотя, вероятно, меньшие пелопоннесские города подчинились. Несомненно, этот указ был получен Лисандром, пока его влияние еще оставалось непоколебимым.

Но не только против жизни, имущества и свобод афинских граждан вели войну Тридцать. Они были не менее озабочены тем, чтобы уничтожить интеллектуальную силу и образование города; этот проект настолько прекрасно согласовывался с настроениями и практикой Спарты, что они рассчитывали на поддержку своих иностранных союзников. Среди постановлений, которые они обнародовали, было одно, прямо запрещающее каждому[406] "учить искусству слова", если мне будет позволено перевести буквально греческое выражение, которое имело наиболее всеобъемлющее значение и обозначало любое намеренное сообщение логических, риторических или аргументативных усовершенствований, литературной критики и композиции, а также владение теми политическими и моральными темами, которые составляли обычную тему дискуссий. Таково было обучение, которое Сократес и другие софисты, каждый по-своему, передавали афинской молодежи. Великие иностранные софисты, не афинские, такие как Продик и Протагор, - хотя, возможно, ни одного из них сейчас нет в живых, - несомненно, уже не были в городе, в связи с бедственными обстоятельствами, которые тяготили каждого гражданина после поражения при Эгоспотамах. Зато в изобилии имелись местные учителя, или софисты, уступавшие по своим достоинствам этим выдающимся именам, но все же с большим или меньшим успехом занимавшиеся преподаванием тех наук, которые считались необходимыми для каждого свободолюбивого афинянина. Эдикт Тридцати был, по сути, общим запретом на высший класс

учителей или профессоров, выше начального учителя письма или грамматиста. Если бы такой эдикт мог оставаться в силе в течение целого поколения, в сочетании с другими мандатами Тридцати, город, из которого только что вышли Софокл и Эврипид, и в котором Платон и Исократ были в энергичном возрасте, первому двадцать пять, второму двадцать девять, деградировал бы до интеллектуального уровня самой захудалой общины в Греции. Нередко греческий деспот подавлял все собрания, где молодежь собиралась для совместного обучения, интеллектуального или гимнастического, а также общественные банкеты и клубы, или ассоциации, как опасные для его власти и способствующие воспитанию мужества и осознанию политических прав граждан[407].

Бесчинства Тридцати вызвали резкие замечания со стороны философа Сократеса, чья жизнь прошла в беседах на поучительные темы с юношами, искавшими его общества, хотя он никогда не брал денег ни с одного ученика. Об этих замечаниях стало известно Критию и Хариклему, которые послали за ним, напомнили ему о запретительном законе и строго-настрого приказали впредь воздерживаться от всяких разговоров с юношами. Сократес ответил на этот приказ, задав несколько вопросов тем, кто его отдал, в своей обычной манере недоуменного изучения, призванного разоблачить неясность условий и провести черту, или, скорее, показать, что нельзя провести определенную черту между тем, что разрешено, и тем, что запрещено. Но вскоре он понял, что его допросы вызывают лишь чувство отвращения и гнева, угрожающее его собственной безопасности. Тираны закончили тем, что повторили свой интердикт в еще более императивных выражениях и дали понять Сократесу, что не знают о порицаниях, которые он на них обрушил[408].

Хотя наши свидетельства не позволяют нам определить точные даты этих различных притеснений Тридцати, кажется вероятным, что этот запрет на учение должен был быть среди их ранних постановлений; во всяком случае, значительно раньше смерти Фераменеса и общего изгнания из стен всех, кроме привилегированных трех тысяч. Владычество продолжалось без какого-либо вооруженного сопротивления в течение примерно восьми месяцев после взятия Афин Лисандром, то есть с апреля по декабрь 404 года до н. э. Тогда мера их беззакония стала полной. Они накопили против себя, как в Аттике, так и среди изгнанников на прилегающих территориях, страдающих и измученных врагов, в то время как они потеряли симпатии Фив, Мегары и Коринфа, и были менее сердечно поддержаны Спартой.

За эти важные восемь месяцев общее настроение в Греции существенно изменилось как по отношению к Афинам, так и по отношению к Спарте. В тот момент, когда долгая война только завершилась, страх, антипатия и месть Афинам были царящими настроениями как среди конфедератов Спарты, так и среди восставших членов исчезнувшей Афинской империи; эти настроения преобладали среди них в большей степени, чем среди самих спартанцев, которые сопротивлялись им и предоставили Афинам капитуляцию в то время, когда многие из их союзников настаивали на самых суровых мерах. К такому решению их подтолкнула отчасти еще сохранившаяся сила древних симпатий, отчасти одиозность, которая непременно последовала бы за изгнанием афинского населения, как бы ни говорили о нем заранее как об удовлетворительном наказании; отчасти и политика Лисандра, который рассчитывал держать Афины в той же зависимости от Спарты и от себя и теми же средствами, что и другие отдаленные города, в которых он насаждал свои декархии.

Как только Афины были унижены, лишены своего флота и порта, обнесенного стеной, и стали безвредными, великие узы общего страха, которые удерживали союзников в Спарте, исчезли; и в то время как главная антипатия союзников к Афинам постепенно угасла, на ее месте возникло чувство ревности и опасения по отношению к Спарте со стороны ведущих государств. Для таких настроений была не одна причина. По окончании войны Лисандр привез домой не только

большую сумму денег, но и ценные трофеи, а также множество пленных трирем. Поскольку успех был достигнут совместными усилиями всех союзников, то и плоды его по справедливости принадлежали всем им вместе, а не одной Спарте. Фиванцы и коринфяне предъявили официальное требование, чтобы им позволили разделить его; и если другие союзники воздержались от открытой поддержки этого требования, мы можем справедливо предположить, что это было сделано не из какого-то иного понимания справедливости дела, а из страха оскорбить Спарту. В памятник, воздвигнутый Лисандром в Дельфах в честь триумфа, он включил не только свою собственную медную статую, но и статуи всех командиров союзных войск; таким образом, формально признав за союзниками право участвовать в почетных результатах и молчаливо одоблив их притязания на прибыльные результаты. Тем не менее, требование фиванцев и коринфян было не только отвергнуто, но и воспринято почти как оскорбление, особенно Лисандром, чье влияние в тот момент было почти всесильным[409].

То, что лакедемоняне должны были удержать от союзников долю в этих деньгах, еще больше свидетельствует о великом превосходстве Лисандра; ведь в самой Спарте была значительная партия, которая протестовала против приема такого количества золота и серебра, как противоречащего постановлению Ликурга и пагубного для своеобразной морали Спарты. Древний спартанец Скирафидас, или Флогидас, выступил с призывом придерживаться исключительно старых спартанских денег, тяжелых железных, трудно переносимых; не без труда Лисандр и его друзья добились приема сокровищ в Спарте, но с особой оговоркой, что они должны предназначаться исключительно для государственных нужд и что ни один частный гражданин никогда не должен обращаться с золотом или серебром.[410] Существование такого традиционного отвращения среди спартанцев, казалось бы, должно было побудить их быть справедливыми по отношению к своим союзникам, поскольку справедливое распределение сокровищ должно было бы устранить трудности; тем не менее, они все оставили себе.

Но помимо этой особой обиды, нанесенной союзникам, поведение Спарты в других отношениях показывало, что она намерена обратить победу себе на пользу. Лисандр в этот момент был всемогущ и вел свою собственную игру под именем Спарты. Его положение было гораздо выше, чем у регента Павсания после победы при Платее, а талант использовать это положение несравненно выше. Масштабы его успехов, а также выдающиеся способности, которые он проявил, оправдывали обильные восхваления; но в его случае восхваления доходили до чего-то похожего на поклонение. Ему воздвигали алтари, в его честь слагали пеаны и гимны; эфесцы установили его статую в храме своей богини Артемиды, а саамийцы не только воздвигли ему статую в Олимпии, но даже изменили название своего великого праздника, Герцеговины, на *Лисандрию*. [411] Несколько современных поэтов - Антилох, Херил, Никрат и Антимак - посвятили себя воспеванию его славы и получению выгоды от его наград.

Такой избыток лести был рассчитан на то, чтобы вскружить голову даже самому добродетельному греку: у Лисандра он привел к тому, что вместо той мнимой плавности манер, с которой он начинал свое командование, появилась оскорбительная грубость и высокомерие, соответствующие действительно безмерному честолюбию, которое он лелеял.[412] Честолюбие побудило его возвеличить Спарту отдельно, без всякой мысли о ее союзниках, чтобы властвовать от ее имени. Он уже создал декадархии, или олигархии десяти, во многих островных и азиатских городах, и олигархию тридцати в Афинах; все они состояли из ярых приверженцев, выбранных им самим, зависевших от него в поддержке и преданных его целям. Беспристрастному наблюдателю в Греции казалось, что все эти города были превращены в зависимые от Спарты и должны были оставаться в таком состоянии; под спартанской властью, осуществляемой Лисандром и через него.[Вместо всеобщей свободы, которую обещал в качестве стимула к восстанию против Афин, на

месте исчезнувшей Афинской империи была создана спартанская империя с ежегодной данью в тысячу талантов, которая должна была взиматься с составляющих ее городов и островов [414]. Таков, по крайней мере, был план Лисандра, хотя он так и не был доведен до конца.

Легко понять, что при таком настроении союзников Спарты бесчинства, совершенные Тридцатью в Афинах и лисандрийскими декархами в других городах, были бы восприняты с сочувствием к страдальцам и без тех сильных антиафинских настроений, которые царили за несколько месяцев до этого. Но что было еще важнее, даже в самой Спарте началось противодействие мерам и личности Лисандра. Если ведущие люди Спарты ревновали даже к Брасидасу, который оскорблял их только беспримерными успехами и заслугами как полководец, [415] то тем более такое же чувство возникло бы против Лисандра, который проявлял непомерную наглость и был обожаем с показной лестью, не уступающей той, что была у Павсания после битвы при Платеях. Другой Павсаний, сын Плейстоанакса, был теперь царем Спарты вместе с Агисом. В нем чувство ревности к Лисандру проявилось с особой силой, как и впоследствии в Агесилае, преемнике Агиса; не без подозрений, вероятно, оправдавшихся последующими событиями, что Лисандр стремится к какому-то вмешательству в царские привилегии. Несправедливо также предположить, что Павсаний руководствовался мотивами более патриотическими, чем простая ревность, и что хищная жестокость, которая повсеместно позорила новые олигархии, одновременно шокировала его лучшие чувства и внушала опасения за стабильность системы. Еще одним обстоятельством, ослаблявшим влияние Лисандра в Спарте, была ежегодная смена эфоров, происходившая в конце сентября - начале октября. Те эфоры, при которых он добился грандиозного успеха и захватил Афины, и которые полностью разделяли его взгляды, в сентябре 404 года до н. э. покинули свой пост и уступили место другим, более расположенным к второму Павсанию.

В предыдущей главе я отметил, насколько более почетным для Спарты и менее неудачным для Афин и остальной Греции было бы завершение Пелопоннесской войны, если бы Калликратидас одержал победу и выстоял в битве при Аргинусе, чтобы завершить ее тогда и приобрести для себя то личное превосходство, которое победивший полководец непременно должен был занять над многочисленными перестановками, следовавшими за заключением мира. Мы видим, насколько важен был личный характер поставленного таким образом полководца, когда следим за действиями Лисандра в течение года после битвы при Игоспотаме. Его личные взгляды были главным определяющим обстоятельством во всей Греции; они определяли как меры Спарты, так и судьбу завоеванных городов. Во всех последних были организованы хищные и жестокие олигархии - из десяти в большинстве городов, но из тридцати в Афинах, - все они действовали под властью и покровительством Спарты, но в реальном подчинении его амбициям. Поскольку он находился под влиянием эгоистичной жажды власти, меры Спарты были лишены не только панэллинского духа, но даже, в значительной степени, связи с ее собственными конфедератами, и сосредоточены на приобретении имперского превосходства для себя. Если бы в этот критический момент во главе государства стоял Калликратидас, то не только такие узкие и пагубные импульсы оказались бы сравнительно недейственными, но и ведущее государство стало бы примером, рекомендуемым, организующим, а если нужно, то и принуждающим к осуществлению договоренностей, благоприятных для панэллинского братства. Калликратидас не только отказался бы от декархий, управляемых его силой и в его целях в подчиненных городах, но и не одобрял бы подобные заговоры, где бы они ни возникали спонтанно. Ни один грубиян вроде Крития, ни один хитрый интриган вроде Тераменеса не рассчитывали бы на его помощь, как не рассчитывали они и на дружбу Лисандра. Вероятно, он предоставил бы управление каждым городом его собственным естественным тенденциям, олигархическим или демократическим; вмешиваясь лишь в особых случаях, вызванных действительной и явной необходимостью. Влияние возвышающегося государства, используемое в таких целях и решительно отбрасывающее все частные цели ради достижения стабильных панэллинских чувств и братства; используемое к тому

же в момент, когда многие греческие города находились в муках реорганизации, вынужденные принимать новый политический курс в соответствии с изменившимися обстоятельствами, - это элемент, сила которого вряд ли могла не оказаться не только огромной, но и благотворной. Какую степень позитивного добра мог бы принести благородный победитель в таких особых обстоятельствах, мы не беремся утверждать в деталях. Но было бы несомненным преимуществом сохранить Грецию от созерцания и ощущения столь огромной власти в руках такого человека, как Лисандр, благодаря управлению которого худшие тенденции императорского города были тщательно преумножены непомерным честолюбием отдельных людей. Только ему Тридцать в Афинах и декадархии в других местах были обязаны своим существованием и средствами угнетения.

Таким образом, необходимо объяснить общие изменения, происходившие в Греции и в чувствах греков в течение восьми месяцев после взятия Афин в марте 404 года до н. э., чтобы мы могли понять положение Тридцати олигархов, или тиранов, в Афинах и афинского населения в Аттике и в изгнании к началу декабря того же года, то есть к тому периоду, которого мы сейчас достигли. Мы видим, как получилось, что Фивы, Коринф и Мегара, которые в марте были злейшими врагами афинян, теперь отстранились и от Спарты, и от Лисандрийской тридцатки, которую они рассматривали как наместников Афин в отдельных спартанских интересах. Мы видим, как закладывалась основа для сочувствия к страдающим изгнанникам, бежавшим из Аттики; чувство, которое с каждым днем все больше разгоралось при перечислении бесконечных злодеяний, совершенных Критием и его коллегами. В то же время мы видим, как Тридцать, вызывая вражду как в Аттике, так и за ее пределами, в то же время теряли сердечную поддержку Спарты из-за падения влияния Лисандра и растущего противодействия его соперников дома.

Несмотря на формальные запреты Спарты, полученные, несомненно, под влиянием Лисандра, афинские эмигранты находили приют во всех государствах, граничащих с Аттикой. Первый удар они нанесли именно из Беотии. Фрасибул, Анит и Архин, отправившись из Фив при поддержке фиванского населения и при значительной помощи Исмения и других богатых граждан, во главе небольшого отряда изгнанников, насчитывавшего, по разным данным, тридцать, шестьдесят, семьдесят или несколько более ста человек,^[416] захватили Филы, пограничную крепость в горах к северу от Аттики, лежавшую на прямой дороге между Афинами и Фивами. Вероятно, в ней не было гарнизона, поскольку Тридцать, действуя в интересах лакедемонского господства, разобрали все дальние крепости в Аттике,^[417] так что Фрасибул выполнил свою задачу без сопротивления. Тридцать выступили из Афин, чтобы напасть на него, во главе мощного войска, состоявшего из лакедемонских гоплитов, которые составляли их гвардию, трех тысяч привилегированных граждан и всех рыцарей или всадников. Вероятно, небольшая компания Фрасибула была усилена новыми изгнанниками, как только стало известно, что он занял крепость. Ведь к тому времени, когда прибыли Тридцать с их отрядом, он был в состоянии отразить энергичный штурм, предпринятый молодыми солдатами, со значительными потерями для агрессоров.

Разочаровавшись в таком прямом нападении, Тридцать строили планы по блокаде Филека, где, как им было известно, не было запасов провизии. Но едва они начали действовать, как обрушилась снежная буря, настолько обильная и сильная, что они были вынуждены оставить свою позицию и отойти в Афины, оставив большую часть своего багажа в руках гарнизона в Филеке. На языке Фрасибула эта буря была названа провидческой, поскольку до этого момента погода была очень хорошей, и она дала время получить подкрепление, которое увеличило его численность до семисот человек. [Хотя погода была такой, что Тридцать не решились держать свои главные силы в окрестностях Филок, и, возможно, сами Три тысячи не были достаточно сердечны в деле, чтобы позволить это, все же они послали своих лакедемонян и два племени афинских

всадников, чтобы сдерживать вылазки гарнизона. На этот отряд Фрасибул решил напасть врасплох. Спустившись из Филок ночью, он остановился в четверти мили от их позиции, пока немного не рассвело, когда ночной дозор только что закончился[419] и когда конюхи шумели, натирая лошадей. Как раз в этот момент гоплиты из Филок бегом бросились на них, застали всех неподготовленными, а некоторых даже в постелях, и рассеяли их почти без сопротивления. Сто двадцать гоплитов и несколько всадников были убиты, а множество оружия и запасов было захвачено и с триумфом унесено в Филы. [420] Весть о поражении была быстро передана в город, откуда оставшиеся всадники немедленно выступили на помощь, но не смогли сделать ничего, кроме как защитить уносимых мертвецов.

Это успешное сражение заметно изменило относительное положение сторон в Аттике; оно воодушевило изгнанников в той же мере, в какой угнетало тридцатилетних. Даже среди приверженцев последних в Афинах начались разногласия; меньшинство, симпатизировавшее Тераменесу, а также та часть Трех тысяч, которая менее всего была скомпрометирована как соучастники недавних преступлений, стали так явно колебаться в своей верности, что Критий и его коллеги почувствовали сомнения в том, что смогут удержаться в городе. Они решили закрепить за собой Элевсис и остров Саламин как безопасные и надежные места на случай, если им придется эвакуироваться из Афин. Они отправились в Элевсис со значительным числом афинских всадников под предлогом изучения прочности этого места и количества его защитников, чтобы определить, какое количество гарнизона потребуется в дальнейшем. Всем элейцам, годным к вооруженной службе, было приказано явиться лично и назвать свои имена Тридцати,[421] в здание, выходящее своими столбами на морской берег; вдоль него были расставлены всадники и сопровождающие из Афин. Каждый элейский гоплит, представившись и назвав свое имя Тридцати, получал приказ выйти через этот выход, где каждый последовательно оказывался во власти всадников и был скован сопровождающими. Лисимаху, гиппарху, или командиру всадников, было приказано доставить всех этих пленников в Афины и передать их на попечение Одиннадцати.[422] Захватив и увезя из Элевсиса всех граждан, чьи чувства или энергию они подозревали, и оставив в этом месте отряд своих приверженцев, Тридцать вернулись в Афины. В то же время, судя по всему, аналогичный визит и захват пленных был совершен некоторыми из них в Саламине.[423] На следующий день они созвали в Афинах все свои три тысячи привилегированных гоплитов вместе со всеми оставшимися всадниками, которые не были заняты в Элевсисе или Саламине, в Одеоне, половина которого была занята лакедемонским гарнизоном под оружием. "Господа (сказал Критий, обращаясь к своим соотечественникам), мы поддерживаем правительство не только для вашего блага, но и для своего собственного. Поэтому вы должны разделять с нами как опасность, так и честь нашего положения. Вот эти элевсинские узники, ожидающие приговора; вы должны проголосовать за то, чтобы осудить их всех на смерть, чтобы ваши надежды и страхи отождествлялись с нашими". Затем он указал на место, находящееся прямо перед ним и в поле его зрения, велел каждому положить на него свой камешек с осуждением, видимый каждому.[424] Я уже отмечал, что в Афинах открытое голосование, как известно, было тем же, что и голосование под принуждением; не было никакой гарантии для свободного и подлинного избирательного права, кроме как сделав его тайным и многочисленным. Критию повиновались безропотно и без исключений; вероятно, любого несогласного предали бы смерти на месте. Все заключенные, числом, кажется, в триста человек,[425] были осуждены тем же голосованием и немедленно казнены.

Хотя это злодеяние дало дополнительное удовлетворение и уверенность самым яростным друзьям Крития, оно, вероятно, оттолкнуло большее число других и ослабило Тридцать, вместо того чтобы укрепить их. Отчасти, мы не сомневаемся, это способствовало смелому и решительному решению, которое принял Фрасибул через пять дней после своего успеха, отправившись в ночной поход от Phylê к Peiræus.[426] Его силы, хотя и несколько увеличились, все

еще не превышали одной тысячи человек; совершенно недостаточные для любого значительного предприятия, если бы он не рассчитывал на положительную поддержку и связь со свежими товарищами, а также на еще большую отрицательную поддержку от отвращения или безразличия к Тридцати. К нему действительно быстро присоединилось множество сочувствующих соотечественников; но мало кто из них, после всеобщего обезоруживающего маневра олигархов, имел тяжелые доспехи. У некоторых были легкие щиты и дротики, другие же были совсем безоружны и могли служить лишь метателями камней[427].

В этот момент Пейрей был открытым городом, лишенным как своих укреплений, так и тех длинных стен, которые так долго соединяли его с Афинами. Однако он был очень большим по площади и для его защиты требовались более значительные силы, чем мог собрать Фрасибул. Поэтому, когда на следующее утро Тридцать выступили из Афин, чтобы напасть на него, со всеми силами афинских гоплитов и всадников, да еще с лакедемонским гарнизоном, он тщетно пытался удержать от них большую дорогу, ведущую к Пейрею. Он был вынужден сосредоточить свои силы в Мунихии, самой восточной части совокупности, называемой Пейреем, ближайшей к Фалерумскому заливу и включающей один из тех трех портов, которые когда-то поддерживали морскую мощь Афин. Фрасибул занял храм Артемиды Мунихии и прилегающий к нему Бендидейон, расположенный в центре Мунихии и доступный только по улице с крутым подъемом. В тылу его гоплитов, чьи ряды были в десять человек, расположились дартеры и пращники: подъем был настолько крут, что последние могли метать свои снаряды над головами гоплитов, стоящих впереди. Вскоре Критий и Тридцать, собравшиеся на рынке в Пейре, называемом Гипподамовой агорой, увидели, что к ним приближается превосходящий их числом отряд; они взошли на холм тесным строем, с гоплитами не менее пятидесяти человек в глубину. Фрасибул, обратившись к своим воинам с оживленным увещанием, в котором напомнил им об обидах, за которые они должны были отомстить, и остановился на преимуществах их позиции, которая подвергала тесные ряды врагов разрушительному действию ракет и заставляла их приседать под щитами, чтобы не иметь возможности противостоять атаке с копьем наперевес, терпеливо ждал, пока они подойдут на расстояние, стоя в первом ряду с пророком, с которым обычно советовался перед битвой. Последний, храбрый и преданный патриот, обещая победу, увещевал своих товарищей не нападать, пока кто-нибудь из них не будет убит или ранен: в то же время он предсказывал свою собственную смерть в этом сражении. Когда войска Тридцати продвинулись достаточно близко, чтобы подняться на холм, легковооруженные в тылу Фрасибула осыпали их ливнем дротиков над головами своих гоплитов, добившись значительного эффекта. Так как они, казалось, колебались, пытаясь прикрыться щитами и не видя перед собой ничего, пророк, сам, казалось бы, во всеоружии, подал пример, бросившись вперед, первым сблизился с врагом и погиб во время наступления. Фрасибул с основной массой гоплитов последовал за ним, энергично спустился холма и после упорного сопротивления в беспорядке отбросил их назад, потеряв семьдесят человек. Что было еще важнее, среди убитых оказались Критий и Гиппомах, возглавлявшие войска слева, а также Хармидес, сын Глаукон, один из десяти олигархов, поставленных управлять Пейреем[428].

Это большое и важное преимущество оставило войскам Фрасибула семьдесят убитых врагов, с которых они сняли оружие, но не одежду, в знак уважения к соотечественникам[429]. Гоплиты Тридцати, несмотря на свое огромное превосходство в численности, были так удручены, вялы и разобщены, что послали просить обычного перемирия для погребения мертвых. Оно, конечно же, было заключено, и две враждующие стороны смешались друг с другом при исполнении погребальных обязанностей. На фоне столь впечатляющей сцены их общие чувства как афинян и соотечественников поневоле вспомнились, и они обменялись множеством дружеских замечаний. Среди изгнанников был и Клеокрит - глашатай мистов, или причастников Элевсинских таинств, принадлежавший к одному из самых уважаемых родов в государстве. Его голос был особенно

громким, а занимаемая им должность позволяла ему добиться тишины, пока он обращался к гражданам, служившим Тридцати, с трогательным и выразительным протестом: "Почему вы изгоняете нас в изгнание, сограждане? Почему вы стремитесь убить нас? Мы никогда не причиняли вам ни малейшего вреда; мы участвовали с вами в религиозных обрядах и праздниках; мы были вашими товарищами в хоре, в школе и в армии; мы преодолели с вами тысячи опасностей, на суше и на море, защищая нашу общую безопасность и свободу. Я умоляю вас нашими общими богами, отцовскими и материнскими, нашими общими родственниками и товарищами, воздержитесь от этого злодеяния в отношении вашей страны, повинувшись этим гнусным Тридцати, которые за восемь месяцев убили столько граждан ради своей личной выгоды, сколько пелопоннесцы за десять лет войны. Именно эти люди ввергли нас в злобную и одиозную войну друг с другом, когда мы могли бы жить вместе в мире. Будьте уверены, что ваши убитые в этой битве стоили нам столько же слез, сколько и вам"[430].

Столь трогательные призывы, исходившие от такого уважаемого человека, как Клеокрит, да и от других, несомненно, тоже, начали так сильно действовать на умы афинских граждан, что Тридцать были вынуждены отдать приказ о немедленном возвращении, чему Фрасибул не попытался помешать, хотя это было в его силах.[431] Но их верховенство получило удар, от которого так и не смогло полностью оправиться. На следующий день они появились в сенате, который сам по себе был малочисленным, подавленными и удрученными, а привилегированные три тысячи, собранные в различные роты для охраны, повсюду проявляли раздор и частичный мятеж. Те из них, кто был наиболее уязвлен преступлениями Тридцати, упорно отстаивали существующую власть; те же, кто был менее виновен, протестовали против продолжения столь нечестивой войны и заявляли, что нельзя позволить Тридцати довести Афины до полного разорения. И хотя всадники по-прежнему оставались непоколебимыми сторонниками, решительно выступая против всякого соглашения с изгнанниками,[432] Тридцать еще больше ослабли после смерти Крития, восходящего и решающего главы и в то же время самого жестокого и беспринципного среди них; а та партия в сенате и вне его, которая раньше придерживалась Фераменеса, теперь снова подняла голову. Среди них состоялось общественное собрание, на котором преобладала партия, которую можно назвать оппозиционной среди Тридцати, та, что выступала против крайних бесчинств Крития. Было решено сместить Тридцать и создать новую олигархию из десяти человек, по одному от каждого племени. [433] Но члены Тридцати были переизбраны по отдельности, так что двое из них, Эратосфенес и Фидон, если не больше, приверженцы Фераменеса и недружелюбные к Критию и Хариклесу,[434] с другими людьми того же направления, были выбраны в число десяти. Хариклес и более жестокие члены, потеряв таким образом свое превосходство, уже не считали себя в безопасности в Афинах, а удалились в Элевсис, который они предусмотрительно заняли заранее. Вместе с ними туда же удалились и лакедемонский гарнизон.

Назначение новой олигархии из десяти человек было, очевидно, компромиссом, принятым одними из искреннего отвращения к олигархическому строю и желания примириться с изгнанниками; другими - из убеждения, что единственный способ сохранить олигархический строй и дать отпор изгнанникам - это создать новый олигархический совет, отстранив от должности те, которые стали несносными. Именно эту цель преследовали всадники, главные сторонники как первого, так и второго правления; вскоре стало ясно, что такова же политика Эратосфена и его коллег. Вместо того чтобы попытаться договориться с изгнанниками в Пирее в целом, они просто попытались подкупить отдельно Фрасибула и его лидеров, предложив десяти из них получить долю олигархической власти в Афинах при условии, что они предадут свою партию. Это предложение было с негодованием отвергнуто, и война между Афинами и Пиреем

возобновилась, к горькому разочарованию не только изгнанников, но и той части афинян, которая надеялась на лучшее от нового совета десяти[435].

Но силы олигархии были серьезно ослаблены в Афинах,[436] как и в результате ухода в Элевсис наиболее буйных духом, так и из-за недоверия, разногласий и недовольства, царивших теперь внутри города. Не имея возможности злоупотреблять властью, как их предшественники, "десятка" не могла даже полностью довериться своим трем тысячам гоплитов, но была вынуждена принимать меры для обороны города совместно с гиппархом и всадниками, которые выполняли двойную работу - днем верхом, а ночью в качестве гоплитов со щитами вдоль стен, опасаясь неожиданностей, - используя Одеон как свой штаб. Десять отправили посланников в Спарту с просьбой о дальнейшей помощи; Тридцать отправили туда же посланников из Элевсиса с той же целью; и те и другие сообщали, что афинский народ восстал против Спарты и нуждается в дальнейших силах, чтобы вновь завоевать ее[437].

Такая иностранная помощь становилась для них с каждым днем все более необходимой, поскольку силы Фрасибула в Пейреусе на глазах усиливались в численности, вооружении и надежде на успех; они с успешной энергией старались приобрести дополнительное оружие и щиты, хотя некоторые из щитов, действительно, были не лучше деревянных или плетеных изделий, выбеленных.[438] Многие изгнанники пришли к ним на помощь, другие присылали деньги или оружие: среди последних выделялся оратор Лисий, который передал Пейрею в подарок двести щитов и две тысячи драхм деньгами, а также нанял триста свежих солдат; его друг Фрасидей, лидер демократических интересов в Элисе, был вынужден предоставить в долг два таланта.[439] Другие также дали деньги; некоторые беотийцы предоставили два таланта, а человек по имени Геларх внес большую сумму в пять талантов, которую впоследствии погасил народ. 440] Фрасибул объявил, что все метисы, которые дадут помощь, должны быть поставлены на положение изотериков, или равных с гражданами плательщиков налогов, освобожденных от налога на метисов и других особых повинностей. За короткое время он собрал значительное войско, как тяжеловооруженное, так и легковооруженное, и даже семьдесят всадников, так что он был в состоянии совершать вылазки из Пейреуса и собирать дрова и провизию. Тен также не осмеливался предпринимать никаких агрессивных действий из Афин, кроме как посылать всадников, которые убивали или брали в плен отставших от войска Фрасибула. Гиппарх Лисимах, тот самый, что командовал под началом Тридцати при захвате элейских граждан, взяв в плен нескольких молодых афинян, привозивших из страны провизию для потребления войсками в Пейре, предал их смерти, несмотря на уговоры нескольких своих людей; за эту жестокость Фрасибул отомстил, предав смерти всадника по имени Каллистрат, взятого в плен в одном из походов в соседние деревни[441].

В установившейся гражданской войне, которая теперь бушевала в Аттике, Фрасибул и изгнанники в Пейреусе имели явное преимущество, поддерживая наступление, в то время как Десять в Афинах и остатки Тридцати в Элевсисе были брошены на защиту. Разделение олигархических сил на эти две части, несомненно, ослабило обе, в то время как демократы в Пирее были полны сил и сплочены. Однако вскоре прибытие спартанского вспомогательного войска изменило соотношение сторон. Лисандр, которого посланцы олигархов прямо просили направить к ним в качестве полководца, убедил эфоров удовлетворить их просьбу. Пока он сам отправился в Элевсис и собирал пелопоннесское сухопутное войско, его брат Либис с флотом из сорока трирем блокировал Пирей, а из крупной суммы, недавно поступившей из Азии в спартанскую казну, афинским олигархам было одолжено сто талантов[442].

Прибытие Лисандра вновь привело к сотрудничеству двух групп олигархов в Аттике, сдержало продвижение Фрасибула и даже поставило Пирей в затруднительное положение, препятствуя ввозу кораблей и магазинов. Ничто не могло бы помешать ему сдать, если бы Лисандр получил свободу действий. Но общее настроение Греции к этому времени стало отвратительным от его амбициозной политики и олигархий, которые он повсеместно создавал в качестве своих орудий; это настроение не могло не повлиять на чувства ведущих спартанцев, которые, уже завидуя его возвышению, были полны решимости не увеличивать его еще больше, позволив ему во второй раз завоевать Аттику, чтобы посадить в Афинах своих приближенных в качестве правителей[443].

Под влиянием этих чувств царь Павсаний получил согласие трех из пяти эфоров предпринять экспедицию в Аттику во главе войск конфедерации, о чем он немедленно издал прокламацию. Противник политических тенденций Лисандра, он был склонен симпатизировать демократии не только в Афинах, но и в других местах, например в Мантинее. [Пелопоннесские союзники в целом подчинились призыву, но беотийцы и коринфяне все же отказались, сославшись на то, что Афины не сделали ничего, что нарушило бы позднюю конвенцию; это замечательное доказательство изменившихся чувств Греции за последний год, поскольку до периода этой конвенции эти два государства были более ожесточенно враждебны Афинам, чем все остальные в конфедерации. Они подозревали, что даже экспедиция Павсания была спланирована с корыстными лакедемонскими намерениями, чтобы обеспечить Аттику как отдельную зависимость от Спарты, хотя и отделенную от Лисандра[445].

Подойдя к Афинам, Павсаний, к которому присоединились Лисандр и войска, уже находившиеся в Аттике, расположился лагерем в саду Академии, недалеко от городских ворот. Его настроения были достаточно известны заранее, чтобы их можно было подбодрить; поэтому бурная реакция против зверств Тридцати, которую, несомненно, подавляло присутствие Лисандра, разразилась без промедления. Оставшиеся в живых родственники убитых даже в Академии в его лагере окружили его с молитвами о защите и воплями о мести олигархам. Среди этих жертв, как я уже говорил, были Никрат, сын и Эвкратес, брат погибшего в Сиракузах Никиаса, друга и проксена Спарты в Афинах. Осиротевшие дети Никерата и Эвкратеса были доставлены к Павсанию их родственником Диогнетом, который умолял его защитить их, одновременно рассказывая о незаслуженной казни их отцов и излагая их семейные претензии к правосудию Спарты. Этот трогательный случай, о котором нам стало известно особо,[446] несомненно, был не одинок среди многих семей, страдавших по той же причине. Павсаний сразу же получил достаточно оснований не только для того, чтобы полностью отречься от Тридцати и отослать назад подарки, которые они ему преподнесли,[447] но даже для того, чтобы отказаться безоговорочно отождествлять себя с новой олигархией Десяти, которая поднялась на их руинах. Голос жалобы - теперь, впервые получив свободу, с некоторыми надеждами на возмещение ущерба - должен был быть яростным и безмерным после такой карьеры, как у Крития и его коллег; в то время как теперь в полной мере проявился факт, который не мог быть доказан раньше, что лица, подвергшиеся грабежу и убийствам, были в основном богатыми людьми, и очень часто даже олигархическими людьми, а не политиками прежней демократии. И Павсаний, и лакедемоняне вместе с ним, добравшись до Афин, должны были сильно пострадать от фактов, которые они узнали, и от громких криков о сочувствии и возмещении ущерба, которые лились на них из самых невинных и уважаемых семей. Предрасположенность царя и

эфоров против политики Лисандра значительно укрепились, как и их склонность к примирению партий, вместо того чтобы поддерживать чужой силой антинародные идеи.

Эти убеждения еще больше укреплялись по мере того, как Павсаний все больше видел и слышал о реальном положении дел. Сначала он высказался решительно против Фрасибула и изгнанников, послал к ним глашатая и потребовал, чтобы они распустились и разошлись по своим домам.^[448] Не повинувшись требованию, он предпринял слабую атаку на Пирей, которая не имела никакого эффекта. На следующий день он выступил в поход с двумя лакедемонскими *могаэ*, или большими военными подразделениями, и тремя племенами афинских всадников, чтобы разведать обстановку и определить, где можно провести линию блокады. Некоторые легкие отряды досаждали ему, но его войска отбили их и преследовали вплоть до театра Пейреуса, где были собраны все силы Фрасибула, как тяжеловооруженные, так и легковооруженные. Лакедемоняне заняли невыгодное положение, вероятно, среди домов и улиц, так что все легковооруженные войска Фрасибула смогли яростно наброситься на них с разных сторон и вытеснить с потерями, причем двое из спартанских полемархов были здесь убиты. Павсаний был вынужден отступить на небольшую возвышенность в полумиле от них, где он собрал все свои силы и сформировал гоплитов в очень глубокую фалангу. Фрасибул, со своей стороны, был настолько воодушевлен недавним успехом своих легковооруженных, что решился вывести своих тяжеловооруженных, всего восемь человек, для равного боя на открытой местности. Но и здесь он потерпел полное поражение и с потерей ста пятидесяти человек был отброшен в Пирей, так что спартанский царь смог удалиться в Афины после победы и воздвигнуть трофей в память о ней^[449].

Исход этого сражения был чрезвычайно удачным для Фрасибула и его товарищей, так как он оставил честь дня за Павсанием, чтобы не вызвать вражды или мести с его стороны, и в то же время ясно показал, что завоевание Пейреуса, защищаемого с таким мужеством и военной эффективностью, будет нелегким делом. Это еще больше расположило Павсания к соглашению, укрепив также силу той партии в Афинах, которая стремилась к тому же самому и была против десяти олигархов. Эта оппозиционная партия нашла понимание у спартанского царя, а также у эфора Науклидаса, который присутствовал вместе с ним. Многие афиняне, даже из тех трех тысяч, которыми теперь был занят исключительно город, выступили вперед, чтобы отказаться от дальнейшей войны с Пейреем и просить Павсания уладить ссору так, чтобы оставить их всех в дружбе с Лакедемоном. Ксенофонт, действительно, в соответствии с тем узким и пристрастным духом, который пронизывает его "Эллинику", не замечает в Павсании никаких чувств, кроме ревности к Лисандру, и считает, что оппозиция против Десяти в Афинах возникла благодаря его интригам^[450], но кажется очевидным, что это не совсем верный рассказ. Павсаний не создавал раздоров, а обнаружил их уже существующими, и ему пришлось выбирать, к какой из партий примкнуть. Десять взяли за олигархическую игру после того, как она была основательно опозорена и разрушена Тридцатью: они не внушали доверия и не имели никакого влияния на граждан в Афинах, за исключением того, что эти последние боялись реакционного насилия, в случае если Фрасибул и его товарищи вернутся силой; поэтому, когда Павсаний оказался там во главе силы, способной предотвратить такую опасную реакцию, граждане сразу же проявили свое расположение против Десяти и высказались за мир с Пейреем. Примкнуть к этой мирной партии было для Павсания одновременно и самым легким путем, и наиболее вероятным для популяризации Спарты в Греции; в то время как он, несомненно, навлек бы на нее еще более горькие проклятия извне, не говоря уже о потере людей для себя, если бы применил силу, необходимую для поддержки Десяти и покорения Пейреуса. Ко всему этому следует добавить его ревность к Лисандру, как важный предрасполагающий мотив, но лишь как вспомогательный среди многих других.

При таком положении дел неудивительно узнать, что Павсаний поощрял просьбы о мире со стороны Фрасибула и изгнанников и что он предоставил им перемирие, чтобы они могли отправить посланников в Спарту. Вместе с этими посланниками отправились Кефисофон и Мелит, посланные с той же целью - просить мира - партией, противостоящей Десяти в Афинах, с санкции Павсания и сопровождавших его эфоров. С другой стороны, "десятка", обнаружив, что Павсаний уступает им, отправила своих посланников, чтобы перебить остальных. Они предлагали себя, свои стены и свой город, чтобы с ними поступили по усмотрению лакедемонян; они требовали, чтобы Фрасибул, если он претендует на роль друга Спарты, так же безоговорочно сдал Пейрею и Мунихию. Все три группы посланников были выслушаны перед эфорами, оставшимися в Спарте, и лакедемонским собранием; они приняли наилучшее решение, которое допускал случай, чтобы заключить полюбовное соглашение между Афинами и Пейреем, а условия оставить на усмотрение пятнадцати уполномоченных, которые были немедленно отправлены туда для совещания с Павсанием. Совет постановил, что изгнанники в Пирее должны быть возвращены в Афины, что должно состояться соглашение и что никто не должен подвергаться преследованиям за прошлые деяния, кроме Тридцати, Одиннадцати (которые были орудием всех казней) и Десяти, которые управляли в Пирее. Но Элевсис был признан отдельным от Афин государством и оставлен, как уже было, во владении Тридцати и их соправителей, чтобы служить убежищем для всех тех, кто мог почувствовать, что их будущая безопасность в Афинах под угрозой из-за их прошлого поведения^[451].

Как только эти условия были провозглашены, приняты и клятвенно подтверждены всеми сторонами, Павсаний со всеми лакедемонянами эвакуировался из Аттики. Фрасибул и изгнанники торжественной процессией направились из Пирея в Афины. Первым делом они поднялись на акрополь, освобожденный теперь от лакедемонского гарнизона, и принесли там жертвы и благодарственные молебны. Спустившись оттуда, они провели общее собрание, на котором - как видно, единогласно и без сопротивления - была восстановлена демократия. Правительство Десяти, которое не могло иметь никакой основы, кроме меча чужеземца, исчезло само собой; но Фрасибул, настойчиво добиваясь от своих товарищей из Пирея полного уважения к клятвам, которые они давали, и безоговорочного согласия со своими новообретенными согражданами, решительно увещевал собрание относительно прошлых событий. "Горожане, - сказал он, - советую вам справедливо оценить себя на будущее и честно подсчитать, на каком основании вы имеете превосходство, чтобы претендовать на власть над нами? Разве вы справедливее нас? Ведь демос, хотя и беднее вас, никогда не обижал вас ради грабежа; вы же, самые богатые из всех, совершили множество подлых поступков ради наживы. Раз уж вам нечем похвастаться в справедливости, неужели вы превосходите нас в мужестве? Не может быть лучшего испытания, чем только что закончившаяся война. Опять же, можете ли вы претендовать на превосходство в политике? Вы, которые, имея укрепленный город, вооруженные силы, много денег и пелопоннесцев в качестве союзников, были побеждены людьми, у которых не было ничего подобного, чтобы помочь им? Можете ли вы похвастаться тем, что одержали верх над лакедемонянами? Да они только что сдали тебя, как злую собаку с привязанным к ней клубком, тому самому демосу, которого ты обидел, и теперь уходят из страны. Но у вас нет причин беспокоиться за будущее. Я призываю вас, мои друзья из Пейреуса, ни в коем случае не нарушать клятвы, которую мы только что принесли. Покажите, помимо других ваших славных подвигов, что вы честны и верны своим обязательствам"^[452].

Архонты, сенат пятисот, общественное собрание и дикастерии, похоже, были возрождены в том виде, в каком они существовали при демократии до взятия города Лисандром. Это важное восстановление, по-видимому, произошло весной 403 года до н. э., хотя мы не можем точно сказать, в каком месяце. Первым архонтом был Эвклидес, который дал свое имя этому памятного году; этот год никогда впоследствии не забывался афинянами.

В это время Элевсис, согласно заключенному договору, был независимым и отдельным от Афин городом, находившимся под управлением Тридцати и состоявшим из их самых горячих сторонников. Маловероятно, что это отделение продлится долго, но Тридцать сами давали повод для его прекращения. Они собирали наемников в Элевсисе, когда все афинские войска выступили в поход, чтобы помешать их планам. Генералы в Элевсисе выступили с требованием конференции, но были схвачены и преданы смерти; сами Тридцать и несколько самых отъявленных людей бежали из Аттики, а остальных элевсинских оккупантов друзья из Афин убедили прийти к равному и почетному соглашению. И снова Элевсис вошел в одну общину с Афинами, каждый дал клятву о взаимной амнистии и согласии[453].

Теперь мы прошли тот короткий, но горький и кровопролитный промежуток времени, который заняла Тридцатка, наступившая так сразу после исчезновения империи и независимости Афин, что не оставила возможности для паузы или размышлений. Теперь необходимо сказать несколько слов о подъеме и падении этой империи, подытожив, так сказать, политическую мораль событий, описанных в моих последних двух томах, между 477 и 405 годами до нашей эры.

В сорок пятой главе я рассказал о том, как Афины сначала приобрели свою империю, довели ее до максимума, включая морское и внутреннее владычество, а затем потеряли внутреннюю часть; эта потеря была закреплена Тридцатилетним перемирием, заключенным со Спартой и Пелопоннесской конфедерацией в 445 году до н. э. Ее морская империя была разрушена. Основой ее морской империи стала Делосская конфедерация, образованная островами в Эгейском море и городами на побережье сразу после битв при Платее и Микале с целью не только изгнать персов из Эгейского моря, но и навсегда удержать их там. Для достижения этой важной цели Спарта была совершенно неспособна; и она никогда не была бы достигнута, если бы Афины не продемонстрировали такое сочетание военной энергии, морской дисциплины, организаторских способностей и благородной преданности великой общеэллинской цели, какого еще не было в греческой истории.

Делосская конфедерация была образована свободным и спонтанным объединением множества различных городов, одинаково независимых; города, собравшиеся в синод и совещающиеся на равных, приняли большинством голосов решения, обязательные для всех, и избрали Афины своим вождем для исполнения этих решений, а также для общего руководства войной против общего врага. Но с самого начала это был договор, который навсегда связал каждое отдельное государство с остальными. Ни одно из них не имело права ни отступать, ни удерживать контингент, наложенный властью общего синода, ни предпринимать какие-либо самостоятельные шаги, несовместимые с обязательствами перед конфедерацией. Никакой союз, менее строгий, чем этот, не мог предотвратить возобновления персидского господства в Эгейском море. Отделившиеся или непокорные государства рассматривались как виновные в измене или восстании, которые Афины, как вождь, обязаны были подавить. Ее первые репрессии против Наксоса и других государств были предприняты во исполнение этой обязанности, и если бы она не успела, конфедерация распалась бы на части, а общий враг появился бы вновь.

Единственным способом спасти конфедерацию от распада было превращение ее в Афинскую империю. Такое превращение, как ясно намекает Фукидид,^[454] произошло не из-за амбиций или глубоко задуманных проектов Афин, а из-за нежелания более крупных конфедератов выполнять обязательства, наложенные общим синодом, и из-за невоинственного характера конфедератов в целом, который заставлял их желать заменить военную службу денежным вознаграждением, в то время как Афины со своей стороны не менее стремились выполнить службу и получить деньги. Постепенно и непредсказуемо Афины перешли от консульства к империи: так, что никто не смог точно указать момент, когда конфедерация Делоса прекратилась и когда началась империя. Даже передача общего фонда с Делоса в Афины, которая была очевидным проявлением уже произошедших перемен, не была актом высокомерной несправедливости афинян, а была оправдана благоразумными взглядами на существующее положение дел и даже предложена одним из ведущих членов конфедерации^[455].

Но в состав Афинской империи вошли (между 460-446 гг. до н. э.) и другие города, не участвовавшие в Делосской конфедерации. Афины завоевали своего древнего врага - остров Эгину, получили господство над Мегарой, Беотией, Фокисом, Локрисом и Ахайей в Пелопоннесе. Мегаряне присоединились к ней, чтобы избежать притеснений со стороны своего соседа Коринфа: влияние на Беотию было приобретено благодаря союзу с демократической партией в беотийских городах против Спарты, которая активно вмешивалась, чтобы поддержать противоположную партию и восстановить господство Фив. На какое-то время Афины добились успеха во всех этих предприятиях, но если проследить за деталями, то окажется, что ее можно упрекнуть в агрессивных наклонностях не больше, чем Спарту или Коринф. Ее империя достигла своего максимума, и если бы она смогла сохранить ее, или даже удержать отдельно Мегариды, которые давали ей возможность предотвратить все вторжения из Пелопоннеса, дальнейший ход греческой истории был бы существенно изменен. Но ее империя на суше не стояла на том же фундаменте, что и империя на море. Изгнанники в Мегаре, Беотии и т.д., а также антиафинская партия в целом в этих местах, в сочетании с опрометчивостью ее полководца Толмидеса в Коронее, лишили ее всех сухопутных зависимостей вблизи дома и даже угрожали ей потерей Эвбеи. Мир, заключенный в 445 году до н. э., оставил ей всю ее морскую и островную империю, включая Эвбею, но не более того, а из-за потери Мегары она теперь была открыта для вторжения из Пелопоннеса.

В таком положении она оставалась к началу Пелопоннесской войны четырнадцать лет спустя. Я показал, что эта война возникла не из-за агрессивных или честолюбивых замыслов Афин, как это часто утверждается, а, наоборот, агрессия была на стороне ее врагов, которые были полны надежд, что смогут расправиться с ней без промедления; в то время как она была не просто консервативна и оборонительна, но даже обескуражена уверенностью в разрушительном вторжении, и от уступок, одинаково неосмотрительных и бесславных, ее отговорили только необычайное влияние и решительная мудрость Перикла. Этот великий человек хорошо понимал и условия, и границы афинской империи. Теперь, особенно после восстания и повторного завоевания могущественного острова Самос в 440 году до н. э., Афины, как среди своих подданных и врагов, так и среди собственных граждан, считались владычицей моря. Забота Перикла заключалась в том, чтобы удержать это убеждение в определенных границах и не допустить растраты сил города на новые или дальние приобретения, которые нельзя было бы удержать надолго. Но он также заботился о том, чтобы навязать своим соотечественникам урок сохранения существующей империи в неприкосновенности и не уклоняться от усилий, необходимых для достижения этой цели.

Хотя вся их империя теперь была поставлена на карту в опасной войне, он без колебаний обещал им успех при условии, что они будут придерживаться этой консервативной политики.

Проследив за событиями войны, мы обнаружим, что Афины придерживались ее первые семь лет; годы страданий и испытаний, вызванных разрушительным ежегодным вторжением, еще более разрушительным мором и восстанием Митилены, но годы, в течение которых империя оставалась неповрежденной, а обещания Перикла имели все шансы быть выполненными. На седьмом году войны произошла неожиданная победа при Сфактерии и захват лакедемонских пленников. Это дало в руки афинян огромное преимущество, вселило в них уверенность в будущем успехе, в то время как их враги были в пропорциональной степени удручены. Именно в таком настроении они впервые отступили от консервативных предписаний Перикла и попытались вернуть (в 424 году до н. э.) Мегару и Беотию. Если бы великий государственный деятель был жив, [456] он мог бы обратить этот момент превосходства в лучшую сторону и, возможно, даже получить Мегару - пункт невыразимой важности для Афин, поскольку он защищал ее от вторжения - в обмен на спартанских пленников. Но общее чувство уверенности, которое тогда овладело всеми партиями в Афинах, заставило их в 424 году до н. э. добиваться этого и многого другого силой. Они попытались вновь завоевать Мегару и Беотию: в первой они потерпели неудачу, хотя им удалось захватить Ниссею; во второй они не только потерпели неудачу, но и потерпели катастрофическое поражение при Делиуме.

Осенью того же 424 года до н. э. Брасидас ворвался в их империю во Фракии и отнял у них Аканф, Стагейру и некоторые другие города, включая самое ценное их владение - Амфиполь. Опять же, похоже, что афиняне, отчасти из-за уныния, вызванного катастрофой в Делиуме, отчасти из-за возвышения Никиаса и партии мира, отошли от консервативной политики Перикла; не из-за амбициозного чрезмерного действия, а из-за бездействия, упустив все, что можно было сделать, чтобы остановить продвижение Брасида. Однако мы никогда не должны забывать, что их главная потеря, Амфиполь, была полностью обусловлена неразумностью их офицеров, и ее не смог бы предотвратить даже Периклес.

Но хотя этот великий человек не мог предотвратить потерю, он, несомненно, не считал бы слишком большими усилия, чтобы вернуть ее; и в этом отношении его политику поддерживал Клеон, выступая против Никиаса и партии мира. Последние сочли разумным заключить перемирие на год; оно настолько не оправдало себя, что Никиас был вынужден даже в разгар перемирия направить вооружение в Паллен, чтобы уберечь империю от новых потерь. Тем не менее, Никиас и его друзья не хотели слышать ничего, кроме мира; и после экспедиции Клеона против Амфиполя в следующем году, которая провалилась частично из-за его военной неспособности, частично из-за отсутствия сердечного согласия со стороны его политических противников, они заключили то, что называется Никиасовым миром, весной следующего года. И в нем их расчеты оказались не менее фальсифицированными, чем в предыдущем перемирии: они предусматривали, что Амфиполь будет восстановлен, но он был так далек от восстановления, как никогда. Чтобы сделать ошибку еще более серьезной и непоправимой, Никиас с согласия Алкивиада через несколько месяцев после заключения мира заключает союз со Спартой и отдает пленников, обладание которыми было единственным преимуществом, которое Афины до сих пор имели перед спартанцами.

Таким образом, в течение четырех лет после битвы при Делиуме (424-420 гг. до н. э.) мы имеем ряд отступлений от консервативной политики Перикла; отступлений не в сторону амбициозных приобретений, а в сторону вялости и нежелания прилагать усилия даже для восстановления капитальных потерь. Те, кто не видит во внешней политике демократии никаких недостатков, кроме излишней амбициозности и любви к войне, в соответствии с

шуткой Аристофана, совершенно не замечают этих противоположных, но серьезных промахов Никиаса и партии мира.

Далее следует возвышение Алкивиада, приведшее к двухлетней кампании в Пелопоннесе совместно с Элисом, Аргосом и Мантинеей и закончившееся полным восстановлением лакедемонского господства. Здесь афинские силы были отвлечены от своей законной цели - сохранения или восстановления империи - на внутренние проекты, которые Периклес никогда бы не одобрил. Остров Мелос, несомненно, вписывался в его общие представления о приемлемой для Афин империи. Но мы можем считать несомненным, что он не рекомендовал бы никаких новых проектов, подвергающих Афины упрекам в несправедливости, до тех пор, пока потерянные законные владения во Фракии оставались бы непокоренными.

Теперь мы переходим к экспедиции против Сиракуз. До этого периода Афинская империя, за исключением владений во Фракии, оставалась неизменной, а ее общая мощь - почти такой же великой, какой она была с 445 года до н. э. Эта экспедиция была единственным большим и роковым отступлением от периклийской политики, навлекая на Афины бедствия, от которых они так и не оправились; и это, несомненно, была ошибка, связанная с чрезмерными амбициями. Приобретения в Сицилии, даже если бы они были сделаны, не соответствовали условиям постоянной империи для Афин; и каким бы впечатляющим ни был первый эффект от успеха, они только рассеяли бы ее силу, умножили бы ее врагов и ослабили бы ее во всех областях. Но хотя сама экспедиция была, таким образом, бесспорно непродуманной и, следовательно, должна быть отнесена к дискредитации общественного мнения в Афинах, мы не должны приписывать этой публике вину, в какой-либо мере соизмеримую с масштабами бедствия, за исключением того, что она была виновна в безмерном и непобедимом почитании Никиаса. Хотя Периклес решительно воспротивился бы этому проекту, он не мог предвидеть, к какому огромному разорению он приведет, да и не мог привести к такому разорению ни один человек, кроме Никиаса. Даже когда люди совершили усугубленное безрассудство, отправив вторую экспедицию, Демосфен, несомненно, заверил их, что он быстро либо возьмет Сиракузы, либо вернет оба вооружения, справедливо компенсировав потери, неизбежные при неудаче; и так бы он и сделал, если бы упрямство Никиаса позволило. Поэтому, оценивая степень просчета, справедливо вменяемого афинянам в вину за это разорительное предприятие, мы должны всегда помнить, что сначала неудача осады, а затем гибель вооружения возникли не из-за внутренних трудностей дела, а из-за личных недостатков полководца.

После сиракузской катастрофы уже не стоит вопрос о том, придерживаться или отступать от периклийской политики. Афины напоминают Патрокла в "Илиаде", после того как Аполлон оглушил его ударом по спине и ослабил доспехи. Ничто, кроме медлительности ее врагов, не давало ей времени на частичное восстановление, чтобы усиленный героизм заменил ослабленную силу, даже против удвоенных и утроенных трудностей. И годы борьбы, через которые она прошла, - одно из самых славных событий в ее истории. В эти годы было много несчастий, но не было ни одного серьезного просчета, не говоря уже об одном особенно почетном моменте, после свержения Четырехсот. В двух предыдущих главах я рассмотрел вину афинян за то, что они не приняли предложения о мире после битвы при Кизикусе, и за то, что они уволили Алкивиада после битвы при Нотиуме. В обоих случаях их поведение было показано как оправданное. И после всего они были на грани частичного восстановления в 408 году до н. э., когда неожиданное появление Кира поставило точку в их судьбе.

Кровопролитие после захвата Митилены и Скионки, а также последовавшее за захватом Мелоса, позорно для афинской гуманности и резко контрастирует с тем, как обращались с

Самосом, отвоеванным Периклесом. Но они не внесли существенного вклада в разрушение ее могущества; хотя, будучи вспомненными с отвращением после того, как другие инциденты были забыты, они упоминаются в более поздние времена так, как будто они привели к падению империи[457].

Я счел важным напомнить в этом кратком обзоре основные события семидесяти лет, предшествовавших 405 году до н. э., чтобы понять, в какой степени Афины были политически или благоразумно виноваты в великом падении, которое они тогда пережили. У этого падения была одна большая причина - можно сказать, одна единственная причина - сицилийская экспедиция. Афинская империя как была, так и оставалась в силе, когда была отправлена эта экспедиция; силы было более чем достаточно, чтобы противостоять всем умеренным недостаткам или умеренным несчастьям, подобных тем, которых никогда не избегает ни одно правительство. Но катастрофа Сиракуз была чем-то, превосходящим в ужасающем бедствии весь греческий опыт и всю силу предвидения. Она была подобна русской кампании 1812 года для императора Наполеона, хотя ни в коем случае не была в равной степени обусловлена пороком в первоначальном проекте. Ни одна греческая держава не смогла бы выстоять против такой смертельной раны, и продолжительная борьба Афин после нее - не самая замечательная часть всей войны.

Ничто в политической истории Греции не является столь примечательным, как Афинская империя; если взять ее в том виде, в каком она существовала в своей полноте, примерно с 460-413 гг. до н. э., когда произошла Сиракузская катастрофа, или, более того, с 460-421 гг. до н. э., когда Брасидас совершил свои завоевания во Фракии. После сиракузской катастрофы условия существования империи полностью изменились, она безвозвратно распалась, хотя Афины все еще продолжали энергичную борьбу за сохранение некоторых осколков. Но если рассматривать ее в том виде, в каком она существовала до этого события, в период своей целостности, то это зрелище удивительно для созерцания, и его действие, по моему мнению, должно быть признано в высшей степени благотворным для греческого мира. Ни одно греческое государство, кроме Афин, не смогло бы организовать такую систему или удержать в частичном, хотя и регулируемом, непрерывном и конкретном общении столько маленьких государств, каждое из которых было оживлено той силой политического отталкивания, которая инстинктивно присуща греческому уму. Это была могучая задача, достойная Афин и не под силу ни одному государству, кроме Афин. Мы уже частично видели и еще увидим, насколько мало способна была выполнить ее Спарта, а в дальнейшем у нас будет повод обратить внимание на столь же бесплодные попытки Фив.

Как и в отношении афинской демократии в целом, так и в отношении ее империи у историков было принято обращать внимание только на плохие стороны. Но я убежден, и я показал основания для этого в главе xlvii, что Афинская империя не была суровой и деспотичной, как ее обычно изображают. В условиях ее владычества, в то время, когда весь транзит и торговля Эгейского моря подчинялись единой морской системе, исключавшей всякую нерегулярную силу; когда персидские военные корабли не допускались в воды, а персидские чиновники-трибуны - к морскому побережью; когда споры, неизбежные среди стольких маленьких общин, могли быть мирно разрешены взаимным правом обращения в афинские трибуналы, и когда эти трибуналы были также таковы, что давали страдальцам убежище от обид, причиненных даже отдельными гражданами самих Афин, по выражению олигархического Фриниха,[458] положение приморских греков было значительно лучше, чем прежде, или чем оно, как будет видно, стало впоследствии. Ее империя если и не внушала привязанности, то уж точно не вызывала антипатии у основной массы граждан подвластных общин, о чем свидетельствует партийный характер восстаний против нее. Если в своем императорском

характере она требовала повиновения, она также выполняла обязанности и обеспечивала защиту в несравненно большей степени, чем когда-либо реализовывала Спарта. И даже если бы она и была склонна стеснять свободную игру ума и целей среди своих подданных, - что никак не доказывается, - сами обстоятельства ее собственной демократии, с ее открытой противоположностью политических партий, всеобщей свободой слова и многообразной индивидуальной энергией, сделали бы многое, чтобы предотвратить достижение такой цели, и послужили бы стимулом для зависимых сообществ, даже без ее собственного намерения.

Не оставаясь равнодушным ни к недостаткам, ни к проступкам императорских Афин, я считаю, что ее империя была большим сравнительным благом, а ее исчезновение - большой потерей для ее собственных подданных. Но еще больше я верю в то, что она была благом, если рассматривать ее с точки зрения общегреческих интересов. Ее сохранение давало единственную возможность предотвратить иностранное вмешательство и оставить судьбы Греции в зависимости от родных, спонтанных, ничем не сдерживаемых греческих сил. Падение Афинской империи - это сигнал к тому, что оружие и коррупция Персии снова дадут о себе знать, а азиатские греки вновь окажутся в рабстве у ее данников. Что еще хуже, это оставляет греческий мир в состоянии, неспособном отразить любое энергичное иностранное нападение, и открытым для господствующего марша "человека из Македонии", спустя полвека. Ибо такова была естественная тенденция греческого мира к политической неинтеграции или дезинтеграции, что возникновение Афинской империи, объединившей так много государств в единую систему, следует рассматривать как необычайную случайность. Ничто, кроме гения, энергии, дисциплины и демократии Афин, не могло бы привести к этому; и даже она сама, если бы ей не благоприятствовал и не подталкивал к этому весьма своеобразный ряд предшествующих событий. Но, получив его однажды, она вполне могла бы его сохранить; и если бы она это сделала, эллинский мир остался бы настолько организованным, чтобы быть в состоянии отразить иностранное вмешательство, будь то из Суз или из Пеллы. Когда мы размышляем о том, насколько бесконечно превосходил эллинский разум разум всех окружающих народов и рас; насколько полностью было подавлено его творческое начало, как только он попал под македонскую диктовку; И как многого он мог бы, возможно, достичь, если бы еще столетие или полвека наслаждался свободой под стимулирующим руководством самого прогрессивного и самого интеллектуального из всех его отдельных сообществ, мы будем смотреть с двойным сожалением на гибель Афинской империи, как на ускорение, без исправления, всеобщего разрушения греческой независимости, политической деятельности и умственного величия.

ГЛАВА LXVI. ОТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ ДО СМЕРТИ АЛКИВИАДА.

Период, прошедший между поражением при Игоспотамах (октябрь 405 г. до н. э.) и восстановлением демократии в соответствии с договором, заключенным с Павсанием летом 403 г. до н. э., представляет собой два года жестоких и многообразных страданий для Афин. Семь лет до этого, да и вообще со времени катастрофы в Сиракузах, она боролась с трудностями; противостояла возросшей вражеской силе, в то время как ее собственные средства были урезаны во всех отношениях; была искалечена дома гарнизоном Декелеи; была в значительной степени лишена как дани, так и внешней торговли, и попала в ловушки своих собственных олигархов. Несмотря на столь неблагоприятные обстоятельства, она продолжала борьбу с решимостью, не менее удивительной, чем восхитительная, но не без

того, чтобы все больше и больше погружаться в обнищание и истощение. Поражение при Эгоспотамах сразу же завершило войну и перевело ее из периода борьбы в период завершающей агонии. Последнее слово отнюдь не является слишком сильным для реальности. Из этих двух лет первая часть была отмечена тяжелыми физическими лишениями, постепенно переходящими в абсолютный голод, и сопровождалась непереносимым чувством отчаяния и беспомощности перед врагами, после двух поколений императорского величия, не лишенными шансов быть окончательно обреченными на разорение и индивидуальное рабство; В то время как последняя часть включала в себя всю тиранию, убийства, грабежи и изгнания, совершенные Тридцатью, которые были свергнуты только благодаря героическим усилиям патриотизма со стороны изгнанников ; удачная смена настроения Павсания и ведущих членов Пелопоннесской конфедерации в конечном итоге увенчалась успехом.

После стольких лет страданий для афинского населения было невыразимым облегчением вновь овладеть Афинами и Аттикой, поменять внутренних тиранов на обновленное демократическое правительство и увидеть, что их внешние враги не только эвакуировались из страны, но даже связали себя договором о будущих дружественных отношениях. В отношении власти Афины были лишь тенью себя прежней. У нее не было ни империи, ни дани, ни флота, ни укреплений в Пейреусе, ни длинных стен, ни одного укрепленного места в Аттике, кроме самого города. Однако афиняне, вероятно, не придали значения всем этим потерям, по крайней мере, в первый период своего восстановления; настолько невыносимым было давление, которого они только что избежали, и настолько желанным было восстановление комфорта, безопасности, собственности и независимости дома. Сама чрезмерность тирании Тридцати придавала особую остроту восстановлению демократии. В их руках олигархический принцип, по выражению г-на Берка,^[459] "на деле и мгновенно породил самые грубые из тех зол, которыми он был наделен по своей природе"; они выполнили обещание той простой олигархической клятвы, которую, как упоминает Аристотель, давали в различных олигархических городах, причинить народу как можно больше зла.^[460] Тем более полной была реакция настроения на предшествующую демократию даже в умах тех, кто прежде был ею недоволен. Для всех людей, богатых и бедных, граждан и мирян, сравнительное превосходство демократии в отношении всех основ хорошего правления было теперь очевидным. За исключением тех, кто отождествлял себя с Тридцатью в качестве партнеров, приверженцев или орудий, едва ли был хоть один человек, который не чувствовал бы, что его жизнь и имущество были гораздо более безопасными при прежней демократии и станут такими снова, если эта демократия будет возрождена^[461].

Первым делом Фрасибул и его соратники, заключив договор с Павсанием и вернув себе город, обменялись торжественными клятвами об амнистии за прошлое с теми, против кого они только что вели войну. Аналогичные клятвы об амнистии были даны и жителям Элевсиса, как только этот город перешел под их власть. Из амнистии были исключены только Тридцать, Одиннадцать, которые руководили исполнением всех их злодеяний, и Десять, которые правили в Пейреусе. Но и эти лица не были изгнаны императивно: им была предоставлена возможность прийти и предстать перед судом для привлечения к ответственности (что в Афинах было обязательным для каждого магистрата при оставлении должности), чтобы, в случае оправдания, они пользовались благами амнистии наравне со всеми остальными.^[462] Мы знаем, что Эратосфенес, один из Тридцати, после этого вернулся в Афины, поскольку сохранилась мощная проповедь Лисия, призывающая к правосудию против него, как предавшего смерти Полемарха, брата Лисия. Эратосфенес был одним из меньшинства Тридцати, которые в целом поддерживали Фераменеса и в значительной степени

противостояли крайним насилиям Крития, хотя лично участвовал в захвате и казни богатых метисов, которым сопротивлялся Фераменес, и которые были одним из самых грубых проступков даже того мрачного периода. Он и Фидон, будучи в числе десяти человек, назначенных преемниками Тридцати после смерти Крития, когда оставшиеся члены этого свергнутого правления удалились в Элевсис, пытались сохранить себя в качестве новой олигархии, ведя одновременно войну против Элевсиса и против демократических изгнанников в Пейреусе. Потерпев неудачу, они удалились из страны в то время, когда эти изгнанники вернулись и когда демократия была впервые восстановлена. Но через некоторое время, когда сильные чувства момента несколько улеглись, друзья побудили их вернуться, и они вернулись, чтобы предстать перед судом ответственности. Именно по этому случаю Лисий выдвинул свое обвинение против Эратосфена, результат которого нам неизвестен, хотя даже из обвинительной речи ясно видно, что у последнего были влиятельные друзья, которые поддерживали его, и что дикасты проявили значительную неохоту осуждать. [Более того, из той же речи мы узнаем, что в некоторых государствах, окружавших Аттику, Тридцать вызывали такое отвращение, что были приняты официальные указы об их изгнании или запрете на их приезд.] [464] Сыновьям, даже тех из Тридцати, кто не вернулся, было позволено остаться в Афинах и беспрепятственно пользоваться своими правами граждан; [465] умеренность, редкая в греческих политических войнах.

Первым публичным голосованием афинян после заключения мира со Спартой и возвращения изгнанников было восстановление прежней демократии в чистом виде, выбор по жребию девяти архонтов и сената из пятисот человек, а также избрание полководцев, все как прежде. Судя по всему, против восстановления прежней конституции частично выступал гражданин по имени Формисий, который, служа вместе с Фрасибулом в Пирее, теперь предлагал ограничить политическое право в будущем только владельцами земли в Аттике. Его предложение было поддержано лакедемонянами и рекомендовано как рассчитанное на то, чтобы Афины пришли в большее согласие с ними. Оно было представлено как компромисс между олигархией и демократией, исключая как бедных свободных людей, так и тех, чья собственность состояла либо из движимого имущества, либо из земли за пределами Аттики; таким образом, общее число лишенных прав должно было составить пять тысяч человек. Поскольку Афины теперь потеряли свой флот и морскую империю, а значение Пирея значительно уменьшилось не только из-за этих потерь, но и из-за разрушения его отдельных стен и длинных стен, Формисий и другие сочли благоприятной возможность вычеркнуть из списка граждан морское и торговое население. Многие из этих людей, должно быть, находились в легком и даже богатом положении, но большинство из них были бедны, и у Формизия, конечно, были в распоряжении обычные аргументы, с помощью которых пытаются доказать, что бедняки не имеют никакого отношения к политическим суждениям и действиям. Но предложение было отвергнуто; оратор Лисий был в числе его противников и сочинил против него речь, которую произнес или хотел произнести какой-то выдающийся гражданин в собрании [466].

К сожалению, до нас дошел лишь фрагмент этой речи, где предложение справедливо критикуется как озорное и несвоевременное, лишаящее Афины значительной части их законной силы, патриотизма и согласия, и даже значительных людей, способных служить гоплитами или всадниками, в тот момент, когда они едва поднимались из абсолютной простратии. Никогда еще заблуждение, связывающее политическую испорченность или неспособность с бедным положением, а политическую добродетель или рассудительность с богатством, не было так ярко разоблачено, как на примере недавнего опыта Афин. Верно замечание Фрасибула, [467] что за несколько месяцев Тридцатью, при пособничестве всадников, богатых людей, было совершено больше злодеяний как против личности, так и

против имущества, чем бедное большинство Демоса санкционировало в течение двух поколений демократии. Более того, мы знаем со слов недружественного демократии свидетеля, что бедные афинские граждане, служившие на кораблях и в других местах, были точны в повиновении своим командирам; в то время как более богатые граждане, служившие гоплитами и всадниками и претендовавшие на более высокую личную оценку, были гораздо менее упорядочены на государственной службе"[468].

Предложение Формисия было отклонено, и прежняя демократия была восстановлена без каких-либо оговорок, вместе с постановлениями Драко, законами, мерами и весами Солона. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что эта последняя часть резолюции несовместима с амнистией, которая была только что объявлена. Согласно законам Солона и Драко, лица, совершившие преступления при Тридцати, признавали себя виновными и подлежали суду. Чтобы избежать этих последствий, по предложению Тисамена был принят второй псефизм, или указ, о пересмотре законов Солона и Дракона и их повторном принятии с такими дополнениями и изменениями, которые будут сочтены целесообразными. Пятьсот граждан только что были выбраны народом в качестве номотетов, или законотворцев, в то самое время, когда сенат из пятисот человек был выбран по жребию: из этих номотетов сенат теперь выбрал избранных, в обязанности которых входило рассмотреть все предложения по изменению или дополнению законов старой демократии и выставить их на всеобщее рассмотрение перед статуями одноименных героев в течение месяца, который тогда шел.[Затем должен был быть созван сенат и все пятьсот номотетов, чтобы каждый из них мог отдельно рассмотреть как старые законы, так и новые предложения; номотеты предварительно поклялись выносить праведные решения. Пока шло это обсуждение, каждый частный гражданин имел право войти в сенат и высказать свое мнение с обоснованием за или против любого закона. Все законы, которые были одобрены сначала сенатом, а затем номотетами, но не другими, передавались магистратам и записывались на стенах портика, называемого Пикилеем, для всеобщего обозрения, как будущие регуляторы города. После обнародования законов с помощью такой публичной надписи сенату Ареопага было предписано позаботиться о том, чтобы они должным образом соблюдались и исполнялись магистратами. Был назначен временный комитет из двадцати граждан, который должен был нести общую ответственность за город в течение времени, занятого этим пересмотром[470].

Как только законы были пересмотрены и публично начертаны в *proskilê*, в соответствии с вышеупомянутым указом были приняты два заключительных закона, которые завершили цель горожан.

Первый из этих законов запрещал магистратам действовать или разрешать действовать по какому-либо закону, не входящему в число записанных, и объявлял, что никакие псефизмы, ни сената, ни народа, не должны отменять какой-либо закон. 471] Он также возобновлял старый запрет, восходящий ко временам Клейстенеса и первого зарождения демократии, на принятие особого закона, причиняющего прямые тяготы какому-либо отдельному афинянину, кроме остальных, если только за него не проголосовали шесть тысяч граждан, участвующих в тайном голосовании.

Второй из этих двух законов предписывал, что все судебные и арбитражные решения, вынесенные при прежней демократии, должны быть признаны действительными и неподтвержденными, но формально отменял все, что было вынесено при Тридцати. Кроме того, в нем говорилось, что пересмотренные и записанные законы должны вступать в силу только после архонтства Эвклидеса, то есть после назначения архонтов, произведенного после недавнего возвращения Фрасибула и восстановления демократии[472].

Этими вечно памятными постановлениями все действия, совершенные до назначения архонта Эвклидеса и его коллег летом 403 года до н. э., были исключены из числа оснований для уголовного процесса против любого гражданина. Чтобы обеспечить более полное выполнение этого требования, в клятву, ежегодно приносимую сенаторами, а также гелиастическими дикастами, был добавлен специальный пункт. Сенаторы обязывались под присягой не выносить никаких обвинений и не производить никаких арестов, основанных на фактах, имевших место до архонтства Эвклидеса, за исключением только Тридцати и других лиц, явно исключенных из амнистии и находящихся теперь в изгнании.^[473] К присяге, ежегодно приносимой гелиастами, также был добавлен пункт: "Я не буду вспоминать прошлые злодеяния и не буду способствовать тому, кто будет их вспоминать; напротив,^[474] я подам свой голос в соответствии с существующими законами"; эти законы провозглашали себя вступившими в силу только после архонтства Эвклидеса.

Еще одна мера предосторожности была принята, чтобы запретить все иски о возмещении ущерба, основанные на действиях, совершенных до архонтства Эвклидеса. По предложению Архина, главного коллеги Фрасибула в Филе, был принят закон, дающий право любому ответчику, против которого может быть подан такой иск, заявить об исключении из правил, или *paragraphê*, на особом основании амнистии и связанных с ней правовых предписаний. Юридический эффект этого *paragraphê*, или исключительного заявления, в аттической процедуре заключался в том, что оно увеличивало как шансы истца на неудачу, так и его денежные обязательства в случае неудачи; кроме того, значительно улучшало шансы ответчика. Считается, что этот закон был принят Архином, когда он увидел, что некоторые люди начали подавать иски в суд, несмотря на амнистию; и для лучшего предотвращения всех подобных исков^[475].

Этими дополнительными постановлениями были приняты меры к тому, чтобы судопроизводство в судах полностью соответствовало недавно объявленной амнистии и чтобы ни прямо, ни косвенно никто не подвергался притеснениям за обиды, причиненные до Эвклида. И в самом деле, амнистия была соблюдена: изгнанники из Пирея и всадники с другими приверженцами Тридцати в Афинах вновь слились в единую гармоничную и равноправную демократию.

За восемь лет до этих событий мы видели, как олигархический заговор Четырехсот на мгновение стал успешным, а затем был свергнут; в связи с этим событием мы имели случай отметить удивительное отсутствие всякого реакционного насилия со стороны победившего народа в момент серьезных провокаций в отношении прошлого и крайних опасений в отношении будущего. Мы заметили, что Фукидид, отнюдь не друг афинской демократии, выбрал именно тот случай, когда проявление мстительного импульса могло бы показаться вероятным и естественным, чтобы одарить самыми безоговорочными восхвалениями их умеренный и мягкий образ жизни. Если бы историк дожил до царствования Тридцати и последовавшей за ним реставрации, мы не сомневаемся, что его высказывания были бы еще более теплыми и категоричными в том же смысле. Немногие события в истории, как древней, так и современной, более удивительны, чем поведение афинского народа при восстановлении демократии после свержения Тридцати: и когда мы рассматриваем его в сочетании с аналогичным явлением после низложения Четырехсот, мы видим, что ни одно, ни другое не было вызвано особым капризом или случайностью момента; оба зависели от постоянных качеств народного характера. Если бы мы не знали ничего другого, кроме

событий этих двух периодов, мы могли бы с полным основанием отбросить, основываясь только на этом доказательстве, череду презрительных предикатов, - легкомысленный, вспыльчивый, завистливый, несправедливый, жадный и т. д, которые мистер Митфорд так часто произносит, и даже когда не произносит, намекает на них в отношении афинского народа.[476] Народ, чьи привычные нравы и мораль заслуживают этих эпитетов, не мог бы вести себя так, как вели себя афиняне как после Четырехсот, так и после Тридцати. В их истории можно найти отдельные поступки, которые оправдывают суровое порицание; но что касается постоянных элементов характера, как морального, так и интеллектуального, то ни одно население в истории не давало более убедительных доказательств, чем афиняне в этих двух памятных случаях.

Если мы проследим за действиями Тридцати, то увидим, что всадники и привилегированные три тысячи гоплитов в городе стали соучастниками всех видов вопиющих преступлений, которые только можно было представить для возбуждения чувств изгнанников. Последние, вернувшись, увидели перед собой людей, которые без суда и следствия предавали смерти своих родственников, которые захватили их имущество и пользовались им, которые изгнали их всех из города, а значительную часть даже из Аттики, и которые держали себя в руках не только путем ниспровержения конституции, но и приглашая и субсидируя иностранных стражников. Эти злодеяния, задуманные и заказанные Тридцатью, были осуществлены с помощью и на общую пользу, как справедливо заметил Критий,[477] тех обитателей города, которых изгнанники застали по возвращении. Теперь Фрасибул, Анит и остальные изгнанники увидели, что за несколько месяцев их отсутствия все их имущество было разграблено и присвоено другими: мы можем предположить, что их земли, которые, вероятно, не были проданы, а предоставлены отдельным членам или партизанам Тридцати[478], были им возвращены; но движимое имущество не могло быть возвращено, и потери, которым они подверглись, были огромными. Люди, которые причинили эти убытки и нажились на них[479] - часто с большой жестокостью по отношению к женам и семьям изгнанников, как мы знаем на примере оратора Лисия, - теперь находились в Афинах, и все они по отдельности были хорошо знакомы со страдальцами. Точно так же сыновья и братья Леона и других жертв Тридцати видели перед собой тех самых граждан, чьими руками их невинные родственники были без суда и следствия преданы тюрьме и казни.[480] Количество причиненного зла было бесконечно больше, чем во времена Четырехсот, а провокации, на всех основаниях, общественных и частных, были жестокими до такой степени, которая никогда не была превзойдена в истории. И все же, несмотря на то, что все это было еще свежо в их груди, мы видим, как победившая толпа, как во втором случае, так и в первом, похоронила прошлое в огульной амнистии и беспокоилась только о будущем гармоничном шествии обновленной и всеохватывающей демократии. Мы видим, как чувства содружества в Демосе дважды противопоставляются чувствам фракции в восходящей олигархии;[481] дважды торжествует победа над самыми сильными контрмотивами, над самыми горькими воспоминаниями о несправедливых убийствах и грабежах, над всем тем страстным порывом реакционных appetitов, который характеризует момент политической реставрации. "Кровавым будет правление того царя, который вернется в свое царство из изгнания", - говорит латинский поэт: кровавым, действительно, было правление Крития и тех олигархов, которые только что вернулись из изгнания: "Суров тот демос (замечает Эсхил), который только что избавился от страданий"[482]. Но афинский демос, вернувшись из Пирея, продемонстрировал редкое явление восстановления, когда после жестокой обиды, причиненной ему, все сильные порывы к возмездию были принесены в жертву великодушному и обдуманному отношению к будущему положению дел в обществе. Фукидид замечает, что умеренность политической антипатии, которая преобладала в Афинах после победы народа над Четырехсотниками, была главной причиной, которая возродила

Афины из большой общественной депрессии и опасности.[483] Гораздо более убедительно это замечание относится к восстановлению после Тридцати, когда общественное состояние Афин было на самой низкой глубине унижения, от которого ничто не могло спасти ее, кроме такой образцовой мудрости и патриотизма со стороны ее победившего Демоса. Ничто иное, как это, не могло позволить ей совершить то частичное воскрешение - в независимое и могущественное единое государство, хотя и лишенное императорской власти, - которое послужит материалом для последующей части нашей истории.

Отмечая памятное решение афинского народа забыть то, что нельзя было помнить без ущерба для будущего движения демократии, мы должны в то же время обратить внимание на то, что он особенно старался сохранить от забвения. Они официально признали все судебные дела и все имущественные права, существовавшие при демократии до Тридцати. "Вы объявили, сограждане (говорит Андокид), что все судебные приговоры и все решения арбитров, вынесенные при демократии, должны оставаться в силе, чтобы не было отмены долгов, не было отмены частных прав, но чтобы каждый человек мог иметь возможность принудительно исполнять договоры, причитающиеся ему от других." Если афинский народ и был одушевлен той жадой разорения богатых и тем подчинением страстям момента, которые г-н Митфорд вменяет ему в вину во многих главах своей истории, то теперь не было ни повода, ни возможности для оптовой конфискации, которую сами богачи, во времена правления Тридцати, подавали обильный пример. Амнистия в отношении политических преступлений и неизгладимая память о правах собственности в равной степени свидетельствуют о подлинном характере афинского демоса.

Если бы мы хотели получить еще одно доказательство их способности принимать самые широкие и здравые решения в сложной политической ситуации, мы бы нашли его в другой их мере в этот критический период. Десятник, получивший олигархическое правление в Афинах после смерти Крития и изгнания Тридцати, занял у Спарты сумму в сто талантов с явной целью начать войну с изгнанниками в Пирее. После заключения мира возникла необходимость вернуть эту сумму, и некоторые лица предложили обратить взыскание на имущество тех людей и той партии, которые одолжили деньги. Очевидная справедливость этого предложения, несомненно, с особой силой ощущалась в то время, когда государственная казна находилась в крайней нищете. Но, тем не менее, и демократические лидеры, и народ решительно воспротивились этому, решив признать долг государственным долгом; в этом качестве он и был впоследствии ликвидирован, после некоторой задержки, вызванной нехваткой средств в казне[485].

Все, что требовалось от всадников или рыцарей, активно служивших Тридцати, - это вернуть суммы, выданные им последними в качестве наряда. Такие авансы всадникам, подлежащие последующему возврату и, казалось бы, отличные от обычного военного жалованья, были обычной практикой при прежней демократии;[486] но мы можем легко поверить, что Тридцать довели их до чрезмерного злоупотребления, стремясь завербовать или стимулировать партизан, если вспомним, что для той же цели они прибегали к более гнусным средствам. Разумеется, между этими рыцарями существовали большие индивидуальные различия в том, насколько каждый из них был склонен к проступкам олигархии. Но даже к самым провинившимся из них не было притеснений, и через четыре года после этого они были отправлены на службу к Агесилаю в Азию, когда лакедемоняне потребовали от Афин конницу;[487] Демос был доволен тем, что смог обеспечить им почетную иностранную службу. Но общее число рыцарей так мало пострадало от воспоминаний о Тридцати, что многие из них в последующие дни стали сенаторами, генералами, гиппархами и заняли другие значительные посты в государстве[488].

Хотя указ Тисамена, предписывающий безотлагательно пересмотреть законы и предписывающий вывесить их на всеобщее обозрение, чтобы они служили единственным и исключительным руководством для дикастерий, был принят сразу после возвращения из Пирея и подтверждения амнистии, однако, судя по всему, произошла значительная задержка, прежде чем это постановление было приведено в действие в полном объеме. Эта обязанность была возложена на человека по имени Никомах, и его обвиняют в том, что он исполнял ее с опозданием и коррупцией. Он, как и Тисамен,^[489] был писцом, или секретарем; под этим именем скрывался целый класс оплачиваемых чиновников, весьма важных в афинских делах, хотя, казалось бы, людей низкого происхождения и рассматриваемых как занимающие подчиненное положение, открытое для насмешек со стороны недружелюбных ораторов. В Афинах так часто менялись советы, магистраты и государственные органы, что непрерывность государственных дел могла поддерживаться только оплачиваемыми секретарями такого рода, постоянно посвящавшими себя выполнению своих обязанностей^[490].

Никомах был назначен во времена демократии, предшествовавшей Тридцатилетней, для подготовки честной стенограммы и размещения заново, возможно, в более четких символах и в более удобном для всеобщего обозрения месте, старых законов Солона. Мы вполне можем понять, что обновленное демократическое чувство, вспыхнувшее после изгнания Четырехсот и продиктовавшее яростный псефизм Демофанта, естественно, могло породить и такое поручение, как это, для которого Никомах, и как один из общественных писцов, или секретарей, и как способный оратор,^[491] был подходящим человеком. Его обвинитель, для которого Лисий сочинил свою тридцатую орацию, сохранившуюся до наших дней, обличает его в том, что он не только специально задержался в этом деле, чтобы продлить срок вознаграждения, но даже и в том, что он испортил старые законы новыми интерполяциями, а также упущениями. Насколько обоснованными могли быть такие обвинения, мы судить не можем; но даже если предположить, что Никомах был честным и старательным, ему было бы нелегко должным образом исполнить свой долг анаграфа^[492] или "писателя" всех старых законов Афин, начиная с Солона и ниже. Как фразеология этих старых законов, так и алфавит, которым они были написаны, во многих случаях были древними и устаревшими;^[493] при этом, несомненно, были и случаи, когда один закон полностью или частично противоречил другому. Такие противоречия и архаизмы могли бы оказаться оскорбительными, если бы их напечатали на новом месте и чистыми, новыми буквами; в то время как Никомах не имел полномочий вносить малейшие изменения и мог, естественно, опоздать с выполнением поручения, которое не сулило ему больших заслуг в результате.

Эти замечания свидетельствуют о том, что необходимость в новом собрании и публикации, если можно так выразиться, законов ощущалась еще до Тридцати. Но такой проект вряд ли мог быть реализован без одновременного пересмотра законов как единого целого, устранения всех вопиющих противоречий и исправления того, что могло вызывать явное недовольство эпохи, как по сути, так и по стилю. Псефизм Тисамена, одна из первых мер обновленной демократии после Тридцати, предписывал такой пересмотр и приводил в движение орган по пересмотру законов; но теперь Архиний предложил и провел дополнительный декрет, касающийся алфавита, на котором должны быть составлены пересмотренные законы. Ионический алфавит, то есть полный греческий алфавит из двадцати четырех букв, как сейчас пишут и печатают, использовался в Афинах повсеместно в течение значительного времени, по-видимому, на протяжении двух поколений; но из-за упорной приверженности древнему обычаю законы все еще продолжали писать старым

аттическим алфавитом из шестнадцати или восемнадцати букв. Теперь было предписано отказаться от этого скудного алфавита, а пересмотренные законы, как и все будущие государственные акты, записывать полным ионическим алфавитом[494].

Отчасти благодаря этой важной реформе, отчасти благодаря ревизионному органу, отчасти благодаря Никомаху, который все еще продолжал оставаться анаграфом, пересмотр, написание и публикация законов на новом алфавите были наконец завершены. Но, похоже, на это ушло два года, или, по крайней мере, два года прошло до того, как Никомах прошел через суд над ним.[495] Он, похоже, внес несколько собственных новых предложений, которые были в числе тех, что были приняты номотетами: за это его обвинитель нападает на него на суде над ним, а также по еще более серьезному обвинению - в коррупционной фальсификации решений этого органа; записывая то, что они не одобрили, или подавляя то, что они одобрили[496].

Архонство Эвклидеса, последовавшее сразу за анархией, - так называли архонство Пифода, или период Тридцати, - стало, таким образом, кардинальной точкой или эпохой в афинской истории. Мы не можем сомневаться, что законы после этого пересмотра были значительно изменены, хотя, к сожалению, мы не располагаем никакими конкретными сведениями на этот счет. Мы узнаем, что политическое право было, по предложению Аристофона, настолько ограничено на будущее, что ни один человек не мог быть гражданином по рождению, кроме сына родителей-граждан с обеих сторон; тогда как раньше было достаточно, если только отец был гражданином.[497] Ритор Лисий, ставший метисом, не только понес большие потери, едва избежав смерти от Тридцати, которые фактически предали смерти его брата Полемарха, но и внес большую сумму в помощь вооруженным усилиям изгнанников под руководством Фрасибула в Пейреусе. В качестве награды и компенсации за такие заслуги последний предложил предоставить ему право гражданства; но нам сообщают, что этот указ, хотя и был принят народом, впоследствии был осужден Архином как незаконный или неофициальный и отменен. Лисий, лишенный таким образом гражданства, провел остаток своей жизни в качестве изотела, или несвободного человека в лучшем состоянии, освобожденного от особых тягот, налагаемых на класс метисов[498].

Такой отказ в гражданстве такому выдающемуся человеку, как Лисий, который и действовал, и пострадал за дело демократии, в сочетании с вышеупомянутым указом Аристофона подразумевает степень усиления строгости, которую мы можем объяснить лишь частично. Теперь Афины должны были не только обновить свою демократию. Она также должна была приспособить свое законодательство и администрацию к своему будущему походу в качестве изолированного государства, без империи или иностранных зависимостей. Для этого должны были потребоваться существенные изменения: среди прочего, мы знаем, что Совет эллиноتامиев, первоначально названный для сбора и управления данью на Делосе, но постепенно привлекавший к себе все более широкие функции, пока в конце концов, непосредственно перед Тридцатым годом, не стал генеральным казначеем государства, был упразднен, а те его обязанности, которые не исчезли вместе с потерей иностранной империи, были переданы двум новым должностным лицам, казначею на войне и управляющему теориконом, или фондом религиозных праздников.[499] Об этих двух новых ведомствах, последнее из которых особенно расширилось настолько, что стало включать в себя большую часть расходов по установлению мира, я буду говорить более подробно позже; сейчас же я отмечаю их только как проявление больших изменений в афинской администрации, вызванных потерей империи. Несомненно, было много других изменений, вызванных той же причиной, хотя мы не знаем их в деталях; и я склонен причислить к ним вышеупомянутое изменение, касающееся права гражданства. Пока длилась Афинская

империя, граждане Афин были рассеяны по всему Эгейскому морю во всех видах: как поселенцы, купцы, мореплаватели, солдаты и т. д.; это, должно быть, способствовало заключению браков между ними и женщинами других греческих островных государств. Более того, нам даже говорят, что жителям Эвбеи было дано прямое разрешение на брак с афинянами,[500] и этот факт, подмеченный Лисиасом, имеет определенное значение для иллюстрации тенденции Афинской империи к умножению семейных связей между Афинами и союзными городами. По закону, господствовавшему до Эвклида, сын от каждого такого брака по рождению становился афинским гражданином, что в то время было полезно для Афин, поскольку укрепляло узы ее империи, и чрезвычайно полезно с более широкой точки зрения, среди причин панэллинского сочувствия. Но когда Афины лишились и империи, и флота, и были заключены в пределы Аттики, уже не оставалось никаких мотивов для продолжения такого регулирования, так что исключительное чувство города, инстинктивное в греческом сознании, снова стало преобладать. Именно этим, возможно, объясняется новый ограничительный закон, предложенный Аристофоном.

Фрасибул и доблестная горстка изгнанников, которые первыми захватили Филы, получили не больше тысячи драхм за общее жертвоприношение и вотивные жертвы, а также венки из оливок в знак благодарности от своих соотечественников.[501] Долг, который Афины задолжали Фрасибулу, был действительно таким, что не мог быть погашен деньгами. В значительной степени его индивидуальному патриотизму мы можем приписать не только восстановление демократии, но и ее хорошее поведение после восстановления. Насколько иными были бы последствия восстановления и поведение народа, если бы к этому событию привел такой человек, как Алкивиад, применивший огромные способности главным образом для удовлетворения собственной корысти и власти!

Однако к моменту восстановления демократии Алкивиада уже не было в живых. Вскоре после катастрофы в Эгоспотамах он нашел убежище в сатрапии Фарнабаза, не считая себя более защищенным от лакедемонских преследований в своих крепостях на фракийском Херсонесе. В этих крепостях он унес с собой много имущества, хотя оставил еще больше; как оно было приобретено, мы не знаем. Но, переправившись, очевидно, в Азию через Босфор, он был разграблен фракийцами в Вифинии и понес большие потери, прежде чем смог добраться до Фарнабаза во Фригии. Возобновив узы личного гостеприимства, которые он заключил с Фарнабазом четыре года назад,[502] он попросил у сатрапа безопасную перевозку до Суз. Афинские посланники, которых Фарнабаз после своего прежнего умиротворения с Алкивиадом в 408 году до н.э, которых Фарнабаз обещал сопровождать в Сузы, но был вынужден по приказу Кира держать в качестве пленников, только теперь были освобождены из трехлетнего заключения и получили возможность спуститься в Пропонтиду;[503] и Алкивиад, которому первоначально была поручена эта миссия, попытался убедить сатрапа выполнить обещание, которое тот изначально дал, но не смог выполнить. Надежды этого сметливого изгнанника, возвращаясь к истории Фемистоклеса, заставляли его ожидать в Сузах такого же успеха, какой выпал на долю последнего; да и замысел был неосуществим для того, чьи способности были общеизвестны и кто уже исполнял обязанности министра при Тиссафернесе.

В это время двор в Сузах находился в необычном положении. Царь Дарий Ноф, недавно умерший, был преемником своего старшего сына Артаксеркса Мнемона;[504] но младший сын Кир, за которым Дарий послал во время своей последней болезни, попытался после смерти последнего вытеснить Артаксеркса из престола или, по крайней мере, был заподозрен в такой попытке. Когда его схватили и собирались убить, царица-мать Парисатис убедила Артаксеркса помиловать его и отправить в свою сатрапию на побережье Ионии, где

он упорно, хотя и тайно, пытался добыть средства для свержения своего брата; это была памятная попытка, о которой я расскажу подробнее ниже. Но его планы, хотя и тщательно замаскированные, не ускользнули от наблюдения Алкивиада, который пожелал сделать так, чтобы раскрыть их в Сузах и стать орудием их разгрома. О своих подозрениях и целях он сообщил Фарнабазу, которого пытался разбудить тревогами об опасности для империи, чтобы таким образом направить себя в Сузы в качестве осведомителя и помощника.

Фарнабаз уже был ревнив и недружелюбен по отношению к Лисандру и лакедемонянам, о чем мы вскоре увидим явные доказательства, а возможно, и к Киру, поскольку таковы были обычные отношения соседних сатрапов в Персидской империи. Но лакедемоняне и Кир были теперь всесильны на азиатском побережье, поэтому он, вероятно, не осмелился разозлить их, связав себя с миссией, столь враждебной, и с врагом, столь опасным для обоих. Поэтому он отказался удовлетворить просьбу Алкивиада; тем не менее, он разрешил ему жить во Фригии и даже выделил ему доход. Но цели, которые преследовал изгнанник, вскоре стали более или менее полно известны тем, против кого они были направлены. Его беспокойный характер, предприимчивость и способности были настолько хорошо известны, что вызывали как преувеличенные опасения, так и преувеличенные надежды. Не только Кир, но и лакедемоняне, тесно связанные с Киром, и декархии, которые Лисандр установил в азиатских греческих городах и которые удерживали свою власть только благодаря поддержке лакедемонян, - все были встревожены перспективой снова увидеть Алкивиада в действии и под командованием среди стольких беспокойных элементов. Не приходится сомневаться и в том, что изгнанники, которых изгнали эти декархии, и недовольные граждане, оставшиеся дома под их управлением в страхе перед изгнанием или смертью, поддерживали с ним переписку и смотрели на него как на возможного освободителя. Кроме того, спартанский царь Агис сохранил к нему ту же личную антипатию, которая за несколько лет до этого послужила причиной того, что из Спарты в Азию был отправлен приказ о его убийстве. Здесь достаточно элементов вражды, мести и опасений, плавающих против Алкивиада, если не верить рассказу Плутарха о том, что Критий и Тридцать послали уведомить Лисандра, что олигархия в Афинах не устоит, пока жив Алкивиад. Правда в том, что, хотя Тридцать включили его в список изгнанников,^[505] они гораздо меньше опасались его нападений или заговоров в Аттике, чем лисандровских декархий в городах Азии. Более того, его имя не пользовалось популярностью даже среди афинских демократов, как будет показано далее, когда мы перейдем к рассказу о суде над Сократесом. Поэтому, вероятно, предполагаемое вмешательство Крития и Тридцати в убийство Алкивиада - выдумка последующих энкомистов последнего в Афинах, чтобы создать для него претензии на почитание как друга и соратника по демократии.

Спартанские власти отправили Лисандру в Азию специальную депешу, или скитальца, с предписанием проследить за тем, чтобы Алкивиад был предан смерти. Лисандр передал этот приказ Фарнабазу, в сатрапии которого проживал Алкивиад, и попросил исполнить его. Весь характер Фарнабаза показывает, что он не совершил бы такого поступка по отношению к человеку, с которым его связывали гостеприимные узы, без искреннего нежелания и сильного давления извне; тем более что ему было бы легко подстроить побег намеченной жертвы. Поэтому мы можем быть уверены, что именно Кир, осведомленный об откровениях, задуманных Алкивиадом, заставил Лисандра выполнить его требование, а совместное требование этих двоих было слишком грозным, чтобы от него можно было уклониться, а тем более открыто не подчиниться. Поэтому Фарнабаз отправил своего брата Магея и дядю Сисамитра с отрядом вооруженных людей, чтобы убить Алкивиада во фригийской деревне, где он проживал. Эти люди, не решившись войти в его дом, окружили его и подожгли; но Алкивиад, сумев погасить пламя, бросился на своих обидчиков с кинжалом в правой руке и

плащом, обернутым вокруг левой, чтобы служить щитом. Никто из них не осмелился приблизиться к нему, но они осыпали его ливнем дротиков и стрел, пока он не погиб, не защищенный ни щитом, ни доспехами. Спутница, с которой он жил, Тимандра, завернула его тело в свои одежды и совершила над ним все последние ласковые церемонии[506].

Таков был поступок, который Кир и лакедемоняне не побрезговали предписать, а дядя и брат персидского сатрапа - исполнить, и в результате которого этот прославленный афинянин погиб, не достигнув пятидесяти лет. Если бы он остался жив, мы не можем сомневаться, что он снова сыграл бы какую-то заметную роль, - ведь ни его характер, ни его способности не позволили бы ему оставаться в тени, - но вот с пользой для Афин или нет, это еще вопрос. Несомненно, что, лишив себя жизни, добро, которое он сделал для нее, не было пропорционально гораздо большему злу. Причиной катастрофической сицилийской экспедиции он был в большей степени, чем кто-либо другой, хотя нельзя сказать, что это предприятие было вызвано каким-то отдельным человеком, скорее, оно исходило от национального импульса. Сначала, как советник, он больше, чем кто-либо другой, способствовал втягиванию афинян в эту неосторожную авантюру, а затем, как изгнанник, больше, чем кто-либо другой, кроме Никиаса, способствовал тому, что эта авантюра обернулась крахом, а ее последствия - еще большим крахом. Без него Гилипп не был бы послан в Сиракузы, Декелея не была бы укреплена, Хиос и Милет не восстали бы, олигархический заговор Четырехсот не возник бы. Нельзя также сказать, что первые три года его политической деятельности в качестве афинского лидера, в свойственной только ему спекуляции, - союз с Аргосом и походы в Пелопоннес - принесли стране хоть какую-то пользу. Напротив, ведя наступательную игру там, где у него едва хватало сил на оборону, он позволил лакедемонянам полностью восстановить свою подорванную репутацию и превосходство благодаря важной победе при Мантинее. Период его жизни, действительно полезный для его страны и действительно славный для него самого, длился три года и закончился его возвращением в Афины в 407 году до нашей эры. Результаты этих трех лет успеха были расстроены неожиданным приходом Кира в качестве сатрапа: но как раз в тот момент, когда Алкивиаду следовало проявить более высокую меру мастерства, чтобы реализовать свои собственные обещания перед лицом этого нового препятствия, в этот критический момент мы видим его испорченным неожиданным приемом, который недавно встретил его в Афинах, и не достигшим даже тех былых заслуг, которыми этот прием был заслужен.

Если от его достижений перейти к его склонностям, целям и средствам, то в греческой истории найдется немного персонажей, которые вызывают так мало уважения, независимо от того, рассматриваем ли мы его как общественного или как частного человека. Его цели - непомерное честолюбие и тщеславие, его средства - хищничество и безрассудство, начиная с его первого знакомства со Спартой и спартанскими посланниками и до конца его карьеры. Маневры, с помощью которых его политические враги сначала добились его изгнания, действительно были подлыми и виновными в высокой степени; но мы должны помнить, что если его враги были более многочисленными и жестокими, чем враги любого другого политического деятеля в Афинах, то порождающее семя было посеяно его собственной чрезмерной дерзостью и презрением к ограничениям, как юридическим, так и социальным.

С другой стороны, он ни разу не потерпел поражения ни на суше, ни на море. В мужестве, в способностях, в предприимчивости, в умении справляться с новыми людьми и новыми ситуациями он никогда не испытывал недостатка; качества, которые в сочетании с его высоким происхождением, богатством и личными достижениями делали его на время первым человеком в каждой последующей партии, которую он поддерживал, афинской,

спартанской или персидской, олигархической или демократической. Но ни одной из них он не внушал прочного доверия; все последовательно отбрасывали его. В целом, мы найдем немного людей, в которых выдающиеся способности к действию и командованию были бы так сильно омрачены набором плохих моральных качеств, как у Алкивиада[507].

ГЛАВА LXVII.

ДРАМА. - РИТОРИКА И ДИАЛЕКТИКА. - СОФИСТЫ.

О политической истории Афин в течение нескольких лет, последовавших за восстановлением демократии, у нас, к сожалению, мало или совсем нет сведений. Но весной 399 года до н. э., между тремя и четырьмя годами после начала правления Эвклидеса, произошло событие, представляющее огромный интерес как для интеллектуальной общественности Греции, так и для философии в целом: суд, осуждение и казнь Сократеса. Прежде чем я расскажу об этом памятном инциденте, будет уместно сказать несколько слов о литературном и философском характере эпохи, в которую он произошел. Хотя литература и философия становятся в Греции отдельными направлениями, каждое из них оказывает заметное влияние на другое, и состояние драматической литературы, как мы увидим, было одной из причин, непосредственно способствовавших судьбе Сократеса.

В течение столетия афинской демократии между Клейстенесом и Эвклидесом произошло развитие драматического гения, трагического и комического, не имевшее аналогов ни до, ни после него. Эсхил, создатель трагической драмы или, по крайней мере, первый композитор, прославивший ее, был участником сражений при Марафоне и Саламине; Софокл и Эврипид, два его выдающихся последователя, первый из которых был одним из генералов афинского войска против Самоса в 440 году до н. э., умерли оба всего за год до битвы при Эгоспотамах, как раз вовремя, чтобы избежать горького унижения и страданий того скорбного периода. Из некогда многочисленных сочинений этих поэтов мы располагаем лишь несколькими, но и их достаточно, чтобы в какой-то мере оценить величие афинской трагедии; а когда мы узнаем, что они часто побеждали, даже с лучшими из сохранившихся драматических произведений, в честной борьбе за приз с другими поэтами, чьи имена дошли до нас, мы вправе предположить, что лучшие произведения этих успешных конкурентов, если и не были по своей сути прекраснее, вряд ли могли уступать им по достоинству[508].

Трагическая драма в основном принадлежала к празднествам в честь бога Диониса; первоначально она представляла собой хор, исполняемый в его честь, к которому последовательно добавлялись, во-первых, ямбический монолог, во-вторых, диалог с двумя действующими лицами, наконец, обычный сюжет с тремя действующими лицами, причем хор сам вплетался в сцену. С самого начала и до сих пор сюжетами были божественные или героические личности, стоящие выше уровня исторической жизни и заимствованные из так называемого мифического прошлого: "Персы" Эсхила составляют великолепное исключение; но две аналогичные драмы его современника Фриниха, "Фениссы" и "Взятие Милета", не были достаточно успешными, чтобы побудить последующих трагиков вмешиваться в современные события. К трем серьезным драмам, или трилогии, сначала связанным между собой более или менее свободной последовательностью сюжетов, но

затем не связанным между собой и посвященным отдельным темам, благодаря нововведению, введенному Софоклесом, если не раньше, трагический поэт добавил четвертую, сатирическую драму, героями которой были сатиры, спутники бога Диониса, и другие героические или мифические личности, выставленные в фарсе. Таким образом, он составлял в общей сложности четыре драмы, или тетралогии, которые готовил и выдвигал на соискание приза на фестивале. Расходы на подготовку хора и актеров оплачивали в основном хореги, богатые горожане, которых звали по одному на каждое из десяти племен, и чья честь и тщеславие были очень заинтересованы в получении приза. Сначала эти представления проходили на временной сцене, где не было ничего, кроме деревянных опор и подмостков; но вскоре после 500 года до н. э., когда поэты Эсхил и Пратинас состязались за приз, эта сцена рухнула во время церемонии, что привело к печальному несчастью. После этого несчастья был построен постоянный театр из камня. В какой степени проект был реализован до вторжения Ксеркса, мы точно не знаем, но после его разрушительной оккупации Афин театр, если он существовал ранее, должен был быть восстановлен или отремонтирован вместе с другими пострадавшими частями города.

Именно при том великом развитии афинского могущества, которое последовало за изгнанием Ксеркса, театр с его принадлежностями достиг полного размаха и развития, а аттическая трагедия - максимума своего совершенства. Софоклес одержал свою первую победу над Эсхилом в 468 году до н. э.: первая выставка Еврипида состоялась в 455 году до н. э. До нас дошли имена, хотя, к сожалению, только имена, многих других конкурентов: Филоклес, одержавший победу даже над софокловским *Oedipus Tyrannus*; Эвфорион, сын Эсхила, Ксеноклес и Никомах - все они, как известно, одержали победу над Еврипидом; Неофрон, Ахей, Ион, Агатон и многие другие. Непрерывный поток новых трагедий, льющийся из года в год, был чем-то новым в истории греческого ума. Если предположить, что все десять племен ежегодно боролись за приз, то на Дионисийском празднике было бы десять тетралогий - или наборов из четырех драм, по три трагедии и одному сатирическому фарсу, - и столько же на Лениеском. О таком большом количестве, как шестьдесят новых трагедий, сочиняемых каждый год, не стоит и думать; однако мы не знаем, каково было обычное число конкурирующих тетралогий: их было не менее трех, поскольку первая, вторая и третья указаны в дидаскалиях, или театральных записях, и, вероятно, больше трех. Редко повторяли одну и ту же драму во второй раз, разве что после значительных изменений; да и либеральность хорегуса не заслуживает доверия, если он отказывается от всех расходов на постановку новой тетралогии. Не претендуя на то, чтобы с точностью до цифр определить, сколько драм было написано в каждом году, общий факт беспрецедентного изобилия произведений трагической музыки представляется достоверным и интересным.

Более того, что не менее важно отметить, все это изобилие нашло свое отражение в умах огромного числа горожан, не исключая даже самых бедных. Говорят, что театр вмещал тридцать тысяч человек:^[510] здесь опять же небезопасно полагаться на точность цифр, но мы не можем сомневаться, что он был достаточно вместительным, чтобы дать большинству граждан, как бедным, так и богатым, широкую возможность насладиться этими прекрасными композициями. Сначала вход в театр был бесплатным, но поскольку толпа чужестранцев и свободных людей была чрезмерной и беспорядочной, была принята система взимания платы, по-видимому, в то время, когда постоянный театр был приведен в полный порядок после разрушений, вызванных Ксерксом. Театр сдавался по договору управляющему, который обязывался полностью или частично покрывать обычные расходы государства на представление, и которому разрешалось продавать входные билеты. Поначалу, судя по всему, цена на билеты не была установлена, так что бедные

граждане переплачивали и не могли получить места. Поэтому Периклес ввел новую систему, установив цену на места в три обола, или пол драхмы, для лучших и один обол для менее хороших. Поскольку представительство длилось два дня, билеты на оба дня продавались соответственно за драхму и два обола. Но чтобы бедные граждане могли присутствовать на празднике, из общественной сокровищницы каждому гражданину - как богатому, так и бедному, если он пожелает получить их, - выдавалось по два обола. Таким образом, бедняк получал возможность купить себе место и бесплатно посещать театр в оба дня, если он того пожелает; или, если он предпочитал, он мог пойти только в один день; или даже вовсе остаться в стороне и потратить оба обола любым другим способом. Более высокая цена, полученная за лучшие места, приобретенные более богатыми гражданами, должна быть противопоставлена сумме, выплачиваемой более бедным; но у нас нет данных для определения баланса, и мы не можем сказать, как это повлияло на финансы государства[511].

Таков был первоначальный теорикон, или плата за праздник, введенный Периклесом в Афинах; система распределения общественных денег, постепенно распространившаяся на другие праздники, в которых не было театральных представлений, и достигшая в более поздние времена озорной чрезмерности; начавшись в то время, когда Афины были полны денег от иностранной дани, и продолжаясь с повышенным спросом в последующее время, когда она была сравнительно бедна и без посторонних ресурсов. Следует помнить, что все эти праздники были частью древней религии, и что, согласно чувствам того времени, веселые и многолюдные собрания были необходимы для удовлетворения бога, в честь которого отмечался праздник. Такие выплаты были частью религиозного, даже более чем гражданского, устройства. О чрезмерности, которой они впоследствии достигли, я расскажу в одном из следующих томов: сейчас я рассматриваю теорикон только в его первобытной функции и эффекте, позволявшем всем афинянам без разбора наблюдать за представлением трагедий.

Мы не можем сомневаться, что воздействие этих произведений на общественные симпатии, а также на общественное мнение и интеллект должно было быть благотворным и морализирующим в высокой степени. Хотя сюжеты и личности легендарны, отношения между ними все человеческие и простые, возвышенные над уровнем человечности только в той степени, чтобы предъявить более сильные претензии на восхищение или жалость слушателя. Столь мощное поэтическое воздействие, вероятно, никогда не оказывалось на эмоции какого-либо другого населения; а если учесть необычайную красоту этих бессмертных произведений, которые впервые выделили трагедию в отдельный отдел поэзии и придали ей достоинство, никогда не достигавшееся с тех пор, мы убедимся, что вкусы, чувства и интеллектуальный уровень афинской толпы должны были заметно улучшиться и возвыситься благодаря таким урокам. Получение таких удовольствий глазом и ухом, а также среди сочувствующей толпы было немаловажным фактом в умственной истории Афин. Он способствовал возвышению их воображения, подобно грандиозным зданиям и украшениям, возведенным в тот же период на их акрополе. Как и они, и даже в большей степени, чем они, трагедия была монополией Афин; ведь хотя трагические композиторы приезжали сюда из других частей Греции - Ахей из Эретрии, Ион из Хиоса, в то время, когда Афинская империя включала оба этих места, - чтобы продемонстрировать свой гений, нигде больше не сочинялись и не ставились оригинальные трагедии, хотя почти ни один значительный город не имел театра[512].

Три великих трагика - Эсхил, Софокл и Эврипид - выделявшиеся среди всех своих конкурентов, как современниками, так и последующими критиками, интересны для нас не только положительными красотами каждого из них, но и различиями между ними в обращении, стиле и чувствах, а также тем, как эти различия иллюстрируют незаметные изменения афинского ума. Хотя сюжеты, лица и события трагедии всегда заимствовались из легендарного мира и, таким образом, находились

выше уровня современной жизни,^[513] тем не менее драматическая манера обращения с ними заметно меняется даже у Софокла по сравнению с Эсхилом, а у Еврипида еще больше под влиянием атмосферы демократии, политических и судебных споров, философии, охватившей поэта и воздействовавшей на него.

В "Эсхиле" идеальность присуща не только обращению, но и сюжетам: страсти вызывают к мужскому началу и насилию, исключая Афродиту и ее вдохновение:^[514] фигуры огромны и величественны, но представлены лишь в полусвете и в тени: речь изобилует смелыми метафорами и резкими переходами, "величественна до предела", как замечает Квинтилиан, и часто приближается к восточной расплывчатости, чем к греческой доходчивости. В "Софоклесе" очевидно более близкое приближение к реальности и обыденной жизни: спектр эмоций более разнообразен, фигуры более отчетливы, а действие более полно и наглядно проработано. Мы имеем не только более продуманную драматическую структуру, но и более развернутый диалог, и сравнительную простоту речи, как у живых греков: мы также находим некоторую примесь риторической декламации, среди величайшей поэтической красоты, которой когда-либо достигала греческая драма. Но когда мы переходим к Еврипиду, этот риторический элемент становится еще более заметным и развитым. Сверхъестественная возвышенность легендарных персонажей исчезает: любовь и сострадание вызываются в такой степени, которую Эсхил считал бы несовместимой с достоинством героической личности: более того, появляются апелляции к разуму и аргументированные споры, которые этот величественный поэт презрел бы как мелкие и судебные измышления. И, что еще хуже, если судить с эсхиловской точки зрения, здесь присутствовала некая новизна рассуждений, намек на сомнение в царящих мнениях и воздух научной утонченности, часто портящий поэтический эффект.

Такие различия между этими тремя великими поэтами, несомненно, связаны с воздействием афинской политики и афинской философии на умы двух поздних поэтов. В Софоклесе мы можем проследить спутника Геродота;^[515] в Еврипиде - слушателя Анаксагора, Сократа и Продика;^[516] в обоих - знакомство с той широкой популярностью речи и реальными, серьезными дебатами политиков и соперников перед дикастериями, которые у обоих всегда были перед глазами, но которые гений Софоклеса умел держать в должном подчинении своей великой поэтической цели.

Переход трагической музыки от Эсхила к Еврипиду тем более заслуживает внимания, что он показывает нам, как аттическая трагедия служила естественной прелюдией и стимулом для наступающей риторической и диалектической эпохи. Но демократия, которая таким образом незаметно изменила трагическую драму, дала новую жизнь и увеличила пропорции комической; и та, и другая стимулировались растущим процветанием и могуществом Афин в течение полувека после 480 г. до н. э. Не только постоянно увеличивался достаток чужеземцев и гостей Афин, но и легко находились богатые люди, чтобы взять на себя расходы по обучению хора и актеров. Не было способа использования богатства, который казался бы столь подходящим для обеспечения влияния и популярности его обладателей, как вклад в увеличение великолепия национальных и религиозных праздников.^[517] Это было общим настроением как среди богатых, так среди бедных; и нет более необоснованной критики, чем та, которая представляет такое обязательство как тяжелое и угнетающее для богатых людей. Большинство из них тратили больше, чем были вынуждены тратить по закону, из желания возвысить свою популярность. Единственными реальными страдальцами были люди, заинтересованные в справедливом отправлении закона; ведь эта практика позволяла многим богатым людям приобретать значимость, не имея личных качеств, чтобы ее заслужить, и обеспечивала их запасом фактических заслуг, которые можно было предъявить в дикастерии в качестве зачета против обвинений по существу.

Полного расцвета комическая муза достигла значительно позже, чем трагическая. Даже до 460 г. до н. э. (примерно до того времени, когда Периклес и Эфяльтес провели свои конституционные реформы) в Афинах не было ни одного выдающегося комического поэта; не было, по-видимому, и ни одной бесспорной афинской комедии до этого времени, которая сохранилась бы до времен александрийской критики. Магнес, Кратес и Кратинус - возможно, также Хионидес и Экфантидес[518] - относятся к периоду, начинающемуся около (Олимпиады 80 или) 460 года до н. э.; то есть к поколению, предшествующему Аристофану, первое сочинение которого датируется 427 годом до н. э. Состояние и развитие аттической комедии до этого периода, кажется, не было известно даже Аристотелю, который намекает, что архонт начал предоставлять хор для комедии или причислять ее к авторитетным торжествам праздника только после того, как эта практика была установлена для трагедии. Таким образом, комический хор в те ранние времена состоял из добровольцев, без какого-либо хорега, назначенного публично, чтобы нести расходы по их обучению или подготовке пьесы; поэтому у авторов было мало мотивов проявлять заботу или гений при подготовке своих песен, танцев и скверных монодий, или диалогов. Буйное веселье фаллических праздников и шествий, с полным правом насмехаться над любым присутствующим, которым должен был наслаждаться бог Дионис, и с самой откровенной грубостью, как в языке, так и в идеях, образовали первобытный зародыш, который под влиянием афинского гения превратился в старую комедию.[519] Она во многом напоминала сатирическую драму трагиков, но отличалась от нее тем, что имела дело не только с древними мифическими историями и лицами, но главным образом с современными людьми и предметами обычной жизни; часто она также имела дело с ними под их настоящими именами и высмеивала их самым прямым, язвительным и презрительным образом. Мы ясно видим, насколько справедливо Афины предлагали поле для такого рода сочинений в то время, когда ожесточение политических споров достигло высокого уровня, - когда город стал центром для новинок со всех концов Греции, - когда трагики, риторы и философы приобретали известность и подвергались одиозным нападкам, - и когда демократическая конституция открыла все детали политических и судебных дел, а также всех первых людей государства не только для всеобщей критики, но и для безмерной клеветы.

Из всех некогда обильных сочинений аттической комедии до нас не дошло ничего, кроме одиннадцати пьес Аристофана. Сам поэт выделяет Магнеса, Кратеса и Кратина, среди предшественников, которых он называет многочисленными, для почетного упоминания; как часто, хотя и не всегда, имевших успех. Кратин, по-видимому, был не только самым обильным, но и самым выдающимся из всех, кто предшествовал Аристофану, в список которых входят Гермипп, Телеклеидес и другие ожесточенные нападки Периклеса. Именно Кратинус впервые расширил и систематизировал свободу фаллического праздника и "беспечный смех праздничной толпы"[520] в драму регулярной структуры, с актерами по три человека, по аналогии с трагедией. Выступая против конкретных лиц, выставляемых напоказ или обличаемых их именами, со злобой личной клеветы, не уступающей ямбисту Архилоху, и с резким и дифирамбическим стилем, несколько напоминающим Эсхила, Кратин сделал эпоху в комедии, как тот сделал в трагедии; но был превзойден Аристофаном, так же как Эсхил был превзойден Софоклом. Нам говорят, что его сочинения были не только более грубо-горькими и широко пасквильными, чем у Аристофана,[521] но и лишены того богатства иллюстраций и красоты выражения, которые пронизывают все остроумие последнего, будь то добродушное или злобное. В Кратине комедия впервые заявила о себе как о существенном агенте и участнике политической войны в Афинах. Он выступал на стороне Кимона против Периклеса;[522] восхваляя первого, он в то же время горько высмеивал и поносил второго. Гермипп, Телеклеидес и большинство современных комических писателей придерживались той же политической линии в нападках на этого великого человека, а также на лично связанных с ним Аспазию и Анаксагора: действительно, Гермипп был тем человеком,

который обвинил Аспасию в нечестии перед дикастерией. Но свидетельство Аристофана^[523] показывает, что ни один комический писатель времен Перикла не сравнился с Кратином ни по ярости клеветы, ни по популярности.

Примечательно, что в 440 г. до н. э. был принят закон, запрещающий авторам комедий высмеивать в своих сочинениях граждан по имени; этот запрет, однако, был отменен через два года - промежуток времени, отмеченный редким явлением снисходительной комедии Кратина.^[524] Такое постановление свидетельствует о борьбе афинского ума даже в то время против вредной практики превращения дионисийского праздника в повод для безмерной клеветы на граждан, публично названных и, возможно, самих присутствующих. Был и другой стиль комедии, взятый на вооружение Кратесом, отличный от ямбического или архилоховского стиля, разработанного Кратином, в котором комические происшествия прикреплялись к вымышленным персонажам и вплетались в сюжет, не прибегая к реальным именам или непосредственным личностям. Этот вид комедии, аналогичный тому, который Эпихарм ранее демонстрировал в Сиракузах, был продолжен Ферекратесом, преемником Кратеса. Хотя долгое время она была менее популярна и успешна, чем пикантная пища Кратеса и других, после окончания Пелопоннесской войны она стала окончательно преобладающей, постепенно превратившись из так называемой старой комедии в среднюю и новую.

Но именно в Аристофанесе гений старой клеветнической комедии предстает в своем кульминационном совершенстве. По крайней мере, перед нами достаточно его произведений, чтобы мы могли оценить его достоинства; хотя, возможно, Евполис, Амейпсиас, Фриних, Платон (Комик) и другие, которые боролись с ним на фестивалях с переменным успехом и поражением, заслуживали бы подобной похвалы, если бы мы обладали их сочинениями. Вероятно, никогда больше не будет продемонстрирована полная и непоколебимая сила комедии. Не имея перед собой Аристофана, невозможно было бы представить, с какой безмерной и беспристрастной свободой нападала старая комедия на богов, учреждения, политиков, философов, поэтов, частных граждан и даже на женщин, чья жизнь была исключительно домашней, в Афинах. С этой универсальной свободой в отношении темы сочетаются острота насмешек и сатиры, плодovitость воображения и разнообразие поворотов, богатство поэтического выражения, которые невозможно превзойти, и которые полностью объясняют восхищение, выраженное философом Платоном, который в других отношениях должен был относиться к нему с несомненным неодобрением. Его комедии популярны в самом широком смысле этого слова, они адресованы всему мужскому населению в день, освященный празднеством, и предоставляют им развлечения или насмешки в пьяном изобилии, из всех лиц или вещей, стоящих на каком-либо видном месте перед общественным взором. Самая ранняя комедия Аристофана была выставлена в 427 году до нашей эры, и его муза долгое время продолжала плодотворно работать, так как две из сохранившихся драм относятся к эпохе через одиннадцать лет после Тридцатилетия и обновления демократии, около 392 года до н. э. Однако после этого обновления, как я уже отмечал, безмерный размах и клеветническая индивидуальность старой комедии постепенно прекратились: комический хор был сначала сокращен, а затем подавлен, так что наступило то, что обычно называют средней комедией, без хора вообще. Плут¹ Аристофана свидетельствует о некотором приближении к этой новой фазе; но его более ранние и многочисленные комедии, от "Ахарнеев" в 425 году до н. э. до "Лягушек" в 405 году до н. э., всего за несколько месяцев до роковой битвы при Эгоспотамах, демонстрируют непрерывное, неиссякаемое, ничем не сдерживаемое течение потока, впервые открытого Кратином.

Такое обилие трагической и комической поэзии, каждая из которых была первоклассной, стало одной из характерных черт афинской жизни и мощным инструментом популяризации новых сочетаний мысли с разнообразием и изяществом выражения. Хотя трагическая муза имела еще

большее преимущество, вызывая возвышенные и благожелательные симпатии, уроки комической музыки, вероятно, больше потеряли, чем приобрели; она не только остро выявляла все, что было действительно смехотворным или презренным в явлениях дня, но и вызывала презрительный смех, довольно часто, из того, что было невинным или даже заслуженным, а также из безграничной частной клеветы. Однако "Рыцари" и "Осы" Аристофана, не говоря уже о других пьесах, являются убедительным доказательством одного положительного момента в характере афинян: они с добродушной снисходительностью переносили все излияния насмешек и даже клеветы, вплетенной в них, на те демократические институты, к которым они были искренне привязаны. Демократия была достаточно сильна, чтобы терпеть недружелюбные языки как всерьез, так и в шутку: репутация людей, занимавших видное положение в политике, на чьей бы стороне они ни были, также могла считаться справедливым объектом для нападок; поскольку та мера агрессивной критики, которая является опекающей и необходимой, не может быть допущена без сопутствующего зла, сравнительно меньшего, - избытка и несправедливости;[525] хотя даже здесь мы можем отметить, что избыток горькой личности относится к наиболее заметным грехам афинской литературы в целом. Но война комедии в лице Аристофана и других композиторов против философии, литературы и красноречия, во имя тех старых добрых времен невежества, "когда афинский моряк не знал ничего, кроме того, как позвать свой ячменный пирог и крикнуть "Йо-хо";"[526] и ретроградный дух, побуждающий их выставять моральную нечистоплотность как естественное следствие интеллектуального прогресса эпохи, - вот обстоятельства, доказывающие неблагоприятное и разлагающее влияние комедии на афинский ум.

В отношении отдельных людей, особенно Сократеса[527], афиняне, по-видимому, были неблагоприятно настроены неправильно использованным остроумием и гением Аристофана в "Облаках", чему способствовали другие комедии Эвполиса, Амейпсия и Эвполиса; но на общий ход политики, философии или литературы эти композиторы не оказали большого влияния. Они также никогда не рассматривались в Афинах в том свете, в котором их представляет нам современная критика; как люди возвышенной морали, сурового патриотизма и подлинного понимания истинных интересов своей страны; как одушевленные большими и устойчивыми взглядами на улучшение своих сограждан, но вынужденные, вследствие предрассудков или оппозиции, маскировать дальновидную политическую философию под вуалью сатиры; как хорошие судьи в самых спорных вопросах, таких как благоразумие войны или мира, и прекрасные авторитеты, чтобы направлять нас в оценке достоинств или недостатков своих современников, настолько, что жертвы их насмешек обычно выставляются как никчемные люди.[528] Не может быть большего заблуждения относительно старой комедии, чем рассматривать ее с этой точки зрения; однако поразительно, как много последующих писателей, начиная с Диодора и Плутарха и заканчивая сегодняшним днем, считали себя вправе выводить факты греческой истории и оценку греческих людей, событий и учреждений из комедий Аристофана. Как бы ни был велик комический гений последнего, его точка зрения лишь в большей степени определяется смехотворными ассоциациями, навеянными его фантазией, так что он еще больше отходит от условий верного свидетеля или честного критика. Он представляет себя, чтобы вызвать смех, веселый или злобный, фестивальной толпы, собравшейся для удовлетворения этих эмоций, а не в расчете на серьезные или разумные впечатления.[529] Он также не скрывает, как сильно его огорчает неудача; как профессиональный шут, или "смехотворец", на пирах богатых афинских граждан;[530] параллель Аристофану по цели, однако недостойная сравнения во всех других отношениях.

Этот подъем и развитие драматической поэзии в Греции - столь обильной, столь разнообразной и столь богатой гениями - относится к пятому веку до нашей эры. В предыдущем веке она была не более чем неприятной прививкой к первобытному хору, а затем даже была осуждена

Солоном или в изречении, приписываемом Солону, как порочная новинка, склонная своей имитацией ложного характера и изливанием неподдельных или искренних чувств развращать честность человеческих отношений;[531] обвинение в коррупции, не похожее на то, которое столетие спустя Аристофан в своих "Облаках" выдвинул против физики, риторики и диалектики в лице Сократеса. Но свойства прививки превзошли и подчинили себе свойства исходного стебля, так что драматическая поэзия теперь была отдельной формой, подчиняющейся собственным законам и сияющей великолепием, равным, если не превосходящим, элегическую, хорическую, лирическую и эпическую поэзию, составлявшую прежний фонд греческого мира.

Такие преобразования в поэзии или, если говорить более справедливо, в литературе - до 500 года до н. э. эти два выражения были эквивалентны - Греции были одновременно продуктами, знаками и вспомогательными средствами в расширении национального сознания. Теперь наши умы привыкли к драматическим комбинациям, которые перестали быть характерными для какой-либо особой формы или условий политического общества. Но если мы сравним пятый век до нашей эры с предшествующим, то увидим, что недавно родившаяся драма была очень важной и впечатляющей новинкой: так, несомненно, оценил бы ее Солон, крупнейший ум своего века, если бы он мог вновь, спустя век с четвертью после своей смерти, стать свидетелем "Антигонки" Софокла, "Медеи" Эврипида или "Ахарнеи" Аристофана.

Его новизна заключается не только в высоком уровне воображения и суждений, необходимых для создания драмы одновременно регулярной и эффективной. Это, конечно, не малое дополнение к греческой поэтической славе, какой она была во времена Солона, Алкея, Сапфо и Стесихора: но мы должны помнить, что эпическая структура Одиссеи, столь древняя и давно приобретенная эллинским миром, подразумевает размах архитектурного таланта, вполне равный тому, который проявляется в самой симметричной драме Софокла. Великое новаторство драматургов заключалось в риторическом, диалектическом и этическом духе, который они вдохнули в свою поэзию. Неразвитый зародыш всего этого, несомненно, существовал в предшествующих эпических, лирических и гномических сочинениях; но драма отличалась от всех трех тем, что вывела его в заметную амплитуду и сделала основным средством воздействия. Вместо того чтобы пересказывать подвиги, совершенные героями, или страдания, перенесенные ими, - вместо того чтобы изливать свои собственные единоличные впечатления по поводу того или иного события или события, - трагический поэт заставляет самих мифических лиц говорить, обсуждать, обвинять, защищать, опровергать, оплакивать, угрожать, советовать, убеждать или успокаивать; между собой, но перед зрителями. В *драме*, что является единственным ошибочным термином, ничего не делается на самом деле: все - разговоры; предполагается, что то, что делается, проходит или уже прошло в другом месте. Драматический поэт, говоря постоянно, но в каждый момент через другого персонажа, осуществляет цель каждого из своих героев словами, рассчитанными на влияние других персонажей и подходящими к каждой последующей развязке. Здесь риторика необходима от начала до конца:[532] а поскольку весь интерес пьесы зависит от спора или борьбы, ведущейся с помощью речи; поскольку дебаты, консультации и реторты никогда не прекращаются; поскольку каждый персонаж, добрый или злой, умеренный или жестокий, должен быть снабжен подходящим языком, чтобы защищать свои действия, нападать или отбиваться от противников и вообще придать относительную важность тому, что ему приписывается, здесь опять-таки диалектическое мастерство в немалой степени необходимо.

Наконец, сила и разнообразие этических чувств, влитых в греческую трагедию, - одна из самых замечательных характеристик, отличающих ее от предшествующих форм поэзии. "Делать или страдать от ужасных вещей", - объявил Аристотель ее надлежащим предметом; а внутренний ум и мотивы исполнителя или страдальца, на которых держится этический интерес, раскрываются греческими трагиками с впечатляющей подробностью, с которой не могут сравниться ни эпос, ни

лирика. Более того, соответствующая тематика трагедии беременна не только этическим сочувствием, но и этическими спорами и рассуждениями. Персонажи, в которых смешаны добро и зло; четкие правила долга, одно из которых противоречит другому; зло, совершенное и оправданное для совести исполнителя, если не для совести зрителя, предыдущим перенесенным злом, - все это излюбленные темы Эсхила и двух его великих преемников. Клитемнестра убивает своего мужа Агамемнона по возвращении из Трои: она оправдывается тем, что он заслужил такое обращение от ее рук за то, что принес в жертву свою и ее дочь Ифигению. Ее сын Орестес убивает ее, будучи полностью убежденным в необходимости отомстить за отца и даже с санкции Аполлона. Мстительные Эвмениды преследуют его за этот поступок, и Эсхил приводит все стороны в Ареопагский суд с Афиной в качестве председателя, где дело справедливо аргументируется, Эвмениды выступают в качестве обвинителей, а Аполлон - в качестве защитника заключенного, и заканчивается равенством голосов в суде, по которому Афина отдает свой решающий голос за оправдание Орестеза. И снова; пусть любой человек обратит внимание на противоречивые обязательства, которые Софокл так убедительно показывает в своей прекрасной драме "Антигона". Креон распоряжается, чтобы тело Полиника, как предателя и недавнего захватчика страны, осталось непогребенным: Антигона, сестра Полиника, осуждает этот запрет как нечестивый и нарушает его, руководствуясь убеждением братского долга. Креон приказал похоронить ее заживо, и его сын Хемон, ее обрученный любовник, впадает в душераздирающий конфликт между отвращением к такой жестокости, с одной стороны, и покорностью отцу - с другой. Софокл излагает оба этих противоречивых правила долга в тщательно продуманной сцене диалога между отцом и сыном. Перед нами два правила, священные и достойные уважения, но одно из них нельзя соблюдать, не нарушая другого. Так как необходимо сделать выбор, какому из двух правил должен подчиниться хороший человек? Этот вопрос великий поэт с удовольствием оставляет неопределенным. Но если среди зрителей найдется хоть один, в ком жив хоть малейший импульс интеллектуальной спекуляции, он ни в коем случае не оставит его так, не приложив умственных усилий к решению проблемы и не открыв некий великий и всеобъемлющий принцип, из которого проистекают все моральные правила; принцип, который мог бы наставить совесть в тех нередких случаях, когда два обязательства противоречат друг другу. Трагик не только обращается к этическим чувствам с большей силой, чем это когда-либо делала поэзия, но и, поднимая эти серьезные и трогательные вопросы, бросает вызов интеллекту, подстегивая его к этическим размышлениям.

Соединив все эти моменты вместе, мы видим, насколько шире был интеллектуальный диапазон трагедии и насколько значителен умственный прогресс, о котором она свидетельствует, по сравнению с лирической и гномической поэзией или с "Семью мудрецами" и их авторитетными афоризмами, которые составляли славу и обозначали предел предыдущего века. Вместо нерасширяемых результатов или простого сообщения об одном-единственном чувстве, мы имеем даже у Эсхила, самого раннего из великих трагиков, большую свободу разногласий и дебатов, смещение точек зрения, дело лучше или хуже, сделанное для отдельных и спорящих сторон, и предсказание будущего прихода суверенного и наставнического разума. Именно через промежуточную стадию трагедии греческая литература перешла к риторике, диалектике и этическим спекуляциям, которыми ознаменовался пятый век до нашей эры.

Другие одновременные причины, вытекающие непосредственно из реальной жизни, способствовали возникновению этих же способностей и исследований. Пятый век до нашей эры - первый век демократии в Афинах, на Сицилии и в других местах: кроме того, в этот период, начиная с восстания ионийцев и персидских вторжений в Грецию, политические отношения между одним греческим городом и другим стали более сложными, а также более продолжительными; они требовали большей доли таланта от государственных людей, которые ими управляли. Без умения убеждать или опровергать, защищать себя от обвинений или, в случае

необходимости, обвинять других, ни один человек не мог бы занять высокое положение. В частных, неофициальных беседах для удовлетворения своих политических приверженцев этот талант был ему, вероятно, нужен не меньше, чем для выступления перед формально созданным общественным собранием. Даже командуя армией или флотом, без каких-либо законов войны или привычек профессиональной дисциплины, он мог поддерживать хорошее настроение, доверие и быстрое повиновение своих людей, и это в немалой степени зависело от его владения речью.^[533] Не только для лидеров политической жизни такое умение было необходимым. Во всех демократиях - и, вероятно, в нескольких государствах, которые были не демократиями, а олигархиями открытого типа, - суды правосудия были более или менее многочисленными, а процедура - устной и публичной: в Афинах, особенно в дикастериях, конституция которых была описана в предыдущей главе, они были и очень многочисленными, и платными. Каждый гражданин должен был лично предстать перед ними, не имея возможности послать вместо себя платного адвоката, если он требовал возмещения за причиненное ему зло или был обвинен в неправоте другим.^[534] Поэтому не было человека, который не был бы отвергнут или осужден, или потерпел бы неудачу в своем собственном деле, даже если на его стороне была бы правда, если бы он не обладал некоторыми способностями к речи, чтобы изложить свое дело дикастам, а также опровергнуть ложь и распутать софистику оппонента. Более того, для любого человека с известной семьей и положением было бы унижением, едва ли менее болезненным, чем потеря дела, предстать перед дикастером в окружении друзей и врагов и обнаружить, что он не в состоянии продолжить нить разговора без остановок и замешательства. Чтобы справляться с такими обязательствами, от которых не был избавлен ни один гражданин, ни богатый, ни бедный, определенная подготовка в речи становилась не менее необходимой, чем определенная подготовка в оружии. Без последнего он не мог выполнять свой долг гоплита в рядах защитников своей страны; без первого он не мог избежать опасности для своего состояния или чести и унижения в глазах своих друзей, если его вызывали в дикастерий, и не мог оказать помощь никому из тех друзей, которые могли оказаться в подобной ситуации.

Таким образом, у нас было достаточно мотивов, проистекающих не только из практического благоразумия, но и из честолюбия, чтобы культивировать способность как к непрерывной речи, так и к краткой аргументации, допросу и ответу:^[535] мотивы для всех, чтобы приобрести определенную умеренную способность в использовании этого оружия; для немногих честолюбцев - чтобы посвятить много труда и блеснуть как искусные ораторы.

Следует помнить, что такие политические и социальные мотивы, хотя и действовали в Афинах с большой силой, отнюдь не были свойственны Афинам, но преобладали в большей или меньшей степени во многих греческих городах, особенно в Сицилии, когда все правительства стали популярными после свержения династии Гелонов. И именно в Сицилии и Италии появились первые личности, которые приобрели постоянное имя как в риторике, так и в диалектике: Эмпедокл из Агригентума - в первой; Зенон из Элеи, в Италии, - во второй^[536].

Оба этих выдающихся человека играли заметную роль в политике, и оба на стороне народа: Эмпедокл против олигархии, Зенон против деспота. Но оба они были еще более выдающимися философами, и диалектический импульс Зенона, если не риторический импульс Эмпедокла, исходил скорее из его философии, чем из политики. Эмпедокл (около 470-440 гг. до н. э.), по-видимому, поддерживал если не частичное единство доктрины, то, по крайней мере, общение с разрозненными философами пифагорейской лиги, о насильственном низвержении которой в Кротоне и других местах я рассказывал в предыдущей главе.^[537] Он создал систему физики и космогонии, отличающуюся тем, что впервые заговорил о доктрине четырех элементов, и изложил ее в поэме, сочиненной им самим: кроме того, он, кажется, имел много мистического тона и чудодейственных притязаний Пифагора; исповедуя не только лечение моровой язвы и

других болезней, но и учение, как можно отвратить старость и воскресить мертвых из Аида; пророчествовать, поднимать и успокаивать ветры по своему желанию. Горгий, его ученик, утверждал, что присутствовал на магических церемониях Эмпедокла.^[538] Впечатляющий характер его поэмы достаточно подтверждается восхищением Лукреция,^[539] а риторика, приписываемая ему, возможно, состояла в основном из устного преподавания или изложения тех же доктрин. Тисий и Коракс из Сиракуз, которые также упоминаются как первые учителя риторики и первые, кто дал какие-либо наставления о риторической практике, были его современниками; а знаменитый Горгий был его учеником.

Диалектическое движение исходило в то же время от элеатской школы философов - Зено и его современника, саамца Мелисса, 460-440, - если не от их общего учителя Парменидеса. Мелисс, так же как Зенон и Эмпедокл, был не только философом, но и выдающимся гражданином; он командовал саамским флотом во время восстания Афин и в этом качестве одержал победу над афинянами.

Все философы V века до н. э., до Сократа, унаследовав от своих ранних поэтических предшественников огромные и неизмеримые проблемы, которые когда-то решались предположением о божественных или сверхчеловеческих агентах, созерцали мир, физический и моральный, как единую массу, и прилагали свои умы, чтобы найти какую-нибудь гипотезу, которая дала бы им объяснение этой совокупности^[540] или хотя бы успокоила любопытство чем-то, что выглядело бы как объяснение. Из каких элементов были сделаны разумные вещи? Что было первоначальной причиной или принципом тех изменений, которые предстали перед нашими органами чувств? Что такое изменение? Было ли это порождением чего-то абсолютно нового и разрушением чего-то ранее существовавшего, или же это было разложение и рекомбинация все еще продолжающихся элементов. Теории различных ионийских философов, а вслед за ними и Эмпедокла, допускающие одну, две или четыре элементарные субстанции, с дружбой и враждой, служащие причинами движения или изменения; гомеомерии Анаксагора, с Нусом, или Разумом, в качестве возбуждающего и упорядочивающего агента; атомы и пустота Левкиппа и Демокрита - все это были различные гипотезы, отвечающие сходному направлению мысли. Все они, хотя и предполагали, что чувственные проявления вещей обманчивы и вызывают недоумение, тем не менее, заимствовали более или менее непосредственно некоторые из этих проявлений, которые использовались для объяснения и иллюстрации всей теории и служили для придания ей правдоподобности при изложении, а также для ее защиты от нападков. Но философы элеатской школы - сначала Ксенофан, а после него Парменид - пошли своим собственным путем. Чтобы найти то, что реально, и что как бы скрыто за или под обманчивыми явлениями чувства, они прибегали только к мысленным абстракциям. Они предполагали Субстанцию или Нечто, не воспринимаемое чувством, но только мыслимое или умопостигаемое разумом; Единое и Все, непрерывное и конечное, которое было не только реальным и самосущим, но и единственной реальностью; вечным, неподвижным и неизменным, и единственной материей, которую можно познать. Чувственные явления, которые начинаются и заканчиваются одно за другим, по их мнению, были по сути своей обманчивы, неопределенны, противоречивы между собой и открыты для бесконечного разнообразия мнений.^[541] По ним, тем не менее, они объявили свое мнение, приняв два элемента, тепло и холод, или свет и тьму.

Парменид изложил эту доктрину Единого и Всего в поэме, от которой сейчас сохранилось лишь несколько фрагментов, так что мы очень плохо понимаем позитивные аргументы, использованные для ее обоснования. Материя истины и знания, как он один признавал, была полностью удалена от органов чувств и лишена чувственных свойств, чтобы быть понятой только как *Ens Rationis*, и описана и обсуждена только в самых общих словах языка. Изложение, данное Парменидом в его поэме,^[542] хотя и получило одобрение Платона, было яростно оспорено

другими, которые выводили из него множество противоречий и абсурдов. В качестве части своего ответа, и, несомненно, самой сильной части, Парменидес отвечал своим противникам; этому примеру с еще большей остротой и успехом последовал его ученик Зенон. Те, кто оспаривал его онтологическую теорию, согласно которой реальная, сверхфеноменальная субстанция едина, утверждали, что она не едина, а многообразна, делима, подвижна, изменчива и т. д. Зенон нападал на эту последнюю теорию и доказывал, что она ведет к противоречиям и нелепостям, еще большим, чем те, что содержатся в предложении Парменида.^[543] Он оспаривал свидетельство чувства, утверждая, что оно дает предпосылки для выводов, которые противоречат друг другу, и что оно недостойно доверия.^{[Парменидес^[544] отрицал, что существует реальное изменение места или цвета: Зенон утверждал, что изменение места или движения невозможно и противоречиво; он выдвигал множество логических трудностей, вытекающих из бесконечной делимости материи, против некоторых из самых очевидных утверждений, касающихся чувственных явлений. Мелисс, похоже, рассуждал в том же ключе, что и Зенон, хотя и с гораздо меньшей остротой; он косвенно доказывал доктрину Парменидеса, выводя невозможные умозаключения из противоположной гипотезы^[546].}

Зенон опубликовал трактат в поддержку вышеописанного тезиса, который он также отстаивал в личных беседах и дискуссиях, что, несомненно, было гораздо эффективнее, чем его письменная работа; устное обучение этих ранних философов было их действительно впечатляющим проявлением. Его тонких диалектических аргументов было не только достаточно, чтобы занять всех философов древности, опровергая их с большим или меньшим успехом, но они даже дошли до наших дней как еще не погасший огонь.^[547] О том, какой большой эффект произвели среди спекулятивных умов Греции его письма и беседы, свидетельствуют и Платон, и Аристотель. Он посетил Афины, за высокую плату дал наставления некоторым выдающимся афинянам и, как говорят, беседовал с Периклесом и Сократесом, когда последний был еще очень молод; вероятно, между 450-440 гг. до н. э.^[548]

Его появление представляет собой замечательную эпоху в греческой философии, поскольку он впервые продемонстрировал необычайную агрессивную или негативную силу диалектического метода. В этой дискуссии о Едином и Многом положительные основания с обеих сторон были одинаково скудны: каждая сторона должна была изложить противоречия, вытекающие из противоположной гипотезы, и Зенон стремился показать, что противоречия его оппонентов были более вопиющими. Таким образом, мы видим, что наряду с методичным вопросно-ответным или диалектическим методом, который отныне все чаще используется в философских исследованиях, одновременно проявляется и негативная тенденция, зондирующая, проверяющая и исследующая сила греческой спекуляции. Негативная сторона греческой спекуляции столь же ярко выражена и занимает столь же большую долю интеллектуальной силы их философов, как и позитивная. Греческая спекуляция стремится не просто прийти к выводу, подкрепленному определенной долей правдоподобных предпосылок, - и затем провозгласить его в качестве авторитетной догмы, заставив замолчать или унизив всех возражающих. Разоблачить не только позитивную фальшь, но даже утверждения без доказательств, преувеличенную уверенность в том, что было лишь сомнительным, и демонстрацию знания без реальности; рассмотреть проблему со всех сторон и изложить все трудности, связанные с ее решением, учесть вычеты из утвердительных доказательств, даже в случае выводов, принятых за истинные на весах, - все это можно найти в походах их величайших мыслителей. Как условие всей прогрессивной философии, не менее важно, чтобы основания для отрицания были свободно раскрыты, чем основания для утверждения. В нашей истории, начиная с Зенона и ниже, мы обнаружим, что эти два

направления идут рука об руку, и отрицательная жилка, действительно, более впечатляющая и характерная из них. В одном из самых ранних меморандумов, иллюстрирующих греческую диалектику, - в предложениях, где Платон представляет Парменидеса и Зенона как завещающих свою мантию юному Сократесу и дающих ему наставления для успешного проведения исследований, которые обещал его выраженный любознательный импульс, - эта большая и всеобъемлющая точка зрения наглядно прививается. Ему советуют излагать обе стороны каждой гипотезы и с одинаковой настойчивостью и одинаковой свободой исследования проследить как отрицательные, так и утвердительные цепочки аргументов; его не пугают окружающие противоположные мнения и не отпугивают насмешки по поводу бесполезной траты времени на разговоры; ведь многие не знают, что без такого обхода всех сторон вопроса невозможно достичь уверенного постижения истины[549].

Таким образом, начиная с 450 г. до н. э. и далее мы видим в Греции два важных класса людей, неизвестных Солону и даже Клейстенесу, - риторы и диалектики, для которых, как было показано, почва была постепенно подготовлена политикой, поэзией и спекуляциями предшествующего периода.

Обе эти новинки, как и поэзия и другие достижения этой памятной расы, выросли из грубых местных истоков, под родным стимулом, не заимствованным и не поддержанным извне. Риторическое учение было попыткой помочь и усовершенствовать людей в силе непрерывной речи, обращенной к собравшимся, таким как общественное собрание или дикастерия; поэтому это был вид обучения, которого добивались люди с активными занятиями и амбициями, чтобы либо преуспеть в общественной жизни, либо сохранить свои права и достоинство, если их призовут в суд. С другой стороны, диалектическое дело не имело прямого отношения ни к общественной жизни, ни к судебным прениям, ни к какому-либо собранию большого числа людей. Это был диалог, который вели два спорящих, обычно перед несколькими слушателями, чтобы разгадать какую-то неясность, заставить ответчика молчать и противоречить, упражнить обе стороны в мастерстве владения предметом или просеять последствия какого-то проблематичного предположения. Это был спонтанный разговор[550], систематизированный и направленный в заранее определенное русло; он давал стимул для размышлений и средство совершенствования, недостижимое никаким другим способом; для некоторых он также служил источником прибыли или демонстрации. Она открывала путь к серьезным интеллектуальным занятиям для людей умозрительных или любознательных, у которых не хватало голоса, смелости, постоянной памяти для публичных выступлений или которые хотели держаться в стороне от политической и судебной вражды того времени.

Хотя среди афинян было немало тех, кто в разных пропорциях совмещал умозрительные и практические занятия, но в целом две жилы интеллектуального движения - одна к активному общественному делу, другая к расширению мнений и большему владению умозрительной истиной с ее доказательствами - продолжали существовать одновременно и отдельно. Между ними существовала постоянная полемическая полемика и дух взаимного отторжения. Если Платон презирал софистов и риторы, то Исократес считает себя не менее вправе презирать тех, кто проводил время в спорах о единстве или множественности добродетелей. [Даже среди разных учителей, в одном и том же интеллектуальном движении, слишком часто преобладало язвительное чувство личного соперничества, которое ставило их всех тем более открытыми нападению общего врага всего умственного прогресса; чувство ревнивого невежества, неподвижного или с тоской оглядывающегося назад, не менее сильное в Афинах, чем в любом другом обществе, и, конечно, смешанное в Афинах с исконными демократическими настроениями. Это последнее чувство[552] антипатии к новым идеям и новым умственным достижениям было возведено в ранг фактов комическим гением Аристофана, чью точку зрения

современные авторы слишком часто принимали; таким образом, они позволили некоторым из худших чувств греческой древности повлиять на их манеру представлять факты. Более того, они редко учитывают ту силу литературной и философской антипатии, которая была в Афинах не менее реальной и постоянной, чем политическая, и которая делала различные литературные классы или отдельных людей вечно несправедливыми друг к другу. ^[553] Благословением и славой Афин было то, что каждый человек мог высказывать свои чувства и критику с беспрецедентной в древнем мире свободой и едва ли сравнимой даже с современной, в которой огромное количество несогласных как осуждено, так и всегда было осуждено на абсолютное молчание. Но эта известная широта порицания должна была бы наложить на современных авторов императивную необходимость не принимать косвенно порицание кого бы то ни было, когда обвиняемая сторона не оставила защиты; по крайней мере, строго толковать порицание и учитывать точку зрения, из которой оно исходит. Из-за невнимания к этой необходимости почти все вещи и лица греческой истории предстают перед нами с плохой стороны; пасквили Аристофана, насмешки Платона и Ксенофонта, даже заинтересованные общие слова истца или ответчика в дикастерии принимаются с минимальным перекрестным исследованием как подлинные материалы для истории.

Если когда-либо и нужно было вызвать это редкое чувство искренности, так это тогда, когда мы переходим к обсуждению истории лиц, называемых софистами, которые теперь впервые появляются как достойные внимания; практические учителя Афин и Греции, заблуждающиеся, а также неправильно оцениваемые.

Первобытное образование в Афинах состояло из двух направлений: гимнастика - для тела, музыка - для ума. Слово "музыка" не следует понимать в том ограниченном значении, которое оно имеет сейчас. С самого начала она включала в себя все, что относилось к области девяти муз; не только обучение игре на лире или участию в хоре, но и слушание, изучение и повторение поэтических произведений, а также практику точного и изящного произношения; последнее достижение на таком языке, как греческий, с длинными словами, размеренными слогами и большим разнообразием ударений между словами, должно быть, было гораздо труднее приобрести, чем на любом современном европейском языке. По мере расширения круга идей слова "музыка" и "музыкальные учителя" приобретали все более широкий смысл, чтобы охватить материю обучения одновременно более широкую и более разнообразную. В середине пятого века до нашей эры в Афинах среди музыкальных учителей появились люди самых выдающихся способностей и выдающегося положения; мастера всех знаний и достижений эпохи, преподающие все, что было известно об астрономии, географии и физике, и способные вести диалектические дискуссии со своими учениками по всем различным проблемам, существовавшим в то время среди интеллектуальных людей. Такими были Ламприс, Агатоклес, Пифоклидес, Дамон и другие. Два последних были наставниками Перикла; а Дамон даже стал настолько непопулярен в Афинах, отчасти из-за своих крупных и свободных спекуляций, отчасти из-за политических врагов своего великого ученика, что его подвергли остракизму или, по крайней мере, приговорили к изгнанию. ^[554] Такие люди были компетентными компаньонами Анаксагора и Зенона и частично занимались теми же исследованиями; область приобретенных знаний тогда не была достаточно велика, чтобы разделить ее на отдельные, эксклюзивные отсеки. В то время как Еврипид часто бывал в обществе Анаксагора и знакомился с его мнениями, Ион Хиосский, его соперник как трагический поэт, а также друг Кимона, так много размышлял о физических предметах, как тогда считалось, что он создал собственную теорию, провозгласив учение о трех элементах в природе: ^[555] воздухе, огне и земле.

Такие учителя музыки, как Дамон и другие, упомянутые выше, были софистами не только в естественном и правильном греческом смысле этого слова, но, в некоторой степени, даже в том

особом и ограниченном значении, которое Платон впоследствии счел нужным придать ему. Софист, в подлинном смысле этого слова, был мудрецом, умным человеком; тем, кто выделялся перед публикой умом или талантом какого-либо рода. Так, Солон и Пифагор оба называются софистами; искусный бард Фамирас называется софистом:[557] Сократес так назван не только Аристофаном, но и Эсхинесом:[558] Аристотель сам называет Аристиппа, а Ксенофонт - Антистенеса, оба они ученики Сократеса, этим именем:[559] Ксенофонт,[560] описывая собрание поучительных книг, называет их "сочинениями старых поэтов и софистов", подразумевая под последним словом прозаиков вообще: Платон упоминается как софист, даже Исократес:[561] Исократес сам подвергался резкой критике как софист и защищает и себя, и свою профессию: наконец, Тимон, друг и поклонник Пирра, около 300-280 гг. до н.э., который горько сатириковал всех философов, обозначал их всех, включая Платона и Аристотеля, общим именем софистов.[562] В этом широком и всеобъемлющем смысле слово употреблялось первоначально и всегда продолжало так пониматься среди широкой публики. Но вместе с этой идеей название софиста несло в себе и некое неблагоприятное чувство. Естественный нрав людей, в целом невежественных по отношению к высокому интеллекту, - тот самый нрав, который привел к обвинениям в магии, столь частым в Средние века, - представляет собой союз восхищения и чего-то неблагоприятного:[563] неприязни или опасения, в зависимости от обстоятельств, если только последний элемент не был нейтрализован привычным уважением к установленной профессии или должности: Во всяком случае, недружелюбное настроение подразумевается так часто, что вскоре оказывается удобным субстантивированное слово, в котором оно подразумевается без необходимости какого-либо прилагательного. Тимон, ненавидевший философов, таким образом, нашел слово софист точно подходящим как по смыслу, так и по настроению для своего обращения к ним.

Теперь, когда (в период после 450 г. до н. э.) учителя риторики и музыки предстали перед афинской публикой в столь возросшей известности, их, конечно, как и других людей, прославившихся интеллектуально, стали называть соответствующим именем софистов. Но была у них одна особенность, благодаря которой они навлекали на себя двойную порцию тех недоброжелательных чувств, которые скрывались в этом имени. Они преподавали за плату: разумеется, самые выдающиеся из них учили только богатых и зарабатывали большие суммы; этот факт, естественно, вызывал зависть, в некоторой степени, у многих, кто не получал от них никакой пользы, но еще больше у низших представителей их собственной профессии. Но даже великие умы, такие как Сократес и Платон, хотя и были гораздо выше любой подобной зависти, в ту эпоху лелеяли искреннее и яростное отвращение к получению платы за преподавание. Мы читаем в Xenophon,[564] что Сократес считал такую сделку не чем иным, как рабством, лишаящим учителя всякой свободы выбора лиц и действий; и что он уподоблял отношения между учителем и учеником отношениям между двумя влюбленными или двумя близкими друзьями, которые были основательно опозорены, лишены своего очарования и взаимности и лишены возможности получить свою законную награду в виде привязанности и преданности, благодаря вмешательству денежной оплаты. Как бы мало это ни соответствовало современным представлениям, таковы были совестливые настроения Сократеса и Платона, которые поэтому считали, что название софистов, обозначающее интеллектуальную знаменитость в сочетании с одиозной ассоциацией, как нельзя лучше подходит для ведущих платных учителей. Великолепный гений, продолжительное влияние и постоянная полемика Платона закрепили это название за людьми, против которых он писал, как если бы оно было их признанным, законным и особым обозначением: хотя несомненно, что если бы в середине Пелопоннесской войны любого афинянина спросили: "Кто главные софисты в вашем городе?", он назвал бы Сократеса одним из первых; ведь Сократес был одновременно выдающимся интеллектуальным учителем и лично непопулярным, не потому что получал жалованье, а по другим причинам, о которых будет сказано далее: и это было именно то сочетание качеств, которое широкая публика естественно выражала

в софисте. Более того, Платон не только вырвал это название из общего оборота, чтобы закрепить его за своими противниками, платными учителями, но и связал с ним явные дискредитирующие атрибуты, которые не входили в его примитивное и признанное значение и были совершенно отличны от смутного чувства неприязни, связанного с ним, хотя и прививались к нему. Аристотель, следуя примеру своего учителя, дал слову "софист" то же определение, что и в современных языках:[565] "нечестивый претендент на знание; человек, использующий то, что он считает заблуждением, с целью обмана и получения денег". И делал он это в то время, когда сам он и его уважаемый современник Исократес считались в Афинах софистами, и их называли так все, кому не нравилась ни их профессия, ни их личности[566].

Великие мыслители и писатели, такие как Платон и Аристотель, имеют полное право определять и использовать слова в собственном смысле, при условии, что они дают об этом должное уведомление. Но очень важно, чтобы читатель помнил о последствиях таких изменений и не принимал слово, употребленное в новом значении, за новый факт или явление. Эпоха, с которой мы сейчас имеем дело, последняя половина V века до н. э., обычно выделяется в истории философии как эпоха Сократа и софистов. О софистах говорят как о новом классе людей, а иногда и языком, подразумевающим новую доктринальную секту или школу, как будто они впервые возникли в Греции; о показных самозванцах, льстивших и обманывавших богатую молодежь ради собственной выгоды, подрывавших афинскую мораль, общественную и частную, и поощрявших своих учеников к беспринципному преследованию честолубия и корыстолюбия. Они даже утверждают, что им удалось развратить общую мораль, так что в последние годы Пелопоннесской войны Афины сильно выродились и стали порочными по сравнению с тем, какими они были во времена Мильтиада и Аристеиды. Сократес же обычно описывается как святой человек, борющийся с этими лжепророками и разоблачающий их, выступающий как защитник морали против их коварных ухищрений.[567] Хотя появление такого оригинального человека, как Сократес, было новым фактом невыразимой важности, появление софистов не было новым фактом; новым было особое использование старого слова, которое Платон вывел из его обычного значения и прикрепил к выдающимся платным учителям сократического века.

Платными учителями, с которыми под названием "Софисты" он вступает в спор с Сократесом, были Протагор из Абдеры, Горгий из Леонтины, Полиус из Агригентума, Гиппиас из Элиды, Продик из Кеоса, Фрасимах из Халкедона, Евтидем и Дионисодор из Хиоса; к ним Ксенофонт добавляет Антифона из Афин. Эти люди, которых современные авторы называют софистами и осуждают как моральную язву своего века, ничем не отличались от своих предшественников. Их призвание состояло в том, чтобы готовить молодежь к обязанностям, занятиям и успехам в активной жизни, как частной, так и общественной. Другие занимались этим и раньше; но эти учителя привнесли в дело более широкий круг знаний с большим разнообразием научных и других тем; не только более впечатляющие способности к сочинению и речи, служащие личным примером для ученика, но и понимание элементов хорошей речи, чтобы быть в состоянии дать ему наставления, способствующие этому достижению;[568] значительный кладезь накопленных мыслей на моральные и политические темы, рассчитанные сделать их беседу очень поучительной, и готовые рассуждения на общие темы или *общие места*, чтобы их ученики выучили их наизусть.[569] Но это, хотя и очень важное расширение, было не более чем расширением, отличающимся лишь степенью того, что Деймон и другие сделали до них. Оно возникло из-за возросшего среди афинской молодежи спроса на более высокий уровень образования и других достижений; из-за повышения стандартов того, что требовалось от каждого человека, который стремился занять место в глазах своих сограждан. Протагор, Горгий и остальные удовлетворили этот спрос со способностями и успехом, неизвестными до их времени; таким образом, они получили такую известность, какой не достигал ни один из их предшественников, были признаны по всей Греции, путешествовали из города в город под всеобщее восхищение и получали значительное

вознаграждение. Хотя такой успех среди людей, лично им незнакомых, недвусмысленно свидетельствует об их таланте и личных достоинствах, он, конечно же, подвергал их усиленной ревности, как со стороны низших учителей, так и со стороны любителей невежества вообще: эта ревность проявлялась, как я уже объяснял, в большей готовности заклеить их несносным титулом софистов.

Враждебность Платона к этим учителям, - а ведь именно он, а не Сократес, был особенно враждебен к ним, как видно из отсутствия какой-либо столь заметной антитезы в "Меморабилии" Ксенофонта, - можно объяснить, вовсе не предполагая в них той испорченности, которую современные писатели так готовы не только признать, но и превознести. Она возникла из радикального различия между его точкой зрения и их точкой зрения. Он был великим реформатором и теоретиком, а они стремились подготовить молодых людей к тому, чтобы они могли приносить пользу себе и другим в активной афинской жизни. В каждом прогрессивном обществе не только есть место для одновременного действия обоих этих направлений мысли и действия, но и интеллектуальный наряд общества никогда не может быть полным без одного из них, равно как и без другого. Слава Афин заключалась в том, что в период, которого мы сейчас достигли, в них были адекватно представлены оба эти направления. Тот, кто ознакомится с бессмертным произведением Платона "Республика", увидит, что он расходился с обществом, как демократическим, так и олигархическим, по некоторым наиболее фундаментальным пунктам общественной и частной морали; и на протяжении большинства его диалогов он спорит не столько с государственными деятелями, как прошлыми, так и нынешними, сколько с платными афинскими учителями. Помимо этого горячего стремления к радикальной реформе государства на собственных принципах, отличных от каждой признанной политической партии или вероисповедания, Платон был непревзойденным спекулятивным гением и диалектиком; обе эти способности он использовал, чтобы усилить и проиллюстрировать этическую теорию и метод, впервые предложенные Сократесом, а также для создания собственных всеобъемлющих обобщений.

Теперь его реформаторские, а также теоретические тенденции привели его к полемическим спорам со всеми ведущими агентами, которые занимались практической жизнью в Афинах. В той мере, в какой Протагор или Горгий говорили на языке теории, они, несомненно, значительно уступали Платону, и их доктрины вряд ли смогли бы противостоять его острой диалектике. Но в их обязанности не входило ни реформировать государство, ни открывать и отстаивать лучшую теорию этики. Они исповедовали подготовку молодых афинян к активной и почетной жизни, как личной, так и общественной, в *Афинах* или в любом другом городе; они учили их "думать, говорить и действовать" в *Афинах*; они, конечно, принимали за основу своего обучения тот тип характера, который демонстрировали достойные люди и который одобряла общественность в *Афинах*; они не брались переделывать этот тип, но вооружали его новыми способностями и украшали свежими достижениями. Их непосредственным делом были этические наставления, а не этическая теория; все, что требовалось от них в отношении последней, - это чтобы их теория была достаточно обоснованной, чтобы привести к таким практическим наставлениям, которые считались добродетельными в самом уважаемом *афинском* обществе. Никогда не следует забывать, что те, кто учил для активной жизни, были обязаны, самим условиям своей профессии, приспособливаться к месту и обществу, как оно было. С теоретиком Платоном не только не было такого обязательства, но величие и поучительность его умозрений реализовывались только при его отходе от них и вознесении себя на более высокую вершину видения; и он сам[570] не только признает, но даже преувеличивает непригодность и отвратительность людей, обученных в его школе, для практической жизни и обязанностей.

Чтобы понять существенное различие между практической и теоретической точкой зрения, нам достаточно взглянуть на Исократеса, ученика Горгия и самого софиста. Хотя Исократес не обладал выдающимися способностями, он был одним из самых уважаемых людей греческой античности. Он преподавал за деньги и учил молодых людей "думать, говорить и действовать", все с целью почетной жизни активного гражданина; не скрывая своего явного пренебрежения[571] к спекулятивным исследованиям и дебатам, таким как диалоги Платона и диалектические упражнения в целом. Он защищает свою профессию примерно так же, как защищал бы ее его учитель Горгий или Протагор, если бы мы имели перед собой доказательства из их перьев. Исократес в Афинах и Квинтилиан, столь же уважаемый человек в Риме, по своему общему типу характера и профессиональному долгу являются справедливым аналогом тех, кого Платон называет софистами.

Мы знаем этих последних в основном по свидетельствам Платона, их явного врага; но даже его свидетельства, если их толковать откровенно и рассматривать в целом, не оправдывают обвинений в развращенном и безнравственном обучении, нечестном притворстве знаний и т. д., которые современные историки громким хором выливают против них. Я знаю мало персонажей в истории, с которыми так плохо обращались, как с этими так называемыми софистами. Они несут наказание за свое имя в его современном понимании; это вводящая в заблуждение ассоциация, от которой мало кто из современных писателей старается освободить себя или своих читателей, хотя английское или французское слово "софист" совершенно неприменимо к Протагору или Горгиасу, которых следовало бы называть скорее "профессорами, или публичными учителями". Поистине удивительно читать изложения, приложенные такими учеными людьми, как Сталлбаум и другие, к платоновским диалогам под названием "Протагор", "Горгий", "Евтихий", "Теэтет" и т. д., где Платон вводит Сократа либо в личный спор с тем или иным из этих софистов, либо для выяснения их мнения. Мы постоянно читаем из-под пера толкователя такие замечания, как: "Обратите внимание, как Платон опускает мелкого и никчемного софиста"; при этом совершенно упускается из виду, что именно сам Платон играет обе партии на шахматной доске. И снова: "Тот или иной аргумент, вложенный в уста Сократеса, не следует рассматривать как истинное мнение Платона: он лишь берет его на вооружение и проводит в жизнь в данный момент, чтобы озадачить и унижить показного притворщика";[572] замечание, которое превращает Платона в неискреннего спорщика и софиста в современном смысле слова в тот самый момент, когда комментатор превозносит его чистую и возвышенную мораль как противоядие от предполагаемой развращенности Горгия и Протагора.

Платон посвятил длинный и интересный диалог вопросу "Что такое софист?"[573], и любопытно заметить, что определение, которое он в конце концов приводит, подходит самому Сократесу, с интеллектуальной точки зрения, лучше, чем кому-либо другому из тех, кого мы знаем. Цицерон определяет софиста как того, кто занимается философией ради показухи или выгоды,[574] что, если это можно считать упреком, несомненно, тяжело отразится на огромном количестве современных учителей, которые, как и другие профессиональные люди, стремятся заниматься своей профессией и выполнять ее важные обязанности, руководствуясь перспективой либо получить доход, либо сделать фигуру в ней, либо и то и другое, независимо от того, есть у них какая-то особая склонность к этому занятию или нет. Но современные авторы, описывая Протагора или Горгия, хотя и используют насмешливый язык Платона против преподавания за плату, низких целей, уловок, чтобы получить деньги от богатых и т. д., используют термины, которые приводят читателя к мысли, что в этих софистах было что-то особенно жадное, непомерное и вороватое; что-то помимо простого факта выпрашивания и получения вознаграждения. Теперь не только нет никаких доказательств того, что кто-то из них был таким нечестным или непомерным, но в случае с Протагором даже его враг Платон приводит доказательство того, что он не был таким. В платоновском диалоге, названном "Протагор", этот

софист описывает, как он поступал в отношении вознаграждения от своих учеников. "Я ничего не оговариваю заранее: когда ученик расстанется со мной, я прошу у него такую сумму, какую, по моему мнению, требуют время и обстоятельства; и добавляю, что если он сочтет требование слишком большим, то ему остается только самому решить, каков объем улучшений, которые обеспечило ему мое предприятие, и какую сумму он считает эквивалентом за это. Я согласен принять названную им сумму, требуя лишь, чтобы он пошел в храм и принес клятву, что это его искреннее убеждение"[575] Нелегко представить себе более достойный способ ведения дел, чем этот, и тот, который более полно свидетельствует о благородной опоре на внутреннее сознание ученого, на благодарное чувство достигнутого улучшения, которое для каждого учителя является наградой, едва ли уступающей оплате, вытекающей из него, и которое, по мнению Сократеса, составляет единственное законное вознаграждение. Не так работают развратители человечества.

Самым выдающимся в учении Горгия и других софистов было то, что они развивали и совершенствовали в своих учениках ораторское искусство, одно из самых необходимых для каждого афинянина достижений. За это же их осуждали Риттер, Брандис и другие ученые писатели по истории философии, как развращенных и безнравственных. "Обучая своих учеников риторике (говорили они), они лишь давали им возможность вторить несправедливым замыслам, заставляя худшее казаться лучшим разумом и вводить слушателей в заблуждение, используя хитрость и уловки, ложную убежденность и демонстрацию знаний без реальности". Риторика (утверждает Платон в диалоге "Горгиас") - это не искусство, а просто ненаучная хитрость, порабощенная господствующими предрассудками, и не что иное, как бесстыдная пародия на истинное политическое искусство". И хотя Аристотель, следуя платоновскому примеру, называет эту способность выдавать худшее за лучшее "обещанием Протагора", [576] это обвинение не должно быть выдвинуто так, будто оно относится именно к учителям сократовской эпохи. Это аргумент против преподавания риторики вообще; против всех самых выдающихся учителей, готовивших учеников к активной жизни, во всем античном мире, начиная с Протагора, Горгия, Исократеса и т. д. и вплоть до Квинтилиана. Этот аргумент не только в равной степени относится ко всем, но и фактически выдвигался против всех. Исократес [577] и Квинтилиан защищаются от него: Аристотель отвечает на него в начале своего трактата о риторике: и не было ни одного человека, против которого он был бы выдвинут с большей горечью клеветы, чем против Сократеса, Аристофаном в его комедии "Облака", а также другими комическими композиторами. Сократес жалуется на это в своей защите перед судьями; [578] характеризуя такие обвинения с их истинной точки зрения, как "упреки в адрес всех, кто занимается философией". Они действительно являются лишь одним из проявлений, постоянно меняющихся по форме, но одинаковых по духу, антипатии невежества к инакомыслящим новаторам или превосходящим умственным достижениям; на эту антипатию сами интеллектуальные люди, когда она оказывается на их стороне в споре, готовы ссылаться. Учитывая, что мы имеем здесь материалы для защиты, а также для нападения, предоставленные Сократесом и Платоном, можно было бы ожидать, что современные писатели воздержатся от использования такого аргумента для дискредитации Горгия или Протагора; Тем более что у них перед глазами во всех странах современной Европы профессия юристов и адвокатов, которые своим мощным красноречием без разбора отстаивают справедливость или несправедливость и которые, отнюдь не считаясь развратителями общества, обычно рассматриваются, в том числе и по этой причине, как незаменимые помощники в справедливом отправлении закона.

Хотя писательство было не столько делом этих софистов, сколько личным преподаванием, некоторые из них опубликовали трактаты. Фрасимах и Феодор изложили письменные наставления по искусству риторики; [579] наставления, которые не дошли до нас, но которые, по-видимому, были узкими и специальными, непосредственно касались практики и относились главным образом к надлежащим составным частям ораторского искусства. Для Аристотеля,

достигшего того обширного и всеобъемлющего представления о теории риторики, которое до сих пор сохранилось в его великолепном трактате, взгляды Фрасимаха казались несущественными, служившими ему лишь подсказками и материалами. Но их влияние должно было быть совсем иным, когда они впервые появились, и когда молодые люди впервые получили возможность анализировать части аранги, понимать зависимость одной от другой и называть их соответствующими именами; все это, напомним, иллюстрировалось устным изложением со стороны мастера, которое было самой впечатляющей частью целого.

Продикус также опубликовал один или несколько трактатов, призванных прояснить двусмысленность слов и указать на различные значения терминов, которые, казалось бы, должны быть равнозначными, но не являются таковыми на самом деле. За это Платон часто высмеивает его, и современные историки философии обычно считают правильным принять тот же тон. Было ли исполнение этой работы адекватным ее цели, мы не можем судить; но, несомненно, цель была такова, что она должна была помочь греческим мыслителям и диалектикам; ведь ни один человек не может изучать их философию, не видя, как плачевно они были затруднены порабощением популярной фразеологии и умозаключениями, основанными на простой словесной аналогии. В те времена, когда не существовало ни словарей, ни грамматики, учитель, который заботился, даже пунктуально, о том, чтобы зафиксировать значение важных слов своей речи, должен считаться направляющим умы своих слушателей в полезном направлении; полезном, мы можем добавить, даже для самого Платона, чьи рассуждения, несомненно, были бы улучшены случайными подсказками от такого наблюдателя.

Протагор, как говорят, тоже был первым, кто различал и давал названия различным способам и формам обращения, - анализ, хорошо рассчитанный на то, чтобы помочь его урокам правильной речи:[580] он, похоже, также был первым, кто различал три рода существительных. Далее мы слышим о трактате, который он написал о борьбе, или, скорее всего, о гимнастике в целом, а также о сборнике спорных диалогов.[581] Но самым знаменитым его трактатом был трактат под названием "Истина", по-видимому, о философии в целом. Об этом трактате мы даже не знаем ни его общего содержания, ни цели. В одном из своих трактатов он признался, что не может убедиться в существовании богов, в следующих словах:[582] "Что касается богов, то я не знаю ни того, существуют ли они, ни того, каковы их свойства: неопределенность предмета, краткость человеческой жизни и многие другие причины лишают меня этого знания". То, что верующая публика Афин была серьезно возмущена этим отрывком, и то, что из-за него автору угрожали судебным преследованием и вынудили покинуть Афины, мы вполне можем понять; хотя, кажется, нет достаточных доказательств истории о том, что он утонул во время своего плавания. Но то, что современные историки философии, считающие языческих богов выдумкой, а религию - противной любому здравому уму, должны быть едины в осуждении Протагора на этом основании как порочного человека, кажется мне менее понятным. Ксенофанес[583] и, вероятно, многие другие философы говорили то же самое до него. Также нелегко понять, что должен был делать высший человек, который не мог приспособить свой стандарт веры к таким вымыслам; или что он мог сказать, если он сказал что-то меньшее, чем приведенные выше слова Протагора; которые, насколько мы можем оценить их без контекста, представляются кратким упоминанием в скромных и осмотрительных фразах причины, по которой он ничего не сказал о богах, в трактате, где читатель ожидал бы найти многое по этому вопросу.[584] Несомненно, что в платоновском диалоге, называемом "Протагор", этот софист предстает говорящим о богах именно в той манере, которую, естественно, мог бы принять любой ортодоксальный язычник.

Другой фрагмент, сохранившийся о Протагоре, касается его взглядов на процесс познания и на истину в целом. Он учил, что "человек есть мера всех вещей; и того, что существует, и того, что не существует": эта доктрина обсуждалась и оспаривалась Платоном, который утверждает, что

Протагор утверждал, что знание состоит из ощущений, и считал ощущения каждого отдельного человека для него каноном и мерилем истины. Мы почти ничего не знаем об уточнениях или ограничениях, которыми Протагор мог сопровождать свое общее положение: и если даже Платон, имевший хорошие возможности узнать их, счел неблагоприятным оскорблять сиротскую доктрину, отец которой недавно умер и уже не мог ее защищать,^[585] то тем более должны современные авторы, говорящие, имея перед собой лишь обрывки доказательств, быть осторожными в том, как они нагромождают на ту же доктрину оскорбления, намного превосходящие те, которые признает Платон. В той мере, в какой мы можем претендовать на понимание этой теории, она, конечно, была не более неверной, чем некоторые другие, бытовавшие в то время в элеатской школе и у других философов; в то же время ее достоинство заключалось в том, что она, хотя и ошибочным образом, с особой силой подчеркивала относительный характер познания,^[586] относительный не только по отношению к чувствительной способности, но и к той, которая укрепляется и направляется другими способностями человека, памятной и рациональной. И если бы она была еще более неверной, чем на самом деле, то не было бы оснований для тех обвинений, которые современные авторы возводят на нее, против морали Протагора. В дискуссии, которую Платон посвящает этой доктрине, такие обвинения не допускаются: более того, если оправдание, которое он выдвигает против себя от имени Протагора, действительно приписывается этому софисту, оно придавало бы преувеличенное значение различию между Добром и Злом, в которое платоновский Протагор превращает различие между Истиной и Ложью. Последующие теории Платона и Аристотеля, касающиеся познания, были гораздо более систематическими и продуманными, работами людей, значительно превосходящих Протагора в умозрительном гении: но они не были бы тем, чем они были, если бы Протагор, как и другие, не шли до них с предложениями более частичными и несовершенными.

От Горгия осталось одно короткое сочинение, сохранившееся в одном из аристотелевских или псевдоаристотелевских трактатов,^[587] посвященное метафизическому тезису. Он утверждает, что ничего не существует: если что-то и существует, то оно непознаваемо; и если допустить, что оно существует и может быть познано одним человеком, он никогда не сможет сообщить его другим. Современные историки философии здесь предпочитают более легкую задачу - осудить скептицизм софиста, вместо того чтобы выполнить лежащую на них обязанность - объяснить его тезис в непосредственной последовательности с предшествующими ему рассуждениями. В нашем понимании этих слов это чудовищный парадокс: но если истолковать их в их законном происхождении от элеатских философов непосредственно перед ним, то это правдоподобный, чтобы не сказать убедительный, вывод из принципов, которые они признали бы.^[588] Слово существование, как они его понимали, означало не феноменальное, а сверхфеноменальное существование. Феномены чувств они рассматривали как постоянно приходящие и уходящие, как нечто по сути преходящее, колеблющееся, неспособное быть достоверно известным и дающее в лучшем случае основания лишь для предположений. Они искали путем размышлений то, что, как они предполагали, является действительно существующим чем-то или субстанцией - нуменом, если воспользоваться кантовским выражением, - лежащим за или под явлениями, и этот нуменон они признавали единственным подходящим предметом познания. Как я уже отмечал, они много спорили о том, один он или много; нуменон в единственном числе или нумена во множественном. Теперь тезис Горгия касался этого сверхфеноменального существования и был тесно связан с аргументами Зенона и Мелисса, элеатских рассуждателей, его старших современников. Он отрицал существование сверхфеноменального нечего, или нуменона, или возможность его познания или описания. Из этого тройного тезиса первое отрицание было ни более, ни менее несостоятельным, чем у тех философов, которые до него отстаивали утвердительную точку зрения: по двум последним пунктам его выводы не были ни парадоксальными, ни неуместно скептическими, но совершенно справедливыми, и были подтверждены постепенным отказом, явным или подразумеваемым, от таких ультра-

феноменальных исследований среди большей части философов. Можно с полным основанием предположить, что эти доктрины были выдвинуты Горгием с целью отвлечь своих учеников от занятий, которые он считал бесперспективными и бесплодными: точно так же мы обнаружим, что его ученик Исократес впоследствии придерживался того же мнения, не поощряя рассуждения такого рода и рекомендуя риторические упражнения как подготовку к обязанностям активного гражданина.^[589] Не следует забывать, что сам Сократес не поощрял физические спекуляции даже более решительно, чем любой из них.

Если порицание предполагаемого скептицизма Горгия и Протагора отчасти не имеет достаточных оснований, а отчасти вообще не имеет оснований, то гораздо больше можно сказать о более серьезных упреках в адрес их учения по поводу безнравственности или развращенности. У недавних немецких историков философии было принято переводить из Платона и наряжать изверга под названием "Софистик", который, как они утверждают, отравил и деморализовал развращенным учением афинский нравственный характер, так что в конце Пелопоннесской войны он стал вырождаться по сравнению с тем, каким он был во времена Мильтиада и Аристиды.

Итак, во-первых, если абстракция "софистика" должна иметь какой-то определенный смысл, мы должны иметь доказательство того, что люди, называемые софистами, имели какие-то доктрины, принципы или методы, как общие для всех, так и отличающие их от других. Но такое предположение не соответствует действительности: у них не было ни общих доктрин, ни принципов, ни метода; даже имя, под которым они известны, не принадлежало им в большей степени, чем Сократесу и другим; у них не было ничего общего, кроме их профессии платных учителей, обучающих молодых людей "думать, говорить и действовать" - это слова Исократеса, и лучше слова найти было бы нелегко, - с заслугами перед самими собой как гражданами. Кроме того, в те времена такая общность профессии не предполагала такой аналогии характеров, как сейчас, когда путь учения превратился в широкую и заметную дорогу, с отмеренными расстояниями и установленными интервалами: У Протагора и Горгия были предшественники, но не было обязательных прецедентов, которые можно было бы скопировать; так что каждый из них выбрал более или менее свою собственную дорогу. И, соответственно, Платон в своем диалоге "Протагор", где представлены Протагор, Продик и Гиппий, придает каждому из них особый характер и особый метод, не без сильной примеси взаимной ревности между ними; а Фрасимах в "Республике", и Евтидем в так называемом диалоге снова окрашены каждый в свои цвета, отличные от всех трех названных выше. У нас нет ни малейших оснований предполагать, что Горгий был согласен с мнением Протагора: "Человек - мера всех вещей"; и мы можем сделать вывод, даже исходя из самого Платона, что Протагор выступил бы против взглядов, выраженных Фрасимахом в первой книге "Республики". Поэтому невозможно утверждать что-либо о доктринах, методах или тенденциях, общих и свойственных всем софистам. Их не было; да и абстрактное слово "софистика" не имеет никакого реального значения, кроме тех качеств, какими бы они ни были, которые неотделимы от профессии или занятия публичным преподаванием. И если в настоящее время каждый честный критик постеснялся бы бросать упреки в адрес всего корпуса профессиональных учителей, то тем более такое осуждение неуместно по отношению к древним софистам, которых отличали друг от друга более сильные индивидуальные особенности.

Если же верно, что в период между 480 годом до н. э. и окончанием Пелопоннесской войны в Афинах и в Греции в целом произошла большая моральная деградация, то нам придется искать какую-то другую причину, нежели эту воображаемую абстракцию под названием софистика. Но - и это второй момент - утверждаемый здесь факт настолько же не соответствует действительности, насколько нереальна предполагаемая причина. Афины в конце Пелопоннесской войны были не более развращены, чем Афины в дни Мильтиада и Аристиды. Если мы вернемся к тому более раннему периоду, то обнаружим, что едва ли какие-либо действия афинского народа вызвали

более резкое осуждение - по моему мнению, незаслуженное - чем их отношение к этим двум государственным деятелям: осуждение Мильтиада и остракизм Аристеиды. При написании своей истории того времени, далеко не всегда находя предшественников историков, склонных воздавать афинянам должное за общественную добродетель, я был вынужден противостоять целому ряду неблагоприятных критических замечаний, вменяющих им в вину грубую неблагодарность и несправедливость. Таким образом, современники Мильтиада и Аристеиды, когда они описываются как предмет современной истории, представлены в самых нелестных тонах; за исключением их доблести при Марафоне и Саламине, которая находит единодушный отклик. Но когда эти же люди становятся частью смешанных воспоминаний и фантазий, относящихся к прошлому, - когда появляется будущее поколение с его соответствующим запасом жалоб и обвинений, - тогда люди находят удовольствие в том, чтобы наряжать добродетели прошлого в обвинительный акт против своих собственных современников. Аристофан,^[590] писавший во время Пелопоннесской войны, осуждает Демос своего времени как выродившийся из добродетели того Демоса, который окружал Мильтиада и Аристеиду: а Исократес,^[591] писавший уже стариком, между 350 и 340 гг. до н.э., подобным образом жалуется на свое собственное время, хвастаясь тем, насколько лучше было состояние Афин в его молодости: период его молодости пришелся как раз на время жизни Аристофана, на последнюю половину Пелопоннесской войны.

Подобные иллюзии не должны навязываться никому без тщательного сопоставления фактов; и наверняка это сопоставление не подтвердит утверждение о росте коррупции и вырождения в период между эпохой Мильтиадеса и окончанием Пелопоннесской войны. За всю афинскую историю нет ни одного акта, который бы свидетельствовал о столь высокой степени добродетели и рассудительности, пронизывающей весь народ, как действия после Четырехсот и после Тридцати. Я также не верю, что современники Мильтиадеса были бы способны на такой героизм, ибо это название ни в коем случае не является слишком емким для данного случая. Я сомневаюсь, что они были бы способны на устойчивое самоотречение, чтобы сохранить большую сумму в резерве во время мира, как до Пелопоннесской войны, так и после Никиасского мира; или удержать резервный фонд в тысячу талантов, пока они были вынуждены платить налоги для поддержки войны; или действовать в соответствии с благоразумной, но болезненной политикой, рекомендованной Периклесом, чтобы выдержать ежегодное вторжение, не выходя на бой и не покупая мир позорными уступками. Если дурные поступки, подобные тем, что совершили Афины в последние годы войны, например, резня населения Мелиана, не были в равной степени совершены современниками Мильтиадеса, то это объясняется не превосходством гуманности или принципов с их стороны, а тем, что они не были подвержены подобному искушению, вызванному обладанием императорской властью. Осуждение шести полководцев после битвы при Аргинусе, если предположить, что такое же поведение с их стороны имело место в 490 году до н.э, оно было бы вынесено быстрее и бесцеремоннее, чем в 406 году до н.э. Ведь тогда еще не существовало псефизма Каннона, окруженного предписывающим уважением; не было *graphê paranômōn*; не было таких привычек устоявшегося почтения к дикастерии, торжественно приведенному к присяге, с полным уведомлением ответчиков и полным временем защиты, измеряемым часами; Ни одного из тех залогов, которые долгий курс демократии постепенно внедрил в общественную мораль каждого афинянина и которые, как мы видели в предыдущей главе, стали серьезным препятствием для импульса момента, хотя в конечном итоге и были уничтожены его яростью. Гораздо менее сильного импульса хватило бы для того же самого бедствия в 490 году до н.э., когда таких барьеров не существовало. Наконец, если мы хотим получить представление о том, как афинская публика относилась к строгой и благопристойной морали в узком смысле этого слова в середине Пелопоннесской войны, нам достаточно рассмотреть, как она поступила с Никиасом. Описывая сицилийскую экспедицию, я показал, что самая серьезная ошибка, которую когда-либо совершали афиняне, та, что погубила их вооружение в Сиракузах и их власть дома,

возникла из-за безмерного уважения к уважаемому и благочестивому Никиасу, которое ослепило их к грубейшим недостаткам полководческого и общественного поведения. Какой бы катастрофической ни была эта ошибка, она, по крайней мере, служит доказательством того, что моральное разложение, якобы имевшее место в их характерах, - всего лишь фикция. Не следует также думать, что нервы и решимость, которые когда-то одушевляли бойцов при Марафоне и Саламине, исчезли в последние годы Пелопоннесской войны. Напротив, энергичная и продолжительная борьба Афин после непоправимого бедствия в Сиракузах составляет достойную параллель с ее сопротивлением во времена Ксеркса и сохраняет в неизменном виде тот отличительный признак, который Периклес назвал главным основанием ее славы, - умение не сдаваться перед несчастьем.[592] Не умаляя достоинств вооружения при Саламине, мы можем заметить, что патриотизм флота при Самосе, спасшего Афины от четырехсот, был столь же преданным и более разумным; и что взрыв усилий, который направил последующий флот к победе при Аргинусе, был в полной мере столь же напряженным.

Если мы проанализируем восемьдесят семь лет афинской истории, прошедшие между Марафонской битвой и обновлением демократии после Тридцати, то не увидим никаких оснований для столь часто звучащего утверждения об усилении и росте моральной и политической коррупции. Я убежден, что народ стал лучше как в моральном, так и в политическом отношении, и что демократия способствовала его улучшению. Замечание Фукидида, сделанное по случаю коркирского кровопролития, - о яростных и безрассудных политических антипатиях, возникающих в результате слияния внешней войны с внутренней партийной враждой,[593] - где бы оно ни находило применение, - не имеет отношения к Афинам: события после Четырехсот и после Тридцати доказывают обратное. И хотя Афины могут быть оправданы с моральной стороны, бесспорно, что их население приобрело гораздо больший диапазон идей и способностей, чем те, которыми оно обладало во время битвы при Марафоне. Это, собственно, и есть тот самый факт, о котором сожалел Аристофан, и который признают те авторы, которые, осуждая софистов, связывают расширение кругозора с распространением предполагаемого софистического яда. По моему мнению, не только обвинение софистов в том, что они отравители, но даже существование такого яда в афинской системе заслуживает лишь категорического отрицания.

Давайте еще раз рассмотрим имена этих профессиональных учителей, начиная с Продикуса, одного из самых известных. Кто не читал известную басню под названием "Выбор Геракла", которую можно найти в каждой книге, претендующей на то, чтобы собирать впечатляющие иллюстрации элементарной морали? Кто не знает, что ее цель - разжечь воображение молодежи в пользу жизни в труде ради благородных целей и против жизни в потворстве? Это была любимая тема лекций Продикуса, на которую он собирал самую большую аудиторию.[594] Если она поразительно проста и эффектна даже для современного читателя, то насколько же сильнее она должна была действовать на аудиторию, для убеждения которой она была специально приспособлена, будучи дополнена устными расширениями ее автора! Ксенофонт удивлялся, что афинские дикасты считали Сократеса развратителем молодежи, - Исократес удивлялся, что часть публики заблуждалась на его счет, - и я, признаюсь, удивляюсь не меньше, что не только Аристофан,[595] но даже современные авторы греческой философии включают Продика в тот же незавидный каталог. Это единственное сочинение[596], оставшееся от него; более того, единственное сочинение, оставшееся от кого-либо из софистов, если не считать тезисов Горгия, о которых говорилось выше. Оно служит не только защитой Продикуса от подобных упреков, но и предостережением от безоглядного доверия к язвительным замечаниям Платона, которые

касаются как Продика, так и других софистов, и к доктринам, которые он вкладывает в уста софистов вообще, чтобы Сократес мог их опровергнуть. Самая обычная честность учит нас, что если автор полемического диалога решает вложить необоснованную доктрину в уста оппонента, мы должны быть осторожны в осуждении последнего на основании таких очень сомнительных доказательств.

Велькер и другие современные авторы рассматривают Продика как "самого невинного" из софистов и исключают его из приговора, который они выносят классу в целом. Поэтому давайте посмотрим, что сам Платон говорит об остальных, и сначала о Протагоре. Если бы у читателей Платона не было принято заранее осуждать Протагора и придавать каждому относящемуся к нему отрывку не только плохой, но и гораздо худший смысл, чем тот, который он может справедливо выдержать, они, вероятно, вынесли бы совсем другие выводы из платоновского диалога, названного именем этого софиста и в котором он играет главную роль. Этот диалог сам по себе достаточен, чтобы доказать, что Платон не считал Протагора ни испорченным, ни недостойным, ни некомпетентным учителем. В ходе диалога он предстает как не владеющий теорией этики и неспособный разрешить различные трудности, с которыми эта теория должна бороться; более того, он не может сравниться с Сократесом в диалектике, которую Платон считал единственным эффективным методом философского исследования. Таким образом, если несовершенно знакомство с наукой или теорией, на которую опираются правила искусства или предписания, касающиеся практики, лишает учителя права обучать этому искусству или практике, то Протагор в этой степени оказывается несостоятельным. И если бы знаток диалектики, подобно Платону, подверг Исократу, Квинтилиану или большинство учителей прошлого и настоящего подобному перекрестному допросу на предмет теории их учения, то обнаружилось бы не менее явное невежество, чем у Протагора. Антитеза, которую Платон проводит во многих своих диалогах, между предписанием или практикой, сопровождаемой полным знанием научных принципов, из которых она должна быть выведена, если ее правильность оспаривается, - и ненаучной практикой, не имеющей такой способности к дедукции или защите, является одной из самых ценных частей его рассуждений: он истощает свой гений, чтобы сделать ее заметной тысячью косвенных способов и пристыдить своих читателей, если возможно, к более возвышенному и рациональному ходу мысли. Но одно дело сказать о человеке, что он не знает теории того, чему он учит, или того, как он учит; другое дело сказать, что он действительно учит тому, что научная теория не предписывает как лучшее; третье дело, более серьезное, чем оба, сказать, что его учение не только ниже требований науки, но даже развращает и деморализует. Из этих трех пунктов только первый Платон в своем диалоге выдвигает против Протагора: даже второй он не утверждает и не намекает; что же касается третьего, то он не только никогда не заглядывает в него даже косвенно, но вся тенденция рассуждения предполагает прямо противоположный вывод. Как будто понимая, что, когда выдающийся противник должен быть изображен озадаченным и раздраженным превосходной диалектикой, было бы справедливо изложить и его отличительные достоинства, Платон приводит басню и разоблачительную арангу из уст Протагора^[597] по вопросу о том, можно ли научить добродетели. Эта проповедь, на мой взгляд, очень поразительна и поучительна; и так бы она, вероятно, и считалась, если бы комментаторы не читали ее с заранее укоренившимся убеждением, что все, что исходит из уст софиста, должно быть либо смешно, либо безнравственно. ^{598]} Это единственная часть произведений Платона, где дается отчет о росте того плавающего, неподтвержденного, самораспространяющегося свода мнений, на который, как будет показано в следующей главе, накладывается перекрестный анализ Сократеса.

Протагор утверждает, что учит своих учеников "доброму совету" в их домашних и семейных отношениях, а также тому, как говорить и действовать наиболее эффективным образом для блага города. Поскольку это исходит от Протагора, комментаторы Платона считают это жалкой моралью; но это совпадает, почти до буквы, с тем, чему учит Исократес через поколение после него, и по существу даже с тем, чему учит Сократес у Ксенофонта; нелегко изложить в нескольких словах более широкую схему практического долга.^[599] И если мера практического долга, которому посвятил себя Протагор, была столь серьезной и обширной, то даже та доля теории, которую отводит ему в своей проповеди, включает некоторые моменты лучше, чем у самого Платона. Ведь Платон, похоже, считал, что этическая цель для каждого человека состоит не более чем в его собственном постоянном счастье и нравственном здоровье; и в этом же диалоге он представляет Сократеса, считающего, что добродетель состоит только в правильном расчете личного счастья и несчастья человека. Но здесь мы видим, что Протагор говорит так, что подразумевает более широкое и, на мой взгляд, более справедливое понимание этической цели, которая включает в себя не только заботу о собственном счастье человека, но и обязательства по отношению к счастью других. Совершенно не соглашаясь с резкими осуждениями, которые различные критики высказывают в адрес той теории, которую Сократес излагает в платоновском "Протагоре", я считаю его концепцию этической цели по существу узкой и несовершенной, не способной служить основой для выведения лучших этических предписаний. Однако история софистов написана с таким предубеждением, что комментаторы Платона обвиняют софистов в возникновении того, что они невежественно называют "базовой теорией полезности", которую здесь излагает сам Сократес; при этом они хвалят последнего за изложение тех более широких взглядов, которые в этом диалоге принадлежат только Протагору^[600].

Поэтому, что касается Протагора, можно привести свидетельства самого Платона, чтобы показать, что он был не испорченным учителем, а достойным товарищем Продикуса; достоин он и того, чем, как мы знаем, он наслаждался, - общества и беседы Перикла. Теперь давайте рассмотрим, что Платон говорит о третьем софисте, Гиппии из Элиды, который фигурирует как в диалоге под названием "Протагор", так и в двух отдельных диалогах, известных под названиями "Гиппий Большой и Малый". Гиппиас представлен как человек, отличающийся широким спектром своих достижений, которыми он демонстративно хвастается в этих диалогах. Он мог преподавать астрономию, геометрию и арифметику, за что Протагор порицал его за то, что он слишком навязывал ученикам свои знания; так мало эти софисты сходились в единой схеме учения или образования. Кроме того, он был поэтом, музыкантом, толкователем поэтов и лектором с большим запасом сочиненного материала - по моральным, политическим и даже легендарным вопросам, - хранившимся в очень цепкой памяти. Он был гражданином, которого часто использовали в качестве посланника его сограждане: в довершение всего, его ловкость рук была такова, что он признавался, что сделал своими руками все наряды и украшения, которые носил на себе. Если, что достаточно вероятно, он был тщеславным и показным человеком, - недостатки, не исключающие полезной и почетной карьеры, - мы должны в то же время отдать ему должное за разнообразные приобретения, объясняющие определенную меру тщеславия.^[601] Стиль, в котором Платон обращается с Гиппиасом, сильно отличается от того, в котором он обращается с Протагором. Он полон насмешек и презрительного подтрунивания, настолько, что даже Сталлбаум,^[602] много раз повторив, что это был гнусный софист, не заслуживающий лучшего обращения, вынужден признать, что мелочность зашла слишком далеко, и предположить, что диалог, должно быть, был юношеским произведением Платона. Как бы то ни было, среди столь недружелюбного обращения мы не только не находим

обвинений в адрес Гиппия в том, что он проповедовал низкую или порочную мораль, но Платон вставляет то, что служит хорошим, хотя и косвенным, доказательством обратного. Гиппий говорит, что он уже прочитал и собирался прочитать еще раз лекцию, составленную им самим с большой тщательностью, в которой он рассказывал о целях и занятиях, которым должен следовать молодой человек. Схема его беседы заключалась в том, что после взятия Трои юноша Неоптолем спрашивал у Нестора совета о своем будущем поведении; в ответ Нестор излагал ему, какой жизненный план должен быть у молодого человека с благородными устремлениями, и раскрывал перед ним все детали регулируемого и добродетельного поведения, которым он должен быть наполнен. [Выбор двух таких имен, одних из самых почитаемых во всей греческой легенде, в качестве наставника и ученика, является печатью, ясно свидетельствующей о жилах чувств, которые одушевляли композицию. Мораль, проповедуемая Нестором в назидание Неоптолему, может быть, и слишком для афинской практики; но уж точно она не была бы на стороне разврата, эгоизма или чрезмерной расточительности. Мы можем с уверенностью предположить, что это рассуждение, написанное Гиппиасом, по духу и цели не будет недостойно стоять в одном ряду с "Выбором Геракла", а его автор - с Продикусом в качестве учителя нравственности.

Диалог под названием "Горгий" у Платона ведется Сократесом с тремя разными лицами, сменяющими друг друга, - Горгием, Полом и Калликлесом. Горгий из Леонтины в Сицилии, как учитель риторики, приобрел большую известность, чем кто-либо из людей его времени, во время Пелопоннесской войны: его обильные иллюстрации, яркие украшения, искусственная структура предложений, разделенных на точные антитетические доли, - все это распространило новую моду в ораторском искусстве, которая в то время была очень популярна, но впоследствии была дискредитирована. Если бы можно было четко провести границу между риториками и софистами, Горгия скорее следовало бы причислить к первым. [604] В беседе с Горгием Сократес разоблачает ошибочность и самозванство риторики и риторического учения, как обман невежественной аудитории в убеждении без знаний, и как созданные для удовлетворения мимолетного каприза, без всякого отношения к постоянному благосостоянию и улучшению людей. Какие бы реальные обвинения ни содержались в этих аргументах против учителя риторики, Горгий должен нести их вместе с Исократесом и Квинтилианом и под щитом Аристотеля. Но кроме риторического учения, никакого распространения порочной морали Платон ему не приписывает; более того, он относится к нему с таким уважением, которое удивляет комментаторов [605].

Тон диалога существенно меняется, когда он переходит к Полю и Калликлесу, первый из которых описывается как писатель по риторике и, вероятно, также учитель. [606] В Поле много наглости, а в Сократесе - не мало язвительности. Однако первый не приводит никаких аргументов, оправдывающих обвинения в безнравственности против себя или своих коллег-учителей. Он защищает вкусы и чувства, присущие каждому человеку в Греции и разделяемые даже самыми уважаемыми афинянами, Периклесом, Никиасом и Аристократом; [607] в то время как Сократес гордится тем, что стоит совершенно один и не имеет никакой поддержки, кроме своей неотразимой диалектики, с помощью которой он уверен, что добьется неохотного признания от своего противника. Насколько прав Сократес, я сейчас не спрашиваю: достаточно того, что Полус, стоящий среди столь многочисленной и столь безупречной компании, не может быть справедливо обвинен в отравлении юношеского ума.

Вскоре Полус передает диалог Калликлесу, который здесь, несомненно, представлен как излагающий доктрины, открыто и открыто антиобщественные. Он проводит различие между законом природы и законом общества - писаным и неписаным, поскольку греческое слово в

значительной степени включает в себя и то, и другое. Согласно закону природы, говорит Калликлес, сильный человек - более сильный или более способный - использует свою силу в полной мере для собственной выгоды, без ограничений и сдержек; преодолевает сопротивление, которое могут оказать более слабые люди, и забирает себе столько, сколько пожелает, из того, что приносит удовольствие. Ему не приходится сдерживать ни один из своих appetitов или желаний; чем они многочисленнее и настойчивее, тем лучше для него, поскольку его власть дает ему возможность удовлетворить их все. Многим же, которые имеют несчастье быть слабыми, приходится довольствоваться тем, что он им оставляет, и подчиняться этому из всех сил. Это, говорит Калликл, то, что происходит в естественном состоянии; это то, что считается справедливым, как видно из практики независимых общин, не входящих в одно общее политическое общество, по отношению друг к другу; это *справедливость* по природе, или по закону природы. Но когда люди приходят в общество, все это меняется на противоположное. Большинство людей прекрасно знают, что они слабы, и что их единственный шанс на безопасность или комфорт заключается в установлении законов, сдерживающих этого сильного человека, подкрепленных моральной санкцией похвалы и порицания, направленной на ту же общую цель. Они ловят его, как молодого льва, пока его разум еще нежен, и увлекают его разговорами и обучением, чтобы он стал соответствовать той мере и равенству, которые предписывает закон. Итак, перед нами справедливость по закону общества; фиктивная система, созданная многими для собственной защиты и счастья, для подрыва закона природы, который вооружает сильного человека правом на посягательство и лицензию. Дайте только возможность, и любимец природы увидит, как он сбрасывает с себя сбрую, попирает законы, прорывается сквозь магический круг мнений вокруг него и снова выступает в роли повелителя и хозяина многих, возвращая себе то славное положение, которое природа отвела ему по праву. Справедливость по природе и справедливость по закону и обществу, таким образом, по мнению Калликлеса, не только различны, но и взаимно противоречат друг другу. Он обвиняет Сократеса в том, что тот смешал эти два понятия в своем аргументе[608].

Многие авторы утверждают, что это антиобщественное рассуждение - достаточно правдивое, поскольку в нем излагаются простые[609] факты и вероятности; безнравственное, поскольку оно возводит власть сильного в право; и требующее многочисленных комментариев, если бы я мог найти для них удобное место, - представляет собой мораль, которой обычно и публично учили люди, называемые софистами в Афинах.[610] Я категорически отрицаю это утверждение. Даже если бы у меня не было других доказательств, подтверждающих мое отрицание, кроме тех, что уже были извлечены из недружественных писаний самого Платона о Протагоре и Гиппии, - с тем, что мы знаем от Ксенофонта о Продикусе, - я должен был бы считать, что мои аргументы оправдывают софистов в целом от такого обвинения. Если бы требовалось опровержение доктрины Калликлеса, его можно было бы получить от Продика и Протагора с такой же эффективностью, как от Сократа и Платона.

Но это не самая сильная часть доказательства.

Во-первых, сам Калликл не является софистом и не представлен Платоном в качестве такового. Он - молодой афинский гражданин, занимающий высокое положение и принадлежащий к роду Ахарнов; он близко общается с другими молодыми людьми, имеющими состояние в городе, недавно вступил в активную политическую жизнь и посвящает ей всю свою душу; он пренебрегает философией и с полным презрением отзывается о софистах.[611] Если бы даже было справедливо, чего я не допускаю, делать вывод из мнений, вложенных в уста одного софиста, что того же придерживается другой или

все они, то не менее несправедливо было бы делать такой же вывод из мнений, исповедуемых тем, кто не является софистом и презирает всю профессию.

Во-вторых, если кто внимательно прочитает ход диалога, то увидит, что учение Калликлеса таково, что никто не осмеливался публично его излагать. Так считают и сам Калликлес, и Сократес. Первый начинает разговор, говоря, что его предшественник Полюс впал в противоречие, потому что у него не хватило смелости открыто объявить непопулярное и одиозное учение; но он, Калликл, был менее стыдлив и смело говорил о том учении, которое другие держали при себе, боясь шокировать слушателей. "Конечно, - сказал ему Сократес, - твоя дерзость с избытком проявляется в учении, которое ты только что изложил; ты ясно излагаешь то, что другие люди думают, но не решаются произнести"[612] Итак, мнения, защитником которых дерзкий юноша Полюс побоялся провозгласить себя, должны были вызывать отвращение у слушателей. Как же может любой разумный человек поверить, что подобные мнения не только открыто высказывались, но и всерьез прививались софистами как истина аудитории молодых слушателей? Мы знаем, что учение последних было публичным в высшей степени; публичность была для них не только приятна, но и выгодна; среди множества пренебрежительных эпитетов, которыми их награждали, показное поведение и тщеславие - два самых заметных. Чему бы они ни учили, они учили публично; и я утверждаю, с полной убежденностью, что, если бы они даже согласились с Калликлесом в этом мнении, они не могли бы быть ни достаточно дерзкими, ни достаточно своими врагами, чтобы сделать это частью своего публичного учения; но поступили бы, как Полюс, и держали эту доктрину при себе.

В-третьих, этот последний вывод станет вдвойне очевидным, если мы подумаем, о каком городе идет речь. Из всех мест в мире демократические Афины - последнее, в котором доктрина, выдвинутая Калликлесом, могла быть исповедана публичным учителем или даже самим Калликлесом на каком-либо общественном собрании. Нет нужды напоминать читателю, насколько глубоко демократическими были настроения и мораль афинян, - как сильно они любили свои законы, свою конституцию и свое политическое равенство, - как ревниво они относились к любой зарождающейся или угрожающей деспотии. Все это не просто признается, но даже преувеличивается г-ном Митфордом, Вахсмутом и другими антидемократическими писателями, которые часто черпают из этого материал для своих обильных порицаний. Сократ в этом диалоге, называемом "Горгиас", стремится доказать против Калликлеса, против риториков и софистов, что они ухаживали, льстили и угождали чувствам афинского народа с унижительным раболепием; что они стремились просто к немедленному удовлетворению, а не к постоянному нравственному улучшению народа; что у них не хватало смелости обратиться к народу с неприятными истинами, какими бы полезными они ни были, но они всячески меняли и изменяли мнения, чтобы не нанести обиды;[613] что ни один человек, выдвинувшийся в Афинах, не имел шансов на успех, если только он не стал лепить и ассимилировать, с самого основания, народ и его тип настроений[614]. Если допустить, что эти обвинения верны, то как можно представить себе, что какой-нибудь софист или ритор может решиться навязать афинской публике доктрину, изложенную Калликлесом? Сказать такой аудитории: "Все ваши законы и институты - это нарушение закона природы, придуманное для того, чтобы Алкивиад или Наполеон среди вас лишился своего естественного права стать вашим господином и обращаться с вами, ничтожными людьми, как со своими рабами. Все ваши противоестественные предосторожности и обычные разговоры в пользу законности и равноправия окажутся не более чем жалким бессилием[615], как только он найдет удобный случай выступить вперед в полную силу и энергию, чтобы поставить вас на свои места и показать вам, какие привилегии природа предназначила для своих любимцев!" Представьте себе подобную доктрину,

провозглашенную лектором перед собравшимися афинянами! Доктрина, столь же отвратительная для Никиаса, как и для Клеона, и которую даже Алкивиад вынужден был бы осудить, поскольку она не просто антинародна, не просто деспотична, а является пьяной экстравагантностью деспотизма. Великий человек, изображенный Калликлесом, стоит в таком же отношении к простым смертным, как Джонатан Уайлд Великий в восхитительной пародии Филдинга.

То, что софисты, которых Платон обвиняет в рабской лести демократическому уху, должны безвозмездно оскорблять его, выдвигая подобные догматы, - утверждение не просто неправдивое, но совершенно абсурдное. Даже что касается Сократеса, мы знаем от Ксенофонта, как сильно афиняне были обижены на него, и как сильно обвинители настаивали на его суде, что в своих разговорах он был склонен цитировать с особым смаком описание во второй книге "Илиады", как Одиссей преследует греческую толпу, убегающую с агоры, чтобы сесть на корабль, и уговаривает их вернуться, ласковыми словами *ad*, обращенными к вождям, но ударами своей палки, сопровождаемыми презрительным выговором, к простому народу. Косвенное доказательство того, что Сократес допускал неравные отношения и плохое обращение со многими, многое говорило против него в умах дикастов. Как бы они отнеслись к софисту, публично исповедовавшему политическую мораль Калликлеса? Дело в том, что не только невозможно было, чтобы подобная мораль или что-то подобное, даже сильно разбавленное, попало в учебные лекции афинских профессоров, но страх был бы прямо противоположным. Если софист и ошибся в чем-то, то только в том, что вменяет ему Сократес, сделав свои лекции излишне демократичными. Если же мы предположим, что возникла возможность обсудить доктрину Калликлеса, он вряд ли упустит возможность польстить окружающим демократам, превознося благотворные результаты законности и равноправия и обличая этого "прирожденного деспота" или нераскрытого Наполеона как того, кто должен либо занять свое место под такими ограничениями, либо найти место в каком-нибудь другом городе.

Таким образом, я показал, даже на примере самого Платона, что учение, приписываемое Калликлесу, не входило и не могло входить в лекции софистов или исповедуемых учителей. Тот же вывод можно сделать и в отношении учения Фрасимаха в первой книге "Республики". Фрасимах был учителем риторики, который разработал наставления по построению ораторского искусства и подготовке юношей к публичным выступлениям. Скорее всего, он, как и Горгий, ограничивался только этим, а не читал нравоучительные лекции, как Протагор и Продик. Но если допустить, что он их читал, он не стал бы говорить о справедливости так, как заставляет его говорить Платон, если бы хотел доставить хоть какое-то удовольствие афинской аудитории. Жестокость и свирепая наглость поведения, вплоть до преувеличения, которыми наделяет его Платон, сама по себе является убедительным доказательством того, что учение, провозглашенное с таким предисловием, не было учением популярного и приемлемого учителя, завоевавшего расположение публики. Он определяет справедливость как "интерес высшей силы; то правило, которое в каждом обществе господствующая сила предписывает для своей собственной выгоды". Человек справедлив, говорит он, ради выгоды другого, а не ради своей собственной: он слаб, не может помочь себе, и должен подчиняться тому, что велит более сильная власть, будь то деспот, олигархия или содружество.

Эта теория существенно отличается от доктрины Калликлеса, изложенной [несколькими страницами](#) ранее; ведь Фрасимах не выезжает за пределы общества, чтобы настаивать на существовавших ранее правах, восходящих к предполагаемому состоянию природы; он принимает общества такими, какими их находит, признавая реальную правящую власть

каждого в качестве канона и составной части справедливости или несправедливости. Сталлбаум и другие авторы неосторожно обращаются с двумя теориями, как если бы они были одним и тем же; и с чем-то еще худшим, чем недостаток осторожности, в то время как они объявляют теорию Фрасимаха отвратительно аморальной, объявляют ее выдвинутой не только им, но и *софистами*; таким образом, в своем обычном стиле, имея дело с софистами, как если бы они были школой, сектой или товариществом с взаимной ответственностью. Кто следил за доказательствами, которые я привел в отношении Протагора и Продика, тот поймет, насколько по-разному они решали вопрос о справедливости.

Но правда в том, что теория Фрасимаха, хотя и неверная и несовершенная, не столь отвратительна, как ее представляют эти авторы. Что делает ее отвратительной, так это стиль и манера, в которой он ее излагает; в результате чего справедливый человек выглядит ничтожным и презренным, а несправедливый окружен завидными атрибутами. Именно это обстоятельство возмущает обычные чувства человечества, как возмущает оно и критиков, которые читают то, что говорит Фрасимах. Моральные чувства существуют в сознании людей в сложных и мощных группах, связанных с некоторыми большими словами и эмфатическими формами речи. Удовлетворяет ли этическая теория требованиям разума или отвечает всем явлениям, обычная аудитория редко дает себе труд рассмотреть с вниманием; но чего она настоятельно требует и что необходимо для того, чтобы дать теории хоть какой-то шанс на успех, так это того, чтобы она представляла их чувствам справедливого человека как достойного уважения и достоинства, а несправедливого - как одиозного и отталкивающего. В языке, приписываемом Фрасимаху, оскорбительным является не только отсутствие, но и изменение этого условия; представление справедливого человека слабым и глупым, а несправедливости - во всем *престиже* триумфа и достоинства. И именно по этой причине я осмеливаюсь предположить, что подобная теория никогда не выдвигалась Фрасимахом перед публикой в той форме, в которой она представлена у Платона. Ведь Фрасимах был ритором, изучившим принципы своего искусства: теперь мы знаем, что эти общие чувства аудитории - именно то, что риторы лучше всего понимали и всегда стремились примирить. Еще со времен Горгия они начали практиковать составление заранее деклараций по общим вопросам морали, которые были готовы к вступлению в реальные речи, когда представлялся случай, и в которых апеллировали к моральным чувствам, заранее известным как общие, с большей или меньшей модификацией, для всех греческих собраний. Реальный Фрасимах, обращаясь к любой афинской аудитории, никогда бы не ранил эти чувства, как это делает платоновский Фрасимах в "Республике". Меньше всего он сделал бы это, если бы о нем можно было сказать, как Платон утверждает о риторах и софистах вообще, что они думали только о том, чтобы добиться популярности, без всякой искренности убеждений.

Хотя Платон считает нужным привести мнение Фрасимаха с излишне оскорбительными аксессуарами и таким образом усилить диалектический триумф Сократеса грубыми манерами противника, он прекрасно понимал, что не сделал справедливости по отношению к самому мнению, а тем более не опроверг его. Доказательством тому служит то, что во второй книге "Республики", после исчезновения Фрасимаха, то же самое мнение подхватывают Глаукон и Адеймант, и оба они, хотя и отказываются принимать его как свое собственное, излагают его в качестве серьезных сомнений и трудностей, которые они хотели бы услышать от Сократеса. Тот, кто внимательно прочитает рассуждения Глаукона и Адейманта, увидит, что основное мнение, приписываемое Фрасимаху, помимо жестокости, с которой он его излагает, не выдерживает даже обвинения в безнравственном учении против *него*, не говоря уже о софистах в целом. Вряд ли что-либо в сочинениях Платона сильнее этих рассуждений. В них ясно и убедительно представлены некоторые из самых серьезных трудностей, с которыми должна бороться этическая теория. И ответить на них Платон может

только одним способом - разобрать общество на части и восстановить его в виде воображаемой республики. Речи Глаукона и Адейманта служат непосредственным предисловием к поразительному и тщательному описанию его нового состояния общества, и они не получают иного ответа, чем тот, который подразумевается в этом описании. Платон косвенно признается, что не может ответить на них, предполагая, что социальные институты останутся нереформированными: и его реформа достаточно фундаментальна[616].

Я обращаю особое внимание на это обстоятельство, без которого мы не можем справедливо оценить софистов, или практических учителей Афин, лицом к лицу с их генеральным обвинителем, Платоном. Он был великим и систематическим теоретиком, чьи взгляды на этику, политику, познание, религию и т. д. были приведены в гармонию его собственным умом и отмечены той особенностью, которая является признаком оригинального интеллекта. Столь великолепное усилие спекулятивного гения относится к чудесам греческого мира. Его несогласие со всеми обществами, которые он видел вокруг себя, не только демократическими, но и олигархическими и деспотическими, носило самый глубокий и радикальный характер. Он не обманывал себя верой в то, что любое частичное изменение того, что он видел вокруг, может привести к желаемому концу: он рассчитывал не на что иное, как на новый генезис человека и гражданина, с институтами, рассчитанными с самого начала на полную меру совершенства. Его плодovitое научное воображение воплотило эту идею в "Республике". Но та самая систематичность и оригинальность, которая придает столько ценности и очарования содержательным рассуждениям Платона, выводит его из доверия к критику или свидетелю в отношении живых агентов, которых он видел за работой в Афинах и других городах, в качестве государственных деятелей, полководцев или учителей. Его критика продиктована его собственной точкой зрения, согласно которой все общество было коррумпировано, а все инструменты, выполнявшие его функции, были, по сути, из низшего металла. Тот, кто прочтет "Горгияса" или "Республику", увидит, как огульно и без разбора он выносит свой обвинительный приговор. Не только все софисты и все риторы,[617] но и все музыканты и дифирамбические или трагические поэты; все государственные деятели, как прошлые, так и настоящие, не исключая даже великого Перикла, получают из его рук одно общее клеймо бесчестия. Всех этих людей Платон причисляет к многочисленной категории льстецов, которые служат сиюминутному удовлетворению и желаниям людей, не заботясь об их постоянном улучшении или нравственном совершенствовании. "Периклес и Кимон (говорит Сократес в "Горгии") - не что иное, как слуги или служители, которые удовлетворяют сиюминутные аппетиты и вкусы людей; точно так же, как пекарь и кондитер в своих отделах, не зная и не заботясь о том, принесет ли пища реальную пользу, что может определить только врач. Как министры они достаточно умны: они обильно снабдили город данью, стенами, доками, кораблями и прочими глупостями; но я (Сократес) - единственный человек в Афинах, который стремится, насколько позволяют мои силы, к истинной цели политики - умственному совершенствованию народа"[618] Столь оптовое осуждение выдает себя как следствие, причем последовательное, систематической особенности взглядов, предрассудков большого и способного ума.

Было бы не менее несправедливо оценивать софистов или государственных деятелей Афин с точки зрения Платона, чем нынешних учителей и политиков Англии или Франции с точки зрения г-на Оуэна или Фурье. И те, и другие трудились для общества в том виде, в каком оно существовало в Афинах: государственные деятели занимались практической политикой, софисты готовили молодежь к практической жизни во всех ее сферах, как семьянинов,

граждан и лидеров, чтобы они могли как подчиняться, так и командовать. И те и другие принимали существующую систему, не задумываясь о возможности нового рождения общества: и те и другие служили определенным требованиям, опирались на определенные чувства и преклонялись перед определенной моралью, реально ощущаемой живыми людьми вокруг них. То, что Платон говорит об афинских государственных деятелях, совершенно верно: они были лишь слугами или служителями народа. Тот, кто сравнивает народ и все общество с собственным воображаемым эталоном, может счесть всех этих министров ничтожными в совокупности, как несущих в себе систему, слишком плохую, чтобы ее можно было исправить; но, тем не менее, разница между компетентным и некомпетентным министром, между Периклесом и Никиасом, имела невыразимое значение для безопасности и счастья афинян. Софисты, со своей стороны, взялись за воспитание юношей, чтобы сделать их более подходящими для государственных деятелей или министров; и Протагор счел бы достаточной честью для себя, а также достаточной пользой для Афин, что, несомненно, так и было бы, - если бы он смог вдохновить любого молодого афинянина душой и способностями своего друга и товарища Перикласа.

Платон настолько далек от того, чтобы считать софистов развратителями афинской морали, что в примечательном отрывке "Республики" он недвусмысленно протестует против этого предположения. Он говорит, что весь народ, или общество, с его устоявшейся моралью, интеллектом и тоном чувств, порочен по своей природе; учителя такого общества тоже должны быть порочны, иначе их учение не будет воспринято; и даже если бы их частное учение было хоть сколько-нибудь хорошим, его эффект был бы смыт, за исключением нескольких привилегированных натур, всепоглощающим потоком пагубных социальных влияний.[619] Пусть никто не думает, как это готовы понять современные читатели, что это язвительное порицание предназначено для Афин, пока еще демократических. Платон был не тем человеком, который проповедовал поклонение царю или богатству в качестве социального или политического средства: он решительно заявляет, что ни одно из существовавших тогда обществ не было таким, чтобы в нем могла активно действовать истинно философская натура.[620] Одних этих отрывков было бы достаточно, чтобы опровергнуть утверждения тех, кто осуждает софистов как отравителей афинской морали, опираясь на якобы авторитет Платона.

Не более верно и то, что они были людьми слова и делали своих учеников не лучше, - обвинение, столь же яростно выдвигаемое против Сократеса, как и против софистов, - и теми же врагами, такими как Анит,[621] Аристофан, Эвполис и т. д. Именно от софистов, подобных Гиппию, афинская молодежь научилась тому, что знала о геометрии, астрономии и арифметике: но круг так называемых специальных наук, которыми владел даже учитель, был в то время очень ограничен, и предмет обучения выражался под общим названием "Слова, или рассуждения", которым софисты всегда учили в связи с мыслью и в связи с практическим применением. Способности мыслить, говорить и действовать греки вообще считали связанными, а такие учителя, как Исократес и Квинтилиан, особенно; и когда молодые люди в Греции, как беотиец Проксен, отдавали себя в обучение Горгиасу или другому софисту, это делалось для того, чтобы они могли не только говорить, но и действовать[622].

Большинство учеников софистов, как и сам Сократес[623], были молодыми людьми с достатком; факт, над которым усмехается Платон, а другие подражают ему, как будто это доказывает, что они заботились только о высокой оплате. Но я без колебаний становлюсь на сторону Исократеса[624] и утверждаю, что софисту самому было что терять, развращая своих учеников, - аргумент, использованный Сократесом в защиту себя перед дикастерией,

и столь же веский в защиту Протагора или Продика[625], - и сильная личная заинтересованность в том, чтобы отправить их в жизнь совершенными и добродетельными; Что юноши, получившие наилучшее образование, были, несомненно, наиболее свободны от преступлений и наиболее активны в отношении добра; что среди ценных идей и чувств, которые молодой афинянин имел в своем уме, а также среди хороших занятий, которым он следовал, те, которым он научился у софистов, считались едва ли не лучшими; что, если бы дело обстояло иначе, отцы не продолжали бы так посылать своих сыновей и платить им деньги. Дело не только том, что эти учителя отчасти противостояли соблазнам рассеянного времяпрепровождения, но и в том, что они лично не были обеспокоены язвительной клеветой и партийной войной в его родном городе; что темы, с которыми они его знакомили, были общими интересами и обязанностями людей и граждан; что они развивали зачатки морали в древних легендах, как в басне Продика, и усиливали в его сознании все неопределенное скопление ассоциаций, связанных с великими словами морали; Что они оживили в нем чувство общеэллинского братства; что, обучая его искусству убеждения,[626] они не могли не заставить его почувствовать зависимость, в которой он находился по отношению к тем, кого нужно было убедить, и необходимость так вести себя, чтобы примирить их добрую волю.

Намеки Платона на восторженный прием, который Протагор, Продик и другие софисты[627] встречали в различных городах; описание, которое мы читаем в диалоге "Протагор", о нетерпении юноши Гиппократеса, услышавшего о прибытии этого софиста, до такой степени, что он будит Сократеса еще до рассвета, чтобы получить представление о новоприбывшем и извлечь выгоду из его учения; Готовность таких богатых молодых людей платить деньги, тратить время и хлопоты ради приобретения личного превосходства, не зависящего от их богатства и положения; пыл, с которым Каллиас изображает свой дом для гостеприимных развлечений, а свое состояние - для помощи софистам; все это производит на меня впечатление, прямо противоположное той ироничной и презрительной фразеологии, с которой это излагает Платон. Таким софистам нечего было рекомендовать, кроме превосходных знаний и интеллектуальной силы в сочетании с импозантной личностью, проявлявшейся в их лекциях и беседах. Именно этим и было вызвано восхищение; и тот факт, что это было так, заставляет увидеть лучшие атрибуты греческого, особенно афинского ума. В нем проявляются те качества, которыми так хвастался Периклес в своей знаменитой погребальной оратории;[628] представление о публичной речи как о практической вещи, не предназначенной для оправдания бездействия, но сочетающейся с энергичными действиями, и обращение ее на пользу путем полного и открытого обсуждения заранее; глубокая чувствительность к очарованию проявленного интеллекта, не ослабляющая силы исполнения или выносливости. Конечно, такой человек, как Протагор, прибыв в город со всем этим шлейфом восхищения, должен был очень мало знать о своих собственных интересах и положении, если он начал проповедовать низкую или развращенную мораль. Если в целом верно, как заметил Вольтер, что "любой человек, пришедший проповедовать расслабленную мораль, был бы заклеимен", то тем более это верно в отношении такого софиста, как Протагор, прибывшего в чужой город со всем престижем великого интеллектуального имени и с пылающим воображением молодежи, желающей услышать и пообщаться с ним, что любое подобное учение сразу же разрушит его репутацию. Множество учителей заработали себе репутацию, насаждая чрезмерный аскетизм; трудно найти пример успеха в противоположном направлении.

ГЛАВА LXVIII. СОКРАТЫ.

То, что профессиональные учителя, называемые софистами, в Греции были интеллектуальными и моральными развратителями, и что под влиянием их учения в афинских умах выросло много коррупции, - это распространенные утверждения, которые я постарался показать как ошибочные. С этими утверждениями корреспондирует другое, которое представляет Сократеса как человека, чьей особой заслугой было спасение афинского ума от такого деморализующего влияния; репутация, которую он не заслуживает и не требует. В целом, благоприятная интерпретация доказательств, проявляемая по отношению к Сократесу, была не менее заметна, чем резкость предположений по отношению к софистам. Однако в последнее время некоторые авторы относятся к его истории в измененном духе и проявляют склонность опустить его до уровня, который они считают софистическим. Трактат М. Форххаммера: "Афиняне и Сократес, или Законное дело против революции" идет еще дальше и уверенно утверждает, что Сократес был справедливо осужден как еретик, предатель и развратитель молодежи. Его книга, выводы которой я полностью отвергаю, является своего рода возмездием софистам, поскольку распространяет на их предполагаемого противника тот же горький и несправедливый дух построения, под которым они так долго несправедливо страдали. Но когда мы беспристрастно рассмотрим доказательства, окажется, что Сократес заслуживает нашего восхищения и уважения; не как антисофист, но как сочетающий в себе качества хорошего человека, силу характера и оригинальность рассуждений, а также метода, и силу интеллектуальной работы на других, в целом отличную от силы любого профессионального учителя, не имеющую аналогов ни среди современников, ни среди преемников.

Жизнь Сократеса длится семьдесят лет, с 469 по 399 год до н. э. Его отец, Софрониск, был скульптором, сын начал с той же профессии, в которой он достиг достаточного мастерства, чтобы выполнить различные работы; особенно драпированная группа Харит, или Граций, сохранившаяся в акрополе, и показанная как его работа вплоть до времен Павсания. [Его мать, Фенаретка, была повитухой, и у него был брат по материнской линии по имени Патроклес. 630] Что касается его жены Ксантиппы и трех сыновей, то в историю вошел только буйный нрав первой и терпение ее мужа, который терпел его. Положение и семья Сократеса, не будучи абсолютно бедными, были скромными и неважными, но он был истинно аттическим, принадлежа к древнему роду Dædalidæ, который получил свое название от Дейдала, мифического художника-прародителя.

Личные качества Сократеса, с другой стороны, были отмечены и отличались не только телом, но и умом. Его физическое телосложение было здоровым, крепким и выносливым в необычайной степени. Он был не просто силен и активен, как гоплит на военной службе, но способен переносить усталость и лишения, равнодушен к жаре и холоду, что поражало всех его спутников. Он ходил босиком во все времена года, даже во время зимней кампании в Потидее, при сильных морозах во Фракии; и одной и той же домашней одежды ему хватало как для зимы, так и для лета. Хотя его рацион был привычно прост и воздержан, все же бывали случаи, религиозные праздники или дружеские поздравления, когда каждый грек считал веселье и снисходительность уместными. В таких случаях Сократес мог выпить больше вина, чем любой присутствующий гость, но при этом не был подавлен или опьянен. [631] Он принципиально воздерживался от любых экстремальных гимнастических упражнений, которые требовали, как необходимое условие, чрезвычайного изобилия

пищи.[632] Он исповедовал цель ограничить, насколько возможно, количество своих желаний, как отдаленное приближение к совершенству богов, которые ничего не хотели, контролировать те, которые были естественными, и предотвращать умножение тех, которые были искусственными.[633] Не может быть никаких сомнений в том, что его восхитительный телесный темперамент в значительной степени способствовал достижению такой цели и помогал ему в поддержании того самообладания, удовлетворенной самодостаточности и независимости от благосклонности[634], а также враждебности других, которые были необходимы для его плана интеллектуальной жизни. Его друзья, которые сообщают нам о его большой телесной силе и выносливости, в то же время полны насмешек над его уродливой физиономией; его плоский нос, толстые губы и выдающиеся глаза, как у сатира или силена.[Мы также не можем безоговорочно доверять свидетельствам таких восхищенных очевидцев об отсутствии у философа недостатков нрава; ведь есть веские доказательства того, что он был от природы вспыльчивым; этот недостаток он обычно держал под строгим контролем, но время от времени предавался большим неуместностям в языке и поведении][636].

Из этих друзей нам наиболее известны Ксенофонт и Платон, хотя в древности существовали различные диалоги, составленные другими слушателями Сократеса, касающиеся его бесед и учения, и все они теперь утрачены.[637] "Меморабилии" Ксенофонта, как утверждается, записывают реальные беседы Сократеса и подготовлены с объявленной целью оправдать его против обвинений Мелета и других его обвинителей на суде, а также против неблагоприятных мнений, по-видимому, широко распространенных в отношении его характера и целей. Таким образом, мы имеем в нем своего рода частичную биографию, подлежащую таким вычетам из ее доказательной силы, которые могут потребоваться в связи с несовершенством памяти, намеренным украшательством и пристрастностью. С другой стороны, цель Платона в многочисленных диалогах, где он вводит Сократеса, не столь ясна и объясняется разными комментаторами совершенно по-разному. Платон был великим спекулятивным гением, который пришел к формированию собственных мнений, отличных от мнений Сократеса, и использовал имя последнего в качестве выразителя этих мнений в различных диалогах. Сколько в платоническом Сократесе можно с уверенностью принять как изображение человека или как запись его мнений, - сколько, с другой стороны, следует рассматривать как платонизм; или в каких пропорциях они смешиваются, - этот вопрос не может быть решен с уверенностью или строгостью. Апология Сократа", "Критон" и "Федон" - в той мере, в какой они являются моральными картинами и не зависят от доктрин, которые в них пропагандируются, - по-видимому, относятся к первой категории; В то время как политические и социальные взгляды "Республики" и трактата "De Legibus", космические теории в "Тимее" и гипотеза об Идеях как субстанциональных существованиях, отличных от феноменального мира, в различных диалогах, где бы она ни высказывалась, безусловно, относятся ко второй категории. Из этических диалогов многое можно, вероятно, принять за Сократа, в большей или меньшей степени платонизированного.

Но хотя мнения, вложенные Платоном в уста Сократеса, могут быть во многом неопределенными, мы, к нашему большому удовлетворению, обнаруживаем, что изображения, данные Платоном и Ксенофонтом их общему господину, в основном согласуются; они отличаются только тем, что взяты из одного и того же оригинала двумя авторами, радикально различными по духу и характеру. Ксенофонт, человек действия, подробно излагает те беседы Сократеса, которые имели отношение к практическому поведению и были рассчитаны на исправление пороков или немощей в конкретных людях; это тот вопрос, который служил его цели как апологета, в то же время отвечая его интеллектуальному вкусу. Но он, тем не менее, очень ясно намекает, что беседы Сократеса

часто, даже обычно, носили более негативный, аналитический и обобщающий характер;[\[638\]](#) они не предназначались для обличения положительных или особых недостатков, но пробуждали любознательные способности и вели к рациональному постижению порока и добродетели как относящихся к определенным общим принципам. Эта последняя сторона физиогномики мастера, которую Ксенофонт описывает отчетливо, хотя и без акцента и развития, приобретает почти исключительное значение в платоновской картине. Платон оставляет в стороне практического и посвящает себя теоретическому Сократесу, которого он частично лишает своей индивидуальности, чтобы зачислить его в качестве главного оратора в некоторые большие теоретические воззрения своего собственного. Таким образом, эти две картины не противоречат друг другу, но взаимно восполняют недостатки друг друга и могут быть объединены в одно целое. Что же касается метода Сократеса - момента более характерного, чем его наставления или теория, - а также влияния этого метода на умы слушателей, то и Ксенофонт, и Платон - свидетели, по сути, единоклубны: хотя и здесь последний сделал метод своим, разработал его в масштабе расширения и совершенствования и придал ему постоянство, которое он никогда не мог получить от своего первоначального автора, который только говорил и никогда не писал. Удачно, что два наших главных свидетеля о нем, оба говорящие из личного опыта, согласны в такой степени.

Оба одинаково описывают его личную жизнь и привычки; его довольную бедность, справедливость, умеренность в самом широком смысле этого слова и самодостаточную независимость характера. По большинству этих пунктов Аристофан и другие комические писатели, насколько их свидетельства имеют значение, выступают в качестве подтверждающих свидетелей; ведь они изобилуют шутками по поводу грубой пищи, ветхой и скудной одежды, босых ног, бледного лица, бедной и безрадостной жизни Сократеса. [Об обстоятельствах его жизни мы почти ничего не знаем: он служил гоплитом в Потидее, в Делиуме и в Амфиполе, и во всех случаях заслужил доверие, хотя преувеличенные похвалы со стороны его друзей вызвали столь же преувеличенный скептицизм со стороны Афиня и других. Он, кажется, никогда не занимал никаких политических должностей до 406 года до н. э., когда произошла битва при Аргинусе; в этом году он был членом сената пятисот и одним из пританов в тот памятный день, когда предложение Калликсена против шести генералов было представлено общественному собранию: о его решительном отказе, несмотря на все личные опасности, поставить на голосование неконституционный вопрос, уже говорилось. О том, что на протяжении всей своей долгой жизни он строго соблюдал законы, свидетельствует тот факт, что ни один из его многочисленных врагов ни разу не предстал перед судом: можно с уверенностью утверждать, что он выполнял все обязанности честного человека и храброго, а также благочестивого гражданина. Его друзья особенно подчеркивают его благочестие, то есть точное выполнение всех религиозных обязанностей, которые считались возложенными на афинянина[\[641\]](#).

Хотя эти моменты необходимо установить, чтобы мы могли правильно истолковать характер Сократеса, но не благодаря им он занял свое выдающееся место в истории. Его отличают три особенности. 1. Его долгая жизнь прошла в сытой бедности и публичной, апостольской диалектике. 2. Его сильное религиозное убеждение или вера в то, что он действует под миссией и знаменами богов; особенно его деймон, или гений, особое религиозное предупреждение, объектом которого он часто считал себя. 3. Его большая интеллектуальная оригинальность, как в отношении предмета, так и метода, и его способность возбуждать и заставлять зарождаться в других зародыш исследования и разума. Хотя эти три характеристики настолько смешались в Сократесе, что нелегко рассматривать их по

отдельности; тем не менее, в каждом отношении он отличался от всех греческих философов до и после него.

В какое время Сократес отказался от профессии скульптора, мы не знаем; но несомненно, что вся средняя и поздняя часть его жизни, по крайней мере, была посвящена исключительно самозабвенной работе учителя, исключая все другие дела, государственные или частные, и пренебрегая всеми средствами к существованию. Мы едва ли можем не говорить о нем как об учителе, хотя он сам отвергал это звание:[642] его занятием были разговоры, или беседы, или *болтовня без конца*, [643] если перевести уничижительное слово, которым враги философии называли диалектическую беседу. Рано утром он часто посещал общественные прогулки, гимназии для тренировки тела и школы, где обучалась молодежь: его можно было увидеть на рыночной площади в час наибольшего скопления людей, среди киосков и столов, где выставлялись товары на продажу: весь его день обычно проходил в этой публичной манере. [644] Он беседовал с любым, молодым или старым, богатым или бедным, кто хотел обратиться к нему, и со всеми, кто предпочитал стоять в стороне: он не только никогда не просил и не получал вознаграждения, но и не делал различий между людьми, никогда не уклонялся от беседы ни с кем и говорил со всеми на одни и те же общие темы. Он беседовал с политиками, софистами, военными, ремесленниками, честолюбивыми или учеными юношами и т. д. Он посещал всех интересных людей в городе, мужчин и женщин: его дружба с Аспазией хорошо известна, а одна из самых интересных глав [645] "Меморабилий" Ксенофонта повествует о его посещении и диалоге с Теодотеей, прекрасной гетерой, или женской спутницей. Ничто не могло быть более публичным, постоянным и беспорядочным в отношении лиц, чем его беседа. Но поскольку слушать его было увлекательно, любопытно и поучительно, некоторые люди взяли за правило сопровождать его на публике в качестве спутников и слушателей. Этих людей, непостоянного состава, обычно называли его учениками, или учеными; хотя ни он сам, ни его личные друзья никогда не использовали термины "*учитель*" и "*ученик*" для описания отношений между ними. [646] Многие из них, привлеченные его репутацией, в последние годы его жизни, приезжали из других греческих городов: Мегары, Фив, Элиса, Киренаики и т. д.

Ни один другой человек в Афинах или в любом другом греческом городе, похоже, никогда не проявлял себя таким постоянным и неизбирательным образом в качестве публичного оратора для обучения. Все учителя либо брали деньги за свои уроки, либо, по крайней мере, давали их отдельно от толпы, в частном доме или саду, особым ученикам, принимая и отвергая их по своему усмотрению. Благодаря своеобразному образу жизни, который вел Сократес, его беседы не только доходили до умов гораздо более широкого круга людей, но и он сам становился более известным как личность. Приобретая несколько преданных друзей и поклонников и вызвав определенный интеллектуальный интерес у других, он в то же время вызвал большое количество личных врагов. Вероятно, именно поэтому Аристофан и другие комики выбрали его для нападок в качестве общего представителя философского и риторического учения; тем более что его выразительная и отталкивающая физиономия так хорошо имитировалась в маске, которую надевал актер. Зрители в театре охотнее узнали бы своеобразную фигуру, которую они привыкли видеть каждый день на рыночной площади, чем если бы на сцену вывели Продика или Протагора, которых большинство из них не знали в лицо; да и для них или для Аристофана не имело особого значения, был ли Сократес представлен как преподаватель того, чему он действительно учил, или чего-то совершенно иного.

Эта крайняя публичность жизни и общения была одной из характерных черт Сократеса, отличавших его от всех учителей как до, так и после него. Далее, он был убежден в особой религиозной миссии, запретах, побуждениях и сообщениях, посылаемых ему богами. Если взять веру в такое сверхъестественное вмешательство в целом, то она действительно ни в коей мере не была свойственна Сократесу: это была обычная вера древнего мира; настолько, что на попытки вывести явления на общие законы смотрели с некоторым неодобрением, как на косвенное отбрасывание этой веры. И Ксенофонт[647], соответственно, пользуется этим общим фактом, отвечая на обвинение в религиозном новаторстве, в котором был уличен его учитель, чтобы утверждать, что последний не претендовал ни на что сверх того, что входило в вероучение каждого благочестивого человека. Но это не совсем точное изложение обсуждаемого вопроса; ведь оно если не отрицает, то по крайней мере принижает ту особенность вдохновения от богов, в которую верили те, кто беседовал с Сократесом - как мы узнаем даже от Ксенофонта, - и в которую верил и сам Сократес.[648] Совсем иным является его собственное представление, изложенное в ходе защиты перед дикастерием. Он с детства привык постоянно слышать божественный голос, вмешивающийся в моменты, когда он собирался действовать, в виде запрета, но никогда - в виде подстрекательства. Такое запрещающее предупреждение часто приходило к нему не только в больших, но даже в малых случаях, прерывая то, что он собирался сделать или сказать.[649] Хотя более поздние авторы говорят об этом как о деймоне или гении Сократеса, сам он не персонифицирует его, а рассматривает просто как "божественный знак, пророческий или сверхъестественный голос". "Он привык не только беспрекословно повиноваться ему, но и говорить о нем публично и знакомо другим, так что этот факт был хорошо известен и его друзьям, и его врагам. Оно всегда запрещало ему вступать в общественную жизнь; оно запрещало ему, когда над ним висело обвинительное заключение, думать о подготовленной защите;[651] и так полно он шел с сознанием этой узды во рту, что, когда он не чувствовал никаких ограничений, он полагал, что поворот, который он собирался сделать, был правильным. Хотя его убежденность в этом вопросе была, несомненно, искренней, а послушание - неизменным, сам он никогда не говорил об этом как о чем-то великом, ужасном или дающем право на особое почтение; но часто говорил об этом в своей обычной манере привычной игривости. Для его друзей в целом это, похоже, было одним из его титулов, достойных почитания, хотя ни Платон, ни Ксенофонт не стеснялись говорить об этом в той шутиливой манере, которую они, несомненно, переняли от него самого.[652] Но для его врагов и афинской публики это выглядело в свете оскорбительной ереси, нечестивого новшества в ортодоксальном вероучении и дезертирства от признанных афинских богов.

Таков был деймон или гений Сократеса, как он сам его описывал и как он был представлен в подлинных платоновских диалогах; голос, всегда запрещающий и относящийся исключительно к его личному поведению.[653] То, что Плутарх и другие поклонники Сократеса считали деймоном, или промежуточным существом между богами и людьми, отцы христианской церкви рассматривали как дьявола; ЛеКлерк - как одного из падших ангелов; некоторые другие современные комментаторы - как просто ироническую фразеологию самого Сократеса.[654] Не берясь решать вопрос, поднятый в первых гипотезах, я считаю, что последняя не соответствует действительности, и что убежденность Сократеса в этом вопросе была совершенно искренней. Обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание, но которое заслуживает особого внимания и о котором говорит он сам, заключается в том, что сдерживающий голос начал звучать еще в детстве и продолжался до конца его жизни: таким образом, он стал устоявшимся убеждением задолго до того, как он начал заниматься философией. Но хотя эта своеобразная форма вдохновения принадлежала исключительно ему, были и другие способы, с помощью которых он считал себя получившим

особый мандат богов, не просто проверявших его, когда он собирался свернуть с верного пути, но подстегивавших его, направлявших и императивно требовавших от него позитивного курса действий. Такая четкая миссия была навязана ему снами, оракулами и всеми другими средствами, которые боги использовали для обозначения своей особой воли[655].

Из этих прорицаний он особенно выделяет одно, в ответ на вопрос, заданный в Дельфах его близким другом и восторженным поклонником Херефоном. Вопрос заключался в том, был ли кто-либо другой мудрее Сократеса; на что пифийская жрица ответила, что никто другой не был мудрее.[656] Сократес утверждает, что он был сильно озадачен, услышав это заявление от столь непогрешимого авторитета, сознавая для себя, что он не обладает мудростью ни в одном вопросе, великом или малом. В конце концов, после долгих размышлений и мучительной душевной борьбы, он решил проверить точность непогрешимой жрицы, оценив мудрость других людей по сравнению со своей собственной. Выбрав одного из ведущих политиков, которого считали мудрым как другие, так и он сам, он начал беседовать с ним и задавать ему вопросы, ответы на которые убедили его в том, что мнимая мудрость этого человека на самом деле вовсе не мудрость. Сделав такое открытие, Сократес попытался доказать самому политику, как сильно тот хочет быть мудрым, но это оказалось невозможным: тот по-прежнему оставался в полной уверенности в собственной мудрости, как и прежде. "Результат, который я получил (говорит Сократес), заключался в том, что я был более мудрым человеком, чем он, поскольку ни он, ни я не знали ничего из того, что было действительно хорошим и почетным; но разница между нами заключалась в том, что он воображал, что знает их, в то время как я полностью осознавал свое невежество; таким образом, я был мудрее его, поскольку был свободен от этой основной ошибки". Таким образом, прорицание оказалось верным. Сократес последовательно повторил тот же эксперимент на множестве разных людей, особенно на тех, кто славился выдающимися способностями: сначала на политических деятелях и риторях, затем на поэтах всех мастей, художниках и ремесленниках. Результат его испытаний был практически одинаковым во всех случаях. Поэты, действительно, сочиняли великолепные стихи, но когда их спрашивали даже о словах, темах и целях их собственных сочинений, они не могли дать никаких последовательных или удовлетворительных объяснений; так что становилось очевидным, что они говорили или писали, подобно пророкам, как бессознательные субъекты под влиянием вдохновения. Более того, их успех как поэтов наполнял их возвышенным мнением о собственной мудрости и в других вопросах. Аналогично обстояло дело с художниками и ремесленниками; которые, будучи весьма образованными и давая удовлетворительные ответы каждый в своем конкретном деле, по этой причине были еще более убеждены в том, что они хорошо знают и другие великие и благородные предметы. Эта большая общая ошибка с лихвой перекрывала их специальные способности и в целом оставляла их менее мудрыми, чем Сократес"[657].

"Этим исследованием и проверкой (сказал Сократес, защищаясь) я занимался долгое время и занимаюсь до сих пор. Я допрашиваю каждого известного человека; я доказываю, что он не обладает мудростью; но я не могу доказать это так, чтобы он осознал этот недостаток. Выполнив возложенную на меня миссию, я тем самым доказал правдивость слов бога, который хотел сказать, что человеческая мудрость малодостижима и малоценна, и что тот, кто, подобно Сократесу, больше всего убежден в собственной никчемности, что касается мудрости, на самом деле является мудрейшим из людей.[Моя служба богу не только заставляла меня жить в постоянной бедности[659] и пренебрегать политической оценкой, но и навлекла на меня множество злейших врагов в лице тех, кого я проверял и разоблачал, в то время как сторонние наблюдатели говорили обо мне как о мудреце, потому что отдавали

мне должное за мудрость по всем пунктам, на которые опиралось мое разоблачение других."Каковы бы ни были опасность и злословие, которым я могу подвергнуться, было бы поистине чудовищно, если бы, сохранив свое место в рядах гоплитов под началом твоих генералов в Делиуме и Потидее, я теперь, под страхом смерти или чего-либо другого, ослушался оракула и оставил возложенную на меня богом обязанность жить для философии и подвергать сомнению как себя, так и других.[660] И если бы вы даже сейчас предложили оправдать меня при условии, что я откажусь от этой обязанности, я должен был бы сказать вам со всем уважением и любовью, что я скорее послушаюсь бога, чем вас, и что я буду до самой смерти упорно задавать вам перекрестные вопросы, разоблачать недостаток вашей мудрости и добродетели и обличать вас, пока этот недостаток не будет исправлен.[Моя миссия как вашего наблюдателя - знак особой благосклонности бога к вам; и если вы осудите меня, это будет вашей потерей, ибо другого такого вы не найдете.[662] Возможно, вы спросите меня: "Почему ты не можешь уйти, Сократес, и жить среди нас в мире и тишине? На этот вопрос мне труднее всего ответить тебе. Если я скажу тебе, что молчание с моей стороны было бы неповиновением богу, ты подумаешь, что я шучу, и не поверишь мне. Вы еще меньше поверите мне, если я скажу, что величайшее благословение, которое может случиться с человеком, - это ежедневно вести дискуссии о добродетели и других вопросах, которые вы слышите, как я обсуждаю, подвергая перекрестному допросу себя и других; и что жизнь без такого допроса - это вообще не жизнь. Тем не менее, факт остается фактом, каким бы невероятным он вам ни казался"[663].

Я привел довольно обширные выдержки из платоновской "Апологии", потому что никто не может представить себе характер Сократеса, не проникнувшись духом этого впечатляющего рассуждения. В них мы видим явное свидетельство той ярко выраженной сверхъестественной миссии, которую он считал своей обязанностью и которая не позволяла ему ни отдыхать, ни заниматься другими делами. Прорицательный ответ, принесенный Херефоном из Дельф, был фактом, имеющим гораздо большее значение в его истории, чем его так называемый деймон, о котором было сказано гораздо больше. Этот ответ, вместе со снами и другими божественными мандатами, совпадающими с той же целью, пришел к нему в середине его жизни, когда интеллектуальный человек сформировался и когда он уже приобрел репутацию мудрого среди тех, кто его знал. Он послужил стимулом, который привел в наиболее выраженное действие уже существовавшие в нем обобщающую диалектику и зеноновское отрицание, интеллектуальную жилу, с которой религиозный импульс редко вступает в связь. Без такого мотива, к которому его ум был особенно восприимчив, его беседа, вероятно, приняла бы тот же общий оборот, но, несомненно, была бы ограничена гораздо более узкими и осторожными рамками. Ведь ничто не могло быть более непопулярным и несносным, чем взятая им на себя задача перекрестного допроса и уличения в невежестве каждого выдающегося человека, к которому он мог подойти. Вражда, которую он иногда вызывал, была настолько сильной, что, как нам рассказывают, бывали случаи, когда его били или с ним плохо обращались,[664] и очень часто над ним смеялись. Хотя он вызывал восхищение слушателей, особенно молодых, и нескольких преданных приверженцев, одного лишь философского мотива было бы недостаточно, чтобы побудить его к систематическому и даже навязчивому перекрестному допросу, который он сделал делом своей жизни.

Такова вторая особенность, отличающая Сократеса, помимо его крайней публичности в жизни и неразборчивости в разговорах. Он был не просто философом, а религиозным миссионером, выполняющим работу философии; "elench tic, - или перекрестный допрос

бога, - если воспользоваться выражением, которое Платон вкладывает в свои уста в отношении элеатского философа, собирающегося исследовать и осудить немощных в разуме"[665] Ничего подобного не было ни у Парменидса и Анаксагора до него, ни у Платона и Аристотеля после него. Пифагор и Эмпедокл, правда, претендовали на сверхъестественные сообщения, смешанные с их философским учением. Но хотя между ними и Сократесом и прослеживается общая аналогия, способы проявления были настолько разными, что справедливое сравнение невозможно.

Третьей и самой важной характеристикой Сократеса - той, через которую действовали первая и вторая, - была его интеллектуальная особенность. Его влияние на спекулятивный ум его эпохи было заметным и важным; как в отношении предмета, так и в отношении метода и доктрины.

Он был первым, кто обратил свои мысли и дискуссии к теме этики. У предшествующих ему философов предметом изучения была природа, или Космос,[666] как единое неразличимое целое, объединяющее космогонию, астрономию, геометрию, физику, метафизику и т. д. Ионические и элеатские философы, Пифагор и Эмпедокл, все ставили перед собой эту обширную и неопределенную проблему; каждый создавал систему, соответствующую его собственным склонностям воображения: религиозным, поэтическим, научным или скептическим. Однако в соответствии с тем благородным стремлением к расширению знаний, которым был отмечен век, следующий за 480 годом до н. э., и продуктом и инструментом которого были профессиональные люди, называемые софистами, арифметика, геометрия и астрономия, насколько это было известно в то время, становились настолько отдельными науками, что преподавались молодежи отдельно. Таково, по-видимому, было состояние науки, когда Сократес получал образование. Он получил, по крайней мере, обычное образование:[667] в молодости он посвятил себя обществу и урокам физического философа Архелая,[668] ученика Анаксагора, которого он сопровождал из Афин на Самос; и есть даже основания полагать, что в начале своей жизни он много занимался тем, что тогда понималось как общее изучение природы.[669] Человек его серьезного и активного интеллекта, вероятно, сначала проявил свое любопытство как ученик: "бегать за чужими рассуждениями и выслеживать их, как лаконская гончая", если можно позаимствовать выражение, примененное к нему Платоном,[670] прежде чем он выделит какие-либо собственные новшества. А в диалоге Платона под названием "Парменид" Сократес предстает как юноша, полный рвения к обсуждению парменидовской теории, с благоговением взирающий на Парменида и Зенона и получающий от них наставления в процессе диалектического исследования. Я уже отмечал в предыдущей главе[671] содержание этого диалога как иллюстрацию того, как греческая философия даже на заре диалектики предстает одновременно как негативная и позитивная, признавая первую ветвь метода не менее, чем вторую, необходимой для достижения истины. Я рассматриваю это как указание на ранний ум Сократеса, который впитал это убеждение от древнего Парменида и зрелого и практичного Зенона и наложил на себя, как условие согласия с любой гипотезой или доктриной, обязанность добросовестно изложить все, что можно сказать против нее, не меньше, чем все, что можно сказать в ее пользу: каким бы трудоемким ни был такой процесс, и как бы мало он ни ценился толпой.[672] Как бы мало мы ни знали об обстоятельствах, сформировавших замечательный ум Сократеса, из этого диалога можно сделать вывод, что своей мощной негативной жилой диалектики он отчасти обязан "двуязычному и все возражающему Зенону"[673].

Для ума, требовавшего доказательств, физическая наука в том виде, в каком она существовала в то время, могла показаться не только неудовлетворительной, но и

безнадежной; и Сократес в зрелые годы своей жизни полностью покинул ее. Противоречивые гипотезы, которые он слышал, и непроницаемая путаница, нависшая над предметом, привели его даже к убеждению, что боги хотели, чтобы механизм, с помощью которого они приводят в действие астрономические и физические результаты, оставался неизвестным, и что нечестиво, как и бесполезно, лезть в их секреты.[674] Его учитель Архелай, хотя и занимался в основном физикой, также в большей или меньшей степени рассуждал на моральные темы: о справедливости и несправедливости, законах и т. д.; и, как говорят, придерживался постулата, что справедливость и несправедливость определяются законом или конвенцией, а не природой. Возможно, от него Сократес отчасти и обратил свой ум в этом направлении. Но для человека, разочаровавшегося в физике и имевшего в душе мощный, безработный и беспокойный диалектический импульс, простые реалии афинской жизни, даже без Архелая, предлагали человеческие отношения, обязанности, действия и страдания как самый интересный материал для размышлений и рассуждений. Сократес не мог зайти в общественное собрание, дикастерию или даже в театр, не услышав дискуссии о том, что справедливо или несправедливо, почетно или подло, целесообразно или вредно и т. д., и не задавшись вопросом, каково значение этих громких слов, которые противники спора часто произносили с одинаковым благоговейным доверием. Наряду с диалектической и обобщающей силой Сократеса, которая связывала его с такими умами, как Платон, существовал также энергичный практицизм, большой запас позитивного афинского опыта, которому Ксенофонт симпатизировал и который он изложил в своих "Меморабилии". Из этих двух интеллектуальных тенденций в сочетании с сильным религиозным чувством и состоит характер Сократеса; и все они были удовлетворены сразу, когда он посвятил себя назидательным допросам о правилах и целях человеческой жизни; от этого его тем более нельзя было отвлечь, что у него не было ни таланта, ни вкуса к публичным выступлениям.

Сократес первым провозгласил, что "надлежащим предметом изучения человечества является человек"[675]: он признавал безопасность и счастье человека и как единственную цель изучения, и как ограничительный принцип, которым оно должно быть ограничено. В нынешнем состоянии, которого достигла наука, нет ничего любопытнее, чем взглянуть на правила, которые установил этот выдающийся человек. Астрономия - в настоящее время демонстрирующая максимум совершенства, обладающая самой большой и точной способностью предсказывать будущие явления, которой когда-либо достигала человеческая наука, - была отнесена им к числу божественных тайн, которые невозможно понять и безумно исследовать, как глупо притворялся Анаксагор. Он признавал, правда, что есть польза в том, чтобы знать достаточно о движении небесных тел, чтобы служить указателем смены времен года и руководством для путешествий, поездок по суше или ночных часов: но столько, говорил он, можно легко получить от лоцманов и сторожей, тогда как все остальное - лишь пустая трата драгоценного времени, истощение тех умственных усилий, которые следовало бы приложить к выгодным приобретениям. Он свел геометрию к ее буквальному значению измерения земли, необходимому настолько, чтобы позволить любому человеку правильно действовать при покупке, продаже или разделе земли, что любой человек с обычным вниманием может сделать почти без учителя; но глупому и бесполезному, если выйти за рамки изучения сложных диаграмм.[676] Относительно арифметики он дал такое же квалифицированное разрешение на изучение; но что касается общей физики, или изучения природы, он отбросил ее полностью: "Неужели эти любознательные люди (спрашивал он) думают, что они уже достаточно хорошо разбираются в человеческих делах, чтобы таким образом начать вмешиваться в божественные? Думают ли они, что смогут по своему желанию возбуждать или успокаивать ветры и дожди, или у них нет иной цели, кроме удовлетворения праздного любопытства? Конечно, они должны понимать, что подобные

вопросы не поддаются человеческому исследованию. Пусть только вспомнят, как сильно величайшие люди, пытавшиеся исследовать эти вопросы, расходятся в своих предполагаемых результатах, придерживаясь мнений, крайних и противоположных друг другу, как безумцы!" Таков был взгляд Сократеса на физическую науку и ее перспективы.[677] Это тот самый скептицизм по существу и в еще большей степени, хотя и с религиозной окраской, за который Риттер и другие так сурово порицают Горгия. Но если взглянуть на ситуацию в 440-430 гг. до н. э., это не должно вызывать ни удивления, ни тем более порицания. Для остроумного человека того времени физическая наука в том виде, в каком она изучалась тогда, вполне может быть признана не обещающей никаких результатов и даже казаться хуже, чем бесплодной, если он, подобно Сократесу, остро воспринимал, как много человеческого счастья было потеряно из-за безнравственности и порочного невежества; как много можно было бы получить, посвятив такое же количество серьезных исследований этому последнему объекту. Нельзя также не отметить, что возражение Сократеса: "О том, насколько невыгодны эти занятия, можно судить по тому, как сильно студенты расходятся между собой", остается в большом ходу и по сей день, и его можно постоянно видеть используемым против теоретиков или теоретических аргументов в каждом отделе.

Сократес хотел ограничить изучение своих слушателей *человеческими* вопросами, в отличие от *божественных*, которые включают в себя астрономию и физику. Он смотрел на все знания с точки зрения человеческой практики, которая была отведена богами человеку в качестве надлежащего предмета для изучения и познания и в отношении которой, таким образом, они управляли всеми текущими явлениями на основе принципов постоянной и понятной последовательности, так что каждый, кто решил учиться, мог учиться, в то время как те, кто не принимал таких усилий, страдали за свое пренебрежение. Однако даже в этом случае самого тщательного изучения было недостаточно; ведь боги не снизошли до того, чтобы подчинить все явления постоянному предшествованию и следствию, но оставили за собой главные повороты и развязки для особого приговора".[678] Однако и в этом случае, если бы человек прилежно изучал все, что боги разрешили изучить, и если бы, кроме того, он был усерден в благочестивом суде перед ними и в обращении за особыми сведениями путем пророчества, они были бы милостивы к нему и заранее дали бы понять, как они намерены действовать, чтобы поставить окончательную точку и разрешить неразрешимые части проблемы.[Доброта богов, отвечающих через своих оракулов или посылающих информацию посредством жертвенных знамений или чудес в случаях серьезных затруднений, была, по мнению Сократеса, одним из самых ярких свидетельств их заботы о человеческом роде. 680] Искать доступ к этим пророчествам или указаниям на особое божественное вмешательство, которое должно произойти, было надлежащим дополнительным делом любого, кто сделал для себя столько, сколько можно было сделать путем терпеливого изучения.[Но как безумием было просить у богов особой информации по вопросам, которые они позволили ему узнать собственным усердием, так не меньшим безумием было исследовать в качестве ученика то, что они решили оставить в тайне по собственной воле[682].

Таково было капитальное нововведение, сделанное Сократесом в отношении предмета афинской науки, низводящее философию, по выражению Цицерона,[683] с небес на землю; такова же его попытка провести границу между тем, что поддается и не поддается научному познанию; попытка замечательная, поскольку она показывает его убеждение, что научная и религиозная точки зрения взаимно исключают друг друга, так что там, где начинается вторая, заканчивается первая. Это было новшество, неоценимое в отношении новой материи, которую оно впустило; малозначительное в отношении того, что оно, по его словам,

исключало. Ведь на самом деле физическая наука, хотя и была частично подавлена, никогда не была абсолютно исключена из-за преобладания того систематического неодобрения, которое он, как и многие в его время, испытывал: если она стала сравнительно пренебрежительной, то это произошло скорее из-за большей популярности и более обильной и доступной материи того, что он ввел. Физическая или астрономическая наука была узкой по объему, известной лишь немногим, и даже у этих немногих она не допускала расширения, оживления или использования в дискуссиях. Но моральные и политические явления, на которые Сократес обратил свет умозрения, были обильны, разнообразны, знакомы и интересны каждому; они включали в себя, если перевести греческую фразу, которую он любил цитировать, "все доброе и злое, что постигло вас в вашем доме";[684] связанные не только с реалиями настоящего, но и с литературой прошлого, через гномиков и других поэтов.

Мотивы, определившие это важное нововведение в отношении предмета изучения, показывают Сократеса прежде всего как религиозного человека и практичного, филантропического наставника, героя Ксенофонта. Его нововведения, не менее важные в отношении метода и доктрины, ставят перед нами философа и диалектика, другую сторону его характера, или платоновского героя; слабо прослеживаемую, правда, но все же узнаваемую и идентифицируемую Ксенофонтом.

"Сократес, - говорит последний,[685] - продолжал непрерывно обсуждать *человеческие дела* (смысл этого слова будет понятен из того, что было сказано выше, [стр. 420](#)); исследовал: Что такое благочестие? Что такое нечестие? Что есть благородное и низкое? Что такое справедливое и несправедливое? Что такое воздержанность или неразумие? Что такое мужество или трусость? Что такое город? Какой характер должен быть у горожанина? Что такое власть над людьми? Каким характером должен обладать человек, обладающий такой властью? и другие подобные вопросы. Людей, знающих эти вопросы, он считал хорошими и благородными; людей, не знающих их, он приравнивал к рабам".

Сократес, говорит Ксенофонт в другом отрывке, считал, что *диалектический процесс* состоит в том, чтобы, собравшись вместе и приняв общий совет, различать и распределять вещи по родам, или семействам, чтобы узнать, чем на самом деле является каждая отдельная вещь. Тщательное прохождение через этот процесс было необходимо, так как единственный способ позволить человеку регулировать свое поведение, нацеливаясь на хорошие объекты и избегая плохих. А чтобы быть настолько практичным, чтобы уметь делать это с легкостью, необходимо было сделать человека хорошим лидером или советником других. Каждый человек, который прошел через этот процесс и узнал, что такое каждая вещь, мог также, конечно, определить ее и объяснить другим; но если он не знал, неудивительно, что он ошибался сам и заставлял ошибаться других.[686] Более того, Аристотель говорит: "Сократесу мы, несомненно, можем приписать два новшества: индуктивные рассуждения и определения общих терминов"[687].

Я намеренно заимствую здесь слова Ксенофонта, а не Платона, поскольку первый, скромно описывая процесс, который он несовершенно оценил, тем более отождествляет его с реальным Sokratês, и, таким образом, является лучшим свидетелем, чем Платон, чей гений не только придумал, но и значительно расширил его в собственных дидактических целях. При нашем нынешнем уровне знаний требуется некоторое умственное усилие, чтобы увидеть что-то важное в словах Ксенофонта; настолько привычными для каждого студента стали обычные термины и градации логики и классификации, такие как род, определение,

отдельные вещи, входящие в род; что такое каждая вещь, и к какому роду она принадлежит, и т. д. Но как бы ни были привычны эти слова, они обозначают умственный процесс, о котором в 440-430 гг. до н. э. мало кто, кроме Сократеса, имел хоть какое-то осознанное представление. Конечно, люди представляли и описывали вещи по классам, как это следует из самой формы языка и привычного соединения предикатов с субъектами в обычной речи. Они ясно и убедительно объясняли свое значение в конкретных случаях: излагали максимы, аргументировали вопросы, излагали предпосылки и делали выводы в ходе судебных процессов в дикастерии или дебатов в собрании; у них была богатая поэтическая литература, которая апеллировала ко всем видам эмоций; они начинали составлять исторические повествования, перемежая их с размышлениями и критикой. Но хотя все это делалось, и часто восхитительно хорошо, не хватало того аналитического сознания, которое позволило бы любому человеку описать, объяснить или оправдать то, что он делает. Идеи людей - как говорящих, так и слушающих, как продуктивных умов, так и получателей - объединялись в группы, благоприятные скорее для эмоциональных результатов или для поэтического, риторического повествования и описательного эффекта, чем для методического обобщения, для научной концепции или для доказательства, индуктивного или дедуктивного. Тот рефлекторный акт внимания, который позволяет людям понимать, сравнивать и корректировать свой собственный умственный процесс, только начинался. Это было недавней новинкой со стороны учителей риторики - проанализировать составные части публичной речи и предложить несколько советов, как сделать человека сносным оратором. Протагор как раз излагал различные грамматические различия, а Продикус различал значения слов, почти равнозначных и могущих быть перепутанными. Все эти работы казались тогда настолько новыми^[688], что вызывали насмешки даже у Платона: однако они были ответвлениями той же аналитической тенденции, которую Сократес теперь перенес в научное исследование. Можно сомневаться, что кто-либо до него когда-либо использовал слова род и вид, первоначально означавшие семейство и форму, в том философском смысле, который теперь придается им исключительно. Не существовало тогда ни одного из тех многочисленных названий, называемых логиками *именами второго намерения*, которые подразумевают отдельное внимание к различным частям логического процесса и позволяют нам рассматривать и критиковать его в деталях. Все они выросли из школ Платона, Аристотеля и последующих философов, так что мы можем проследить их начало от общего корня и отца, Сократа.

Чтобы понять всю ценность усовершенствований, внесенных Сократесом, нам достаточно изучить интеллектуальные пути, пройденные его предшественниками или современниками. Он ставил перед собой четкие и конкретные проблемы: "Что такое справедливость? Что такое благочестие, мужество, политическое правление? Что есть то, что действительно обозначается такими великими и важными именами, имеющими отношение к поведению или счастью человека?" Уже отмечалось, что Анаксагор, Эмпедокл, Демокрит, пифагорейцы - все они все еще держали в уме те огромные и нерасчлененные проблемы, которые передавались от старых поэтов; они склоняли свои умы к изобретению какой-нибудь системы, которая объяснила бы их все сразу или помогла бы воображению представить, как Космос впервые зародился и как он продолжает двигаться дальше.^[689] Этика и физика, человек и природа были смешаны воедино; и пифагорейцы, объяснявшие всю природу числами и числовыми отношениями, применяли то же объяснение к моральным атрибутам, считая, что справедливость символизируется совершенным уравнением, или четверкой, первым из всех квадратных чисел. [Эти ранние философы пытались найти начала, составные элементы, движущую причину или причины вещей в массе;^[691] но логическое распределение на род, вид и индивиды, похоже, не приходило им в голову, и никто до Сократа не делал это предметом особого внимания. Изучать этику, или человеческие

склонности и цели, отдельно от физического мира и в соответствии со своей собственной теорией, ссылаясь на благо и счастье человека как на суверенную и всеобъемлющую цель;^[692] рассматривать каждое из великих и привычных слов, обозначающих моральные качества, как логическую совокупность, охватывающую множество суждений в конкретных случаях и подразумевающую определенную гармонию или последовательность цели среди отдельных суждений, приводить многие из этих последних в сравнение, посредством тщательного диалектического процесса, чтобы проверить последовательность и полноту логической совокупности или общего понятия, как оно стоит в сознании каждого человека: Все это было частью того же движения вперед, которое заложил Сократес.

В то время это был большой прогресс - разбить громоздкую массу, которую прежние философы считали наукой, и изучать этику отдельно, с более или менее отчетливой ссылкой на собственную цель. Если верить "Федону" Платона, то мы видим, что Сократес, прежде чем решиться на столь явное разделение, пытался построить или, по крайней мере, мечтал о неразделенной и реформированной системе, включающей физику также под этической целью; схему оптимистической физики, применяя общую идею "*Что лучше*" в качестве руководящего принципа, из которого должны быть выведены физические объяснения; которую он надеялся найти, но не нашел у Анаксагора. Но еще большим прогрессом было уловить и осознанно применить существенные черты того логического процесса, от правильного выполнения которого зависит вся наша уверенность в общей истине. Понятия рода, подчиненных родов и индивидов, подпадающих под них, - нам нет нужды обращать внимание на то, в чем Платон и Аристотель отличались друг от друга и от современных представлений по этому вопросу, - были в то время вновь введены в ясное сознание человеческого разума. Обилие логических распределений, используемых в некоторых диалогах Платона, таких как "Софист" и "Политик", отчасти объясняется его желанием познакомить слушателей с тем, что тогда было в новинку, а также расширить его развитие и разнообразить способ применения. Он использует многочисленные косвенные возможности, чтобы вывести ее на широкий свет, вкладывая в уста своих диалогистов ответы, подразумевающие полное невнимание к ней, разоблаченные затем в ходе диалога Сократесом.^[694] То, что было начато Сократесом и улучшено Платоном, было воплощено гением Аристотеля во всеобъемлющую систему формальной логики; система, которая не только имела исключительную ценность для процессов и споров своего времени, но и, незаметно внедрившись в умы образованных людей, внесла большой вклад в формирование правильных привычек современного мышления. Хотя сейчас она была расширена и переработана некоторыми современными авторами - особенно г-ном Джоном Стюартом Миллом в его книге "Привычки современного мышления". Джон Стюарт Милль в своей восхитительной "Системе логики" - в структуру, соизмеримую с огромным ростом знаний и расширением позитивного метода, принадлежащего сегодняшнему дню, мы должны помнить, что расстояние между лучшей современной логикой и логикой Аристотеля едва ли так велико, как между Аристотелем и теми, кто предшествовал ему на столетие, Эмпедоклом, Анаксагором и пифагорейцами; и что движение вперед этих последних начинается с Сократеса.

У Ксенофонта, Платона и Аристотеля рост и привычное использование логической классификации представлены как одновременные и зависимые от диалектики. В этой методичной дискуссии, так гармонирующей с выраженной общительностью греческого характера, быстрое повторение коротких вопросов и ответов было необходимо для стимулирования внимания, в то время, когда привычка к тщательному и точному размышлению над абстрактными предметами была так мало

развита. Но диалектика Сократеса имела гораздо больше и более важные особенности, чем эта. Мы всегда должны рассматривать его метод в сочетании с предметами, к которым он его применял. Поскольку эти предметы не были какими-то необычными или специальными, а касались практической жизни дома, рынка, города, дикастерии, гимназии или храма, с которой каждый был знаком, Сократес никогда не представлял себя ни учителем, ни человеком, обладающим новыми знаниями, которые он должен сообщить. Напротив, он единодушно и даже демонстративно открещивался от подобных притязаний. Но предметы, на которые он говорил, были как раз теми, которые каждый исповедовал, что знает в совершенстве и досконально, и по которым каждый считал себя в состоянии наставлять других, а не требовать наставлений для себя. На такие вопросы, как: Что такое справедливость? Что такое благочестие? Что такое демократия? Что такое закон? Каждый считал, что может с уверенностью высказать свое мнение, и даже удивлялся, что кто-то другой испытывает затруднения. Когда Сократес, признаваясь в своем невежестве, задавал какой-нибудь подобный вопрос, он без труда получал ответ, сказанный от руки и без особых раздумий. Ответ претендовал на объяснение или определение термина, действительно знакомого, но имеющего широкое и всеобъемлющее значение, который был дан человеком, никогда прежде не пытавшимся дать себе отчет в том, что он означает. Получив такой ответ, Сократес задавал новые вопросы, применяя его к конкретным случаям, на которые респондент был вынужден давать ответы, не согласующиеся с первыми; таким образом показывалось, что определение либо слишком узкое, либо слишком широкое, либо дефектное в каком-то существенном условии. Тогда ответчик исправлял свой ответ, но это было прелюдией к другим вопросам, на которые можно было ответить только так, чтобы они не соответствовали поправке; и ответчик, после многих попыток распутаться, был вынужден признать себя виновным в несоответствии, признав, что он не может дать удовлетворительный ответ на первоначальный вопрос, который сначала казался таким простым и знакомым. Или, если он сам не признал этого, то слушатели, по крайней мере, почувствовали это со всей силой. Диалог в том виде, в каком он нам представлен, обычно заканчивается чисто отрицательным результатом, доказывающим, что респондент был неспособен ответить на предложенный ему вопрос последовательно и удовлетворительно даже для самого себя. Сократес, как он с самого начала заявлял, что у него нет положительной теории, так и до конца сохраняет ту же атмосферу ученика, который был бы рад разрешить трудность, если бы мог, но с сожалением обнаруживает, что разочаровался в том наставлении, которое обещал ответчик.

Из этого описания пути перекрестного допроса этого замечательного человека мы видим, насколько тесной была связь между диалектическим методом и логическим распределением частных на виды и роды. Дискуссия, которую первым затеял Сократес, касается значения какого-то большого родового термина, а вопросы, которыми он сопровождает ее, приводят ответ в столкновение с различными частностями, которые он не должен понимать, но понимает; или с другими, которые он должен понимать, но не понимает. Именно таким образом в скрытое и неопределенное скопление ассоциаций, выросшее вокруг знакомого термина, как бы проникает бродильная закваска, заставляя его разрастаться на различные части и превращая соответствующую функцию, которую термин должен выполнять, в предмет отчетливого сознания. Несоответствия, в которые впадает слушатель в различных ответах, возвещают ему о том, что он еще не приобрел ничего похожего на ясное и полное представление об общем атрибуте, связывающем воедино различные частности, охватываемые каким-либо термином, который постоянно звучит из его уст; или, возможно, позволяют ему обнаружить другой факт, не менее важный - что такого общего атрибута не существует, и что обобщение является лишь номинальным и ошибочным. В любом случае, его направляют на путь мысли, который ведет к исправлению обобщения, и освещает его к тому, что Платон^[695] называет видеть единое во многих, а многие - в едином. Не имея предшественников, которых можно было бы копировать, Сократес как бы инстинктивно впал в то, что Аристотель^[696] называет двойным путем

диалектического процесса: разделение единого на многие и объединение многих в единое; Первую обязанность, одновременно первую и самую важную, Сократес выполнял непосредственно, задавая аналитические вопросы; вторую, или синтетический процесс, он не часто брал на себя напрямую, но старался так вооружить и стимулировать ум слушателя, чтобы тот мог сделать это сам. Этот и многие другие термины обозначают логическое распределение многообразных предметов под общими терминами, с ясным пониманием атрибутов, подразумеваемых или подразумеваемых каждым термином, чтобы различать те особенности, к которым он действительно относится. В тот момент, когда такое логическое распределение было еще в новинку как предмет сознания, оно вряд ли могло быть исследовано и изложено в сознании менее строгим способом, чем перекрестная диалектика Сократа, примененная к анализу некоторых попыток определения, поспешно сделанных респондентами; то "индуктивное рассуждение и поиск (ясных общих понятий или) определений общих терминов", которое Аристотель так справедливо отмечает как свое особое нововведение.

Я уже говорил о том, что Сократес придерживался этой системы бесед и допросов, руководствуясь убеждениями религиозной миссии. Вероятно, он начал ее неуверенно, скромных масштабах и под давлением логического смущения, тяготившего его собственный разум. Но по мере того как он продвигался вперед и находил себя успешным, а также приобретал репутацию среди определенного круга друзей, его искренняя душа все больше и больше проникалась преданностью тому, что он считал своим долгом. Вероятно, именно в это время его друг Херефон вернулся с прорицательным ответом из Дельф, о котором говорилось [несколькими страницами](#) выше и на который сам Сократес ссылается как на побудивший его расширить круг своих бесед и расспросить тех, к кому он раньше не решался обратиться, - известных политиков, поэтов и ремесленников. Он нашел их более уверенными в собственной мудрости, чем более скромные люди, но столь же неспособными ответить на его вопросы, не будучи вынужденными к противоречивым ответам.

В "Апологии Платона" такая проверка известных людей в Афинах занимает видное место, потому что она была главной причиной той непопулярности, о которой Сократес одновременно сетует и оправдывается перед дикастами. Нельзя сомневаться и в том, что это была самая впечатляющая часть его деятельности, как в глазах врагов, так и в глазах поклонников, а также самая лестная для его собственного природного темперамента. Тем не менее, было бы ошибкой представлять эту часть общей цели Сократеса - или его божественной миссии, если воспользоваться его собственным языком, - так, как будто это все; и описывать его как человека, выступающего вперед только для того, чтобы разоблачить избранных ведущих людей, политиков, софистов, поэтов или других, которые приобрели незаслуженную славу и надулись от глупого самомнения о своих способностях, будучи на самом деле мелкими и некомпетентными. Такое представление о Сократесе одновременно неадекватно и ошибочно. Его беседа, как я уже отмечал, была абсолютно универсальной и неизбирательной; а умственный дефект, который он стремился исправить, был вовсе не свойственен ведущим людям, а общим для них с массой человечества, хотя и кажется преувеличенным в них, отчасти потому, что от них ожидают большего, отчасти потому, что общее чувство самооценки стоит на более высоком уровне, естественно и обоснованно, в их груди, чем в груди обычных людей. Этот недостаток заключался в "кажущемся и мнимом знании без реальности" человеческой жизни с ее обязанностями, целями и условиями; знание, которое Сократес решительно называл "человеческой мудростью" и считал необходимым для достоинства свободного человека; другие же отрасли науки он считал выше уровня человека^[698] и отрезком любопытства, не только лишним, но и предвзятым. Его борьба против такого ложного убеждения о знании, как в одном человеке, так и в другом, на этих предметах - ибо с ним, повторяю, мы никогда не должны отделять метод от предмета - ясно обозначена даже у Ксенофонта, - обильно и поразительно иллюстрируется плодородным гением

Платона и составляет истинный миссионерский план, который пронизывает последнюю половину его долгой жизни; план гораздо более обширный, а также более щедрый, чем та антисофская полемика, которую столь многие авторы считают его главной целью.^[699]

Продолжая свою экспертизу, Сократес не нашел темы, на которой бы он чаще настаивал, чем на противопоставлении между состоянием знаний людей по общим вопросам жизни человека и общества и тем, чем владеют художники или профессионалы в своих специальных ремеслах. Он так постоянно воспроизводил это сравнение, что его враги обвиняли его в том, что оно износилось.^[700] Возьмите человека особого призвания - плотника, брадобрея, летчика, музыканта, хирурга - и спросите его о состоянии его профессиональных знаний, и вы увидите, что он в состоянии указать, от кого и какими путями он их приобрел: Он может описать вам свою общую цель, конкретные средства, которые он использует для ее достижения, а также причины, по которым эти средства должны быть использованы и почему должны быть приняты меры предосторожности для борьбы с такими-то и такими-то конкретными препятствиями: он может обучать своей профессии других: в вопросах, касающихся его профессии, он считается авторитетом, так что ни один непрофессиональный человек не думает оспаривать решение хирурга в случае болезни или лоцмана на море. Но если так обстоит дело с каждым особым искусством, то как велик контраст в отношении искусства праведной, социальной и полезной жизни, которая составляет или должна составлять общее дело, одинаково важное для всех и каждого! По этому поводу Сократес^[701] заметил, что каждый чувствует себя прекрасно осведомленным и уверенным в своих знаниях; однако никто не знает, от кого и каким путем он научился: никто никогда не посвящал особых размышлений ни целям, ни средствам, ни препятствиям: никто не может объяснить или дать последовательный отчет о понятиях, которые возникают в его собственном уме, когда ему задают соответствующие вопросы: Никто не мог научить другого, как можно было бы заключить, по его мнению, из того факта, что не было ни одного исповедуемого учителя и что сыновья лучших людей часто были лишены достоинств: каждый знал сам за себя и уверенно излагал общие положения, не надеясь на то, что кто-то другой знает лучше; однако не было конца разногласиям и спорам по конкретным делам.^[702]

Таков был общий контраст, который Сократес пытался внушить своим слушателям с помощью различных вопросов, прямо или косвенно связанных с ним. Один из способов представления, которому Платон посвятил большую часть своего гения, чтобы расширить его в диалоге, заключался в обсуждении того, действительно ли добродетель поддается обучению. Как получилось, что такие выдающиеся люди, как Аристидес и Периклес,^[703] приобрели выдающиеся качества, необходимые для руководства и управления Афинами, ведь они не учились им ни у одного известного мастера, как учились музыке и гимнастике, и не могли закрепить те же качества за своими сыновьями ни по собственному почину, ни по почину какого-либо мастера? Не является ли это скорее фактом, что добродетель, поскольку она никогда не преподавалась в явном виде, не поддавалась обучению, а давалась или не давалась по особой воле и милости богов? Если у человека есть молодая лошадь, которую нужно сломать или обучить, он без труда находит исповедующего дрессировщика, хорошо знакомого с повадками этой породы,^[704] чтобы передать животному требуемое совершенство; но кого он может найти, чтобы научить добродетели своих сыновей, с таким же предварительным знанием и гарантированным результатом? Да и как можно научить добродетели или утверждать, что добродетели можно научить, если не быть готовым объяснить, что такое добродетель и каковы точки сходства и различия между ее различными ветвями: справедливостью, воздержанностью, стойкостью, благоразумием и т. д.? В ряде платоновских диалогов обсуждение сводится к анализу этих последних слов: в "Лакхесе" и "Протагоре" - о мужестве, в "Чармиде" - о воздержанности, в "Евтифроне" - о святости.

В этих и подобных дискуссиях Сократ, а Платон, развивая своего учителя, косвенно поднимал все важные вопросы, касающиеся общества, человеческих стремлений и обязанностей, а также основных моральных качеств, которые считались добродетельными в отдельных людях. Как общие термины, на которых строилась его беседа, были одними из самых актуальных и привычных в языке, так и обильные примеры деталей, с помощью которых он проверял рациональное понимание и последовательное применение слушателем столь обширных терминов, были выбраны из наиболее известных явлений повседневной жизни;[705] при этом несоответствие, если оно и было, было очевидным для каждого. Ответы, которые давали ему не только простые граждане, но и люди талантливые и гениальные, такие как поэты или риторы, когда к ним обращались за разъяснением моральных терминов и идей, изложенных в их собственных сочинениях[706], в равной степени показывали то состояние ума, против которого был направлен его крестовый поход, предписанный и освященный дельфийским оракулом, - видимость и самомнение знания без реального знания. Они провозглашали уверенное, непоколебимое убеждение в величайших и серьезнейших вопросах, касающихся человека и общества, в груди людей, которые никогда не размышляли над ними настолько, чтобы понять, что они сопряжены с какими-либо трудностями. Такое убеждение росло постепенно и бессознательно, отчасти благодаря авторитетным сообщениям, отчасти путем неощутимого переливания от других; этот процесс начался еще до появления разума как способности, продолжался при незначительной помощи и без контроля со стороны разума и никогда не был окончательно пересмотрен. Вместе с великими терминами и актуальными предложениями, касающимися человеческой жизни и общества, из бесчисленных частных, каждая из которых по отдельности была тривиальна и терялась в памяти, возникла сложная ассоциация, связанная воедино мощным чувством и впитанная каждым человеком из атмосферы авторитетов и примеров, окружавших его. На этом основании и покоилось воображаемое знание; а разум, если к нему вообще обращались, выступал лишь в роли служанки, объяснителя или апологета существовавшего чувства; как соучастник после факта, а не как проверка или подтверждение. Каждый человек находил эти убеждения в своем собственном уме, не зная, как они там утвердились; и наблюдал их у других, как часть общего фонда непроверенных общих мест и доверия. Поскольку слова сразу имели большое значение, воплощались в старых и знакомых умственных процессах и были окружены мощным корпусом чувств, общие утверждения, в которых они воплощались, казались всем самоочевидными и внушительными: так что, несмотря на постоянные споры в конкретных случаях, никто не считал себя обязанным анализировать сами общие положения или размышлять, проверил ли он их значение и может ли применять их рационально и последовательно[707].

Явление, о котором здесь говорится, слишком очевидно даже в наши дни, чтобы нуждаться в дальнейшем разъяснении как факта. В морали, в политике, в политической экономии, на всех предметах, касающихся человека и общества, достаточно распространено подобное уверенное убеждение в знании без реальности: Подобное порождение и распространение авторитетом и примером непроверенных убеждений, опирающихся на сильные чувства, без осознания этапов и условий их роста; подобное привлечение разума в качестве одностороннего защитника заранее установленных чувств; подобная иллюзия, поскольку каждый человек знаком с языком, что поэтому каждый человек является хозяином сложных фактов, суждений и тенденций, связанных с его значением, и компетентен как применять обширные слова, так и предполагать истинность или ложность больших предложений, без какого-либо специального анализа или изучения.[708]

Однако следует отметить одно важное различие между нашим временем и временем Сократеса. В его время впечатления не только о человеке и обществе, но и о физическом мире носили тот же самопосевной, самораспространяющийся и ненаучный характер. Популярная астрономия эпохи Сократа представляла собой совокупность примитивных, поверхностных наблюдений и образных умозаключений, передававшихся без проверки от старших к младшим, принимавшихся с неподозрительной верой и освящавшихся сильными чувствами. Не только такие люди, как Никиас, Анит и Мелет, но даже сам Сократес, протестовали против дерзости Анаксагора, когда тот низвел божественных Гелиоса и Селена до солнца и луны с исчисляемыми движениями и величинами. Но теперь развитие научной точки зрения, с огромным ростом методизированных физических и математических знаний, показало каждому, что такие примитивные астрономические и физические убеждения были не более чем "фантазией знания без реальности"[709]. Каждый отказывается от них без колебаний, ищет свои выводы у научного учителя и обращается за гарантией только к доказательствам. Человек, который никогда не занимался астрономией, знает, что он невежественен в ней: воображать, что он знает ее, без такой подготовки, было бы абсурдом. В то время как научная точка зрения, таким образом, приобрела полное преобладание в отношении физического мира, она мало продвинулась в сравнении с темами, касающимися человека и общества, где "фантазия знания без реальности" продолжает господствовать, не без критики и оппозиции, но все же как первостепенная сила. И если бы новый Сократес сейчас задал те же вопросы на рынке людям всех рангов и профессий, он обнаружил бы такую же уверенную убежденность и ничего не подозревающий догматизм в отношении общих положений; такую же неуверенность, слепоту и противоречие, когда его проверяют перекрестным исследованием деталей.

Во времена Сократеса это последнее сравнение было недоступно, поскольку ни в одном из отделов не существовало научно оформленной доктрины: но сравнение, которое он действительно предпринял, заимствованное из специальных ремесел и профессий, привело его к важному результату. Он первым увидел, и эта идея пронизывает все его рассуждения, что как в каждом искусстве или профессии есть цель, которая должна быть достигнута, теория, излагающая средства и условия, при которых она достижима, и предписания, выведенные из этой теории, причем эти предписания в совокупности направляют и охватывают почти всю область практики, но каждое предписание в отдельности может противоречить другим, а значит, допускает случаи исключения; так и все это не менее верно или допускает не меньшую реализацию в отношении общего искусства человеческой жизни и общества. Существует великая и всеобъемлющая цель - безопасность и счастье, насколько это возможно, каждого и всех людей в обществе:[710] может существовать теория, излагающая те средства и условия, при которых можно приблизиться к этой цели: могут быть также предписания, предписывающие каждому человеку поведение и характер, которые наилучшим образом позволяют ему стать помощником в достижении этой цели, и настоятельно удерживающие его от действий, которые имеют тенденцию препятствовать этому; предписания, выведенные из теории, каждое из которых в отдельности быть подвержено исключениям, но все они в совокупности определяют практику, как в каждом конкретном искусстве.[Сократ и Платон говорят об "искусстве обращения с людьми", "искусстве поведения в обществе", "той науке, цель которой - сделать людей счастливыми": и они проводят заметное различие между искусством, или правилами практики, выведенными из теоретического исследования предмета и преподанными с предвидением цели, и простым бесхитростным, нерациональным умением, или ловкостью, приобретенной путем простого копирования, или усвоения, через процесс, которому никто не может дать отчета[712].

Платон, с характерным для него разнообразием косвенных намеков, постоянно заставляет читателя рассматривать человеческую и общественную жизнь как имеющую свои собственные цели и задачи не в меньшей степени, чем каждая отдельная профессия или ремесло; и побуждает

его перенести на первую тот сознательный анализ как науку и разумную практику как искусство, которые известны как условия успеха во второй.^[713] Именно в развитие этих рациональных концепций, "Наука и искусство", Сократес вел свой крестовый поход против "этого представления о знании без реальности", которое безраздельно царило в окружающем его моральном мире и только начинало слегка нарушаться даже в отношении физического мира. Для него заповедь, начертанная в дельфийском храме: "Познай самого себя", была святейшим из всех текстов, которые он постоянно цитировал и настойчиво навязывал своим слушателям; толкуя ее так: "Познай, что ты за человек и каковы твои возможности в отношении человеческой пользы".^[714] Его манера навязывать это была в равной степени оригинальной и эффективной, и хотя он ловко варьировал свои темы^[715] и вопросы в зависимости от конкретного человека, с которым ему приходилось иметь дело, его главной целью было заставить слушателя принять справедливую меру своего собственного реального знания или реального невежества. Проповедовать, увещевать, даже опровергать конкретные заблуждения казалось Сократесу бесполезным, пока разум окутан привычным туманом или иллюзией мудрости: такой туман должен рассеяться, прежде чем в него проникнет новый свет. Поэтому, когда слушатель, как правило, не спешил делать положительные заявления по тем общим доктринам и объяснять те термины, к которым он был наиболее привязан и в которых был наиболее уверен, Сократес разбивал их на куски и показывал, что они содержат противоречия и непоследовательность; он заявлял, что не имеет никакого положительного мнения и никогда не выдвинет его, пока ум слушателя не подвергнется надлежащему очищающему перекрестному допросу^[716].

Именно эта косвенная и негативная позиция, которая, хотя и была лишь частью целого, выделялась как его самая оригинальная и самая заметная характеристика и определяла его репутацию у большого числа людей, которые не потрудились узнать о нем ничего другого. Это было разоблачение, не менее болезненное, чем неожиданное для допрашиваемых, и произвело на некоторых из них эффект постоянного отчуждения, так что они никогда больше не приближались к нему,^[717] но вернулись к своему прежнему состоянию ума без каких-либо постоянных изменений. Но, с другой стороны, изобретательность и новизна этого процесса вызывали большой интерес у слушателей, особенно у молодых людей, сыновей богатей и любителей отдыха; они не только уносили с собой возвышенное восхищение Сократесом, но и любили пытаться копировать его негативную полемику.^[718] Вероятно, такие люди, как Алкивиад и Критий, посещали его общество главным образом для того, чтобы приобрести качества, которые они могли бы применить в своей политической карьере. Его постоянная привычка никогда не позволять общему термину оставаться неопределенным, а сразу применять его к частностям; домашние и эффективные примеры, которые он выбирал; череда допросов, каждый из которых продвигался к результату, но результат не предвидел никто; косвенная и круговая манера, при которой тема поворачивалась кругом и, наконец, подходила и раскрывалась совершенно другим лицом, - все это составляло своего рода прерогативу Сократеса, к которой, кажется, никто больше не приближался. Его эффект усиливался голосом и манерами, весьма правдоподобными и пленительными, и в некоторой степени самой эксцентричностью его силенской физиономии. [То, что называют "его иронией", или принятие характера невежественного ученика, спрашивающего информацию у того, кто знает лучше него самого, хотя и было существенным^[720] оправданием его практики вопрошателя, способствовало также добавлению изюминки и новизны в его разговор; и полностью изгнало из него как дидактический педантизм, так и кажущуюся предвзятость адвоката; что для того, кто так много говорил, было не малым преимуществом. После того как он приобрел известность, это единообразное признание невежества в спорах обычно истолковывалось как простое жеманство; и те, кто просто слышал его изредка, не вникая в его близость, часто подозревали, что он развлекается гениальным парадоксом.^[721] Тимон

Сатирик и Зенон Эпикурец, соответственно, описывали его как шута, который выставляет на посмеище всех, особенно людей выдающихся.[722]

Именно Платон разработал и увековечил негативную и косвенную жилку Сократеса; Ксенофонт же, который мало ему сочувствовал, жалуется, что другие смотрели на его господина слишком исключительно с этой стороны, и что они не могли представить его как проводника добродетели, а только как возбуждающую и побуждающую силу.[723] Одна из главных целей его "Воспоминаний" - показать, что Сократес, достаточно поработав над новичками с помощью негативной линии вопросов, изменил свой тон, перестал их смущать и обратился к ним с наставлениями не менее простыми и понятными, чем непосредственно полезными на практике.[724] Я нисколько не сомневаюсь, что так было часто, и что различные диалоги, в которых Ксенофонт представляет нам философа, прививающего самообладание, воздержание, благочестие, долг перед родителями, братскую любовь, верность в дружбе, трудолюбие, благожелательность и т. д., на положительных основаниях, являются верным изображением одной ценной стороны его характера и существенной частью целого. Такое прямое назидательное воздействие было свойственно Сократесу с Продикусом и лучшими из софистов.

Однако не добродетель его жизни и не доброта его наставлений - хотя и то, и другое было существенными чертами его характера, - а его оригинальность и плодотворная деятельность в области умозрительной философии дают ему право на славу. Первая часть этой оригинальности, как уже говорилось, заключалась в том, что он первым придумал идею этической науки с соответствующей целью и с заповедями, которые можно проверять и совершенствовать; но второй момент, и не менее важный, заключался в его особом методе и необычайной силе возбуждать научный импульс и способность в умах других. Этот эффект достигался не путем позитивного обучения. И Сократес, и Платон считали, что мало что можно улучшить в умственном отношении путем непосредственного изложения или закрепления в памяти новой письменной информации.[725] Необходимо, чтобы ум работал на ум, путем коротких вопросов и ответов или искусного использования диалектического процесса,[726] чтобы породить новые мысли и силы; процесс, который Платон, с его буйной фантазией, сравнивает с совокуплением и беременностью, представляя его как истинный и единственный эффективный способ распространения философского духа.

Мы сильно заблуждаемся относительно негативной и косвенной жилки Сократеса, если полагаем, что она заканчивалась ничем иным, как простым отрицанием. На занятые или неодаренные умы, среди беспорядочной публики, которая слушала его, она, вероятно, не оставляла никакого постоянного эффекта и заканчивалась простым чувством восхищения изобретательностью или, возможно, неприязнью к парадоксу: на практические умы, такие как Ксенофонт, ее эффект сливался с эффектом поучительного увещевания: но там, где семя падало на интеллект, имеющий наименьшую предрасположенность или способность к систематическому мышлению, отрицание имело только эффект, заставляя слушателя сначала отступить, давая ему новый импульс для последующего рывка вперед. Сократическая диалектика, очищая разум от тумана мнимого знания и обнажая истинное невежество, производила немедленный эффект, подобный прикосновению торпеды:[727] вновь возникшее сознание невежества было в равной степени неожиданным, болезненным и унижительным, - сезон сомнений и дискомфорта; но в сочетании с внутренней работой и стремлением к истине, никогда прежде не испытываемым. Такое интеллектуальное оживление, которое никогда не могло начаться, пока разум не избавился от первоначальной иллюзии ложного знания, рассматривалось Сократесом не просто как показатель и предвестник, но как необходимое условие будущего прогресса. Это была средняя точка в восходящей шкале умственных способностей; низшая точка - невежество бессознательное, самодовольное и

принимающее себя за знание; следующая выше - невежество сознательное, разоблаченное, стыдящееся самого себя и жаждущее знания, которым еще не обладает; тогда как действительное знание, третья и высшая ступень, достигается только после предварительного прохождения через вторую.[728] Эта вторая стадия была своего рода беременностью; и каждый ум, либо от природы неспособный к ней, либо в котором из-за отсутствия необходимой связи она так и не возникла, был бесплоден для всех целей оригинальной или самопринадлежащей мысли. Сократес считал своим особым призванием и умением, используя еще одну платоновскую метафору, хотя сам он не обладал способностью к воспроизведению, иметь дело с такими беременными и беспокойными умами в качестве повивальной бабки; помогать им в тех ментальных родах, в которых они должны были получить облегчение, но в то же время внимательно изучать потомство, которое они приносили; и если оно оказывалось искаженным или неперспективным, изгонять его со всей строгостью ликургской кормилицы, каким бы ни было нежелание материнского разума расстаться со своим новорожденным.[729] Нет ничего более плодотворного в иллюстрации Платона, чем эта связь между учителем и ученым, действующая не тем, что она вкладывает в последнего, а тем, что она развивает в нем; создавая беспокойное стремление к истине, помогая в разработке, необходимой для получения облегчения, и проверяя, обладает ли разработанная доктрина реальными чертами или только иллюзорным подобием истины.

Мало что может быть более примечательным, чем описание разговорной магии Сократеса и ее яростного воздействия теми, кто сам слышал и ощущал ее силу. Его внушающая и стимулирующая сила была даром столь необычным, что вполне оправдывала любое обилие образов со стороны Платона для его иллюстрации.[730] Что касается предметов, к которым он обращался, - человека и общества, - то его слушатели мало что делали, кроме как чувствовали и утверждали: Сократ взялся заставить их думать, взвешивать и проверять себя и свои собственные суждения, пока последние не будут приведены в соответствие друг с другом, а также с известной и достойной уважения целью. Обобщения, воплощенные в их суждениях, сросшиеся и сросшиеся одновременно настолько интимно, настолько знакомо, но настолько непроверенно, что подразумеваемые в них частности остались незамеченными, так что Сократес, когда он вспоминал эти частности из забытого опыта, представлял слушателям свои собственные мнения с совершенно новой точки зрения. Его беседы - даже в том виде, в каком они представлены в воспроизведении Ксенофонта, которое представляет собой лишь скелет реальности, - демонстрируют основные черты подлинного индуктивного метода, борющегося с глубоко лежащими, но не учитываемыми ошибками раннего интеллекта, действующего самостоятельно, без сознательного марша или научного руководства, - *интеллекта*, который так ярко выражен у Бэкона (*intellectus sibi permissus*). Среди обилия *отрицательных примеров* (*instantiæ negativæ*), научная ценность которых подчеркивается в "Новом Органоне", [731] и отрицательных примеров, также так ловко подобранных, чтобы в целом показать путь к новой истине, взамен той ошибки, которую они отбрасывают, - оказывается сильное давление на ум слушателя, чтобы удержать его в четком тракте частных, как условия каждого справедливого и последовательного обобщения; и отвлечь его от порабощения нерассмотренными формулами или от простого убеждения под авторитетной фразой разума. Вместо того чтобы стремиться внушить слушателю готовое и принятое на веру заключение, вопрошающий держит его в длительном напряжении, делая особый акцент на деталях, склоняющих как к утвердительному, так и к отрицательному ответу; его цель не будет достигнута, пока не будет создано то состояние знаний и воспринятых доказательств, из которого заключение начнет превращаться в живой продукт, имеющий свой собственный корень и самоподдерживающуюся силу, сознательно связанную с его предпосылками. Если этот вывод не совпадает с тем, который принимает сам вопрошающий, он, по крайней мере, будет другим, достойным компетентного и исследующего ума, принимающего свой собственный независимый взгляд на соответствующие доказательства. И среди всего разнообразия и расхождений частных, которые мы находим навязанными в языке Сократа,

цель, на которую все они указывают, одна и та же, подчеркнуто обозначенная, - благо и счастье социального человека.

Сократический метод стремится не к умножению прозелитов, не к получению авторитетного согласия, а к созданию искренних искателей, аналитических интеллектов, предвидящих и последовательных агентов, способных делать выводы для себя и учить других, а также заставить их встать на тот путь индуктивного обобщения, на котором только и могут быть сделаны достоверные выводы. Во многих платоновских диалогах, где Сократес выдвигается в качестве главного спорщика, мы читаем ряд дискуссий и споров, разных, хотя и относящихся к одному и тому же предмету, но заканчивающихся либо чисто отрицательным результатом, либо вообще без какого-либо определенного результата. Комментаторы часто пытаются, но, на мой взгляд, с небольшим успехом, либо расположив диалоги в предполагаемой последовательности, либо с помощью различных других гипотез, назначить некий позитивный доктринальный вывод, который косвенно подразумевался автором. Но если бы Платон стремился к какой-либо содержательной демонстрации такого рода, мы не можем себе представить, что он оставил бы свою цель в темноте, видимой только под микроскопом критика. Дидактическая ценность этих диалогов - то, в чем наиболее ярко проявляется подлинный сократовский дух, - заключается не в доказанном положительном выводе, а в самом процессе аргументации, в сочетании с общей важностью темы, по которой приводятся отрицательные и утвердительные доказательства.

Это связано с тем, что я отметил в [предыдущей главе](#), когда говорил о Зеноне и первых проявлениях диалектики, в отношении большого размаха, многосторонней аргументации и силы, а также прямоты отрицательной руки в греческой спекулятивной философии. Через Сократа эта амплитуда диалектического диапазона была передана от Зенона сначала Платону, а затем Аристотелю. Это был процесс, естественный для людей, которые были не просто заинтересованы в установлении или опровержении какого-то конкретного вывода, но которые, подобно математикам-экспертам в своей науке, любили, почитали и стремились улучшить сам диалектический процесс с теми средствами проверки, которые он предоставлял; это чувство, о котором можно найти множество свидетельств в платоновских трудах.[\[732\]](#) Такое удовольствие от научной работы, - хотя оно не просто невинно, но ценно и как стимулятор, и как гарантия от ошибок, и хотя к соответствующему вкусу математиков всегда относятся с симпатией, которой он заслуживает, - вызывает много незаслуженных упреков со стороны современных историков философии, под названием любви к спорам, язвительности или скептической тонкости.

Но помимо любви к процессу, темы, к которым диалектика применялась, начиная с Сократа и ниже, - человек и общество, этика, политика, метафизика и т. д., - были такими, что особенно требовали этой многогранной обработки. В подобных темах, связанных с последовательностью фактов, зависящих от множества взаимодействующих или противоречащих друг другу причин, невозможно прийти к абсолютной доктрине, которую человек мог бы считать всегда истинной, независимо от того, помнит он доказательства или нет, как в случае с математической, астрономической или физической истиной. Максимум, что может установить наука в таких сложных вопросах, - это совокупность не императивных теорем и предсказаний, а тенденций;[\[733\]](#) изучая действие каждой отдельной причины и объединяя их вместе настолько хорошо, насколько позволяют наши средства. Знание тенденций, полученное таким образом, хотя и не дает уверенности, очень важно для руководства: но очевидно, что выводы такого рода, вытекающие из множества доказательств, верные только в равновесии и всегда подверженные ограничениям, никогда не могут быть безопасно отделены от доказательств, на которых они покоятся, или преподаваться как абсолютные и освященные формулы.[\[734\]](#) Они требуют, чтобы их держали в вечной и сознательной связи с доказательствами, утвердительными и отрицательными, при совместном рассмотрении которых устанавливается их истинность; и эта

цель не может быть достигнута никакими другими средствами, кроме постоянно обновляющихся дискуссий, проводимых с новых и различных точек зрения, и со свободной игрой той отрицательной руки, которая необходима как стимул не менее, чем как контроль. Не требовать ничего, кроме результатов, отказываться от труда проверки, довольствоваться готовым запасом установленных положительных аргументов в качестве доказательств и поносить сомневающегося или отрицательного аргументатора, который создает новые трудности, как общего врага - это достаточно распространенное действие, как в древние, так и в современные времена. Но, тем не менее, это отказ от достоинства и даже функций спекулятивной философии. Это прямо противоположно методу Сократа и Платона, которые, будучи исследователями, чувствовали, что для больших тем, которые они рассматривали, необходимы многочисленные нити рассуждений в сочетании с постоянным присутствием перекрестного эленха. Не менее расходится это и со взглядами Аристотеля, - хотя он сильно отличался от них, - который обходит свой предмет со всех сторон, излагает и рассматривает все его трудности и решительно настаивает на необходимости того, чтобы все эти трудности были приведены во всей силе, как побуждение и руководство к позитивной философии, а также проверка ее достаточности[735].

Понимая таким образом метод Сократеса, мы без труда объясним некоторое расхождение с его стороны и еще большее расхождение со стороны Платона, который расширил этот метод в своем сочинении гораздо больше, чем софисты, не считая последних испорченными учителями. Поскольку они стремились подготовить молодых людей к активной жизни, они принимали текущие этические и политические настроения с их непроверенными общими местами и несоответствиями, стремясь лишь придать им ту форму, которая считалась в Афинах достойной характера. Таким образом, они подверглись, вместе с другими - и более других, в силу своей репутации, - аналитическому перекрестному допросу Сократеса и были столь же мало способны защитить себя от него.

Каковы бы ни были успехи Протагора или любого другого из этих софистов, могучая оригинальность Сократеса принесла результаты, не только равные в то время, но и несравненно более грандиозные и прочные в отношении будущего. Из его интеллектуальной школы вышел не только сам Платон, но и все остальные лидеры греческой спекуляции на протяжении последующих полувеков, а также все те, кто продолжил великую линию спекулятивной философии вплоть до более поздних времен. Эвклидес и мегарская школа философов, Аристипп и киренаики, Антистен и Диоген, первый из тех, кого называют киниками, - все они более или менее непосредственно исходили из стимула, переданного Сократесом, хотя каждый из них придерживался своего направления мысли.[736] Этика продолжает оставаться тем, чем ее впервые сделал Сократес, - отдельной отраслью философии, рядом с которой постепенно возникают политика, риторика, логика и другие рассуждения, касающиеся человека и общества; все они более популярны, а также вызывают более острые споры, чем физика, которая в то время представляла сравнительно мало очарования и еще меньше достижимой определенности. Нет сомнений, что индивидуальное влияние Сократеса навсегда расширило горизонт, улучшило метод и умножило восходящие умы греческого спекулятивного мира, что никогда не было повторено с тех пор. Последующие философы могли иметь более разработанную доктрину и большее число учеников, которые впитывали их идеи; но никто из них не применял тот же стимулирующий метод с той же эффективностью; никто из них не высекал из других умов тот огонь, который зажигает свет для оригинальной мысли; никто из них не вызывал у других мук интеллектуальной беременности и не извлекал из других свежее и незаимствованное потомство действительно рожающего ума.

Затронув таким образом Сократеса как первооткрывателя области этики для научного изучения и как автора метода, мало скопированного и не имеющего аналогов с его времен, для стимулирования в умах других людей серьезного аналитического поиска, я в последнюю очередь говорю о его теоретической доктрине. Учитывая причудливые, надуманные идеи, на которых только пифагорейцы и другие предшественники строили свои теории относительно добродетелей и пороков, удивительно, что Сократес, у которого не было более подходящего руководства, должен был изложить этическую доктрину, которая имеет двойное достоинство - быть истинной, насколько это возможно, законной и всеобъемлющей: Хотя она и ошибается, главным образом излагая часть существенных условий добродетели[737], а иногда и часть этической цели, как если бы это было целое. Сократес сводил все добродетели к знанию или мудрости; все пороки - к невежеству или глупости. Поступать правильно - единственный способ дать счастье или наименьшую степень несчастья, совместимую с любой ситуацией: теперь это было именно то, чего каждый желал и к чему стремился; только многие люди по незнанию выбирали неправильный путь; и ни один человек не был достаточно мудр, чтобы всегда выбирать правильный. Но как ни один человек не был добровольно своим врагом, так и ни один человек никогда не поступал плохо добровольно; это происходило потому, что он не был полностью или правильно информирован о последствиях своих действий; так что надлежащим средством было бы расширенное обучение последствиям и улучшенное суждение.[738] Чтобы заставить человека быть готовым к обучению, единственным условием было заставить его осознать свое собственное невежество; отсутствие этого сознания было настоящей причиной как безрассудства, так и порока.

То, что в этой доктрине излагается одна часть существенных условий добродетели, несомненно; и притом самая важная часть, поскольку не может быть уверенного нравственного поведения иначе, как при верховенстве разума. Но то, что он не замечает того, что не менее существенно для добродетели, - надлежащего состояния эмоций, желаний и т. д., принимая во внимание только интеллект, - также несомненно; это было отмечено Аристотелем[739], а также многими другими. Бесплезно, на мой взгляд, пытаться какими-либо изысканными объяснениями доказать, что Сократес подразумевал под "знанием" нечто большее, чем то, что прямо подразумевается в этом слове. Он представлял себе в качестве главного порока человеческого существа не столько порок, сколько безумие; то состояние, когда человек не ведает, что творит. Против порочного человека можно предпринять меры защиты, как общественные, так и частные, причем с немалым эффектом; против безумца же нет никакой защиты, кроме вечного ограничения. Он не способен выполнять ни одну из обязанностей, возложенных на социального человека, и не может, даже если захочет, делать добро ни себе, ни другим. Чувства, которые мы испытываем по отношению к такому несчастному существу, действительно, совершенно не похожи на моральное осуждение, которое мы испытываем к порочному человеку, сознательно совершающему зло. Но Сократес оценил оба этих явления с точки зрения целей человеческой жизни и общества и заявил, что последнее менее испорчено для этих целей, чем первое. Безумие - это невежество в его крайних проявлениях, сопровождаемое к тому же тем обстоятельством, что сам безумец не сознает своего невежества, действуя в искреннем убеждении, что он знает, что делает. Но, не доходя до этой крайности, на шкале невежества существовало множество разновидностей и градаций, которые, если они сопровождались ложным воображением о знании, отличались от безумия только степенью, и каждая из них лишала человека права поступать правильно пропорционально той почве, которую она охватывала. Худшее из всех невежеств - то, которое ближе всего к безумию, - это когда человек не знает самого себя, воображая, что он знает то, чего на самом деле не знает, и что он может сделать, или избежать, или вынести то, что совершенно не в его силах; когда, например, намереваясь говорить одну и ту же истину, он иногда говорит одно, иногда другое; или, составляя одни и те же арифметические цифры, делает иногда большую сумму, иногда меньшую. Человек, знающий грамоту, или арифметик, несомненно, может написать плохо или неправильно, по умыслу, но может и правильно выполнить эти действия, если захочет; в то время

как тот, кто не знает грамоты или арифметики, *не может* сделать это правильно, даже если бы он очень хотел это сделать. Поэтому первый ближе к хорошему орфографу или арифметику, чем второй. Так, если человек знает, что справедливо, почетно и хорошо, но совершает поступки противоположного характера, он справедливее или ближе к тому, чтобы быть справедливым человеком, чем тот, кто не знает, что такое справедливые поступки, и не отличает их от несправедливых; ибо этот последний *не может* вести себя справедливо, даже если бы он этого очень хотел^[740].

Приведенное здесь мнение убедительно иллюстрирует общую доктрину Сократеса. Я уже отмечал, что основополагающей идеей, которой он руководствовался в своих рассуждениях, была аналогия социальной жизни и долга каждого человека с его особой профессией или ремеслом. Теперь то, что главным образом спрашивается в отношении этих особых людей, - это их профессиональные способности; без этого никому не придет в голову нанимать их, пусть даже их склонности будут очень хорошими; с этим предполагаются хорошие склонности и усердие, если только нет положительных оснований подозревать обратное. Но почему мы потакаем такому предположению? Потому что их денежные интересы, их профессиональная репутация и их место среди конкурентов зависят от успеха, поэтому мы рассчитываем на их лучшие усилия. Но в отношении той многообразной и неопределенной серии поступков, которые составляют общую сумму общественного долга, у человека нет такого особого интереса, который бы направлял и побуждал его, и мы не можем предположить в нем тех склонностей, которые обеспечат ему правильные поступки, где бы он ни знал, что такое правильность. Человечество вынуждено давать премии за эти склонности и наказывать противоположные, посредством похвалы и порицания; более того, естественные симпатии и антипатии обычных умов, которые так мощно определяют применение моральных терминов, спонтанно устремляются в этом направлении и даже переступают пределы, которые предписывает разум. Аналогия между оплаченным специальным долгом и общим социальным долгом в данном случае терпит неудачу. Даже если бы Сократес был прав в отношении первого, - а это ни в коем случае не так, - утверждая, что интеллектуальные условия хорошего поведения относятся к целому, ни один из таких выводов не может быть с уверенностью распространен на второй.

Сократес утверждал, что "благодетельность" - это самое благородное стремление человека. "Хорошо делать" - это значит делать что-то хорошо после того, как научился и попрактиковался в этом, используя рациональные и правильные средства; это совершенно не похоже на удачу или успех без рационального плана и подготовки. "Самый лучший человек (говорил он) и самый любимый богами - тот, кто, как земледелец, хорошо выполняет обязанности по хозяйству; как хирург - обязанности по врачебному искусству; в политической жизни - свой долг по отношению к содружеству. Но тот, кто ничего не делает хорошо, не полезен и не угоден богам".^[741] Таков сократовский взгляд на человеческую жизнь; смотреть на нее как на совокупность реальностей и практических деталей; переводить большие слова морального словаря в те домашние подробности, к которым они, в сущности, относятся; принимать во внимание поступки, а не склонности помимо поступков (вопреки обычному течению моральных симпатий); внушать каждому, что главным для него является обучение и практика, как подготовка к действию; и что поэтому невежество, особенно невежество, принимающее себя за знание, является его главным недостатком. Религия Сократеса, как и его этика, имела отношение к практическим целям человека; ни один человек никогда не имел меньше того трансцендентализма в своем уме, который его ученик Платон демонстрирует в таком изобилии.

Бесспорно, что Сократес изложил слишком узкую общую этическую теорию, в которой часть истины выдается за целое. Но, как это часто случается с философами, совершающими подобную ошибку, мы обнаруживаем, что он не ограничивал свои дедуктивные рассуждения рамками

теории, а избегал ошибочных последствий путем частичной непоследовательности. Например, ни один человек не настаивал более категорично, чем он, на необходимости контроля над страстями и аппетитами, навязывания хороших привычек и на ценности того состояния чувств и эмоций, которое такой курс имеет тенденцию формировать[742] По правде говоря, это одна из особенностей его наставлений. Он увещевал людей ограничивать свои внешние потребности, быть скупыми на побрякушки и культивировать, даже в предпочтении почестям и продвижению по службе, те удовольствия, которые непременно возникнут в результате исполнения долга, а также самоанализа и сознания внутреннего совершенствования. Это пристальное внимание при измерении элементов и условий счастья к состоянию внутренних ассоциаций в сравнении с влиянием внешних причин, а также усилия, предпринятые для того, чтобы показать, насколько последние зависят от первых в их способности даровать счастье, и насколько достаточна умеренная удача в отношении внешних вещей, если внутренний человек правильно дисциплинирован, - это направление мысли, которое пронизывает и Сократа, и Платона, и которое перешло от них, с различными изменениями, в большинство последующих школ этической философии. Вероятно, Протагор или Продик, готовя богатую молодежь к активной жизни, не оставляя без внимания такой внутренний элемент счастья, все же меньше останавливались бы на нем; в этом Сократес явно преуспел.

Политические взгляды Сократеса были во многом схожи с его этическими и заслуживают особого внимания, поскольку отчасти способствовали его осуждению дикастерией. Он считал, что функции правительства принадлежат на законных основаниях тем, кто лучше всех знает, как их осуществлять для блага управляемых. "Законным королем или правителем был не тот, кто держал скипетр, не тот, кого избрали какие-то вульгарные люди, не тот, кто получил должность по жребию, не тот, кто влез на нее силой или обманом, а только тот, кто знал, как хорошо управлять".[743] Точно так же, как лоцман управляет на корабле, хирург - в доме больного, тренер - в палестре; все остальные охотно подчиняются этим профессиональным начальникам и даже благодарят и вознаграждают их за их указания, просто потому, что их более глубокие знания являются общепризнанным фактом. Нелепо, утверждал Сократес, выбирать государственных чиновников по жребию, когда никто не доверит себя на корабле заботам лоцмана, выбранного по воле случая,[744] как и плотника или музыканта, выбранных подобным образом.

Мы не знаем, какое положение предложил Сократес для применения своего принципа на практике, для выявления наиболее подходящего человека с точки зрения знаний, или для замены его в случае, если он становится непригодным, или если появляется другой, более подходящий, чем он. Аналогии с лоцманом, хирургом и вообще профессиональными людьми, естественно, привели бы его к избранию народом, возобновляемому на время; ведь ни одному из этих профессиональных людей, какими бы ни были его позитивные знания, никогда не доверяют и не слушаются, кроме как по свободному выбору тех, кто ему доверяет, и кто в любой момент может выбрать другого. Но не похоже, чтобы Сократес следовал этой части аналогии. Его спутники заметили ему, что его первоклассный интеллектуальный правитель был бы деспотом, который мог бы, если бы захотел, либо отказаться выслушать хороший совет, либо даже предать смерти тех, кто его дает. "Он не станет так поступать, - ответил Сократес, - ибо если он это сделает, то сам окажется в самом большом проигрыше"[745].

Мы можем заметить в этой доктрине Сократеса тот же недостаток, что и в этической доктрине: склонность делать интеллектуальные условия политической пригодности определяющими для всего в целом. Его отрицательная политическая доктрина не должна быть ошибочной: он не одобрял ни демократию, ни олигархию. Как он не был привязан, ни по чувствам, ни по убеждениям, к афинской конституции, так же он не испытывал ни малейшей симпатии к олигархическим узурпаторам, таким как Четыреста и Тридцать. Его позитивное идеальное

государство, насколько мы можем судить, было бы чем-то вроде того, что проработано в "Киропедии" Ксенофонта.

Описывая настойчивую деятельность Сократеса как религиозного и интеллектуального миссионера, мы действительно описываем его жизнь; ведь у него не было другого занятия, кроме непрерывного общения с афинской публикой, его беспорядочных бесед и непобедимой диалектики. Верно и храбро исполняя свои обязанности гоплита на военной службе, но держась в стороне от официальных обязанностей в дикастерии, общественном собрании или сенате, за исключением того памятного года, когда произошла битва при Аргинусе, он не вызвал ни одной из тех партийных враждебностей, которые часто провоцировала активная общественная жизнь в Афинах. Его жизнь была юридически безупречной, и он никогда не предстал перед дикастерией до своего последнего суда, когда ему было семьдесят лет. То, что в 423 году до н. э., когда на сцену были выведены "Облака" Аристофана, он был замечен в глазах публики, несомненно: возможно, он был замечен и даже раньше, так что мы вряд ли можем дать ему менее тридцати лет публичных, известных и эффективных выступлений, вплоть до суда в 399 году до н. э.

Именно в этом году Мелет, поддерживаемый двумя помощниками, Анитом и Ликоном, представил против него и повесил в назначенном месте, в портике перед кабинетом второго или царского архонта, обвинительный акт в следующих выражениях: "Сократес виновен в преступлении: во-первых, в том, что он не поклоняется богам, которым поклоняется город, а вводит новые божества по своему усмотрению; во-вторых, в развращении молодежи. Наказание за это - смерть".

Несомненно, что ни поведение, ни разговор Сократеса не претерпели никаких изменений в течение многих лет, поскольку одинаковость его манеры говорить осмеивается как его врагами, так и признается им самим. Поэтому, помимо вопроса о виновности или невинности, первое чувство, которое мы испытываем, - это удивление, что в возрасте семидесяти лет он был привлечен к ответственности за упорство в занятии, которому он публично следовал в течение двадцати пяти или тридцати лет до этого. Ксенофонт, преисполненный почтения к своему господину, рассматривает этот вопрос с гораздо более высокой точки зрения и выражает чувство возмущенного изумления тем, что афиняне могли найти что-то, что можно было бы осудить в человеке, во всех отношениях столь восхитительном. Но тот, кто внимательно рассмотрит представленную мною картину цели, работы и чрезвычайной публичности Сократеса, скорее будет склонен удивляться не тому, что обвинение было предъявлено наконец, а тому, что такое обвинение не было предъявлено задолго до этого. Именно такое впечатление производит язык самого Сократеса в "Апологии Платона". Там он решительно заявляет, что, хотя его нынешние обвинители были людьми уважаемыми, ему следует опасаться не *их* вражды и не *их* красноречия, а накопленной силы антипатии, многочисленных и важных личных врагов, каждый из которых имел сочувствующих сторонников, давней и неопровержимой клеветы,^[746] возводимой на него на протяжении всей его карьеры перекрестного допроса.

По правде говоря, миссия Сократеса, как он сам ее описывает, не могла не оказаться крайне непопулярной и неприятной. Убедить человека в том, что в вопросах, которые он был уверен, что знает, и никогда не думал задавать вопросы или даже изучать, он действительно глубоко невежественен, настолько, что не может ответить на несколько подходящих вопросов, не вовлекая себя в вопиющие противоречия, - это операция, весьма полезная, часто необходимая для его будущего улучшения; но операция болезненная, в которой, действительно, временная боль является одним из условий, почти обязательных для будущих благоприятных результатов.

Мало кто может выдержать ее без ненависти к оператору; хотя, несомненно, такая ненависть не только исчезнет, но и сменится уважением и восхищением, если они будут упорствовать до тех пор, пока не проявятся все скрытые последствия операции. Но мы знаем из прямого заявления Ксенофонта, что многие из тех, кто подвергся этому первому резкому удару его диалектики, больше никогда не приближались к нему: он пренебрег ими как увальнями, [747] но их голоса не стали менее весомыми в хоре враждебных голосов. Что делало этот хор еще более грозным, так это высокое качество и положение его лидеров. Сам Сократес говорит нам, что люди, которых он в первую очередь искал для перекрестного допроса, были знаменитыми государственными деятелями, риторам, поэтами или ремесленниками; они были одновременно наиболее чувствительны к такому унижению и наиболее способны сделать свою вражду эффективной.

Размышляя над этим огромным массивом антипатии, столь ужасным как по количеству, так и по составляющим его элементам, мы будем только удивляться, что Сократес мог так долго стоять на рыночной площади, чтобы усугубить ее, и что обвинение Мелета могло быть так долго отложено; поскольку оно было столь же применимо как раньше, так и позже, и поскольку чувствительный нрав народа в отношении обвинений в иррелигии был хорошо известным фактом. [748] Истина заключается в том, что, как история представляет нам только одного человека, который когда-либо посвятил свою жизнь выполнению этого долга эленика, или миссионера-перекрестного допроса, так и в древнем мире, по крайней мере, был только один город, где ему позволили бы выполнять его в течение двадцати пяти лет в безопасности и безнаказанно; и этим городом были Афины. В предыдущем томе я уже отмечал уважение к индивидуальным разногласиям во мнениях, вкусах и поведении друг друга, которое было характерно для афинского населения и которое Периклес выразительно подчеркивает в своей погребальной речи. Именно эта устоявшаяся либеральность демократических настроений в Афинах так долго защищала благородную эксцентричность Сократеса от многочисленных врагов, которых он вызывал: в Спарте, в Фивах, в Аргосе, Милете или Сиракузах его безупречная жизнь была бы недостаточным щитом, а его неотразимая диалектическая сила привела бы к тому, что его только быстрее заставили бы замолчать. Нетерпимость - естественный сорняк человеческой груди, хотя ее росту или развитию могут противостоять либерализующие причины; в Афинах самой мощной из них была демократическая конституция в сочетании с распространенной интеллектуальной и эстетической чувствительностью и острым вкусом к дискуссии. Свобода слова была освящена, в оценке каждого человека, одной из первых привилегий; каждый привык постоянно слышать мнения, противоположные его собственному, и верить, что другие имеют право на их мнение так же, как и он сам. И хотя в целом люди не стали бы распространять такую терпимость на религиозные вопросы, однако сложившаяся привычка в отношении других вопросов сильно повлияла на их практику и сделала их более несклонными к любой позитивной строгости в отношении явных несогласных с принятыми религиозными убеждениями. Несомненно, что в Афинах был и более острый интеллектуальный стимул, и большая свобода как мысли, так и слова, чем в любом другом городе Греции. Длительная веротерпимость Сократеса - один из примеров этого общего факта, в то время как его суд мало что доказывает, а казнь - ничего не доказывает, как будет показано далее.

Несомненно, должны были существовать особые обстоятельства, о которых мы почти ничего не знаем, побудившие его обвинителей предпочесть обвинение в настоящий момент, несмотря на преклонный возраст Сократеса.

Во-первых, Анит, один из обвинителей Сократеса, похоже, разгневался на него по личным мотивам. Сын Анита проявил интерес к его разговору, и Сократес, заметив в юноше интеллектуальный импульс и обещание, попытался отговорить отца от того, чтобы тот приучал его к своему ремеслу продавца кож. [749] Именно таким образом была возбуждена большая часть

антипатии против Сократеса, как он сам рассказывает в "Платоновой апологии". Молодые люди были теми, к кому он обращался в первую очередь, и которые, увлекаясь его беседой, часто уносили домой новые идеи, которые не нравились их отцам;[750] отсюда и общее обвинение Сократеса в развращении молодежи. Это обстоятельство недавно произошло с Анитом, богатым торговцем, ведущим политиком и как раз сейчас пользовавшимся особым влиянием в городе, поскольку он был одним из главных соратников Фрасибула в изгнании Тридцати, проявляя энергичный и достойный патриотизм. Он, как и Фрасибул и многие другие, понес большие потери в имуществе[751] во время олигархического правления; возможно, это заставило его более настойчиво требовать, чтобы его сын усердно занимался торговлей, дабы восстановить семейное состояние. Кроме того, он, похоже, был врагом всех учений, выходящих за рамки узкой практичности, ненавидя и Сократеса, и софистов[752].

Хотя мы можем указать на недавнее происшествие, которое привело одного из самых высокопоставленных политиков города в особое раздражение против Сократеса, другим обстоятельством, которое тяготило его, была его прошлая связь с покойными Критием и Алкивиадом. Из этих двух людей последний, хотя у него и было несколько больших поклонников, в целом был одиозен; больше из-за своей частной дерзости и безрассудства, чем из-за публичной измены в изгнании. Но имя Крития вызывало ненависть, и заслуженную, больше, чем имя любого другого человека в афинской истории, как главного организатора безмерных растрат и жестокостей, совершенных Тридцатью. То, что Сократес воспитал и Крития, и Алкивиада, утверждали обвинители и, похоже, верила общественность, как в то время, так и после.[753] То, что оба они были среди тех, кто общался с ним в молодости, - неоспоримый факт; до какой степени или до какого периода дошел разговор, мы не можем точно установить. Ксенофонт утверждает, что оба они часто посещали его общество в молодости, чтобы перенять от него аргументацию, которая могла бы быть полезной для их политических амбиций; что он обуздал их буйные и развратные наклонности, пока они продолжали приходить к нему; что оба они проявляли почтительное послушание к нему, которое казалось мало созвучным их естественному темпераменту; но что они вскоре покинули его, устав от такой сдержанности, после того как приобрели столько, сколько считали удобным для себя из его особых достижений. Писания Платона, напротив, внушают нам мысль, что связь обоих с Сократесом была более продолжительной и тесной; ведь оба они принимают большое участие в платоновских диалогах, а привязанность Сократеса к Алкивиаду представлена как более сильная, чем та, которую он когда-либо испытывал к любому другому человеку; Этот факт нетрудно объяснить, поскольку последний, несмотря на свой неуправляемый нрав, в молодости отличался не столько способностями и порывистостью, сколько красотой; а юношеская красота распаляла воображение греков, особенно Сократеса, больше, чем прелести другого пола.[754] Начиная с 420 года до н.э, в котором началась деятельность Алкивиада как политического лидера, представляется маловероятным, что он мог часто видаться с Сократесом, а после 415 года до н. э. это и вовсе невозможно, поскольку в этом году он стал постоянным изгнанником, за исключением трех или четырех месяцев в 407 году до н. э. Таким образом, в момент суда над Сократесом его связь с Алкивиадом должна была быть, по крайней мере, фактом давно прошедшим и исчезнувшим. О Критии мы знаем меньше; а поскольку он был родственником Платона, одним из известных спутников Сократеса, присутствовал на его суде и сам был опытным и литературным человеком, его связь с Сократесом могла продолжаться и дольше; по крайней мере, для такого утверждения были основания. Хотя предположение о том, что какие-либо пороки Крития или Алкивиада поощрялись или даже терпелись Сократесом, не могло возникнуть ни у кого, кроме предвзятых или плохо информированных умов, все же несомненно, что такое предположение существовало; и что оно ставило его перед публикой в измененное положение после бесчинств Тридцати. Анит, и без того разгневанный на него из-за его сына, был бы вдвойне разгневан на него как на предполагаемого воспитателя Крития.

О Мелете, главном, хотя и не самом важном обвинителе, мы знаем только то, что он был поэтом; о Ликоне - что он был ритором. Оба эти класса были отторгнуты диалектикой перекрестного допроса, которой многих из них подверг Сократес. Они были последними людьми, способными терпеливо переносить такое воздействие, и их вражда, редко единодушная в целом, была поистине грозной, когда она распространялась на отдельного человека.

Мы ничего не знаем о речах обвинителей в дикастерии, кроме того, что можно почерпнуть из замечаний Ксенофонта и защиты Платона. Из трех пунктов обвинения им легче всего было обосновать второй, причем на убедительных основаниях. То, что Сократес был религиозным новатором, можно было бы считать доказанным особым божественным знамением, о котором он имел обыкновение говорить свободно и публично и которое не посещало никого, кроме него самого. Соответственно, в "Платоновой защите" он никогда не отвечает на это второе обвинение. Он задает вопрос Мелету в дикастерии, и тот отвечает, что хотел обвинить Сократеса в неверии в богов;^[755] на это вмененное неверие Сократес отвечает категорическим отрицанием. В поддержку первого пункта, однако, - обвинения в общем неверии в богов, признанных городом, - ничего нельзя привести в его поведении; ведь он был точен в своем законном поклонении, как и другие граждане, и даже больше, чем другие, если Ксенофонт прав.^[756] Но, как видно, старые клеветы из аристофановских "Облаков" были возрождены, и эффект от этой остроумной драмы, вместе с аналогичными попытками Эвполиса и других, возможно, едва ли менее остроумных, все еще продолжался; яркое доказательство того, что эти комедианты не были бессильными клеветниками. Сократес больше осознает эффект древних впечатлений, чем речей, только что произнесенных против него: но эти последние речи, конечно, скажут, освежив настроения прошлого и оживив аристофановскую картину Сократеса, как спекулянта по физике, так и учителя риторики, заставляющего худшие доводы казаться лучшими. [Сократес в "Платоновой защите" обращается к числу людей, которые слышали его речи, чтобы узнать, слышал ли кто-нибудь из них, что он когда-либо говорил хоть слово на тему физических исследований;^[758] в то время как Ксенофонт идет дальше и представляет его как положительно отрицающего их, на основании нечестия.

Поскольку против Сократа выступали три разных обвинителя, можно предположить, что они заранее договорились, на каких темах каждый из них должен настаивать; Мелет взял на себя то, что касалось религии, а Анит и Ликон остановились бы на политических основаниях для нападок. В "Апологии Платона" Сократес решительно комментирует обвинения Мелета, публично задает ему вопросы перед дикастами и критикует его ответы: он почти не упоминает Анита и вообще ничего, кроме того, что формально содержится в обвинении, и рассматривает последний пункт, обвинение в развращении молодежи, в связи с первым, как будто предполагаемое развращение заключалось в нерелигиозном учении. Но Ксенофонт намекает на то, что обвинители, подтверждая это обвинение в пагубном учении, перешли к другим вопросам, совершенно отличным от религиозных догматов Сократеса, и осудили его за то, что он учил их беззаконию и неуважению как к родителям, так и к своей стране. У Ксенофонта мы находим упоминание об обвинительных основаниях, подобных тем, что приведены в "Облаках"; они также похожи на те, которые современные авторы обычно выдвигают против софистов.

Сократес, по словам Анита и других обвинителей, учил молодых людей презирать существующую политическую конституцию, замечая, что афинская практика называть архонтов по жребии глупа, и что ни один здравомыслящий человек никогда не выберет таким образом лоцмана или плотника, хотя беда, возникающая из-за плохой квалификации, в этих случаях гораздо меньше, чем в случае с архонтами.^[760] Утверждалось, что такое учение разрушает в умах слушателей уважение к законам и конституции, делает их жестокими и развратными. В качестве примера того, как это действовало, можно привести двух его учеников - Крития и Алкивиада, сформировавшихся

в его школе; один - самый жестокий и хищный из тридцати недавних олигархов, другой - позор демократии своей возмутительной наглостью и разнузданностью;[761] оба они - авторы разрушительных бед для города.

Кроме того, молодежь научилась у него тщеславию в отношении собственной мудрости и привычке оскорблять своих отцов, равно как и других родственников. Сократес сказал им, что даже их отцов, в случае безумия, можно законно подвергнуть ограничению; и что когда человек нуждается в услугах, он должен обращаться не к своим родственникам, как таковым, а к тем, кто наиболее квалифицирован для их оказания: так, если он болен, он должен обращаться к хирургу; если вовлечен в судебный процесс, то к тем, кто наиболее сведущ в таких делах. Между друзьями также мало пользы от простых добрых чувств и привязанности; главное, чтобы они приобрели способность оказывать друг другу взаимные услуги. Никто не заслуживал уважения, кроме человека, который знал, что следует делать, и мог объяснить это другим: это означало, утверждал обвинитель, что Сократес был не только мудрейшим из людей, но и единственным человеком, способным сделать своих учеников мудрыми; другие советники были бесполезны по сравнению с ним[762].

У него также была привычка, продолжал обвинитель, цитировать худшие отрывки из произведений выдающихся поэтов и извращать их с коварной целью испортить нрав молодежи, посеять в ней преступные и деспотические наклонности. Так, он процитировал строчку Гесиода: "Никакая работа не позорна, но праздность позорна", объясняя это тем, что человек может без зазрения совести выполнять любую работу, пусть даже низкую и несправедливую, ради выгоды. Далее, Сократес особенно любил цитировать строки Гомера из второй книги "Илиады", где Одиссей описывает, как он возвращает греков, которые только что разошлись с общественной агоры по призыву Агамемнона и спешили к своим кораблям. Одиссей ласкает и льстит вождям, а простых людей укоряет и даже бьет; хотя и те, и другие делали одно и то же и были виновны в одной и той же ошибке, если эта ошибка заключалась в том, что они послушались того, что только что предложил сам главнокомандующий. Сократес истолковал этот отрывок, утверждал обвинитель, так, будто Гомер восхваляет применение ударов к беднякам и простолюдинам[763].

Нет ничего проще, чем обвинителю найти повод для обвинения Сократеса, используя частичные цитаты из его постоянных выступлений, приведенные без контекста или пояснений, которые их сопровождали; смелые выдумки, когда не хватало даже этой частичной основы; иногда и подхватывая реальные ошибки, поскольку ни один человек, который постоянно говорит, особенно ехемпоре, не может всегда говорить правильно. Немногие учителя избежали бы наказания, если бы против них были вынесены приговоры, основанные на подобных доказательствах". Ксенофонт, заметив эти обвинения, комментирует их все, опровергает одни и объясняет другие. Что касается отрывков из Гесиода и Гомера, то он утверждает, что Сократес сделал из них выводы, совершенно противоположные тем, которые утверждались;[764] последние, действительно, кажутся совершенно необоснованными, придуманными, чтобы вызвать глубоко укоренившиеся демократические настроения афинян, после того как обвинитель заложил свою предварительную основу, связав Сократеса с Критием и Алкивиадом. То, что Сократес неправоммерно обесценивал сыновний долг или домашние привязанности, также крайне маловероятно. Мы можем с гораздо большим основанием поверить утверждению Ксенофонта, который представляет, что он увещевал слушателя "сделать себя настолько мудрым и способным оказать услугу, насколько это возможно; чтобы, когда он захочет добиться уважения отца, брата или друга, он мог не сидеть на месте, полагаясь на простой факт родства, но мог заслужить это чувство, делая им положительное добро." [765] Сказать молодому человеку, что простого доброго чувства будет совершенно недостаточно, если он не будет готов и не будет компетентен воплотить его в жизнь, - это урок, от которого мало кто из родителей захочет отмахнуться. Ни один

великодушный родитель не станет считать преступлением против учения Сократеса то, что оно сделало его сына мудрее, чем он сам, что, вероятно, и произошло. Ограничить круг обучения молодого человека, потому что это может заставить его считать себя мудрее своего отца, - это лишь одна из тысячи форм, в которых тогда и до сих пор иногда представляется аргументация невежества против знания.

Тем не менее нельзя отрицать, что эти нападки Анита затрагивают уязвимую сторону сократовской общей теории этики, согласно которой добродетель утверждалась в зависимости от знания. Я уже отмечал, что это правда, но не вся правда; определенное состояние привязанностей и склонностей не менее необходимо, как условия добродетели, чем определенное состояние интеллекта. Поэтому у противника был повод представить дело так, будто Сократес, выдавая часть истины за всю, отрицает или принижает все, что осталось. Но хотя такая критика была бы не совсем необоснованной в отношении его общей теории, она не могла бы относиться к его наставлениям или практическому учению, как мы находим их у Ксенофонта; ведь они, как я уже отмечал, простираются гораздо шире его общей теории и прививают привычки и склонности не менее настойчиво, чем приобретение знаний.

Ксенофонт не отрицает порицания, высказанные Сократесом против выбора архонтов по жребию в Афинах. Обвинитель утверждал, что "такими порицаниями Сократес возбуждал молодых людей презирать установленную конституцию и становиться незаконными и жестокими в своем поведении"[766] Это точно такой же предлог, склонный вызвать ненависть и презрение к правительству, на основании которого в прежние времена возбуждались дела о публичной клевете против писателей в Англии, и на основании которого они все еще продолжают в изобилии возбуждаться во Франции, при первом президенте Республики. Вряд ли можно найти более серьезное политическое зло, чем такое смешение неодобрительного критика с заговорщиком и навязывание молчания инакомыслящим меньшинствам. Не было ни одного случая, когда подобное обвинение было бы более бесцветным, чем в случае с Сократесом, который всегда апеллировал к разуму людей и очень мало к их чувствам; настолько мало, что современные авторы выдвигают против него обвинение в холодности; который никогда не упускал возможности привить строгое соблюдение закона и сам подавал пример такого соблюдения. Каковы бы ни были его взгляды на демократию, он всегда подчинялся демократическому правительству, и нет никаких оснований обвинять его в участии в олигархических схемах. Именно Тридцать, впервые за всю его долгую жизнь, полностью запретили ему преподавать и были готовы почти лишить его жизни; в то время как его близкий друг Херефон фактически находился в изгнании вместе с демократами[767].

Ксенофонт делает большой акцент на двух моментах, защищая Сократеса от его обвинителей. Во-первых, что его собственное поведение было добродетельным, самоотверженным и строго подчинялось закону. Далее, что он приучил своих слушателей слушать только призывы к разуму и внушал им послушание только по их рациональным убеждениям. То, что такого человека, с таким огромным весом предположений в его пользу, судили и признали виновным в развращении молодежи, - самое неопределенное из всех мыслимых обвинений, - является серьезным и печальным фактом в истории человечества. И все же, когда мы видим, на основании каких легких доказательств современные авторы готовы признать то же обвинение против софистов, мы не вправе удивляться тому, что афиняне, обратившись не к спокойному разуму, к которому взывал Сократес, а ко всем своим антипатиям, религиозным и политическим, общественным и частным, были вынуждены обратиться к нему как к типу и предшественнику Крития и Алкивиада.

В конце концов, это раздражение и последовавший за ним обвинительный приговор не были полностью виной дикастов, не были полностью вызваны его обвинителями и его многочисленными личными врагами. Такой вердикт не был бы вынесен, если бы не то, что мы

должны назвать согласием и попустительством самого Сократеса. Это один из самых важных фактов в деле, касающийся как его самого, так и афинян.

Из его собственного заявления в "Платоновой защите" мы узнаем, что обвинительный приговор был вынесен большинством в пять или шесть голосов среди такого многочисленного состава, как афинская дикастерия; вероятно, общим числом пятьсот пятьдесят семь человек,^[768] если можно доверять путаному заявлению Диогена Лаэртца. Любопытно, кто прочтет эту защиту и рассмотрит ее в сочетании с обстоятельствами дела и чувствами дикастов, увидит, что ее суть такова, что против него должно было быть подано гораздо большее число голосов, чем шесть. И мы узнаем из четкого свидетельства Ксенофонта,^[769] что Сократес подошел к своему суду с чувствами человека, который вряд ли хотел быть оправданным. Он не думал о подготовке своей защиты, а когда его друг Гермогенес заговорил с ним о серьезных последствиях такого упущения, он ответил, во-первых, что праведная и безупречная жизнь, которую он признавал, была лучшей из всех приготовлений к защите; во-вторых, когда он начал размышлять о том, что ему следовало бы сказать, божественный знак запретил ему это делать. Далее он сказал, что нет ничего удивительного в том, что боги сочли лучшим для него умереть сейчас, чем жить дольше. До сих пор он жил в полном довольстве, с сознанием прогрессирующего нравственного совершенствования и с уважением, заметным и неослабевающим, со стороны своих друзей. Если бы его жизнь была продлена, старость скоро одолела бы его; он потерял бы частично зрение, слух или интеллект; и жизнь с такой ослабленной эффективностью и достоинством была бы для него невыносима. Если же его осудят сейчас, то осудят несправедливо, что будет большим позором для его судей, но не для него самого; более того, это вызовет к нему еще больше симпатии и восхищения и более охотное признание со стороны всех, что он был и справедливым человеком, и хорошим наставником"^[770].

Эти слова, сказанные перед судом, свидетельствуют о состоянии убежденности, которое объясняет суть защиты и является одним из существенных условий окончательного результата. Они доказывают, что Сократес не только мало заботился о том, чтобы быть оправданным, но даже считал, что приближающийся суд был назначен богами как срок его жизни, и что были веские причины, по которым он должен был предпочесть такое завершение, как лучшее для себя. Не удивительно, что он придерживался такого мнения, если вспомнить, что в нем полностью возобладала сильная внутренняя совесть и разумные размышления, основанные на изначально бесстрашном темпераменте и заглушающие то, что Платон^[771] называет "ребенком внутри нас, который трепещет перед смертью"; его огромную любовь к разговорному влиянию и неспособность жить без него; его преклонный возраст, уже семьдесят лет, делающий невозможным, чтобы такое влияние продолжалось долго, и возможность, предоставленная ему, возвышающемуся над обычными людьми в подобных обстоятельствах, прочитать впечатляющий урок, а также оставить после себя репутацию, еще более возвышенную, чем та, которую он приобрел до сих пор. Именно в таком настроении Сократес явился на суд и предпринял свою непродуманную защиту, суть которой мы читаем в "Апологии Платона". Его расчеты, в равной степени благородные и взвешенные, полностью оправдались. Если бы он был оправдан после такой защиты, это было бы не только триумфом над его личными врагами, но и санкцией народа и народной дикастерии на его учение, которое, самом деле, Анит^[772] в своем обвинительном аргументе в отношении оправдания вообще, еще до того, как он услышал защиту: тогда как его осуждение и чувства, с которыми он его встретил, пролили двойной и тройной блеск на всю его жизнь и характер.

Предваряемая таким изложением чувств Сократеса, "Платоновская защита" становится не просто возвышенной и впечатляющей, но и проявлением разумной и последовательной цели. Она

действительно включает в себя защиту себя от двух из трех пунктов обвинения: от обвинения в неверии в признанных афинских богов и от обвинения в развращении молодежи; о втором из трех пунктов, по которому его обвиняли в религиозном новаторстве, он практически ничего не говорит. Но это несколько не похоже на речь человека, стоящего на суде над ним, когда перед ним в открытом зале висит письменное обвинение, завершающееся словами "Наказание - смерть". Напротив, это наглядный урок для слушателей, воплощенный в откровенном излиянии бесстрашной и самоотверженной совести. Он предпринимается с самого начала, потому что так велит закон; со слабым желанием, и даже не безусловным желанием, но без надежды, что это удастся".[773] Сначала Сократес отвечает на антипатию против него, которая возникла из-за множества врагов, которых возбудил против него его перекрестный допрос Эленха, и из-за тех ложных сообщений, распространению которых так способствовали аристофановские "Облака". Объясняя возникновение этих антипатий, он внушает дикастам божественную миссию, в соответствии с которой он действовал, не без значительных сомнений в том, что они поверят ему всерьез;[774] и дает то интересное изложение своей интеллектуальной кампании, направленной против "мнимости знания без реальности", о которой я уже говорил. Затем он переходит к обвинительному заключению, задает Мелету вопросы в открытом суде и разбирает его ответы. Опровергнув обвинение в нерелигиозности, он вновь возвращается к императивному предписанию богов, в соответствии с которым он действует: "Провести свою жизнь в поисках мудрости и в изучении себя и других"; - мандат, послушавшись которого, он будет справедливо обвинен в нерелигиозности;[775] и он ясно объявляет дикастам, что, даже если бы они теперь оправдали его, он не может и не хочет ослабить курс, которого придерживался. [Он считает, что возложенная на него миссия - одно из величайших благодеяний, когда-либо дарованных богами Афинам[776]. Он осуждает тот ропот удивления или недовольства, который его речь, очевидно, вызывала не раз,[778] хотя не столько из-за него самого, сколько из-за дикастов, которым будет полезно его выслушать и которые гораздо больше навредят себе и своему городу, чем ему, если сейчас вынесут осуждение.[779] Не от себя он хотел защититься, а от афинян, чтобы они, осудив его, не погрешили против милостивого благословения бога; им нелегко будет найти другого, если они предадут его смерти.[780] Хотя его миссия побуждала его к неутомимой деятельности в индивидуальных беседах, божественное знамение всегда запрещало ему принимать активное участие в общественных процессах; в двух исключительных случаях, когда он публично выступал вперед, - один раз при демократии, другой раз при олигархии, - он проявлял ту же решимость, что и сейчас; его не отвратить никакими ужасами от того курса, который он считал справедливым.[781] Молодые люди, слушая его перекрестные допросы, получали не только удовольствие, но и улучшение; в доказательство обвинения, что он их развратил, не было представлено ни одного доказательства; ни одного из них, которые, будучи когда-то молодыми, когда они наслаждались его беседой, с тех пор стали пожилыми, ни одного из их родственников; в то время как он, со своей стороны, мог привести множество свидетельств улучшающего влияния его общества, от родственников тех, кто извлек из него пользу.[782]

"Ни один человек (говорит он) не знает, что такое смерть; но люди боятся ее так, как будто хорошо знают, что это величайшее из всех зол, а это как раз случай худшего из всех невежеств - самомнения, что знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Со своей стороны, именно в этом я отличаюсь от большинства других людей, если я хоть в чем-то мудрее их; как я ничего не знаю об Аиде, так я не претендую ни на какое знание; но я хорошо знаю, что неповиновение кому-то лучшему, чем я сам, будь то бог или человек, - это и зло, и позор; и я никогда не приму зла, чтобы избежать зла, которое, насколько я знаю, может быть благом.[783] Возможно, вас возмутит решительный тон моей защиты; вы, наверное, ожидали, что я поступлю так же, как большинство других людей в менее опасных испытаниях, чем мое; что я буду плакать, умолять и просить сохранить мне жизнь и приведу своих детей и родственников, чтобы они сделали то же самое. У меня есть родственники, как у других людей, и трое детей; но ни один из них не предстанет перед

вами с подобной целью. Не из-за наглости с моей стороны, не из-за желания нанести вам урон, но потому, что я считаю такое поведение унижительным для репутации, которой я пользуюсь; ведь я *имею* среди вас репутацию превосходства, заслуженную или незаслуженную, как бы то ни было. Это позор для Афин, когда ее уважаемые люди опускают себя, как они это делают слишком часто, такими подлыми и трусливыми мольбами; и вы, дикасты, вместо того, чтобы побудить их пощадить, должны скорее осудить их за такое бесчестие города.^[784] Помимо моей репутации, я также должен быть виновным человеком, если я пытаюсь склонить вас к мольбам. Мой долг - наставлять и убеждать вас, если я могу; но вы поклялись следовать своим убеждениям и судить по законам, а не заставлять законы прогибаться под ваше пристрастие; и это ваш долг. Я не вправе приучать вас к лжесвидетельству; не вправе прививать вам такую привычку. Поэтому не требуй от меня действий, бесчестных по отношению к себе, а также преступных и нечестивых по отношению к тебе, особенно в тот момент, когда я сам опровергаю обвинение в нечестии, выдвинутое Мелетом. Предоставляю тебе и богу решить, как будет лучше и для меня, и для тебя"^[785].

Никто из тех, кто читает "Платонову апологию" Сократеса, не пожелает, чтобы он защищался как-то иначе. Но это речь того, кто сознательно отказывается от непосредственной цели защиты - убедить своих судей; кто говорит для потомков, не заботясь о собственной жизни: "*solâ posteritatis curâ, et abruptis vitæ blandimentis.*"^[786] Эффект, произведенный на дикастов, был таким, какой Сократес предвидел заранее и услышал потом без удивления, как и без разочарования, в обвинительном приговоре. Единственное, что его удивило, - это крайне незначительное большинство, которым был вынесен этот вердикт^[787]. Никогда прежде афинские дикасты не слышали такой речи, обращенной к ним. Хотя все они, несомненно, знали Сократеса как очень способного и весьма эксцентричного человека, в отношении его целей и характера они расходились: одни относились к нему с безоговорочной враждебностью, другие - с почтительным восхищением, еще большее число - с простым преклонением перед способностями, без каких-либо решительных чувств антипатии или почтения. Но все эти три категории, едва ли не исключая даже его поклонников, почувствовали бы, что речь несет в себе одно жало, которое никогда не проходит мимо гневных чувств судейской груди, независимо от того, один ли судья на заседании, несколько или много, - жало "оскорбления суда". Афинские дикасты всегда привыкли, чтобы к ним обращались с почтением, часто с подобострастием: теперь они слушали лекцию философа, который стоял перед ними как бесстрашный и неуязвимый начальник, неподвластный им, но ожидающий их вердикта; который претендовал на божественную миссию, которую, вероятно, многие из них считали самозванством, и который объявил себя вдохновенным искоренителем "мнимого знания без реальности", чего многие не понимали, а некоторые не любили. Многим его поведение показалось бы дерзостью, не лишенной аналогии с Алкивиадом или Критием, с которыми его сравнивал обвинитель. Я уже отмечал, говоря о суде над ним, что, учитывая количество личных врагов, которых он нажил, удивительно не то, что его вообще судили, а то, что его не судили до столь позднего возраста: теперь я отмечаю, говоря о приговоре, что, учитывая его речь перед дикастерией, мы не можем удивляться тому, что его признали виновным, но только тому, что этот приговор был вынесен столь малым большинством, как пять или шесть.

О том, что осуждение Сократеса было вызвано именно тоном и тоном его защиты, прямо свидетельствует Ксенофонт. "Другие люди на суде (говорит он) защищались так, чтобы заручиться благосклонностью дикастов, или льстили, или уговаривали их, вопреки законам, и таким образом добивались оправдания. Но Сократес не желал прибегать ни к чему из этой обычной практики дикастеров, противоречащей законам. Хотя *дикасты могли бы легко отпустить его, если бы он сделал что-либо подобное, даже в меру*, он предпочитал придерживаться законов и умереть, чем спасать свою жизнь, нарушая их"^[788] Теперь никто

в Афинах, кроме Сократеса, вероятно, не истолковал бы законы как требующие такого тона речи, который он принял; да и сам он не истолковал бы их так, будь он на двадцать лет моложе, с меньшим приобретенным достоинством и большим количеством лет возможной полезности, открытых перед ним. Не унижая себя неподобающей лестью или мольбами, он избегал бы читать им лекции как господин и начальник, [789] или демонстративно утверждать божественную миссию для целей, которые они вряд ли поймут, или независимость их вердикта, которую они могли бы расценить как пренебрежение. Говорят, что ритор Лисий прислал ему сочиненную речь в свою защиту, которую он отказался использовать, не сочтя ее подходящей для своего достоинства. Но такой человек, как Лисий, вряд ли стал бы сочинять то, что могло бы унижить достоинство даже самого высокого клиента, хотя и рассчитывал бы на результат; не приходится сомневаться, что если бы Сократес произнес эту речь - или даже гораздо менее способную, но оскорбительную, - он был бы оправдан. Квинтилиан, [790] действительно, выражает удовлетворение тем, что Сократес сохранил то возвышенное достоинство, которое выявило самые редкие и возвышенные его качества, но в то же время лишило его всякого шанса на оправдание. Мало кто не согласится с этой критикой: но если взглянуть на приговор, как это следует делать по справедливости, с точки зрения дикастов, то справедливость заставит нас признать, что Сократес сознательно навлек его на себя.

Если приговор о виновности был вынесен Сократесу по его собственному согласию и содействию, то тем более можно сделать аналогичное замечание в отношении последовавшего за ним смертного приговора. В афинском судопроизводстве наказание определялось отдельным голосованием дикастов, которое проводилось после вынесения обвинительного приговора. Обвинитель называл наказание, которое он считал подходящим, обвиняемый со своей стороны называл более мягкое наказание для себя; между этими двумя вариантами дикасты должны были сделать свой выбор, причем третье предложение не допускалось. Благоразумие обвиняемого всегда побуждало его предлагать, даже против самого себя, какую-то меру наказания, которую дикасты могли бы принять, предпочтя более суровый приговор, на который ссылался его противник.

Так, Мелет в своем обвинении и речи против Сократеса призывал к смертной казни. Сократес должен был выступить со своим встречным предложением, и то незначительное большинство, которым был вынесен приговор, служит достаточным доказательством того, что дикасты ни в коем случае не были склонны санкционировать против него высшую меру наказания. Они, несомненно, ожидали, что, в соответствии со сложившейся в афинских судах практикой, он предложит меньшее наказание: штраф, тюремное заключение, изгнание, лишение гражданских прав и т. д. И если бы он сделал это чисто и просто, можно не сомневаться, что предложение прошло бы. Но язык Сократеса после вынесения приговора был в еще большем напряжении, чем до него, а его решимость придерживаться своей точки зрения, не допуская ни малейших смягчений или уступок, только еще более решительно заявила. "Какое встречное предложение я сделаю тебе (сказал он) взамен наказания Мелета? Может быть, я назову тебе то обращение, которое, по моему мнению, я заслужил от твоих рук? В таком случае мое предложение будет заключаться в том, чтобы меня наградили пропитанием за государственный счет в пританеуме; ведь именно этого я действительно заслуживаю как общественный благотворитель; тот, кто пренебрег всеми мыслями о собственных делах и принял добровольную бедность, чтобы посвятить себя вашим интересам и наставлять вас по отдельности в серьезной необходимости умственного и нравственного совершенствования. Разумеется, я не могу признать, что заслужил от вас какое-либо зло; да и не разумно было бы с моей стороны предлагать изгнание или тюремное заключение, которые, как я знаю, являются несомненным и значительным злом, вместо

смерти, которая, возможно, будет не злом, а благом. Я мог бы, конечно, предложить вам денежный штраф, ибо его уплата не была бы злом. Но я беден, и у меня нет денег: все, что я могу собрать, может быть, равняется одной мине, и поэтому я предлагаю вам штраф в одну мину в качестве наказания для себя. Платон и другие близкие мне друзья желают, чтобы я увеличил эту сумму до тридцати мин, и они обязуются заплатить ее за меня. Таким образом, штраф в тридцать мин - это встречное наказание, которое я выношу на ваш суд"[791].

Проживание в пританеуме за государственный счет было одним из величайших почетных отличий, которые когда-либо оказывали афинские граждане; это был знак общественной благодарности. Поэтому то, что Сократес объявил себя достойным такой чести и заговорил о том, чтобы назначить ее себе вместо наказания, перед теми самыми дикастами, которые только что вынесли ему обвинительный приговор, было воспринято ими не иначе как преднамеренное оскорбление; пренебрежение к судебной власти, которое они обязаны были доказать самонадеянному и надменному гражданину, что он не может совершить безнаказанно. Среди тех, кто слушал его речи с величайшим огорчением, были, несомненно, Платон, Крито и другие окружавшие его друзья, которые, хотя и сочувствовали ему всецело, прекрасно понимали, что он обеспечивает успех предложения Мелета,[792] и сожалели, что он таким образом лишает себя жизни из-за, как они полагали, неуместного и ненужного самовосхваления. Если бы он предложил без предисловий штраф в тридцать мин, которым завершилась эта часть его речи, есть все основания полагать, что большинство дикастов проголосовало бы за это.

Каким большинством голосов был вынесен смертный приговор, мы не знаем. Но Сократес не изменил своего тона и не выразил ни малейшего сожаления по поводу языка, с помощью которого он сам упредил своих обвинителей. Напротив, в коротком обращении к дикастам перед отъездом в тюрьму он сказал, что доволен и своим поведением, и результатом. Божественное знамение, которое, по его словам, часто сдерживало его по очень незначительным поводам, как в делах, так и в словах, ни разу не проявилось в течение всего дня, ни когда он пришел туда в первый раз, ни в какой-либо другой момент на протяжении всей его речи. Молчаливое согласие этого непогрешимого наблюдателя убеждало его не только в том, что он говорил правильно, но и в том, что вынесенный приговор на самом деле не был для него злом; что умереть сейчас - это лучшее, что могло с ним случиться.[793] Либо смерть была равносильна крепкому, вечному и беспробудному сну, который, по его мнению, был бы не потерей, а скорее приобретением по сравнению с нынешней жизнью; либо, если обычные мифы были правдой, смерть перенесла бы его во вторую жизнь в Аид, где он нашел бы всех героев Троянской войны и вообще прошлого, чтобы вместе с ними заняться взаимным перекрестным допросом и спорами об этическом прогрессе и совершенстве.[794]

Нет сомнений, что Сократес действительно рассматривал приговор с этой точки зрения, а также его друзья после того, как событие произошло, хотя, несомненно, не в тот момент, когда они собирались его потерять. Он занял свою линию обороны разумно и с полным знанием результата. Это дало ему прекраснейшую возможность впечатляющим образом продемонстрировать как свое личное превосходство над человеческими страхами и слабостями, так и достоинство того, что он считал своей божественной миссией. Она унесла его в полном величии и славе, как закат тропического солнца, в тот момент, когда старческий упадок мог показаться близким. Он рассчитывал, что его защита и поведение на суде станут самым ярким уроком, который он мог бы преподать афинской молодежи; более ярким, вероятно, чем все те уроки, которые могла бы преподнести ему оставшаяся жизнь, если бы он построил свою защиту иначе. Это предвосхищение последствий заключительной

сцены его жизни, ставящей печать на всех его предыдущих выступлениях, проявляется в части его заключительных слов к дикастам, где он говорит им, что, предав его смерти, они не избавятся от назойливости перекрестного допроса Эленха; что множество молодых людей, более беспокойных и навязчивых, чем он, уже несли в себе этот импульс, который они теперь применяют; его превосходство до сих пор сдерживало их.^[795] Таким образом, Сократес был убежден, что его удаление послужит сигналом для многочисленных апостолов, которые с еще большей энергией приступят к тому процессу допроса и подстегивания, которому он посвятил свою жизнь и который, несомненно, был для него гораздо дороже и священнее, чем его жизнь. Ничто не могло быть более действенным, чем его возвышенная позиция во время испытания, чтобы воспламенить энтузиазм молодых людей, предрасположенных к этому; и потеря жизни была для него компенсирована миссионерскими преемниками, которых он рассчитывал оставить после себя.

При обычных обстоятельствах Сократес выпил бы чашу болиголова в тюрьме, на следующий день после суда. Но так случилось, что день вынесения приговора был сразу после того, как священный корабль отправился в свое ежегодное церемониальное паломничество из Афин на Делос, на праздник Аполлона. До возвращения этого корабля в Афины считалось нечестивым предавать кого-либо смерти по решению государственной власти. Поэтому Сократес оставался в тюрьме - и, как нам больно читать, фактически с цепями на ногах - в течение всего тридцати дней, пока корабль отсутствовал. Его друзья и спутники имели к нему свободный доступ, проводя с ним в тюрьме почти все время; а Крито даже разработал план побега, подкупив тюремщика. Осуществлению этого плана помешал лишь решительный отказ Сократеса стать участником любого нарушения закона;^[796] решение, которое мы должны были ожидать как само собой разумеющееся, после той линии, которую он занял в своей защите. Дни он проводил в тюрьме, рассуждая на этические и человеческие темы, которые составляли очарование и занятие его предыдущей жизни: именно к последнему из этих дней относится его разговор с Симмиасом, Кебезом и Федоном о бессмертии души в платоновском диалоге под названием "Федон". В этом разговоре основные темы и доктрины скорее платонические, чем сократические. Но картина, которую представляет диалог о нраве и душевном состоянии Сократеса в последние часы его жизни, отличается бессмертной красотой и интересом, демонстрируя его безмятежное и даже игривое спокойствие среди неконтролируемых эмоций окружающих его друзей, - подлинное, ничем не принужденное убеждение, что смертный приговор для него не беда, и неуклонное сохранение того искреннего интереса к улучшению человека и общества, который на протяжении стольких лет был его главным побуждением и активным занятием. Детали последней сцены переданы с точностью до мельчайших деталей, вплоть до момента его решения; утешительно отметить, что чаша болиголова - средство, применявшееся для казней по общественному приказу в Афинах, - произвела свое действие путем шагов, гораздо более свободных от страданий, чем любая естественная смерть, которая могла его постигнуть. Те, кто читал о сильных религиозных убеждениях Сократеса, не будут удивлены, узнав, что его последние слова, обращенные к Крито непосредственно перед тем, как он впал в бесчувственное состояние, были: "Крито, мы в долгу перед Эскулапием: отдай долг и ни в коем случае не опускай его"^[798].

Так погиб "parens philosophiæ", первый из этических философов; человек, открывший науке как новую материю, столь же богатую и ценную, так и новый метод, запоминающийся не столько своей оригинальностью и эффективностью, сколько глубокой философской основой, на которой он покоится. Хотя Греция произвела на свет великих поэтов, ораторов, философов-спекулянтов, историков и т. д., другие страны, имевшие в своем распоряжении греческую литературу, почти сравнялись с ней во всех этих областях, а в некоторых и

превзошли ее. Но где же искать параллель Сократесу - в греческом мире или за его пределами? Перекрестный эленхус, который он не только впервые применил, но и использовал с таким бесподобным эффектом и в таких благородных целях, немой со времени его последнего разговора в тюрьме; ведь даже его великий преемник Платон был писателем и лектором, а не разговорным диалектиком. Не нашлось ни одного человека, который был бы достаточно силен, чтобы согнуть его лук, и уж тем более достаточно уверен, чтобы использовать его так же, как он. Его жизнь остается единственным, но весьма удовлетворительным свидетельством того, как много можно сделать с помощью такого рода интеллектуального опроса; как силен интерес, который можно вызвать; как энергичен стимул, который он может применить для пробуждения дремлющего разума и порождения новой умственной силы.

Часто принято выставлять Сократеса в качестве проповедника морали, в этом качестве он, вероятно, и приобрел всеобщее почитание, связанное с его именем. Это, действительно, верный атрибут, но не характерный и не основной, не тот, которым он постоянно воздействовал на человечество. С другой стороны, Аркесилай и Новая Академия,^[799] спустя столетие и больше, думали, что следуют примеру Сократа, и Цицерон, кажется, тоже так думал, когда рассуждал против всего; и когда они установили систему, что против каждого утвердительного положения можно выдвинуть равную силу отрицательного аргумента в качестве противовеса. Такой взгляд на Сократеса, на мой взгляд, не просто частичен, но и неверен. Он не питал такого систематического недоверия к способностям разума достигать определенности. Он проводил четкую, хотя и ошибочную линию различия между познаваемым и непознаваемым. В отношении физики он был более чем скептиком; он считал, что человек ничего не может знать; боги не собирались, чтобы человек получал какую-либо подобную информацию, и поэтому управляли делами таким образом, чтобы они были недоступны его пониманию, за исключением простейших явлений повседневной жизни; более того, не только человек не может получить такую информацию, но и не должен стремиться к ней. Но в отношении тем, которые касаются человека и общества, взгляды Сократеса были полностью противоположными. Это была область, которую боги явно предназначили не просто для человеческой практики, но для изучения и приобретения знаний; область, в которой они с этой точки зрения управляли явлениями на принципах постоянной и наблюдаемой последовательности, так что каждый человек, прилагающий необходимые усилия, мог их познать. Но Сократес пошел еще дальше, и этот шаг - основополагающее убеждение, на котором зиждется весь его миссионерский порыв. Он считал, что каждый человек не только может знать эти вещи, но и должен их знать; что он не может действовать правильно, если не знает их; и что его непреложный долг - изучить их, как изучают профессию; в противном случае он не более чем раб, которому нельзя доверять как свободному и подотчетному существу. Сократес был убежден, что ни один человек не может вести себя как справедливый, умеренный, мужественный, благочестивый, патриотичный агент, если он не научит себя правильно понимать, что такое справедливость, умеренность, мужество, благочестие, патриотизм и т. д. на самом деле. Он был одержим истинно бэконовской идеей, что сила устойчивого морального действия зависит от рационального понимания моральных целей и средств и ограничивается ими. Но когда он смотрел на окружающие его умы, то понимал, что лишь немногие или вообще никто не обладает таким пониманием и не учился его приобретать; в то же время каждый человек был убежден, что обладает им, и уверенно действовал в соответствии с этим убеждением. Итак, Сократес обнаружил, что первой задачей, которую ему необходимо было преодолеть, было то всеобщее "представление о знании без реальности", против которого он так решительно воюет; против которого также, хотя и в другой форме слов и применительно к другим предметам, не менее решительно воюет Бэкон две тысячи лет спустя: "Opinio coriæ inter

causas inopriæ est". Сократес обнаружил, что те представления о человеческих и общественных делах, на которые опирался и действовал каждый человек, были не чем иным, как спонтанными продуктами "intellectus sibi permissus", интеллекта, предоставленного самому себе либо без всякого руководства, либо только со слепым руководством симпатий, антипатий, авторитета или молчаливого усвоения. Это были продукты, собранные вместе, говоря языком Бэкона, "из многих верований и многих случайностей, и из примитивных предложений детства", не только без заботы или изучения, но даже без сознания процесса, и без последующего пересмотра. На этом основании софисты, или исповедуемые учителя для активной жизни, пытались возвести надстройку из добродетелей и способностей; но Сократесу такая попытка казалась безнадежной и противоречивой - не менее неосуществимой, чем в свое время Бэкон считал неосуществимым возвести дерево науки к величию и плодоношению, не очистив сначала от тех фундаментальных пороков, которые лежали без присмотра и ядовитого влияния вокруг его корня. Сократес принялся за работу в бэконовском духе, подвергая перекрестному исследованию, как первому условию дальнейшего совершенствования, эти грубые, самозародившиеся, бессвязные обобщения, которые выдавались в умах людей за компетентное и направленное знание. Но он, не в меньшей степени, чем Бэкон, проводит этот анализ не с целью окончательного отрицания, а как первый этап на пути к скрытой выгоде; как предварительное очищение, необходимое для будущего положительного результата. В физических науках, на которые в первую очередь обращал внимание Бэкон, такой результат не мог быть получен без усовершенствованных экспериментальных исследований, выявляющих новые, еще неизвестные факты; но в тех темах, которые обсуждал Сократес, элементарные данные исследования были в опыте слушателя, требовалось только обратить его внимание, как утвердительно, так и отрицательно, вместе с соответствующей этической и политической целью; таким образом, чтобы стимулировать в нем рациональные усилия, необходимые для объединения их заново на основе последовательных принципов.

Если философы Новой Академии считали Сократеса скептиком или сторонником систематического отрицания, то они неверно истолковали его характер и приняли первый этап его процесса - тот, который Платон, Бэкон и Гершель называют очищением интеллекта, - за конечную цель. Эленхус, как его использовал Сократес, был одушевлен самым истинным духом позитивной науки и являлся необходимым предшественником ее достижения[800].

Есть два пункта, и только два, в темах, касающихся человека и общества, в отношении которых Сократес является скептиком; или, скорее, , которые он отрицает; и на отрицании которых строится весь его метод и цель. Он отрицает, во-первых, что люди могут знать то, на что они не потратили ни сознательных усилий, ни преднамеренных мук, ни систематического изучения в процессе обучения. Далее он отрицает, что люди могут практиковать то, чего они не знают;[801] что они могут быть справедливыми, умеренными или добродетельными в целом, не зная, что такое справедливость, умеренность или добродетель. Запечатлеть в умах слушателей свое собственное отрицательное убеждение по этим двум пунктам - вот, действительно, его первая задача и главная цель его многообразного диалектического маневрирования. Но хотя Сократес и отрицателен в своих средствах, он строго положителен в своих целях; его нападки предпринимаются только с явным расчетом на положительный результат; чтобы посрамить слушателей, избавить их от иллюзии знания, подстегнуть и вооружить их для приобретения настоящего, уверенного, всеобъемлющего, самообъясняющего знания, как условия и гарантии добродетельной практики. Сократес был, действительно, скептиком наоборот; ни один человек никогда не смотрел на жизнь более позитивно и практично; ни один человек не шел к своей цели с более ясным восприятием дороги, по которой он шел; ни один человек никогда не соединял подобным

образом всепоглощающий энтузиазм миссионера[802] с остротой, оригинальностью, изобретательским ресурсом и обобщающим пониманием философа.

Его метод сохранился, насколько он вообще может сохраниться, в некоторых диалогах Платона. Это процесс, имеющий вечную ценность и универсальное применение. То очищение интеллекта, которое Бэкон назвал необходимым для рационального или научного прогресса, сократовский эленхус представляет собой единственный известный инструмент для его хотя бы частичного осуществления. Как бы мало ни применялся этот инструмент после смерти его изобретателя, необходимость и использование его не исчезли и никогда не исчезнут. Мало найдется людей, чей разум не находится в большей или меньшей степени в том состоянии мнимого знания, против которого вел войну Сократес: нет человека, чьи представления не были бы сначала собраны вместе спонтанной, непроверенной, бессознательной, несертифицированной ассоциацией, опирающейся на забытые детали, смешивающей разрозненные или непоследовательные вещи, оставляющей в его уме старые и знакомые фразы и прорицательские предложения, о которых он никогда не давал себе отчета: Нет человека, который, если он предназначен для энергичной и прибыльной научной деятельности, не считал бы необходимой отраслью самообразования расщепление, распутывание, анализ и реконструкцию этих древних ментальных соединений; и который не был бы вынужден делать это своими собственными хромыми и одинокими усилиями, поскольку гигант разговорного *elenchus* больше не стоит на рыночной площади, чтобы оказать ему помощь и стимулировать его.

Известие о том, что какой-либо человек, особенно столь прославленный, был приговорен к смерти по таким обвинениям, как ересь и якобы развращение молодежи, вызывает в наши дни чувство возмущенного осуждения, силу которого я не хочу ослаблять. Этот факт навечно записан как одно из тысячи злодеяний нетерпимости, религиозной и политической. Но поскольку в этом каталоге каждый пункт имеет свой особый характер, тяжелый или легкий, мы должны рассмотреть, на какой чаше весов должно находиться осуждение Сократеса и какие выводы оно делает в отношении характера афинян. Если мы рассмотрим обстоятельства дела, то обнаружим, что все они оправдывающие, причем настолько весомые, что сводят подобные выводы к минимуму, соответствующему общему классу, к которому относится инцидент.

Во-первых, преобладающие сейчас настроения основаны на убеждении, что такие вопросы, как ересь и еретическое обучение молодежи, не подлежат судебному рассмотрению. Даже в современном мире такое убеждение появилось недавно, а в V веке до н. э. оно было неизвестно. Сам Сократес не согласился бы с ним, и все греческие правительства, как олигархические, так и демократические, признавали обратное. Свидетельство Платона является решающим в этом вопросе. Рассматривая два позитивных сообщества, которые он создает в трактатах "О республике" и "О законах", мы обнаруживаем, что нет ничего, о чем бы он беспокоился больше, чем об установлении непреклонной ортодоксии доктрины, мнения и образования. В платоновской республике инакомыслящему и свободному учителю, каким был Сократес в Афинах, не позволили бы заниматься своим делом и недели. Платон, конечно, не осудил бы его на смерть; но он заставил бы его замолчать, а в случае необходимости отослал бы его прочь. Это, собственно, и есть последовательный вывод, если допустить, что государство должно определять, что *есть* ортодоксия и ортодоксальное учение, и подавлять то, что противоречит его собственным взглядам. Теперь все греческие государства, включая Афины, придерживались этого принципа[804] вмешательства в дела инакомыслящих учителей. Но в Афинах, хотя этот принцип и был признан, его применению

противостояли силы сопротивления, которых он не встречал в других местах; демократическая конституция с ее свободой слова и любовью к слову, более активная пружина индивидуального интеллекта и терпимость, большая, чем где-либо, проявляемая к особенностям каждого человека любого рода. В любом другом государстве Греции, как и в платоновской республике, Сократес был бы быстро задержан в своей карьере, даже если бы не был сурово наказан; в Афинах же ему позволили говорить и учить публично в течение двадцати пяти или тридцати лет, а затем осудили, когда он был уже стариком. Из этих двух применений одного и того же вредоносного принципа, несомненно, последний является одновременно более умеренным и менее вредоносным.

Во-вторых, сила этого последнего соображения как смягчающего обстоятельства в отношении афинян значительно возрастает, если мы подумаем о количестве индивидуальных врагов, которых Сократес нажил себе в процессе перекрестного допроса. Здесь было множество людей, включая лично самых выдающихся и влиятельных в городе, побуждаемых особыми антипатиями, помимо общих убеждений, чтобы привести в действие дремлющий государственный принцип нетерпимости к несносному учителю. Если при таких провокациях ему позволили достичь семидесятилетнего возраста и публично говорить столько лет, прежде чем появился настоящий Мелет, это наглядно свидетельствует о действенности сдерживающих настроений в народе, которые сделали его практические привычки более либеральными, чем исповедуемые им принципы.

В-третьих, тот, кто читал рассказ о суде и защите Сократеса, увидит, что он сам внес не меньший вклад в результат, чем все три обвинителя вместе взятые. Он не только не сделал всего того, что можно было сделать без позора, чтобы добиться оправдательного приговора, но и придерживался положительных формулировок, почти таких же, какие пытался вложить в его уста сам Мелет. Он сделал это сознательно, будучи высокого мнения и о себе, и о своей миссии, и считая, что чаша болиголова в его возрасте - не беда. Только благодаря такому заметному и оскорбительному самовозвеличиванию он привел к первому голосованию дикастерия, даже тогда самым узким большинством голосов, которым он был признан виновным: только благодаря еще более усугубленному проявлению того же рода, даже до уровня чего-то похожего на оскорбление, он привел ко второму голосованию, которое вынесло смертный приговор. Было бы нескромно не учесть, какое влияние оказало такое разбирательство на умы дикастерия. Они вовсе не были склонны по собственной воле приводить в действие признанный принцип нетерпимости по отношению к нему. Но когда они обнаружили, что человек, стоявший перед ними и обвиненный в этом преступлении, обратился к ним таким тоном, какого дикасты никогда раньше не слышали и вряд ли могли спокойно выслушать, они не могли не почувствовать склонности поверить всем худшим выводам, которые предлагали его обвинители, и рассматривать Сократеса как опасного человека как в религиозном, так и в политическом отношении, против которого необходимо поддерживать величие суда и конституции.

Таким образом, оценивая этот памятный инцидент, можно сказать, что хотя вредоносный принцип нетерпимости нельзя отрицать, однако все обстоятельства показывают, что этот принцип не был ни раздражительным, ни преобладающим в афинской груди; что даже большое количество сопутствующих антипатий не вызывало его с готовностью против какого-либо отдельного человека; что более либеральные и великодушные склонности, которые ослабляли его злобу, были устойчивы и нелегко преодолевались; и что осуждение должно считаться одним из наименее мрачных пунктов в мрачном по сути каталоге.

Добавим, что, поскольку сам Сократес не считал свое осуждение и смерть в его возрасте каким-то несчастьем, а скорее благосклонным расположением богов, которые избавили его

как раз вовремя, чтобы избежать того болезненного сознания интеллектуального упадка, которое побудило Демокрита приготовить яд для себя, его друг Ксенофонт идет на шаг дальше и, протестуя против обвинительного приговора, превозносит способ смерти как предмет триумфа; как самый счастливый, самый почетный и самый благодатный способ, которым боги могли поставить печать на полезной и возвышенной жизни".[805]

Диодор утверждает, а другие более поздние авторы повторяют с преувеличениями, что после смерти Сократеса афиняне горько раскаивались в том, как они с ним обошлись, и что они даже зашли так далеко, что предали смерти его обвинителей без суда.[806] Я не знаю, на каком основании сделано это заявление, и совершенно ему не верю. Судя по тону "Меморабилий" Ксенофонта, есть все основания предполагать, что память о Сократесе все еще оставалась непопулярной в Афинах, когда был составлен этот сборник. Платон тоже покинул Афины сразу после смерти своего учителя и отсутствовал в течение долгих лет: косвенно, я думаю, это позволяет предположить, что в афинских настроениях не произошло такой реакции, как та, о которой говорит Диодор; и это же предположение подтверждается тем, как оратор Эсхинес говорит об осуждении, спустя полвека после этого. Я не вижу причин полагать, что афинские дикасты, которые, несомненно, считали себя оправданными и более чем оправданными, осудив Сократеса после его речи, отказались от этого мнения после его смерти.

ФУТБОЛЬНЫЕ ССЫЛКИ

[1] См. Thucyd. v, 36.

[2] Thucyd. viii, 45. Καὶ ἀπ' αὐτῶν ἀφικομένης ἐπιστολῆς πρὸς Ἀστύοχον ἐκ Λακεδαιμόνου ὥστ' ἀποκτεῖναι (ἦν γὰρ καὶ τῷ Ἀγιδι ἐχθρὸς καὶ ἄλλως ἄπιστος ἐφαίνετο), и т. д.

[3] Thucyd. viii, 45, 46.

[4] Thucyd. viii, 46-52.

[5] Thucyd. viii, 45. Οἱ δὲ τὰς ναῦς ἀπολείπωσιν, οὐχ ὑπολιπόντες ἐς ὁμήρειαν τὸν προσοφειλόμενον μισθόν.

Этот отрывок вызывает сомнения как в тексте, так и в переводе. Среди множества различных объяснений, приводимых комментаторами, я принимаю объяснение д-ра Арнольда как наименее неудовлетворительное, хотя и без уверенности в его правильности.

[6] Thucyd. viii, 45. Τὰς τε πόλεις δεομένας χρημάτων ἀπήλασεν, αὐτὸς ἀντιλέγων ὑπὲρ τοῦ Τισσαφέρνους, ὡς οἱ μὲν Χῖοι ἀναίσχυντοι εἶεν, πλουσιώτατοι ὄντες τῶν Ἑλλήνων, ἐπικουρία δὲ ὅμως σωζόμενοι ἀξιοῦσι καὶ τοῖς σώμασι καὶ τοῖς χρήμασι ἄλλους ὑπὲρ τῆς ἐκείνων ἐλευθερίας κινδυνεύειν.

[7] Thucyd. viii, 46. Τὴν τε τροφὴν κακῶς ἐπόριζε τοῖς Πελοποννησίοις καὶ ναυμαχεῖν οὐκ εἶα- ἀλλὰ καὶ τὰς Φοινίσσας ναῦς φάσκων ἥξειν καὶ ἐκ περιόντος ἀγωνιεῖσθαι ἔφθειρε τὰ πράγματα καὶ τὴν ἀκμὴν τοῦ ναυτικοῦ αὐτῶν ἀφείλετο, γενομένην καὶ πάνυ ἰσχυράν, τὰ τε ἄλλα, καταφανέστερον ἢ ὥστε λανθάνειν, οὐ προθύμως ξυνεπολέμει.

[8] Thucyd. viii, 47. Τὰ μὲν καὶ Ἀλκιβιάδου προσπέμψαντος λόγους ἐς τοὺς δυνατωτάτους αὐτῶν (Ἀθηναίων) ἄνδρας, ὥστε μνησθῆναι περὶ αὐτοῦ ἐς τοὺς βελτίστους τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἐπ' ὀλιγαρχίᾳ βούλεται, καὶ οὐ πονηρίᾳ οὐδὲ δημοκρατίᾳ τῇ ἑαυτὸν ἐκβαλοῦσῃ, κατελθὼν, etc.

[9] Thucyd. viii, 47.

[10] Thucyd. viii, 48.

[11] В одной из ораций Лисия (Orat. xxv, Δήμου Καταλύσεως Ἀπολογία, с. 3, р. 766, Reisk.) утверждается, что Фриних и Пейсандр участвовали в этом олигархическом заговоре с целью оправдаться за преступления, совершенные при демократии. Но это утверждение ничем не подкреплено, и рассказ Фукидида придает их поведению совсем другую окраску.

Пейсандр теперь служил с оружием на Самосе; кроме того, его решительность и энергия, о которых мы сейчас расскажем, когда он взял на себя грозную инициативу по уничтожению афинской демократии, является для меня достаточным доказательством того, что насмешки комических писателей над его трусостью необоснованны. Ксенофонт в "Симпозиуме" повторяет эту насмешку (ii, 14), которая также встречается у Аристофана, Евполиса, Платона Комика и других: см. отрывки, собранные в Meineke, *Histor. Critic. Comicor. Græcorum*, vol. i, p. 178, etc.

Современные авторы греческой истории часто повторяют такие горькие шутки, как будто они являются подлинными и достоверными свидетельствами против клеветника.

[12] В одной из ораций Лисия утверждается, что Фриних изначально был беден и держал овец в сельской части Аттики; затем он поселился в городе и занимался тем, что называлось *подхалимством*, или ложными и досадными обвинениями перед дикастерией и общественным собранием (Lysias, Orat. xx. pro Polystrato, с. 3, р. 674, Reisk.).

[13] Thucyd. viii, 48. Τὰς τε ξυμμαχίδας πόλεις, αἷς ὑπεσχῆσθαι δὴ σφᾶς ὀλιγαρχίαν, ὅτι δὴ καὶ αὐτοὶ οὐ δημοκρατήσονται, εὖ εἰδέναι ἔφη ὅτι οὐδὲν μᾶλλον σφίσιν οὔθ' αἱ ἀφεστηκυῖαι προσχωρήσονται, οὔθ' αἱ ὑπάρχουσαι βεβαιότεραι ἔσονται- οὐ γὰρ βουλήσεσθαι αὐτοὺς μετ' ὀλιγαρχίας ἢ δημοκρατίας δουλεύειν μᾶλλον, ἢ μεθ' ὁποτέρου ἂν τύχῃσι τούτων ἐλευθέρους εἶναι. Τοὺς τε καλοὺς κάγαθοὺς ὀνομαζομένους οὐκ ἐλάσσῃ αὐτοὺς νομίζειν σφίσι πράγματα παρέξειν τοῦ δήμου, ποριστὰς ὄντας καὶ ἐσηγητὰς τῶν κακῶν τῷ δήμῳ, ἐξ ὧν τὰ πλείω αὐτοὺς ὠφελεῖσθαι- καὶ τὸ μὲν ἐπ' ἐκείνοις εἶναι, καὶ ἄκριτοι ἂν καὶ βιαιότερον ἀποθνήσκειν, τὸν τε δῆμον σφῶν τε καταφυγὴν εἶναι καὶ ἐκείνων σωφρονιστήν. Καὶ ταῦτα παρ' αὐτῶν τῶν ἔργων ἐπισταμένας τὰς πόλεις σαφῶς αὐτὸς εἰδέναι, ὅτι οὕτω νομίζουσι.

При сравнении олигархии и демократии в Греции вряд ли можно найти более важное свидетельство, чем этот отрывок: свидетельство сравнительных достоинств демократии, произнесенное олигархическим заговорщиком и одобренное историком, который сам недоброжелательно относился к демократии.

[14] Thucyd. viii, 50, 51.

[15] В речи Фераменеса (афинянина), произнесенной во время олигархии Тридцати, семь лет спустя, утверждается, что афинский народ проголосовал за принятие олигархии Четырехсот, поскольку ему сказали, что *лакедемоняне* никогда не доверят демократии (Xenoph. Hellen. ii, 3, 45).

Это совершенно неверно, пример вольного утверждения ораторов в отношении фактов даже не очень давнего прошлого. В тот момент, когда Фераменес говорил это, вопрос о том, какую

политическую конституцию в Афинах лакедемоняне захотят терпеть, был для афинян крайне важен. Фераменес переносит чувства настоящего на происшествия прошлого.

[16] Thucyd. viii, 54. Ὁ δὲ δῆμος τὸ μὲν πρῶτον ἀκούων χαλεπῶς ἔφερε τὸ περὶ τῆς ὀλιγαρχίας-σαφῶς δὲ διδασκόμενος ὑπὸ τοῦ Πεισάνδρου μὴ εἶναι ἄλλην σωτηρίαν, δείσας, καὶ ἅμα ἐλπίζων ὥς καὶ μεταβαλεῖται, ἐνέδωκε.

"Atheniensibus, imminente periculo belli, major salutis quam dignitatis cura fuit. Itaque, permittente populo, imperium ad Senatum transfertur," (Justin, v, 3).

Юстин прав в том, что касается этого голосования: но он не обращает внимания на последующее изменение ситуации, когда установление Четырехсот было завершено без обещанной выгоды от персидского союза, а простым терроризмом.

[17] Οἱ βέλτιστοι, οἱ καλοκάγαθοι, οἱ χαριέντες, οἱ γνώριμοι, οἱ σώφρονες, etc.: le parti honnête et modéré, etc.

[18] Об этих *ξυνωμοσίαι ἐπὶ δίκαις καὶ ἀρχαῖς*, политических и судебных объединениях, см. выше, в настоящей Истории, т. iv, гл. xxxvii, pp. 399, 400; vol. vi, ch. li. pp. 290, 291: см. также Hermann Büttner, Geschichte der politischen Hetærieen zu Athen. pp. 75, 79, Leipsic, 1840.

Похоже, что в Карфагене существовали подобные политические клубы или ассоциации, пользовавшиеся большим влиянием и устраивавшие вечные банкеты для оказания помощи бедным (Aristotel. Polit. ii, 8, 2; Livy, xxxiii, 46; xxxiv, 61; сравните Kluge, ad Aristotel. De Polit. Carthag. pp. 46-127, Wratisl. 1824.

Подобные политические объединения были как долговременными среди римской знати, так и имели большое влияние на политические цели, а также на судебный успех: "coitiones (ср. Cicero pro Cluentio, c. 54, s. 148) honorum adipiscendorum causâ factæ, factiones, sodalitates". Примечателен инцидент, описанный Ливием (ix. 26). Сенат, подозревая характер и деятельность этих клубов, назначил диктатора Менния (в 312 году до н. э.) комиссаром, наделенным всеми полномочиями для расследования и борьбы с ними. Но такова была сила клубов в случае, когда они имели общие интересы и действовали сообща (как это было при Пейсандре в Афинах), что они полностью сорвали расследование и продолжали действовать как прежде. "Nec diutius, ut fit, quam dum recens erat, quæstio per clara nomina reorum viguit: inde labi cœpit ad viliora capita, donec coitionibus factionibusque, adversus quas comparata erat, oppressa est." (Livy. ix, 26.) Сравните Dio. Cass. xxxvii, 57, ο ἑταῖρικὰ триумвиров в Риме. Квинт Цицерон (de Petition. Consulatus. c. 5) говорит своему брату, оратору: "Quod si satis grati homines essent, hæc omnia (т. е. все *субсидии*, необходимые для успеха в его предстоящем избрании) tibi parata esse debebant, sicut parata esse confido. Nam hoc biennio quatuor sodalitates civium ad ambitionem gratiosissimorum tibi obligasti.... Horum in causis ad te deferundis quidnam eorum sodales tibi receperint et confirmarint, scio; nam interfui."

См. Th. Mommsen, De Collegiis et Sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843, ch. iii, sects. 5, 6, 7; также Диссертацию Вундта, вставленную в Onomasticon Tullianum Орелли и Байтера, в последнем томе их издания Цицерона, стр. 200-210, ad Ind. Legum; Lex Licinia de Sodalitiis.

В качестве примера таких клубов или заговоров для взаимной поддержки в *ξυνωμοσίαι ἐπὶ δίκαις* (не включая *ἀρχαῖς*, насколько мы можем судить), мы можем привести ассоциацию под названием οἱ Εἰκαδεῖς, ставшую известной нам благодаря надписи, недавно обнаруженной в Аттике и впервые опубликованной в книге Dr. Wordsworth's Athens and Attica, p. 223; затем в Ross, Die Demen von Attica, Preface, p. v. Эти Εἰκαδεῖς представляют собой ассоциацию, члены которой связаны друг с другом общей клятвой, а также проклятием, которое

мифический герой ассоциации, Эйкадей, как предполагается, наложил проклятие (ἐνάντιον τῇ ἄρᾳ ἣν Εἰκαδεὺς ἐπηράσατο); Они владеют общим имуществом, и считалось, что клятва противоречит тому, чтобы кто-либо из членов вступал в денежный процесс против κοινόν: Сравните аналогичные обязательства среди римских содалов, Моммзен, стр. 4. Некоторые члены нарушали свои обязательства в этом вопросе: Поликсен напал на них в суде за ложное свидетельство: и общее собрание эйкадеев благодарит его за это и выбирает трех своих членов для помощи ему в деле перед дикастерией (οἵτινες συναγωνιοῦνται τῷ ἐπεσκημμένῳ τοῖς μάρτυσι): Сравните ἑταιρίαι, упоминаемое у Демосфена (cont. Theokrin. с. 11, р. 1335) как помогающие Феокрину в дикастерии и запугивающие свидетелей.

Гильдии в европейских городах в Средние века, обычно клявшиеся каждым членом и называвшиеся *conjuraciones Amicitiae*, во многих отношениях похожи на эти συνωμοσίαι; хотя судопроизводство в средневековых городах было гораздо менее популярным, чем в Афинах, что сужало диапазон их вмешательства в этом направлении: их политическое значение, однако, было совершенно одинаковым. (См. Wilda, Das Gilden Wesen des Mittelalters, Abschn. ii, р. 167, etc.).

"Omnes autem ad Amicitiam pertinentes villæ per *fidem et sacramentum* firmaverunt, quod unus subveniat alteri tanquam fratri suo in utili et honesto," (ib. р. 148.)

[19] Лицо, описанное Крито в "Евтидемоне" Платона (с. 31, р. 305, С.), как порицающее Сократеса за беседу с Евтидемоном и Дионисодором, представлено точно так же, как Антифон в "Фукидиде": ἤκιστα νῆ τὸν Δία ῥήτωρ- οὐδὲ οἶμαι πώποτε αὐτὸν ἐπὶ δικαστήριον ἀναβεβηκέναι- ἀλλ' ἐπαῖειν αὐτόν φασι περὶ τοῦ πράγματος, νῆ τὸν Δία, καὶ δεινὸν εἶναι καὶ δεινοῦς λόγους ξυντιθέναι.

Хайндорф считает, что здесь имеется в виду Isokratês: Гроен ван Принстерпер говорит о Лисии; Винкельман - о Фрасимахе. Это описание подходит Антифону так же хорошо, как и любому из этих трех: хотя Стальбаум, возможно, прав, полагая, что Платон не имел в виду никакого конкретного человека.

Οἱ συνδικεῖν ἐπιστάμενοι, которых Ксенофонт называет столь полезными для человека, участвующего в судебном процессе, - это, вероятно, те, кто знал, как эффективно обратиться к дикастерии в поддержку своего дела (Xenoph. Memorab. i, 2, 51).

[20] Thucyd. viii, 55, 56.

[21] Thucyd. viii, 61. ἔτυχον δὲ ἔτι ἐν Ῥόδῳ ὄντος Ἀστυόχου ἐκ τῆς Μιλήτου Λέοντά τε ἄνδρα Σπαρτιάτην, ὃς Ἀντισθένει ἐπιβάτης ξυνέπλει, τοῦτον κεκομισμένοι μετὰ τὸν Πεδαρίτου θάνατον ἄρχοντα, etc.

Я не вижу причин, по которым слово ἐπιβάτης не следует толковать здесь, как и в других местах, в его обычном значении *miles classarius*. Комментаторы, см. примечания д-ра Арнольда, Поппо и Гёллера, создают трудности, которые, как мне кажется, не имеют большого значения; они придумывают различные новые значения, ни одно из которых не имеет никакого авторитета. Мы не должны удивляться тому, что обычный *милиийский classarius*, или морской пехотинец, будучи спартанским гражданином, был назначен командиром на Хиосе, когда через несколько глав после этого мы видим, как Фрасибул на Самосе из обычного гоплита превратился в одного из афинских полководцев (viii. 73).

Аналогичное замечание можно сделать и по поводу цитируемого отрывка из Ксенофонта (Hellenic. i. 3, 17) о Гегесандриде -ἐπιβάτης ὢν Μινδάρου, где комментаторы также отвергают общепринятое значение (см. примечание Шнейдера в Дополнениях к его изданию 1791 г.,

стр. 97). Причастие ὢν в этом отрывке следует рассматривать как неточную замену γεγεννημένος, поскольку Миндарус в то время был мертв. Гегезандрид *был* в числе эпибатов Миндара, а *теперь* командовал эскадрой на побережье Фракии.

[22] Thucyd. viii, 56. Ἰωνίαν τε γὰρ πᾶσαν ἡξίου διδοῖσθαι, καὶ αὖθις νήσους τε ἐπικειμένας καὶ ἄλλα, οἷς οὐκ ἐναντιουμένων τῶν Ἀθηναίων и т. д.

Что подразумевалось под этим *и т. д.*, мы не можем определить. Спрос, безусловно, был достаточно велик и без него.

[23] Thucyd. viii, 56. ναῦς ἡξίου ἔἴην βασιλέα ποιεῖσθαι, καὶ παραπλεῖν τὴν ἑαυτοῦ γῆν, ὅπη ἂν καὶ ὅσαις ἂν βούληται.

По моему мнению, правильным чтением здесь, безусловно, является ἑαυτοῦ, а не ἑαυτῶν. В этом отношении я согласен с д-ром Арнольдом, Беккером и Гёллером.

В одном из предыдущих томов этой "Истории" я привел основания считать, в противовес Митфорду, Дальману и другим, что договор, называемый именем Каллиаса и иногда ошибочно называемый именем Кимона, был реальным фактом, а не хвастливой выдумкой: см. т. V, гл. xlv, с. 340.

Заметка д-ра Арнольда, хотя в целом и справедливая, неадекватно отражает веские причины, по которым Афины отвергли и возмутились этим третьим требованием.

[24] Thucyd. viii, 63. Καὶ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἅμα οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τῶν Ἀθηναίων κοινολογούμενοι ἐσκέψαντο, Ἀλκιβιάδην μὲν, ἐπειδὴ περ οὐ βούλεται, ἔἴην (καὶ γὰρ οὐκ ἐπιτήδειον αὐτὸν εἶναι ἐς ὀλιγαρχίαν ἐλθεῖν), etc.

[25] Thucyd. viii, 44-57. В двух параллельных случаях, один на Хиосе, другой в Коркире, моряки неоплачиваемого вооружения находили средства к существованию, нанимаясь на сельскохозяйственные работы. Но это происходило только летом (см. Xenoph. Hellen. ii, 1, 1; vi, 2, 37), тогда как пребывание пелопоннесцев на Родосе длилось с января по март.

[26] Thucyd. viii, 58.

[27] Thucyd. viii, 58. χώραν τὴν βασιλέως, ὅση τῆς Ἀσίας ἐστὶ, βασιλέως εἶναι- καὶ περὶ τῆς χώρας τῆς ἑαυτοῦ βουλευέτω βασιλεὺς ὅπως βούλεται.

[28] Thucyd. viii, 59.

[29] Thucyd. viii, 60.

[30] См. Aristotel. Politic. v, 3, 8. Он приводит эту революцию в качестве примера революции, начатой обманом, а затем завершённой силой: οἷον ἐπὶ τῶν τετρακοσίων τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, φάσκοντες τὸν βασιλέα χρήματα παρέξειν πρὸς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους- ψευδάμενοι δὲ, κατέχειν ἐπειρῶντο τὴν πολιτείαν.

[31] Thucyd. viii, 63. Αὐτοὺς δὲ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν, ὥς ἤδη καὶ κινδυνεύοντας, ὁρᾶν ὅτῳ τρόπῳ μὴ ἀνεθήσεται τὰ πράγματα, καὶ τὰ τοῦ πολέμου ἅμα ἀντέχειν, καὶ ἐσφέρειν αὐτοὺς προθύμως χρήματα καὶ ἦν τι ἄλλο δέη, ὥς οὐκέτι ἄλλοις ἢ σφίσιν αὐτοῖς ταλαιπωροῦντας.

[32] Thucyd. viii, 73. Καὶ Ὑπέρβολόν τε τινα τῶν Ἀθηναίων, μοχθηρὸν ἄνθρωπον, ὠστρακισμένον οὐ διὰ δυνάμεως καὶ ἀξιώματος φόβον, ἀλλὰ διὰ πονηρίαν καὶ αἰσχύνην τῆς πόλεως, ἀποκτείνουσι μετὰ Харμίνου τε ἐνὸς τῶν στρατηγῶν καὶ τινων τῶν παρὰ σφίσιν Ἀθηναίων, πίστιν διδόντες αὐτοῖς, καὶ ἄλλα μετ' αὐτῶν τοιαῦτα ξυνέπραξαν, τοῖς τε πλείοσιν ὠρμηντο ἐπιτίθεσθαι.

Я предполагаю, что слова ἄλλα τοιαῦτα ξυνέπραξαν должны означать, что вместе с Гиперболом были убиты и другие лица.

Неверная манера, в которой г-н Митфорд рассказывает об этих событиях на Самосе, была правильно прокомментирована д-ром Тирлуоллом (Hist. Gr. ch. xxviii, vol. iv, p. 30). Это тем более удивительно, что фраза μετὰ Харμίνου, которую неправильно понял г-н Митфорд, объясняется в специальном примечании Дюкера.

[33] Thucyd. viii, 73, 74. οὐκ ἤξιουν περιιδεῖν αὐτοὺς σφᾶς τε διαφθαρέντας, καὶ Σάμον Ἀθηναίοις ἀλλοτριωθεῖσαν, etc.

... οὐ γὰρ ἦδεσάν πω τοὺς τετρακοσίους ἄρχοντας, etc.

[34] Thucyd. viii, 73. καὶ οὐχ ἦκιστα τοὺς Παράλους, ἄνδρας Ἀθηναίους τε καὶ ἐλευθέρους πάντας ἐν τῇ νηὶ πλέοντας, καὶ ἀεὶ δὴ ποτε ὀλιγαρχία καὶ μὴ παρούση ἐπικειμένους.

Пейтолай называл паралус ῥόπαλον τοῦ δήμου, "дубиной, посохом или булавой народа". (Aristotel. Rhetoric, iii, 3.)

[35] Thucyd. viii, 73. Καὶ τριάκοντα μὲν τινες ἀπέκτειναν τῶν τριακοσίων, τρεῖς δὲ τοὺς αἰπιωτάτους φυγῇ ἐζημίωσαν- τοῖς δ' ἄλλοις οὐ μνησικακοῦντες δημοκρατοῦμενοι τὸ λοιπὸν ξυνεπολίτευον.

[36] Thucyd. viii. 74.

[37] Thucyd. viii, 1. О лике, который все эти пробники придавали заговору, см. Аристотель, Риторика, iii, 18, 2.

О деятельности Агнона, как одного из прокулиев, в том же деле, см. Лисий, Orat. xii, cont. Eratosthen. c. 11, p. 426, Reisk. sect. 66.

[38] Thucyd. viii, 69. Οἱ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν μετ' αὐτῶν (то есть, вместе с четырьмя сотнями) Ἕλληνες νεανίσκοι, οἷς ἐχρῶντο εἴ τί που δεοὶ χειρουργεῖν.

Доктор Арнольд объясняет слова Ἕλληνες νεανίσκοι как обозначение некоторых членов аристократических клубов или союзов, о которых раньше шла речь. Но я не думаю, что Фукидид использовал бы такое выражение для обозначения афинских граждан: также маловероятно, что афинские граждане были бы заняты в повторяющихся действиях такого характера.

[39] Даже сам Пейсандр за четыре года до этого, в ходе расследования, последовавшего за издевательством над Гермесом в Афинах (Andokidês de Myster. c. 9, 10, sects. 36-43), исповедовал сильнейшую привязанность к демократии, сочетавшуюся с преувеличенной жестокостью по отношению к лицам, подозреваемым в олигархических заговорах.

Факт, что Пейсандр был одним из главных действующих лиц в обоих этих случаях, произошедших с разницей в четыре года. И если верить Исократесу (de Bigis, sects. 4-7, p. 347), второй из этих двух случаев был просто продолжением и завершением заговора, который был задуман и начат в первый раз, и в котором заговорщики пытались привлечь Алкивиада. Последний отказался, как утверждает его сын, оратор в вышеупомянутой оратории, из-за своей привязанности к демократии; тогда олигархические заговорщики, разгневанные его отказом, выдвинули против него обвинение в нерелигиозности и добились его изгнания.

Хотя Дройзен и Ваттенбах (De Quadringentorum Athenis Factione, pp. 7, 8, Berlin, 1842) в значительной степени доверяют этой манере изложения фактов, я считаю ее ничем иным, как полным извращением; непримиримым с Фукидидом, смешивающим вместе факты, не связанные между собой, а также разделенные большим промежутком времени, и вводящим нереальные причины, для того чтобы показать, что это, конечно, не так, что Алкивиад был верным другом демократии и даже страдальцем за нее.

[40] Thucyd. viii, 66.

[41] Thucyd. viii. 68. νομίζων οὐκ ἂν ποτε αὐτὸν (Alkibiadês) κατὰ τὸ εἶκος ὑπ' ὀλιγαρχίας κατελθεῖν, etc.

[42] Thucyd. viii, 64.

[43] Thucyd. viii, 65. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Πείσανδρον παραπλέοντες τε, ὥσπερ ἐδέδοκτο, τοὺς δῆμους ἐν ταῖς πόλεσι κατέλυον, καὶ ἅμα ἔστιν ἀφ' ὧν χωρίων καὶ ὀπλίτας ἔχοντες σφίσιν αὐτοῖς συμμάχους ἦλθον ἐς τὰς Ἀθήνας. Καὶ καταλαμβάνουσι τὰ πλεῖστα τοῖς ἐταίροις προειργασμένα.

Из с. 69 мы можем понять, что места, которые я назвал в тексте, были в числе тех, которые посетил Пейсандр: все они лежали в значительной степени на его пути из Самоса в Афины.

[44] Thucyd. viii, 67. Καὶ πρῶτον μὲν τὸν δῆμον συλλέξαντες εἶπον γνώμην, δέκα ἄνδρας ἐλέσθαι συγγραφεῖς αὐτοκράτορας, τούτους δὲ συγγράψαντας γνώμην ἐσενεγκεῖν ἐς τὸν δῆμον ἐς ἡμέραν ῥητὴν, καθ' ὅτι ἄριστα ἢ πόλις οἰκήσεται.

Несмотря на некоторые отрывки, встречающиеся у Суидаса и Гарпократиона (см. K. F. Hermann, Lehrbuch der Griechischen Staats Alterthümer, sect. 167, прим. 12: ср. также Wattenbach, De Quadringentor. Factione, p. 38), я не могу думать, что между этими десятью συγγραφεῖς и правлением πρόβουλοι, упомянутым ранее (Thucyd. viii, 1), существовала какая-либо связь. Не имеет отношения к этим συγγραφεῖς и отрывок из Лисия, на который ссылается Герман. Упоминание тридцати человек Андротионом и Филохором, по-видимому, означает, что они или Гарпократ путают процессы, положившие начало этой олигархии из четырехсот человек, с теми, которые предшествовали последующей олигархии из тридцати человек. σύνεδροι, или συγγραφεῖς, упоминаемый Исократом (Areopagit. Or. vii, sect. 67), может относиться как к случаю Четырехсот, так и к случаю Тридцати.

[45] Thucyd. viii, 67. Ἐπειτα, ἐπειδὴ ἡ ἡμέρα ἐφῆκε, συνέκλησαν τὴν ἐκκλησίαν ἐς τὸν Κόλωνον (ἔστι δ' ἱερὸν Ποσειδῶνος ἔξω πόλεως, ἀπέχον σταδίου μάλιστα δέκα), и т. д.

Очень примечательное слово συνέκλησαν, использованное здесь в отношении собрания, как мне кажется, относится (не так, как предполагает д-р Арнольд в своем примечании, к какой-либо существующей практике, наблюдаемой даже в обычных собраниях, которые собирались в Пниксе, но скорее) к отступлению от обычной практики и использованию хитрости в отношении этого конкретного собрания.

Колонус был одним из аттических демонов: более того, есть основания полагать, что два разных дема носили это имя (см. Voeskh, в Комментарии к его переводу Антигоны Софокла, стр. 190, 191: и Ross, Die Demen von Attika, стр. 10, 11). Именно в роще Эвменид, вблизи этого храма Посейдона, Софокл поставил сцену своей бессмертной драмы Oedipus Koloneus.

[46] Сравните утверждение Лисия (Orat. xii, cont. Eratosth. s. 76, p. 127) о небольшом количестве присутствовавших и голосовавших на собрании, на котором была названа последующая олигархия Тридцати.

[47] Thucyd. viii, 68. Ἐλθόντας δὲ αὐτοὺς τετρακοσίους ὄντας ἐς τὸ βουλευτήριον, ἄρχειν ὅπῃ ἂν ἄριστα γινώσκωσιν, αὐτοκράτορας, καὶ τοὺς πεντακισχιλίους δὲ ξυλλέγειν, ὅποταν αὐτοῖς δοκῇ.

[48] Thucyd. viii, 66. ἦν δὲ τοῦτο εὐπρεπὲς πρὸς τοὺς πλείους, ἐπεὶ ἔξειν γε τὴν πόλιν οἵπερ καὶ μεθιστάναι ἔμελλον.

Плутарх, Алкивиад. с. 26.

[49] Thucyd. viii, 72. Πέμπουσι δὲ ἐς τὴν Σάμον δέκα ἄνδρας ... διδάξοντας-πεντακισχίλιοι δὲ ὅτι εἶεν, καὶ οὐ τετρακόσιοι μόνον, οἱ πράσσοντες.

viii, 86. Οἱ δ' ἀπήγγελλον ὡς οὔτε ἐπὶ διαφθορᾷ τῆς πόλεως ἢ μετάστασις γένοιτο, ἀλλ' ἐπὶ σωτηρίᾳ ... τῶν δὲ πεντακισχιλίων ὅτε πάντες ἐν τῷ μέρει μεθέξουσιν, и др.

viii, 89. ἀλλὰ τοὺς πεντακισχιλίους ἔργῳ καὶ μὴ ὀνόματι χρῆναι ἀποδεικνύναι, καὶ τὴν πολιτείαν ἰσαιτέραν καθιστάναι.

viii, 92. (После того, как Четырехсотникам уже было оказано много противодействия и унижения, и они были на грани низложения) - ἦν δὲ πρὸς τὸν ὄχλον ἢ παράκλησις ὡς χρή, ὅστις τοὺς πεντακισχιλίους βούλεται ἄρχειν ἀντὶ τῶν τετρακοσίων, ἰέναι ἐπὶ τὸ ἔργον. Ἐπεκρύπτοντο γὰρ ὅμως ἔτι τῶν πεντακισχιλίων τῷ ὀνόματι, μὴ ἄντικρυς δῆμον ὅστις βούλεται ἄρχειν ὀνομάζειν-φοβούμενοι μὴ τῷ ὄντι ὦσι, καὶ πρὸς τινα εἰπῶν τίς τι δι' ἀγνοίαν σφαλῇ. Καὶ οἱ τετρακόσιοι διὰ τοῦτο οὐκ ἤθελον τοὺς πεντακισχιλίους οὔτε εἶναι, οὔτε μὴ ὄντας δήλους εἶναι- τὸ μὲν καταστήσαι μετόχους τοσούτους, ἄντικρυς ἂν δῆμον ἡγούμενοι, τὸ δ' αὖ ἄφανές φόβον ἐς ἀλλήλους παρέξειν.

viii, 93. λέγοντες τοὺς τε πεντακισχιλίους ἀποφανεῖν, καὶ ἐκ τούτων ἐν μέρει, ἥ ἂν τοῖς πεντακισχιλίοις δοκῇ, τοὺς τετρακοσίους ἔσεσθαι, τέως δὲ τὴν πόλιν μηδενὶ τρόπῳ διαφθεῖρειν, etc.

Сравните также с. 97.

[50] Сравните поразительный отрывок (Thucyd. viii, 92), приведенный в моем предыдущем примечании.

[51] См. шутки Аристофана о гражданах в доспехах, покупающих провизию на рынке и несущих ее домой, в "Лисистрате", 560: комедия, представленная примерно в декабре 412 или январе 411 года до н. э., на три месяца раньше описываемых здесь событий.

[52] Thucyd. viii, 69, 70.

[53] Это поразительное и глубоко укоренившееся уважение афинян ко всем формам установленной конституции ощущает даже г-н Митфорд (Hist. Gr. ch. xix. sect. v, vol. iv, p. 235).

[54] См. Плутарх, Периклес, с. 10; Диодор. xi, 77; и том v, этой Истории, гл. xlvī, p. 370.

[55] Thucyd. viii, 70. Я полагаю, что это должно быть значением слов τὰ τε ἄλλα ἔνεμον κατὰ κράτος τὴν πόλιν.

[56] Thucyd. viii, 71.

[57] Thucyd. viii, 72. Это утверждение, касающееся числа граждан, присутствовавших на афинских демократических собраниях, иногда приводилось так, как будто бы оно несет в себе авторитет Фукидида; это большая ошибка, на которую должным образом указывают все лучшие критики последнего времени. Это просто утверждение Четырехсот, чье свидетельство, как гарантия истины, мало чего стоит.

В то, что *ни на одном* собрании никогда не присутствовало столько пять тысяч человек (οὐδεπώποτε), я, конечно, далек от того, чтобы поверить. Однако не исключено, что пять тысяч - это необычайно большое число граждан.

Доктор Арнольд в своем примечании частично опровергает это утверждение, отмечая, что "закон требовал не только присутствия, но и одобрения некоторых отдельных постановлений собрания не менее чем шестью тысячами граждан". Однако мне кажется вполне возможным, что в случаях, когда требовалось такое большое количество голосов, как в случае с остракизмом, и когда не проводилось никакого обсуждения непосредственно перед голосованием, процесс голосования мог длиться несколько часов, подобно тому, как мы проводим опрос. Таким образом, хотя в *голосовании* должны были участвовать более шести тысяч граждан, не было необходимости, чтобы все они присутствовали в одном собрании.

[58] Thucyd. viii, 75. Μετὰ δὲ τοῦτο, λαμπρῶς ἤδη ἐς δημοκρατίαν βουλόμενοι μεταστῆσαι τὰ ἐν τῇ Σάμῳ ὃ τε Θρασύβουλος καὶ Θράσυλλος, ὥρκωσαν πάντας τοὺς στρατιώτας τοὺς μεγίστους ὄρκους, καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας μάλιστα, ἢ μὴν δημοκρατήσεσθαι τε καὶ ὁμονόησιν, καὶ τὸν πρὸς Πελοποννησίου πόλεμον προθύμως διοίσειν, καὶ τοῖς τετρακοσίοις πολέμιοι τε ἔσεσθαι καὶ οὐδὲν ἐπικηρυκεύεσθαι. Ξυνώμνυσαν δὲ καὶ Σαμίων πάντες τὸν αὐτὸν ὄρκον οἱ ἐν τῇ ἡλικίᾳ, καὶ τὰ πράγματα πάντα καὶ τὰ ἀποβησόμενα ἐκ τῶν κινδύνων ξυνεκοινώσαντο οἱ στρατιῶται τοῖς Σαμίοις, νομίζοντες οὔτε ἐκείνοις ἀποστροφὴν σωτηρίας οὔτε σφίσι εἶναι, ἀλλ' ἐάν τε οἱ τετρακόσιοι κρατήσωσιν ἐάν τε οἱ ἐκ Μιλήτου πολέμιοι, διαφθαρήσεσθαι.

[59] Thucyd. viii, 76. Καὶ παραινέσεις ἄλλας τε ἐποιοῦντο ἐν σφίσι αὐτοῖς ἀνιστάμενοι, καὶ ὡς οὐ δεῖ ἀθυμεῖν ὅτι ἡ πόλις αὐτῶν ἀφέστηκε- τοὺς γὰρ ἐλάσσους ἀπὸ σφῶν τῶν πλεόνων καὶ ἐς πάντα ποριωτέρων μεθεσθάναι.

[60] Thucyd. viii, 76. Βραχὺ δέ τι εἶναι καὶ οὐδενὸς ἄξιον, ὥς πρὸς τὸ περιγίγνεσθαι τῶν πολέμιων ἢ πόλις χρήσιμος ἦν, καὶ οὐδὲν ἀπολωλεκέναι, οἳ γε μήτε ἀργύριον ἔτι εἶχον πέμπειν, ἀλλ' αὐτοὶ ἐπορίζοντο οἱ στρατιῶται, μήτε βούλευμα χρηστὸν, οὔπερ ἔνεκα πόλις στρατοπέδων κρατεῖ- ἀλλὰ καὶ ἐν τούτοις τοὺς μὲν ἡμαρτηκέναι, τοὺς πατρίους νόμους καταλύσαντας, αὐτοὶ δὲ σώζειν καὶ ἐκείνους πειράσεσθαι προσαναγκάζειν. Ὡστε οὐδὲ τούτους, οἵπερ ἂν βουλευοίεν τι χρηστὸν, παρὰ σφίσι χεῖρους εἶναι.

[61] Обращение афинян на Самосе к Алкивиаду напоминает нам об эмфатическом языке, в котором Тацит характеризует инцидент, в некотором отношении похожий. Римская армия, сражавшаяся за Вителлия против Веспасиана, была предана своим полководцем Цециной, который попытался переманить их на сторону последнего: его армия, однако, отказалась следовать за ним, придерживаясь своего собственного дела, и посадила его под арест. Потерпев поражение от войск Веспасиана и вынужденные капитулировать в Кремоне, они освободили Чечину и попросили его заступничества, чтобы получить выгодные условия. "Primores castrorum nomen atque imagines Vitellii amoliuntur; catenas Cæcinæ (nam etiam tum vinctus erat) exsolvunt, orantque, ut causæ suæ deprecator adsistat: aspernantem tumentemque lacrymis fatigant. *Extremum malorum, tot fortissimi viri, proditoris opem invocantes.*" (Tacitus, Histor. iii, 31.)

[62] Thucyd. viii, 48.

[63] Фукидид прямо не упоминает об этом сообщении, но оно подразумевается в словах *Ἀλκιβιάδην-ἄσμενον παρέξειν*, etc. (viii, 76.)

[64] Thucyd. viii, 81. Θρασύβουλος, *αί τε τῆς αὐτῆς γνώμης ἐχόμενος*, ἐπειδὴ μετέστησε τὰ πράγματα, ὥστε κατάγειν Ἀλκιβιάδην, καὶ τέλος ἐπ' ἐκκλησίας ἔπεισε τὸ πλῆθος τῶν στρατιωτῶν, etc.

[65] Thucyd. viii, 81. γενομένης δὲ ἐκκλησίας τὴν τε *ιδίαν* *ξυμφορὰν τῆς φυγῆς ἐπητιάσατο καὶ ἀνωλοφύρατο* ὁ Ἀλκιβιάδης, etc.

Напротив, язык Алкивиада отличается от языка Алкивиада, vi, 92: viii, 47.

Что касается слова *ξυμφορὰν*, сравните i, 127.

Ничто не может быть более ложным и извращенным, чем то, как дела Алкивиада в этот период представлены в оратории Исократу де Бигиса, разделы. 18-23.

[66] Thucyd. viii, 82, 83, 87.

[67] Thucyd. viii, 77-86.

[68] Thucyd. viii, 86. Εἰ δὲ ἐς εὐτέλειάν τι ξυντέμνηται, ὥστε τοὺς στρατιώτας ἔχειν τροφήν, πάνυ ἐπαινεῖν.

Это часть ответа Алкивиада посланникам и, следовательно, указывает на то, к чему они призывали.

[69] Thucyd. viii, 86. τῶν τε πεντακισχιλίων ὅτι πάντες ἐν τῷ μέρει μεθέξουσιν, etc. Я не согласен с трактовкой этого отрывка д-ром Арнольдом, которой следуют и Поппо, и Гёллер. Он говорит в своем примечании: "Смысл должен быть очевиден: "чтобы все граждане были из пяти тысяч в свой черед", каким бы странным ни казалось выражение: *μεθέξουσι τῶν πεντακισχιλίων*. Но, не ссылаясь на абсурдность смысла, что все пять тысяч должны в *свою очередь* принимать участие в управлении, - ведь *все* они принимали участие в нем как в суверенном собрании, - все же *μετέχειν*, в этом смысле требует τῶν πραγμάτων после него, и было бы по меньшей мере так же грубо, как в конструкции *μεθέξουσι τῶν πεντακισχιλίων*, стоящей отдельно."

По этому замечанию, 1. *Μετέχειν* может быть истолковано с родительным падежом, не выраженным фактически, но понимаемым из предшествующих слов; как мы можем видеть из Thucyd. ii, 16, где я согласен с толкованием, предложенным Matthiae (Gr. Gr. § 325), а не с примечанием д-ра Арнольда.

2. В данном случае мы не вынуждены собирать родительный падеж для *μετέχειν* по косвенным признакам из предыдущего фразеологизма: ведь явный родительный падеж стоит там за строку или две *δο-τῆς πόλεως*, идея которого переносится вниз, ни разу не опустившись: οἱ δ' ἀπήγγελλον, ὡς οὔτε ἐπὶ διαφθορᾷ *τῆς πόλεως* ἢ *μετάστασις* γένοιτο, ἀλλ' ἐπὶ σωτηρίᾳ, οὔθ' ἵνα τοῖς πολεμίοις παραδοθῇ (i. e., ἡ πόλις) ... τῶν τε πεντακισχιλίων ὅτι πάντες ἐν τῷ μέρει μεθέξουσιν (т. е. τῆς πόλεως).

Поэтому здесь нет ни грубости выражения; нет и абсурдности смысла, как мы видим из повторения того же самого в viii, 93: λέγοντες τοὺς τε πεντακισχιλίους ἀποφανεῖν, καὶ ἐκ τούτων ἐν μέρει, ἧ ἂν τοῖς πεντακισχιλίοις δοκῇ, τοὺς τετρακοσίους ἔσεσθαι, и т.д.

Доктор Арнольд называет эти пять тысяч "суверенным собранием", что не совсем точно. Они вовсе не были собранием: их никогда не созывали, и ничего не говорилось о намерении их созвать: в действительности они были лишь фикцией и названием; но даже сами Четыреста

притворялись, что говорят о них только как о партнерах по заговору и революции, а не как о *собрании*, которое должно быть создано - *πεντακισχίλιοι-οί πράσσοντες* (viii, 72).

Что касается идеи приведения всех остальных граждан к равным привилегиям, в порядке ротации, с пятью тысячами, то мы увидим, что она никогда не высказывалась до тех пор, пока не было покончено с четырьмя сотнями.

[70] Плутарх, Алкивиад, с. 26.

[71] Thucyd. viii. 86. Καὶ τᾶλλα ἐκέλευεν ἀντέχειν, καὶ μὴδὲν ἐνδιδόναι τοῖς πολεμίοις- πρὸς μὲν γὰρ σφᾶς αὐτοὺς σωζομένης τῆς πόλεως πολλὴν ἐλπίδα εἶναι καὶ συμβῆναι, εἰ δὲ ἅπας τὸ ἕτερον σφαλήσεται ἢ τὸ ἐν Σάμῳ ἢ ἐκεῖνοι, οὐδὲ ὅτω διαλλαγήσεται τις ἔτι ἔσεσθαι.

[72] Thucyd. viii. 86. Весьма вероятно, что упомянутый здесь Мелесий был сыном того Фукидида, который был главным политическим противником Перикла. Мелесий фигурирует в качестве одного из действующих *лиц* в диалоге Платона "Лахес".

[73] Lysias cont. Eratosthen. sect. 43, с. 9, р. 411, Reisk. οὐ γὰρ νῦν πρῶτον (Eratosthenês) τῷ ὑμετέρῳ πλήθει τὰ ἐναντία ἔπραξεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν Τετρακοσίων ἐν τῷ στρατοπέδῳ ὀλιγαρχίαν καθιστὰς ἔφευγεν ἐξ Ἑλλησπόντου τριηράρχος καταλιπὼν τὴν ναῦν, μετὰ Ἰατροκλέους καὶ ἐτέρων ἀφικόμενος δὲ δεῦρο τάναντία τοῖς βουλομένοις δημοκρατίαν εἶναι ἔπραττε.

[74] Thucyd. viii, 64.

[75] Thucyd. viii, 89, 90. Представление о характере и мотивах Фераменеса, данное Лисиасом в "Орации против Эратосфена" (Orat. xii, sects. 66, 67, 79; Orat. xiii, cont. Agorat. sects. 12-17), вполне согласуется с Фукидидом (viii, 89): ср. Aristophan. Ran. 541-966; Xenoph. Hellen. ii, 3, 27-30.

[76] Thucyd. viii, 89. ἦν δὲ τοῦτο μὲν σχῆμα πολιτικὸν τοῦ λόγου αὐτοῖς, κατ' ἰδίᾳς δὲ φιλοτιμίας οἱ πολλοὶ αὐτῶν τῷ τοιούτῳ προσέκειντο, ἐν ᾧπερ καὶ μάλιστα ὀλιγαρχία ἐκ δημοκρατίας γενομένη ἀπόλλυται. Πάντες γὰρ αὐθημερὸν ἀξιοῦσιν οὐχ ὅπως ἴσοι, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρῶτος αὐτὸς ἕκαστος εἶναι- ἐκ δὲ δημοκρατίας αἰρέσεως γιγνομένης, ῥᾶον τὰ ἀποβαίνοντα, ὥς οὐκ ἀπὸ τῶν ὁμοίων, ἐλασσοῦμένος τις φέρει.

Я привожу в тексте то, что кажется мне правильным смыслом этого отрывка, последние слова которого неясны: см. длинные примечания комментаторов, особенно д-ра Арнольда и Поппо. Д-р Арнольд считает τῶν ὁμοίων средним родом и дает следующий парафраз последней фразы: "В то время как при старом правительстве они (честолюбцы с талантами) готовы к поражению: они знают, что вес правительства против них, и поэтому избавлены от особой боли быть побежденными в честной гонке, когда они и их конкуренты начинают с равными преимуществами, и ничто не может смягчить горечь поражения". Ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἐλασσοῦμένος, то есть *быть побежденным, когда игра равна, когда условия поединка справедливы*".

Я не могу согласиться с объяснением д-ра Арнольда этих слов и общего смысла отрывка. Он считает, что Фукидид хотел утверждать то, что в целом относится "к оппозиционному меньшинству, когда ему удастся совершить переворот в установленном правительстве, будь то демократия или монархия; будь то меньшинство аристократической или народной партии". Мне кажется, напротив, что это утверждение относится только к особому случаю олигархического заговора, подрывающего демократию, и что взятое сравнение применимо только к положению вещей, как оно было при предшествующей демократии.

Далее, объяснение, данное этим словам доктором Арнольдом, предполагает, что "быть побежденным в честной гонке или когда условия поединка справедливы" причиняет проигравшему *максимальную* боль и обиду. Это, конечно, не так: вернее, наоборот. Человек, который теряет свое дело или свои выборы из-за несправедливой благосклонности, ревности или антипатии, страдает *больше*, чем если бы он потерял их при обстоятельствах, в которых он не мог бы найти никакой несправедливости, на которую можно было бы пожаловаться. В обоих случаях он, несомненно, убит; но если имеет место несправедливость, он оскорблен и разгневан так же, как и убит: он склонен мстить людям, на которых смотрит как на своих личных врагов. Важно различать досаду от простой неудачи и недовольство и гнев, проистекающие из убеждения, что неудача была вызвана несправедливостью: именно это недовольство, склонное вылиться в активное противодействие, представляется Фукидиду в его сравнении между состоянием чувств, которое предшествует и следует за ниспровержением демократии.

Мне кажется, что слова τῶν ὀμοίων - мужского рода и что они, как и πάντες и ἴσοι в предыдущей строке, относятся к привилегированному меньшинству равных конфедератов, которые, как предполагается, только что завладели правительством. В Спарте слово οἱ ὅμοιοι приобрело своего рода технический смысл, обозначая небольшое возвышающееся меньшинство богатых спартанских граждан, которые монополизировали в своих руках политическую власть, практически исключив остальных (см. Xenoph. Hellen. iii. 3, 5; Xenoph. Resp. Lac. x, 7; xiii, 1; Demosth. cont. Lept. s. 88). Теперь эти ὅμοιοι, или пэры, обозначенные Фукидидом как пэры недавно сформировавшейся олигархии, не просто равны между собой, но соперничают друг с другом и лично знакомы друг с другом. Важно помнить обо всех этих качествах, которые молчаливо подразумеваются, хотя и не *обозначаются* буквально словом ὅμοιοι, или пэры; потому что сравнение, введенное Фукидидом, основано на всех этих качествах вместе взятых; Подобно тому, как Аристотель (Риторика, ii, 8; ii, 13, 4), говоря о зависти и ревности, возникающих по отношению к τοὺς ὀμοίους, рассматривает их как ἀντερίστας и ἀνταγωνίστας.

Все четыреста человек в Афинах были равными, соперничающими и лично известными друг другу, которые только что возвели себя совместным заговором к верховной власти. Тераменес, один из них, считает себя вправе претендовать на главенство, но обнаруживает, что ему не дают этого права, а те, кто его отстранил, - это небольшое общество известных равных и соперников. Он склонен приписать это исключение личным мотивам со стороны этого небольшого узла; эгоистическим амбициям каждого; недоброжелательности, ревности, неправомерной пристрастности; так что он считает себя ущемленным, и чувство ущемленности усугубляется тем обстоятельством, что те, от кого оно исходит, представляют собой узкий, известный и определенный круг коллег. В то время как если бы его исключение произошло в условиях демократии, при голосовании большого, разнородного и лично неизвестного собрания граждан, он с гораздо меньшей вероятностью унес бы с собой чувство обиды. Несомненно, он был бы уязвлен; но он не смотрел бы на выборщиков как на ревнивых или эгоистичных соперников, и они не представляли бы для него определенного тела, на котором он мог бы сосредоточить свое негодование. Таким образом, Никомахидес, которого Сократес (см. Ксенофонт, Мемор. iii, 4) встречает вернувшимся убитым из-за того, что народ избрал генералом другого человека, а не его, был бы не только убит, но и разгневан и мстителен, если бы его исключили несколько пэров и соперников.

Таково, по моему мнению, сравнение, которое Фукидид хочет провести между эффектом разочарования, вызванного голосованием многочисленного и разнородного корпуса граждан, и разочарованием, вызванным небольшим количеством олигархических пэров в

отношении конкурента из их собственного числа, особенно в тот момент, когда ожидания всех этих паров преувеличены, в связи с недавним приобретением ими власти. Я считаю, что замечание историка совершенно справедливо; и что разочарование в первом случае менее интенсивно, менее связано с чувством обиды и менее способно привести к активному проявлению враждебности. Это одно из преимуществ многочисленного избирательного права.

Я не могу лучше проиллюстрировать ревность, которая обязательно вспыхнет среди небольшого числа ὁμοιοί, или соперничающих паров, чем описание, которое Юстин дает ведущим офицерам Александра Великого сразу после смерти этого монарха (Justin, xii, 2):- "Justin, occisis, occisis".

"Cæterum, occiso Alexandro, non, ut læti, ita et securi fuere, omnibus unum locum competentibus: nec minus milites invicem se timebant, quorum et libertas solutior et favor incertus erat. *Inter ipsos vero æqualitas discordiam augebat*, nemine tantum cæteros excedente, ut ei aliquis se submitteret."

Сравните Плутарх, Лисандр, с. 23.

Хаак и Поппо считают, что ὁμοίων не может быть мужского рода, потому что ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἐλασσοῦμενος тогда не будет правильным, а должно быть ὑπὸ τῶν ὁμοίων ἐλασσοῦμενος. Я должен оспаривать, при всех обстоятельствах, правильность этой критики: ведь есть достаточно параллельных случаев, чтобы защитить использование ἀπὸ здесь (см. Thucyd. i, 17; iii, 82; iv, 115; vi, 28 и др.) Но нам нет нужды вступать в спор; ибо генитив τῶν ὁμοίων зависит скорее от τὰ ἀποβαίνοντα, который предшествует, чем от ἐλασσοῦμενος, который следует; а предлог ἀπὸ - это то, что мы естественно должны ожидать. Чтобы отметить это, я поставил запятую после ἀποβαίνοντα, а также после ὁμοίων.

Конечно, показать, что мнение не является правильным, не дает *уверенности* в том, что Фукидид не мог его выдвинуть: ведь он мог ошибаться. Но это должно считаться хорошим предположительным доказательством, если только слова не обязывают нас к обратному, чего в данном случае нет.

[77] Thucyd. viii, 86, 2. Из этого предложения, от φοβούμενοι до καθίσταται, я признаю понятным только последний пункт. Бесплезно обсуждать многочисленные предположительные изменения испорченного текста, ни одно из которых не является удовлетворительным".

[78] Thucyd. viii, 86-89. Андокидес утверждает (в оратории, произнесенной много лет спустя перед афинским народом, De Reditu suo, sects. 10-15), что этой весной он снабдил вооружение на Самосе деревом, пригодным для изготовления весел, которое было получено только по особой милости македонского царя Архелая и в котором вооружение тогда очень нуждалось. Далее он утверждает, что после этого посетил Афины, в то время как Четыреста были в полном подчинении; и что Пейсандр, глава этого олигархического органа, угрожал ему жизнью за то, что он оказал столь ценную помощь вооружению, враждовавшему тогда с Афинами. И хотя он спас свою жизнь, прижавшись к алтарю, ему все же пришлось выдержать узы и разнообразное жестокое обращение.

Из этих претензий, которые Андокидес предпочитает благосклонности последующей демократии, я не знаю, сколько правды".

[79] Thucyd. viii, 89. σαφέστατα δὲ αὐτοὺς ἐπῆρε τὰ ἐν τῇ Σάμῳ τοῦ Ἀλκιβιάδου ἰσχυρὰ ὄντα, καὶ ὅτι αὐτοῖς οὐκ ἐδόκει μόνιμον τὸ τῆς ὀλιγαρχίας ἔσεσθαι. ἡγωνίζετο οὖν εἷς ἕκαστος προστάτης τοῦ δήμου ἔσεσθαι.

Это замечательный отрывок, указывающий на то, что на самом деле подразумевается под προστάτης τοῦ δήμου: "лидер народной оппозиции". Тераменес и другие лица, о которых здесь идет речь, даже не упоминали название демократии, - они приняли просто имя Пяти тысяч, - однако их все равно называют πρόσταται τοῦ δήμου, поскольку Пять тысяч были своего рода квалифицированной демократией по сравнению с Четырьмя сотнями.

Эти слова обозначают лидера народной партии, в отличие от олигархической (см. Thucyd. iii, 70; iv, 66; vi, 35), при форме правления либо полностью демократической, либо, по крайней мере, при которой общественное собрание часто созывается и принимает решения по многим важным вопросам. Фукидид не применяет эти слова ни к одному афинянину, за исключением случая, который мы сейчас рассматриваем в отношении Фераменеса: Он не использует эти слова даже по отношению к Клеону, хотя употребляет выражения, которые кажутся равнозначными (iii, 36; iv, 21)-ἀνὴρ δημαγωγὸς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὦν καὶ τῷ πλήθει πιθανώτατος, и т. д. Это очень отличается от слов, которые он применяет к Периклему - ὦν γὰρ δυνατώτατος τῶν καθ' ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πολιτείαν (i, 127). Даже в отношении Никиаса он ставит его в один ряд с Плейстоанаксом в Спарте и говорит о них обоих как о σπεύδοντες τὰ μάλιστα τὴν ἡγεμονίαν (v, 16).

Сравните примечание д-ра Арнольда к vi, 35.

[80] Thucyd. viii, 92. τὸ μὲν καταστῆσαι μετόχους τοσούτους, ἄντικρυς ἂν δῆμον ἡγούμενοι, etc.

Аристотель (Polit. v, 5, 4) называет Фриниха *демагогом* Четырехсот, то есть человеком, который наиболее рьяно служил *их* интересам и боролся за *их* благосклонность.

[81] Thucyd. viii, 90-92. τὸ τεῖχος τοῦτο, καὶ πυλίδας ἔχον, καὶ ἐσόδους, καὶ ἐπεισαγωγὰς τῶν πολεμίων, etc.

Я предполагаю, что последнее выражение относится к удобствам, позволяющим пропустить врага либо со стороны моря, либо со стороны суши; то есть с северо-западного угла старой стены Пейреуса, которая составляла одну из сторон новой цитадели.

См. Leake's Topographie Athens, pp. 269, 270, нем. перевод.

[82] Thucyd. viii, 90. διωκοδόμησαν δὲ καὶ στοὰν, etc.

Я согласен с примечанием в переводе М. Дидо, что этот портик, или *галле*, открытый с трех сторон, должен рассматриваться как существовавший ранее, а не как построенный впервые в настоящее время, что, по-видимому, является предположением полковника Лика и комментаторов в целом.

[83] Thucyd. viii, 91, 92. Ἀλεξικλέα, στρατηγὸν ὄντα ἐκ τῆς ὀλιγαρχίας καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς ἐταίρους τετραμένον, etc.

[84] Thucyd. viii, 91. Ἀλλὰ καὶ τοὺς πολεμίους ἐσαγαγόμενοι ἄνευ τειχῶν καὶ νεῶν ξυμβῆναι, καὶ ὁπωσοῦν τὰ τῆς πόλεως ἔχειν, εἰ τοῖς γε σώμασι σφῶν ἄδεια ἔσται.

Там же. ἐπειδὴ οἱ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος πρέσβεις οὐδὲν πράξαντες ἀνεχώρησαν τοῖς πᾶσι ξυμβατικόν, etc.

[85] Thucyd. viii, 91. ἦν δέ τι καὶ τοιοῦτον ἀπὸ τῶν τὴν κατηγορίαν ἔχόντων, καὶ οὐ πάνυ διαβολὴ μόνον τοῦ λόγου.

Неохотный язык, в котором Фукидид признает изменническое соглашение Антифона и его коллег с лакедемонянами, заслуживает внимания; также с. 94. τάχα μὲν τι καὶ ἀπὸ ξυγκειμένου λόγου и т. д.

[86] Thucyd. viii, 91. Утверждение Плутарха во многом отличается (Alkibiadês, с. 25).

[87] Thucyd. viii, 92. τὸ δὲ μέγιστον, τῶν ὀπλιτῶν τὸ στίφος ταῦτα ἐβούλετο.

[88] Плутарх, Алкивиад. с. 26, представляет Гермона как одного из убийц Фриниха.

[89] См. Lysias, Orat. xx, pro Polystrato. Тот факт, что Полистрат был членом Четырехсот всего восемь дней до их падения, повторяется в этой оратории три раза (с. 2, 4, 5, pp. 672, 674, 679, Reisk.), и имеет всю видимость правды.

[90] Thucyd. viii, 92, 93. В оратории Демосфена, или Дейнарха, против Феокринеса (с. 17, р. 1343), оратор, Эпихарх, делает намек на это разрушение крепости в Эктинии Аристократом, дядей его деда. Эта аллюзия заслуживает внимания прежде всего из-за ошибочного упоминания Крития и возвращения Демоса из изгнания, что свидетельствует о полной путанице между событиями времен Четырехсот и Тридцати.

[91] Lysias, Orat. xx, pro Polystrato, с. 4, р. 675, Reisk.

Эта задача была возложена на Полистрата, совсем недавно вошедшего в состав Четырехсот и потому, вероятно, менее непопулярного, чем остальные. В свое оправдание после восстановления демократии он притворился, что взялся за это дело вопреки своей воле и составил список, содержащий девять тысяч имен вместо пяти тысяч.

Возможно, именно на этом собрании Четырехсот Антифон произнес свою речь, в которой настоятельно рекомендовал согласие, Περί ὁμονοίας. Все его красноречие требовалось именно сейчас, чтобы вернуть олигархическую партию, если возможно, к единым действиям. Филострат (Vit. Sophistar. с. xv, р. 500, ed. Olear.) выражает большое восхищение этой орацией, на которую несколько раз ссылаются и Гарпократ, и Суидас. См. Westermann, Gesch. der Griech. Beredsamkeit, Beilage ii, р. 276.

[92] Thucyd. viii, 93. Τὸ δὲ πᾶν πλήθος τῶν ὀπλιτῶν, ἀπὸ πολλῶν καὶ πρὸς πολλοὺς λόγων γιγνομένων, ἡπιώτερον ἦν ἢ πρότερον, καὶ ἐφοβεῖτο μάλιστα περὶ τοῦ παντὸς πολιτικοῦ.

[93] Thucyd. viii, 93. συνεχώρησαν δὲ ὥστ' ἐς ἡμέραν ῥητὴν ἐκκλησίαν ποιῆσαι ἐν τῷ Διονυσίῳ περὶ ὁμονοίας.

Определение времени здесь должно относиться к утру или к дню, следующему за ним; по крайней мере, кажется невозможным, чтобы город оставался без правительства дольше этого промежутка времени.

[94] Thucyd. viii, 94.

[95] Lysias, Orat. xx, pro Polystrato, с. 4, р. 676, Reisk.

Из другого отрывка этой оратории следует, что Полистрат командовал флотом, возможно, совместно с Тимохаресом, в соответствии с обычной афинской практикой (с. 5, р. 679). Его сын, который защищает его, утверждает, что он был ранен в битве.

Диодор (xiii, 34) упоминает о разногласиях между экипажами кораблей при Тимохаресе, и это почти единственное, что мы узнаем из его скудных сведений об этом интересном периоде.

[96] Thucyd. viii, 5; viii, 95.

[97] Thucyd. viii, 95. Чтобы показать, во что превратилась Эвбея в более поздний период, см. Demosthenês, De Fals. Legat. с. 64, р. 409: τὰ ἐν Εὐβοίᾳ κατασκευασθόμενα ὀρμητήρια ἐφ' ὑμᾶς, etc.; и Демосфен, De Coronâ, с. 71; ἄπλους δ' ἡ θάλασσα ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Εὐβοίας ὀρμωμένων ληστῶν γέγονε, etc.

[98] Thucyd. viii, 96. Μάλιστα δ' αὐτοὺς καὶ δι' ἐγγυτάτου ἐθορύβει, εἰ οἱ πολέμιοι τολμήσουσι νενικηότες εὐθὺς σφῶν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ ἔρημον ὄντα νεῶν πλεῖν- καὶ ὅσον οὐκ ἤδη ἐνόμιζον αὐτοὺς παρεῖναι. Ὅπερ ἂν, εἰ τολμηρότεροι ἦσαν, ῥαδίως ἂν ἐποίησαν- καὶ ἡ διέστησαν ἂν ἔτι μᾶλλον τὴν πόλιν ἐφορμοῦντες, ἢ εἰ ἐπολιόρκουν μένοντες, καὶ τὰς ἀπ' Ἰωνίας ναῦς ἠνάγκασαν ἂν βοηθῆσαι, etc.

[99] Thucyd. viii, 96; vii, 21-55.

[100] Thucyd. viii, 97.

[101] Именно к этому собранию я с уверенностью отношу замечательный спорный диалог между Пейсандром и Софоклом, одним из афинских прокули, упомянутый в Aristotel. Риторика. iii, 18, 2. В Афинах не было другого случая, когда бы Четыреста публично выступили в свою защиту.

Это был не трагический поэт Софокл, а другой человек с тем же именем, который впоследствии фигурирует как один из олигархов Тридцати.

[102] Thucyd. viii, 97. Καὶ ἐκκλησίαν ξυνέλεγον, μίαν μὲν εὐθὺς τότε πρῶτον ἐς τὴν Πνύκα καλουμένην, οὐπὲρ καὶ ἄλλοτε εἰώθεσαν, ἐν ἧπερ καὶ τοὺς τετρακοσίους καταπαύσαντες τοῖς πεντακισχίλοις ἐψηφίσαντο τὰ πράγματα παραδοῦναι- εἶναι δὲ αὐτῶν, ὅποσοι καὶ ὅπλα παρέχονται- καὶ μισθὸν μηδένα φέρειν, μηδεμιᾶ ἀρχῇ, εἰ δὲ μὴ, ἐπάρατον ἐποίησαντο. Ἐγίγνοντο δὲ καὶ ἄλλαι ὕστερον πικναὶ ἐκκλησίαι, ἀφ' ὧν καὶ νομοθέτας καὶ ἄλλα ἐψηφίσαντο ἐς τὴν πολιτείαν.

В этом отрывке я расхожусь с комментаторами по двум пунктам. Во-первых, они понимают это число пять тысяч как реальный определенный список граждан, содержащий пять тысяч имен, ни больше, ни меньше. Во-вторых, они толкуют νομοθέτας не в обычном значении, которое оно имеет в афинском конституционном языке, а в смысле συγγραφεῖς (с. 67), "лиц для моделирования конституции, соответствующих συγγραφεῖς, назначенных аристократической партией немного раньше", по выражению д-ра Арнольда.

Что касается первого пункта, который поддерживает и д-р Тирлуолл (Hist. Gr. ch. xxviii, vol. iv, р. 51, 2d ed.), то д-р Арнольд действительно признает то, что является аристократической партией. Арнольд действительно признает то, что является основанием для моего мнения, когда говорит: "Конечно, число граждан, способных снабдить себя тяжелым оружием, должно было *значительно превышать пять тысяч*: в защиту Полистрата, одного из Четырехсот (Lysias, р. 675, Reisk.), говорится, что он составил список из девяти тысяч. Но мы должны предположить, что все, кто мог предоставить тяжелое оружие, *могли быть*

включены в число пяти тысяч, независимо от того, были ли члены определены по жребию, по выборам или по ротации; так как было предложено назначить четыреста человек по ротации из пяти тысяч (viii, 93)".

Доктор Арнольд выдвигает здесь предположение, которое ни в коей мере не соответствует точному смыслу слов Фукидида - εἶναι δὲ αὐτῶν, ὅποσοι καὶ ὄπλα παρέχονται. Эти слова ясно означают, что все, кто обставил тяжелое оружие, *должны быть из пяти тысяч, должны принадлежать к ним по праву*, что отличается от *права быть включенным* в число пяти тысяч либо по жребию, либо по очереди, либо иным образом. Язык Фукидида, когда он описывает в отрывке, на который ссылается д-р Арнольд, с. 93, предполагаемое формирование Четырехсот путем ротации из Пяти тысяч, совершенно иной: καὶ ἐκ τούτων ἐν μέρει τοὺς τετρακοσίους ἔσσεσθαι, и т. д. М. Бёкх (Public Economy of Athens, bk. ii, ch. 21, p. 268, Eng. Tr.) неудовлетворителен в своем описании этого события.

Идея, которую я представляю себе о пяти тысячах как о числе, существовавшем с самого начала только в разговорах и воображении, не реализованном и не предназначенном для реализации, совпадает с полным смыслом этого отрывка Фукидида, а также со всем тем, что он говорил о них ранее.

Здесь я добавлю, что ὅποσοι ὄπλα παρέχονται означает лиц, снабжающих оружием не только себя, но и других (Xenoph. Hellen. iii, 4, 15.).

Что касается второго пункта, значения νομοθέτας, то я исхожу из общего употребления этого слова в афинском политическом языке: см. объяснение ранее в этой Истории, т. V, гл. xlvī, с. 373. Комментаторы должны обосновать необычное значение, которое они ему придают: "лица, создавшие модель конституции; комиссары, разработавшие новую конституцию", как переводит это слово д-р Арнольд, соглашаясь с остальными. До тех пор, пока не будет представлено какое-либо обоснование, я осмелюсь полагать, что νομοθέται - это слово, которое не будет использоваться в этом смысле по отношению к кандидатам, выбранным демократией и предназначенным действовать вместе с ней; ибо оно подразумевает окончательное, решающее, авторитетное определение; В то время как συγγραφεῖς, или "комиссары для составления конституции", наделялись лишь функцией представлять что-либо на утверждение общественному собранию или компетентной власти; то есть при условии, что общественное собрание оставалось действенной реальностью.

Более того, слова καὶ τᾱλλα вряд ли использовались бы в непосредственной последовательности с νομοθέτας, если бы последнее слово означало то, что предполагают комментаторы: "уполномоченные для составления конституции *и других вещей, связанных с конституцией*". Такие комиссары, несомненно, слишком видны и инициативны в своих функциях, чтобы быть названными подобным образом. Добавим, что наиболее существенные пункты новой конституции, если ее можно так назвать, уже были четко определены как решенные общественным голосованием, еще до того, как были названы эти νομοθέται.

Важно отметить, что даже Тридцать, назначенные через шесть лет после этого для разработки конституции, в тот момент, когда Спарта была хозяйкой Афин и когда народ был основательно подавлен, не называются Νομοθέται, но названы иносказанием, эквивалентным Ἐδοξε τῷ δήμῳ, τριάκοντα ἄνδρας ἐλέσθαι, οἱ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι, καθ' οὓς πολιτεύσουσι. - Αἰρεθέντες δὲ, ἐφ' ᾧ τε συγγράψαι νόμους καθ' οὓσιν αὖτε πολιτεύσονται, τούτους μὲν αἰεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύειν, etc. (Ксенофонт, Hellen. ii, 3, 2-11.) Ксенофонт называет Крития и Харикла номотетами Тридцати (Memor. i, 2, 30), но это не демократия.

О значении термина Νομοθέτης (чаще всего применяемого к Солону, иногда к другим, либо по риторической вольности, либо по иронической колкости), или Νομοθέται, многочисленного собрания избранных и присягнувших, см. Lysias cont. Никомах. сект. 3, 33, 37; Andokidês de Mysteriis, sects. 81-85, с. 14, р. 38, где номотеты - это присягнувший орган из пятисот человек, осуществляющий совместно с сенатом функцию принятия или отклонения предложенных им законов.

[103] Плутарх, Алкивиад, с. 33. Корнелий Непос (Алкивиад., с. 5, и Диодор, xiii, 38-42) упоминает Фераменеса как главного автора указа о восстановлении Алкивиада из изгнания. Но точные слова элегии, сочиненной Критием, в которой тот оправдывает это решение перед самим собой, приводятся Плутархом и являются очень хорошим доказательством. Несомненно, многие из ведущих людей поддержали это предложение, и никто не выступил против.

[104] Thucyd. viii, 97. Καὶ οὐχ ἥκιστα δὴ τὸν πρῶτον χρόνον ἐπὶ γε ἐμοῦ Ἀθηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες- μετρία γὰρ ἦ τε ἐς τοὺς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις ἐγένετο, καὶ ἐκ πονηρῶν τῶν πραγμάτων γενομένων τοῦτο πρῶτον ἀνήνεγκε τὴν πόλιν.

Я отсылаю читателя к заметке об этом отрывке в одном из моих прежних томов, а также к объяснению, данному д-ром Арнольдом (см. т. V, гл. xlv, с. 330).

[105] Слова Фукидида (viii, 97), εἶναι δὲ αὐτῶν, ὅποσοι καὶ ὄπλα παρέχονται, показывают, что этот орган не состоял *исключительно* из тех, кто снабжал паноплями. Например, никогда не предполагалось исключить из него гиппеев, или рыцарей.

[106] Lysias, Orat. xx, pro Polystrato, с. 4, р. 675, Reisk.

[107] Thucyd. viii, 86.

[108] Thucyd. viii, 92. τὸ μὲν καταστῆσαι μετόχους τοσοῦτους, ἀντικρυς ἂν δῆμον ἡγούμενοι, etc.

[109] См. ценные финансовые надписи в Corpus Inscriptionum M. Бёкха, часть i, № 147, 148, которые свидетельствуют о значительных расходах на диобелий в 410-409 гг. до н.э.

Не похоже также, что в эти же годы значительно уменьшились частные расходы и показуха хореги на праздниках и других выставках: см. орацию xxi Лисия -Ἀπολογία Δωροδοκίας, с. 1, 2, pp. 698-700, Reiske.

[110] О дате этого псефизма, или указа, см. Boeckh, Staatshaushaltung der Athener, vol. ii, р. 168, в комментарии к различным надписям, приложенным к его работе, не включенным в английский перевод г-на Льюиса; также Meier, De Bonis Damnatorum, sect. ii, pp. 6-10. Вахсмут ошибочно помещает его дату после Тридцати; см. Hellen. Alterth. ii, ix, р. 267.

[111] Andokidês de Mysteriis, sects. 95-99. (с. 16, р. 48, R.)-Ὁ δ' ἀποκτείνας τὸν ταῦτα ποιήσαντα, καὶ ὁ συμβουλεύσας, ὅσιος ἔστω καὶ εὐαγής. Ὁμόσαι δ' Ἀθηναίους ἅπαντας καθ' ἱερῶν τελείων, κατὰ φυλὰς καὶ κατὰ δῆμους, ἀποκτείνειν τὸν ταῦτα ποιήσαντα.

Комментарий Зиверса (Commentationes De Xenophontis Hellenicis, Berlin, 1833, pp. 18, 19) к событиям этого времени неясен.

[112] Andokidês de Mysteriis, sects. 95-99. (с. 16, р. 48, R.) Ὅποσοι δ' ὄρκοι ὁμῶνονται Ἀθήνησιν ἢ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἢ ἄλλοθι που ἐναντίοι τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων, λύω καὶ ἀφίημι.

На какие именно антиконституционные клятвы здесь делается намек, мы сказать не можем. Все клятвы олигархических заговорщиков, как на Самосе, так и в Афинах, несомненно,

должны быть отменены: и эта клятва, как и клятва вооружения на Самосе (Thucyd. viii, 75), должна быть принесена каждым, включая тех, кто прежде был членом олигархического заговора. Возможно, он также призван отменить договор, заключенный членами политических клубов или *ξυνωμοσίαι* между собой, в той мере, в какой он обязывал их к антиконституционным действиям (Thucyd. viii, 54-81).

[113] Andokidês de Mysteriis, sects. 95-99, (с. 16, р. 48, R.) Ταῦτα δὲ ὁμοσάντων Ἀθηναῖοι πάντες καθ' ἑρῶν τελείων, τὸν νόμιμον ὄρκον, πρὸ Διονυσίων, etc.

[114] Те, кто считает, что после низложения Четырехсот была установлена новая конституция, озадачены определением периода, когда была восстановлена старая демократия. К. Ф. Герман и другие без особых доказательств полагают, что она была восстановлена в то время, когда Алкивиад вернулся в Афины в 407 году до н. э. См. F. Hermann, Griech. Staats Alterthümer, s. 167, note 13.

[115] Lykurgus adv. Leokrat. sect. 131, с. 31, р. 225: ср. Demosthen. adv. Leptin. sect. 138, с. 34, р. 506.

Если бы нам нужно было доказательство того, как совершенно безрассудно и бессмысленно упоминание ораторами имени *Солона*, мы бы нашли его в этом отрывке Андокидеса. Он называет этот псефизм Демофанта *законом Солона* (sect. 96): см. выше в этой Истории, т. iii, гл. xi, с. 122.

[116] Thucyd. viii, 98. Большинство этих беглецов вернулись через шесть лет после битвы при Игоспотаме, когда афинский народ снова стал подчиняться олигархии в лице Тридцати. Некоторые из них стали членами сената, работавшего при Тридцати (Lysias cont. Agorat. sect. 80, с. 18, р. 495).

Были ли Аристотелек и Хариклес в числе Четырехсот, которые теперь отправились в изгнание, как утверждает Ваттенбах (De Quadringent. Ath. Factione, р. 66), кажется, не совсем ясно.

[117] Thucyd. viii, 89, 90. Ἀρίσταρχος, ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα καὶ ἐκ πλείστου ἐναντίος τῷ δήμῳ, etc.

[118] Lysias cont. Eratosthen., с. 11, р. 427, sects. 66-68. Βουλόμενος δὲ (Theramênês) τῷ ὑμετέρῳ πλήθει πιστὸς δοκεῖν εἶναι, Ἀντιφῶντα καὶ Ἀρχεπτόλεμον, φιλάτους ὄντας αὐτῷ, κατηγορῶν ἀπέκτεινεν- εἰς τοσοῦτον δὲ κακίας ἦλθεν, ὥστε ἅμα μὲν διὰ τὴν πρὸς ἐκείνους πίστιν ὑμᾶς κατεδουλώσατο, διὰ δὲ τὴν πρὸς ὑμᾶς τοὺς φίλους ἀπώλεσεν.

Сравните Ксенофонт, Hellen., ii, 3, 30-33.

[119] То, что эти голоса, касающиеся памяти и смерти Фриниха, предшествовали суду над Антифоном, можно понять из заключительных слов приговора, вынесенного Антифону: см. Плутарх, Vit. x, Oratt. р. 834, В: ср. Schol. Аристоф. Lysistr. 313.

И Лисий, и Ликург, ораторы, содержат утверждения о смерти Фриниха, которые не согласуются с Фукидидом. Оба оратора сходятся в том, что сообщают имена двух иностранцев, которые утверждали, что убили Фриниха, и чьи притязания были разрешены народом впоследствии, при формальном вознаграждении и голосовании за гражданство, - Фрасибул из Калидона и Аполлодор из Мегары (Lysias cont. Agorat. с. 18, 492; Lykurg. cont. Leokrat. с. 29, р. 217).

Ликург говорит, что Фриних был убит ночью, "у фонтана, вдали от ив", что противоречит Фукидиду, который утверждает, что убийство было совершено при свете дня и на рыночной

площади. Агоратус, против которого направлена речь Лисия, выдавал себя за одного из убийц и требовал за это вознаграждения.

Рассказ Ликурга о том, что афинский народ, по предложению Крития, эксгумировал и передал суду мертвое тело Фриниха, а Аристарх и Алексикл были преданы смерти за то, что взялись защищать его, конечно, частично, а возможно, и полностью ложен. Аристарх тогда находился в Синоэ, а Алексикл в Декелее.

[120] Ономаклес был одним из коллег Фриниха в качестве генерала вооружений в Ионии осенью предыдущего года (Thucyd. viii, 25).

В одной из биографий Фукидида (р. xii, в издании д-ра Арнольда) говорится, что Ономаклес был казнен вместе с двумя другими; но документ, приведенный в Псевдо-Плутархе, противоречит этому.

[121] Plutarch, Vit. x, Oratt. p. 834; сравните Xenophon, Hellenic. i, 7, 22.

Аполлексис был одним из обвинителей Антифона: см. Harpokration, v. Στασιώτης.

[122] Thucyd. viii, 68; Aristotel. Ethic. Eudem. iii, 5.

Рюнкен, по-видимому, совершенно прав (Dissertat. De Antiphont. p. 818, Reisk.), считая орацию περὶ μεταστάσεως защитой Антифона; хотя Вестерманн (Geschichte der Griech. Beredsamkeit, p. 277) оспаривает это мнение. На эту ораторию ссылаются в нескольких статьях в "Арпократионе".

[123] Так, Фемистоклеса, как предателя, не разрешили похоронить в Аттике (Thucyd. i, 138; Cornel. Nepos, Vit. Themistocl. ii, 10). Говорят, что его друзья тайно принесли его кости туда.

[124] Об этом подробно говорится в Псевдо-Плутархе, Vit. x, Oratt. pp. 833, 834. Его сохранил Цецилий, сицилиец и учитель риторики эпохи Августа; у него было шестьдесят ораций, приписываемых Антифону, двадцать пять из которых он считал поддельными.

Антифон оставил дочь, которую Каллесхрус выдал замуж в соответствии с формами закона, имея на это право по причине близкого родства (ἐπεδικάσθαι). Каллесхрус сам был одним из Четырехсот, возможно, братом Крития. Представляется необычным, что право предъявлять иск к женщине, состоящей в браке, по праву близкого родства (τοῦ ἐπιδικάζεσθαι), могло распространяться на женщину, лишенную всех прав гражданства.

Если верить Арпократиону, Андрон, внесший в сенат предложение о предании суду Антифона и Архептолема, сам был членом четырехсот олигархов, так же как и Фераменес (Harp. v. Ἀνδρων).

Заметка д-ра Арнольда о том отрывке (viii, 68), где Фукидид называет Антифона ἀρετῇ οὐδενὸς ὕστερος, "не уступающим никому в добродетели", заслуживает того, чтобы с ней ознакомиться. Этот отрывок замечательным образом показывает, каковы были политические и личные качества, определявшие уважение Фукидида. Он показывает, что его симпатии были на стороне олигархической партии; и что, хотя преувеличения оппозиционеров или демагогов, подобные тем, которые он вменяет в вину Клеону и Гиперболу, вызывали его лютую ненависть, преувеличения олигархической войны или многочисленные убийства не делали его хуже. Но в то же время это свидетельствует о его

большой откровенности в изложении фактов: он недвусмысленно рассказывает и об убийствах, и об измене Антифона.

[125] Xenoph. Hellenic. i, 7, 28. Это естественный смысл отрывка; хотя он *может* также означать, что день суда был назначен, но Аристарх не явился. Возможно, Аристарх стал пленником в одной из стычек, произошедших между гарнизоном Декелеи и афинянами. Афинские изгнанники в полном составе обосновались в Декелее и вели постоянную войну с афинскими гражданами: см. Лисий, De Bonis Niciæ Fratris, Or. xviii, ch. 4, p. 604: Pro Polystrato, Orat. xx, c. 7, p. 688; Andokidês de Mysteriis, c. 17, p. 50.

[126] Lysias, De Oleâ Sacrâ, Or. vii, ch. ii, p. 263, Reisk.

[127] "Quadringentis ipsa dominatio fraudi non fuit; imo qui cum Theramene et Aristocrate steterant, in magno honore habiti sunt: omnibus autem rationes reddendæ fuerunt; qui solum vertissent, proditores judicati sunt, nomina in publico proposita." (Wattenbach, De Quadringentorum Athenis Factione, p. 65.)

Из псефизма Патроклида, написанного шесть лет спустя, после битвы при Игоспотаме, мы узнаем, что имена тех из четырехсот, кто не остался на суд, были выгравированы на столбах отдельно от тех, кто был судим и приговорен либо к штрафу, либо к различным лишениям; Andokidês de Mysteriis, sects. 75-78: Καὶ ὅσα ὀνόματα τῶν τετρακοσίων τινὸς ἐγγέγραπται, ἢ ἄλλο τι περὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πραχθέντων ἔστι που γεγραμμένον, πλὴν ὅποσα ἐν στήλαις γέγραπται τῶν μὴ ἐνθάδε μείναντων, etc. Эти последние имена, как наиболее преступные, были исключены из амнистии Патроклеидеса.

Здесь мы видим, что среди осужденных Четырехсот было две категории: 1. Те, кто остался, чтобы предстать перед судом ответственности, и был приговорен либо к штрафу, который они не могли заплатить, либо к некоторой положительной инвалидности. 2. Те, кто не остался на суде и был осужден *par contumace*.

Наряду с первой категорией мы находим и другие имена, кроме имен Четырехсот, признанных виновными как их партизаны: ἄλλο τι (ὄνομα) περὶ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πραχθέντων. К этим партизанам мы можем причислить солдат, упомянутых немного раньше, разд. 75: οἱ στρατιῶται, οἷς ὅτι ἐπέμειναν ἐπὶ τῶν τυράννων ἐν τῇ πόλει, τὰ μὲν ἄλλα ἧν ἄπερ τοῖς ἄλλοις πολίταις, εἰπεῖν δ' ἐν τῷ δήμῳ οὐκ ἐξῆν αὐτοῖς οὐδὲ βουλευῆσαι, где предлог ἐπὶ, кажется, обозначает не просто современность, но некую интимную связь, подобно фразе ἐπὶ προστάτου οἰκεῖν (см. Matthiæ, Gr. Gr. sect. 584; Kühner, Gr. Gr. sect. 611).

Ораторская речь Лисия против Полистрата в некоторых моментах неясна: но мы узнаем, что Полистрат был одним из Четырехсот, которые не пришли на суд о своей ответственности, и поэтому был осужден в его отсутствие. Против него были выдвинуты серьезные обвинения, и он был ложно объявлен двоюродным братом Фриниха, тогда как на самом деле он был всего лишь соплеменником (секты 20, 24, 11). Защита объясняет его неявку тем, что он был ранен в битве при Эретрии, и что суд состоялся сразу после низложения Четырехсот (секты 14, 24). Его оштрафовали и лишили гражданства (sects. 15, 33, 38). Судя по всему, сумма штрафа была больше, чем могло покрыть его имущество; соответственно, этот штраф, оставшийся неоплаченным, после его смерти должен был быть взыскан с его сыновей, и если бы они не смогли его выплатить, то оказались бы в положении несостоятельных государственных должников государства, что лишило бы их возможности пользоваться правами гражданства, пока долг оставался бы неоплаченным. Но пока Полистрат был жив, его сыновья не несли ответственности перед государством за уплату его штрафа; поэтому *они* оставались гражданами и пользовались всеми своими правами, хотя *он* и был лишен гражданства.

Сыновей было трое, и все они с честью служили гоплитами и даже всадниками на Сицилии и в других местах. В рассматриваемой нами речи один из них подает прошение в дикастерий, чтобы приговор, вынесенный его отцу, был смягчен; отчасти на том основании, что он был незаслуженным, поскольку был вынесен в то время, когда отец боялся выступить в свою защиту, отчасти в качестве вознаграждения за выдающиеся военные заслуги всех трех сыновей. Речь была произнесена в более позднее время, чем битва при Киносфеме, осенью этого года (sect. 31), но не очень долго после свержения Четырехсот, и, конечно, я думаю, задолго до Тридцати; так что утверждение Тейлора (Vit. Lysiæ, p. 55), что все сохранившиеся орации Лисия относятся к периоду после Тридцати, должно быть принято с этим исключением.

[128] Этого свидетельства Фукидида вполне достаточно, чтобы опровергнуть туманные утверждения в оратории xxv Лисия (Δήμου Καταλυσ. Ἀπολ. sects. 34, 35), о великих преступлениях, совершаемых теперь афинянами; хотя г-н Митфорд копирует эти утверждения, как если бы они были реальной историей, относя их ко времени четыре года спустя (History of Greece, ch. xx, s. 1, vol. iv, p. 327).

[129] Thucyd. viii, 68.

[130] См. о событиях в Коркире, т. vi, гл. 1, с. 283.

[131] Thucyd. viii, 75.

[132] Thucyd. viii, 44, 45.

[133] Thucyd. viii, 61, 62 οὐκ ἔλασσον ἔχοντες означает некоторый успех, не очень решительный.

[134] Thucyd. viii, 63.

[135] Thucyd. viii, 78, 79.

[136] Thucyd. viii, 62.

[137] Thucyd. viii, 79.

[138] Thucyd. viii, 80-99.

[139] Thucyd. viii, 83, 84.

[140] Thucyd. viii, 84. Ὁ μέντοι Λίχας οὔτε ἠρέσκετο αὐτοῖς, ἔφη τε χρῆναι Τισσαφέρνει καὶ δουλεύειν Μιλησίους καὶ τοὺς ἄλλους ἐν τῇ βασιλείᾳ τὰ μέτρια, καὶ ἐπιθεραπεύειν ἕως ἂν τὸν πόλεμον εὖ θῶνται. Οἱ δὲ Μιλήσιοι ὠργίζοντό τε αὐτῷ καὶ διὰ ταῦτα καὶ δι' ἄλλα τοιοῦτότροπα, etc.

[141] Thucyd. viii, 85.

[142] Thucyd. viii, 87.

[143] Thucyd. viii, 87. Это большее количество, которое, как утверждал Тиссафернес, Великий Царь намеревался отправить, Диодор определяет в триста парусов. Фукидид не называет точного числа (Diodor. xiii, 38, 42, 46).

В другой раз мы также слышим о том, что феникийский флот планировалось увеличить до трехсот парусов (Xenoph. Hellen. iii, 4, 1). По-видимому, это была та самая постоянная цифра для флота, достойного персидского царя.

[144] Thucyd. viii, 87, 88, 99.

[145] Diodor. xiii, 38.

[146] Thucyd. viii, 100. Αἰσθόμενος δὲ ὅτι ἐν τῇ Χίῳ εἴη, καὶ νομίσας αὐτὸν καθεξείν αὐτοῦ, σκοποῦς μὲν κατεστήσατο καὶ ἐν τῇ Λέσβῳ, καὶ ἐν τῇ ἀντιπέρασ ἡπείρῳ, εἰ ἄρα ποὶ κινοῖντο αἱ νῆες, ὅπως μὴ λάθοιεν, etc.

Я считаю, что τῇ ἀντιπέρασ ἡπείρῳ означает материк напротив Хиоса, а не напротив Лесбоса. Слова могут принимать любой смысл, поскольку Χίῳ и αὐτοῦ следуют непосредственно перед ними: и положение для разведчиков было гораздо более подходящим, напротив северной части Хиоса.

[147] Thucyd. viii, 101. Последняя часть этого путешествия достаточно отчетлива; ранняя - менее. Я описываю его в тексте иначе, чем все лучшие и самые последние редакторы Фукидида; с которыми я расхожусь с меньшей неохотой, поскольку все они здесь допускают грубейшие вольности с его текстом, вставляя отрицательное οὐ по чистому предположению, без авторитета одного MS. Нибур установил почти канон критики, что этого никогда не следует делать: и все же здесь мы имеем Крюгера, рекомендующего его, Хаака, Гёллера, д-ра Арнольда, Поппо и М. Дидо, принимающих его как часть текста Thucydidês; даже не следуя предостережению Беккера в его маленьком издании, который предупреждает читателя, заключая это слово в скобки. А доктор Арнольд заходит так далеко, что в примечании говорит: "Это исправление настолько определено и необходимо, что свидетельствует лишь о невнимательности прежних редакторов, что оно не было сделано давно".

Слова Фукидида без этого исправления и в том виде, в котором они были общеприняты до издания Хаака (даже в издании Беккера 1821 года), следующие:-

Ὁ δὲ Μίνδαρος ἐν τούτῳ καὶ αἱ ἐκ τῆς Χίου τῶν Πελοποννησίων νῆες ἐπισιτισάμεναι δυοῖν ἡμέραις, καὶ λαβόντες παρὰ τῶν Χίων τρεῖς τεσσαρακοστὰς ἑκάστος Χίας τῇ τρίτῃ διὰ ταχέων ἀπαίρουσιν ἐκ τῆς Χίου πελάγαι, ἵνα μὴ περιτύχωσι ταῖς ἐν τῇ Ἐρέσῳ ναυσίν, ἀλλὰ ἐν ἀριστερᾷ τὴν Λέσβον ἔχοντες ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἡπειρον. Καὶ προσβαλόντες τῆς Φωκαΐδος ἐς τὸν ἐν Καρτερίοις λιμένα, καὶ ἀριστοποιησάμενοι, παραπλεύσαντες τὴν Κυμαίαν δειπνοποιοῦνται ἐν Ἀργενούσαις τῆς ἡπείρου, ἐν τῷ ἀντιπέρασ τῆς Μιτυλήνης, etc.

Хаак и другие выдающиеся критики, только что упомянутые, настаивают на том, что эти слова в их нынешнем виде абсурдны и противоречивы, и что необходимо вставить οὐ перед πελάγαι; так что в их изданиях предложение звучит как ἀπαίρουσιν ἐκ τῆς Χίου οὐ πελάγαι. Все они представляют себе флот Миндара как отплывающий от города Хиоса на север и выходящий в северный пролив. Признавая это, они правдоподобно говорят, что слова старого текста содержат противоречие, потому что Миндар должен был плыть в направлении к Эресу, а не от него; хотя даже в этом случае правильность их исправления была бы спорной. Но слово πελάγιος, применяемое к кораблям, отплывающим от Хиоса, - хотя оно, возможно, означает, что они огибают северо-восточный угол острова и затем направляются на запад вокруг Лесбоса, - все же означает также, и даже более естественно, объявить их отплывающими по внешнему морю или плывущими по морской стороне (вокруг южного и западного побережья) острова. Примите это значение, и старые слова будут поняты совершенно правильно. Ἀπαίρειν ἐκ τῆς Χίου πελάγιος - естественная и правильная фраза для описания обхода Миндара вокруг южного и западного побережья Хиоса. Это был единственный способ, с помощью которого он мог избежать разведчиков и кораблей Фрасилла: с той же целью, чтобы избежать афинских кораблей, мы видим (viii, 80) эскадру

Клиарха, в другой раз совершающую длинный круг по морю. Если предположить, как должны считать те, кто читает *οὐ πελάγια*, что Миндарус сначала проплыл по северному проливу между Хиосом и материком, а затем повернул на восток к Фокее, то это был тот курс, которого ожидал Фрасилий; и вряд ли можно объяснить, почему его не заметили как афинские разведчики, так и афинский гарнизон на своем посту в Дельфинии на самом Хиосе. В то время как, обогнув южное и западное побережье, он ни разу не попал в поле зрения ни тех, ни других, и, дойдя до северной широты острова, смог повернуть направо и взять прямой восточный курс, держа *Лесбос по левую руку*, но на достаточном расстоянии от суши, чтобы быть вне поля зрения всех разведчиков. *Ἀνάγεσθαι ἐκ τῆς Χίου πελάγιος* (Xen. Hellen. ii, 1, 17), означает выйти в открытое море, совершенно отойдя от берегов Азии: в этом отрывке нет решительно никаких указаний на то, обогнули ли корабли юго-восточный или северо-восточный угол острова.

Здесь нам сообщают, что моряки Миндара получали от хианцев по *три хианских тессаракостэ* за голову. Это мелкая хианская монета, больше нигде не упоминаемая; и удивительно, что Фукидид указывает столь мелкий и местный денежный номинал, в отличие от того, как Ксенофонт описывает выплаты хиан пелопоннесским морякам (Hellen. i, 6, 12; ii, 1, 5). Но плавание Миндара вокруг юга и запада острова объясняет это обстоятельство. Во время этого кругосветного плавания он дважды высаживался на остров (возможно, начиная с вечера), чтобы пообедать и поужинать, и эта хианская монета, которая, вероятно, не имела хождения за пределами острова, служила каждому человеку для покупки провизии в хианских местах высадки. Миндару было неудобно брать на борт *больше* провизии в городе Хиос, потому что у него уже был запас провизии на два дня, на последующую часть путешествия вдоль побережья Азии до Сигея, во время которого он не мог позволить себе остановиться и купить ее, и где, действительно, территория не была дружелюбной.

Достаточно, если я покажу, что старый текст *Thucydidês* будет трактоваться очень хорошо, без насильственного вмешательства этой конъектурной *οὐ*. Но я могу показать и больше: ведь это отрицание фактически делает даже саму конструкцию предложения по меньшей мере неудобной, если не недопустимой. Конечно, за *ἀπαίρουσιν οὐ πελάγια*, ἀλλὰ, должно следовать коррелятивное прилагательное или причастие, относящееся к тому же глаголу *ἀπαίρουσιν*: но если мы примем *ἔχοντες* за такое коррелятивное причастие, то как же нам истолковать *ἔπλεον*? Для того чтобы выразить смысл, на который указывает Хаак, мы должны были бы, конечно, использовать другие слова, такие как: *οὐκ ἄπηναν ἐκ τῆς Χίου πελάγια, ἀλλ' ἐν ἀριστερᾷ τὴν Λέσβον ἔχοντες ἔπλεον ἐπὶ τὴν ἥπειρον*. Даже изменение времени с настоящего на прошедшее, если следовать конструкции Хаака, неудобно; если же понимать слова в том смысле, который предлагаю я, изменение времени вполне допустимо, поскольку оба глагола не относятся к одному и тому же движению или к одной и той же части плавания. "*Флот отправляется из Хиоса по морскому берегу острова; но когда он достиг Лесбоса по левую руку, он поплыл прямо к континенту*".

Надеюсь, что я еще не опоздал заявить о своем *γραφὴν ξενίας*, или протесте, против необоснованного права фукидидовского гражданства, которое недавние редакторы присвоили этому слову *οὐ* в с. 101. Старый текст, безусловно, должен быть восстановлен; или, если эти редакторы придерживаются своих взглядов, они должны, по крайней мере, заключить это слово в скобки. В издании Фукидида, опубликованном в Лейпсике в 1845 году К. А. Котом, я замечаю, что текст по-прежнему напечатан правильно, без негатива.

[148] Thucyd. viii, 102. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἐν τῇ Σηστῷ, ... ὡς αὐτοῖς οἱ τε φρουρωτοὶ ἐσήμαινον, καὶ ἡσθάνοντο τὰ πурὰ ἐξαίφνης πολλὰ ἐν τῇ πολεμῖα φανέντα, ἔγνωσαν ὅτι ἐσπλεύουσιν οἱ Πελοποννήσιοι. Καὶ τῆς αὐτῆς ταύτης νυκτὸς, ὡς εἶχον τάχους, ὑπομίξαντες τῇ Χερσονήσῳ,

παρέπλεον ἐπ' Ἐλαιοῦντος, βουλόμενοι ἐκπλεῦσαι ἐς τὴν εὐρυχωρίαν τὰς τῶν πολεμίων ναῦς. Καὶ τὰς μὲν ἐν Ἀβύδῳ ἐκκαίδεκα ναῦς ἔλαθον, προειρημένης φυλακῆς τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ, ὅπως αὐτῶν ἀνακῶς ἔξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι- τὰς δὲ μετὰ τοῦ Μινδάρου ἅμα ἔω κατιδόντες, etc.

Здесь мы снова имеем трудный текст, который сильно озадачил комментаторов, и который я осмеливаюсь перевести, как он есть в моем тексте, иначе, чем все они. Слова проειρημένης φυλακῆς τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ, ὅπως αὐτῶν ἀνακῶς ἔξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι, объясняются схолиастом следующим образом: "Хотя им (т.е. пелопоннесскому караульному отряду в Абидосе) было предписано дружественным приближающимся флотом (Миндара), чтобы они строго следили за афинянами в Сестосе, если последние отплывут".

Д-р Арнольд, Гёллер, Поппо и М. Дидо принимают эту конструкцию, хотя все согласны, что она наиболее резкая и запутанная. Первый говорит: "Это опять-таки странным образом означает, что проειρημένου αὐτοῖς ὑπὸ τῶν ἐπιπλεόντων φίλων φυλάσσειν τοῦς πολεμίους".

Толкование τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ как эквивалентного ὑπὸ τῶν ἐπιπλεόντων φίλων, конечно, является такой суровостью, которой мы должны быть очень рады избежать. Построение схолиаста предполагает еще одну вольность, которую я не могу не считать предосудительной. В своем пересказе он вводит слово καίτοι, *хотя*, из своего воображения. В тексте Фукидида нет никаких указаний на "*хотя*", ни явных, ни подразумеваемых; и мне кажется опасным вводить в смысл столь решающую частицу без какого-либо авторитета. Генитив абсолютный, присоединенный к основному предикату, утверждаемому глаголом, обычно обозначает нечто, естественно связанное с ним в виде причины, сопутствия, объяснения или изменения, а не нечто противоположное ему, требующее предварительного упоминания *хотя*; если это последнее подразумевается, то слово *хотя* выражено, а не оставлено для понимания. После того как Фукидид рассказал нам, что афиняне в Сестосе спаслись от своих врагов в Абидосе, когда он далее добавляет что-то в родительном падеже, мы ожидаем, что это будет новый факт, объясняющий, почему или как они спаслись: но если новый факт, который он нам сообщает, не объясняет побег, а делает его более необычным (например, что пелопоннесцы получили строгий приказ следить за ними), он обязательно подготовит читателя к этому новому факту выраженной частицей *хотя* или *не смотря на*: "Афиняне бежали, *хотя* пелопоннесцы получили строжайший приказ следить за ними и блокировать их". Поскольку в греческих словах нет ничего эквивалентного или подразумевающего сопоставительную частицу *although*, я с большой долей вероятности делаю вывод, что ее не следует искать в значении.

Отличаясь от комментаторов, я думаю, что эти слова, проειρημένης φυλακῆς τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ, ὅπως αὐτῶν ἀνακῶς ἔξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι, называют причину факта, о котором было объявлено непосредственно перед этим, и который был действительно необычным; а именно, что афинской эскадре было позволено пройти мимо Абидоса и бежать из Сестоса в Элевсин. Эта причина заключалась в том, что пелопоннесская гвардия получила от Миндара особый приказ *сосредоточить свое внимание и бдительность на приближающейся эскадре*; отсюда и вытекало, что они оставили афинян в Сестосе незамеченными.

Слова τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ эквивалентны τῷ τῶν φίλων ἐπίπλῳ, а местоимение αὐτῶν, которое следует сразу за ними, относится к φίλων (*приближающемуся флоту Миндара*), а не к афинянам в Сестосе, как это понимают схолиаст и комментаторы. Эта ошибка в отношении ссылки αὐτῶν, как мне кажется, поставила их всех в тупик.

То, что τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ должно быть истолковано как эквивалентное τῷ τῶν φίλων ἐπίπλῳ, несомненно; но это не эквивалентно ὑπὸ τῶν ἐπιπλεόντων φίλων; также невозможно истолковать слова так, как их понял бы схолиаст: "*приказы были отданы ранее по*

приближению (или прибытию) их друзей"; таким образом, мы должны превратить ὁ ἐπίπλους в действующую и командующую личность. Приход их друзей" - это событие, о котором можно правильно сказать "произвел эффект", но о котором нельзя сказать "отдал предыдущие приказы". Мне кажется, что τῷ φίλῳ ἐπίπλῳ - это дательный падеж, управляемый φυλακῆς; "следить за прибытием пелопоннесцев" было предписано этим сторожевым кораблям в Абидосе: "Им было приказано следить за приближающимся путешествием их друзей". Английский предлог *for* выражает здесь в точности смысл греческого дательного; то есть объект, цель или лиц, о пользе которых идет речь.

Следующие непосредственно за ними слова ὅπως αὐτῶν (τῶν φίλων) ἀνακῶς ἔξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι, являются расширением последствий, вытекающих из φυλακῆς τῷ φίλῳ ἐπίπλῳ. "Они должны наблюдать за приближением главного флота, чтобы уделить особое и первостепенное внимание его безопасности, в случае если он сделает старт". Для фразы ἀνακῶς ἔχειν, сравните Herodot. i, 24; viii, 109. Плутарх, Тесей, с. 33: ἀνακῶς, φυλακῶς, προνοητικῶς, ἐπιμελῶς, примечания Арнольда и Гёллера здесь; и Кюннер, Gr. Gr. sect. 533, ἀνακῶς ἔχειν τινός, для ἐπιμελεῖσθαι. Слова ἀνακῶς ἔχειν выражают тревожную и особую бдительность, которую пелопоннесская эскадра в Абидосе должна была сохранять в ожидании прибытия Миндара и его флота, что было предметом сомнения и опасности; но они не могли бы быть должным образом применимы к обязанностям этой эскадры в отношении противоположной афинской эскадры в Сестосе, которая едва ли превосходила их по силе и была к тому же заклятым врагом, в виду их собственного порта.

Наконец, слова ἣν ἐκπλέωσι относятся к *Миндару и его флоту, собирающемуся отправиться из Хиоса, как к своему объекту*, а не к афинянам в Сестосе.

Если отбросить особенности Фукидида и выразить смысл обычным греческим языком, то все предложение будет выглядеть так: Καὶ τὰς μὲν ἐν Ἀβύδῳ ἐκκαίδεκα ναῦς (Ἀθηναῖοι) ἔλαθον-προεῖρητο γὰρ (ἐκεῖναις ταῖς ναῦσιν) φυλάσσειν τὸν ἐπίπλουν τῶν φίλων, ὅπως αὐτῶν (τῶν φίλων) ἀνακῶς ἔξουσιν, ἣν ἐκπλέωσι. Глагол φυλάσσειν здесь, и, конечно, абстрактное субстантивное φυλακῆ, которое его представляет, означает *следить* или *ждать*: как Thucyd. ii, 3. φυλάξαντες ἔτι νύκτα, καὶ αὐτὸ τὸ περίορθρον; также viii, 41, ἐφύλασσε.

Если мы истолкуем эти слова таким образом, то они окажутся в полном соответствии с общей схемой и целью Миндара. Этот адмирал стремится провести свой флот к Геллеспонт, но при этом избежать столкновения с Фрасиллом. Этого трудно добиться, и сделать это можно только с помощью большой секретности действий, а также необычного маршрута. Он заранее посылает приказ из Хиоса, возможно, даже из Милета, прежде чем покинуть это место, пелопоннесской эскадре, охраняющей Геллеспонт в Абидосе. Он думает о том, что Фрасилий может разгадать его замысел, перехватить его на переходе и, возможно, заблокировать или заставить сражаться на каком-нибудь рейде или в бухте на побережье напротив Лесбоса или на Троаде, что действительно могло бы произойти, если бы он был замечен хоть одним вражеским рыболовным судном при огибании острова Хиос. Теперь приказы, посланные вперед, указывают пелопоннесской эскадре в Абидосе, что они должны делать в этой непредвиденной ситуации; поскольку без таких приказов капитан эскадры не знал бы, что делать, если предположить, что Миндара перехватит Фрасилий; оставаться ли на страже у Геллеспонта, что было его особой обязанностью; или оставить Геллеспонт без охраны, сосредоточить свое внимание на Миндаре и выйти к нему на помощь. "Пусть твоей первой мыслью будет обеспечить безопасное прибытие главного флота к Геллеспонт, выйти и оказать ему помощь, если он будет атакован на своем пути; даже если для этого придется оставить Геллеспонт на время без охраны". Миндарус не мог заранее определить точный момент, когда он отправится из Хиоса, да и вообще не было полной уверенности, что он

вообще отправится, если за ним следит враг: поэтому приказ был отправлен с *условием*, что он сможет выйти (*ἢν ἐκπλέωσι*). Но ему посчастливилось, благодаря хорошо продуманному плану путешествия, добраться до Геллеспонта, не встретив врага. Однако пелопоннесская эскадра в Абидосе, получив особый приказ, когда сигналы оповестили их о его приближении, думала лишь о том, чтобы держать себя в резерве для оказания ему помощи, если она понадобится, и не обратила внимания на афинян напротив. Поскольку была ночь, вероятно, лучшее, что они могли сделать, - это дожидаться в Абидосе дневного света, пока они не узнают подробности о его положении и о том, как или где они могут оказать помощь.

Таким образом, мы видим и общую цель Миндара, и то, каким образом приказы, которые он передал пелопоннесской эскадре в Абидосе, косвенно привели к тому, что афинская эскадра без помех вышла из Сестоса.

[149] Thucyd. viii, 105, 106; Diodor. xiii, 39, 40.

Общий рассказ Диодора об этой битве, даже в самых существенных чертах, не согласуется с Фукидидом. Тщетно пытаться смешать их. Мне удалось заимствовать у Диодора почти ничего, кроме его заявления о превосходстве афинских лоцманов и пелопоннесских эпибатов. Он утверждает, что двадцать пять новых кораблей прибыли к афинянам в середине битвы и определили победу в их пользу: это обстоятельство, очевидно, заимствовано из последующего конфликта, произошедшего через несколько месяцев после этого.

Ему же мы обязаны упоминанием часовни или гробницы Гекубы на мысе Киноскема.

[150] Thucyd. viii, 107; Diodor. xiii, 41.

[151] Diodor. xiii, 41. Вероятно, этот флот в значительной степени состоял из беотийцев; двенадцать моряков, спасшихся после кораблекрушения, отметили свое спасение надписью в храме Афена в Коронее; эту надпись прочитал и скопировал Эфор. Преувеличенное и слишком буквальное доверие к ее словам заставляет Диодора утверждать, что эти двенадцать человек были единственными спасшимися, а все остальные погибли. Но мы прекрасно знаем, что сам Гиппократес выжил, и что он был жив в последующей битве при Кизикусе (Xenoph. Hellen. i, 1, 23).

[152] Diodor. xiii, 47. Он помещает это событие на год позже, но я согласен с Зиверсом в том, что оно последовало с небольшой задержкой после ухода защищающего флота (Sievers, Comment. in Xenoph. Hellen. p. 9; note, p. 66).

Описание Эврипа и прилегающей территории с планом см. в "Путешествиях полковника Лика по Северной Греции", т. ii, гл. xiv, с. 259-265.

Я не могу выяснить у полковника Лика, какова точная ширина канала. Страбон говорит в свое время о мосте, достигавшем двухсот футов (x, p. 400). Но, должно быть, жители Халкиса внесли существенные изменения во времена Александра Македонского (Strabo, x, p. 447). Мост, описанный Диодором, охватывающий открытое пространство, достаточно широкое для одного корабля, вряд ли мог быть более двадцати футов в ширину, поскольку он вовсе не был предназначен для облегчения прохода. Все древние корабли могли опускать мачты. Я не могу не думать, что полковник Лик (стр. 259), должно быть, прочитал в Диодоре, xiii, 47, οὐ вместо ὅ.

[153] Thucyd. viii, 107.

[154] Xenoph. Hellen. v, 1, 17. Сравните аналогичное восклицание, при более благородных обстоятельствах, у спартанца Калликратидаса, Xenoph. Hellen. i, 6, 7; Плутарх, Лисандр, с. 6.

[155] Thucyd. viii, 108; Diodor. xiii, 42.

[156] Thucyd. viii, 109.

[157] Diodor. xiii, 46. Это утверждение Диодора, и оно кажется достаточно вероятным, хотя он вносит странную путаницу в персидские дела этого года, опуская имя Тиссафернеса, и смешивая деяния Тиссафернеса с именем Фарнабаза.

[158] Thucyd. viii, 109. Именно на этом этапе мы должны расстаться с историком Фукидидом, чей труд не только завершается, не достигнув какой-либо определенной эпохи или предела, но даже обрывается, как мы имеем, на середине предложения.

Весь масштаб этой невосполнимой утраты вряд ли могут представить себе разве что те, кто был призван изучить его труд с тем глубоким и пристальным вниманием, которое требуется от историка Греции. Переход от Фукидида к "Эллинике" Ксенофонта - спуск поистине скорбный; и все же, если рассматривать греческую историю в целом, у нас есть большие основания радоваться, что до нас дошло даже столь низкое произведение, как последнее. Исторические цели и концепции Фукидида, изложенные им самим в предисловии, возвышенны и философичны до совершенно удивительной степени, если учесть, что у него не было перед собой никаких предшествующих моделей, из которых он мог бы их почерпнуть; и восемь книг его труда, несмотря на незаконченное состояние последней, недостойны этих больших обещаний ни по духу, ни по исполнению. Даже своеобразие, сжатость и резкость его стиля, хотя иногда и скрывают от нас его полный смысл, в целом придают большую дополнительную силу и гораздо глубже передают его мысли каждому внимательному читателю.

В ходе работы над двумя последними томами я часто обращал внимание на критические замечания д-ра Арнольда в его издании "Фукидида", в основном по тем пунктам, где я с ним не соглашался. Я сделал это отчасти потому, что считаю, что издание доктора Арнольда наиболее часто используется всеми английскими читателями "Фукидида", отчасти из-за высокого уважения, которое я питаю к либеральному духу, эрудиции и рассудительности, которыми проникнута его критика в целом по всей книге. Доктор Арнольд заслуживает особенно высокой оценки, которую не часто можно получить даже от ученых и точных комментаторов, за то, что он воспринимает и оценивает античность как живое целое, а не просто как совокупность слов и абстракций. Его критика постоянно используется Гёллером во втором издании его Thucydidês, а также в значительной степени Поппо. Искренне желая, чтобы его издание надолго сохранило свое первенство среди английских студентов Фукидида, я счел своим долгом в то же время указать на многие моменты, по которым его замечания либо продвигают, либо подразумевают взгляды на греческую историю, отличные от моих собственных.

[159] Xenoph. Hellen. i, 1, 9.

[160] Thucyd. viii, 108. Диодор (xiii, 38) говорит об этом влиянии Алкивиада на сатрапа так, как будто оно было реальным. Плутарх (Alkibiad. с. 26) говорит более квалифицированным языком.

[161] Thucyd. viii, 108. πρὸς τὸ μετόπιστρον. Хаак и Зиверс (см. Sievers, Comment. ad Xenoph. Hellen. p. 103) трактуют это как указание на середину августа, что, на мой взгляд, слишком рано в году.

[162] Диодор (xiii, 46) и Плутарх (Alkib. с. 27) говорят о его случайном прибытии на Геллеспонт, κατὰ τύχην, что, конечно, очень маловероятно.

[163] Xenoph. Hellen. i, 1, 6, 7.

[164] Diodor. xiii, 47-49.

[165] Diodor. xiii, 48. Зиверс (Commentat. ad Xenoph. Hellen. p. 12; и p. 65, прим. 58) оспаривает реальность этих беспорядков в Коркире, упомянутых здесь Диодором, но не упомянутых в Эллинике Ксенофонта, и противоречащих, как он думает, отрицательному выводу, вытекающему из Thucyd. iv, 48, ὅσα γὰρ κατὰ τὸν πόλεμον τὸνδε. Но мне кажется, что Ф. В. Ульрих (Beiträge zur Erklärung des Thukydides, pp. 95-99), правильно объяснил эту фразу Фукидида, как означающую, в цитируемом здесь месте, первые десять лет Пелопоннесской войны, между сюрпризом Платеи и Никиасским миром.

Я не вижу причин ставить под сомнение истинность этих волнений в Коркире, о которых упоминает Диодор.

[166] Xenoph. Hellen. vi, 2, 25.

[167] Xenoph. Hellen. i, 1, 9; Plutarch, Alkibiadês, с. 27.

[168] Diodor. xiii, 49. Диодор специально отмечает этот факт, который, очевидно, должен быть верным. Без этого сюрприз Миндара не мог бы быть осуществлен.

[169] Xenoph. Hellen. i, 1, 14-20; Diodor. xiii, 50, 51.

Многочисленные расхождения между Диодором и Ксенофонтом в событиях этих нескольких лет собраны Зиверсом, Commentat. in Xenoph. Hellen. note, 62, pp. 65, 66, seq.

[170] Xenoph. Hellen. i, 1, 23. Ἐρρεῖ τὰ κάλα- Μίνδαρος ἀπεσσοῦα- πεινῶντι τῶνδρες- ἀπορέομες τί χρὴ δρᾶν.

Плутарх, Алкиб. с. 28.

[171] Diodor. xiii, 52.

[172] Diodor. xiii, 53.

[173] См. предыдущий том vi, гл. liv, p. 455.

[174] Diodor. xiii, 52.

[175] Филохор (ap. Schol. ad Eurip. Orest. 371), по-видимому, говорит, что афиняне отвергли это предложение как неискреннее: Λακεδαιμονίων πρεσβευσαμένων περὶ εἰρήνης ἀπιστήσαντες οἱ Ἀθηναῖοι οὐ προσήκαντο; ср. также Schol. ad Eurip. Orest. 772, фрагмент Филохори.

[176] Xenoph. Hellen. i, 1, 24-26; Strabo, xiii, p. 606.

[177] См. Demosthen. de Coronâ, с. 71; и Xenoph. Hellen. i, 1, 22. καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ (Χρυσοπόλει), καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγοντο τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων: сравни iv, 8, 27; и v, 1, 28; также Diodor. xiii, 64.

Выражение τῇν δεκάτην подразумевает, что эта десятина была чем-то известным и заранее установленным.

Полибий (iv, 44) ставит в заслугу Алкивиаду то, что он первым предложил Афинам этот способ получения прибыли. Но есть свидетельства того, что он практиковался задолго до этого, еще до Афинской империи, во времена персидского господства (см. Herodot. vi, 5).

См. поразительный отрывок, иллюстрирующий важность для Афин обладания Византией, у Лисия, Orat. xxviii, cont. Ergokl. sect. 6.

[178] Xenoph. Hellen. i, 1, 32; Demosthen. cont. Leptin. s. 48, c. 14, p. 474.

[179] Thucyd. viii, 64.

[180] Xenoph. Hellen. i, 1, 32.

[181] Xenoph. Hellen. i, 1, 35-36. Он говорит, что корабли Клеарха, подвергшиеся нападению афинян в Геллеспонте, бежали сначала в *Сестос*, а затем в Византию. Но *Сестос* был *афинской* станцией. Это название, несомненно, должно быть по недосмотру отнесено к *Абидосу*, пелопоннесской станции.

[182] Xenoph. Hellen. i, 1, 34; i, 2, 1. Диодор (xiii, 64) путает Фрасибула с Фрасиллом.

[183] Xenoph. Hellen. i, 2, 5-11. Ксенофонт различает эти двадцать пять сиракузских трирем на τῶν προτέρων εἴκοσι νεῶν, а затем αἱ ἕτεροι πέντε, αἱ νεωστὶ ἤκουσαι. Но мне кажется, что двадцать трирем, как и пять, должны были прибыть в Азию после битвы при Кизике, хотя пять, возможно, были несколько позже по времени прибытия. Все сиракузские корабли во флоте Миндара были уничтожены, и невозможно представить, что этот адмирал мог оставить двадцать сиракузских кораблей в Эфесе или Милете в дополнение к тем, которые он взял с собой в Геллеспонт.

[184] Xenoph. Hellen. i, 2, 8-15.

[185] Xenoph. Hellen. i, 2, 13-17; Plutarch, Alkibiad. c. 29.

[186] Diodor. xiii, 64. Пренебрежительное отношение Ксенофонта (Hellen. i, 2, 18) к захвату Пилоса как к простому отступлению некоторых беглых гелотов из Малейи, а также использование им названия *Корифасион*, а не *Пилос*, доказывают, что он писал, опираясь на лакедемонских информаторов.

[187] Diodor. xiii, 64; Plutarch, Coriolan. c. 14.

Аристотель, Ἀθηναίων πολιτεία, ap. Harpokration, v. Δεκάζων, и в Сборнике фрагм. Aristotel. № 72, ed. Didot (Fragment. Historic. Græc. vol. ii, p. 127).

[188] Diodor. xiii, 65.

[189] Xenoph. Hellen. i, 1, 36.

[190] Polyb. iv, 44-45.

[191] Xenoph. Hellen. i, 3, 5-7; Diodor. xiii, 66.

[192] Xenoph. Hellen. i, 3, 9. Ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους Ἀθηναίοις ὅσον περ εἰώθεσαν, καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι Ἀθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέα πρέσβεις ἔλθωσιν.

Этот отрывок усиливает сомнения, которые я высказал в предыдущей главе, в том, что афиняне когда-либо осуществляли или могли осуществить свой проект замены дани, наложенной на зависимых союзников, на *адвалорную* пошлину в размере пяти процентов. Этот проект упоминается Фукидидом (vii, 28) как если не осуществленный, то, по крайней мере, решенный летом 413 года до н. э. В сделке, заключенной с халкедонцами, подразумевается, что выплата дани была последней договоренностью, существовавшей между Афинами и Халкедоном на момент восстания последних.

Далее, я согласен с замечанием, сделанным Шнайдером в его примечании к этому отрывку: Ἀθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις. Он обращает внимание на формулировку договора у Плутарха: τὴν Φαρναβάζου δὲ χώραν μὴ ἀδικεῖν (Alkib. c. 31), которая, конечно, гораздо больше подходит к обстоятельствам. Вместо Καλχηδονίοις он предлагает читать Φαρναβάζω. Во всяком случае, смысл такой.

[193] Xenoph. Hellen. i, 3, 15-22; Diodor. xiii, 67; Plutarch, Alkib. c. 31.

Рассказ Ксенофонта о сдаче Византии, которого я придерживаюсь в тексте, совершенно ясен и вероятен. Он не состоит из сложных интриг, описанных Диодором и Плутархом, а также Фронтином, iii, xi, 3; на него также ссылается Полиэн, i, 48, 2.

[194] Xenoph. Hellen. i, 4, 1.

[195] Xenoph. Hellen. i, 4, 2-3.

[196] Анабасис Ксенофонта (i, 1, 6-8; i, 9, 7-9) является лучшим авторитетом и говорит более точно, чем Hellenica, i, 4, 3.

[197] См. анекдот о Кире и Лисандре в Xenoph. Oeconom. iv, 21-23.

[198] Xenoph. Hellen. i, 4, 3-8. Употребленные здесь слова о посланниках, возвращавшихся после трехлетнего заключения, ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον ἀπέπλευσαν, кажутся мне непреднамеренными. Возвращение посланников должно было произойти весной 404 г. до н. э., в то время, когда в Афинах не было лагеря: сдача города произошла в апреле 404 г. до н. э. Ксенофонт неосторожно говорит, будто то положение вещей, которое существовало при отъезде посланников, продолжалось и после их возвращения.

[199] Слова Фукидида (ii, 65) подразумевают это как его мнение, Κύρω τε ὕστερον βασιλέως παιδὶ προσγενομένῳ и т.д.

[200] Начало навархии, или года морского командования, Лисандра, как мне кажется, приходится на эту зиму. Он некоторое время фактически командовал кораблем до того, как Кир прибыл в Сарды: Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, πρότερον τούτων οὐ πολλῷ χρόνῳ Κρατησιππίδα τῆς ναυαρχίας παρεληλυθυίας, Λύσανδρον ἐξέπεμψαν ναύαρχον. Ὁ δὲ ἀφικόμενος εἰς Ῥόδον καὶ ναῦς ἐκεῖθεν λαβὼν, ἐς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν- ἐκεῖθεν δὲ ἐς Ἑφεσον- καὶ ἐκεῖ ἔμεινε, ναῦς ἔχων ἐβδομήκοντα, μέχρις οὗ Κῦρος ἐς Σάρδεας ἀφίκετο (Xenoph. Hellen. i, 5, 1).

Мистер Файнс Клинтон (Fast. H. ad ann. 407 B.C.), как я полагаю, был введен в заблуждение первыми словами этого отрывка, πρότερον τούτων οὐ πολλῷ χρόνῳ, когда он говорит: "Во время пребывания Алкивиада в Афинах Лисандр был послан как ναύαρχος, Xen. Затем последовало поражение Антиоха, низложение Алкивиада и замена его ἄλλου δέκα, между сентябрем 407 и сентябрем 406 года, когда Калликратида сменил Лисандра".

Алкивиад прибыл в Афины в месяце Таргелион, или примерно в конце мая 407 года, и оставался там до начала сентября 407 года. Кир прибыл в Сарды до того, как Алкивиадес

достиг Афин, а Лисандр пробыл на своем посту некоторое время до прибытия Кира; таким образом, Лисандр был отправлен не "во время пребывания Алкивиадеса в Афинах", а за несколько месяцев до этого. Тем более неверно утверждать, что Калликратида сменил Лисандра в сентябре 406 года. Битва при Аргинусе, в которой погиб Калликратид, произошла около августа 406 года, после того как он несколько месяцев пробыл адмиралом. Слова *πρότερον τοῦτων*, если их толковать вместе с последующим контекстом, очевидно, следует понимать в широком смысле; "*эти события*" означают общую серию событий, которая начинается с i, 4, 8; действия Алкивиада с начала весны 407 года.

[201] *Ælian*, V. N. xii, 43; *Athenæus*, vi, p. 271. Утверждение, что Лисандр принадлежал к классу мотыльков, Афиней приводит как исходящее от Филарха, и я не вижу причин ставить его под сомнение. Илиан утверждает то же самое в отношении Гириппа и Калликратида; я не знаю, на каком основании.

[202] *Theopompus*, *Fragm.* 21, ed. Didot; *Plutarch*, *Lysand.* c. 30.

[203] *Плутарх*, *Лисандр*, с. 8.

[204] *Diodor.* xiii, 65; *Xenoph.* *Hellen.* iii, 2, 11. Я предполагаю, что это поведение Кратесиппида - факт, на который обратил внимание Исократес де Паче, *разд.* 128, p. 240, ed. Bekk.

[205] *Xenoph.* *Hellen.* i, 5, 3-4; *Diodor.* xiii, 70; *Plutarch*, *Lysander*, c. 4. По-видимому, это была излюбленная метафора, которую использовали или, по крайней мере, приписывали персидским вельможам; мы уже имели ее, немного раньше, из уст Тиссафернеса.

[206] *Xenoph.* *Hellen.* i, 5, 5. εἶναι δὲ καὶ τὰς συνθήκας οὕτως ἔχούσας, τριάκοντα μνᾶς ἑκάστη νηὶ τοῦ μηνὸς δίδοναι, ὅπόσας ἂν βούλοιντο τρέφειν Λακεδαιμόνιοι.

Это не совсем верно. Размер оплаты не указан ни в одной из трех конвенций, как они стоят в *Thucyd.* viii, 18, 37, 58. Похоже, что с самого начала это был вопрос устного понимания и обещания; сначала драхма в день была обещана посланниками Тиссафернеса в Спарте; затем сам сатрап в Милете снизил эту драхму до половины драхмы и обещал эту более низкую ставку на будущее (viii, 29).

Мистер Митфорд говорит: "Лисандр предложил, чтобы аттическая драхма, *которая равнялась восьми оболам*, почти десяти пенсам стерлингов, была разрешена для ежедневной оплаты каждому моряку".

В предыдущем предложении мистер Митфорд указал, что *три обولا* равны не более чем *четырем пенсам* стерлингов. Разумеется, очевидно, что он не считал три обولا половиной драхмы (*Hist. Greece*, ch. xx, sect. i. vol. iv, p. 317, oct. ed. 1814).

То, что драхма эквивалентна *шести* оболам, то есть эгинейская драхма равна шести эгинейским оболам, а аттическая драхма - шести аттическим оболам, настолько хорошо известно, что я бы почти принял слово *восемь* в первом предложении, приведенном здесь, за опечатку *шести*, если бы следующее предложение не демонстрировало, что мистер Митфорд действительно считал драхму равной *восемью* оболам. Это, конечно, удивительная ошибка.

[207] *Thucyd.* viii, 29.

[208] См. прежний том vi, гл. li, стр. 287.

[209] См. замечательный характер Кира Младшего, приведенный в "Анабасисе" Ксенофонта, i, 9, 22-28.

[210] Xenoph. Hellen. ii, 1, 13; Плутарх, Lysand. с. 4-9.

[211] Xenoph. Hellen. i, 5, 10.

[212] Diodor. xiii, 70; Plutarch, Lysand. с. 5.

[213] Xenoph. Hellen. i, 4, 8-10; Diodor. xiii, 72. Хронология Ксенофонта, хотя и не столь ясная, как хотелось бы, заслуживает неоспоримого предпочтения перед хронологией Диодора.

[214] Diodor. xiii, 68; Plutarch, Alkib. с. 31; Athenæ. xii, p. 535.

[215] Xenoph. Hellen. i, 4, 18, 19. Ἀλκιβιάδης δὲ, πρὸς τὴν γῆν ὀρμισθεὶς, ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθέως, φοβούμενος τοὺς ἐχθροὺς- ἐπαναστὰς δὲ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος, ἐσκόπει τοὺς αὐτοῦ ἐπιτηδεῖους, εἰ παρείησαν. Κατιδὼν δὲ Εὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος, ἑαυτοῦ δὲ ἀνεψιὸν, καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ φίλους μετ' αὐτῶν, τότε ἀποβὰς ἀναβαίνει ἐς τὴν πόλιν, μετὰ τῶν παρεσκευασμένων, εἴ τις ἄπτοίτο, μὴ ἐπιτρέπειν.

[216] Xenoph. Hellen. i, 4, 20; Plutarch, Alkib. с. 33; Diodor. xiii, 69.

[217] Xenoph. Hellen. i, 4, 14-16.

[218] Xenoph. Hellen. i, 4, 15.

[219] Этот момент справедливо неоднократно затрагивает Корнелий Непос, Vit. Alcibiad. с. 6: "Quaquam Theramenês et Thrasybulus eisdem rebus præfuerant." И снова в жизни Фрасибула (с. 1). "Primum Peloponnesiaco bello multa hic (Thrasybulus) sine Alcibiade gessit; ille nullam rem sine hoc."

[220] Xenoph. Hellen. i, 4, 20. λεχθέντων δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων, καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος, διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσθαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν, etc.

[221] Xenoph. Hellen. i, 4, 21. И Диодор (xiii, 69), и Корнелий Непос (Vit. Alcib. с. 7) называют Фрасибула и Адеиманта его коллегами: оба утверждают также, что его коллеги были выбраны по его рекомендации. Я следую Ксенофону в том, что касается имен, а также в том, что они были названы κατὰ γῆν στρατηγοί.

[222] Xenoph. Hellen. i, 4, 20; Плутарх, Alkib. с. 34. Ни Диодор, ни Корнелий Непос не упоминают об этом примечательном инциденте с эскортом Элевсинской процессии.

[223] Diodor. xiii, 72, 73.

[224] Xenoph. Hellen. i, 4, 22; i, 5, 18; Plutarch, Alkib. с. 35; Diodor. xiii, 69. Последний говорит, что Фрасибул был оставлен на Андросе, что не может быть правдой.

[225] Ксенофонт, Hellen. i, 5, 9; Плутарх, Lysand. с. 4. Последний говорит нам, что афинские корабли были вскоре опустошены из-за дезертирства моряков; неосторожное преувеличение.

[226] Plutarch, Lysand. с. 9. Я осмелюсь опередить его утверждения о поощрении Киром Лисандра.

[227] Diodor. xiii, 73. Я следую Диодору в отношении этой истории о Киме, которую он, вероятно, скопировал у киммерийского историка Эфора. Корнелий Непос (Alcib. с. 7) вскользь упоминает о нем.

Ксенофонт (Hellen. i, 5, 11), а также Плутарх (Lysand. с. 5) упоминают о визите Алкивиада к Фрасибулу в Фокею. Однако они не называют имя Кима: по их мнению, визит в Фокею не имеет ни цели, ни последствий. Но разграбление Кима - обстоятельство, достаточно вероятное само по себе и подходящее к случаю.

[228] Xenoph. Hellen. i, 5, 12-15: Diodor. xiii, 71: Плутарх, Алкиб. с. 35; Плутарх, Лисанд. с. 5.

[229] Xenoph. Hellen. i, 5, 15; Diodor. xiii, 76.

Я копирую Диодора, ставя Теос, согласно примечанию Вайске, на место Эйона, который встречается у Ксенофонта. Я копирую последнего, однако, в том, что он относит эти захваты к году Лисандра, а не к году Калликратида.

[230] Плутарх. Alkib. с. 36. В десятой главе того же жизнеописания он приводит анекдот, описывающий, как Антиох впервые завоевал расположение Алкивиада, тогда еще юноши, поймав ручную перепелку, вырвавшуюся из его груди.

[231] Человек по имени *Трасон* упоминается в Чойсельской надписи (№ 147, стр. 221, 222, Corp. Inscr. of Boeekh) как один из эллинотамиев в 410 г. до н. э. Он описывается своим демом как *Бутадес*; вероятно, он достаточно отец этого Фрасибула.

[232] Xenoph. Hellen. i, 5, 16-17. Ἀλκιβιάδης μὲν οὖν, πονηρῶς καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ φερόμενος и др. Diodor. xiii, 73. ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι πολλαὶ διαβολαὶ κατ' αὐτοῦ, etc.

Плутарх Алкиб. с. 36.

Одна из оставшихся речей Лисия (Orat. xxi, Ἀπολογία Δωροδοκίας) произнесена триерархом этого флота, на корабле которого решил плыть сам Алкивиад. Этот триерарх жалуется на Алкивиада как на самого неудобного и хлопотного спутника (раздел 7). Его свидетельство по этому поводу очень ценно, так как, похоже, здесь нет желания выдвигать какие-либо обвинения против Алкивиада. Триерарх отмечает тот факт, что Алкивиад предпочел свою трирему, просто как доказательство того, что она была лучше всего оснащена или была одной из лучших среди всего флота. Архестрат и Эрасинидес предпочитали ее и впоследствии, по той же причине.

[233] Xenoph. Hellen. i, 5, 16. Οἱ Ἀθηναῖοι, ὡς ἡγγέλθη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ, οἰόμενοι δι' ἀμέλειάν τε καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλέκεναι τὰς ναῦς.

Выражение, которое Фукидид использует по отношению к Алкивиаду, требует нескольких слов комментария: (vi, 15) καὶ δημοσίᾳ κράτιστα διαθέντα τὰ τοῦ πολέμου, ἰδίᾳ ἕκαστοι τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτοῦ ἀχθεσθέντες, καὶ ἄλλοις ἐπιτρέψαντες (афиняне), οὐ διὰ μακροῦ ἔσφηλαν τὴν πόλιν.

Упорное и эффективное ведение военных дел", приписываемое здесь Алкивиаду, относится ко всему периоду между его изгнанием и последним визитом в Афины (примерно с сентября 415 г. до н. э. по сентябрь 407 г. до н. э.). В течение первых четырех лет этого периода он был очень эффективен против Афин; в течение последних четырех - очень эффективен на службе у них.

Но это утверждение, конечно, не относится к его последнему командованию, которое закончилось битвой при Нотиуме; оно также не является более чем частичным, по крайней мере, это преувеличение правды, для периода перед его изгнанием.

[234] Чтобы разобраться с делом Никиаса, нужно было бы принять обратное суждению Фукидида относительно Алкивиада, приведенному в моем последнем примечании, и сказать: καὶ δημοσίᾳ *κάκιστα διαθέντα τὰ τοῦ πολέμου, ἰδίᾳ ἕκαστοι τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἀγασθέντες, καὶ αὐτῷ ἐπιτρέψαντες, οὐ διὰ μακροῦ ἔσφηλαν τὴν πόλιν.*

Читатель, конечно, поймет, что эти последние греческие слова - не подлинная цитата, а трансформация подлинных слов Фукидида, чтобы проиллюстрировать контраст между Алкивиадом и Никиасом.

[235] Thucyd. viii, 48. τὸν δὲ δῆμον, σφῶν τε, из союзных зависимых, καταφυγὴν, καὶ ἐκείνων, *т. е.* из высоких лиц, называемых καλοκάγαθοι, или оптиматов σωφρονιστήν.

[236] Xenoph. Hellen. i, 5, 18; Diodor. xiii, 74.

[237] Xenoph. Hellen. i, 5, 19; Pausan. vi, 7, 2.

[238] Xenoph. Hellen. i, 5, 20; *ср.* i, 6, 16; Diodor. xiii, 77.

[239] Вергилий, Энеида, vi, 870.

Ostendent terris hunc tantum fata, neque ultra

Esse sinent.

[240] Насколько полностью этот возврат был маневром с целью ущемления своего преемника, а не актом искреннего и добросовестного обязательства перед Киром, как это представляет мистер Митфорд, можно судить по поведению Лисандра в конце войны. Он увез с собой в Спарту все остатки дани от Кира, которые были у него, вместо того чтобы вернуть их Киру (Xenoph. Hellen. ii, 3, 8). Это обязательство вернуть их Киру было более сильным в конце войны, чем в то время, когда Калликратид вышел и когда война еще продолжалась; ибо война была общим делом, которое персы и спартанцы поклялись вести общими усилиями.

[241] Xenoph. Hellen. i, 6, 5. ὑμεῖς δὲ, πρὸς ἃ ἐγὼ τε φιλοτιμοῦμαι, καὶ ἡ πόλις ἡμῶν αἰτιάζεται (ἴστε γὰρ αὐτὰ, ὥσπερ καὶ ἐγὼ), συμβουλευέτε, *etc.*

[242] Xenoph. Hellen. i, 6, 7; Plutarch, Lysand. c. 6.

[243] Xenoph. Hellen. i, 6, 9. ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτάτους εἶναι ἐς τὸν πόλεμον, διὰ τὸ οἰκοῦντας ἐν βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη ὑπ' αὐτῶν πεπονθέναι.

[244] Плутарх, Апофтегма. Laconic. p. 222, C, Xenoph. Hellen. i, 6, 12.

[245] Xenoph. Hellen. i, 6, 34.

[246] Diodor. xiii, 99.

[247] Я делаю такой вывод из того факта, что в период битвы при Аргинусе оба эти города представляются как принадлежащие пелопоннесцам, тогда как во время командования Алкивиада они оба были афинскими (Xenoph. Hellen. i, 5, 11; i, 6, 33; Diodor. xiii, 73-99).

[248] Xenoph. Hellen. i, 6, 14. Καὶ κελευόντων τῶν συμμάχων ἀποδόσθαι καὶ τοὺς Μηθυμναίους, οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδένα Ἑλλήνων ἐς τοῦκείνου δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι.

Сравните более позднюю декларацию Агесилая, в основном с той же целью, но сделанную при обстоятельствах, гораздо менее выразительных, в Xenophon, Agesilaus, vii, 6.

[249] Настроение Калликратида заслуживает обозначения Ἑλληνικώτατον πολίτευμα гораздо больше, чем настроение Никии, к которой Плутарх применил эти слова (Сравн. Никию и Крассу, с. 2).

[250] Xenoph. Hellen. i, 6, 15. Κόνωνι δὲ εἶπεν, ὅτι παύσει αὐτὸν μοιχῶντα τὴν θάλασσαν и т. д. Вряд ли он мог сказать это Конону иначе, чем через афинских пленников.

[251] Xenoph. Hellen. i, 6, 17; Diodor. xiii, 78, 79.

Здесь, как и во многих других случаях, невозможно объединить эти два повествования. Диодор представляет факты совершенно иначе, чем Ксенофонт, и гораздо менее правдоподобно. Он рассказывает, что во время бегства Конон применил стратегию (то же самое в Polyænus, i, 482), благодаря которой он смог сразиться с самыми крупными пелопоннесскими кораблями и победить их до того, как подошли остальные: также он успел войти в гавань, чтобы привести ее в состояние обороны до того, как подошел Калликратид. Затем Диодор дает пространное описание битвы, в которой Калликратид пробил себе путь внутрь.

Повествование Ксенофонта, которого я придерживаюсь, явно подразумевает, что у Конона не было времени на подготовку к обороне гавани".

[252] Thucyd. viii, 6. τοὺς ἐφόρους ἐπ' ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο (Strabo, xiii, p. 617). Ксенофонт говорит только о гавани, как будто она одна; и, возможно, в очень неточном выражении ее можно описать как одну гавань с двумя входами. Однако мне кажется, что Ксенофонт не имел четкого представления об этом месте.

Страбон говорит о северной гавани как о защищенной молом, о южной - как о защищенной триремами, соединенными цепями. В 406 г. до н. э. таких защитных сооружений не существовало. Вероятно, после восстания Митилены в 427 г. до н. э. афиняне убрали те защитные сооружения, которые могли быть предусмотрены для этой гавани.

[253] Плутарх, Apophth. Laconic. p. 222, E.

[254] Xenoph. Hellen. i, 6, 19. Καθελκύσας (Κονον) τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλεούσας δύο, ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἀπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας, καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν μεταβιβάσας, καὶ τὰ παραρρύματα παραβαλὼν.

Значение παραρρύματα очень неопределенно. Комментаторы дают мало указаний; мы также не можем быть уверены, что имеется в виду то же самое, что выражено в παραβλήματα (*infra*, ii, 1, 22). Мы можем быть совершенно уверены, что под παραρρύματα подразумевались такие вещи, которые, если и были видны стороннему зрителю, то, по крайней мере, не указывали бы на то, что трирема предназначена для быстрого старта; в противном случае они разрушили бы всю задумку Конона, целью которой была секретность. Было необходимо, чтобы эта трирема, хотя и была на плаву, выглядела как можно более похожей на другие триремы, которые все еще оставались на берегу; чтобы пелопоннессцы не могли заподозрить никакой цели отплытия. Я постарался в тексте дать значение, отвечающее этой цели, не

отказываясь от объяснений, данных комментаторами: см. Boeckh, Ueber das Attische Seewesen, ch. x, p. 159.

[255] Xenoph. Hellen. i, 6, 22. Διομέδων δὲ βοηθῶν Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὤρμισατο ἐς τὸν εὐρίπον τὸν τῶν Μυτιληναίων.

Читателю стоит взглянуть на карту Лесбоса, чтобы понять, что имеется в виду под Эврипом Митиленским и другим Эврипом из соседнего города Пирра.

Диодор (xiii, 79) путает Эврипу Митиленскую с гаванью Митилен, с которой она совершенно не связана. Шнайдер и Плен, кажется, делают ту же путаницу (см. Plehn, Lesbica, p. 15).

[256] Xenoph. Hellen. i, 6, 24-25; Diodor. xiii, 97.

[257] Xenoph. Hellen. i, 6, 32; Diodor. xiii, 97, 98; последний сообщает о потрясающих предзнаменованиях для полководцев.

Ответ был запоминающимся и не раз упоминался, Плутарх, Laconic. Aporhthegm. p. 832; Цицерон, De Offic. i, 24.

[258] Xenoph. Hellen. i, 6, 31. Οὕτω δ' ἐτάχθησαν (οἱ Ἀθηναῖοι) ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν- χεῖρον γὰρ ἔπλεον. Αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾷ, ὥς πρὸς διέκπλουν καὶ περὶ πλουν παρεσκευασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν.

Напротив, Фукид. ii, 84-89 (речь Формиона), iv, 12; vii, 36.

[259] См. Thucyd. iv, 11.

[260] Xenoph. Hellen. i, 6, 33. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλόουσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν ἐς τὴν θάλασσαν ἠφανίσθη и т. д.

Подробности, приводимые Диодором об этой битве и подвигах Калликратида, одновременно и пространны, и недостойны доверия. См. превосходное примечание д-ра Арнольда к Thucyd. iv, 12, касающееся описания Диодором поведения Брасидаса в Пилосе.

[261] Xenoph. Hellen. i, 6, 34; Diodor. xiii, 99, 100.

[262] Xenoph. Hellen. i, 6, 38; Diodor. xiii, 100.

[263] См. рассказ Диодора (xiii, 100, 101, 102), где ничего не говорится, кроме как о подборании плавающих мертвых тел; о преступлении и обиде в глазах людей, что они не обеспечили погребение стольких мертвых тел. Похоже, он и не предполагал, что там были живые тела или что для многих членов экипажа вопрос стоял между жизнью и смертью. В то время как, если следовать повествованию Ксенофонта (Hellen. i, 7), то увидим, что вопрос о том, чтобы подобрать живых людей, потерпевших кораблекрушение, или людей, принадлежащих к разбитым кораблям и все еще живущих на их борту, ставится повсеместно, разбитых кораблей, ἀνελέσθαι τοὺς ναυαγοὺς, τοὺς δυστυχοῦντας, τοὺς καταδύντας (Hellen. ii, 3, 32): сравните, особенно, ii, 3, 35, πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδουκίας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ' αὐτῶν ἀνθρώπους (i, 6, 36). Слово ναυαγὸς означает не мертвое тело, а живого человека, потерпевшего кораблекрушение: Ναυαγὸς ἦκω, ξένος, ἀσύλητον γένος (говорит Менелай, Eurip. Helen. 457); также 407, Καὶ νῦν τάλας ναυαγὸς, ἀπολέσας φίλους Ἐξέπεσον ἐς γῆν τήνδε etc.; снова 538. Оно соответствует латинскому naufragus: "mersâ rate naufragus assem Dum rogat, et pictâ se tempestate tuetur" (Juvenal, xiv, 301.) Фукидид не использует слово ναυαγὸς, но говорит о τοὺς νεκροὺς καὶ τὰ ναυαγία, подразумевая под последним словом поврежденные корабли, со всеми людьми и вещами на борту.

Примечательно, что Шнайдер и большинство других комментаторов Ксенофонта, Штурц в своем *Lexicon Xenophonticum* (v. ἀναίρεσις), Stallbaum ad Platon. Apol. Socrat. с. 20, p. 32, Sievers, Comment. ad Xenoph. Hellen. p. 31, Forchhammer, Die Athener und Sokratēs, pp. 30-31, Berlin, 1837, и другие, все трактуют это событие так, как будто речь идет лишь о сборе мертвых тел для погребения. Это совершенно неверное толкование Ксенофонта; не только потому, что слово ναυαγός, которое он использует четыре раза, означает *живого человека*, но и потому, что есть два других отрывка, которые не оставляют абсолютно никаких сомнений по этому поводу: Παρήλθε δὲ τις ἐς τὴν ἐκκλησίαν, φάσκων ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι- ἐπιστέλλειν δ' αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ, ὅτι οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους. Опять же (ii, 3, 35), Фераменес, оправдываясь перед олигархией Тридцати, два года спустя, за свое поведение при обвинении генералов, говорит, что генералы сами навлекли на себя гибель, обвинив его первым и заявив, что людей на искалеченных кораблях можно было бы спасти при должном усердии: φάσκοντες γὰρ (генералы) οἶον τε εἶναι σῶσαι τοὺς ἄνδρας, προέμενοι αὐτοὺς ἀπολέσθαι, ἀποπλέοντες ὥχοντο. Эти отрывки не оставляют сомнений в том, что генералов обвиняли в том, что они не позаботились спасти жизни людей, находившихся на грани утопления, и которые по их недосмотру впоследствии утонули, а не в том, что они не позаботились подобрать мертвые тела для погребения. Неправильное толкование комментаторов имеет здесь самое серьезное значение. Оно полностью меняет критику афинского судопроизводства.

[264] См. Thucyd. i, 50, 51.

[265] Xenoph. Hellen. i, 6, 34. Ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Ἀθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν, ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσενεχθέντων.

Шнайдер в своем примечании и г-н Митфорд в своей "Истории" выражают удивление по поводу несоответствия между числом *двенадцать*, которое фигурирует в речи Эвритолема, и числом *двадцать пять*, приведенным Ксенофонтом.

Но, во-первых, мы не должны полагать, что Ксенофонт гарантирует те утверждения, касающиеся фактов, которые он приводит, как исходящие от Эвриптолема; который, будучи адвокатом, выступая в собрании, мог сильно вольничать с истиной.

Далее Ксенофонт говорит об общем количестве кораблей, уничтоженных или выведенных из строя в ходе сражения: Эвритолем говорит об общем количестве затонувших кораблей, которые были на плаву и к которым можно было подойти, чтобы спасти страдальцев, *в тот момент*, когда генералы приказали эскадре под командованием Фераменеса отправиться на помощь. Следует помнить, что генералы вернулись в Аргинусæ после битвы и там решили, согласно их собственному заявлению, отправить оттуда эскадру для осмотра затонувших кораблей. Таким образом, между завершением сражения и приказом, отданным Фераменесу, должен был пройти определенный промежуток времени. За это время, несомненно, *некоторые* из поврежденных кораблей затонули или развалились на куски: если верить Эвритолему, тринадцать из двадцати пяти кораблей должны были исчезнуть, так что их экипажи уже утонули, и не более двенадцати оставались на плаву, чтобы Фераменес мог их посетить, даже если бы он был всегда таким активным и всегда так благосклонно относился к погоде.

Я не доверяю утверждению Эвритолема и считаю, что он, скорее всего, преуменьшил их число. Но если допустить, что он прав, то это лишь покажет, насколько велика была вина

генералов, как мы заметим далее, в том, что они не позаботились об осмотре затонувших кораблей, *прежде чем* вернуться к своим причалам в Аргинусе.

[266] Бёх в своем поучительном труде "Urkunden über das Attische See-Wesen" (vii, p. 84, seq.) приводит длинный список названий афинских трирем из надписей в период между 356 и 322 гг. до н. э. Все имена женского рода. Все имена женские: некоторые любопытные. У нас есть также длинный список афинских кораблестроителей, поскольку имя строителя обычно указывается в надписи вместе с именем корабля: *Ευχάρις, Ἀλεξιμάου ἔργον; Σειρήν, Ἀριστοκράτους ἔργον; Ἐλευθερία, Ἀρχενέω ἔργον; Ἐπίδειξις, Λυσιστράτου ἔργον; Δημοκρατία, Χαιρεστράτου ἔργον*, и т. д.

[267] Xenoph. Hellen. i, 7, 4. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο (οἱ στρατηγοὶ) ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε (Theramēnēs) μαρτύριον- ἦν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον, ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν χειμῶνα.

[268] Xenoph. Hellen. i, 7, 1; Diodor. xiii, 101: ἐπὶ μὲν τῇ νίκῃ τοὺς στρατηγοὺς ἐπῆνουν, ἐπὶ δὲ τῷ περιῖδεῖν ἀτάφους τοὺς ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίας τετελευτηκότας χαλεπῶς διετέθησαν.

Я уже отмечал, что Диодор делает ошибку, говоря о *мертвых телах* вместо живых *ναυαγοὶ*, о которых говорит Ксенофонт.

[269] Lysias, Orat. xxi (Ἀπολογία Δωροδοκίας), sect. vii.

[270] Xenoph. Hellen. i, 7, 2. Архедокм описывается как τῆς Δεκελείας ἐπιμελούμενος. Что подразумевается под этими словами, никто из комментаторов не может объяснить удовлетворительным образом. Должно быть, текст испорчен. Предположение Добри кажется правдоподобным; какое-то слово вроде τῆς δεκάτης или τῆς δεκατεύσεως, имеющее отношение к взиманию десятины в Геллеспонте; это дало бы разумное основание для действий Архедема против Эрасинидеса.

Должность, которую занимал Архедокм, какой бы она ни была, должна была быть достаточно возвышенной, чтобы наделить его полномочиями налагать штраф в ограниченном размере, называемый ἐπιβολή.

Я не решаюсь отождествлять этого Архедема с человеком с таким именем, упомянутым в "Воспоминаниях" Ксенофонта, ii, 9. Похоже, что в отмеченных моментах характера нет никакого сходства.

Популярный оратор Архедокм был осмеян Евполисом и Аристофаном как человек с большими глазами и как получивший гражданство без соответствующего титула (см. Aristophan. Ran. 419-588, с Scholia). Он также обвиняется в одной из строк оратории Лисия в растрате общественных денег (Lysias cont. Alkibiad. sect. 25, Orat. xiv).

[271] Xenoph. Hellen. i, 7, 3. Τιμοκράτους δ' εἰπόντος, ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους χρὴ δεθέντας ἐς τὸν δῆμον παραδοθῆναι, ἡ βουλὴ ἔδρασε.

[272] Xenoph. Hellen. i, 7, 4.

[273] Xenoph. Hellen. i, 7, 4. Μετὰ δὲ ταῦτα, ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ᾗ τῶν στρατηγῶν κατηγοροῦν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι λέγων λόγον ὑποσχεῖν, διότι οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ναυαγούς. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο, ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον- καὶ ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ ἐς τὴν βουλὴν καὶ ἐς τὸν δῆμον, ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν χειμῶνα.

[274] О том, что Фрасибул был согласен с Фераменесом в обвинении генералов, свидетельствует ответ, который, по словам Ксенофонта, сделали генералы (i, 7, 6): Καὶ οὐχ, ὅτι γε κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ἔφασαν, ψευσόμεθα φάσκοντες αὐτοὺς αἰτίους εἶναι, ἀλλὰ τὸ μέγεθος τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλύσαν τὴν ἀναίρεσιν.

Множественное число κατηγοροῦσιν показывает, что и Фрасибул, и Фераменес выступили с обвинениями против генералов, хотя последний был наиболее заметным и яростным.

[275] Xenoph. Hellen. i, 7, 17. Эвритолем говорит: Κατηγορῶ μὲν οὖν αὐτῶν ὅτι ἔπεισαν τοὺς ξυνάρχοντας, βουλομένους πέμπειν γράμματα τῇ τε βουλῇ καὶ ὑμῖν ὅτι ἐπέταξαν τῷ Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ τετταράκοντα καὶ ἑπτὰ τριήρεσιν ἀνελέσθαι τοὺς ναυαγοὺς, οἱ δὲ οὐκ ἀνείλοντο. Εἴτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν, ἐκείνων ἰδίᾳ ἀμαρτόντων- καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιланθρωπίας, νῦν ὑπ' ἐκείνων τε καὶ τινων ἄλλων ἐπιβουλευόμενοι κινδυνεύουσιν ἀπολέσθαι.

Здесь мы должны понимать ἔπεισαν как эквивалент ἀνέπεισαν или μετέπεισαν, ставя запятую после ξυνάρχοντας. Это необычно, но не недопустимо. Убедить человека изменить свое мнение или поведение можно было бы выразить πείθειν, хотя правильнее было бы выразить ἀναπείθειν; см. ἐπείσθη, Thucyd. iii, 32.

[276] Diodor. xiii, 100, 101.

[277] Xenoph. Hellen. ii, 3, 35. Если Фераменес действительно сказал во время обсуждения поведения генералов в Афинах то, что, как он утверждает здесь, он сказал, а именно, что из-за сильной бури никто не мог выйти в море, его обвинение против генералов должно было быть основано на утверждении, что они могли бы выполнить эту обязанность в более ранний момент; до того, как они вернулись из битвы; до того, как поднялась буря; до того, как они отдали ему приказ. Но я считаю наиболее вероятным, что он искажил в более поздний период то, что говорил в более ранний, и что он не признавал достаточность шторма как факта и оправдания во время фактических обсуждений".

[278] Общее число погибших кораблей со всеми их экипажами составляло двадцать пять, из которых совокупный экипаж, если говорить круглыми цифрами, равнялся пяти тысячам человек. Теперь мы можем справедливо подсчитать, что каждый из выведенных из строя кораблей после боя имел бы на борту половину своей команды, или сто человек; не более половины было бы убито или утонуло в бою. Таким образом, даже десять выведенных из строя кораблей содержали бы тысячу живых людей, раненых и не раненых. Таким образом, видно, что я преуменьшил количество жизней, подвергавшихся опасности".

[279] Xenoph. Hellen. i, 6, 33.

[280] Мы читаем у Фукидида (vii, 73), как невозможно было убедить сиракузян предпринять какое-либо военное движение после их последней морской победы в Великой гавани, когда они были полны триумфа, ликования и удовольствия.

Прежде чем сойти на берег, они посетили затонувшие корабли и подобрали как живых людей, находившихся на борту, так и плавающие тела. Примечательно, что афиняне в тот раз были настолько подавлены масштабами своего бедствия, что даже не подумали спросить разрешения, которое победители всегда дают, когда их просят, подобрать своих мертвецов или посетить их обломки (viii, 72).

[281] Xenoph. Hellen. ii, 3, 32. То, в каком свете я рассматриваю поведение Фераменеса, совпадает не только с Диодором, но и с рассказами Крития, яростного врага Фераменеса при правлении Тридцати, незадолго до того, как он собирался предать Фераменеса смерти:

Οὗτος δέ τοι ἐστὶν, ὃς ταχθεὶς ἀνελέσθαι ὑπὸ τῶν στρατηγῶν τοὺς καταδύντας Ἀθηναίων ἐν τῇ περὶ Λέσβον ναυμαχίᾳ, αὐτὸς οὐκ ἀνελόμενος ὅμως τῶν στρατηγῶν κατηγορῶν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς, ἵνα αὐτὸς περισωθεῖν. (Xen. ut sup.).

Здесь признается, что первым впечатлением в Афинах было, как прямо говорит Диодор, что Фераменесу было приказано подобрать людей на затонувших кораблях, он мог бы это сделать, если бы приложил должные усилия, и был виноват в том, что не сделал этого. Как же возникло такое впечатление? Конечно же, из сообщений, полученных от самого вооружения. И когда Фераменес в своем ответе говорит, что генералы сами делали сообщения в том же духе, нет причин не верить ему, несмотря на их совместную официальную депешу, в которой они не упомянули о нем, и несмотря на их речь в общественном собрании после этого, где предыдущее официальное письмо сковало их и не позволило им обвинить его, заставив придерживаться первого заявления о вседостаточности бури.

Основные факты, которые мы находим здесь установленными даже врагами Фераменеса, таковы: 1. Что Фераменес обвинил генералов, потому что ему грозило наказание за пренебрежение. 2. Что его враги, обвинявшие его в нарушении долга, не признавали бурю в качестве оправдания для него.

[282] Strabo, xiii, p. 617.

[283] Xenoph. Hellen. i, 6, 37. Ἐτεόνικος δὲ, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι (сигнальное судно, с известием о мнимой победе) κατέπλεον, ἔθυε τὰ εὐαγγέλια, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε δεῖπνοποιεῖσθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις, τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθемеμένους ἐς τὰ πλοῖα ἀποπλεῖν ἐς Χίον, ἣν δὲ τὸ πνεῦμα οὖριον, καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. Αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἀπῆγεν ἐς τὴν Μήθυμνην, τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσας. Κόνων δὲ καθελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἱ τε πολέμιοι ἀπεδεδράκεσαν, καὶ ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἦν, ἀπαντήσας τοῖς Ἀθηναίοις ἤδη ἀνηγμένοις ἐκ τῶν Ἀργινουσῶν, ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ Ἐτεονίκου.

Выражение Ксенофонта о действиях Конона говорит о том, что он вышел из гавани, "как только ветер утих": дул сильный ветер, хотя и в направлении, благоприятном для доставки флота Этеоника на Хиос. У Конона не было особых причин выходить немедленно: он мог позволить себе подождать, пока ветер совсем стихнет. Важным фактом является то, что ветер и погода были вполне совместимы с бегством пелопоннесского флота из Митилены на Хиос и даже благоприятствовали ему.

[284] Xenoph. Hellen. i, 7, 5-7. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ στρατηγοὶ βραχέα ἕκαστος ἀπελογήσατο, οὐ γὰρ προὔτεθ' ὅτι σφίσι λόγος κατὰ τὸν νόμον....

Τοιαῦτα λέγοντες ἔπειθον τὸν δῆμον. Следует обратить внимание на несовершенное время ἔπειθον: "они убеждали" или, казалось, убеждали народ; а не ἔπεισαν аорист, что означало бы, что они действительно убеждали народ.

Первые слова, приведенные здесь у Ксенофонта, не означают, что полководцы были ограничены или ущемлены в своей свободе говорить перед общественным собранием, но лишь то, что им не предоставлялись судебный процесс и защита. При судебной защите обвиняемому отводилось определенное время для защиты с помощью клепсидры, или водяных часов, в течение которого никто не мог его прерывать; это время, несомненно, намного больше, чем мог бы занять любой оратор в общественном собрании.

[285] Лисий в одной из своих ораций приводит аналогичное выражение, касающееся чувства в Афинах к этим генералам; ἡγούμενοι χρῆναι τῇ τῶν τεθνεώτων ἀρετῇ παρ' ἐκείνων δίκην λαβεῖν; Lysias cont. Eratosth. s. 37.

[286] Xenoph. Hellen. i. 7, 8. Οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μέλανα ἱμάτια ἔχοντας, καὶ ἐν χρῶ κεκαρμένους πολλοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ, ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἦκοιεν, ὡς δὴ συγγενεῖς ὄντες τῶν ἀπολωλότων.

Здесь я в основном принимаю утверждение Диодора, который дает более справедливое и естественное описание этого действия, представляя его как спонтанное действие скорбного и мстительного чувства со стороны родственников покойного (xiii, 101).

Другие историки Греции, не исключая доктора Тирлуолла (Hist. of Greece, ch. xxx, vol. iv, pp. 117-125), следуют Ксенофону в этом вопросе. Они относят сильные настроения против полководцев в Афинах к "народным предрассудкам"; "волнение, вызванное хитростями Тераменеса" (Dr. Thirlwall, pp. 117-124). "Тераменес (говорит он) нанял большое количество людей для участия в празднике, одетых в черное и с обритыми головами, как траур по родственникам, которых они потеряли в морском бою".

Однако доктор Тирлуолл отзывается о рассказе Ксенофонта в самых неблагоприятных выражениях, и, конечно, не хуже, чем он того заслуживает (см. с. 116, примечание): "Похоже, что Ксенофонт *намеренно погрузил все это дело в неясность*". Сравните также с. 123, где его критика столь же сурова.

Я не стесняюсь отказаться от изложения Ксенофонта, о котором я думаю так же плохо, как и доктор Тирлуолл, настолько, чтобы восполнить, не противореча ни одному из его основных утверждений, упущение, которое я считаю главным и преобладающим. Я принимаю его рассказ о том, что на самом деле происходило на празднике Апатурии, но отрицаю его утверждение о маневрах Фераменеса как о причине.

Большая часть неясности, которая окружает эти события в Афинах, связана с тем, что не были учтены сильные и спонтанные эмоции, которые дезертирство людей на затонувших кораблях, естественно, должно было произвести на общественное мнение. По моему мнению, было бы невозможно объяснить, если бы такой эффект не был произведен совершенно независимо от всех подстрекательств Фераменеса. Как только мы признаем этот важнейший факт, вся серия операций становится сравнительно понятной и объяснимой.

Д-р Тирлуолл, а также Сиверс (Commentat. de Xenophontis Hellen. pp. 25-30) полагают, что Фераменес действовал в согласии с олигархической партией, воспользовавшись этим инцидентом, чтобы погубить одиозных для них генералов, некоторые из которых были связаны с Алкивиадом. Признаюсь, я не вижу ничего, что могло бы поддержать эту идею: но в любом случае, названная здесь причина является лишь второстепенной, а не грандиозным и доминирующим фактом того периода.

[287] Xenoph. Hellen. i, 7, 8, 9.

[288] Xenoph. Hellen. i. 7, 34.

[289] Я не могу согласиться с мнением, высказанным д-ром Тирлволлом в Приложении iii. т. iv, с. 501, его Истории, по вопросу о псефизме Каннона. Мнение, которое я привожу в тексте, совпадает с мнением всех толкователей, с которыми доктор Тирлуолл не согласен.

Псефизм Каннона был единственным постановлением в Афинах, которое делало незаконным голосование по делу сразу двух обвиняемых. Теперь это стало практикой в афинском судопроизводстве, так что двое или более заключенных, которых якобы судили по другому

закону, а не по псефизму Каннона с его различными положениями, все же пользовались этим конкретным положением, а именно разделением суда.

В рассматриваемом нами случае Эвритолем был вынужден апеллировать к самому псефизму, который сенат неслыханным для Афин предложением предложил нарушить. Предложение сената противоречило закону несколькими различными способами. Оно лишало генералов суда перед присяжным дикастерием; оно также лишало их свободы полной защиты в течение определенного времени; но, кроме того, оно предписывало, чтобы все они были осуждены или освобождены от наказания одним и тем же голосованием; и в этом последнем отношении оно грешило против псефизма Каннона. Эвритолем в своей речи, пытаясь убедить возмущенное собрание отвергнуть предложение сената и принять псефизм Каннона в качестве основы для суда, очень благоразумно останавливается на суровых положениях псефизма и искусно замалчивает то, к чему он в основном стремится, - разделение процессов, предлагая *сначала* судить своего родственника Периклеса. Слова δῖχα ἕκαστον (sect. 37) кажутся мне естественно истолкованными с κατὰ τὸ Καννῶνου ψήφισμα, как и большинство комментаторов, хотя доктор Тирлуолл не согласен с этим. Несомненно, что это была главная черта незаконности из многих, которые представляло предложение сената, я имею в виду суждение и осуждение всех генералов *одним* голосом. Именно по этому пункту была принята поправка Эвритолема, а упорное сопротивление Сократеса обернулось против него (Plato, Apol. 20; Xenoph. Memor. i, 1, 18).

Далее, д-р Тирлуолл, излагая то, что, по его мнению, было истинной сутью псефизма Каннона, как мне кажется, был введен в заблуждение схолиастом в его интерпретации широко обсуждаемого отрывка из Аристофана "Экклезиас" (Aristophanês, Ekkleziias. 1089:-

Τοῦτ' ἰ τὸ πρᾶγμα κατὰ τὸ Καννῶνου σαφῶς

Ψήφισμα, βινεῖν δεῖ με διαλελημένον,

Πῶς οὖν δίκωπεῖν ἀμφοτέρως δυνήσομαι;

Д-р Тирлуолл замечает, что "молодой человек сравнивает свое положение с положением преступника, которого, согласно указу Каннона, поставили за решетку, удерживаемую человеком с каждой стороны". В этом смысле греческий схолиаст, хотя его слова и испорчены, ясно понял этот отрывок".

Я не могу не думать, что схолиаст понял слова совершенно неправильно. Молодой человек в "Аристофана" сравнивает свое положение не с *положением преступника*, а с *положением дикастории, которая судила преступников*. Псефизм Каннона предписывал судить каждого обвиняемого отдельно: соответственно, если случалось, что на суд выносились два обвиняемых, и оба должны были быть судимы без промедления, дикастерия могла достичь этой цели, только разделившись на две половины, или части; что было вполне осуществимо, независимо от того, часто ли это практиковалось или нет, поскольку она была многочисленной организацией. Таким образом, κρίνειν διαλελημένον, он мог *судить обоих обвиняемых сразу*, но никак иначе.

Теперь юноша у Аристофана сравнивает себя с дикастером, оказавшимся в таком положении; это сравнение обозначается каламбуром βινεῖν διαλελημένον вместо κρίνειν διαλελημένον. На него нападают два навязчивых и назойливых клиента, ни один из которых не хочет ждать, пока не будет обслужен другой. Поэтому он говорит: "Очевидно, что для решения этого вопроса мне следуетделиться на две части, подобно дикастерии, действующей под псефизмом Каннона: но как я *смогу* обслужить обоих сразу?"

Я считаю, что это правильное объяснение отрывка из Аристофана; и оно дает поразительное подтверждение истинности того, что обычно считается смыслом псефизма Каннона. Схолиаст, как мне кажется, озадачил себя и ввел в заблуждение всех остальных.

[290] Xenoph. Hellen. i, 7. Τὸν δὲ Καλλίξενον προσεκαλέσαντο παράνομα φάσκοντες συγγεγραφέναι Εὐρυπτόλεμός τε καὶ ἄλλοι τινες- τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπήγουν- τὸ δὲ πλῆθος ἐβόα δεινὸν εἶναι, εἰ μὴ τις ἑάσει τὸν δῆμον πράττειν, ὃ ἂν βούληται. Καὶ ἐπὶ τούτοις εἰπόντος Λυκίσκου, καὶ τούτους τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι, ἥπερ καὶ τοὺς στρατηγοὺς, ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν ἐκκλησίαν, ἐπεθορύβησε πάλιν ὁ δῆμος, καὶ ἠναγκάσθησαν ἀφίεναι τὰς κλήσεις.

Все это насилие направлено на то, чтобы добиться обсуждения предложения и принятия решения собранием, несмотря на конституционные препятствия.

[291] Xenoph. Hellen. i, 7, 11. Παρῆλθε δέ τις ἐς τὴν ἐκκλησίαν φάσκων, ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι- ἐπιστέλλειν δ' αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ, ὅτι οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους.

Смею утверждать, что во всем ораторском искусстве древности нет ничего более полного подлинного пафоса и более впечатляющего, чем этот простой случай и речь, хотя и пересказанная в самой грубой манере, недружелюбным и презрительным адвокатом.

Однако весь эффект от этого теряется, поскольку принято отметить все, что обвиняет генералов и оправдывает горячие эмоции афинской публики, как будто это всего лишь сценический трюк и ложь. Доктор Тирлуолл идет даже дальше Ксенофонта, когда говорит (p. 119, vol. iv): "*Вывели человека, который притворился, что он спасся, прижавшись к бочке с едой, и что его товарищи*" и т. д. Так же и у г-на Митфорда: "*Был приведен человек*" и т. д. (p. 347).

Теперь парῆλθε не означает "*его вывели вперед*": это обычное слово, используемое для обозначения того, кто *выходит вперед*, чтобы говорить в общественном собрании (см. Thucyd. iii, 44, и причастие παρελθὼν, во многих местах).

Далее, φάσκων, хотя иногда означает *притворство*, иногда также означает просто *утверждение*: Ксенофонт не гарантирует утверждаемое, но и не объявляет его ложным. Он использует φάσκων в различных случаях, когда сам соглашается с утверждаемым фактом (см. Hellen. i, 7, 12; Memorab. i, 2, 29; Cyropæd. viii, 3, 41; Plato, Ap. Socr. c. 6, p. 21).

Афинский народ слышал и полностью поверил этому заявлению; я не вижу причин, по которым историк Греции должен ему не верить. В утверждении этого человека нет ничего неправдоподобного; более того, очевидно, что таких случаев должно было произойти несколько. Если мы приложим минимальные усилия, чтобы расширить в своем воображении детали, связанные с этим болезненно интересным кризисом в Афинах, мы увидим, что в обращении должно было находиться множество историй такого же трогательного характера; несомненно, многие из них ложные, но многие и совершенно правдивые.

[292] Xenoph. Hellen. i, 7, 14, 15; Платон, Apol. Socr. c. 20; Xenoph. Memor. i, 1, 18; iv, 4, 2.

В отрывке из "Меморабилий" Ксенофонт говорит, что Сократес был эпистатесом, или председательствующим пританисом, на тот день. В "Эллинике" он рассматривает его только как одного из пританов. Вряд ли можно с уверенностью утверждать, что он *был* эпистатесом, тем более что этот же отрывок "Меморабилий" неточен и в другом отношении: в нем названы *девять* генералов, а не *восемь*, которые были осуждены.

[293] Xenoph. Hellen. i, 7, 16. *Μετὰ δὲ ταῦτα*, т. е. после вышеизложенных криков и угроз, ἀναβὰς Εὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν τάδε и т. д.

[294] Именно это обвинение в "безрассудной спешке", проπέτεια, Павсаний выдвигает против афинян в связи с их поведением по отношению к шести генералам (vi, 7, 2).

[295] Xenoph. Hellen. i, 7, 30. Μὴ ὑμεῖς γε, ὦ Ἀθηναῖοι, ἀλλ' ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους, δι' οὓς μάλιστα μέγιστοί ἐστε, φυλάττοντες, ἄνευ τούτων μηδὲν πράττειν πειρᾶσθε.

[296] Xenoph. Hellen. i, 7, 35. τούτων δὲ μάρτυρες οἱ σωθέντες ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὧν εἷς τῶν ὑμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης νεῶς σωθεὶς, etc.

[297] Речь содержится в Xenoph. Hellen. i, 7, 16-36.

[298] Xenoph. Hellen. i, 7, 38. Τούτων δὲ διαχειροτονουμένων, τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου- ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους, καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενομένης, ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς.

Я не могу считать удовлетворительными объяснения этого отрывка, данные либо Шеманном (De Comitiiis Athen. part ii, 1, p. 160, seq.), либо Майером и Шеманном (Der Attische Prozess, b. iii, p. 295; b. iv, p. 696). Идея Шеманна о том, что из-за непреклонного сопротивления Сократеса голосование по этому вопросу было отложено до следующего дня, кажется мне совершенно не соответствующей рассказу Ксенофонта; и, хотя ее поддерживает отрывок из псевдоплатонического диалога под названием "Аксиох" (с. 12), она совершенно не соответствует действительности и не заслуживает доверия. Для меня очевидно, что вопрос был поставлен без Сократеса и мог быть законно поставлен остальными пританами, несмотря на его сопротивление. Слово ὑπομοσία, несомненно, должно иметь здесь значение, несколько отличное от его технического смысла перед дикастерией; и отличается также, я думаю, от другого смысла, который приписывают ему Майер и Шеманн, - *формального обязательства предпочесть в будущем обвинительный акт, или γραφὴ παρανόμων*. Мне кажется, что здесь оно обозначает *возражение, принятое на формальных основаниях и подтвержденное клятвой, предложенной или фактически принесенной, против решения пританов, или председателей*. Последние должны были объявить, на чьей стороне перевес в собрании: но, несомненно, должна была существовать возможность поставить под сомнение их решение, если они заявляли неправду или ставили вопрос вероломно, запутанно или неясно. Афинское собрание не допускало апелляции к разделению, как спартанское собрание или как английская палата общин; хотя в Афинах было много случаев, когда голоса принимались камешками в урне, а не поднятием рук.

Мне кажется, что Менеклес воспользовался здесь привилегией, поставив под сомнение решение пританов и заставив их провести голосование заново. Он мог утверждать, что они не дали ясно понять, какое из двух предложений должно быть поставлено на голосование первым; что они поставили предложение Калликсена первым, не уведомив об этом должным образом; или, возможно, что они неправильно подсчитали число голосов. Из того, что последовало за этим, мы видим, что у него были веские основания для возражений.

[299] Diodor. xiii, 101. Что касается этих двух составных элементов большинства, то я не сомневаюсь в правильности утверждения Диодора. Но он совершенно ошибочно представляет, что генералы были осуждены голосованием собрания и выведены из него на казнь. Собрание лишь постановило провести последующее голосование в урне, результат которого был заранее неизвестен. Поэтому речь Диодора, которую Диомедон произнес на собрании после объявления результатов голосования, не может быть подлинной историей:

"Афиняне, я желаю, чтобы голосование, которое вы только что провели, оказалось полезным для города. Позаботьтесь о том, чтобы исполнить те клятвы Зевсу Сотеру, Аполлону и досточтимым богиням, благодаря которым мы одержали победу, раз уж судьба не позволила нам самим их исполнить". Невозможно, чтобы Диомедон произнес подобную речь, ведь он не был тогда осужденным человеком, а после осуждающего голосования собрание не проводилось.

[300] Я перевожу здесь буквально язык Сократеса в его "Защите" (Plato, Apol. с. 20), παρὰ νόμῳ, ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξε.

[301] Xenoph. Hellen. i, 7, 39. Это голосование общественного собрания было известно в Афинах под именем Пробола. Собравшийся народ выполнял в этом случае досудебную функцию, что-то вроде Большого жюри.

[302] Xenophon. Hellen. i, 7, 40. μισοῦμενος ὑπὸ πάντων, λίμῳ ἀπέθανεν.

[303] Это предположение Зиверса, Форххаммера и некоторых других ученых людей; но, по моему мнению, оно не является ни доказанным, ни вероятным.

[304] Если бы Фукидид дожил до того, чтобы продолжить свою историю до этого памятного события, он нашел бы повод отметить τὸ συγγενὲς, родство, как не менее способное к ἀπροφάσιτος τόλμα, беспринципной дерзости, чем τὸ ἐταϊρικόν, фракция. В своих размышлениях о коркирских беспорядках (iii, 82) он останавливается главным образом на последних, антипатиях фракции, узкого политического братства или заговора с целью достижения и сохранения власти, как наиболее сильных в порождении злых дел: если бы он описал действия после битвы при Аргинусе, то увидел бы, что чувство родства, рассматриваемое с его антипатической или мстительной стороны, беременна подобными тенденциями.

[305] Xenoph. Hellen. i, 7, 31. Ἐπειδὴ γὰρ κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ πρὸς τὴν γῆν κατέπλευσαν, Διομέδων μὲν ἐκέλευεν, ἀναχθέντας ἐπὶ κέρως ἅπαντας ἀναιρεῖσθαι τὰ ναυάγια καὶ τοὺς ναυαγοὺς, Ἐρασινίδης δὲ, ἐπὶ τοὺς ἐς Μυτιλήνην πολεμίους τὴν ταχίστην πλεῖν ἅπαντας-Θράσυλλος δ' ἀμφότερα ἔφη γενέσθαι, ἂν τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι, ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέωσι- καὶ δοξάντων τούτων, etc.

Несколькими страницами ранее я отмечал, что случай Эрасинидеса несколько отличается от случая других генералов. Согласно этой речи Эвритолема, он предложил, чтобы весь флот сразу же отправился к Митилену; это, конечно, оставило бы людей на затонувших кораблях на произвол судьбы.

[306] Это утверждение опирается на авторитет Аристотеля, на который ссылается схолиаст в последнем стихе "Ранæ" Аристофана. И это, насколько мне известно, единственный авторитет: ведь когда г-н Файнс Клинтон (Fast. Hellen. ad ann. 406) говорит, что Эсхинес (De Fals. Legat. p. 38, с. 24) упоминает о предложениях мира, я думаю, что никто, кто посмотрит на этот отрывок, не будет склонен делать на его основе какие-либо выводы.

Против этого можно отметить следующее.

1. Ксенофонт не упоминает об этом. Это уже кое-что, хотя и далеко не всегда убедительное.
2. Диодор не упоминает о нем.
3. Условия, которые якобы были предложены лакедемонянами, точно такие же, как и те, что были предложены ими после смерти Миндара в Кизикусе, а именно.

Уйти из Декелеи, а каждой стороне остаться на прежнем месте. Одинаковы не только условия, но и человек, выступавший против, - в обоих случаях один и тот же, *Клеофон*. Послания после Аргинусæ фактически являются вторым изданием посланий после битвы при Кизикусе.

Теперь предположение о том, что лакедемоняне в двух случаях делали предложения о мире, и что оба эти предложения остались незамеченными Ксенофонтом, кажется мне крайне неправдоподобным. Что касается предложений после битвы при Кизикусе, то свидетельство Диодора, по моему мнению, перевешивает молчание Ксенофонта; но и здесь Диодор молчит.

Кроме того, точное совпадение двух предполагаемых событий заставляет меня думать, что второе является лишь дублированием первого, и что схолиаст, цитируя Аристотеля, перепутал битву при Аргинусе с битвой при Кизикусе, которая была более решающей из двух.

[307] Xenoph. Hellen. ii, 1, 1-4.

[308] Xenoph. Hellen. ii, 1, 10-12.

[309] Diodor. xiii, 104; Plutarch, Lysand. c. 8.

[310] Xenoph. Hellen. ii, 1, 14; Plutarch, Lysand. c. 9.

[311] Lysias, Orat. xiii, cont. Agorat. sect. 13.

[312] Xenoph. Hellen. ii, 1, 15, 16.

[313] Этот летучий визит Лисандра через Эгейское море к берегам Аттики и Эгины не отмечен Ксенофонтом, но он фигурирует у Диодора и Плутарха (Diodor. xiii, 104; Plutarch, Lysand. c. 9).

[314] Xenoph. Hellen. ii, 1, 18, 19; Diodor. xiii, 104; Plutarch, Lysand. c. 9.

[315] Xenoph. Hellen. ii, 1, 20, 21.

[316] Xenoph. Hellen. ii, 1, 22-24; Плутарх. Lysand. c. 10; Diodor. xiii, 105.

[317] Xenoph. Hellen. ii, 1, 25; Plutarch, Lysand. c. 10; Plutarch, Alkib. c. 36.

Диодор (xiii, 105) и Корнелий Непос (Alkib. c. 8) представляют Алкивиада как желающего вновь получить долю в командовании флотом и обещающего, если ему это будет позволено, собрать фракийцев, напасть на Лисандра по суше и заставить его сражаться или удалиться. Плутарх (Alkib. c. 37) также упоминает о подобных обещаниях Алкивиада.

Однако маловероятно, чтобы Алкивиад говорил о чем-то столь очевидно невозможном. Как он мог привести фракийское сухопутное войско, чтобы напасть на Лисандра, который находился на противоположном берегу Геллеспонта? Как он мог переправить сухопутное войско на другой берег перед лицом флота Лисандра?

Представление Ксенофонта (приведенное в моем тексте) ясно и понятно.

[318] Xenoph. Hellen. ii, 1, 29; Lysias, Orat. xxi, (Ἀπολ. Δωροδ.) s. 12.

[319] Xenoph. Hellen. ii, 1, 28; Плутарх, Lysand. c. 11; Плутарх, Алкивиад. c. 36; Cornel. Непос, Лисанд. c. 8; Полиэн. i, 45, 2.

Диодор (xiii, 106) дает иное представление об этой важной военной операции, гораздо менее ясное и достоверное, чем у Ксенофонта.

[320] Xenoph. Hellen. ii, 1, 28. τὰς δ' ἄλλας πάσας (ναῦς) Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ- τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ ξυνέλεξεν- οἱ δὲ καὶ ἔφυγον ἐς τὰ τειχύδρια.

[321] Xenoph. Hellen. ii, 1, 29; Diodor. xiii, 106: последний, однако, расходится во мнениях по многим пунктам.

[322] Xenoph. Hellen. ii, 1, 31. Эта история с вариациями приводится у Плутарха, Lysand. с. 9. и у Цицерона de Offic. iii, 11. Там речь идет о большом пальце правой руки, который должен быть отрезан, и это определение, как утверждается, было принято в отношении эгинетян.

[323] Xenoph. Hellen. ii, 1, 32; Pausan. ix, 32, 6; Plutarch, Lysand. с. 13.

[324] Xenoph. Hellen. ii, 1, 32; Lysias cont. Alkib. A. s. 38; Pausan. iv, 17, 2; x, 9, 5; Isokratês ad Philipp. Or. v, sect. 70. Лисий в своем Λόγος Ἐπιτάφιος (s. 58) говорит об измене, но не с полной уверенностью.

Корнелий Непос (Lysand. с. 1; Alcib. с. 8) отмечает только беспорядок в афинском вооружении, но не развращенность полководцев, как причину поражения. Диодор также не замечает разврата (xiii, 105).

Оба этих автора, похоже, копировали у Теопомпа описание битвы при Эгоспотамах. Его описание во многом отличается от описания Ксенофонта (Theopomp. Fragm. 8, ed. Didot).

[325] Demosthen. de Fals. Legat. p. 401, с. 57.

[326] Xenoph. Hellen. ii, 2, 3; Diodor. xiii, 107.

[327] Xenoph. Hellen. ii, 2, 2; Plutarch, Lysand. с. 13.

[328] Cornelius Nepos, Lysand. с. 2; Polyæn. i, 45, 4. Похоже, что это тот самый инцидент, о котором Плутарх (Lysand. с. 19) рассказывает так, как будто страдают милезийцы, а не тасийцы. Однако это не могут быть милезийцы, если мы сравним главу 8 "Жизни Лисандра" Плутарха.

[329] Plutarch, Lysand. с. 13. πολλαῖς δὲ παραγινόμενος αὐτὸς σφαγαῖς καὶ συνεκβάλλων τοὺς τῶν φίλων ἐχθροὺς, etc.

[330] Xenoph. Hellen. ii, 2, 6. εὐθὺς δὲ καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει Ἀθηναίων, πλὴν Σαμίων- οὗτοι δὲ, σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες, κατεῖχον τὴν πόλιν.

Я толкую слова σφαγὰς τῶν γνωρίμων ποιήσαντες как относящиеся к насильственному перевороту на Самосе, описанному в Thucyd. viii, 21, в результате которого олигархия была отстранена от власти и было установлено демократическое правительство. Слово σφαγὰς используется Ксенофонтом (Hellen. v, 4, 14) в следующем отрывке для описания заговора и революции, совершенной Пелопидом и его друзьями в Фивах. Правда, мы могли бы скорее ожидать претеритное причастие πεποιηκότες, чем аорист ποιήσαντες. Но такое использование причастия аориста в претеритном значении не редкость у Ксенофонта: см. κατηγορήσας, δόξας, i, 1, 31; γενομένους, i, 7, 11; ii, 2, 20.

Мне кажется крайне маловероятным, чтобы саамийцы выбрали этот случай для новой резни своих олигархических граждан, как это представляет мистер Митфорд. Демократические саамитяне, должно быть, были теперь смиренны и запуганы, видя приближение своего порабощения; они были полны решимости держаться только потому, что были уже так глубоко скомпрометированы предыдущей революцией. Лисандр не пощадил бы их лично и впоследствии, как мы увидим, когда они были в его власти (ii, 3, 6), если бы они теперь совершили новую политическую резню.

[331] Ксеноф. Memorab. ii, 8, 1; ii, 10, 4; Xenoph. Sympos. iv, 31. Сравните Demosthen. cont. Leptin. с. 24, р. 491.

Большое количество новых собственников приобрело землю в Херсонесе через лакедемонские владения, несомненно, на месте этих лишенных собственности афинян; возможно, путем покупки по низкой цене, но, скорее всего, путем присвоения без покупки (Xenoph. Hellen. iv, 8, 5).

[332] Xenoph. Hellen. i, 2, 1; Demosthen. cont. Leptin. с. 14, р. 474. Экфант и другие тасийские изгнанники получили дар ἀτέλεια, или иммунитет от особых сборов, налагаемых на метисов в Афинах.

[333] Этот интересный указ или псефизм Патроклида подробно изложен в "Оратории Андокида о мистериях", разделы. 76-80: "Α δ' εἴρηται ἐξαλειψαι, μὴ κεκτῆσθαι ἰδίᾳ μηδενὶ ἐξεῖναι, μηδὲ μνησικακῆσαι μηδέποτε.

[334] Andokid. de Myst. s. 76. καὶ πίστιν ἀλλήλοις περὶ ὁμονοίας δοῦναι ἐν ἀκροπόλει.

[335] Xenoph. Hellen. ii, 2, 11. τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους ποιήσαντες ἐκαρτέρουν.

[336] Andokidês de Mysteriis, sects. 80-101; Lysias, Orat. xviii, De Bonis Niciæ Fratr. sect. 9.

В какой именно момент афинское собрание приняло суровое осуждающее постановление против изгнанников, служивших в лакедемонском гарнизоне в Декелее, мы не знаем. Об этом постановлении упоминает Ликург, cont. Leokrat. sects. 122, 123, р. 164.

[337] Isokratês adv. Kallimachum, sect. 71; cp. Andokidês de Reditu suo, sect. 21, и Lysias cont. Diogeiton. Or. xxxii, sect. 22, о Кипре и Херсонесе, как обычных источниках поставок кукурузы в Афины.

[338] Xenoph. Hellen. ii, 2, 9; Diodor. xiii, 107.

[339] Xenoph. Hellen. ii, 2, 12-15; Lysias cont. Agorat. sects. 10-12.

[340] Xenoph. Hellen. ii, 2, 16; Lysias, Orat. xiii, cont. Agorat. sect. 12; Lysias, Orat. xii, cont. Eratosthen. sects. 65-71.

См. иллюстрацию огромных страданий во время осады в Xenophon Apolog. Socrat. s. 18.

[341] Xenoph. Hellen. ii, 2, 15-21; cp. Isokratês, Areopagit. Or. vii, sect. 73.

[342] Lysias, Orat. xiii, cont. Agorat. sects. 15, 16, 17; Orat. xxx, cont. Nikomach. sects. 13-17.

Это кажется наиболее вероятной историей смерти Клеофона, хотя рассказы не во всем согласуются между собой, а утверждение Ксенофонта, особенно (Hellen. i, 7, 35), не может быть согласовано с Лисиасом. Ксенофонт считает, что Клеофонт погиб раньше этого срока, во время смуты (στάσεως τινος γενομένης ἐν ᾗ Κλεοφῶν ἀπέθανε), до бегства Калликсена от его

признаний. Едва ли возможно, чтобы Калликсен находился под стражей в этот период между битвой при Игоспотаме и взятием Афин. Он должен был сбежать до этой битвы. Ни длительное содержание обвиняемого в тюрьме до суда, ни длительная отсрочка суда, когда он находился под подпиской о невыезде, вообще не были в афинских обычаях.

[343] Xenoph. Hellen. ii, 2, 19; vi, 5, 35-46; Plutarch, Lysand. c. 15.

Фиванцы через несколько лет после этого, когда они просили помощи у афинян против Спарты, дезавуировали это предложение своего делегата Эрианта, который был вождем беотийского контингента, служившего под началом Лисандра при Игоспотаме, и в честь этого его статуя была воздвигнута в Дельфах вместе с другими союзными вождями, участвовавшими в битве, а также с Лисандром и Этеоником (Pausan. x, 9, 4).

Это одно из преувеличений, столь привычных для Исократеса, когда он говорит, что фиванцы были *единственной* партией среди всех пелопоннесских конфедератов, которая подала этот резкий антиафинский голос (Isokratês, Orat. Plataic. Or. xiv, sect. 34).

Демосфен говорит, что фокийцы проголосовали на том же синоде против предложения фиванцев (Demosth. de Fals. Legat. c. 22, p. 361).

Из Диодора xv, 63 и Полиэна i, 45, 5, а также из некоторых отрывков самого Ксенофонта следует, что мотивы лакедемонян, сопротивлявшихся предложению фиванцев против Афин, были основаны скорее на политике, чем на великодушии.

[344] Xenoph. Hellen. ii, 2, 20; Plutarch, Lysand. c. 14; Diodor. xiii, 107. Плутарх приводит прямые слова лакедемонского постановления, некоторые из которых вызывают недоумение. Догадка Г. Германа, αἱ χρῆδοιτε вместо ἃ χρῆ δόντες, была принята в текст Плутарха Синтенисом, хотя она кажется очень неопределенной.

[345] Xenoph. Hellen. ii, 2, 23. Лисий (Orat. xii, cont. Eratosth. s. 71) возлагает вину за этот жалкий и унижительный мир на Фераменеса, который, очевидно, не должен был его нести; ср. Lysias, Orat. xiii, cont. Agorat. sects. 12-20.

[346] Плутарх, Лисанд. c. 15. Он, однако, говорит, что в этот день афиняне выиграли битву при Саламине. Это неверно: та победа была одержана в месяце Боэдромион.

[347] Xenoph. Hellen. ii, 2, 18.

[348] Xenoph. Hellen. ii, 2, 20; ii, 3, 8; Plutarch, Lysand. c. 14. Он приводит содержание skytalê *дословно*.

[349] Plutarch, Lysand. c. 15; Lysias cont. Agorat. sect. 50. ἔτι δὲ τὰ τεῖχη ὥς κατεσκάφη, καὶ αἱ νῆες τοῖς πολεμίοις παρεδόθησαν, καὶ τὰ νεώρια καθηρέθη, etc.

[350] Xenoph. Hellen. ii, 2, 23. Καὶ τὰ τεῖχη κατέσκαπτον ὑπ' αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Плутарх, Лисанд. c. 15.

[351] Lysias cont. Eratosth. Or. xii, sect. 75, p. 431, R.; Plutarch, Lysand. c. 15; Diodor. xiv, 3.

[352] Лисандр посвятил Athênê золотой венец в акрополе, который записан в надписях среди предметов, принадлежащих богине.

См. Boeckh, Corp. Inscr. Attic. Nos. 150-152, p. 235.

[353] Lysias. Or. xiii, cont. Agorat. s. 80.

[354] Xenoph. Hellen. ii, 2, 18; ii, 3, 46; Плутарх, Vit. x, Orator. Vit. Lycurg. init.

М. Э. Мейер в своем комментарии к Ликургу толкует этот отрывок Плутарха иначе, так что человек, указанный в нем как изгнанник, будет не Аристодемом, а дедом Ликурга. Но я не считаю такое толкование оправданным: см. Meier, Comm. de Lykurg. Vitâ, p. iv, (Halle, 1847).

О Хариклесе см. Isokratês, Orat. xvi, De Bigis, s. 52.

[355] См. предисловие Сталлбаума к "Хариклесу" Платона, его примечание к "Тимею" Платона, p. 20, E, и схолии к этому же отрывку.

Критий представлен как принимающий активное участие в четырех платоновских диалогах: "Протагор", "Чармидес", "Тимей" и "Критий"; от последнего остался лишь фрагмент, не говоря уже об "Эриксии".

Небольшие остатки элегической поэзии Крития можно найти в Schneidewin, Delect. Poet. Græc. p. 136, seq. И Цицерон (De Orat. ii, 22, 93), и Дионис (Dionys. Hal. Judic. de Lysiâ, c. 2, p. 454; Jud. de Isæo, p. 627) отмечают его исторические сочинения.

О причастности Крития к изувечиванию Гермеса, как утверждает Диогнет, см. Andokidês de Mysteriis, s. 47. Он был первым двоюродным братом Андокидеса по материнской линии.

[356] Xenoph. Hellen. ii, 3, 35.

[357] Xenoph. Hellen. ii, 3, 35; Memorab. i, 2, 24.

[358] Xenoph. Hellen. ii, 2. ἐπεὶ δὲ αὐτὸς μὲν (Kritias) προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτεῖναι, ἅτε καὶ φυγῶν ὑπὸ τοῦ δήμου, etc.

[359] Lysias cont. Agorat. Or. xiii, s. 23, p. 132.

[360] Lysias cont. Eratosth. Or. xii, s. 78, p. 128. В последующей защите Фераменеса говорится: ὀνειδίζων μὲν τοῖς φεύγουσιν ὅτι δι' αὐτὸν κατέλθοιεν и т. д.

Общее повествование Ксенофонта, как бы скудно оно ни было, гармонирует с этим.

[361] Lysias cont. Eratosth. Or. xii, s. 44, p. 124. Ἐπειδὴ δὲ ἡ ναυμαχία καὶ ἡ συμφορὰ τῇ πόλει ἐγένετο, δημοκρατίας ἔτι οὐσῆς, ὅθεν τῆς στάσεως ἦρξαν, πάντε ἄνδρες ἔφοροι κατέστησαν ὑπὸ τῶν καλουμένων ἐταίρων, συναγωγεῖς μὲν τῶν πολιτῶν, ἄρχοντες δὲ τῶν συνωμοτῶν, ἐναντία δὲ τῷ ὑμετέρῳ πλήθει πράττοντες.

[362] Lysias cont. Agorat. Or. xiii, s. 28 (p. 132); s. 35, p. 133. Καὶ παρορμίσαντες δύο πλοῖα Μουνυχίαςιν, ἐδέοντο αὐτοῦ (Ἀγοράτου) παντὶ τρόπῳ ἀπελθεῖν Ἀθήνηθεν, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν συνεκπλευσεῖσθαι, ἕως τὰ πράγματα κατασταίη и т. д.

Лисий представляет это обвинение генералов и поведение Агората как произошедшие до сдачи города, но после возвращения Фераменеса, который вернул окончательные условия, навязанные лакедемонянами. Таким образом, он так расписывает, что Агорат, убрав генералов с дороги, стал настоящей причиной принятия унижительного мира, принесенного Фераменесом. Если бы полководцы остались на свободе, утверждает он, они бы предотвратили принятие этого унижительного мира и смогли бы добиться от лакедемонян лучших условий (см. Lysias cont. Agor. sects. 16-20).

Не подвергая сомнению факты, изложенные Лисиасом в этой оратории (произнесенной много времени спустя, см. с. 90), я считаю, что он *неверно* их *датирует* и представляет их как произошедшие *до* капитуляции, тогда как на самом деле они произошли *после* нее. Мы знаем от Ксенофонта, что когда Тераменес вернулся во второй раз с настоящим миром, народ был в таком голодном состоянии, что дальнейшее ожидание было невозможно: мир был принят сразу же, как только его предложили; каким бы жестоким он ни был, народ был рад получить его (Xenoph. Hellen. ii, 2, 22). Кроме того, как можно было вывести Агората с двумя судами из Мунихии, когда гавань была тесно заблокирована? И что означает ἕως τὰ πρᾶγμα κατασταίη, относящийся к моменту незадолго *до* капитуляции?

[363] Lysias cont. Agorat. Or. xiii, sects. 38, 60, 68.

[364] Lysias cont. Eratosth. Or. xii, s. 74: cp. Aristotle ap. Schol. ad Aristophan. Vesp. 157.

[365] Xenoph. Hellen. ii, 3, 2.

[366] Lysias cont. Eratosth. Or. xii, sects. 74-77.

[367] Xenoph. Hellen. ii, 3, 6-8.

[368] Xenoph. Hellen. ii, 2, 8.

[369] Plutarch, Lysand. c. 16; Diodor. xiii, 106.

[370] Xenoph. Hellen. ii, 2, 11: Lysias cont. Agorat. Orat. xiii, sects. 23-80.

Тисий, шурин Хариклеса, был членом этого сената (Isokratês, Or. xvi, De Bigis, s. 53).

[371] Plato, Epist. vii, p. 324, B.; Xenoph. Hellen. ii, 3, 54.

[372] Isokratês cont. Kallimach. Or. xviii, s. 6, p. 372.

[373] Lysias, Orat. xii, cont. Eratosth. s. 5, p. 121. Ἐπειδὴ δ' οἱ τριάκοντα πονηροὶ μὲν καὶ συκοφάνται ὄντες εἰς τὴν ἀρχὴν κατέστησαν, φάσκοντες χρῆναι τῶν ἀδίκων καθαρὰν ποιῆσαι τὴν πόλιν, καὶ τοὺς λοιποὺς πολίτας ἐπ' ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην τραπεῖσθαι, etc.

[374] Plato, Epist. vii, p. 324, B.C.

[375] Lysias cont. Agorat. s. 38.

[376] Lysias cont. Agorat. s. 40.

[377] Lysias cont. Agorat. s. 41.

[378] Lysias cont. Eratosth. s. 18; Xenoph. Hellen. ii, 3, 51; Isokrat. Orat. xx, cont. Lochit. s. 15, p. 397.

[379] Xenoph. Hellen. ii, 3, 12, 28, 38. Αὐτὸς (Theramênês) μάλιστα ἐξορμήσας ἡμᾶς, τοῖς πρώτοις ὑπαγομένοις ἐς ἡμᾶς δίκην ἐπιτιθέναι, etc.

[380] Xenoph. Hellen. ii, 3, 13. ἕως δὲ τοὺς πονηροὺς ἐκποδῶν ποιησάμενοι καταστήσαιντο τὴν πολιτείαν.

[381] Xenoph. Hellen. ii, 3, 15, 23, 42; Isokrat. cont. Kallimach. Or. xviii, s. 30, p. 375.

[382] Xenoph. Hellen. ii, 3, 42; ii, 4, 14. οἱ δὲ καὶ οὐχ ὅπως ἀδικοῦντες, ἀλλ' οὐδ' ἐπιδημοῦντες ἐφυγαδεύομεθα, etc.

Isokratês, Orat. xvi, De Bigis, s. 46, p. 355.

[383] Πλутарх, Vit. x, Orator. p. 838.

[384] Xenoph. Hellen. ii, 3, 39-41; Lysias, Orat. xviii, De Bonis Niciæ Fratris, sects. 5-8.

[385] Plato, Apol. Sokratês, c. 20, p. 32. Ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος Λέοντα τὸν Σαλαμίνιον, ἦν' ἀποθάνοι- οἷά δὴ καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλόμενοι ὥς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν.

Isokrat. cont. Kallimach. Or. xviii, sect. 23, p. 374. ἐνίοις καὶ προσέταττον ἐξαμαρτάνειν. Сравните также Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. sect. 32.

Мы узнаем из Andokidês de Myster. sect. 94, что Мелет был одним из тех, кто действительно арестовал Леона и привел его на осуждение. Маловероятно, что это был тот же человек, который впоследствии обвинил Сократеса. Возможно, это был его отец, носивший то же имя, но определить это не представляется возможным.

[386] Plato, Apol. Sokrat. *ut sup.*; Xenoph. Hellen. ii. 4, 9-23.

[387] Xenoph. Hellen. ii, 3, 17, 19, 48. Из разд. 48 мы видим, что Фераменес действительно высказал это предложение: τὸ μέντοι σὺν τοῖς δυναμένοις καὶ μεθ' ἵππων καὶ μετ' ἀσπίδων ὠφελεῖν διὰ τούτων τὴν πολιτείαν, πρόσθεν ἄριστον ἡγούμεν ἔιναι καὶ νῦν οὐ μεταβάλλομαι.

Это предложение, выдвинутое Фераменесом и отвергнутое Тридцатью, объясняет комментарий, который он сделал впоследствии, когда они составили свой особый каталог или список трех тысяч; этот комментарий в остальном кажется неподходящим.

[388] Thucyd. viii, 89-92. τὸ μὲν καταστῆσαι μετόχους τοσούτους, ἀντικρὺς ἂν δῆμον ἡγούμενοι.

[389] Xenoph. Hellen. ii, 3, 8, 19; ii, 4, 2, 8, 24.

[390] Xenoph. Hellen. ii, 3, 51.

[391] Xenoph. Hellen. ii, 3, 20, 41: cp. Lysias. Orat. xii, cont. Eratosth. sect. 41.

[392] Xenoph. Hellen. ii, 3, 21; Isokratês adv. Euthynum, sect. 5, p. 401; Isokratês cont. Kallimach. sect. 23, p. 375; Lysias, Or. xxv, Δημ. Καταλ. Ἀπολ. sect. 21, p. 173.

Эти два отрывка Исократеса достаточно указывают на то, чем должен был быть этот список или κατάλογος; но название, которым он его называет -ὁ μετὰ Λυσάνδρου (или Πεισάνδρου) κατάλογος - нелегко объяснить.

[393] Lysias, Orat. vi, cont. Andok. sect. 46; Or. xii, cont. Eratosth. sect 49.

[394] Xenoph. Memor. i, 2, 12. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάντων κλεπτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἐγένετο и др.

[395] Lysias, Or. xii. cont. Eratosthen. sects. 8, 21. Через несколько лет после этого Лисий преследовал Эратосфена в дикастерии как виновника смерти Полемарха. Вышеизложенные подробности содержатся в оратории, произнесенной и сочиненной им самим.

[396] Xenoph. Hellen. ii, 3, 56.

[397] См. Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. s. 66.

[398] Diodor. xiv, 5. Диодор рассказывает, что Сократес и двое его друзей были единственными, кто встал на защиту Фераменеса, когда Сатир утаскивал его с алтаря. Плутарх (Vit. x, Orat. p. 836) приписывает тот же поступок великодушной бесцеремонности *Исократесу*. Нет никаких оснований верить в это ни одному, ни другому. На заседании не было никого, кроме сенаторов; а поскольку этот сенат был избран Тридцатью, маловероятно, что среди его членов были Сократес или Исократес. Если бы Сократес был членом сената, этот факт был бы замечен и приведен в связи с его последующим судом.

То, как Плутарх (Consolat. ad Apollon. c. 6, p. 105) рассказывает о смерти Фераменеса, что он был "замучен до смерти" Тридцатью, является примером его вольного изложения.

Сравните Цицерона о смерти Фераменеса (Tuscul. Disp. i, 40, 96). Его восхищение образом смерти Фераменеса, несомненно, способствовало тому, что он поставил этого афинянина в один ряд с Фемистоклесом и Периклесом (De Orat. iii. 16, 59).

[399] Эпитеты, примененные Аристофаном к Фераменесу (Ran. 541-966), довольно точно совпадают с эпитетами в только что замеченной речи, которую Ксенофонт приписывает Критию против него.

[400] Xenoph. Hellen. ii, 4, 1; Lysias, Orat. xii, cont. Eratosth. s. 97; Orat. xxxi, cont. Philon. s. 8, 9; Herakleid. Pontic. c. 5; Diogen. Laërt. i, 98.

[401] Xenoph. Hellen. i. c. ἤγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, ἴν' αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν- φευγόντων δὲ ἐς τὸν Πειραιᾶ, καὶ ἐντεῦθεν πολλοὺς ἄγοντες, ἐνέπλησαν Μέγαρα καὶ Θήβας τῶν ὑποχωρούντων.

[402] Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. s. 49; Or. xxv, Democrat. Subvers. Apolog. s. 20; Or. xxvi, cont. Evandr. s. 23.

[403] *Æschinês*, Fals. Legat. c. 24, p. 266, и cont. Ktesiph. c. 86, p. 455; Isokratês, Or. iv, Panegy. s. 131; Or. vii, Areopag. s. 76.

[404] Xenoph. Hellen. ii, 4, 1; Diodor. xiv, 6; Lysias, Or. xxiv, s. 28; Or. xxxi, cont. Philon. s. 10.

[405] Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. sects. 98, 99: παντάχοθεν ἐκκηρυττόμενοι; Plutarch, Lysand. c. 99; Diodor xiv, 6; Demosth. de Rhod. Libert. c. 10.

[406] Xenoph. Memor. i, 2, 31. Καὶ ἐν τοῖς νόμοις ἔγραψε, λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν.-Isokratês, cont. Sophist. Or. xiii, s. 12. τὴν παιδείουσιν τὴν τῶν λόγων.

Плутарх (Themistoklês, c. 19) утверждает, что тридцать олигархов во время своего правления изменили положение трибуны в Пниксе, месте, где проводились демократические общественные собрания: трибуна раньше смотрела в сторону моря, но они повернули ее так, чтобы она смотрела в сторону суши, потому что морская служба и связанные с ней ассоциации были главными стимуляторами демократических настроений. Эту историю часто копировали и повторяли, как будто она является несомненным фактом; но М. Форххаммер (Topographie von Athen, p. 289, in Kieler Philol. Studien. 1841) показал, что она не соответствует действительности и даже абсурдна.

[407] Aristot. Polit. v, 9, 2.

[408] Xenoph. Memorab. i, 2, 33-39.

[409] Юстин (vi, 10) упоминает о требовании, которое было выдвинуто и отклонено. Плутарх (Lysand. c. 27) утверждает, что требование было выдвинуто *одними* фиванцами, чему я не

верю. Ксенофонт, в соответствии с общим беспорядочным расположением фактов в своей "Эллинике", не упоминает это обстоятельство на своем месте, но ссылается на него в последующем, как на уже имевшее место (Hellen. iii, 5, 5). Он также не называет по имени никого, кроме фиванцев, которые действительно выдвинули это требование; но есть и последующий отрывок, который показывает, что не только коринфяне, но и другие союзники сочувствовали этому (iii, 5, 12).

[410] Плутарх, Лисанд. с. 17; Плутарх, Institut. Lacon. p. 239.

[411] Pausan. vi, 3, 6. Самианская олигархическая партия была обязана Лисандру своим недавним восстановлением.

[412] Плутарх, Лисанд. с. 18, 19.

[413] Xenoph. Hellen. ii, 4, 30. Οὕτω δὲ προχωροῦντων, Πausανίας ὁ βασιλεὺς (of Sparta), φθονήσας Λυσάνδρῳ εἰ κατεργασμένος ταῦτα ἅμα μὲν εὐδοκίμησοι, ἅμα δὲ *ιδίᾳς ποιήσοιτο τὰς Ἀθήνας*, πείσας τῶν Ἑφόρων τρεῖς, ἐξάγει φρουράν. Ξυνείποντο δὲ καὶ οἱ ξύμμαχοι πάντες, πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινθίων. Οὗτοι δ' ἔλεγον μὲν ὅτι οὐ νομίζοιεν εὐορκεῖν ἂν στρατευόμενοι ἐπ' Ἀθηναίους, μηδὲν παράσπονδον ποιοῦντας- *ἐπραττον δὲ ταῦτα, ὅτι ἐγίγνωσκον Λακεδαιμονίους βουλομένους τὴν τῶν Ἀθηναίων χώραν οἰκείαν καὶ πιστὴν ποιήσασθαι*. Сравните также iii, 5, 12, 13 о настроениях, царивших в Греции по поводу поведения лакедемонян.

[414] Diodor. xiv, 10-13.

[415] Thucyd. iv.

[416] Xenoph. Hellen. ii, 4, 2; Diodor. xiv, 32; Pausan. i, 29, 3; Lysias, Or. xiii, cont. Agorat. sect. 84; Юстин, v, 9; Æschinês, cont. Ktesiphon, с. 62, p. 437; Demosth. cont. Timokrat. с. 34, p. 742. Эсхинес выделяет похитителям Филок более ста последователей.

О сочувствии, которое афинские изгнанники нашли в Фивах, свидетельствует фрагмент Лисия, ap. Dionys. Hal. Jud. de Lysiâ, p. 594 (Fragm. 47, ed. Bekker).

[417] Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. sect. 41, p. 124.

[418] Xenoph. Hellen. ii, 4, 2, 5, 14.

[419] См. аналогичный случай с лакедемонской армией, застигнутой фиванцами врасплох в этот опасный час, Xenoph. Hellen. vii, i, 16; ср. Xenoph. Magistr. Equit. vii, 12.

[420] Xenoph. Hellen. ii, 4, 5, 7. Диодор (xiv, 32, 33) представляет случай этой битвы несколько иначе. Я следую рассказу Ксенофонта.

[421] Xenoph. Hellen. ii, 4, 8. Я полагаю, что ἀπογράφεσθαι здесь относится к будущей военной службе; как и в vi, 5, 29, и в Сугорæd. ii, 1, 18, 19. Слова в контексте, πόσης φυλακῆς προσδεήσοιντο, свидетельствуют о том, что это именно такой смысл; хотя комментаторы и Штурц в своем "Лексиконе Ксенофонта" толкуют иначе.

[422] Xenoph. Hellen. ii, 4, 8.

[423] И Лисий (Orat. xii, cont. Eratosth. s. 53; Orat. xiii, cont. Agorat. s. 47), и Диодор (xiv, 32) связывают вместе эти два похожих процесса в Элевсисе и в Саламине. Ксенофонт упоминает только дело в Элевсисе.

[424] Xenoph. Hellen. ii, 4, 9. Δείξας δέ τι χωρίον, ἐς τοῦτο ἐκέλευσε *φανερὰν φέρειν τὴν ψῆφον*. Сравните Lysias, Or. xiii, cont. Agorat. s. 40, и Thucyd. iv, 74, о поведении мегарских олигархических лидеров: καὶ τούτων περὶ ἀναγκάσαντες τὸν δῆμον ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν, и т. д.

[425] Лисий (Orat. xii, cont. Eratosth. s. 53) приводит это число.

[426] Xenoph. Hellen. ii, 4, 10, 13. ἡμέραν πέμπτην и т. д.

[427] Xenoph. Hellen. ii, 4, 12.

[428] Xenoph. Hellen. ii, 4, 12, 20.

[429] Xenoph. Hellen. ii, 4, 19; Cornel. Nepos, Thrasybul. c. 2.

[430] Xenoph. Hellen. ii, 4, 22.

[431] Xenoph. Hellen. ii, 4, 22; Lysias, Orat. xii, cont. Eratosth. s. 55: οἱ μὲν γὰρ ἐκ Πειραιέως κρείττους ὄντες εἶσαν αὐτοὺς ἀπελθεῖν, etc.

[432] Xenoph. Hellen. ii, 4, 24.

[433] Xenoph. Hellen. ii, 4, 23.

[434] Lysias, Orat. xii, cont. Eratosth. sects. 55, 56: οἱ δοκοῦντες εἶναι ἐναντιώτατοι Χαρίκλει καὶ Κριτίᾳ καὶ τῇ τούτων ἑταιρεία, etc.

[435] Факты, которые я здесь изложил, вытекают из сравнения Лисия, Orat. xii, cont. Eratosth. sects. 53, 59, 94: Φεῖδων, αἰρεθεὶς ὑμᾶς διαλλάξαι καὶ καταγαγεῖν. Diodor. xiv, 32; Justin, v, 9.

[436] Isokratês, Or. xviii, cont. Kallimach. s. 25.

[437] Xenoph. Hellen. ii, 4, 24, 28.

[438] Xenoph. Hellen. ii, 4, 25.

[439] Plutarch, Vit. x, Orator, p. 835; Lysias, Or. xxxi, cont. Philon. sects. 19-34.

Лисий и его брат держали в Афинах мануфактуру по производству щитов. Тридцать разграбили ее, но часть запасов, вероятно, спаслась.

[440] Demosth. cont. Leptin. c. 32, p. 502; Lysias cont. Nikomach. Or. xxx, s. 29.

[441] Xenoph. Hellen. ii, 4, 27.

[442] Xenoph. Hellen. ii, 4, 28; Diodor. xiv, 33; Lysias, Orat. xii, cont. Eratosth. s. 60.

[443] Xenoph. Hellen. ii, 4, 29. Οὕτω δὲ προχωρούντων, Πausanías ὁ βασιλεὺς, φθονήσας Λυσάνδρῳ, εἰ κατειργασμένος ταῦτα ἅμα μὲν εὐδοκιμήσοι, ἅμα δὲ ἰδίας ποιήσοιτο τὰς Ἀθήνας, πείσας τῶν Ἐφόρων τρεῖς, ἐξάγει φρουράν.

Diodor. xiv, 33. Πausanías δὲ..., φθονῶν μὲν τῷ Λυσάνδρῳ, θεωρῶν δὲ τὴν Σπάρτην ἀδοξοῦσαν παρὰ τοῖς Ἕλλησι, etc.

Плутарх, Лисанд. с. 21.

[444] Xenoph. Hellen. v, 2, 3.

[445] Xenoph. Hellen. ii, 4, 30.

[446] Lysias, Or. xviii, De Bonis Niciæ Frat. sects. 8-10.

[447] Lysias, *ut sup.* sects. 11, 12. ὅθεν Πausανίας ἤρξατο εὖνους εἶναι τῷ δήμῳ, παράδειγμα ποιούμενος πρὸς τοὺς ἄλλους Λακεδαιμονίους τὰς ἡμετέρας συμφορὰς τῆς τῶν τριάκοντα πονηρίας....

Οὕτω δ' ἡλεούμεθα, καὶ πᾶσι δεινὰ ἐδοκοῦμεν πεπονθέναι, ὥστε Πausανίας τὰ μὲν παρὰ τῶν τριάκοντα ξένια οὐκ ἠθέλησε λαβεῖν, τὰ δὲ παρ' ἡμῶν ἐδέξατο.

[448] Xenoph. Hellen. ii, 4, 31. По-видимому, в этом смысл фразы ἀπιέναι ἐπὶ τὰ ἐαυτῶν; как мы можем видеть из с. 38.

[449] Xenoph. Hellen. ii, 4, 31-34.

[450] Xenoph. Hellen. ii, 4, 35. Διῖστη δὲ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἄστει (Pausanias) καὶ ἐκέλευε πρὸς σφᾶς προσιέναι ὡς πλείστους συλλεγομένους, λέγοντας и др.

[451] Xenoph. Hellen. ii, 4, 39; Diodor. xiv, 33.

[452] Xenoph. Hellen. ii, 4, 40-42.

[453] Xenoph. Hellen. ii, 4, 43; Justin, v, 11. Я не понимаю аллюзии в Lysias, Orat. xxv, Δημ. Καταλ. Ἀπολ. sect. 11: εἰσὶ δὲ οἵπινες τῶν Ἐλευσινιάδε ἀπογραφεμένων, ἐξελθόντες μεθ' ὑμῶν, ἐπολιορκοῦντο μετ' αὐτῶν.

[454] Thucyd. i, 97.

[455] См. т. v этой истории, гл. xlv, с. 343.

[456] См. т. vi, гл. lii, с. 353 настоящей Истории.

[457] Это, как я полагаю, было на уме у Ксенофонта, De Reditibus, v, 6. "Ἐπειτ' , ἐπεὶ ὡμῶς ἄγαν δόξασα προστατεύειν ἡ πόλις ἐστερήθη τῆς ἀρχῆς, etc.

[458] Thucyd. viii, 48.

[459] "Признаюсь, господа, что это представляется мне столь же дурным по принципу и гораздо худшим по последствиям, чем всеобщее приостановление действия закона о Habeas Corpus..... Далеко не смягчая черты такого принципа и тем самым устраняя часть народного одиоза или естественных ужасов, связанных с ним, я должен сожалеть, что что-либо, сформулированное в противоречии с духом нашей конституции, не произвело мгновенно, на самом деле, самое грубое из зол, которыми оно было беременным по своей природе. Именно долгое бездействие или очень редкое применение произвольной власти крадет народ. При следующем антиконституционном акте весь модный мир будет готов сказать: Ваши пророчества смешны, ваши страхи напрасны; вы видите, как мало несчастий, которые вы раньше предвещали, сбылось. Так, постепенно, это искусное смягчение всех произвольных властей, предполагаемая редкость или узкая сфера их действия, будет восприниматься как своего рода афоризм; и мистер Хьюм не будет необычным, говоря нам, что благополучие человечества нарушается им не больше, чем землетрясениями или громом, или другими более необычными происшествиями природы." (Берк, Письмо шерифам Бристоля, 1777: Burke's Works, vol. iii, pp. 146-150 oct. edit.)

[460] Aristot. Polit. v, 7, 19. Καὶ τῷ δήμῳ κακόνους ἔσομαι, καὶ βουλεύσω ὅ,τι ἂν ἔχω κακόν.

Хвалебная эпитафия Тридцати, приведенная в Schol. on Æschinês, - восхваляющая их как обуздавших на короткое время дерзость проклятого Демоса Афинского, - выдержана в том же духе: см. K. F. Hermann, Staats-Alterthümer der Griechen, s. 70, note 9.

[461] Plato, Epistol. vii, p. 324. Καὶ ὁρῶν δὴ που τοὺς ἄνδρας ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ χρυσὸν ἀποδείξαντας τὴν ἔμπροσθεν πολιτείαν, etc.

[462] Andokidês de Mysteriis, s. 90.

[463] Все это можно почерпнуть из различных отрывков Orat. xii Лисия. Эратосфенес выступал на суде не один, а вместе с другими коллегами, хотя, конечно, в соответствии с псефизмом Каннона, голосование дикастов должно было проводиться по каждому отдельно: ἀλλὰ παρὰ Ἑρατοσθένους καὶ τῶν τουτουῖ συναρχόντων δίκην λαμβάνειν.... μηδ' ἀποῦσι μὲν τοῖς τριάκοντα ἐπιβουλεύετε, παρόντας δ' ἀφῆτε- μηδὲ τῆς τύχης, ἣ τούτους παρέδωκε τῇ πόλει, κάκιον ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσητε (sects. 80, 81): compare s. 36.

Число друзей, готовых поддержать защиту Эратосфена и добиться его оправдания, главным образом, путем представления, что он совершил наименьшее зло из всех Тридцати; что все, что он сделал, было сделано под страхом его собственной жизни; что он был приверженцем и сторонником Фераменеса, память которого была в то время популярна, можно увидеть в разделах 51, 56, 65, 87, 88, 91.

Есть свидетельства и о других обвинениях, выдвинутых против Тридцати в Ареопагском сенате (Лисий, Or. xi, cont. Theomnest. A. s. 31, B. s. 12).

[464] Lysias, Or. xii, cont. Eratosth. s. 36.

[465] Demosth. adv. Bœotum de Dote Matern. c. 6, p. 1018.

[466] Dionys. Hal. Jud. de Lysiâ, c. 32, p. 526; Lysias, Orat. xxxiv, Bekk.

[467] Xenoph. Hellen. ii, 4, 41.

[468] Xenoph. Memor. iii, 5, 19.

[469] Andokidês de Mysteriis, s. 83. Ὅπόσων δ' ἂν προσδέῃ (νόμων), οἷδε ἡρημένοι νομοθέται ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀναγράφοντες ἐν σάνισιν ἐκτιθέντων πρὸς τοὺς ἐπωνύμους, σκοπεῖν τῷ βουλομένῳ, καὶ παραδιδόντων ταῖς ἀρχαῖς ἐν τῷδε τῷ μηνί. Τοὺς δὲ παραδιδομένους νόμους δοκιμασάτω πρότερον ἢ βουλὴ καὶ οἱ νομοθέται οἱ πεντακόσιοι, οὓς οἱ δημόται εἴλοντο, ἐπειδὴ ὁμωμόκασιν.

Соединив вместе два предложения, в которых упоминаются номотеты, Рейске и Ф. А. Вольф (Prolegom. ad Demosthen. cont. Leptin. p. cxxix) считают, что существовало два класса номотетов; один класс выбирался сенатом, другой - народом. Это кажется мне очень неправдоподобным. Лица, выбранные сенатом, не имели никаких окончательных или решающих функций; они были просто выбраны для того, чтобы рассмотреть, какие новые предложения могут быть представлены на обсуждение, и обеспечить, чтобы эти предложения были публично обнародованы. Любые лица, просто наделенные таким характером предварительного комитета, не могли бы, по моему мнению, называться номотетами. Причина, по которой упомянутые здесь лица были так названы, заключается в том, что они составляли часть из пятисот номотетов, на которых в конечном счете возлагалась власть императивного решения. Естественно, что эта предварительная

обязанность была возложена на небольшой комитет; члены этого небольшого комитета должны были быть выбраны одним из органов, на которых лежало окончательное решение, но выбраны из другого.

[470] Andokidês de Mysteriis, разделы 81-85.

[471] Andokidês de Myster. s. 87. ψήφισμα δὲ μηδὲν μήτε βουλῆς μήτε δήμου (νόμου), κυριώτερον εἶναι.

Кажется, что здесь следует вставить слово νόμου: см. Demosth. cont. Aristokrat. c. 23, p. 649.

Сравните аналогичное употребление фразы, μηδὲν κυριώτερον εἶναι, в Demosthen. cont. Lakrit. c. 9, p. 937.

[472] Andokidês de Myster. s. 87. Мы видим (из Demosthen. cont. Timokrat. c. 15, p. 718), что Андокидес процитировал закон не полностью. Он опустил слова: ὅποσα δ' ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἐπράχθη, ἢ ἰδίᾳ ἢ δημοσίᾳ, ἄκυρα εἶναι, эти слова не имеют никакой существенной связи с тем, к чему он стремился. Сравните Æschinês cont. Timarch. c. 9, p. 25, καὶ ἔστω ταῦτα ἄκυρα, ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, ἢ τὰ πρὸ Εὐκλείδου, ἢ εἴ τις ἄλλη πῶποτε τοιαύτη ἐγένετο προθεσμία.....

Тисамен, вероятно, тот самый человек, о котором Лисий отзывается с презрением, Or. xxx, cont. Nikomach. s. 36.

Мейер (De Bonis Damnatorum, p. 71) считает, что существует противоречие между постановлением, предложенным Тисаменом (Andok. de Myst. s. 83), и другим постановлением, предложенным Диоклесом, приведенным в оратории Демосф. cont. Timokr. c. 11, p. 713. Но реального противоречия между ними нет, а единственная видимость противоречия возникает из-за того, что закон Диоклеса приведен неверно в его нынешнем виде. Его следует читать так: -

Διοκλῆς εἶπε, Τοὺς νόμους τοὺς πρὸ Εὐκλείδου τεθέντας ἐν δημοκρατίᾳ, καὶ ὅσοι ἐπ' Εὐκλείδου ἐτέθησαν, καὶ εἰσὶν ἀναγεγραμμένοι, [ἀπ' Εὐκλείδου] κυρίους εἶναι- τοὺς δὲ μετ' Εὐκλείδην τεθέντας καὶ τολοιπὸν τιθεμένους κυρίους εἶναι ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἕκαστος ἐτέθη, πλὴν εἴ τῳ προσγέγραπται χρόνος ὄντινα δεῖ ἄρχειν. Ἐπιγράψαι δὲ, τοῖς μὲν νῦν κειμένοις, τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς, τριάκοντα ἡμερῶν- τὸ δὲ λοιπὸν, ὃς ἂν τυγχάνῃ γραμματεύων, προσγραφέτω παραχρῆμα τὸν νόμον κύριον εἶναι ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς ἐτέθη.

Слова ἀπ' Εὐκλείδου, стоящие между скобками во второй строке, вставлены по моему собственному предположению; и я смею думать, что любой, кто прочтет весь закон до конца и комментарии оратора к нему, увидит, что они действительно необходимы для полноты смысла. Вся суть и цель закона в том, чтобы четко регламентировать время, с которого каждый закон начинает действовать.

В том виде, в каком первая часть закона читается сейчас, без этих слов, она не имеет никакого отношения ни к главной цели, намеченной Диоклесом во второй части, ни к последующим рассуждениям Демосфена. Легко понять, как слова ἀπ' Εὐκλείδου должны были выпасть, если учесть, что ἐπ' Εὐκλείδου непосредственно предшествует им: на самом деле была допущена другая ошибка, поставив в первом случае ἀπ' Εὐκλείδου вместо ἐπ' Εὐκλείδου; эта ошибка была исправлена различными последними редакторами, на основании некоторых MSS.

Закон Диоклеса, при правильном прочтении, полностью гармонирует с законом Тисамена. Мейер удивляется, что здесь не упоминается о *δοκιμασία νόμων* номотетах, которые предписаны в постановлении Тисамена. Но об этом не было необходимости упоминать прямо, так как слова *οἱ εἰς ἡνάγεγραμμένοι* предполагают предпрешенную *δοκιμασία*.

[473] Andokidēs de Mysteriis, s. 91. καὶ οὐδέξομαι ἔνδειξιν οὐδὲ ἀπαγωγὴν ἔνεκα τῶν πρότερον γεγενημένων, πλὴν τῶν φευγόντων.

[474] Andokid. de Mysteriis, s. 91. καὶ οὐ μνησικακήσω, οὐδὲ ἄλλῳ (sc. ἄλλῳ μνησικακοῦντι) πείσομαι, ψηφιοῦμαι δὲ κατὰ τοὺς κείμενους νόμους.

Это положение не является частью клятвы гелиастов, приведенной в Demosthen. cont. Timokrat. с. 36, р. 746. Она была чрезвычайно значимой и ценной в течение нескольких лет, непосредственно следовавших за обновлением демократии. Но ее значение было, по сути, временным, и она, несомненно, была отменена в течение двадцати или тридцати лет после периода, к которому она специально относилась.

[475] Орат. xviii, Исократеса, Параграф конт. Каллимаху, сообщает нам об этих моментах, особенно в разделах 1-4.

Каллимах подал иск против клиента Исократеса на десять тысяч драхм (разделы 15-17), обвиняя его как соучастника Патроклеса - царя-архонта при Десяти, который сразу же сменил Тридцать, до возвращения изгнанников, - в захвате и конфискации денежной суммы, принадлежащей Каллимаху. Последний, начав этот процесс, был вынужден заплатить пошлину, называемую *prytaneia*; сумма, пропорциональная заявленной, составляла тридцать драхм, когда заявленная сумма составляла от тысячи до десяти тысяч драхм. Если бы дело дошло до суда, то Каллимах, проиграв дело, должен был бы выкупить свою пританею, но не больше. Теперь, согласно параграфу, разрешенному законом Архина, ответчику разрешается принести клятву, что иск против него основан на факте, предшествовавшем архонству Эвклидеса; и тогда дело рассматривается сначала по этому особому вопросу, по которому ответчику разрешается говорить первым, до истца. Если вердикт по этому особому вопросу будет вынесен в пользу ответчика, то истец не только лишается возможности продолжать свой иск, но и приговаривается к уплате ответчику неустойки, называемой эпобелой, то есть одной шестой части от заявленной суммы. Если же, напротив, вердикт по специальному вопросу будет в пользу истца, то он получает право продолжать свой первоначальный иск и, кроме того, сразу же получить с ответчика неустойку, или *erobely*. Информацию об этих правилах судопроизводства в аттических дикастериях можно найти в Meier and Schömann, Attischer Prozess, p. 647; Platner, Prozess und Klagen, vol. i, pp. 156-162.

[476] Вахсмут, который допускает в свою работу, практически без критики, все, что когда-либо было сказано против афинского народа и вообще против греков, утверждает, вопреки всем доказательствам и вероятности, что амнистия не была действительно соблюдена в Афинах. (Wachsm. Hellen. Alterth. ch. ix. sect. 71, vol. ii, p. 267.)

Простые и четкие слова Ксенофонта, исходящие из уст столь враждебного свидетеля, достаточны, чтобы опровергнуть его: καὶ ὁμόσαντες ὄρκους ἢ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ γε πολιτεύονται, καὶ τοῖς ὄρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος, (Hellen. ii, 4, 43).

Отрывки, на которые ссылается Вахсмут, ни в малейшей степени не подтверждают его точку зрения. Даже если бы в нарушение амнистии были поданы судебные иски или выдвинуты обвинения, это не доказывало бы, что народ ее нарушил; если бы мы также не знали, что дикастерий подтвердил эти действия. Но он не упоминает о каких-либо исках или обвинениях,

выдвинутых на таком основании. Он лишь отмечает некоторые случаи, когда обвинение выдвигалось на основаниях, следующих за Эвклидовым, а обвинитель в своей речи ссылался на другие вопросы, предшествующие Эвклидову. Теперь каждый оратор в афинском дикастерии считает себя вправе вызвать на суд дикастов всю прошлую жизнь своего противника, в порядке аналогичных доказательств, свидетельствующих об общем характере последнего, хорошем или плохом. Например, обвинитель Сократеса упоминает в качестве аргумента в пользу общего характера Сократеса, что тот был учителем Крития; в то время как философ в свою защиту ссылается на свою решимость и добродетель в качестве пританиса на собрании, на котором были осуждены генералы после битвы при Аргинусе. Обе эти ссылки служат доказательством общего характера.

[477] Xenoph. Hellen. ii, 4, 9.

[478] Xenoph. Hellen. ii, 4, 1. ἤγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων (οἱ τριάκοντα) ἴν' αὐτοὶ καὶ οἱ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν.

[479] Isokratês cont. Kallimach. Or. xviii, sect. 30.

Θρασύβουλος μὲν καὶ Ἄνυτος, μέγιστον μὲν δυνάμενοι τῶν ἐν τῇ πόλει, πολλῶν δ' ἀπεστερημένοι χρημάτων, εἰδότες δὲ τοὺς ἀπογράψαντας, ὅμως οὐ τολμῶσιν αὐτοῖς δίκας λαγχάνειν οὐδὲ μνησικακεῖν, ἀλλ' εἰ καὶ περὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἐτέρων δύνανται διαπράττεσθαι, ἀλλ' οὖν περὶ γε τῶν ἐν ταῖς συνθήκαις ἴσον ἔχειν τοῖς ἄλλοις ἀξιοῦσιν.

С другой стороны, молодой Алкивиад (в Orat. xvi, of Isokratês, De Bigis, sect. 56) говорит о том, что другие возвращают свое имущество: τῶν ἄλλων κομιζομένων τὰς οὐσίας. Мое утверждение в тексте примиряет эти два варианта. Далее молодой Алкивиад утверждает, что народ принял решение о выплате ему компенсации за конфискацию имущества его отца, но сила его врагов лишила его этой компенсации. Можно усомниться в том, что такое голосование действительно имело место.

Однако, судя по всему, Батрак, один из главных доносчиков, приносивших жертвы Тридцати, счел благоразумным жить после этого за пределами Аттики (Lysias cont. Andokid. Or. vi, sect. 46), хотя юридически он был бы защищен амнистией.

[480] Andokidês de Mysteriis, sect. 94. Μέλητος δ' αὖ οὕτοσι ἀπήγαγεν ἐπὶ τῶν τριάκοντα Λέοντα, ὡς ὑμεῖς ἅπαντες ἴστε, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖνος ἄκριτος.... Μέλητον τοίνυν τοῖς παισὶ τοῖς τοῦ Λέοντος οὐκ ἔστι φόνου διώκειν, ὅτι τοῖς νόμοις δεῖ χρῆσθαι ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος- ἐπεὶ ὥς γε οὐκ ἀπήγαγεν, οὐδ' αὐτὸς ἀντιλέγει.

[481] Thucyd. vi, 39. δῆμον, ξύμπαν ὠνομάσθαι, ὀλιγαρχίαν δὲ, μέρος.

[482] Æschylus, Sept. ad Thebas, v, 1047.

Τραχὺς γε μέντοι δῆμος ἐκφυγὼν κακά.

[483] Thucyd. viii, 97.

[484] Andokidês de Mysteriis, sect. 88. Τὰς μὲν δίκας, ὧ ἄνδρες, καὶ τὰς διαίτας ἐποιήσατε κυρίας εἶναι, ὅποσαι ἐν δημοκρατούμενῃ τῇ πόλει ἐγένοντο, ὅπως μήτε χρεῶν ἀποκοπαὶ εἶεν μήτε δίκαι ἀνάδικοι γένοιτο, ἀλλὰ τῶν ιδίων συμβολαίων αἱ πράξεις εἶεν.

[485] Isokratês, Areopagit. Or. vii, sect. 77; Demosth. cont. Leptin. c. 5, p. 460.

[486] Lysias pro Mantitheo, Or. xvi, sects. 6-8. Я принимаю по существу объяснение слова κατὰστασις, которое дают Гарпократ и Фотий, несмотря на возражения против него М. Бозция,

которые кажутся мне не имеющими под собой достаточных оснований. Я не могу не думать, что Рейске прав, отличая *κατάστασις* от платы, *μισθός*.

См. Bockh, *Public Economy of Athens*, b. ii, sect. 19, p. 250. В приложении к этой работе, которое не переведено на английский язык вместе с самой работой, он приводит фрагмент надписи, которая, по его мнению, имеет отношение к этому возобновлению *κατάστασις* с всадников, или рыцарей, после Тридцати. Но этот фрагмент настолько несовершенен, что относительно него ничего нельзя утверждать с уверенностью: см. *Staatshaush. der Athener*, Appendix, vol. ii, pp. 207, 208.

[487] Xenoph. *Hellen.* iii, 1, 4.

[488] Lysias, *Or.* xvi, pro Mantitheo, sects. 9, 10; Lysias, cont. Evandr. *Or.* xxvi, sects. 21-25.

Из этой последней оратории (секта 26) мы видим, что Фрасибул помог некоторым из главных лиц, которые находились в городе и сопротивлялись возвращению изгнанников, преодолеть трудности докимасии, или проверки характера, перед тем как получить право занять любую должность, на которую человек был либо избран, либо выбран по жребию, в последующие годы. Он высказался в пользу Эвандера, чтобы тот был принят в качестве царя-архонта.

[489] Я с уверенностью предполагаю, что писец Тисамен, упомянутый в Lysias cont. Nikomach. sect. 37, это тот же человек, что и Тисамен, названный в *Andokidês de Mysteriis* (sect. 83) как автор памятного псефизма.

[490] См. "Общественное хозяйство Афин" М. Бёкха, т. ii, с. 8, с. 186, англ. Tr., для краткого изложения всего, что известно об этих *γραμματεῖς*, или секретарях.

Выражение в Lysias cont. Nikomach. sect. 38, ὅτι ὑπογραμματεῦσαι οὐκ ἔξεστι δις τὸν αὐτὸν τῇ ἀρχῇ τῇ αὐτῇ, правильно объясняется М. Бёкхом как имеющее очень ограниченное значение и относящееся только к двум последовательным годам. И я думаю, что мы можем сомневаться в том, что на практике это правило строго соблюдалось; хотя можно предположить, что эти секретари чередовались между собой, переходя из одной коллегии или канцелярии в другую. Их огромная польза заключалась в том, что они постоянно находились на службе и тем самым поддерживали непрерывное движение деталей.

[491] Lysias, *Or.* xxx, cont. Nikomach. sect. 32.

[492] Lysias, *Or.* xxx, cont. Nikomach. sect. 33. Вахсмут ошибочно называет его *antigraphus* вместо *anagrapheus* (*Hellen. Alterth.* vol. ii, ix, p. 269).

Из "Orat. vii" Лисия (секты 20, 36, 39) следует, что Никомах враждовал с различными лицами, которые использовали Лисия в качестве логографа, или составителя речей.

[493] Lysias, *Or.* x, cont. Theomnest. A. sects. 16-20.

[494] См. Taylor, *Vit. Lysiae*, pp. 53, 54; Franz, *Element Epigraphicê Græc.* Introd. pp. 18-24.

[495] Lysias cont. Nikom. sect. 3. Его работа продолжалась в общей сложности шесть лет: четыре года до Тридцати, два года после них, разд. 7. По крайней мере, так считает оратор.

[496] Я предполагаю, что таков смысл разд. 21 оратории Лисия против него: εἰ μὲν νόμους ἐτίθην περὶ τῆς ἀναγραφῆς и т. д.; также сект. 33-45: παρακαλοῦμεν ἐν τῇ κρίσει τιμωρεῖσθαι τοὺς τὴν ὑμετέραν νομοθεσίαν ἀφανίζοντας, и т. д.

Однако суть оратории, к сожалению, неясна.

[497] Isæus, Or. viii, De Kiron. Sort. sect. 61; Demosthen. cont. Eubulid. c. 10, p. 1307.

[498] Плутарх, Vit. x, Orat. (Lysias) p. 836; Taylor, Vit. Lysiae, p. 53.

[499] См. об этом изменении Boeckh, Public Econ. of Athens, ii, 7, p. 180, *seq.*, Eng. Tr.

[500] Lysias, Fragm. Or. xxxiv, De non dissolvendâ Republicâ, sect. 3: ἀλλὰ καὶ Εὐβοεῦσιν ἐπιγαμίαν ἐποιοῦμεθα, etc.

[501] Æschinês, cont. Ktesiphon. c. 62, p. 437; Cornel. Nepos, Thrasybul. c. 4.

[502] Xenoph. Hellen. i, 3, 12. τὸν τε κοινὸν ὄρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιοῦντο.

[503] Xenoph. Hellen. i, 4, 7.

[504] Xenoph. Anab. i, 1; Diodor. xiii, 108.

[505] Xenoph. Hellen. ii, 3, 42; Isokratês, Or. xvi, De Bigis, s. 46.

[506] Я собрал то, что кажется мне наиболее вероятным рассказом о смерти Алкивиада из Плутарха, Alkib. c. 38, 39; Диодора, xiv, 11 (который цитирует Эфора, сравните Ephor. Fragm. 126, ed. Didot); Корнелия Непоса, Alkibiad. c. 10; Юстина, v, 8; Isokratês, Or. xvi, De Bigis, s. 50.

Очевидно, существовали различные истории о предшествующих причинах и обстоятельствах, из которых необходимо сделать выбор. Крайнее вероломство, приписываемое Эфором Фарнабазу, кажется мне совсем не свойственным характеру этого сатрапа.

[507] Корнелий Непос говорит (Alcib. c. 11) об Алкивиаде (Alkibiadês): "Hunc infamatum a plerisque tres gravissimi historici summis laudibus extulerunt: Thucydides, qui ejusdem ætatis fuit; Theopompus, qui fuit post aliquando natus, et Timæus: qui quidem duo maledicentissimi, nescio quo modo, in illo uno laudando conscierunt."

У нас нет возможности оценить, что было сказано Теопомпом и Тимеем. Но что касается Фукидида, то следует помнить, что он превозносит только способности и воинственные замыслы Алкивиада, ничего более; и у него были веские основания для этого. Его картина нравов и поведения Алкивиада представляет собой обратную сторону восхваления.

Орация xvi Исократеса, De Bigis, произнесенная сыном Алкивиада, переходит к трудоемкому панегирику характера своего отца, но она чрезвычайно неточна, если сравнить ее с фактами, изложенными у Фукидида и Ксенофонта. Но он оправдывается, говоря: οὐδέποτε τοῦ πατρὸς ἡγοῦμένου τρόπαιον ὑμῶν ἔστησαν οἱ πολλέμοι (s. 23).

[508] "Œdipus Tyrannus" Софоклеса был превзойден конкурирующим произведением Филоклеса. Медея Эврипида была лишь третьей по счету; Эвфорион, сын Эсхила, был первым, Софокл - вторым. И все же эти две трагедии - шедевры, оставшиеся от Софокла и Эврипида.

[509] Тщательный анализ Велькера (Griech. Tragödie. vol. i, p. 76) позволяет выявить названия восьмидесяти трагедий, бесспорно принадлежащих Софоклу, помимо сатирических драм в его тетралогиях. Велькер значительно сократил число, признаваемое предыдущими авторами, которое Фабриций доводил до ста семидесяти восьми и даже, по мнению Бёкха, до ста девяти (Welcker, *ut sup.* p. 62).

Число драм, приписываемых Еврипиду, иногда составляет девяносто две, иногда семьдесят пять. Элмсли в своих замечаниях к "Аргументам к Медее", стр. 72, считает, что даже большее из этих чисел меньше того, что, вероятно, сочинил Еврипид; поскольку поэт продолжал сочинять в

течение пятидесяти лет, с 455 по 405 год до н. э., и, вероятно, в течение каждого года сочинял одну, если не две тетралогии; если он мог убедить архонта предоставить ему хор, то есть возможность представлять. Дидаскалии не учитывали никого, кроме тех, кто получал первый, второй или третий приз. Велькер приводит названия и приблизительное содержание пятидесяти одной утраченной трагедии поэта, а также семнадцати оставшихся (стр. 443).

Суидас утверждает, что трагик Аристарх написал семьдесят трагедий, из которых только две получили приз. Сто двадцать произведений приписываются Неофрону, сорок четыре - Ахею, сорок - Иону (Welcker, ib. p. 889).

[510] Plato, Symposion, с. 3, p. 175.

[511] Об этих деталях см. в первую очередь ценную и квалифицированную компиляцию - G. C. Schneider, *Das Attische Theater-Wesen*, Weimar, 1835 - снабженную обширными примечаниями; хотя я не полностью согласен со всеми его деталями и расхожусь с ним в некоторых вопросах. Я не думаю, что на одном празднике одному гражданину давали более двух оболов; по крайней мере, до тех пор, пока раздача не стала более широкой, во времена после Тридцати; см. книгу М. Шнайдера, с. 17; также Примечания, 29-196.

[512] См. Платон, Лахес, с. 6, p. 183, В.; и Welcker, Griech. Tragöd. p. 930.

[513] По этому вопросу сравните Welcker, Griech. Tragöd. vol. ii, p. 1102.

[514] См. Aristophan. Ran. 1046. Антигона (780, *и далее*) и Трахини (498) являются достаточными доказательствами того, что Софокл не был согласен с Эсхилом в этом отказе от Афродиты.

[515] Сравнение Herodot. iii, 119 с Soph. Antig. 905, доказывает общность мысли, которая, как мне кажется, вряд ли может быть объяснена каким-либо другим способом. Кто из двух получил мысль от другого, мы не можем определить.

Причина, по которой женщина, чьи отец и мать умерли, предпочла брата мужу или ребенку, - что она может найти другого мужа и родить другого ребенка, но не может иметь другого брата, - конечно, не слишком надуманна.

[516] См. Valckenaer, Diatribe in Eurip. Frag. с. 23. Квинтилиан, имевший перед собой гораздо больше трагедий, чем те, которыми мы располагаем сейчас, отмечает, насколько полезнее было изучение Еврипида, чем изучение Эсхила или Софокла, для молодого человека, готовящегося к судебному ораторскому искусству: - "Illud quidem nemo".

"Illud quidem nemo non fateatur, iis qui se ad agendum comparaverint, utiliore longe Euripidem fore. Namque is et vi et sermone (quo ipsum reprehendunt quibus gravitas et cothurnus et sonus Sophoclis videtur esse sublimior) magis accedit oratorio generi: et sentiis densus, et rebus ipsis; et in iis quæ a sapientibus tradita sunt, pæne ipsis par; et in dicendo et respondendo cuilibet eorum, qui fuerunt in foro disertis, comparandus. In affectibus vero tum omnibus mirus, tum in iis qui miseratione constant, facile præcipuus." (Quintil. Inst. Orat. x, 1.)

[517] Aristophan. Plutus, 1160:-.

Πλούτῳ γὰρ ἐστὶ τοῦτο συμφωρῶτατον,

Ποιεῖν ἀγῶνας γυμνικοὺς καὶ μουσικοὺς.

Сравните речь Алкивиада, Thuc. vi, 16, и Теофраста ap. Cic. de Officiis, ii, 16.

[518] См. Meineke, Hist. Critic. Comicor. Græcor. vol. i, p. 26, seq.

Грисар и мистер Клинтон, следуя Суидасу, помещают Хионидеса до персидского вторжения; но слова Аристотеля скорее свидетельствуют в пользу более поздней даты (Poetic. с. 3).

[519] См. об этих разнузданных процессиях в связи с ямбом и Архилохом в т. iv этой Истории, гл. xxix, с. 81.

Аристотель (Поэтика, с. 4) рассказывает, что эти фаллические процессии, с предоставленной вождям свободой (οἱ ἐξάρχοντες) насмехаться над каждым, все еще продолжались во многих городах Греции в его время: см. Herod. v, 83, и Sêmus apud Athenæum, xiv, p. 622; также поразительное описание сельских Дионисий в Ахарнеях Аристофана, 235, 255, 1115. Насмешки были частью праздника, и предполагалось, что они были угодны Дионису: ἐν τοῖς Διονυσίοις ἐφευμένον αὐτὸ δρᾶν- καὶ τὸ σκῶμμα μέρος τι ἐδόκει τῆς ἐορτῆς- καὶ ὁ θεὸς ἴσως χαίρει, φιλογέλως τις ὢν (Lucian, Piscator. с. 25). Сравните Аристофана, Ranæ, 367, где поэт, кажется, подразумевает, что никто не имеет права жаловаться на то, что его высмеивают в πατρίοις τελεταῖς Διονύσου.

Греческое слово "комедия" - κωμῳδία, τὸ κωμῳδεῖν - по крайней мере, в раннем значении, имело отношение к горькой, оскорбительной, преступной насмешке: κωμῳδεῖν καὶ κακῶς λέγειν (Xenophon, Repub. Ath. ii, 23)-κακηγοροῦντάς τε καὶ κωμῳδοῦντας ἀλλήλους καὶ αἰσχρολογοῦντας (Plato de Repub. iii, 8, p. 332). Замечательное определение κωμῳδία содержится в "Anecdota Græca" Беккера, ii, 747, 10: Κωμῳδία ἐστὶν ἡ ἐν μέσῳ λάου κατηγορία, ἥγουν δημοσίευσις; "публичное выставление на поругание перед собравшимся народом:" и это представление о нем как о наказании злодеев сохранилось у Платония и анонимных авторов комедий, приложенных к Аристофану. Определение, которое дает Аристотель (Поэтика. с. 11), слишком мягко для первобытной комедии: ведь он сам говорит нам, что Кратес, непосредственно предшествующий Аристофану, был первым автором, который отошел от ἱαμβικῇ ιδέα: эта "ямбическая жила" была первоначально общим характером. Он, несомненно, включал в себя все виды насмешек, от невинного веселья до презрения и одиозности; но преобладающий характер решительно склонялся к последнему.

Сравните Will. Schneider, Attisches Theater-Wesen, Notes, pp. 22-25; Bernhardt, Griechische Litteratur, sect. 67, p. 292.

[520]

Χαῖρ', ὦ μέγ' ἀρχειογέλως ὄμιλε ταῖς ἐπίβδαις,

Τῆς ἡμετέρας σοφίας κριτῆς ἄριστε πάντων и др.

Kratini Fragm. Incert. 51; Meineke, Fr. Com. Græcor. ii, p. 193.

[521] Относительно Кратина см. Платоний и другие авторы об аттической комедии, приложенные к Аристофану в издании Беккера, стр. vi, ix, xi, xiii и т. д.; также Мейнеке, Historia Comic. Græc. vol. i, p. 50, seq.

... Οὐ γὰρ, ὥσπερ Ἀριστοφάνης, ἐπιτρέχειν τὴν χάριν τοῖς σκώμμασι ποιεῖ (Κρατῖνος), ἀλλ' ἀπλῶς, καὶ κατὰ τὴν παροιμίαν, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τίθῃσι τὰς βλασφημίας κατὰ τῶν ἀμαρτανόντων.

[522] См. Kratinus-Архилоχοι-Frag. 1, и Плутарх, Кимон, 10, Ἡ κωμῳδία πολιτεύεται ἐν τοῖς δράμασι καὶ φιλοσοφεῖ, ἡ τῶν περὶ τὸν Κρατῖνον καὶ Ἀριστοφάνην καὶ Εὐπολιν, и т.д. (Dionys. Halikarn. Ars Rhetoric. с. 11.)

[523] Aristophan. Equit. 525. seq.

[524] Комедия под названием Ὀδυσσεΐς (мн. число, соответствующее названию другой его комедии, Ἀρχίλοχοι). В ней был хор, как показывает один из фрагментов, но мало или совсем не было хорических песен; также не было парабасиса, или обращения хора, принимающего на себя роль поэта, к зрителям.

См. Бергк, De Reliquiis Comæd. Antiq. p. 142, seq.; Meineke, Frag. Cratini, vol. ii, p. 93, Ὀδυσσεΐς: сравните также первый том того же труда, p. 43: также Runkel, Cratini Fragm. p. 38 (Leips. 1827).

[525] Аристофан хвастается, что он был первым сочинителем комедий, который выбрал великих и могущественных людей в качестве объектов для нападок: его предшественники, утверждает он, занимались только мелкими паразитами и тряпками: ἐς τὰ ῥάκια σκώπτοντας ἀεὶ καὶ τοῖς φθειροῖν πολεμοῦντας (Pac. 724-736; Vesp. 1030).

Но это не может быть правдой с точки зрения фактов, поскольку мы знаем, что ни один человек не подвергался более ожесточенным нападкам со стороны комических авторов своего времени, чем Периклес. Следует добавить, что хотя Аристофан, несомненно, нападал на могущественных людей, он не оставлял без внимания и более мелких личностей.

[526] Aristoph. Ran. 1067; также Vesp. 1095. Эсхил упрекает Эврипида:...

Εἴτ' αὖ λαλίαν ἐπιτηδεῦσαι καὶ στωμυλίαν ἐδίδας,

Ἥ ἑκένωσεν τὰς τε παλαίστρας, καὶ τὰς πυγὰς ἐνέτριψε

Τῶν μειρακίων στωμυλλομένων, καὶ τοὺς παράλους ἀνέπεισεν

Ἀνταγορεύειν τοῖς ἄρχουσιν. Καίτοι τότε γ', ἥνίκ' ἐγὼ ἔζων,

Οὐκ ἠπίσταντ' ἀλλ' ἢ μᾶζαν καλέσαι καὶ ῥυππαπαὶ εἶπεῖν.

Τὸ ῥυππαπαὶ, по-видимому, было своеобразным криком или хором моряков на корабле, вероятно, когда требовалось совместное усилие или тяга: ср. Vespæ, 909.

[527] См. о влиянии на оценку Сократеса, Ranke, Commentat. de Vitâ Aristophanis, p. cdxli.

Сравните также замечания Цицерона (De Repub. iv, 11; vol. iv, p. 476, ed. Orell.) о старой афинской комедии и ее необузданности. Законы Двенадцати таблиц в Риме приговаривали к смерти того, кто сочинял и публиковал клеветнические стихи, направленные против репутации другого гражданина.

Среди постоянных прикладов Аристофана и других комических композиторов был дифирамбический поэт Кинесий, на которого они обрушивали свое остроумие и горечь не только как на безразличного поэта, но и на основании его предполагаемой нечестивости, худобы и слабости, а также его жалкого здоровья. Эффект таких обличений мы видим в речи оратора Лисия, написанной от имени Фания, против которого Кинесий выдвинул обвинение, или graphê paranomôn. Фаний обращается с этими обильными клеветами так, как будто они являются вескими доказательствами против личности Кинесия: Θαυμάζω δ' εἰ μὴ βαρέως φέρετε ὅτι Κινησίας ἐστὶν ὁ τοῖς νόμοις βοηθός, ὃν ὑμεῖς πάντες ἐπίστασθε ἀσεβέστατον ἀπάντων καὶ παρανομώτατον γεγονέναι. Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοιαῦτα περὶ θεοὺς ἐξαμαρτάνων, ἃ τοῖς μὲν ἄλλοις αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν, τῶν κωμωδιδασκάλων δ' ἀκούετε καθ' ἑκάστον ἐνιαυτόν; см. Lysias, Fragm. 31, ed. Bekker; Athenæus, xii, p. 551.

Д-р Тирлуолл оценивает влияние этих обильных пасквилей на старую комедию более мягко, чем я: см. его обзор аттической трагедии и комедии в очень превосходной главе его "Истории Греции", гл. xviii, т. iii, с. 42.

[528] Мнение, с которым я здесь борюсь, очень распространено среди немецких писателей; в доказательство этого я могу указать на трех самых искусных недавних критиков старой комедии, Бергка, Мейнеке и Ранке; все они самые полезные писатели для понимания Аристофана.

Относительно Кратина Бергк замечает: "*Erat enim Cratinus, pariter atque ceteri principes antiquæ comædiæ, vir egregie moratus, idemque antiqui moris tenax..... Cum Cratinus quasi divinitus videret ex hac libertate mox tanquam ex stirpe aliquâ nimiam licentiam existere et nasci, statim his initiis graviter adversatus est, videturque Cimonem tanquam exemplum boni et honesti civis proposuisse,*" etc.

"Nam Cratinus cum esset magno ingenio et *eximiâ morum gravitate*, ægerrime tulit rem publicam præceps in perniciem ruere: omnem igitur operam atque omne studium eo contulit, ut *imagine ipsius vitæ ante oculos positâ omnes et res divinæ et humanæ emendarentur, hominumque animi ad honestatem colendam incenderentur*. Hoc sibi primus et proposuit Cratinus, et propositum strenue persecutus est. *Sed si ipsam Veritatem, cujus imago oculis obversabatur, oculis subjecisset, verendum erat ne tædio obrueret eos qui spectarent*, nihilque prorsus eorum, quæ summo studio persequeretur, obtineret. Quare eximiâ quâdam arte pulchram effigiem hilaremque formam finxit, ita tamen ut ad veritatem sublimemque ejus speciem referret omnia: sic cum ludicris miscet seria, ut et vulgus haberet quî delectaretur; et qui plus ingenio valerent, ipsam veritatem, quæ ex omnibus fabularum partibus perlucet, mente et cogitatione comprehendent." ... "Jam vero Cratinum in fabulis componendis id *unice spectavisse quod esset verum*, ne veteres quidem latuit..... Aristophanes autem *idem et secutus semper est et sæpe professus*." (Bergk, De Reliquiis Comœd. Antiq. pp. 1, 10, 20, 233, etc.).

Критика Ранке (Commentatio de Vitâ Aristophanis, pp. ccxli, cccxiv, ccclii, ccclxix, ccclxxiii, cdxxxiv и т. д.) принимает тот же стиль восхваления возвышенных и добродетельных целей Аристофана. Сравните также хвалебные отзывы Мейнеке о монистической ценности старой комедии (Historia Comic. Græc. pp. 39, 50, 165 и др.) и аналогичные похвалы Вестерманна; Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom. sect. 36.

В одном из аргументов, приложенных к "Паксу" Аристофана, автор настолько проникся представлением об этих поэтах как об общественных наставниках или советниках, что говорит нам, как это ни абсурдно, что они по этой причине назывались *διδάσκαλοι*: οὐδὲν γὰρ συμβούλων διέφερον- ὅθεν αὐτοὺς καὶ διδασκάλους ὠνόμαζον- ὅτι πάντα τὰ πρόσφορα διὰ δραμάτων αὐτοὺς ἐδίδασκον (p. 244, ed. Bekk.).

"Eupolis, atque Cratinus, Aristophanesque poetæ,

Atque alii, quorum Comœdia prisca virorum est,

Si quis erat dignus describi, quod malus, aut fur,

Aut mœchus foret, aut sicarius, aut alioqui

Famosus, multâ cum libertate notabant."

Это раннее суждение Горация (Serm. i, 4, 1): его более позднее мнение о *Fescennina licentia*, которая по духу была похожа на старую греческую комедию, гораздо более рассудительно (Epistol. ii, 1, 145): сравните Art. Poetic. 224. Предполагать, что лица, которых высмеивали или очерняли эти комические авторы, всегда должны были заслуживать того, что о них говорили, действительно является ярким доказательством ценности максимы: "Fortiter calumniare; semper aliquid restat". Без сомнения, их огульная клевета иногда ранила подходящую тему; в какой пропорции, мы не можем определить: но прочтение "Аристофана" оправдывает эпитеты, которые Лукиан вкладывает в уста *Диалога* в отношении Аристофана и Эвполиса - не в пользу мнений

авторов, которых я цитировал выше (Lucian, Jov. Accus. vol. ii, p. 832). Он называет Эвполиса и Аристофана δεινοὺς ἄνδρας ἐπικερτομῆσαι τὰ σεμνὰ καὶ χλευάσαι τὰ καλῶς ἔχοντα.

Если мы обратим внимание на то, что сам Аристофан говорит о других комических поэтах, своих предшественниках и современниках, то увидим, что он далеко не одобряет возвышенную цензурную функцию, которую Бергк и другие приписывают им (см. Парабасис в Нубах, 530 и т. д., и в Паксе, 723). Особенно нелепо представлять в этом образе Кратинуса, о котором мы знаем, главным образом, его привычку к пьянству и откровенную, без прикрас, язвительность, которой он предавался: см. фрагменты и историю его последней пьесы, Πυτίνη (в Meineke, vol. ii, p. 116; также Meineke, vol. i, p. 48, seq.).

Мейнеке копирует (стр. 46) из Суидаса заявление (v. Ἐπείου δειλότερος) о том, что Кратин был ταξίαρχος τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς. Он трактует это как реальный факт: но вряд ли можно сомневаться в том, что это всего лишь шутка современных ему комедиантов по поводу его пристрастия к вину; и не одна из худших среди множества подобных шуток, которые, похоже, были в ходу в то время. Рункель, другой редактор фрагментов Кратинуса (Cratini Fragment, Leips. 1827, p. 2, M. M. Runkel), истолковывает это ταξίαρχος τῆς Οἰνηΐδος φυλῆς, как если бы это была серьезная функция; хотя он говорит нам об общем характере Кратина: "De vitâ ipsâ et moribus pæne nihil dicere possumus: hoc solum constat, Cratinum poculis et puerorum amori valde deditum fuisse."

Большое количество аристофановских шуток было переписано как серьезные факты и попало в греческую историю. Кто проследит главу vii книги К. Ф. Германа "Griechische Staats-Alterthümer", содержащую "Innere Geschichte" афинской демократии, тот увидит самые огульные утверждения против демократических институтов, сделанные на основании отрывков из Аристофана: то же самое можно сказать и о нескольких других наиболее ученых немецких руководствах по греческим делам.

[529] Horat. de Art. Poetic. 212-224.

"Indoctus quid enim saperet, liberque laborum,

Rusticus urbano confusus, turpis honesto?...

Illecebris erat et gratâ novitate morandus

Spectator, functusque sacris, et potus, et exlex."

[530] См. парабасис Аристофана в Нубах (535 и далее) и в Веспе (1015-1045).

Сравните также описание Филиппа γελωτοποῖος, или Шута, в "Симпозиуме" Ксенофонта; большая часть этого описания чрезвычайно аристофанична, ii, 10, 14. Комическая точка зрения принята во всем этом произведении; и Сократес представлен в одном случае как извиняющийся за вторжение серьезных размышлений (τὸ σπουδαίολογεῖν, viii, 41). То же самое происходит и в большей части "Симпозиума" Платона, хотя схема и цель этого последнего очень трудны для понимания.

[531] Плутарх, Солон, с. 29. См. предыдущие тома этой Истории, гл. xxi, т. ii, с. 145; гл. xxix, т. iv, с. 83, 84.

[532] Относительно риторической составляющей трагедии см. Платон, Горгиас, с. 57, р. 502, D.

Платон не одобряет трагедию на тех же основаниях, что и риторику.

[533] См. рассуждения Сократеса, настаивающего на этом, как на части обязанностей полководца (Xen. Mem. iii, 3, 11).

[534] На необходимость некоторых риторических достижений не менее категорично указывает Аристотель (Риторика. i, 1, 3), чем Калликл в "Горгиях" Платона, с. 91, р. 486, В.

[535] См. описание, которое дает Цицерон, о своем собственном трудоемком ораторском обучении: -

"Ego hoc tempore omni, noctes et dies, in omnium doctrinarum meditatione versabar. Eram cum Stoico Diodoto, qui cum habitavisset apud me mecumque vixisset, nuper est domi meæ mortuus. A quo quum in aliis rebus, tum studiosissime in dialecticâ versabar; *quæ quasi contracta et astricta eloquentia putanda est*; sine quâ etiam tu, Brute, judicavisti, te illam justam eloquentiam, quam *dialecticam dilatatam* esse putant, consequi non posse. Huic ego doctori, et ejus artibus variis et multis, ita eram tamen deditus, ut ab exercitationibus oratoriis nullus dies vacaret." (Cicero, Brutus, 90, 309.)

[536] Aristotel. ap. Diog. Laërt. viii, 57.

[537] См. мой предыдущий том iv, гл. xxxvii.

[538] Diogen. Laërt. viii, 58, 59, который приводит замечательный отрывок из поэмы Эмпедокла, свидетельствующий об этих больших притязаниях.

См. Brandis, Handbuch der Gr. Röm. Philos. part i. sects. 47, 48, p. 192; Sturz. ad Empedoclis Frag. p. 36.

[539] De Rerum Naturâ, i, 719.

[540] Некоторые поразительные строки Эмпедокла сохранились у Секста Эмпирика, Adv. Mathemat. vii, 115; о том, что каждый человек в течение своей короткой жизни получает не больше знаний, чем содержится в его собственной малой доле наблюдений и опыта: он тщетно пытается выяснить и объяснить всю совокупность, но ни глаз, ни слух, ни разум не могут ему помочь:...

Παῦρον δὲ ζωῆς ἀβίον μέρος ἀθρήσαντες,

᾽Οκύμοροι, καπνοῖο δίκην ἀρθέντες, ἀπέπταν

Αὐτὸ μόνον πεισθέντες, ὅτῳ προσέκυρσεν ἕκαστος

Πάντοσ' ἐλαυνόμενοι. Τὸ δὲ οὔλον ἐπεύχεται εὐρεῖν

Αὐτως- οὔτ' ἐπιδερκτὰ τάδ' ἀνδράσιν, οὔτ' ἐπακουστὰ,

Οὔτε νόῳ περιληπτὰ.

[541] См. Parmenidis Fragmenta, ed. Karsten, v, 30, 55, 60: также Диссертацию, приложенную Karsten, sects. 3, 4, p. 148, seq.; sect. 19, p. 221, seq.

Сравните также издание Муллахом тех же фрагментов, приложенное к его изданию аристотелевского трактата "De Melisso, Xenophane, et Gorgiâ", p. 144.

[542] Plato, Parmenidês, p. 128, В. σὺ μὲν (Parmenidês) γὰρ ἐν τοῖς ποιήμασιν ἐν φῆς εἶναι τὸ πᾶν, καὶ τούτων τεκμήρια παρέχεις καλῶς τε καὶ εὖ, etc.

[543] См. примечательный отрывок в "Парменидах" Платона, p. 128, В, С, D.

Ἔστι δὲ τό γε ἀληθὲς βοήθειά τις ταῦτα τὰ γράμματα τῷ Παρμενίδου λόγῳ πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας αὐτὸν κωμωδεῖν, ὡς εἰ ἐν ἑστί, πολλὰ καὶ γελοῖα συμβαίνει πάσχειν τῷ λόγῳ καὶ ἐναντία αὐτῷ. Ἀντιλέγει δὴ οὖν τοῦτο τὸ γράμμα πρὸς τοὺς τὰ πολλὰ λέγοντας, καὶ ἀνταποδίδωσι ταῦτα καὶ πλείω,

τοῦτο βουλόμενον δηλοῦν, ὥς ἔτι γελοιοτέρα πάσχοι ἂν αὐτῶν ἢ ὑπόθεσις-ἢ εἰ πολλὰ ἐστίν-ἢ ἡ τοῦ ἐν εἶναι, εἴ τις ἱκανῶς ἐπεξίει.

[544] Plato, Phædrus, c. 44, p. 261, D. См. цитаты в Brandis, Gesch. der Gr. Röm. Philosophie, part i, p. 417, seq.

[545] Parmenid. Fragm. v, 101, ed. Mullach.

[546] См. фрагменты Мелисса, собранные Муллахом в его издании, упомянутом в предыдущем примечании, p. 81. seq.

[547] Читатель увидит это в словаре Бейля, статья "Зенон Элейский".

Симплиций (в своем комментарии к Aristot. Physic. p. 255) утверждает, что Зенон впервые составил письменные диалоги, чему нельзя верить без более определенных доказательств. Он также уточняет загадочный вопрос, заданный Зеноном Протагору. См. Brandis, Gesch. der Griech. Röm. Philos. i, p. 409. Zeno ἴδιον μὲν οὐδὲν ἐξέθετο (sc. περὶ τῶν πάντων-), διηπόρησε δὲ περὶ τούτων ἐπὶ πλεῖον. Plutarch. ap. Eusebium, Præpar. Evangel. i, 23, D.

[548] Сравните Плутарх, Periklês, c. 3; Платон, Parmenidês, pp. 126, 127; Платон, Alkibiad. i. ch. 14, p. 119, A.

О том, что Сократес в молодости беседовал с Парменидом, когда тот был уже стариком, Платон говорит не раз, помимо своего диалога "Парменид", в котором, как утверждается, приводится разговор между ними, а также с Зеноном. Я согласен с м-рами Файнсом Клинтоном, Брандисом и Карстеном, считая, что это лучшее свидетельство о дате создания "Парменида", чем любые смутные указания, которые, кажется, противоречат ему, у Диогена Лаэртийского и в других местах. Но вряд ли будет уместно помещать разговор между Парменидесом и Сократесом - как его помещает г-н Клинтон, Fast. H. vol. ii, App. c. 21, p. 364 - в то время, когда Сократесу было всего пятнадцать лет. Представления, которые древние имели о приличиях в юности, не позволили бы ему участвовать в беседе с выдающимся философом в столь раннем возрасте, как пятнадцать лет, когда он еще не был внесен в списки граждан и не был пригоден ни к одной из самых незначительных функций, военных или гражданских. Я не могу не думать, что Сократесу должно было быть больше двадцати лет, когда он беседовал с Парменидесом.

Сократес родился в 469 году до н. э. (возможно, в 468 году до н. э.); следовательно, ему было бы двадцать лет в 449 году: если предположить, что Парменидес приезжал в Афины в 448 году до н. э., то ему было шестьдесят пять лет, так как ему тогда было шестьдесят пять лет, он родился бы в 513 году до н. э. Возражают, что, если принять эту дату, Парменидес не мог быть учеником Ксенофана: таким образом, мы должны были бы признать, что, возможно, это правда, что он узнал учение Ксенофана из вторых рук.

[549] Plato, Parmenid. pp. 135, 136.

Парменид обращается к Сократесу: Καλὴ μὲν οὖν καὶ θεία, εὖ ἴσθι, ἡ ὁρμὴ, ἣν ὁρμᾷς ἐπὶ τοὺς λόγους-ἔλκουσον δὲ σαυτὸν καὶ γυμνάσαι μᾶλλον διὰ τῆς δοκούσης ἀχρήστου εἶναι καὶ καλουμένης ὑπὸ τῶν πολλῶν ἀδολεσχίας, ἕως ἔτι νέος εἶ- εἰ δὲ μὴ, σὲ διαφεύξεται ἡ ἀλήθεια. Τίς οὖν ὁ τρόπος, φάναι (τὸν Σωκράτη), ὦ Παρμενίδη, τῆς γυμνασίας; Οὗτος, εἰπεῖν (τὸν Παρμενίδην) ὄνπερ ἤκουσας Ζήνωνος.... Χρὴ δὲ καὶ τότε ἔτι πρὸς τούτῳ σκοπεῖν, μὴ μόνον, εἰ ἔστιν ἕκαστον, ὑποτιθέμενον, σκοπεῖν τὰ ξυμβαίνοντα ἐκ τῆς ὑποθέσεως-ἀλλὰ καὶ, εἰ μὴ ἐστὶ τὸ αὐτὸ τοῦτο, ὑποτίθεσθαι-εἰ βούλει μᾶλλον γυμνασθῆναι.... Ἀγνοοῦσι γὰρ οἱ πολλοὶ ὅτι ἄνευ ταύτης τῆς διὰ πάντων διεξόδου καὶ πλάνης, ἀδύνατον ἐντυχόντα τῷ ἀληθεῖ νοῦν σχεῖν. См. также "Кратил" Платона, p. 428, E, о необходимости для исследователя смотреть как вперед, так и назад -ἅμα πρόσω καὶ ὀπίσω.

См. также Пармениды, р. 130, Е, - в которых Сократа предостерегают относительно ἀνθρώπων δόξας, против порабощения себя мнениям людей: ср. Платон, Софисты, р. 227, В, С.

[550] См. Aristotel. De Sophist. Elenchis, с. 11, р. 172, ed. Bekker; и его Topica, ix, 5, р. 154; где перечисляются и различаются различные цели диалога.

[551] См. Isokratês, Orat. x; Helenæ Encomium, sects. 2-7; сравните Orat. xv, De Permutatione того же автора, s. 90.

Я уверен, что первый из этих отрывков предназначен для критики платоновских диалогов (как в Or. v, ad Philip. s. 84), возможно, и второй тоже. Исократес, очевидно, осторожный и робкий человек, избегает упоминать имена современников, чтобы вызвать меньшую враждебность.

[552] Исократес упоминает об этом чувстве и о людях, которые смотрели на гимнастические упражнения с большей благосклонностью, чем на философию, в Orat. xv, De Permutatione, s. 267, et seq. Значительная часть этой оратории фактически является ответом на обвинения, подобные тем, что выдвигались против умственного воспитания Δίκαιος Λόγος в "Нубах" Аристофана, 947 и далее; любимые темы в устах драчунов "с разбитыми ушами". (Платон, Горгии, т. 71, с. 515, Е; τῶν τὰ ὤτα κατεαγόντων).

[553] О том, что во времена Платона, Аристотеля и Исократы было много подобных завистей и антипатий, свидетельствует слишком много свидетельств; см. Stahr's Aristotelia, ch. iii, vol. i, pp. 37, 68.

Аристотель крайне ревниво относился к успехам Исократы и сам подвергался нападкам со стороны учеников последнего, Кефисодоруса и других, а также Дикеарха, Евбулида и многочисленных писателей того же тона: στρατὸν ὅλον τῶν ἐπιθεμένων Ἀριστοτέλει; см. Fragments of Dikæarchus, vol. ii, р. 225, ed. Didot. "De ingenio ejus (замечает Цицерон, ссылаясь на Эпикура, de Finibus, ii, 25, 80) в его disputationibus, non de moribus, quæritur. Sit ista in Græcorum levitate perversitas, qui maledictis insectantur eos, a quibus de veritate dissentiunt." Это пятно ни в коей мере не свойственно греческим философским спорам; но нигде оно не было так заразительно, как среди греков, и современные историки не могут быть слишком бдительны в отношении него.

[554] См. Платон (Протагор, с. 8, р. 316, D.; Лахес, с. 3, р. 180, D.; Менексен, с. 3, р. 236, А; Алкивиад. i, с. 14, р. 118, С); Плутарх, Периклес, с. 4.

Периклес прошел через диалектическую практику в юности (Xenoph. Memor. i, 2, 46).

[555] Isokratês, Or. xv, De Permutat. sect. 287.

Сравните Brandis, Gesch. der Gr. Röm. Philosophie, part i, sect. 48, р. 196.

[556] Исократ называет софистами и Анаксагора, и Дамона (Or. xv, De Perm. sect. 251), Плутарх, Periklês, с. 4. Ὁ δὲ Δάμων ἔοικεν, ἄκρος ὦν σοφιστῆς, καταδύεσθαι μὲν εἰς τὸ τῆς μουσικῆς ὄνομα, ἐπικρυπτόμενος πρὸς τοὺς πολλοὺς τὴν δεινότητά.

Так и Протагор (в речи, вложенной в его уста Платоном, Protag. с. 8, р. 316) совершенно искренне говорит, что софисты существовали с древнейших времен Греции. Но он также говорит то же самое, что и Плутарх в приведенной выше цитате, - что эти ранние люди намеренно и сознательно отказывались называть себя софистами, опасаясь одиозности этого имени; и что он, Протагор, был первым человеком, который открыто назвал себя софистом.

Однако то, под каким именем известен человек, редко зависит от него самого, а от широкой публики и от его критиков, дружественных или враждебных. Недружелюбный дух Платона сделал

гораздо больше для того, чтобы закрепить за этими учителями титул софистов, чем любое их собственное предположение".

[557] Herodot. i, 29; ii, 49; iv, 95. Диоген Аполлонийский, современник Геродота, называл ионийских философов или физиологов именем софистов: см. Brandis, Geschich. der Griech. Röm. Philosoph. с. Ivii, примечание О. О Фамирасе см. Welcker, Griech. Tragöd., Sophoklës, p. 421:-.

Εἴτ' οὖν σοφιστῆς καλὰ παραπαίων χέλυν, etc.

Комический поэт Кратинус называл всех поэтов, включая Гомера и Гесиода, σοφισταί: см. фрагменты его драмы Ἀρχίλοχοι в Meineke, Fragm. Comicor. Græcor. vol. ii, p. 16.

[558] Æschinês cont. Timarch. с. 34. Эскинес называет Демосфена также софистом, с. 27.

Из терминов в "Политике" Платона, с. 38, p. 299 В, μετεωρολόγον, ἀδολεσχὴν τινα σοφιστὴν, мы ясно видим, что и Сократес, и сам Платон были названы афинской публикой софистами.

[559] Aristotel. Metaphysic. iii, 2, p. 996; Ксенофонт, Sympos. iv, 1.

Аристипп, как говорят, был первым из учеников Сократеса, кто брал деньги за обучение (Diogen. Laërt. ii, 65).

[560] Xenoph. Memor. iv, 2, 1. γράμματα πολλὰ συνειλεγμένον ποιητῶν τε καὶ σοφιστῶν τῶν εὐδοκίμωτάτων.....

Слово σοφιστῶν употреблено здесь в том же смысле, что и τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν, οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες и т. д. (Memor. i, 6, 14.) Оно используется в другом смысле в другом отрывке (i, 1, 11), для обозначения учителей, дающих наставления по физическим и астрономическим предметам, которые Сократес и Ксенофонт оба не одобряли.

[561] Isokratês, Orat. v, ad Philipp. sect. 14: см. примечание Хайндорфа об Евтидеме Платона, p. 305, C. sect. 79.

[562] Diogen. Laërt. ix, 65. "Ἐσπετε νῦν μοι, ὅσοι πολυπράγμονές ἐστε σοφισταί (Diogen. Laërt. viii, 74).

Деметрий Трезенский причисляет Эмпедокла к софистам. Исократ говорит об Эмпедоклесе, Ионе, Алкмеоне, Пармениде, Мелиссе, Горгии, как οἱ παλαιοὶ σοφισταί; все они учили различным περιπτολογίαις об элементах физического мира (Isok. de Permut. sect. 288).

[563] Eurip. Med. 289:-

Χρὴ δ' οὐποθ' ὅστις ἀρτίφρων πέφυκ' ἀνὴρ,

Παῖδας περισσῶς ἐκδιδάσκεσθαι σοφούς.

Χωρὶς γὰρ ἄλλης, ἧς ἔχουσιν, ἀργίας,

Φθόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῇ.

Слова ὁ περισσῶς σοφός, по-видимому, передают то же недружелюбное настроение, что и слово σοφιστής.

[564] Xenoph. Memor. i, 2, 6. В другом отрывке софист Антифон - тот ли это знаменитый Антифон из дема Рамнус, точно не известно; комментаторы склоняются к отрицательному мнению - описывается как беседующий с Сократесом и говорящий, что Сократес, конечно, должен считать свою беседу ничего не стоящей, поскольку он не требует цены от своих ученых. На что Сократес отвечает:-.

Ὡς Ἀντιφῶν, παρ' ἡμῖν νομίζεται, τὴν ὥραν καὶ τὴν σοφίαν ὁμοίως μὲν καλὸν, ὁμοίως δὲ αἰσχρὸν, διατίθεσθαι εἶναι. Τὴν τε γὰρ ὥραν, ἐὰν μὲν τις ἀργυρίου πωλῇ τῷ βουλομένῳ, πόρνον αὐτὸν ἀποκαλοῦσιν- ἐὰν δέ τις, ὃν ἂν γνῶ καλὸν τε κάγαθόν ἐραστὴν ὄντα, τοῦτον φίλον ἑαυτῷ ποιῇται, σώφρονα νομίζομεν. Καὶ τὴν σοφίαν ὡσαύτως τοὺς μὲν ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας, σοφιστὰς ὡς περ πόρνοους ἀποκαλοῦσιν- ὅστις δὲ, ὃν ἂν γνῶ εὐφυῆ ὄντα, διδάσκων ὅ,τι ἂν ἔχη ἀγαθόν, φίλον ποιεῖται, τοῦτον νομίζομεν, ὃ τῷ καλῷ κάγαθῷ πολίτῃ προσήκει, ταῦτα ποιεῖν (Xenoph. Memor. i, 6, 13).

Как свидетельство нравов и настроений эпохи, этот отрывок чрезвычайно примечателен. Различные части оратории Эскинеса против Тимарха, а также Симпозиум Платона, стр. 217, 218, принимают и освещают его.

Среди многочисленных отрывков, в которых Платон выражает свою неприязнь и презрение к обучению за деньги, см. его "Софисты", с. 9, с. 223. Платон, правда, считал, что недостойно добродетельного человека принимать жалование за исполнение какого-либо общественного долга: см. Республика, i, 19, р. 347.

[565] Aristot. Rhetoric. i, 1, 4; где он объясняет софиста как человека, обладающего теми же способностями, что и диалектик, но злоупотребляющего ими с дурной целью: ἡ γὰρ σοφιστικὴ, οὐκ ἐν τῇ δυνάμει, ἀλλ' ἐν τῇ προαίρεσει.... Ἐκεῖ δὲ, σοφιστὴς μὲν, κατὰ τὴν προαίρεσιν, διαλεκτικὸς δὲ, οὐ κατὰ τὴν προαίρεσιν ἀλλὰ κατὰ τὴν δύναμιν. Опять же, в первой главе трактата de Sophisticis Elenchis: ὁ σοφιστὴς, χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας, ἀλλ' οὐκ οὔσης, etc.

[566] Об Исократесе см. его Orat. xv, De Permutatione, где видно, что он не только причислялся к софистам другими, но и считал себя таковым, хотя это название ему не нравилось. Он считает себя таковым, так же как и Горгий: οἱ καλούμενοι σοφισταί; sects. 166, 169, 213, 231.

Что касается Аристотеля, то нам достаточно прочесть не только приведенный в предыдущем примечании отрывок из Тимона, но и горькую клевету Тимея (Frag. 70. ed. Didot, Polybius, xii, 8), который называет его σοφιστὴν ὀψιμαθῆ καὶ μισητὸν ὑπάρχοντα, καὶ τὸ πολυτίμητον ἰατρεῖον ἀρτίως ἀποκεκλεικότα, πρὸς δὲ τούτοις, εἰς πᾶσαν αὐλὴν καὶ σκὴνην ἐμπεπηδηκότα- πρὸς δὲ, γαστρίμαργον, ὀψαρτύτην, ἐπὶ στόμα φερόμενον ἐν πᾶσι.

[567] С общей точки зрения, описанной здесь, софистов представляет Pummer, Geschichte der Griech. Philosophie, vol. i, book vi, chaps. 1-3, p. 577, seq.; 629, seq.; Брандис, Gesch. der Gr. Röm. Philos. sects, lxxiv-lxxvii, vol. i, p. 516, seq.; Zeller, Geschichte der Philosoph. ii. pp. 65, 69, 165, etc.: и, действительно, почти все, кто занимается софистами.

[568] Сравните Isokratês, Orat. xiii. cont. Sophistas, sects. 19-21.

[569] Aristot. Sophist. Elench. c. 33; Cicero, Brut. c. 12.

[570] См. поразительный отрывок в Plato, Theætet. c. 24, pp. 173, 174.

[571] Isokratês, Orat. v (ad. Philip.), sect. 14; Orat. x (Enc. Hel.), sect. 2; Orat. xiii (adv. Sophist.), sect. 9 (ср. примечание Гейндорфа ad Platon. Euthydem. sect. 79); Orat. xii (Panath.), sect. 126; Orat. xv (Perm.), sect. 90.

Исократ, в начале своего Orat. x, Encom. Helenæ, порицает всех умозрительных учителей: сначала Антисфена и Платона (не называя их, но в достаточной степени идентифицируя их по их доктринам); затем Протагора, Горгия, Мелисса, Зенона и т. д. по именам, как тративших свое время и учение на бесплодные парадоксы и споры. Он настаивает на необходимости

преподавания с учетом политической жизни и хода реальных общественных событий, отказываясь от этих бесполезных занятий (раздел 6).

Примечательно, что то, что рекомендует Исократес, - это как раз то, что Протагор и Горгий делают на самом деле - каждый, несомненно, по-своему - в диалогах Платона, который порицает их за излишнюю практичность, а Исократес, комментируя их по различным публикациям, которые они оставили, рассматривает их только как учителей бесполезных спекуляций.

В оратории *De Permutatione*, написанной, когда ему было восемьдесят два года (sect. 10, цитированные выше орации являются более ранними сочинениями, особенно *Orat. xiii*, против софистов, см. разд. 206), Исократес встает на защиту и отстаивает свою профессию от многочисленных обвинений. Это очень интересная орация, как защита афинских просветителей в целом, и она прекрасно подошла бы как защита учения Протагора, Горгия, Гиппия и т. д. от упреков Платона.

Эту орацию следует прочитать хотя бы для того, чтобы понять подлинный афинский смысл слова "софисты", в отличие от того технического смысла, который придают ему Платон и Аристотель. Здесь это слово употребляется в самом широком смысле, в отличие от *ιδιώταις* (sect. 159): оно означало литераторов или философов вообще, но особенно профессиональных учителей: оно несло, однако, неприятный смысл, и поэтому употреблялось как можно меньше ими самими; как можно больше теми, кто их недолюбливал.

Исократес, хотя и не желает называть себя этим неприятным именем, все же вынужден безоговорочно признать себя представителем этой профессии, в той же категории, что и Горгий (sect. 165, 179, 211, 213, 231, 256), и защищает общее тело, как и себя, отличаясь, конечно, от плохих представителей профессии, тех, кто притворялся софистами, но на самом деле посвятил себя чему-то другому (sect. 230).

Это профессиональное обучение и учителя обозначаются этими словами без разбора: *οἱ σοφισταὶ οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατρίβοντες τὴν φιλοσοφίαν ἀδίκως διαβεβλημένην* (sects. 44, 157, 159, 179, 211, 217, 219) - *ἡ τῶν λόγων παιδεία* - *ἡ τῶν λόγων μελέτη* - *ἡ φιλοσοφία* - *ἡ τῆς φρονήσεως ἄσκησις* - *τῆς ἐμῆς, εἴτε βούλεσθε καλεῖν δυνάμεως, εἴτε φιλοσοφίας, εἴτε διατρίβης* (sects. 53, 187, 189, 193, 196). Все эти выражения означают один и тот же процесс обучения, то есть общую умственную подготовку в отличие от телесной (сект. 194, 199), и предназначенное для развития способностей мысли, речи и действия: *πρὸς τὸ λέγειν καὶ φρονεῖν* - *τοῦ φρονεῖν εὖ καὶ λέγειν* - *τὸ λέγειν καὶ πράττειν* (sects. 221, 261, 285, 296, 330).

Исократ не признает такого различия между философом и диалектиком, с одной стороны, и софистом - с другой, как это утверждают Платон и Аристотель. Ему не нравятся диалектические упражнения, но он признает их полезными для юношества, как часть интеллектуального обучения, при условии, что все подобные рассуждения будут отброшены, когда юноша вступит в активную жизнь (секты 280, 287).

Это та же формулировка, что и у Калликлеса в "Горгии" Платона, с. 40, р. 484.

[572] Stallbaum, *Proleg. ad Platon. Protagor.* p. 23: "Hoc vero ejus judicio ita utitur Socrates, ut eum dehinc dialecticâ subtilitate in summam consilii inopiam conjiciat. Colligit enim inde *satis captiose* rebus ita comparatis justitiam, quippe quæ a sanctitate diversa sit, plane nihil sanctitatis habituram, ac vicissim sanctitati nihil fore commune cum justitiâ. Respondet quidem ad hæc Protagoras, justitiam ac sanctitatem non per omnia sibi similes esse, nec tamen etiam prorsus dissimiles videri. Sed etsi *verissima est hæc ejus sententia*, tamen comparatione illâ a partibus faciei repetitâ, *in fraudem inductus*,

et quid sit, in quo omnis virtutis natura contineatur, ignarus, sese ex his difficultatibus adeo non potest expedire," etc.

И снова, стр. 24: "Itaque Socrates, missâ hujus rei disputatione, *repente ad alia progreditur*, scilicet *similibus laqueis hominem deinceps denuo irretiturus*." ... "Nemini facile obscurum erit, hoc quoque loco, Protagoram *argutis conclusiunculis deludi atque callide eo permoveri*," etc. ... p. 25: "Quanquam nemo erit, quin videat *callide deludi Protagoram*," etc. ... p. 34: "Quod si autem ea, quæ in Protagorâ *Sophistæ ridendi causâ* e vulgi atque sophistarum ratione disputantur, in Gorgiâ ex ipsius philosophi mente et sententiâ vel brevius proponuntur vel copiosius disputantur," etc.

Сравните аналогичные наблюдения Стальбаума в его Prolegom. ad Theætet. pp. 12, 22; ad Menon. p. 16; ad Euthydemum, pp. 26, 30; ad Lachetem, p. 11; ad Lysidem, pp. 79, 80, 87; ad Hippiam Major. pp. 154-156.

"Facile apparet Socratem *argutâ*, quæ verbo φαίνεσθαι inest, *diologiâ interlocutorem* (Hippiam Sophistam) *in fraudem inducere*." ... "Illud quidem pro certo et explorato habemus, non serio sed *ridendi verandique Sophistæ gratiâ gravissimam illam sententiam in dubitationem vocari*, ideoque iis conclusiunculis labefactari, quas quilibet paulo attentior facile intelligat non ad fidem faciendam, sed ad lusum jocumque, esse comparatas."

[573] Plato, Sophistes, c. 52, p. 268.

[574] Cicero, Academ. iv, 23. Ксенофонт в конце своего трактата De Venatione (с. 13) резко порицает софистов, но при этом мало что конкретного и отчетливого. Он обвиняет их в том, что они учат командовать и ловко владеть словом, вместо того чтобы сообщать полезные максимы; что они говорят с целью обмана или для собственной выгоды, обращаясь за платой к богатым ученикам; в то время как *φιλοσοφ* дает свои уроки всем безвозмездно, без различия лиц. Это то же самое различие, которое Сократес и Платон проводили между софистом и философом: ср. Xenoph. De Vectigal. v, 4.

[575] Платон, Протагор, с. 16, р. 328, В. Диоген Лаэртий (ix, 58) говорит, что Протагор требовал сто мин в качестве оплаты: не стоит придавать значения такому заявлению, да и невозможно, чтобы у него была одна фиксированная ставка оплаты. История, рассказанная Аулуsom Геллием (v, 10) о судебном процессе между Протагором и его учеником Евфлом, по меньшей мере забавна и изобретательна. Сравните историю ретора Скопелиана в Филострате, Vit. Sophist. i, 21, 4.

Исократес (Or. xv, de Perm. sect. 166) утверждает, что успехи Горгия или любого из выдающихся софистов никогда не были очень высокими; что они были сильно и злонамеренно преувеличены; что они сильно уступали успехам великих драматических актеров (sect. 168).

[576] Aristot. Риторика. ii, 26. Риттер (p. 582) и Брандис (p. 521) очень несправедливо цитируют свидетельство "Облаков" Аристофана, как подтверждающее это обвинение и обвинение в испорченности учения в целом против софистов как целого. Если Аристофан и свидетельствует против кого-либо, то против Сократеса, который в "Облаках" выделен для нападок. Но эти авторы, не признавая Аристофана в качестве свидетельства против Сократеса, на которого он нападает, тем не менее, цитируют его как свидетельство против таких людей, как Протагор и Горгий, на которых он *не* нападает.

[577] Isokratês, Or. xv, (De Permut.) sect. 16, νῦν δὲ λέγει μὲν (обвинитель) ὥς ἐγὼ τοὺς ἥττους λόγους κρείττους δύναμαι ποιεῖν, etc.

Ibid. sect. 32. πειρᾶται με διαβάλλειν, ὥς διαφθείρω τοὺς νεωτέρους, λέγειν διδάσκων καὶ παρὰ τὸ δίκαιον ἐν τοῖς ἀγῶσι πλεονεκτεῖν, etc.

Опять же, секты. 59, 65, 95, 98, 187 (где он, как и Сократес в своей "Защите", представляет себя защищающим философию в целом от обвинений в развращении молодежи), 233, 256.

[578] Plato, Sok. Apolog. с. 10, р. 23, D. τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς, καὶ θεοὺς μὴ νομίζειν, καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν (διδάσκω). Сравните аналогичное выражение у Ксенофонта, Memorab. i, 2, 31. τὸ κοινῇ τοῖς φιλοσόφοις ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον, и т. д.

Такую же несправедливость, когда этот пункт выдвигается исключительно против софистов, можно найти у Westermann, Geschichte der Griech. Beredsamkeit sects. 30, 64.

[579] См. последнюю главу Аристотеля De Sophisticis Elenchis. Он также отмечает этих ранних учителей риторики в различных частях трактата о риторике.

Однако Квинтилиан все же считал, что наставления Феодора и Фрасимаха достойны его внимания (Inst. Orat. iii, 3).

[580] Квинтилиан, Inst. Orat. iii. 4, 10; Aristot. Rhetor. iii, 5. См. отрывки, приведенные в Preller, Histor. Philos. ch. iv, р. 132, note d, который утверждает в отношении Протагора: "alia inani grammaticorum principiorum ostentatione novare conabatur", чего приведенные отрывки не доказывают.

[581] Isokratês, Or. x, Encom. Helen. sect. 3; Diogen. Laërt. ix, 54.

[582] Diogen. Laërt. ix. 51; Sext. Empir. adv. Math. ix. 56. Περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰπεῖν, οὔτε εἴ εισιν, οὔθ' ὅποιοι τινές εἰσι- πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἢ τε ἀδηλότης, καὶ βραχύς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου.

Я привожу слова частично из Диогена, частично из Секста, как мне кажется, они наиболее вероятны.

[583] Xenophanês ap. Sext. Emp. adv. Mathem. vii, 49.

[584] Сатирик Тимон (ap. Sext. Emp. ix, 57), отзываясь о Протагоре в очень уважительных выражениях, особенно отмечает осторожность, которую тот употребил в этой фразе о богах; хотя эта предосторожность не позволила ему избежать необходимости бежать. Протагор говорил:...

Πᾶσαν ἔχων φυλακὴν ἐπιεικείης- τὰ μὲν οὐ οἱ

Χραίσμησ', ἀλλὰ φυγῆς ἐπεμαίετο ὄφρα μὴ οὕτως

Σωκρατικὸν πίνων ψυχρὸν πότον Αἶδα δύη.

По последней строке кажется, будто Протагор пережил Сократеса.

[585] Plato, Theætet. 18, р. 164, E. Οὐτι ἄν, οἶμαι, ὧ φίλε, εἴπερ γε ὁ πατήρ τοῦ ἐτέρου μύθου ἔζη-ἀλλὰ πολλὰ ἂν ἤμυνε- νῦν δὲ ὄρφανον αὐτὸν ὄντα ἡμεῖς προπηλακίζομεν ἀλλὰ δὴ αὐτοὶ κινδυνεύσομεν τοῦ δικαίου ἔνεκ' αὐτῷ βοηθεῖν.

Эта теория Протагора обсуждается в диалоге "Теэтет", с. 152 и далее, в длинной, но неспешной форме.

См. Секст Эмпирик. Пирроник. Hypol. i. 216-219, et contra Mathematicos, vii, 60-64. Объяснение, которое Секст дает протагоровской доктрине в первом отрывке, не может быть заимствовано из трактата самого Протагора, поскольку он использует слово ὕλη в философском смысле, который не был принят до времен Платона и Аристотеля.

Трудно понять, что Диоген Лаэций говорит о других догматах Протагора, и примирить их с доктриной "человек - мера всех вещей", как ее объясняет Платон (Diog. Laërt. ix, 51, 57).

[586] Аристотель (в одном из отрывков своей "Метафизики", где он обсуждает протагорейскую доктрину, х, i, р. 1053, В.) говорит, что эта доктрина сводится к тому, что человек, насколько он познает, или насколько он воспринимает, является мерой всех вещей; другими словами, что знание, или восприятие, является мерой всех вещей. Это, говорит Аристотель, тривиально и не имеет никакой ценности, хотя и звучит как нечто важное: Πρωταγόρας δ' ἄνθρωπὸν φησι πάντων εἶναι μέτρον, ὥπερ ἂν εἰ τὸν ἐπιστήμονα εἰπὼν ἢ τὸν αἰσθανόμενον- τούτους δ' ὅτι ἔχουσιν ὁ μὲν αἴσθησιν ὁ δὲ ἐπιστήμην- ἃ φάμεν εἶναι μέτρα τῶν ὑποκειμένων. Οὐθὲν δὴ λέγων περιττὸν φαίνεται τι λέγειν.

Мне представляется, что настаивать на относительном характере познаваемой истины было отнюдь не тривиальной или неважной доктриной, как считает Аристотель; особенно если сравнить ее с безмерными представлениями об объектах и методах научного исследования, которые были так распространены во времена Протагора.

Сравните Metaphysic. iii, 5, pp. 1008, 1009, где видно, как многие другие мыслители того времени проводили ту же доктрину, кажется, дальше, чем Протагор.

Протагор заметил, что наблюдаемые движения небесных тел не совпадают с теми, которые представляли астрономы и к которым они применяли свои математические рассуждения. Это замечание было критикой математических астрономов его времени -ἐλέγχων τοὺς γεωμέτρους (Aristot. Metaph. iii, 2, р. 998, А). Мы слишком мало знаем, насколько его критика могла быть заслуженной, чтобы согласиться с общими строгостями Риттера, Gesch. der Phil. vol. i, р. 633.

[587] См. трактат под названием De Melisso, Xenophane et Gorgiâ в издании Беккера "Сочинения Аристотеля", т. i, стр. 979 *и далее*; также тот же трактат, с хорошим предисловием и комментариями, у Муллаха, стр. 62 *и далее*: сравните Sextus Emp. adv. Mathemat. vii, 65, 87.

[588] См. примечание Муллаха к трактату, упомянутому в предыдущем примечании, с. 72. Он показывает, что Горгий следовал по стопам Зенона и Мелисса.

[589] Isokratês De Permutatione, Or. xv, s. 287; Xenoph. Memorab. i, 1, 14.

[590] Aristophan. Equit. 1316-1321.

[591] Isokratês, Or. xv, De Permutation. s. 170.

[592] Thucyd. ii, 64. γνῶτε δ' ὄνομα μέγιστον αὐτὴν (τὴν πόλιν) ἔχουσαν ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις, διὰ τὸ ταῖς συμφοραῖς μὴ εἶκειν.

[593] Фукидид (iii, 82) очень четко определяет причину, которой он приписывает изображаемые им плохие последствия. Он не делает никаких намеков на софистов или софистическое учение; хотя Брандис (Gesch. der Gr. Röm. Philos. i, р. 518, not. f.) притягивает "софистический дух государственных деятелей того времени", как если бы он был причиной беды, и как если бы его можно было найти в речах Фукидида, i, 76, v, 105.

Не может быть более необоснованного утверждения; не может такой ученый человек, как Брандис, не знать, что такие слова, как "софистический дух" (Der sophistische Geist), понимаются современным читателем в смысле, совершенно отличном от его истинного афинского смысла.

[594] Ксеноф. Memor. ii, 1, 21-34. Καὶ Πρόδικος δὲ ὁ σοφὸς ἐν τῷ συγγράμματι τῷ περὶ Ἡρακλέους, ὅπερ δὴ καὶ πλείστοις ἐπιδείκνυται, ὡσαύτως περὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται и т. д.

Ксенофонт представляет здесь самого Сократеса, который высоко оценивает нравственное учение Продика.

[595] См. фрагмент iii, из Ταχηνιστὰὶ Аристофана, Meineke, Fragment. Aristoph. p. 1140.

[596] Ксенофонт приводит только содержание лекции Продикуса, а не его точные слова. Но он дает то, что можно назвать всей сутью, так что мы можем оценить как масштаб, так и работу автора. Мы не можем сказать того же о выдержке (в псевдоплатоническом диалоге "Аксиох", с. 7, 8) из лекции, прочитанной Продикусом, о страданиях человеческой жизни, пронизывающих все различные профессии и занятия. Невозможно точно определить, сколько действительно принадлежит Продику, или каковы были его сфера и цель, если такая лекция действительно была прочитана.

[597] Plato, Protagoras, p. 320, D. с. 11, *et seq.*, особенно p. 322, D, где Протагор утверждает, что ни один человек не может быть членом социальной общины, если в его груди нет δίκη и αἰδώς, то есть чувства взаимной обязанности и права между собой и другими, и чувствительности к похвале или порицанию со стороны других. Эти основополагающие атрибуты он излагает как то, что хорошая этическая теория должна предполагать или требовать от каждого человека.

[598] О несправедливой язвительности и презрении, с которыми платоновские комментаторы относятся к софистам, см. пример в Ast, Ueber Platons Leben und Schriften, pp. 70, 71, где он комментирует Протагора и эту басню.

[599] Протагор говорит: Τὸ δὲ μάθημά ἐστιν, εὐβουλία περὶ τε τῶν οἰκείων ὅπως ἂν ἄριστα τὴν αὐτοῦ οἰκίαν διοικοῖ, καὶ περὶ τῶν τῆς πόλεως, ὅπως τὰ τῆς πόλεως δυνατώτατος εἴη καὶ πράττειν καὶ λέγειν. (Plato, Protagoras, с. 9, p. 318, E.)

Аналогичное описание нравственного учения Протагора и других софистов, включающее еще более широкий круг обязанностей по отношению к родителям, друзьям и согражданам в их личном качестве, дается в Платоне, Мено. p. 91, B, E.

Исократес описывает воспитание, которое он хотел передать, почти в тех же словах: Τοὺς τὰ τοιαῦτα μανθάνοντας καὶ μελετῶντας ἐξ ὧν καὶ τὸν ἴδιον οἶκον καὶ τὰ κοινὰ τὰ τῆς πόλεως καλῶς διοικήσουσιν, ὥνπερ ἕνεκα καὶ πονητέον καὶ φιλοσοφητέον καὶ πάντα πρακτέον ἐστί (Or. xv, De Permutat. s. 304; ср. 289).

Ксенофонт также описывает, почти в тех же словах, учение Сократеса. Критон и другие искали общества Сократеса: οὐκ ἵνα δημηγορικοὶ ἢ δικανικοὶ γένοιντο, ἀλλ' ἵνα καλοὶ τε κάγαθοι γενόμενοι, καὶ οἴκῳ καὶ οἰκέταις καὶ οἰκείοις καὶ φίλοις καὶ πόλει καὶ πολίταις δύναιντο καλῶς χρῆσθαι (Memor. i, 2, 48). Опять же, i, 2, 64: Φανερόν ἦν Σωκράτης τῶν συνόντων τοὺς πονηρὰς ἐπιθυμίας ἔχοντας, τούτων μὲν παύων, τῆς δὲ καλλίστης καὶ μεγαλοπρεπεστάτης ἀρετῆς, ἣ πόλεις τε καὶ οἶκοι εὖ οἰκοῦσι, προτρέπων ἐπιθυμεῖν. Сравните также i, 6, 15; ii, 1, 19; iv, 1, 2; iv, 5, 10.

Когда мы понимаем, насколько велика аналогия, которую Ксенофонт устанавливает между Сократесом, Протагором, Продикусом и т. д. в том, что касается практических наставлений, а не теории или метода, трудно оправдать утверждения комментаторов о софистах; см. Stallbaum, Proleg. ad Platon Menon. p. 8. "Etenim virtutis nomen, cum propter ambitus magnitudinem valde esset ambiguum et obscurum, sophistæ interpretabantur sic, ut, missâ veræ honestatis et probitatis vi, unice de prudentiâ civili ac domesticâ cogitari vellent, eoque modo totam virtutem *ad callidum quoddam utilitatis vel privatim vel publice consequendæ artificium* revocarent." ... "Pervidit hanc *opinionis istius perversitatem, ejusque turpitudinem* intimo sensit pectore, vir sanctissimi animi, Socratês, etc.". Стальбаум говорит о том же в своих "Пролегоменах" к "Протагору", с. 10, 11; и к "Евтидему", с. 21, 22.

Те, кто, подобно этим цензорам софистов, считают *основанием* для рекомендации добродетельного поведения взаимную безопасность и комфорт, которые оно обеспечивает всем сторонам, должны быть готовы осудить на том же основании большую часть того, что говорит Сократес в "Меморабилии" Ксенофонта, Μὴ καταφρόνει τῶν οἰκονομικῶν ἀνδρῶν и т. д. (ii, 4, 12); см. также его *Æconomic*. xi, 10.

[600] Stallbaum, Prolegomena ad Platonis Menonem, p. 9: "Etenim sophistæ, quum virtutis exercitationem et ad utilitates externas referent, et facultate quâdam atque consuetudine ejus, quod utile videretur, reperiendi, absolvi statuerent, - Socrates ipse, rejectâ *utilitatis turpitudine*, vim naturamque virtutis unice ad id quod bonum honestumque est, revocavit; voluitque esse in eo, ut quis recti bonique sensu ac scientiâ polleret, ad quam tanquam ad certissimam normam atque regulam actiones suas omnes dirigeret atque poneret."

Кто сравнит эту критику с Протагором Платона, с. 36, 37, особенно р. 357, В, где Сократес отождествляет добро с удовольствием, а зло с болью, и где он считает, что правильное поведение состоит в справедливом исчислении предметов удовольствия и боли один против другого, ἡ μετρητικὴ τέχνη, тот будет поражен, как критик Платона мог написать то, что процитировано выше. Я знаю, что есть и другие части диалогов Платона, в которых он придерживается доктрины, отличной от той, о которой только что говорилось. Соответственно, Сталлбаум (в "Прологоменах к Протагору", с. 30) утверждает, что Платон излагает здесь не свою собственную доктрину, а рассуждает по принципам Протагора, чтобы заманить его в ловушку и сбить с толку: "Quæ hic de fortitudine disseruntur, ea item cavendum est ne protenus pro decretis mere Platonice habeantur. Disputat enim Socrates pleraque omnia ad mentem ipsius Protagoræ, ita quidem ut eum per suam ipsius rationem in fraudem et errorem inducat."

Я счастлив, что могу защитить Платона от позора столь бесчестного духа аргументации, как тот, который приписывает ему Сталлбаум. Платон, конечно, не рассуждает здесь о доктринах или принципах Протагора; ибо последний начинает с того, что положительно отрицает доктрину, и лишь с большой натяжкой признает ее, с. 35, р. 351, D. Он говорит в ответ на вопрос Сократеса: Οὐκ οἶδα ἀπλῶς οὕτως, ὥς σὺ ἐρωτᾷς, εἰ ἐμοὶ ἀποκρίτεον ἐστὶν, ὥς τὰ ἡδέα τε ἀγαθὰ ἐστὶν ἅπαντα καὶ τὰ ἀνιάρᾳ κακὰ- ἀλλὰ μοι δοκεῖ οὐ μόνον πρὸς τὴν νῦν ἀπόκρισιν ἐμοὶ ἀσφαλέστερον εἶναι ἀποκρίνασθαι, ἀλλὰ καὶ πρὸς πάντα τὸν ἄλλον βίον τὸν ἐμὸν, ὅτι ἐστὶ μὲν ἃ τῶν ἡδέων οὐκ ἐστὶν ἀγαθὰ, ἐστὶ δὲ αὖ καὶ ἃ τῶν ἀνιάρων οὐκ ἐστὶ κακὰ, ἐστὶ δὲ ἃ ἐστὶ, καὶ τρίτον ἃ οὐδέτερα, οὔτε κακὰ οὔτ' ἀγαθὰ.

В этом обращении Протагора ко всей его прошлой жизни есть нечто особенно поразительное, что делает невозможным для него признание того, что он, очевидно, считал *базовой теорией*, как это называет Стальбаум. Однако последний фактически осмеливается отнять ее у Сократеса, который не только уверенно ее выдвигает, но и обосновывает ясным и убедительным образом, и прикрепить ее к Протагору, который сначала от нее отказывается, а затем лишь с оговорками ее признает! Я отрицаю *основательность* этой теории, хотя и считаю ее несовершенной теорией этики. Но Стальбаум, который называет ее таковой, должен был быть вдвойне осторожен в поисках своего доказательства, прежде чем приписывать его кому-либо. Усугубляет дело то, что он приписывает ее не только Протагору, но и всем софистам вместе, прибегая к чудовищной выдумке, рассматривающей их как доктринальную секту".

[601] См. о Гиппии: Plato, Protagoras, с. 9, р. 318, E.; Stallbaum, Prolegom. ad Platon. Hipp. Maj. p. 147, seq.; Cicero, de Orator. iii, 33; Plato, Hipp. Minor, с. 10, р. 368, B.

[602] Stallbaum, Proleg. ad Plat. Hipp. Maj. p. 150.

[603] Plato, Hippias Major, p. 286, A, B.

[604] Plato, Menon, p. 95, A.; Foss, De Gorgiâ Leontino, p. 27, seq.

[605] См. наблюдения Гроена ван Принстерпера и Сталлбаума, Stallbaum ad Platon. Gorg. с. 1.

[606] Plato, Gorgias, с. 17, p. 462, B.

[607] Plato, Gorgias, с. 27, p. 472, A. Καὶ νῦν (говорят Сократес) περὶ ὧν σὺ λέγεις ὀλίγου σοι πάντες συμφήσουσι ταῦτα Ἀθηναῖοι καὶ ξένοι-μαρτυρήσουσί σοι, ἐὰν μὲν βούλῃ, Νικίας ὁ Νικηράτου καὶ οἱ ἀδελφοὶ μετ' αὐτοῦ-ἐὰν δὲ βούλῃ, Ἀριστοκράτης ὁ Σκελλίου-ἐὰν δὲ βούλῃ, ἡ Περικλέους ὅλη οἰκία, ἢ ἄλλη συγγένεια, ἥντινα ἂν βούλῃ τῶν ἐνθάδε ἐκλέξασθαι. Ἀλλ' ἐγὼ σοι εἶς ὧν οὐχ ὁμολογῶ.... Ἐγὼ δὲ ἂν μὴ σὲ αὐτὸν ἔνα ὄντα μάρτυρα παράσχωμαι ὁμολογοῦντα περὶ ὧν λέγω, οὐδὲν οἶμαι ἄξιον λόγου μοι πεπεράνθαι περὶ ὧν ἂν ἡμῖν ὁ λόγος ᾖ.

[608] Эту доктрину, утверждаемую Калликлесом, можно найти в Платоне, Горгиас, с. 39, 40, с. 483, 484.

[609] См. тот же вопрос, решительно изложенный Сократесом в "Записках" Ксенофонта, ii, 1, 13.

[610] Шлейермахер (в Пролегоменах к своему переводу "Теэтета", с. 183) считает, что Платон намеревался опровергнуть Аристиппа в лице Калликлеса; это предположение он подтверждает, отмечая, что Аристипп утверждал, что *справедливость не существует по природе*, а только по закону и соглашению. Но утверждение Калликлеса прямо противоположно тому, что Шлейермахер приписывает Аристиппу. Калликл не только не отрицает справедливость по природе, но утверждает ее самым прямым образом, - объясняет, в чем она состоит, что она заключается в праве сильнейшего человека пользоваться своей силой без всякой оглядки на других, - и ставит ее выше справедливости закона и общества, в отношении власти.

Риттер и Брандис еще более ошибаются в своих обвинениях софистов, основанных на этой же доктрине. Первый говорит (с. 581): "Утверждается, как общий догмат софистов, что нет права по природе, а есть только по соглашению"; ср. Brandis, p. 521. Сами отрывки, на которые ссылаются эти авторы, если они что-то доказывают, доказывают обратное тому, что они утверждают; и Преллер фактически вменяет софистам противоположный догмат (Histor. Philosoph. с. 4, p. 130, Hamburg, 1838) с таким же малым авторитетом. И Риттер, и Брандис обвиняют софистов в нечестии за этот предполагаемый догмат; за то, что они отрицали существование права от природы и не допускали никакого права, кроме конвенции; доктрина, которой до них придерживался Архелай (Diogen. Laërt. ii, 16). Теперь Платон (Legg. x, p. 889), на которого ссылаются эти писатели, обвиняет некоторых мудрецов-соφούς ἰδιώτας τε καὶ ποιητάς (он не упоминает софистов) - в нечестии, но на прямо противоположном основании; потому что *они признавали право природы, имеющее больший авторитет, чем право, установленное законодателем*; и потому что они побуждали учеников следовать этому предполагаемому праву природы, не подчиняясь закону; толкуя право природы, как это делает Калликл в "Горгии"!

Таким образом, Риттер и Брандис клеймят учителей как нечестивцев за отрицательное утверждение, а Платон, если он имеет в виду софистов, - за утвердительное.

[611] Plato, Gorgias, с. 37, p. 481, D; с. 41, p. 485, B, D; с. 42, p. 487, C; с. 50, p. 495, B; с. 70, p. 515, A. σὺ μὲν αὐτὸς ἄρτι ἄρχει πράττειν τὰ τῆς πόλεως πράγματα; ср. с. 55, p. 500, C. Его презрение к софистам, с. 75, p. 519, E, с примечанием Гейндорфа.

[612] Plato, Gorgias, с. 38, p. 482, E. ἐκ ταύτης γὰρ αὖ τῆς ὁμολογίας αὐτὸς ὑπὸ σοῦ συμποδισθεὶς ἐν τοῖς λόγοις ἐπεστομίσθη (Polus), αἰσχυνθεὶς ἃ ἐνόει εἰπεῖν- σὺ γὰρ τῷ ὄντι, ὦ Σώκρατες, εἰς τοιαῦτα ἄγεις φορτικὰ καὶ δημηγορικὰ, φάσκων τὴν ἀλήθειαν διώκειν ἐὰν οὖν τις αἰσχύνηται καὶ μὴ τολμᾷ λέγειν ἅπερ νοεῖ, ἀναγκάζεται ἐναντία λέγειν.

Καὶ μὴν (говорит Сократес Калликлесу, с. 42, р. 487, D.) ὅτι γε οἷος παρρησιάζεσθαι καὶ μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φῆς, καὶ ὁ λόγος, ὃν ὀλίγον πρότερον ἔλεγες, ὁμολογεῖ σοι. Опять же, с. 47, р. 492, D. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλικλεῖς, ἐπεξέρχει τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος- σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις ἃ οἱ ἄλλοι διαανοῦνται μὲν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσι.

Опять же, из Kalliklēs, ὃ ἐγὼ σοι νῦν παρρησιαζόμενος λέγω, с. 46, р. 491, E.

[613] Это качество Сократес вменяет Калликлесу в примечательном отрывке из "Горгияса", с. 37, р. 481, D, E, суть которого Сталлбаум излагает в примечании: "Carpit Socrates Calliclis levitatem, mobili populi turbæ nunquam non blandientis et adulantis."

Одним из главных пунктов диалога Сократеса является разъяснение того, что практика, ибо он не называет ее искусством, софистов, как и риториков, направлена лишь на сиюминутное удовлетворение людей, без всякой оглядки на их конечную или долговременную пользу; что они являются ответвлениями широко распространенного умения льстить (Gorgias, с. 19, р. 464, D; с. 20, р. 465, C; с. 56, р. 501, C; с. 75, р. 520, B).

[614] Платон, Горгиас, с. 68, р. 513. Οὐ γὰρ μιμητὴν δεῖ εἶναι, ἀλλ' αὐτοφυῶς ὅμοιον τούτοις, εἰ μέλλεις τι γνήσιον ἀπεργάζεσθαι εἰς φιλίαν τῷ Ἀθηναίων δήμῳ.... Ὅστις οὖν σε τούτοις ὁμοιότατον ἀπεργάσεται, οὗτός σε ποιήσει, ὡς ἐπιθυμεῖς πολιτικὸς εἶναι, πολιτικὸν καὶ ῥητορικόν- τῷ αὐτῶν γὰρ ἦθει λεγομένων τῶν λόγων ἕκαστοι χαίρουσι, τῷ δὲ ἀλλοτρίῳ ἄχθονται.

[615] Платон, Горгиас, с. 46, р. 492, C (слова Калликлеса). Τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ' ἐστὶ τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύσιν ξυνθήματα, ἀνθρώπων φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια.

[616] Я упустил из виду диалог Платона под названием "Евтидем", где Сократес вступает в беседу с двумя лицами, называемыми софистами, Евтидемом и Дионисодором, которые представлены как выдвигающие ряд словесных колкостей, утверждений двойного смысла, вытекающих из двусмысленной грамматики или синтаксиса, - падений простого дикции, без малейшего правдоподобия относительно смысла, - образцов шуток и мистификации, стр. 278, B. Они описаны как экстравагантно тщеславные, в то время как Сократес изображен со своей обычной жеманной почтительностью и скромностью. Сам он в течение части диалога ведет беседу в своей диалектической манере с юношей Клейниасом, которого затем отдают в обучение Эвтидему и Дионисодору, так что контраст между их стилем ведения вопросов и стилем Сократеса с особой силой вырисовывается.

Выявление этого контраста представляется мне главной целью диалога, как уже отмечали Сохер и другие (см. Stallbaum, Prolegom. ad Euthydem. pp. 15-65): но его построение, манера и результат, предшествующие заключительному разговору Сократеса и Критона по отдельности, настолько тщательно комичны, что Аст на этом и других основаниях отвергает его как поддельный и недостойный Платона (см. Ast, über Platons Leben und Schriften, pp. 414-418).

Не соглашаясь с выводами Аста, я признаю жестокость карикатуры, которую Платон представил здесь под персонажами Евтидема и Дионисодора. И именно по этой причине, наряду со многими другими, я тем решительнее протестую против несправедливости Стальбаума и комментаторов вообще, которые считают этих двух лиц учениками Протагора и образцами того, что называется "Sophistica", софистической практики, софистов вообще. Нет ни малейших оснований считать этих двух людей учениками Протагора, который даже у самого Платона предстает перед нами в столь непохожем на них облике, какой только можно себе представить. Евтидем и Дионисодор описываются самим Платоном в этом же диалоге

как старики, которые были мастерами фехтования и только в течение последних двух лет обратились к эристическому или спорному диалогу (Euthyd. с. 1, р. 272, С.; с. 3, р. 273, Е). Сам Шлейермахер считает их личное значение настолько ничтожным, что думает, что Платон не мог намереваться нападать на них, а хотел напасть на Антисфена и мегарскую школу философов (Prolegom. ad Euthydem. vol. iii, pp. 403, 404, его перевод Платона). Платон считает их настолько презренными, что Крито обвиняет Сократеса в том, что он настолько унизился, что его видели беседующим с ними перед многими людьми (р. 305, В, с. 30).

Имя Протагора встречается в диалоге лишь однажды, в связи с начатым Евтидемом учением о невозможности ложных или противоречивых предложений, поскольку никто не может ни думать, ни говорить о *том, чего нет*, или о *несуществующем* (р. 284, А; 286, С). По словам Сократеса, об этой доктрине много говорили "Протагор и люди, которые были еще раньше него". Из этого отрывка не следует делать вывод о какой-либо связи или аналогии между этими людьми и Протагором, как это пытается сделать Сталлбаум на протяжении всех своих "Пролегоменов"; он утверждает (в своем примечании на с. 286, С), что Протагор придерживался этой доктрины о τὸ μὴ ὄν, или несуществующем, потому что он *слишком верил* в доказательства органов чувств; тогда как мы знаем от Платона, что она возникла у Парменида, который полностью отвергал доказательства органов чувств (см. Plato, Sophist. 24, р. 237, А, с примечаниями Хайндорфа и Стальбаума). Диоген Лаэртий (ix, 8, 53) ложно утверждает, что Протагор *первым* изложил эту доктрину, и даже приводит в качестве свидетеля Платона в "Евтидеме", где утверждается прямо противоположное. Кто бы ни выступил первым, это была доктрина, правдоподобно вытекающая из принятого тогда реализма, и Платон долго ломал голову, прежде чем смог разрешить эту трудность к своему удовлетворению (Theætet. р. 187, D).

Я не сомневаюсь, что в Афинах были люди, которые злоупотребляли диалектическими упражнениями ради легкомысленных головоломок, и Платону следовало написать диалог, показывающий контраст между этими людьми и Сократесом. Но рассматривать Эвтидема и Дионисодора как образцы "софистов" совершенно неоправданно.

[617] Plato, Gorgias, с. 57, 58; pp. 502, 503.

[618] Plato, Gorgias, с. 72, 73, р. 517 (говорит Сократес): Ἀληθεῖς ἄρα οἱ ἔμπροσθεν λόγοι ἦσαν, ὅτι οὐδένα ἡμεῖς ἴσμεν ἄνδρα ἀγαθὸν γεγονότα τὰ πολιτικὰ ἐν τῇδε τῇ πόλει.

Ἦ δαίμονιε, οὐδ' ἐγὼ ψέγω τούτους (Periklēs and Kimon) ὥς γε διακόνους εἶναι πόλεως, ἀλλὰ μοι δοκοῦσι τῶν γε νῦν διακονικώτεροι γεγονέναι καὶ μᾶλλον οἷοί τε ἐκπορίζειν τῇ πόλει ὥν ἐπεθύμει. Ἀλλὰ γὰρ μεταβιάζειν τὰς ἐπιθυμίας καὶ μὴ ἐπιτρέπειν, πείθοντες καὶ βιαζόμενοι ἐπὶ τοῦτο, ὅθεν ἔμελλον ἀμείνους ἔσεσθαι οἱ πολῖται, ὥς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν τούτων διέφερον ἐκεῖνοι- ὅπερ μόνον ἔργον ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου.

Ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης, λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασιν τὴν πόλιν (с. 74, р. 519, А).

Οἶμαι (говорит Сократес, с. 77, р. 521, D.) μετ' ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὥς ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν, ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων τοὺς λόγους οὕς λέγω ἐκάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον, etc.

[619] Этот отрывок находится в Republ. vi, 6, р. 492, seq. Я помещаю первые слова этого отрывка (который слишком длинный, чтобы его цитировать, но который очень заслуживает того, чтобы его прочесть целиком) в переводе, данном Стальбаумом в его примечании.

Сократес говорит Адейманту: "An tu quoque putas esse quidem sophistas, homines privatos, qui corrumpunt juventutem in quâcunque re mentione dignâ; nec illud tamen animadvertisti et tibi persuasisti, quod multo magis debebas, ipsos Athenienses turpissimos esse aliorum corruptores?"

Однако комментатор, который переводит этот отрывок, не гнушается (в своих Прологоменах к Республике, стр. xlv, xlv, а также в Диалогах) нагромождать на софистов отягчающие обвинения, как на действительных развратителей афинской морали.

[620] Plato, Repub. vi, 11, p. 497, B. μηδεμίαν ἀξίαν εἶναι τῶν νῦν κατάστασιν πόλεως φιλοσόφου φύσεως, etc.

Сравните Платон, Epistol. vii, p. 325, A.

[621] Анит был обвинителем Сократеса: его вражда к софистам видна в Платоне, Мено. p. 91, C.

[622] Xenoph. Anabas. ii, 6. Πρόξενος-εὐθύς μὲν μειράκιον ὦν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός- καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ.... Τοσοῦτων δ' ἐπιθυμῶν, σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ὥετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή.

Проксен, как его описывает друг Ксенофонт, был, безусловно, человеком, который не позорил нравственное учение Горгия.

Связь между мыслью, речью и действием видна даже в шутках Аристофана над целями Сократеса и софистов:...

Νικῶν πράττων καὶ βουλευὼν καὶ τῇ γλώττῃ πολεμίζων (Nubes, 418).

[623] Plato, Apol. Sokr. c. 10, p. 23, C; Protagoras, p. 328, C.

[624] См. Isokr. Or. xv, De Perm. sects. 218, 233, 235, 245, 254, 257.

[625] Plato, Apol. Sokrat. c. 13, p. 25, D.

[626] См. эти положения, поразительно изложенные Исократом в Orat. xv, De Permutatione, во всем, особенно в сектах. 294, 297, 305, 307; и еще раз у Ксенофа. Memorab. i, 2. 10, в связи с учением Сократеса.

[627] См. поразительный отрывок в "Республике" Платона, x, c, 4, p. 600, C.

[628] Thucyd. ii. 40. φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας-οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλαβὴν ἡγούμενοι-διαφερόντως δὲ καὶ τόδε ἔχομεν, ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσθαι.

[629] Павсаний, i, 22, 8; ix, 35, 2.

[630] Plato, Euthydem. c. 24, p. 297, D.

[631] См. "Симпозиум" Платона, а также "Симпозиум" Ксенофонта, оба из которых утверждают, что изображают Сократеса в один из этих веселых моментов. Платон, Симпозиум, с. 31, p. 214, A; с. 35 и т. д., 39, *ad finem*; Ксенофонт. Symp. ii, 26, где Сократес

просит раздать ему вино в маленьких бокалах, но чтобы они быстро сменяли друг друга, как капли дождя в душе.

Взгляд, который Платон разделяет по отношению к возлияниям вина, как к своего рода проверке сравнительного самообладания людей и измерению того, с какой легкостью любой человек может предаться глупости и расточительности, а также к регулированию, которому он предлагает подчинить эту практику, можно увидеть в его трактате *De Legibus*, i, p. 649; ii, pp. 671-674. Сравните Ксеноф. *Memorab.* i, 2, 1; i, 6, 10.

[632] Xenoph. *Memorab.* i, 2, 4. τὸ μὲν οὖν ὑπερσεθίοντα ὑπερπονεῖν ἀπεδοκίμαζε и др.

[633] Xenoph. *Mem.* i, 6, 10. Даже Антистенес (ученик Сократеса и основоположник так называемой кинической философии), хотя и считал добродетель самодостаточной для обретения счастья, вынужден был добавить, что в качестве дополнительного условия необходимы сила и бодрость Сократеса: αὐτάρκη τὴν ἀρετὴν πρὸς εὐδαιμονίαν, μηδενὸς προσδεομένην ὅτι μὴ τῆς Σωκρατικῆς ἰσχυος; Winckelman, *Antisthen.* Fragment. p. 47; Diog. Laërt. vi, 11.

[634] См. его ответ на приглашение Архелая, царя Македонии, указывающий на нежелание принимать услуги, которые он не может вернуть (*Aristot. Rhetor.* ii, 24).

[635] Plato, *Sympos.* c. 32, p. 215, A; Xenoph. *Sympos.* c. 5; Plato, *Theætet.* p. 143, D.

[636] Это одна из традиций, которую Аристоксен, ученик Аристотеля, услышал от своего отца Спинтаруса, который лично общался с Сократесом. См. Фрагменты Аристоксена, *Fragm.* 27, 28; ap. *Frag. Hist. Græc.* p. 280, ed. Didot.

Мне кажется, что фрагм. 28 содержит изложение того, что Аристоксен действительно говорил о вспыльчивости Сократеса; в то время как выражения Фрагм. 27, приписываемые Плутархом этому автору, безмерны.

Фрагм. 28 также существенно противоречит Фрагм. 26, в котором Диоген утверждает на основании Аристоксена, - чему нельзя верить, даже если бы Аристоксен утверждал это, - что Сократес регулярно торговал своим учением и собирал постоянные взносы: см. Xenoph. *Memor.* i, 2, 6; i, 5, 6.

Я не вижу причин для недоверия, с которым Преллер (*Hist. Philosophie*, c. v, p. 139) и Риттер (*Geschich. d. Philos.* vol. ii, ch. 2, p. 19) относятся к общему свидетельству Аристоксена о Сократесе.

[637] Ксенофонт (*Mem.* i, 4, 1) упоминает несколько таких биографов или собирателей анекдотов о Сократесе. Однако представляется, что большинство из этих *Socratici viri* (*Cicer. ad Attic.* xiv, 9, 1) не собирали анекдоты или беседы мастера, как Ксенофонт, а сочиняли диалоги, в большей или меньшей степени отражающие его метод и ἦθος, по типу Платона. Однако кожевник Симон записал беседы, которые Сократес вел в своей мастерской, и опубликовал несколько диалогов, выдавая их за таковые. (*Diog. Laërt.* ii, 123.) *Сократовские девственники* в целом восхваляются Цицероном (*Tus. D.* ii, 3, 8) за изящество их стиля.

[638] Ксенофонт, *Memor.* i, 1, 16. Αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπειῶν ἀεὶ διελέγετο, σκοπῶν, τί εὐσεβές, τί ἀσεβές- τί καλόν, τί αἰσχρόν- τί δίκαιον, τί ἄδικον- τί ἀνδρία, τί δειλία- τί πόλις, τί πολιτικός- τί ἀρχὴ ἀνθρώπων, τί ἀρχικὸς ἀνθρώπων, и т. д.

Сравните i, 2, 50; iii, 8, 3, 4; iii, 9; iv, 4, 5; iv, 6, 1. σκοπῶν σὺν τοῖς συνοῦσι, τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων, οὐδέποτ' ἔληγε.

[639] Aristoph. Nubes, 105, 121, 362, 414; Aves, 1282; Eupolis, Fragment. Incert. ix, x, xi. ap. Meineke, p. 552; Ameipsias, Fragmenta, Konnys, p. 703, Meineke; Diogen. Laërt. ii, 28.

Позднейшие комические писатели высмеивали пифагорейцев, а также стоика Зенона на очень похожих основаниях: см. Diogenes Laërt. vii, 1, 24.

[640] Plato, Apol. Sokr. c. 1. Nūn ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς πλείω ἑβδομήκοντα.

[641] Xenoph. Memor. i, 1, 2-20; i, 3, 1-3.

[642] Plato, Apol. Sokr. c. 21, p. 33, A. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτε ἐγενόμην: ср. c. 4, p. 19, E.

Xenoph. Memor. iii, 11, 16. Сократес: ἐπισκώπτων τὴν ἑαυτοῦ ἀπραφμοσύνην; Plat. Ap. Sok. c. 18, p. 31, B.

[643] Ἀδολεσχεῖν; см. Animadversiones Рункена в Xenoph. Memor. p. 293, в издании этого трактата Шнайдера. Сравните Платон, Софистес, c. 23, p. 225, E.

[644] Xenoph. Mem. i, 1, 10; Платон, Apol. Sok. I, p. 17, D; 18, p. 31. A. οἷον δὴ μοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστεθεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑμᾶς ἐγείρων καὶ πείθων, καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον, οὐδὲν παύομαι, τὴν ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων.

[645] Xen. Mem. iii, 11.

[646] Ксенофонт в своих "Меморабилии" всегда говорит о спутниках Сократеса, а не о его учениках: οἱ συνόντες αὐτῷ-οἱ συνουσίασται (i, 6, 1)-οἱ συνδιατρίβοντες-οἱ συγγιγνόμενοι-οἱ ἑταῖροι-οἱ ὁμιλοῦντες αὐτῷ-οἱ συνήθεις (iv, 8, 2)-οἱ μεθ' αὐτοῦ (iv, 2, 1)-οἱ ἐπιθύμηται (i, 2, 60). Аристипп в разговоре с Платоном также говорил о Сократесе как о ὁ ἑταῖρος ἡμῶν; Aristot. Rhetor. ii. 24. Его враги говорили о его учениках в оскорбительном смысле; Платон, Ap. Sok. c. 21, p. 33, A.

Невозможно поверить, что какие-либо спутники могли часто посещать Сократеса в Афинах из Мегары или Фив в последние годы войны, до взятия Афин в 404 году до н. э. И в самом деле, отрывок платоновского "Теэтета" представляет Эвклида из Мегары как упоминание о его беседах с Сократесом лишь за некоторое время до смерти последнего (Plato, Theætetus. c. 2. p. 142, E). История, приведенная Аулу Геллием, о том, что Эвклидес пришел к Сократесу ночью, в женской одежде, из Мегары в Афины, кажется мне абсурдной, хотя Дейкс (De Megaricarum Doctrinâ, p. 5) склонен ей верить.

[647] Xenoph. Mem. i, 1, 2, 3.

[648] См. разговор Сократеса (о котором сообщает Ксенофонт, Mem. i, 4, 15) с Аристодемом о богах: "Чего будет достаточно, чтобы убедить тебя (спрашивает Сократес), что боги заботятся о тебе?" "Когда они пошлют мне особых наблюдателей, как ты говоришь, что они делают с тобой (отвечает Аристодем); чтобы сказать мне, что делать, а чего не делать". На что Сократес ответил, что они отвечают на вопросы афинян ответами оракула и что они посылают прорицателей (τέρατα), сообщая информацию грекам в целом. Далее он советует Аристодему усердно ухаживать (θεραπεύειν) за богами, чтобы узнать, не пошлют ли они ему монетарные сведения о сомнительных событиях (i, 4, 18).

Так и в разговоре с Евтидемом последний говорит ему: *Σοὶ δὲ, ὦ Σώκρατες, εἰκόασιν ἔτι φιλικώτερον ἢ τοῖς ἄλλοις χρῆσθαι*, οἷγε μηδὲ ἐπερωτῶμενοι ὑπὸ σοῦ προσημαίνουσιν, ἅτε χρὴ ποιεῖν καὶ ἂ μὴ (iv, 3, 12).

Сравните i, 1, 19; и iv, 8, 11, где это вечное общение и советы богов используются как доказательство превосходного благочестия Сократеса.

[649] Plato, Ap. Sok. с. 19, p. 31, D. Τοῦτου δὲ αἰτίον ἐστὶν (то есть причина, по которой Сократес не вступил в общественную жизнь) ὃ *ὑμεῖς ἐμοῦ πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος*, ὅτι μοι θεῖόν τι καὶ δαιμόνιον γίγνεται, ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωμῶδῶν Μέλητος ἐγράψατο. Ἐμοὶ δὲ τοῦτ' ἐστὶν ἐκ *παιδὸς ἀρξάμενον*, φωνή τις γιγνομένη, ἣ ὅταν γένηται, αἰεὶ ἀποτρέπει με τοῦτου ὃ ἂν μέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε. Τοῦτ' ἐστὶν ὃ μοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν.

Опять же, с. 31, p. 40, A, он говорит дикастам после своего осуждения: *Ἡ γὰρ εἰωθυῖά μοι μαντικὴ ἢ τοῦ δαιμονίου ἐν μὲν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ αἰεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σμικροῖς ἐναντιούμενη*, εἴ τι μέλλοιμι μὴ ὀρθῶς πράξειν. Nυνὶ δὲ συμβέβηκέ μοι, ἅπερ ὀρᾷτε καὶ αὐτοὶ, ταυτὶ, ἃ γε δὴ οἰηθεῖν ἂν τις καὶ νομίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι. Ἐμοὶ δὲ οὔτε ἐξιόντι ἔωθεν οἴκοθεν ἠγναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σημεῖον, οὔτε ἠνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτ' ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἐρεῖν- *καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις πολλαχοῦ δὴ με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ*.

Далее он делает вывод, что его линия защиты была правильной и что осуждение для него не беда, а благо, поскольку признак не проявился.

Я согласен с мнением Шлейермахера (в его Предисловии к переводу Апологии Сократеса, часть i, т. ii, с. 185, его общего перевода сочинений Платона), что эта защита может быть обоснованно воспринята как воспроизведение Платоном того, что Сократес действительно сказал дикастам на своем суде. В дополнение к причинам, приведенным Шлейермахером, можно отметить еще одну. Сократес предсказывает дикастам, что если они предадут его смерти, то сразу же появится множество молодых людей, желающих принять призвание перекрестного допроса, которые доставят им больше хлопот, чем он сам (Plat. Ap. Sok. с. 30, p. 39, D). Теперь нет никаких оснований полагать, что это предсказание сбылось. Поэтому, если Платон вкладывает в уста Сократеса ошибочное пророчество, то, вероятно, потому, что Сократес действительно его сделал.

[650] Слова Сократеса явно указывают на этот смысл: см. также хорошее примечание Шлейермахера, приложенное к его переводу Платоновой апологии, Platons Werke, part i, vol ii, p. 432.

[651] Xenoph. Mem. iv, 8, 5.

[652] Xenoph. Sympos. viii, 5; Платон, Euthydem. с. 5, p. 272, E.

[653] См. Платон (Theætet. с. 7, p. 151, A; Phædrus, с. 20, p. 242. C; Republic, vi, 10, p. 496, C) - в дополнение к приведенным выше цитатам из "Апологии".

Отрывок из Евтифрона (с. 2, p. 3, B) несколько менее конкретен. Псевдоплатонический диалог "Феагес" сохраняет строго запретительный атрибут голоса, как никогда и ни в коем случае не побуждающего, но расширяет диапазон предупреждения, как если бы оно звучало не только в случаях, касающихся самого Сократеса, но и поведения его друзей (Theagês, с. 11, 12, pp. 128, 129).

Ксенофонт также пренебрегает конкретными атрибутами и представляет голос в целом как божественное сообщение с наставлениями и советами Сократесу, так что он часто пророчествовал своим друзьям и всегда оказывался прав (Memor. i, 1, 2-4; iv, 8, 1).

[654] См. примечание д-ра Форстера к "Евтифрону" Платона, с. 2, р. 3.

Трактат Плутарха (De Genio Socratis) полон рассуждений на эту тему, но не содержит ничего, на что можно было бы положиться как на факт. Существуют различные истории о пророчествах, сделанных Сократесом и подтвержденных событиями, с. 11, р. 582.

См. также обсуждение этого вопроса с многочисленными ссылками в Zeller Philosophie der Griechen, v. ii, pp. 25-28.

[655] Plato, Ap. Sok. с. 22, р. 33, C. Ἐμοὶ δὲ τοῦτο, ὡς ἐγὼ φημι, προστέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ πράττειν καὶ ἐκ μαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων, καὶ παντὶ τρόπῳ, ὥπὲρ τίς ποτε καὶ ἄλλη θεία μοῖρα ἀνθρώπῳ καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν.

[656] Plato, Apol. Sok. с. 5, р. 21, A. Сократес предлагает привести свидетельство брата Херефона, который сам уже умер, чтобы подтвердить реальность этого вопроса и ответа.

[657] Plato, Ap. Sok. с. 7, 8, р. 22.

[658] Plato, Ap. Sok. с. 9, р. 23. Я привожу здесь смысл, а не точные слова: Οὗτος ὑμῶν σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν.

Таῦτ' ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιῶν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεόν, καὶ τῶν ἀστῶν καὶ τῶν ξένων ἂν τίνα οἶμαι σοφὸν εἶναι- καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῇ, τῷ θεῷ βοηθῶν ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός.

[659] Plato, Ap. Sok. с. 9, р. 23, A-C.

... ἐν πενίᾳ μυρία εἰμὶ, διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν.

[660] Plato. Ap. Sok. с. 17, р. 29. Τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ὡς ἐγὼ ᾤκηθην καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά με δεῖν ζῆν, καὶ ἐξετάζοντα ἑμαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς ἢ θάνατον ἢ ἄλλο ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι τὴν τάξιν.

[661] Plato, Ap. Sok. с. 17, р. 29, C.

[662] Plato, Ap. Sok. с. 18, р. 30, D.

[663] Plato, Ap. Sok. с. 28, р. 38, A. Ἐάν τε γὰρ λέγω, ὅτι τῷ θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ' ἐστὶ, καὶ διὰ τοῦτ' ἀδύνατον ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ μοι ὡς εἰρωνευομένων- ἐάν τ' αὖ λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει μέγιστον ἀγαθὸν ὃν ἀνθρώπῳ τοῦτο, ἐκάστης ἡμέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν ἄλλων, περὶ ὧν ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούετε διαλεγομένου καὶ ἑμαυτὸν καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος-ὁ δὲ ἀνεξεταστὸς βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ (эти последние поразительные слова выбраны д-ром. Hutcheson, как девиз для его Synopsis Philosophiæ Moralis)-таῦτα δὲ ἔτι ἦττον πείσεσθέ μοι λέγοντι.

[664] Diogen. Laërt. ii, 21.

[665] Платон. Sophistês, с. 1, р. 216; выражение относится к элеатскому незнакомцу, который играет главную роль в этом диалоге: Τάχ' ἂν οὔν καὶ σοί τις οὗτος τῶν κρειττόνων συνέποιτο, φαύλους ἡμᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ἐποψόμενος καὶ ἐλέγξων, θεὸς ὧν τις ἐλεγκτικός.

[666] Xenoph Mem. i, 1, 11. Οὐδὲ γὰρ περὶ τῆς τῶν πάντων φύσεως, ἥπερ τῶν ἄλλων οἱ πλεῖστοι, διελέγετο, σκοπῶν ὅπως ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν Κόσμος ἔχει, etc.

Платон, Федон, с. 45, р. 96. Β. ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν.

[667] Xenoph. Memor. iv, 7, 3-5.

[668] Ion, Chius, Fragm. 9. ap. Didot. Fragm. Historic. Græcor. Diogen. Laërt. ii, 16-19.

Риттер (Gesch. der Philos. vol, ii, ch. 2, р. 19) ставит под сомнение утверждение, что Сократес получил наставления от Архелая; на мой взгляд, без малейших оснований, поскольку Ион Хиосский является хорошим современным свидетелем. Он даже отрицает, что Сократес вообще получал какие-либо наставления по философии, на основании отрывка из "Симпозиума" Ксенофонта, где Сократес говорит о себе как о ἡμᾶς δὲ ὁρᾶς αὐτουργούς τινας τῆς φιλοσοφίας ὄντας (1, 5). Но мне кажется, что это выражение подразумевает не что иное, как насмешливую антитезу, столь частую как у Платона, так и у Ксенофонта, с дорогими уроками Протагора, Горгия и Продика. Это нельзя понимать как отрицание наставлений, данных Сократесу в ранний период его жизни.

[669] Я думаю, что выражение в Phædo Платона, с. 102, р. 96, А, относится к самому Сократесу, а не к Платону: τὰ γε ἐμὰ πάθη, означает умственные наклонности Сократеса в молодости.

О физических занятиях, которые, вероятно, искал и культивировал Сократес в ранние годы своей жизни, см. поучительную диссертацию Тихсена, Ueber den Prozess des Sokratês, в Bibliothek der Alten Literatur und Kunst; Erstes Stück, р. 43.

[670] Plato, Parmenid. р. 128, С. καίτοι ὥσπερ γε αἱ Λάκαιναι σκύλακες, εὖ μεταθεῖς καὶ ἰχνεύεις τὰ λεχθέντα, etc.

Можно ли утверждать, что Сократес был учеником Анаксагора и Архелая, - вопрос малозначительный и вряд ли заслуживающий скептицизма Бейля (Анаксагор, примечание R; Архелай, примечание A: ср. Schanbach, Anaxagoræ Fragmenta, pp. 23, 27). То, что он стремился ознакомиться с их доктринами и усовершенствовать себя, лично общаясь с ними, настолько вероятно, что достаточно самого незначительного свидетельства, чтобы заставить нас поверить в это. Кроме того, как я уже отмечал, у нас есть хороший свидетель-современник, Ион Хиосский, о его близости с Архелаем. Ни в каком другом смысле, кроме как в этом, о таком человеке, как Сократес, нельзя было сказать, что он был чьим-то учеником.

[671] См. главу, непосредственно предшествующую этому, с. 472.

[672] См. замечательный отрывок в "Пармениде" Платона, с. 135 С - 136 Е, часть которого уже приводилась в моем примечании к предыдущей главе, упомянутом в примечании выше.

[673] Timon the Sillographer ap. Diogen. Laërt. ix, 25.

Ἀμφοτερογλώσσου δὲ μέγα σθένος οὐκ ἀλαπαδὸν

Ζήνωνος, πάντων ἐπιλήπτορος и т. д.

[674] Xenoph. Mem. iv, 7, 6. Ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων, ἧ ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν- οὔτε γὰρ εὖρετὰ ἀνθρώποις αὐτὰ ἐνόμιζεν εἶναι, οὔτε χαρίζεσθαι θεοῖς ἂν ἡγεῖτο τὸν ζητοῦντα, ἃ ἐκεῖνοι σαφηνίσαι οὐκ ἐβουλήθησαν. Κινδυνεῦσαι δ' ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα, οὐδὲν ἦττον ἢ Ἀναξαγόρας παρεφρόνησεν, ὃ τὰ μέγιστα φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι.

[687] Aristot. *Metaphys.* i, 6, 3, p. 987, b. Σωκράτους δὲ περὶ μὲν τὰ ἠθικὰ πραγματευομένου, περὶ δὲ τῆς ὅλης φύσεως οὐδὲν-ἐν μέντοι τούτοις τὸ καθόλου ζητοῦντος καὶ περὶ ὀρισμῶν ἐπιστήσαντος πρώτου τὴν διάνοιαν, etc. Опять же, xiii, 4, 6-8, p. 1078, b. Δύο γὰρ ἐστὶν ἃ τις ἂν ἀποδοίῃ

Σωκράτει δίκαιως, τοὺς τ' ἐπακτικοὺς λόγους καὶ τὸ ὀρίζεσθαι καθόλου: сравни xiii, 9, 35, p. 1086, b; Cicero, Topic. x, 42.

Эти два признака дискуссий, которые вел Сократес, объясняют эпитет, приложенный к нему Тимонем Силлографом, что он был предводителем и родоначальником *точных болтунов*: - ...

Ἐκ δ' ἄρα τῶν ἀπέκλινεν ὁ λιθοξόος, ἐννομολέσχης,

Ἑλλήνων ἐπαιδοῦς ἀκριβολόγους ἀποφήνας,

Μυκτῆρ, ῥητορόμυκτος, ὑπαττικὸς εἰρωνεύτης.

(ap. Diog. Laërt. ii, 19.)

Значительной части слушателей того времени, как и других времен, *точные мысли и разговоры* казались мелкими и дурными: ἡ ἀκριβολογία микроπρεπές (Aristot. Ethic. Nikomach. iv, 4, p. 1122, b; также Aristot. Metaphys. ii, 3, p. 995, a). Даже Платон считает себя вынужденным принести за это своего рода извинение (Theætet. с. 102, p. 184, C). Несомненно, Тимон употребил слово ἀκριβολόγους в насмешливом смысле.

[688] Как медленно продвигался грамматический анализ среди греков, и как много времени прошло, прежде чем они добрались до того, что сейчас является элементарными идеями в сознании каждого образованного человека, можно увидеть в Gräfenhahn, Geschichte der Klassischen Philologie im Alterthum, sects. 89-92 и т. д. В этом вопросе эти софисты, похоже, явно опережали свою эпоху.

[689] Эта же тенденция - оторваться от смутной совокупности, которую тогда считали физикой, - прослеживается в трактатах Гиппократов и даже в трактате De Antiquâ Medicinâ, который М. Литтре ставит на первое место в своем издании и считает произведением самого Гиппократов, в таком случае он был бы современником Сократов. Однако в этом вопросе авторства другие критики с ним не согласны: см. вопрос, рассмотренный в его томе i, гл. xii, с. 295 и далее.

Гиппократ, если он автор, начинает с осуждения попытки связать изучение медицины с физическими или астрономическими гипотезами (с. 2), и далее он протестует против процедуры различных медицинских писателей и софистов, или философов, таких как Эмпедокл, которые задались целью выяснить, "чем был человек с самого начала, как он начал существовать и каким образом он был создан" (с. 20). Это не относится, говорит он, к медицине, которую действительно следует изучать как всеобъемлющее целое, но как целое, определяемое и имеющее отношение к своей собственной цели: "Вы должны изучать природу человека, его отношение к тому, что он ест и пьет, и ко всем другим занятиям или привычкам, а также последствия, вытекающие из каждого из них": "ὅ,τι ἐστὶν ἄνθρωπος πρὸς τὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα, καὶ ὅ,τι πρὸς τὰ ἄλλα ἐπιτηδεύματα, καὶ ὅ,τι ἅφ' ἐκάστου ἐκάστῳ συμβήσεται.

Дух, в котором Гиппократ подходит к изучению медицины, в высшей степени аналогичен тому, который диктовал нововведения Сократов в отношении изучения этики. Тот же характер носит трактат "De Aëre, Locis et Aquis", представляющий собой определенную и заранее заданную область исследования, и трактаты Гиппократов в целом.

[690] Aristotel. Metaphys. i, 5, p. 985, 986. τὸ μὲν τοιόνδε τῶν ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη, τὸ δὲ τοιόνδε ψυχὴ καὶ νοῦς, ἕτερον δὲ καιρὸς, etc. Ethica Magna, i. 1. ἡ δικαιοσύνη ἀριθμὸς ἰσάκεις ἴσος: см. Brandis, Gesch. der Gr. Röm. Philos. lxxxii, lxxxiii, p. 492.

[691] Aristotel. Metaphys. iii, 3, p. 998, A. Οἷον Ἐμπεδοκλῆς πῦρ καὶ ὕδωρ καὶ τὰ μετὰ τούτων, στοιχεῖά φησιν εἶναι ἐξ ὧν ἐστὶ τὰ ὄντα ἐνυπαρχόντων, ἀλλ' οὐχ ὥς γένη λέγει ταῦτα τῶν ὄντων. То, что родовое деление и подразделение было неизвестно или не практиковалось этими ранними людьми, замечает Платон (Sophist. c. 114, p. 267, D).

Аристотель считает, что пифагорейцы имели какое-то слабое и неясное понятие о логическом роде, περὶ τοῦ τί ἐστὶν ἤρξαντο μὲν λέγειν καὶ ὀρίζεσθαι, λίαν δὲ ἀπλῶς ἐπραγματεύθησαν (Metaphys. i, 5, 29, p. 986, B). Но из сравнения двух других отрывков этого трактата (xiii, 4, 6, p. 1078, b, c i, 5, 2, p. 985, b) мы видим, что пифагорейские определения καιρὸς, τὸ δίκαιον и т. д. были не более чем числовыми причудами; так что эти слова нельзя с полным основанием утверждать, что они обозначали, с их точки зрения, логические *роды*. Нельзя также назвать этим именем десять пифагорейских συστοιχίαι, или параллельных рядов противоположностей; они были составлены для того, чтобы удовлетворить фантазию о совершенстве числа десять, которая впоследствии, кажется, перешла к самому Аристотелю, когда он составлял свои десять предикаментов.

См. ценный экскурс об аристотелевских выражениях τί ἐστὶ-τί ᾗν εἶναι и т. д., приложенный к изданию Швеглера "Метафизики" Аристотеля, т. ii, с. 369, с. 378.

О немногих и несовершенных определениях, которые Аристотель, по-видимому, также приписывает Демокриту, см. Trendeleburg, Comment. ad Aristot. De Animâ, p. 212.

[692] Аристотель замечает о пифагорейцах, что они относили добродетели к числу и числовым отношениям, не давая им собственной теории: τὰς γὰρ ἀρετὰς εἰς τοὺς ἀριθμοὺς ἀνάγων οὐκ οἰκείαν τῶν ἀρετῶν τὴν θεωρίαν ἐποίητο (Ethic. Magn. i, 1).

[693] Plato, Phædon, c. 102, seq., pp. 96, 97.

[694] Как один пример из многих, см. Plato, Theætet. c. 11, p. 146, D. Это утверждается Брандисом и частично К. Хайдером (см. Heyder, Kritische Darstellung und Vergleichung der Aristotelischen und Hegelschen Dialektik, part i, pp. 85, 129), что логический процесс, называемый делением, не следует считать использованным Сократесом вместе с определением, а начинается с Платона: в доказательство этого они отмечают, что в двух платоновских диалогах "Софист" и "Политик", где этот процесс используется наиболее обильно, Сократес не является ведущим беседу.

Я думаю, что на этом обстоятельстве не стоит делать особого акцента; а термины, в которых Ксенофонт описывает метод Сократеса (διαλέγοντας κατὰ γένη τὰ πράγματα, Mem. iv, 5, 12), по-видимому, подразумевает как один, так и другой процесс: действительно, едва ли их можно было разделить при таком обилии болтунов, как Сократес. Платон, несомненно, и расширил, и систематизировал метод во всех отношениях, и особенно широко использовал процесс деления, потому что он продвинул диалог дальше в позитивное научное исследование, чем Сократес.

[695] Plato, Phædrus, c. 109, p. 265, D; Sophistês, c. 83, p. 253, E.

[696] Aristot. Topic. viii, 14, p. 164, b. 2. Ἐστὶ μὲν γὰρ ὥς ἀπλῶς εἰπεῖν διαλεκτικὸς, ὁ протатикὸς καὶ ἐνταστικός. Ἐστὶ δὲ τὸ μὲν протείναισθαι, ἐν ποιεῖν τὰ πλείω (δεῖ γὰρ ἐν ὅλως ληφθῆναι πρὸς ὃ ὁ

λόγος) τὸ δ' ἐνίστασθαι, τὸ ἐν πολλὰ- ἢ γὰρ διαίρει ἢ ἀναιρεῖ, τὸ μὲν διδοῦς, το δ' οὐ, τῶν προτεινομένων.

Именно от Сократа диалектическое мастерство получило свое большое распространение и развитие (Aristot. Metaphys. xiii, 4, p. 1078, b).

[697] То, что Платон заставляет Сократеса сказать в Евтифроне, с. 12, р. 11, D, Ἰκων εἰμί σοφός и т. д., может считаться истинным, по крайней мере, в начале активной карьеры Сократеса; сравните Гиппий Малый, с. 18, р. 376, B; Лахес, с. 33, р. 200, E.

[698] Xenoph. Memor. i, 1, 12-16. Πότερόν ποτε νομίσαντες ἱκανῶς ἤδη τάνθρωπεια εἰδέναι ἔρχονται (физические философы) ἐπὶ τὸ περὶ τῶν τοιούτων φροντίζειν- ἢ τὰ μὲν ἀνθρώπεια παρέντες, τὰ δὲ δαιμόνια σκοποῦντες, ἡγοῦνται τὰ προσήκοντα πράττειν.... Αὐτὸς δὲ περὶ τῶν ἀνθρωπείων ἀεὶ διελέγετο σκοπῶν, τί εὐσεβὲς, τί ἀσεβὲς καὶ περὶ τῶν ἄλλων, ἃ τοὺς μὲν εἰδότας ἡγεῖτο καλοὺς κάγαθοὺς εἶναι, τοὺς δὲ ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως κεκλῆσθαι.

Платон, Аполлог. Sok. с. 5, р. 20, D. ἢ περ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία- τῷ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι σοφός- οὔτοι δὲ τάχ' ἄν, οὐς ἄρτι ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ κατ' ἀνθρώπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, etc. Сравните с. 9, р. 23, A.

[699] Именно эту узкую цель Плутарх приписывает Сократесу, Quæstiones Platonicae, p. 999, E; ср. также Tennemann, Geschicht. der Philos. part ii, art. i, vol. ii, p. 81.

Среди обычного потока необоснованных порицаний в адрес софистов, который приводит Теннеманн, примечательно одно утверждение. Он говорит нам, что Сократесу было тем легче низложить софистов, что их ничтожество и никчемность после короткого периода существования уже были обнаружены умными людьми и стали дискредитированы.

Странно встретить подобное утверждение в период между 420-399 гг. до н. э., когда Протагор, Продик, Гиппиас и др. достигли максимальной известности.

И что мы должны сказать об утверждении, что Сократес низложил софистов, если вспомнить, что мегарская школа и Антистен, происходящие от Сократеса, чаще, чем кто-либо другой, подвергаются нападкам в диалогах Платона, как обладающие всеми теми скептическими и спорными наклонностями, в которых упрекают софистов?

[700] Платон, Горгиас, с. 101, р. 491, A.

Kalliklês. Ὡς ἀεὶ ταύτ' ἀλέγεις, ὦ Σώκρατες. Sokratês. Οὐ μόνον γε, ὦ Καλλικλέϊς, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν. Kalliklês. Νῆ τοὺς θεοὺς, ἀτεχνῶς γε ἀεὶ σκυτέας καὶ κναφέας καὶ μαγείρους λέγων καὶ ἰατροὺς, οὐδὲν παύῃ. Сравните Платон, Симпозиум, стр. 221, E, также Ксеноф. Memor. i, 2, 37; iv, 5, 5.

[701] Нелегко сослаться на конкретные отрывки в проявлении контраста, изложенного в тексте, который, однако, проходит через значительную часть многих платоновских диалогов, в той или иной форме: см. Менон, с. 27-33, pp. 90-94; Протагор, с. 28, 29, pp. 319, 320; Политик, с. 38, р. 299, D; Лахес, с. 11, 12, pp. 185, 186; Горгий, с. 121, р. 501, A; Алкивиад, i, с. 12-14, pp. 108, 109, 110; с. 20, р. 113, C, D.

Ксеноф. Mem. iii, 5, 21, 22; iv, 2, 20-23; iv, 4, 5; iv, 6, 1. Из этих отрывков iv, 2, 20, 23 - один из самых примечательных.

Примечательно, что Сократес (в "Апологии Платона", с. 7, с. 22), описывая свои странствия (πλάνην) с целью проверки предполагаемых знаний, сначала у государственных деятелей, затем у поэтов, наконец, у ремесленников и мастеров, находит удовлетворение только в тех ответах, которые эти последние дали ему по вопросам, касающимся их соответствующих профессий или занятий. Они были бы мудрыми людьми, если бы не то обстоятельство, что, зная эти конкретные вещи, они воображали, что знают и другие вещи".

[702] Plato, Euthyphrôn, с. 8, р. 7, D; Xen. Mem. iv, 4, 8.

[703] Xenoph. Mem. iv. 2, 2; Платон, Мено, с. 33, р. 94.

[704] Сравните Платон, Apol. Sok. с. 4, р. 20, A; Xen. Mem. iv, 2, 25.

[705] Xenoph. Memor. iv, 6, 15. Ὅποτε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίει, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων ἐπορεύετο, νομίζων ταύτην τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου- τοιγαροῦν πολὺ μάλιστα ὧν ἐγὼ οἶδα, ὅτε λέγοι, τοὺς ἀκούοντας ὁμολογοῦντας παρεῖχε.

[706] Plato, Apol. Sok. с. 7. р. 22, C: сравните Plato, Ion. pp. 533, 534.

[707] Ἀλλὰ ταῦτα μὲν (говорит Сократес Евтидему) ἴσως διὰ τὸ σφόδρα πιστεύειν εἰδέναι, οὐδ' ἐσκέψω (Xen. Mem. iv, 2, 36): ср. Plato, Alkibiad. i, с. 14, р. 110. A.

[708] "Moins une science est avancée, moins elle a été bien traitée, et plus elle a besoin d'être enseignée. Это то, что заставляет меня сильно переживать, что во Франции не отказываются от обучения идеологическим, моральным и политическим наукам, которые, в сущности, являются такими же науками, как и другие, - а *разница между ними такова, что те, кто их не изучал, убеждены в том, что они знают, что им нужно знать, что они должны решать*". (Destutt de Tracy, Elémens d'Idéologie, Préface, р. xxxiv, ed. Paris, 1827.)

[709] "Нет науки, которая в большей степени, чем астрономия, нуждалась бы в такой подготовке или в большей степени опиралась бы на ту интеллектуальную либеральность, которая готова принять все, что продемонстрировано, или признать все, что представляется весьма вероятным, какими бы новыми и необычными ни были точки зрения, в которые таким образом могут быть помещены самые знакомые объекты. Почти все ее *выводы находятся в открытом и ярком противоречии с выводами поверхностного и вульгарного наблюдения*, а также с тем, что кажется каждому, пока он не поймет и не взвесит доказательства обратного, *самым позитивным свидетельством его чувств*. Так, земля, на которой он стоит и которая веками служила непоколебимым фундаментом самых прочных сооружений искусства или природы, лишается астрономом атрибута неподвижности и представляется ему быстро вращающейся вокруг своего центра и в то же время движущейся в пространстве с огромной скоростью и т. д." (Сэр Джон Гершель, Астрономия, Введение, раздел 2).

[710] Xenoph. Memor. iv, 1, 2. Ἐτεκμαίρετο (Sokratês) δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις, ἐκ τοῦ ταχύ τε μανθάνειν οἷς προσέχοιεν, καὶ μνημονεύειν ἃ ἂν μάθοιεν, καὶ ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων πάντων, δι' ὧν ἔστιν οἰκίαν τε καλῶς οἰκεῖν καὶ πόλιν, καὶ τὸ ὅλον ἀνθρώποις τε καὶ τοῖς ἀνθρωπίνοις πράγμασιν εὖ χρῆσθαι. Τοὺς γὰρ τοιοῦτους ἡγεῖτο παιδευθέντας οὐκ ἂν μόνον αὐτοὺς τε εὐδαίμονας εἶναι καὶ τοὺς ἑαυτῶν οἴκους καλῶς οἰκεῖν, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἀνθρώπους καὶ πόλεις δύνασθαι εὐδαίμονας ποιῆσαι.

Ib. iii, 2, 4. Καὶ οὕτως ἐπισκοπῶν, τίς εἴη ἀγαθοῦ ἡγεμόνος ἀρετὴ, τὰ μὲν ἄλλα περιήρει, κατέλειπε δὲ, τὸ εὐδαίμονας ποιεῖν, ὧν ἂν ἡγῆται.

Ib. iii, 8, 3, 4, 5; iv, 6, 8. Он объясняет τὸ ἀγαθὸν как τὸ ὠφελίμον-μέχρι δὲ τοῦ ὠφελίμου πάντα καὶ αὐτὸς συνεπεσκόπει καὶ συνδιεξήκει τοῖς συνοῦσι (iv, 7, 8). Сравните Платон, Горгиас, с. 66, 67, p. 474, D; 475, A.

Вещи называются ἀγαθὰ καὶ καλὰ, с одной стороны, и κακὰ καὶ αἰσχρὰ - с другой, в связи с тем, что каждая из них имеет свою цель, предотвращая или смягчая в одном случае, вызывая или увеличивая в другом, различные виды человеческого страдания. И снова, iii, 9, 4, мы находим фразы: ἃ δὲ πρᾶττειν-ὁρθῶς πρᾶττειν-τὰ συμφωρώτατα αὐτοῖς πρᾶττειν, все они используются как эквиваленты.

Plato, Symposion, p. 205. A. Κτήσει γὰρ ἀγαθῶν εὐδαίμονες ἔσονται-καὶ οὐκέτι προσδεῖ ἐρέσθαι, ἵνατι δὲ βούλεται εὐδαίμων εἶναι; ἀλλὰ τέλος δοκεῖ ἔχειν ἢ ἀπόκρισις: compare Euthydem. с. 20, p. 279, A; с. 25, p. 281, D.

Платон, Алкивиад, ii, с. 13, p. 145, C. Ὅστις ἄρα τι τῶν τοιούτων οἶδεν, ἐὰν μὲν παρέπηται αὐτῷ ἢ τοῦ βελτίστου ἐπιστήμη-αὐτὴ δ' ἦν ἢ αὐτὴ δῆπου ἤπερ καὶ ἡ τοῦ ὠφελίμου-φρόνιμόν γε αὐτὸν φήσομεν καὶ ἀποχρῶντα σύμβουλον, καὶ τῇ πόλει καὶ αὐτὸν ἑαυτῷ- τὸν δὲ μὴ ποιοῦντα, τὰναντία τούτων: сравните Платон, Республика, vi, стр. 504, E. Тот факт, что этот диалог, называемый Алкивиадом II, некоторые считали принадлежащим не Платону, а Ксенофону или Эсхину Сократу, не умаляет его ценности как свидетельства об умозрениях Сократа (см. Diogen. Laërt. ii, 61, 62; Athenæus, v, p. 220).

Платон, Apol. Sok. с. 17, p. 30, A. οὐδὲν γὰρ ἄλλο πρᾶττων περιέρχομαι, ἢ πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους, μήτε σωμάτων ἐπιμελεῖσθαι μήτε χρημάτων πρότερον μηδὲ οὕτω σφόδρα, ὡς τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται- λέγων ὅτι οὐκ ἐκ χρημάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ' ἐξ ἀρετῆς χρήματα καὶ τᾶλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ.

Целлер (Die Philosophie der Griechen, vol. ii, pp. 61-64) признает как факт эту ссылку сократической этики на безопасность и счастье человека как на свою цель; в то время как Брандис (Gesch. der Gr. Röm. Philosoph. ii, p. 40, seq.) прибегает к недопустимым предположениям, чтобы избежать признания этого и объяснить прямое свидетельство Ксенофонта. Оба этих автора считают эту доктрину большим пятном в философском характере Сократеса. Целлер даже говорит, за что заслуживает резкого порицания, что "эвдемонистическая основа сократовской этики отличается от *софистической моральной философии* не в принципе, а только в результате" (с. 61).

Я протестую против этого намека на *софистическую моральную философию*, и в предыдущей главе я показал свои основания для протеста. *Софистической моральной философии* не существовало. Софисты не только не были сектой или школой, но, более того, ни один из них, насколько нам известно, никогда не ставил своей целью создание какой-либо этической теории: это было великим нововведением Сократеса. Но совершенно верно, что между наставлениями Сократеса и Протагора или Продика не было большой или существенной разницы; это признает и Целлер.

[711] Существование случаев, составляющих исключения из каждого отдельного морального предписания, Сократес приводит в Xen. Mem. iv, 2, 15-19; Платон, Республика, i, 6, p. 331, C, D, E; ii, p. 382, C.

[712] Plato, Phædon, с. 88, p. 89, E. ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τάνθρώπεια ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐπεχειρεῖ τοῖς ἀνθρώποις- εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἔχρητο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡγήσατο, etc. ἢ πολιτικὴ τέχνη, Protagor. с. 27, p. 319, A; Gorgias, с. 163, p. 521, D.

Сравните Apol. Sok. с. 4, р. 20, А, В; Euthydêmus, с. 50, р. 292, E: τίς ποτ' ἐστὶν ἐπιστήμη ἐκείνη, ἣ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσειεν;...

Заметное различие между τέχνη, в отличие от ἄτεχνος τριβὴ-ἄλογος τριβὴ или ἐμπειρία, отмечается в Phædrus, с. 95, р. 260, E, и в "Горгии", с. 42, р. 463, В; с. 45, р. 465, А; с. 121, р. 501, А, замечательный отрывок. То, что в каждом искусстве есть некая определяемая цель, к которой относятся его предписания и условия, вновь изложено в "Софисте", с. 37, р. 232, А.

[713] Эта фундаментальная аналогия, которой руководствовался в своих рассуждениях Сократес, между специальными профессиями и общественной жизнью в целом, - переноса на последнюю идею предначертанной цели, теории и регулируемой практики, или искусства, которые наблюдаются в первой, - поразительно выражена в одном из афоризмов императора Марка Антонина, vi, 35: Οὐχ ὁρᾷς, πῶς οἱ βάνηται τεχνῶνται ἀρμόζονται μὲν ἄχρι τινὸς πρὸς τοὺς ἰδιώτας, οὐδὲν ἥσσον μέντοι ἀντέχονται τοῦ λόγου τῆς τέχνης, καὶ τούτου ἀποστῆναι οὐχ ὑπομένουσιν; Οὐ δεινὸν, εἰ ὁ ἀρχιτέκτων καὶ ὁ ἰατρὸς μᾶλλον αἰδέσονται τὸν τῆς ἰδίας τέχνης λόγον, ἢ ὁ ἄνθρωπος τὸν ἑαυτοῦ, ὃς αὐτῷ κοινός ἐστι πρὸς τοὺς θεοὺς;

[714] Платон (Phædr. с. 8, р. 229, E; Charmidês, с. 26, р. 164, E; Alkibiad. i, р. 124, А; 129, А; 131, А).

Ксеноф. Mem. iv, 2, 24-26. οὕτως ἑαυτὸν ἐπισκεψάμενος, ὁποῖός ἐστι πρὸς τὴν ἀνθρωπίνην χρεῖαν, ἔγνωκε τὴν αὐτοῦ δύναμιν. Цицерон (de Legib. i, 22, 59) дает парафраз этого известного текста, гораздо более расплывчатый и туманный, чем концепция Сократеса.

[715] См. поразительные беседы Сократеса с Глауконом и Шармидесом, особенно с первым, в Xen. Mem. iii, с. 6, 7.

[716] Нет ни одной части Платона, в которой эта доксософия, или ложное представление о мудрости, была бы более серьезно осуждена, чем в "Софисте", с уведомлением об эленхусе, или перекрестном допросе разоблачении, как единственном эффективном лекарстве от такого фундаментального порока ума; как истинный очистительный процесс (Sophistês, с. 33-35, pp. 230, 231).

См. тот же процесс, проиллюстрированный Сократесом после его вопросов к рабу Менона (Платон, Менон, с. 18. р. 84, В; Charmidês, с. 30, р. 166, D).

Как платоновский Сократес, даже в "Защите", где его собственная личность проявляется наиболее ярко, осуждает как худший и глубочайший из всех умственных пороков, это представление о знании без реальности, ἡ ἀμαθία αὐτῇ ἢ ἐπονείδιστος, ἢ τοῦ οἶεσθαι εἰδέναι ἢ οὐκ οἶδεν, с. 17, р. 29, В, - так и ксенофонт Сократес в той же манере рассматривает этот же душевный недуг как близкий к безумию и тщательно отличает его от простого незнания или сознательного невежества: Μανίαν γε μὴν ἐναντίον μὲν ἔφη εἶναι σοφίαν, οὐ μέντοι γε τὴν ἀνεπιστημοσύνην μανίαν ἐνόμιζεν. Τὸ δὲ ἀγνοεῖν ἑαυτὸν, καὶ ἃ μὴ τις οἶδε δοξάζειν, καὶ οἶεσθαι γινώσκειν, ἐγγυτάτω μανίας ἐλογίζετο εἶναι (Mem. iii, 9, 6). Это убеждение, таким образом, стоит на первом месте в умственном характере Сократеса, и по лучшим свидетельствам, Платон и Ксенофонт объединились.

[717] Xenoph. Mem. iv, 2, 40. Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκράτους οὐκέτι αὐτῷ προσήεσαν, οὐς καὶ βλακωτέρους ἐνόμιζεν.

[718] Plato, Apol. Sok. с. 9, р. 23, А. Οἶονται γάρ με ἐκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν, ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω.

Ibid. с. 10, p. 23, C. Πρὸς δὲ τούτοις, οἱ νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες, οἷς μάλιστα σχολή ἐστίν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων, αὐτόματοι χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἴτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν, и т.д.

Сравните также ibid. с. 22, p. 33, C; с. 27, p. 37, D.

[719] Это интересное свидетельство сохранилось у Аристоксена, по свидетельству его отца Спинтаруса, который слышал Сократеса (Aristox. Frag. 28, ed. Didot). Спинтарус сказал в отношении Сократеса: ὅτι οὐ πολλοῖς αὐτός γε πιθανωτέροις ἐντετυχηκῶς εἶη- τοιαύτην εἶναι τὴν τε φωνὴν καὶ τὸ στόμα καὶ τὸ ἐπιφαινόμενον ἦθος, καὶ πρὸς πᾶσι τε τοῖς εἰρημένοις τὴν τοῦ εἶδους ιδιότητα.

Из примечательного отрывка в "Симпозиуме" Платона, с. 39, p. 215, A, кажется очевидным, что и на него, должно быть, сильно повлияла необычная физиономия Сократеса: ср. Xenoph. Sympos. iv. 19.

[720] Aristot. de Sophist. Elench. с. 32, p. 183, b. 6. Сравните также Плутарх, Quæst. Platonic. p. 999, E. Τὸν οὖν ἐλεγκτικὸν λόγον ὥσπερ καθαρτικὸν ἔχων φάρμακον, ὁ Σωκράτης ἀξιόπιστος ἦν ἐτέρους ἐλέγχων, τῷ μὲν ἀποφαίνεσθαι- καὶ μᾶλλον ἥπτετο, δοκῶν ζητεῖν κοινῇ τὴν ἀλήθειαν, οὐκ αὐτὸς ἰδίᾳ δόξῃ βοηθεῖν.

[721] Xenoph. Mem. iv, 4, 9.

Plato, Gorgias, с. 81, p. 481, B. σπουδάζει ταῦτα Σωκράτης ἢ παίζει; Republic, i, с. 11, p. 337, A. αὐτὴ ἐκείνη ἡ εἰωθυῖα εἰρωνεία Σωκράτους, etc (Apol. Sok. с. 28, p. 38, A.)

[722] Diog. Laërt. ii, 16; Cicero, De Nat. Deor. i, 34, 93. Цицерон (Brutus, 85, 292) также рассматривает иронию Сократеса как направленную на то, чтобы высмеять и унижить его коллег-диалогов, и иногда она представляется такой в диалогах Платона. Однако я сомневаюсь, что реальный Сократес мог иметь какие-либо ярко выраженные цели такого рода.

[723] Начало Xen. Mem. i, 4, 1, особенно поразительно в этом отношении: Εἰ δέ τινες Σωκράτην νομίζουσιν (ὡς ἔνιοι γράφουσιν τε καὶ λέγουσιν περὶ αὐτοῦ τεκμαιρόμενοι) *προτρέψασθαι μὲν* ἀνθρώπους ἐπ' ἀρετὴν κράτιστον γεγενέσθαι, *προαγαγεῖν δὲ* ἐπ' αὐτὴν οὐχ ἱκανόν-σκεψάμενοι μὴ μόνον ἃ *ἐκεῖνος* *κολαστηρίου ἕνεκα* τοὺς πάντ' *οἰόμενους εἰδέναι ἐρωτῶν* ἤλεγχεν, ἀλλὰ καὶ ἃ λέγων συνδιημέρευε τοῖς συνδιατρίβουσιν, δοκιμαζόντων, εἰ ἱκανὸς ἦν βελτίους ποιεῖν τοὺς συνόντας.

[724] Ксенофонт, описав диалог, в котором Сократес перекрестно допрашивает и унижает Евтидема, говорит в конце: Ὁ δὲ (Sokratês) ὡς ἔγνω αὐτὸν οὕτως ἔχοντα, ἥκιστα μὲν αὐτὸν *διετάραπτεν*, *ἀπλούστατα δὲ καὶ σαφέστατα* ἐξηγεῖτο ἃ τε ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν, καὶ ἃ ἐπιτηδεύειν κράτιστα εἶναι.

Опять же, iv, 7, 1. Ὅτι μὲν οὖν *ἀπλῶς τὴν* ἑαυτοῦ γνώμην ἀπεφαίνετο Σωκράτης πρὸς τοὺς ὁμιλοῦντας αὐτῷ, δοκεῖ μοι δῆλον ἐκ τῶν εἰρημένων εἶναι, и т. д.

Его читатели, очевидно, могли сомневаться и требовали доказательств того, что Сократес мог говорить *прямо, непосредственно и позитивно*: настолько лучше была известна другая сторона его характера.

[725] Plato, Sophistês, с. 17, p. 230, A. μετὰ δὲ πολλοῦ πόνου τὸ νουθετητικὸν εἶδος τῆς παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν, etc. Сравните фрагмент Демокрита в издании Муллаха Fragm. Demokrit. p. 175. Fr. Moral 59. Τὸν οἰόμενον νόον ἔχειν ὁ νουθετέων ματαιοπονέει.

Сравните Платон, Epistol. vii, pp. 343, 344.

[726] Сравните два отрывка из "Протагора" Платона, с. 49, р. 329, А, и с. 94, р. 348, D; и "Федр", с. 138-140, р. 276, А, Е.

[727] Plato, Men. с. 13. р. 80, А. ὁμοιότατος τῇ πλατείᾳ νάρκη τῇ θαλασσίᾳ.

[728] Эта тройная градация интеллектуальной шкалы представлена Платоном в Симпозиуме, с. 29, р. 204, А, и в Лисисе, с. 33, р. 218, А.

Промежуточная точка шкалы - это то, что Платон здесь, хотя и не всегда, выражает словом φιλόσοφος в его строгом этимологическом смысле, "любитель знания"; тот, кто еще не мудр, но кто, научившись знать и чувствовать свое собственное невежество, стремится стать мудрым - и таким образом сделал то, что Платон считал самым большим и самым трудным шагом к тому, чтобы действительно стать таковым.

[729] Эффект процедуры допроса Сократеса, заставляющей умы юношей унизительно сознавать свое невежество и страстно желать освободиться от него, не менее убедительно подтверждается более простым языком Ксенофонта, чем метафорическим разнообразием Платона. См. разговор с Эвтидеком в "Воспоминаниях" Ксенофонта, iv, 2; длинный диалог, который заканчивается исповедью последнего (с. 39): Ἀναγκάζει με καὶ ταῦτα ὁμολογεῖν δηλονότι ἢ ἐμὴ φαυλότης- καὶ φροντίζω μὴ κράτιστον ἢ μοι σιγᾶν- κινδυνεύω γὰρ ἀπλῶς οὐδὲν εἰδέναι. Καὶ πάνυ ἀθύρως ἔχων ἀπῆλθε- καὶ νομίσας τῷ ὄντι ἀνδράποδον εἶναι: ср. i, 1, 16.

Это же выражение, "считая себя не лучше раба", Платон вкладывает в уста Алкивиада, когда тот описывает сильное воздействие, оказанное на его разум беседой с Сократесом (Symposion, с. 39, р. 215, 216): Περικλέους δὲ ἀκούων καὶ ἄλλων ἀγαθῶν ῥητόρων εὖ μὲν ἡγούμην, τοιοῦτον δ' οὐδὲν ἔπασχον, οὐδὲ τεθορύβητό μου ἡ ψυχὴ οὐδ' ἡγανάκτει ὡς ἀνδραποδωδῶς διακειμένου. Ἀλλ' ὑπὸ τούτου τοῦ Μαρσύου πολλάκις δὴ οὕτω διετέθην, ὥστε μοι δόξαι μὴ βιωτὸν εἶναι ἔχοντι ὡς ἔχω.

Сравните также "Мено", с. 13, р. 79, Е, и "Теэтет", с. 17, 22, р. 148, Е, 151, С, где метафора беременности и акушерского искусства Сократеса расширена: πάσχουσι δὲ δὴ οἱ ἐμοὶ συγγινόμενοι καὶ τοῦτο ταῦτόν ταῖς τικτούσαις- ὠδίνουσι γὰρ καὶ ἀπορίας ἐμπίμπλονται νυκτὰς τε καὶ ἡμέρας πολὺ μᾶλλον ἢ ἐκεῖναι. Ταύτην δὲ τὴν ὠδῖνα ἐγείρειν τε καὶ ἀποπαύειν ἢ ἐμὴ τέχνη δύναται. - Ἐνίστε δὲ, οἱ ἄν μὴ μοι δόξωσιν πως ἐγκύμονες εἶναι, γνοὺς ὅτι οὐδὲν ἐμοῦ δέονται, πάνυ εὐμενῶς προμνῶμαι, etc.

[730] В "Меморабилии" Ксенофонта есть поразительное выражение о Сократесе и его разговоре (i, 2, 14):- "Он обращался с каждым так же, как с другими".

"В своих беседах он поступал с каждым так, как ему было угодно", - говорит Ксенофонт: τοῖς δὲ διαλεγόμενοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως ἐβούλετο.

[731] Я не знаю ничего, так ясно иллюстрирующего как темы, так и метод, избранный Сократесом, как различные отрывки бессмертной критики в Новом Органоне. Когда Сократес, как рассказывает Ксенофонт, посвящал свое время расспросам других: "Что такое благочестие? Что такое справедливость? Что такое воздержание, мужество, политическое правление?" и т. д., мы лучше всего понимаем дух его процедуры, сравнивая приговор, который Бэкон выносит *первым понятиям интеллекта - в корне порочным, запутанным, плохо абстрагированным от вещей и нуждающимся в полном пересмотре и ревизии*, - без которых, по его словам, ни одному из них нельзя доверять: - "Quod vero attinet et al.

"Quod vero attinet ad notiones primas intellectûs, nihil est eorum, quas intellectus sibi permissus conguessit, quin nobis pro suspecto sit, nec ullo modo ratum nisi novo iudicio se stiterit, et secundum illud pronuntiatum fuerit." (Distributio Operis, префикс к N. О. p. 168, издания г-на Montary.) "Serum sane rebus perditis adhibetur remedium, postquam mens ex quotidianâ vitæ consuetudine, et auditionibus, et doctrinis inquinatis occupata, et vanissimis idolis obsessa fuerit..... Restat unica salus ac sanitas, ut *opus mentis universum de integro resumatur; ac mens, jam ab ipso principio, nullo modo sibi permittatur, sed perpetuo regatur.*" (Ib. Præfatio, p. 186.) "Syllogismus ex propositionibus constat, propositiones ex verbis, verba notionum tesseræ sunt. Itaque si notiones ipsæ (id quod basis rei est) confusæ sint et temere a rebus abstractæ, nihil in iis quæ superstruuntur est firmitudinis. Itaque spes est una in inductione verâ. *In notionibus nihil sani est, nec in logicis, nec in physicis. Non Substantia, non Qualitas, Agere, Pati, ipsum Esse, bonæ, notiones sunt;* multo minus Grave, Leve, Der sum, Tenue, Humidum, Siccum, Generatio, Corruptio, Attrahere, Fugare, Elementum, Materia, Forma, et id Genus; sed omnes phantasticæ et male terminatæ. Notiones infimarum specierum, Hominis, Canis, et prehensionum immediatarum sensus, Albi, Nigri, non fallunt magnopere: *reliquæ omnes (quibus homines hactenus usi sunt) aberrationes sunt, nec debitis modis a rebus abstractæ et excitatæ.*" (Aphor. 14, 15, 16.) "Nemo adhuc tantâ mentis constantiâ et rigore inventus est, ut decreverit et sibi imposuerit, *theorias et notiones communes penitus abolere, et intellectum abrasum et æquum ad particularia de integro applicare. Itaque ratio illa quam habemus, ex multâ fide et multo etiam casu, necnon ex puerilibus, quas primo hausimus, notionibus, farrago quædam est et congeries.*" (Aphor. 97.) "Nil magis philosophiæ offecisse deprehendimus, quam quod res quæ familiares sunt et frequenter occurrunt, contemplationem hominum non morentur et detineant, sed recipiantur obiter, neque earum causæ quasi soleant; ut non sæpius requiratur informatio de rebus ignotis, quam attentio in notis." (Aphor. 119.)

Эти и многие другие отрывки, которые можно было бы извлечь из "Нового Органона", служат наглядной иллюстрацией и интересной параллелью к духу и целям Сократеса. Он стремился проверить фундаментальные понятия и обобщения, касающиеся человека и общества, в том же духе, в каком Бэкон подходил к физике: он подозревал бессознательный процесс растущего интеллекта и хотел пересмотреть его, сравнивая с частностями; причем с частностями наиболее ясными и определенными, но на которые, в силу их вульгарности, обращали меньше всего внимания. И то, что Сократес называл на своем языке "представлением о знании без реальности", идентично тому, что Бэкон обозначает как *первичные понятия, грубые представления, отклонения*, оставленные интеллектом самому себе, которые стали настолько привычными и кажутся настолько безусловно известными, что разум не может от них избавиться и потерял всякую привычку, можно сказать, всякую силу, чтобы их исследовать.

Жесткий процесс - или электрический шок, если использовать платоновский "Менон", - сократовского эленхуса - лучшее средство реанимировать эту утраченную силу. И то, как Платон говорит об этом перекрестном эленхусе, как о "великом и суверенном очищении, без которого каждый человек, будь он сам великий царь, невоспитан, грязен, и падает от нечистоты в отношении главных условий счастья" - καὶ τὸν ἔλεγχον λεκτέον ὡς ἄρα μεγίστη καὶ κυριωτάτη τῶν καθάρσεων ἐστὶ, καὶ τὸν ἀνέλεγκτον αὖ νομιστέον, ὃν καὶ τυγχάνη μέγας βασιλεὺς ὢν, τὰ μέγιστα ἀκάθαρτον ὄντα- ἀπαίδευτόν τε καὶ αἰσχρὸν γεγόνενα ταῦτα, ἃ καθαρώτατον καὶ κάλλιστον ἔπρεπε τὸν ὄντως ἐσόμενον εὐδαίμονα εἶναι; Платон, Софист. с. 34, р. 230, Е, - точно соответствует тому *"перекрестному исследованию человеческого разума в его естественном или спонтанном процессе"*, которое Бэкон определяет как одну из трех вещей, необходимых для изгнания интеллекта, чтобы подготовить его к постижению истины: "Itaque doctrina ista de expurgatione intellectûs, ut ipse ad veritatem habilis sit, tribus

redargutionibus absolvitur; redargutione philosophiarum, redargutione demonstrationum, et redargutione rationis humanæ nativæ." (Nov. Organ. Distributio Operis, p. 170, ed. Montagu.)

Чтобы показать далее, насколько существенно, по мнению лучших судей, что родной интеллект должен быть очищен, прежде чем он сможет должным образом постичь истины физической философии, я привожу вступительный отрывок из "Астрономии" сэра Джона Гершеля: "-...

"Приступая к любой научной деятельности, студент должен в первую очередь подготовить свой разум к восприятию истины, отбросив или, по крайней мере, ослабив его хватку на всех грубых и поспешно принятых представлениях об объектах и отношениях, которые он собирается изучать, и которые могут смутить или ввести его в заблуждение; и укрепить себя, сделав *над собой усилие и решимость*, чтобы беспристрастно принять любой вывод, который окажется подкрепленным тщательным наблюдением и логическими аргументами; даже если он окажется противоречащим представлениям, которые он, возможно, ранее сформировал для себя или принял без проверки по заслугам других. *Такая попытка, по сути, является началом той интеллектуальной дисциплины, которая составляет одну из важнейших целей всей науки.* Это первое движение на пути к тому состоянию душевной чистоты, которое только и может подготовить нас к полному и устойчивому восприятию нравственной красоты, равно как и физической адаптации. Это "ефрейтор и рю", *которыми мы должны очистить наше зрение, прежде чем мы сможем принять и созерцать, как они есть, линии истины и природы*". (Сэр Джон Гершель, Астрономия; Введение).

Я мог бы легко привести множество цитат из других выдающихся авторов по физической философии с той же целью. Все они предписывают это интеллектуальное очищение: Сократес не только предписывал, но и фактически проводил его с помощью своего эленхуса в отношении предметов, о которых он говорил".

[732] См. особенно примечательный отрывок в Филебусе, с. 18, с. 16 и далее.

[733] См. об этом поучительное изложение в "Системе логики" г-на Джона Стюарта Милля, т. ii, кн. vi, с. 565, 1-е издание.

[734] Лорд Бэкон замечает в "Новом Органоне" (Aph. 71): - "Erat autem sapiente".

"Erat autem sapientia Græcorum professoria, et in disputationes effusa, quod genus inquisitioni veritatis adversissimum est. Itaque nomen illud Sophistarum-quod per contemptum ab iis, qui se philosophos haberi voluerunt, in antiquos rhetores rejectum et traductum est, Gorgiam, Protagoram, Hippiam, Polum-etiam universo generi competit, Platoni, Aristoteli, Zenoni, Epicuro, Theophrasto, et eorum successoribus, Chrysippo, Carneadi, reliquis."

Бэкон совершенно прав, когда стирает различие между двумя списками людей, которых он сравнивает, и говорит, что последние были такими же софистами, как и первые, как в том смысле, который он придает этому слову, так и во всех других законных смыслах. Но он не имеет оснований вменять в вину ни одному из них эту многогранную аргументацию, смотря по предметам, на которых они ее применяли. Его замечание применимо к более простым физическим наукам, но никак не к моральным. Оно имело большую актуальность и ценность в то время, когда он его выдвинул, и в связи с важными реформами, которые он стремился осуществить в физической науке. В той мере, в какой Платон, Аристотель или другие греческие философы применяют свой дедуктивный метод к физическим предметам, они справедливо подвергаются порицанию Бэкона. Но и здесь вина состоит не столько в том, что

они слишком много спорят, сколько в том, что они слишком поспешно признают ложные или неточные аксиомы без спора.

[735] Aristotel. *Metaphysic.* iii, 1, 2-5, p. 995, *a*.

Необходимость для философа иметь перед собой все трудности и сомнения проблемы, которую он пытается решить, и рассматривать философский вопрос с таким же попеременным вниманием к его утвердительной и отрицательной стороне, какое судья проявляет к двум тяжущимся сторонам, поразительно изложена в этом отрывке. Привожу его часть в транскрипции: Ἐστὶ δὲ τοῖς εὐπορῆσαι βουλομένοις προὔργου τὸ διαπορῆσαι καλῶς- ἡ γὰρ ὕστερον εὐπορία λύσις τῶν πρότερον ἀπορουμένων ἐστὶ, λύειν δ' οὐκ ἐστὶν ἀγνοοῦντας τὸν δεσμόν.... Διὸ δεῖ τὰς δυσχερείας τεθεωρηκέναι πάσας πρότερον, τούτων τε χάριν, καὶ διὰ τὸ τοὺς ζητοῦντας ἄνευ τοῦ διαπορῆσαι πρῶτον, ὁμοίους εἶναι τοῖς ποῖ δεῖ βαδίζειν ἀγνοοῦσι, καὶ πρὸς τούτοις οὐδ' εἴ ποτε τὸ ζητούμενον εὔρηκεν, ἢ μὴ, γινώσκειν- τὸ γὰρ τέλος τούτῳ μὲν οὐ δῆλον, τῷ δὲ προηπορηκότι δῆλον. Ἔτι δὲ βέλτιον ἀνάγκη ἔχειν πρὸς τὸ κρίνειν, τὸν ὥσπερ ἀντιδίκων καὶ τῶν ἀμφισβητούντων λόγων ἀκηκοῦτα πάντων.

Чуть дальше, в той же главе (iii, 1, 19, p. 996, *a*), он делает замечательное наблюдение. В этих философских вопросах не только трудно докопаться до истины, но и нелегко хорошо выполнить даже предварительную задачу по выявлению и изложению рациональных трудностей, с которыми приходится иметь дело: Περὶ γὰρ τούτων ἀπάντων οὐ μόνον χαλεπὸν τὸ εὐπορῆσαι τῆς ἀληθείας, ἀλλ' οὐδὲ τὸ διαπορῆσαι τῷ λόγῳ ῥᾶδιον καλῶς. Διαπορῆσαι означает то же, что и διεξελεῖν τὰς ἀπορίας (Bonitz. not. *ad loc.*), "проходить через различные трудности".

Этот последний отрывок хорошо иллюстрирует характерный дар Сократеса, который был именно тем, что Аристотель называет τὸ διαπορῆσαι λόγῳ καλῶς; навязывать уму слушателя те рациональные трудности, которые служили и толчком, и руководством к решению и положительной истине; к всестороннему и правильному обобщению, с ясным сознанием общего признака, связывающего вместе различные включенные в него частности.

Та же забота о том, чтобы признать и даже пригласить развитие отрицательной стороны вопроса, принять на себя обязательство бороться со всеми трудностями, уподобить процесс исследования судебному ходатайству, видна и в других отрывках Аристотеля; см. *Ethic. Nikomach.* vii, 1, 5; *De Animâ*, i, 2. p. 403, *b*; *De Cœlo*, i, 10, p. 279, *b*; *Topica*, i, 2, p. 101, *a*: (Χρήσιμος δὲ ἡ διαλεκτικὴ) πρὸς τὰς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιστήμας, ὅτι δυνάμενοι πρὸς ἀμφοτέρα διαπορῆσαι, ῥᾶον ἐν ἐκάστοις κατοψόμεθα τὰληθές τε καὶ τὸ ψεῦδος. Сравните также Цицерона, *Tusc. Disput.* ii, 3, 9.

[736] Цицерон (*de Orator.* iii, 16, 61; *Tuscul. Disput.* v, 4, 11): "Cujus (Socratis) multiplex ratio disputandi, rerumque varietas, et ingenii magnitudo, Platonis ingenio et literis consecrata, plura genera effecit dissidentium philosophorum." Перечислены десять разновидностей сократических философов, но я не придаю особого значения их точному числу.

[737] При изложении этической цели язык Сократа, насколько мы можем судить по Ксенофону и Платону, кажется, не всегда соответствовал самому себе. Иногда он излагал ее так, будто она включала в себя ссылку на счастье не только самого агента, но и других людей; и то и другое - сопутствующие элементы; в другое время он, кажется, говорит так, будто цель - это не что иное, как счастье самого агента, хотя счастье других - одно из величайших и важнейших средств. Первую точку зрения скорее поддерживает Ксенофонт, лучший свидетель о своем учителе, так что я привел ее как принадлежащую Сократесу, хотя и не всегда ее придерживаюсь. Последняя точка зрения больше всего проявляется у Платона,

который отождествляет здоровье души со здоровьем тела, что является целью, по сути, самодостаточной.

[738] Cicero, de Orator. i, 47, 204.

[739] Xenoph. Mem. iii, 9, 4; Aristot. Ethic. Nikomach. vi, 13, 3-5; Ethic. Eudem. i, 5; Ethic. Magn. i, 35.

[740] Xenoph. Mem. iii, 9, 6; iv, 2, 19-22. δικαιότερον δὲ τὸν ἐπιστάμενον τὰ δίκαια τοῦ μὴ ἐπιστάμενου. Назвать его справедливейшим из двух, когда ни один из них не справедлив, едва ли можно подразумевать: я перевожу это в соответствии с тем, что кажется мне подразумеваемым. Так ὑραγματικώτερον, в предыдущем предложении, означает, приближается к хорошему орфографу. Греческие производные прилагательные на -ικὸς очень трудно передать точно.

Сравните Платон, Гиппиас Малый, с. 15, р. 372, D, где придерживаются того же мнения. Гиппиас говорит Сократесу в этом диалоге (с. 11, р. 369, B), что он фиксирует свой ум на части истины, а остальное не замечает.

[741] Xenoph. Memor. iii, 9, 14, 15.

[742] Xenoph. Mem. ii, 6, 39. ὅσαι δ' ἐν ἀνθρώποις ἀρεταὶ λέγονται ταύτας πάσας σκοπούμενος εὐρήσεις μαθήσει τε καὶ μελέτῃ αὐξανόμενας. Вновь внушается необходимость практики или дисциплины, iii, 9, 1. Когда Сократ перечисляет качества, необходимые для хорошего друга, он говорит не только о превосходных знаниях, но и о нравственном совершенстве; о постоянстве, самодостаточном нраве, мягкости, благодарном расположении (с. ii, 6, 1-5).

Кроме того, Сократес утверждает, что непрерывность, или самообладание, является основой добродетели: τὴν ἐγκράτειαν ἀρετῆς κρηπίδα (i, 5, 4). Кроме того, *непрерывность* была необходима для того, чтобы человек мог приобретать знания (iv, 5, 10, 11).

Сократес здесь явно рассматривает ἐγκράτειαν (непрерывность, или самообладание) не как состояние интеллектуального человека, но как основу добродетели. Поэтому, похоже, он не применял последовательно свое общее учение о том, что добродетель состоит только в знании или в совершенстве интеллектуального человека. Возможно, он мог бы сказать: Одного знания будет достаточно, чтобы сделать вас добродетельным; но прежде чем вы сможете приобрести знание, вы должны предварительно обуздать свои эмоции и аппетиты. Это просто уклоняется от возражения, не спасая достаточность общей доктрины.

Я не могу согласиться с Риттером (Gesch. der Philos. vol. ii, ch. 2, p. 78) в том, что Сократес подразумевал под *знанием*, или *мудростью*, трансцендентный атрибут, выше человечества и такой, которым обладает только бог. Это ни в коем случае не согласуется с тем практическим представлением о человеческой жизни и ее целях, которое так ярко выражено в его характере.

Почему мы должны считать удивительным, что Сократес предложил несовершенную теорию, которая охватывает только одну сторону большого и сложного вопроса? Если учесть, что его теория была первой, основанной на данных, действительно относящихся к предмету, то удивительно, что она была так близка к истине.

[743] Xen. Mem. iii, 9, 10, 11.

[744] Xen. Mem. i, 2, 9.

[745] Xen. Mem. iii, 9, 12: сравните Платон, Горгиас, с. 56. pp. 469, 470.

[746] Plato, Apol. Sok. с. 2, p. 18, B; с. 16, p. 28, A. Ὁ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή μοι ἀπέχθεια γέγονεν καὶ πρὸς πολλοὺς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές ἐστιν. Καὶ τοῦτ' ἐστὶν ὃ ἐμὲ αἰρήσει, ἄνπερ αἰρή- οὐ Μέλητος οὐδὲ Ἄνυτος, ἀλλ' ἢ τῶν πολλῶν διαβολὴ καὶ φθόνος.

Выражение τῶν πολλῶν в этой последней строке употреблено не в самом распространенном значении, а эквивалентно τούτων τῶν πολλῶν.

[747] Xen. Mem. iv, 2, 40. Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν οὕτω διατεθέντων ὑπὸ Σωκράτους οὐκέτι αὐτῷ προσήεσαν, οὐς καὶ βλακωτέρους ἐνόμιζεν.

[748] Plato, Euthyphron, с. 2, p. 3, C. εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλοὺς.

[749] См. Xenoph. Apol. Sok. sects. 29, 30. Этот небольшой фрагмент носит очень ошибочное название и, возможно, не является сочинением Ксенофонта, как обычно утверждают комментаторы; но он имеет все признаки произведения того времени.

[750] Платон, Apol. Sok. с. 10, p. 23, C; с. 27, p. 37, E.

[751] Isokrat. Or. xviii, cont. Kallimach. s. 30.

[752] См. Платон, Менон, с. 27, 28, pp. 90, 91.

[753] *Æschinês*, cont. Тимарх. с. 34, с. 74. Ὑμεῖς Σωκράτη τὸν σοφιστὴν ἀπεκτείνετε, ὅτι Κριτίαν ἐφάνη πεπαιδευκῶς, etc. Xenoph. Mem. i, 2, 12.

[754] См. Платон (Charmidês, с. 3, p. 154, C; Lysis, с. 2, p. 201, B; Protagoras, с. 1, p. 309, A) и др.

[755] Plato, Apol. Sok. с. 14, p. 26, C.

[756] Xen. Mem. i. 2, 64; i, 3, 1.

[757] Plato, Apol. Sok. с. 3, p. 19, B.

[758] Plato, Apol. Sok. с. 3, p. 19, C.

[759] Xen. Mem. i. 1, 13.

[760] Xen. Mem. i, 2, 9.

[761] Xen. Mem. i, 2, 12.

[762] Xen. Mem. i, 2, 49-53.

[763] Xen. Mem. i, 2, 56-59.

[764] Xen. Mem. i, 2, 59.

[765] Xen. Mem. i, 2, 55. Καὶ παρεκάλει ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι καὶ ὠφελιμώτατον, ὅπως, ἐάν τε ὑπὸ πατρὸς ἐάν τε ὑπὸ ἀδελφοῦ ἐάν τε ὑπ' ἄλλου τινὸς βούληται τιμᾶσθαι, μὴ τῷ οἰκεῖος εἶναι πιστεύων ἀμελεῖν, ἀλλὰ πειρᾶται, ὑφ' ὧν ἂν βούληται τιμᾶσθαι, τούτοις ὠφέλιμος εἶναι.

[766] Xen. Mem. i, 2, 9. τοὺς δὲ τοιούτους λόγους ἐπαίρειν ἔφη τοὺς νέους καταφρονεῖν τῆς καθεστῶσης πολιτείας, καὶ ποιεῖν βιαίους.

[767] Plato, Apol. Sok. c. 5, p. 21. A; c. 20, p. 32, E; Xen. Mem. 1, 2, 31.

[768] Plato, Apol. Sok. c. 25, p. 36, A; Diog. Laërt. ii, 41. Диоген говорит, что его осудили двести восемьдесят один ψήφοις πλείοσι τῶν ἀπολυούσων. Если бы он хотел сказать, что приговор был вынесен *большинством* в двести восемьдесят один голос против оправдывающих голосов, то это противоречило бы "Апологии Платона", которая уверяет нас без всякого сомнения, что большинство было не больше пяти или шести, так что поворот трех голосов изменил бы приговор. Но поскольку число двести восемьдесят один кажется точным и само по себе не заслуживает доверия, некоторые комментаторы толкуют его, хотя слова в их нынешнем виде вызывают недоумение, как совокупность большинства. Поскольку "Апология Платона" доказывает, что это было большинство из пяти или шести человек, то меньшинство, следовательно, будет составлять двести семьдесят шесть человек, а общее число - пятьсот пятьдесят семь.

[769] Xen. Mem. iv, 8, 4, seq. Он узнал этот факт от Гермогена, который слышал его от самого Сократеса.

[770] Xen. Mem. iv, 8, 9, 10.

[771] Plato, Phædon, c. 60, p. 77, E. ἀλλ' ἴσως ἓν τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα φοβεῖται. Τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον, ὥσπερ τὰ μормολύκεια.

[772] Plato, Apol. Sok. c. 17, p. 29, C.

[773] Plato, Apol. Sok. c. 2, p. 19, A. Βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτω γενέσθαι, εἴτι ἄμεινον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοῖ, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον- οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει οἷόν ἐστι. Ὅμως δὲ τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ δὲ νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον.

[774] Plato, Apol. Sok. c. 5, p. 20, D. Καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν-εἴ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. Опять же, c. 28, p. 37, E. Ἐάν τε γὰρ λέγω, ὅτι τῷ θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ' ἐστὶ, καὶ διὰ τοῦτ' ἀδύνατον ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ μοι ὡς εἰρωνευομένῳ.

[775] Plato, Apol. Sok. c. 17, p. 20, A.

[776] Plato, Apol. Sok. c. 17, p. 30, B.

[777] Plato, Apol. Sok. c. 17, p. 30, A, B. οἶμαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν.

[778] Plato, Apol. Sok. c. 18, p. 30, B.

[779] Plato, Apol. Sok. c. 18, p. 30, B. καὶ γὰρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες-ἐὰν ἐμὲ ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε ἢ ὑμᾶς αὐτούς.

[780] Plato, Apol. Sok. c. 18, p. 30, E. πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὡς τις ἂν οἶοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑμῶν μὴ τι ἐξαμάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ καταψηφισάμενοι- ἐὰν γὰρ ἐμὲ ἀποκτείνητε, οὐ ῥαδίως ἄλλον τοιοῦτον εὐρήσετε, и т.д.

[781] Plato, Apol. Sok. c. 20, 21, p. 33.

[782] Plato, Apol. Sok. c. 22.

[783] Plato, Apol. Sok. с. 17, р. 29, В. Противопоставьте это поразительное и истинно сократовское чувство страха смерти обыденному способу, с помощью которого Сократес рассматривает ту же тему в Xenoph. Memor. i, 4, 7.

[784] Plato, Apol. Sok. с. 23, pp. 34, 35. Я перевожу суть, а не слова.

[785] Plato, Apol. Sok. с. 24, р. 35.

[786] Это поразительные слова Тацита (Hist. ii, 54) о последних часах императора Оттона, после того как его самоубийство было полностью решено, но еще не совершено: промежуток времени, проведенный в самых тщательных и предусмотрительных приготовлениях для безопасности и благополучия тех, кто его окружал: "ipsum viventem quidem relictum, sed solâ posteritatis curâ, et abruptis vitæ blandimentis".

[787] Plato. Apol. Sok. с. 25, р. 36, А. Οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἐκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. Οὐ γὰρ ὥμην ἔγωγε οὕτω παρ' ὀλίγον ἔσεσθαι, ἀλλὰ παρὰ πολὺ и т. д.

[788] Xenoph. Mem. iv, 4, 4. Ἐκεῖνος οὐδὲν ἠθέλησε τῶν εἰωθότων ἐν τῷ δικαστηρίῳ παρὰ τοὺς νόμους ποιῆσαι- ἀλλὰ ῥαδίως ἂν ἀφεθεῖς ὑπὸ τῶν δικαστῶν, εἰ καὶ μετρίως τι τούτων ἐποίησε, προείλετο μᾶλλον τοῖς νόμοις ἐμμένων ἀποθανεῖν, ἢ παρανομῶν ζῆν.

[789] Цицерон (de Orat. i, 54, 231): "Socrates ita in iudicio capitis pro se ipse dixit, ut non supplex aut reus, sed *magister aut dominus videretur esse iudicum*." Так же и Эпиктет заметил в связи с защитой Сократеса: "Во что бы то ни стало воздерживайся от мольбы о пощаде; но не говори специально, что ты воздержишься, если только ты не намерен, подобно Сократесу, специально спровоцировать судей". (Априан, Epiktêt. Diss. ii, 2, 18.)

[790] Квинтилиан, Inst. Or. ii, 15, 30; xi, 1, 10; Diog. Laërt. ii, 40.

[791] Plato. Apol. Sok. с. 26, 27, 28, pp. 37, 38. Я привожу, насколько могу, содержательные предложения, не считая эмфатического языка оригинала.

[792] См. Платон, Крито, с. 5, р. 45, В.

[793] Plato, Apol. Sok. с. 31, р. 40, В; с. 33, р. 41, D.

[794] Plato, Apol. Sok. с. 32, р. 40, C; p. 41, B.

[795] Plato, Apol. Sok. с. 30, р. 39, C.

[796] Plato, Krito, с. 2, 3, seq.

[797] Plato, Phædon, с. 77, р. 84, E.

[798] Plato, Phædon, с. 155, р. 118, A.

[799] Cicero, Academ. Post. i, 12, 44. "Cum Zenone Arcesilas sibi omne certamen instituit, non pertinaciâ aut studio vincendi (ut mihi quidem videtur), sed earum rerum obscuritate, quæ ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem, et jam ante Socratem, Democritum, Anaxagoram, Empedoclem, omnes pene veteres; qui nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri, posse, dixerunt.... Itaque Arcesilas negabat, esse quidquam, quod sciri posset, no illud quidem ipsum, quod Socrates sibi reliquisset: sic omnia latere in occulto." Сравните Academ. Prior. ii, 23, 74; de Nat. Deor. i, 5, 11.

В другом отрывке (Academ. Post. i, 4, 17) Цицерон говорит (или, скорее, представляет Варро как говорящего) довольно путано. Он говорит об "illam Socraticam dubitationem de omnibus rebus, et nullâ affirmatione adhibitâ, consuetudinem disserendi"; но за несколько строк до этого он сказал, что подразумевает, что люди могут, по мнению Сократа, прийти к познанию и знанию того, что относится к человеческому поведению и человеческим обязанностям.

И снова (в Tusc. Disp. i, 4, 8) он признает, что Сократес преследовал положительную скрытую цель в своих негативных вопросах: "vetus et Socratica ratio contra alterius opinionem disserendi: nam ita facillime, quid veri simillimum esset, inveniri posse Socrates arbitrabatur."

Теннеманн (Gesch. der Philos. ii, 5, vol. ii, pp. 169-175) пытается провести значительную аналогию между Сократесом и Пирром. Но мне кажется, что аналогия доходит только до того, что оба сходятся в отрицании всех спекуляций, не связанных с этикой (см. стихи Тимона о Пирре, Diog. Laërt. ix, 65). Но в том, что касается этики, они существенно расходились. Сократес утверждал, что этика является предметом науки и надлежащим предметом изучения. Пирр, с другой стороны, кажется, считал, что спекуляции в области этики так же бесполезны, а наука так же недостижима, как и физика; что ни на что нельзя обращать внимания, кроме чувств, и ничего не культивировать, кроме добрых нравов.

[800] Платон, Apol. Sok. с. 7, р. 22, Α. δεῖ δὲ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδείξαι, ὥσπερ τινὰς πόνους ποιοῦντος, etc.

[801] Так Демокрит, Fragm. ed. Mullach, р. 185, Fr. 131. οὔτε τέχνη, οὔτε σοφίη, ἐφιστὸν, ἣν μὴ μάθῃ τις....

[802] Аристотель (Problem. с. 30, р. 953, Век.) причисляет и Сократеса, и Платона (ср. Плутарх, Lysand. с. 2) к тем, кому он приписывает φύσιν μελαγχολικὴν, черную желчь и экстатический темперамент. Я не знаю, как согласовать это с отрывком из его "Риторики" (ii, 17), в котором он причисляет Сократеса к *спокойным* людям (στάσιμον). Первое из двух утверждений подтверждается анекдотами о Сократесе (в Plato, Symposion, р. 175, В; р. 220, С), согласно которым он стоял в одной и той же позе, совершенно неподвижно, даже в течение нескольких часов подряд, поглощенный размышлениями о какой-то идее, захватившей его ум.

[803] Д-р Тирлуолл в приложении к своему четвертому тому (Append. vii, р. 526, seq.) дал интересный и поучительный обзор недавних высказываний Гегеля и некоторых других выдающихся немецких авторов о Сократесе и его осуждении. Мне доставляет большое удовольствие видеть, что он так справедливо осуждает безмерную горечь и несостоятельные взгляды трактата М. Форххаммера о Сократесе.

Однако я совершенно не согласен с тем, как д-р Тирлуолл отзывался о софистах, как в этом Приложении, так и в других. Мое мнение относительно так называемых людей было подробно изложено в предыдущей главе.

[804] См. Платон, Эвтифрон, с. 3, р. 3, D.

[805] Xen. Mem. iv, 8, 3:-

"Denique Democritum postquam matura vetustas

Admonuit memores motus languescere mentis,

Sponte suâ letho sese obvius obtulit ipse."

(Лукреций, iii, 1052.)

[806] Diodor. xiv. 37, с примечанием Весселинга; Diog. Laërt. ii. 43; Argument ad Isokrat. Or. xi, Busiris.

Примечание транскриптора

- Изображение обложки книги было создано транскриптором и является общественным достоянием.
- Сноски были перенумерованы и перенесены в конец книги.
- Пустые страницы пропущены.
- Очевидные типографские ошибки были беззвучно исправлены после сравнения с более поздним изданием этой работы. Греческий текст также исправлен после сверки с этим более поздним изданием и с Персеем, когда была найдена ссылка.
- Оригинальная орфография, дефисное написание и пунктуация сохранены, но варианты написания приведены в соответствие, если было обнаружено преобладающее употребление.
- Некоторые несоответствия в использовании ударений над собственными существительными (например, "Euthydemus" и "Euthydêmus") были сохранены.
- На с. 409, [прим. 649](#), в предложении "οὗτ' ἐν τῷ λόγῳ οὐδαμοῦ μέλλοντί τι ἔρεϊν-" вставлено слово "οὐδαμοῦ", как это предлагается в современных изданиях Платона.